

Леонид Ситко • Роза ветров ГУЛАГа



Леонид СИТКО

Роза ветров
ГУЛАГа

Леонид Ситко

Роза ветров
ГУЛАГа

Записки
политзаключенного

МОСКВА
«БОНФИ»
2004

УДК 82-94
ББК 63.3(2)615-4
С41

Составление и подготовка текста
Александра ИСТОГИНА, Анатолий ЛЕЙКИН

Художественное оформление
Алексей НЕЙМАН

Ситко Л. К.

С41 Роза ветров ГУЛАГа. Записки политзаключенного. – М.: Издательство «БОНФИ», 2004. – 376 с.: ил.

Воспоминания многолетнего узника совести Леонида Кузьмича Ситко повествуют о трагической судьбе автора и жестоких испытаниях, выпавших на его долю. Пятнадцатилетним подростком он был угнан в немецкие трудовые лагеря. Трижды пытался бежать оттуда и, пойманный, чудом остался в живых. После радостного возвращения на родину так и не смог увидеть близких и родной Николаев, так как сразу же был отправлен на лесозаготовки в стройбат. Вскоре там по ложному доносу был арестован и осужден «за измену родины» к 25 годам лагерей. Матросская Тишина, Бутырки, Степлаг, Минлаг, Дубровлаг – эту географию – «Розу ветров ГУЛАГа» политзек Леонид Ситко изучал не по учебникам. Но именно там встретился и подружился с замечательными людьми: харбинцами Е. Дивничем и И. Ковальчуком-Ковалем, лучшим поэтом ГУЛАГа Валентином Соколовым (взявшим псевдоним Валентин З/К), известным переводчиком с французского М. Кудиновым и другими. Книгу памяти Леонид Ситко начал писать в 1966 году, после выхода из Дубровлага, где отбывал второй – семилетний срок.

Печатается с сокращениями.

Полный текст воспоминаний автора на правах рукописи помещен в VIII выпуске серии «Документы по истории движения инакомыслящих» Информационно-исследовательского центра «Панорама» (составитель – Н. Митрохин)

ISBN 5-93085-020-8

© Л. Ситко, А. Истогина, 2004
© А. Истогина, составление, послесловие, 2004
© А. Нейман, оформление, 2004

*Уважаемому Френсису Грину,
в память о его соотечественниках,
освободивших меня из немецкого концлагеря...*

Леонид Ситко

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. ЮГ	5
Часть 2. ЗАПАД	50
Часть 3. ЮГО-ВОСТОК	171
Часть 4. СЕВЕР	224
Часть 5. ГДЕ МОЙ ВЕТЕР?..	311
А. Истогина. О том, что не проходит	363
А. Жигулин. Свободная звезда	366
Алфавитный указатель	368

Часть 1

ЮГ

Острова в тёмных водах утраченного — начальные воспоминания. Я не помню себя в первые полтора года, а именно в это время мною завертели всякого рода события, поиграли, как щепкой, и выбросили на берег. Узнал о них слишком поздно, уже взрослым...

Что помню? Наверное, была светлая боль в мозгу, на свежей поверхности которого тончайшей ниткой легло первое впечатление. Легло и затянулось, как след рыбёшки в чистом пруду.

И вдруг... Целые картинки, их контуры, движения, запахи... Степная дорожка между колосьями. Горько пахнет пыльная полынь. За бугром лес, налево широкая долина в косых лучах солнца. Ещё различимы колокольчики в этом грустном свете, и я смотрю под ноги, чтобы не наступить на цветочек. Я очень боюсь наступить на живой цветочек...

Ш-шу... ш-шу... — ветром тянет в стеблях, вспыхивают синими искрами васильки. Нет, я ничего не боюсь. Со мною мать, со мной отец. Она колышет юбкой впереди, мы идём следом. Откуда-то доносится песня. Это солдаты, объясняет отец, там «застава», «граница»... Солдат знаю. Ладные, сильные, лица красные, зубы белые, глаза быстрые, подмигивают и смеются...

Где-то над полем стрекочет гигантский кузнечик.

— Катя, слышь? Учения. Это, Лёсик, пулемёт. Называется «Максим». А стреляют на стрельбище.

— Мы туда идём, папа?

— Туда, — темноглазо улыбается отец, — нас не пустят...

Лучи солнца на закате — огромные столбы света, и мы растворяемся в них...

Палисадник у нашей квартиры в Дунаевцах. Я, с травинкой в руке, разглядываю муравьёв, порой вмешиваясь в их суету. В сравнении с ними я — великан. Можно направить муравья и в ту, и в другую сторону. Поднимаю глаза. Над стриженными кустами торчит голова в чёрных колечках волос, со сверкающей серьюгой в ухе, с круглыми и блестящими,

как сливы, глазами... Голова с минуту разглядывает меня, цокает языком и показывает ослепительные зубы: улыбаются и тут же исчезают. Вечером рассказываю матери. Та лишь руками всплеснула:

— Ой! Да то ж цыган был! За рекой их табор. Высматривают, детей крадут. Ради бога, не выходи за порог, Ленечка!..

По воскресным дням в городке ярмарка: катятся подводы, груженные мешками и всякой живностью, медленно бредут коровы, слышен пороссячий визг. У нашего заборчика крестьянка вытаскивает из узла сапожки, натягивает на немые, до черноты прокалённые солнцем ноги. Обвешанная гирляндами из толстых жёлтых луковиц, краснолицая, стирая тыльной стороной руки пот со лба, смотрит на меня весёлыми светлыми глазами:

— Хлопчыку, поклычы маму.

Вытирая фартуком руки, мать появляется на пороге, свысока поглядывая на крестьянку, а та, смущенно улыбаясь, не говорит, а поёт:

— Звыня-айте, добродийку. Та можно у вас напиться?

Выносятся ведро, подходят другие женщины в цветастых хустках, с корзинами на согнутых локтях, в длинных, ниже колен, спидницах...

Вечером пьем чай... Мать крупная, быстрая, взгляд серых глаз недоволен.

— Кузя, что с Лёсиком? У всех дети как дети. А он только сидит и глазами хлопает. Всё думает, думает, а о чём — неизвестно.

Она права. Молчу и глазами хлопаю. Отец рассеян, у него тяжёлый подбородок, лысая голова-груша. С матерью робок, однако не перечит ей, хотя знаю, что не согласен.

— Обживётся, Катя. Что нервничать?

Мать рукой режет воздух.

— Я и говорю. Откуда книга эта взялась? В ней одни офицеры и генералы. Мальчик бредит ими. Спит и видит погоны, а семья-то у нас пролетарская.

Да, в те времена полуобразованная женщина могла с гордостью сказать: «Семья-то у нас пролетарская!..» Но бедности стыдились. Из последних сил тянулись, чтобы всё было «как у людей».

«Офицеры» были ни при чём. Речь шла об одной из двух-трёх книг в доме. Днём, если меня не пускают за порог, я с трудом тащу её к окну, где больше света, распластываю на полу — такая она большая — и, присев на корточки, переворачиваю листы, пахнущие непонятно, но и знакомо, волнующе.

Краски, застывшие линии, замершие в движении фигуры! Прохладные шелестящие страницы. Тогда я ещё не знал, что передо мной — история военной униформы в картинках, но замороженно рассматривал храбрых улан и гусар, квадраты казарм, офицеров, откинувших назад корпус и чему-то улыбающихся. Кафтаны, косы, шпаги, длинные ружья, блестящие чистые лошадки... Я не отрывался от этой книги часами.

С подоконника смотрю в окно:

– Ма, я буду Бенею!

– Глупости! Ты, Лёсик, врачом будешь.

– Не-а, я Бенею буду...

Беня правит лошадьми, которые тянут коричневую бочку. На углу уже спешат к нему, гремя вёдрами, бабы. Он степенно сходит с козел, открывает в бочке кран, и голубая струя бьёт в вёдра, наполняет их, расплёскивается. Струя превращается в струйку, затем кран исходит каплями, и Беня натягивает вожжи:

– Ать-ю-у, каторжные!

Я обожаю Беню. Он необыкновенный: шутка ли, развозит людям чистую холодную воду. То, что он худой, тонкошей, в рваной куртке, нечёсанный и со слезящимися глазами, – неважно. Я обязательно буду Бенею, когда вырасту!..

Мать рассказывала, что однажды я ухитрился вогнать себе под щёку тонкую полоску стали. Чуть выше и слева от верхней губы. Вышла же – у нижнего века и уперлась в надбровье.

– Вижу, кровью залился, – вспоминала мать, – не знаю, как духу хватило, но зажала пальцами, рванула... Тем и спасла, что сразу вытащила железяку... (Теперь, когда бреюсь, иногда замечаю над губой слабенькую метку и усмехаюсь ей как привету из далёкого детства...)

– Женщин, хорошеньких, – рассказывала мать, – ты замечал уже в три-четыре года. Встретится знакомая, ахает над тобой (уж сильно ты нравился всем!), а ты говоришь вдруг: «Тётя, такая красавица, зачем только губы накрасила...»

И я кое-что помню. Мы втрём на берегу необъятного водного пространства (река? море?) Беспокойная поверхность воды, невнятные голоса над нею, далёкие, но различные голоса и деревья на том берегу. Тревожно, страшно, хорошо... Солнце зашло, уже почти ночь, а берег светел, вода в серебре. На крайней скамье в парке – женщина. Смотрит на воду, и в сгущающейся темноте виднеются её бледное лицо, белый воротник, чёрное, ниже колен платье, шнурованные ботинки на высоком каблуке. Разобрать, какие у неё волосы, уже нельзя, они обрамлены светлой соломенной шляпкой... Тьма всё гуще, и незнакомка почти сливается с чёрными кустами и деревьями. Только чудесное лицо её угадывается, плавает во мраке. Хорошо, тревожно, страшно...

На следующий день мы вновь в парке, идём мимо скамьи вчерашней. Я подбегаю, трогаю ладошкой крашенные, мокрые от росы планки и, рассказывает мать, ни с того, ни с сего целую их. Среди множества следов на песке тщетно ищу более глубокий след...

А вот воспоминание иного характера. Каменец-Подольск. Мать и я из узкой улочки выходим на каменную площадь, где церковь. Из-под арки навстречу – мужчина и женщина. Мать до боли сжимает мне руку. А я во все глаза смотрю на их бледные, отчуждённые,

надменные лица. Почему они втянули головы в плечи, почему они ниже всех прохожих, почему у них такие тонкие ноги? И что у них на спине? Никогда не забуду мгновения, когда, проходя мимо, горбун и горбунья встретились со мною взглядом.

Как-то мать принесла поблёскивающую медью детскую флейту с красным мундштуком. Спрятала в шкаф. Каково было моё горе, когда вечером из разговора родителей выяснилось: у начальника отца — сын-именинник, флейта будет подарена ему. Вечер. Пустая комната. Они ушли, закрыв дверь на ключ. В окнах соседнего дома — свет и веселье...

Впрочем, и в большой комнате нашей — тусклая лампочка под потолком. Нет, уютной комната не была. Громоздкий стол, два-три стула — вот и вся мебель. На стене — репродукция известной советской картины. Как сейчас помню ее. Невысокий лысый с бородкой человек (тогда я еще не знал, что это Ленин) зажимает рану на груди и должен вот-вот упасть на землю, куда уже слетела его кепка... Слева — смятенная толпа, и человек в кожаной куртке с ужасом всматривается в лысого. Справа — одинокая фигура женщины со сбитым на тёмные волосы красным платком. Она отшатнулась, а между нею и разъярённой толпой лежит пистолет... Ненависть, обречённость, страх в этой фигуре.

Я ходил по комнате, заползал под стол и вновь выползал, не спуская глаз с картины. Конечно, было жаль этого раненого в тёмном пальто, беспомощно опёршегося о машину. Но не менее, а, может быть, и более, было жаль преступницу, беззащитную перед яростью толпы...

Спустя годы узнал подробности о покушении на Ленина на заводе Михельсона. Даже верил в легенду, что Фанни Каплан оставили жизнь («Пусть доживёт до социализма», — якобы сказал вождь, придя в сознание)...

*Где-то в городе, на окраине,
Я в рабочей семье родилась,
И девчоночкой лет семнадцати
На кирпичный завод нанялась...*

Это поёт мама, Екатерина Яковлевна. Главное действующее лицо моего детства. Голос негромкий и приятный. Скомканными газетами протирает оконное стекло и поёт что-нибудь любимое, вроде песенки с рабочей слободки.

*Было трудное время первое.
Он был слесарь, рабочий простой,
А она была пролетарочка,
Всем известна своей красотой...*

На плакатах первых советских лет в одной из пролетарок я сразу узнавал маму. Повязанная красной косынкой, она доверчиво всматривается в светлое будущее...

Родилась она на Екатеринославщине. Рано осталась сиротой. Вспоминала, что мать её, будучи при смерти, хотела «забрать с собою» и самую младшенькую, семилетнюю Катю: схватила, попыталась задушить. Спасла соседка, еле отодрала костенеющие паль-

цы. «На кого я тэбэ покыдаю, дытыно!» — сказала и умерла. Дети расползлись по чужим дворам, пошли в «наймы». Лет пятнадцати мама попала в Николаев, где и прошла её юность. При генерале Слащёве чудом спаслась от расстрела на площади завода Руссуд, где в день рождения генерала оборвались жизни шестидесяти одного человека. В тюрьме оказалась, случайно попав в облаву на рынке. Ей удалось умолить коменданта пощадить её. «На коленях ползала», — призналась она. Тогда же встретила Кузьму Макаровича Ситко, своего будущего мужа, и уехала с ним на Подольщину...

Материнский инстинкт доходил в ней до болезненности. Однажды мы были одни дома. Мне, наверное, не более двух лет, но почему-то запомнились её странный взгляд, ласковый голос, разгумившееся лицо. Она осыпает меня поцелуями, прижимается щекой к моему лицу... Я вырываюсь. И как исказилось досадой её лицо!

Когда-то мать была богомольна, отходя ко сну, крестила окна и двери. Под влиянием мужа-партийца бросилась в другую крайность — стала страстно отрицать Бога... После её смерти найдена была в углу шкафа заботливо сохраняемая иконка Св. Николая Чудотворца — покровителя моряков и города Николаева.

Нрав матери — жизнедеятельный, весёлый. Речь, как обычно у выходцев из народа, точна и не лишена юмора. Иногда на неё «находило», резко менялось настроение, и это больно отражалось на отце и на мне. Потом становилась уравновешеннее, а, значит, естественнее и добрее. Меня жалела и, полагаю, любила, хотя ещё в детстве я чем-то разочаровал её.

Да, она пела не только про «кирпичный завод». Знала и городские романсы, например, «Мой уголок я убрала цветами...», «Жил при дворе у короля весёлый шут...», «Вот вспыхнуло утро. Румянятся воды...» и другие. Пела и украинские песни, из которых особенно помню «Нэ пытай, чога в мэнэ заплаканы очи...» и «Ой, одна я одна, як былинонька в поли...» Любила Шевченко, больше всего читала (и не могла начитаться) поэму «Наймчка».

Отец по партийным делам часто бывал в отлучке. Я привык к этому и не заметил, что его уже довольно давно нет дома. Мать собирает в корзину продукты, прячет в платок заплаканное лицо.

— Пойдём к папе.

Кажется, это было в Дунаевцах. Мы на солнечной стороне улицы. Мать крепко сжимает мою ручонку. Припудренное лицо замкнуто и сурово. Останавливаемся у двери с железной решёткой. И окна в решётках, и ворота направо, громадные, глухие. Тюрьма? Ну, конечно, хотя тогда я этого не понимал.

Дядечка в военном со связкой ключей на поясе приоткрывает дверь:

— Передач не принимаем.

Идём домой, и мать уже не скрывает слёз, не видит прохожих. Много лет спустя я напомнил ей этот случай. Отмолчалась.

* * *

Так кто же он был, мой отец? Образ его едва различим, годы и годы многое стёрли в памяти. Темноглазый, смуглый, с убегающим назад, переходящим в лысину лбом — вот, пожалуй, и всё, что запомнилось. Он был сдержан, немногословен и этим уравновешивал мать.

Родился в Николаеве в 1892 году в многодетной семье. Все родственники работали на верфях или шли в матросы. В гражданскую войну перебрался в Каменец-Подольск, людей тогда бросало куда угодно. Мать говорила, что в партию он вступил в 18-м году, а в 19-м командовал продотрядом. Что это такое, известно хотя бы по «Думе про Опанаса» Эдуарда Багрицкого. В том же году Николаев захватили белые. Не потому ли отец бежал тогда на север?

Кем работал в мирное время? Мать говорила, прорабом, но прораб подразумевает некоторую образованность. Судя по оставшимся бумагам, очень немногим, у отца был чёткий, крупный, писарский почерк. Книг в доме почти не было, но газеты читал. Побывал и в тюрьме. Это были годы внутрипартийных дискуссий, перетряски укладов и мозгов. Отец одно время сидел над украинской грамматикой: партия обязала выучить. Не знаю, как он справлялся с «диесловами-прикметниками», но языка он так и не выучил, называя «фотографию» «мордописьней», а «автомобиль» — «чортопхаем»... Впрочем, вскоре партия «колебнулась» в противоположную сторону в украинском вопросе, и грамматика была мгновенно забыта... Всё это рисует отца не с лучшей стороны, но чувства чести он лишён не был. Так мне говорила мать... По некоторым замечаниям, которые помню с 8-10-летнего возраста, можно считать, что Сталина он ненавидел.

Отчётливее всего помню его с отвёрткой в руке: он возился с выключателем и чуть слышно мурлыкал про себя «Наш паровоз, вперёд лети!..» Я радовался тому, что он дома. С ним было спокойнее, чем с матерью.

Ночь. Отец всё ещё где-то «там». Я болен. Мать, притихшая, подавленная, укоротила пламя в керосиновой лампе, прилегла ко мне. Я люблю чувствовать её рядом. Она такая мягкая и тёплая. Но спал ли я, когда нет-нет да и выглядывал из-за неё на маленькое пламя, на тени в углах? В тишине слышны были ходики: тик-так, тик-так.

И почему мне стало страшно? Почему я глаз не мог отвести от лампы? Что-то с лампой было не то... Да, на краю медного корпуса что-то шевелилось. Я увидел вдруг, как из-за стекла, с той стороны лампы, деловито быстрой походкой вышел махонький, не более пальца, дядечка, на нём был пиджак, брючки, и вот он бегаёт по краю, бегаёт, иногда садится и, опуская ножки, примеривается спрыгнуть на стол, на меня поглядывает, болтает ножками... Я закричал, забился, разбудил мать. Она обняла меня, говорила ласковые слова, прибавила света в комнате, кое-как успокоила. Человечек исчез. В то, что он был, не поверила: «Ну, ладно... Ну, ладно...». Но я видел, видел: он *был!* И это был *Ленин!* Тот самый, с картинки на стене!...

В следующую ночь вернулся отец. Мать стащила с него дождевик, припала к груди. В полусне я не понял, что это папа, и утром очень удивился, увидев его за чаем. Он улыбнулся и помахал мне исхудалой бледной рукой. Была радость: вернулся-таки! Когда и отца уже не было в живых, и сам я немало чего испытал в жизни, вдруг задался вопросом: почему он был отпущен? Покаялся в каких-то партийных грехах? Или его, как одного из многих участников оппозиции, просто хотели припугнуть?..

Почему-то было решено спешно уехать из этих мест. Сначала отправились к маминому брату Афанасию Яковлевичу Ткаченко, жившему с женой Анной в недалёком от Николаева городке Синельниково. Родители решили погостить у них, а потом махнуть на Северный Кавказ, где ждала тётя Маня, сестра мамы.

Поезд еле полз, и грузовик на просёлочной дороге то и дело перегонял его... Из окна вагона столбы, деревья и этот грузовик кажутся игрушечными, и оторвать меня от окна не просто. На полотенце — дорожная снедь, мать очищает для меня яйцо, отец наливает чай, и говорят они о дяде Афанасии.

После завтрака опять занимаю место у окна. И вновь странный, великолепный мир: поля, мосты, станционные будки, множество людей в городах, колокольни, заводские трубы, и опять степи, реки, простор земли и неба...

Я знал дядю по старинной, царского ещё времени фотографии. Круглолицый, широкоплечий, с небольшими усами, с кокардой на фуражке, с ремнём через грудь и с широкой пряжкой туго затянутого пояса — таким видел я дядю в своих мечтах. Рука его неловко лежит на книге, а книга — на подставке из кручёных ножек... От образа дяди веяло таким молодечеством, что не полюбить его было никак нельзя! Передо мною незакатно реяло это гордое, холёное, красивое лицо солдата и героя, а поезд всё не торопился, и игрушечный грузовик на параллельной дороге каждый раз оказывался впереди.

На станции Синельниково нас встречала миловидная голубоглазая тётя Анюта. Родинка над верхней губой совсем не портила лица этой красуни, как сказали бы украинцы. Из-за родинки она стала мне ещё роднее. Одета тётя Аня была в полосатую плахту и повязана большим цветастым платком.

— А цэ хто? — пропела она, всплёскивая руками, — нэвжэ Алесыку?

— А дя-а-дя где? — спросил я.

— Ввэзэри побачышь, Алесыку. На роботы дядько. От зрадие!

Было ещё утро. Мы двинулись по удивительно грязной улице, прижимаясь к заборам. Отец потерял галошу. Ткаченки жили в доме, при котором были огород и сад. У входа погромыхивал цепью большой, но с виду добрейший Каштан. Он для порядка несколько раз пролаял на незнакомых людей, не забывая при этом махать хвостом. Я сразу потянулся к собаке, но мать велела войти в дом, умыться и переодеться.

В поезде отец почти не сомкнул глаз, так как у нас была одна полка на троих, и теперь лёг отдыхать. Сёстры, встретившись после многих лет, не могли наговориться, а я вышел за порог. Пёс запрыгал, приседая на лапы. Я протянул руку: «Каштанчик!..»

Он взвизгнул и мигом облизал мне щёку. Я всё-таки погладил его. Он замер и вывалил язык, несмело кося глазами на кроху, какой я был. Зачем держали на цепи собаку с таким кротким характером? Правда, когда подсыхала земля, цепь снимали. Каштан делал стремительный круг во дворе и выскакивал за калитку.

Солнце к концу дня заглянуло в окна. Тётя сказала:

– Зараз дядя прыйдэ, Алесыку!

Я убежал в другую комнату, прижался к косяку двери... Вот-вот войдёт он в сиянии красоты, мужества и славы! Дверь скрипнула, и возник коренастый небритый мужчина, который улыбался мне.

– Алёша, – сказал он хрипло, – подь сюда. Я дядя твой.

Я крепче вцепился в дверь, я глаз не мог отвести от его взлохмаченной, сплошь седой головы, от кустистых бровей над впавшими глазами, от морщин, прорезавших щёки и лоб... На нём были чёрные замасленные штаны и куртка, из-под которой выглядывала серая от пота сорочка. Он шагнул ко мне. Деваться было некуда, и я заплакал. Улыбка его стала озабоченной, он поднял меня на руки и прикоснулся щекой к моей щеке.

– Дурачок! Испугался родного дяди?

Я заплакал. Дядя совсем не соответствовал моему представлению о нем. И от него сильно пахло сивушным перегаром. Я тогда еще не знал, что это такое...

Вечер. Все собрались за столом, накрытым клеёнкой. Выпивка, тарелки с борщом, вареники. Я сижу между отцом и тётей Анютой. Взрослые посмеиваются надо мной, и больше всех – сидящий напротив дядя. Мало-помалу я освоился с ним, с его неожиданно новым обликом. На обломках моей первой в жизни иллюзии возникло острое чувство жалости к дяде. Жалости ко всему живому!.. К себе тоже.

Бутылка наполовину пуста, каждый выпил по рюмке, разговор идёт легко и бессвязно. Поглядывая на мать, дядя говорит:

– Устроитесь – пишите... Маня тебя обратит в свою веру...

Мать: – Пусть попробует. Скорей я её обращу...

Тётя Анюта молчит, грустно и ласково смотрит на меня. Тогда мне и в голову не приходило, почему Ткаченки, а позже и тётя Маня с мужем были так добры ко мне. У маминих сестер не было своих детей...

Дядя (матери): – Она настырная...

Отец: – Как Егор Семёнович смотрит на этих братьев и сестёр?

Дядя: – Привык. Пьёт только. Жена-баптистка! Можно запить...

Отец: – И чего её потянуло в эту веру?

Дядя: – Грешила много. Потом видит: года не те, пора о душе подумать. А тут братья-сестры: «Покайся... Крестися...» Хотели и Егора, так тот их послал. А, в общем, Кузьма, дружно живут эти баптисты. Помогают друг другу. Нам бы учиться у них жить.

Дядя налил себе вторую рюмку, опрокинул её и продолжил:

– В хорошие места едете. Первейший на свете курорт!

– Ну, а тут как? – спросил отец. – Как коллективизация?

Дядя исподлобья глянул на отца.

– Ты, Кузьма, партийный... Но врать не стану, верховодят безошадники и пьяницы, а крестьянству конец приходит. Как свой своему говорю. Похоже на страшный суд. Похлеще махновщины или белоказаков...

Отец тоже нахмурился.

– Зря ты так, Афанасий. С такими речами – себя погубишь и Анюту.

Женщины о чём-то своём говорили, как будто и не слышали ничего. Дядя налил уже обоим по полной.

– Ладно. Забудем. Выпьем за твою удачу на Кавказе...

В Кисловодск мы приехали под вечер и сразу окунулись в нежные краски северокавказского городка. На вокзале нас встречали Фомичёвы. Тётя Маня, крупная, с мягкими чертами лица, улыбалась, но в прищуренных глазах чувствовалась озабоченность и настояренность. А вот дядя Егор удивил очень. Я уже видел эти лихо растопыренные усы. Ах да, в папиной газете! Дядя был вылитый Будённый!.. Усы его двигались вверх-вниз, и это было очень смешно.

– Куда мы, Мария Яковлевна? – спросил отец.

– На Бермамыт, в пригород, там сняли вам комнату. Ближе нельзя было. Курортный сезон, Кузьма Макарович.

Линейка – род повозки на Кавказе: три доски, четыре колеса. Ездоки сидят боком, свесив ноги. Тётя посадила меня, уселась рядом, и колёса затарахтели по мостовой. Мы обогнули вокзал. От извозчика-чеченца пахло козьим молоком. Мать и отец ехали за нами на другой линейке. Мы оказались в верхней части улицы, круто сбегающей вниз, и остановились. Открылся вид на город, расположенный в большой чаше, образованной склонами гор, уходящими вдаль, туда, где в лиловом сумраке висел над землёй двугорбый ледяной Эльбрус. Видимо, в этом месте принято было останавливаться, чтобы приезжие могли вдоволь насмотреться на красочный предвечерний пейзаж.

– Это курзал, – тётя Маня указала на высокую серую стену справа от нас. – А вон налево – видишь? – Красные Камни.

За тёмно-зелёным массивом парка, словно головы великанов из сказки, – круглые красные скалы. Чуть поодаль от парка миниатюрное строение: три стройные башенки с золотыми маковками: церковь.

– Всё тут разглядишь, Лёсик, – слышал я голос тёти Мани, – в хорошее место попали. Давно пора было!

Она оглянулась на вторую линейку, и снова какая-то забота тенью прошла по её лицу.

Двухэтажный дом, в котором для нас сняли комнату, был опоясан деревянной галереей, служившей для верхних жильцов балконом, а для нижних – навесом над дверьми в

их квартиры. Напротив стоял длинный барак – школа. Позади двора был огород, огурцы и помидоры, а возле ворот на улице густо росла кукуруза... В этом доме мы прожили год или полтора, пока не перебрались поближе к центру города в более или менее благоустроенную часть его.

Утро на Бермамыте... Речка Кизлярка. По глинистой, в комьях, дороге спускается к речке молодой горец с кувшином. Одет он в грязную черкеску и баранью шапку, но бос. Оставив кувшин меж камней, заходит в быструю шумную речку, моет ноги, руки, лицо...

Днём прибежал кто-то с новостью: на улице бешеная собака. «Язык вывалила, пена летит...» Матери похватили детей, везде захлопали двери, тревожные голоса во дворе становились всё громче... Мать сказала, что собака забежала в школу напротив, но школа пуста сегодня, и её там поймают. Потом меня выпустили, и с галереи мне видно привязанную к перилам лестницы собаку. Пришёл милиционер, приказав детям отвернуться, дважды выстрелил. Кровавое пятно расплзлось, темнело, густело...

И Фомичёвы живут в пригороде, в домишке из двух комнат. Тётя ведёт с мамой за меня борьбу. Она твёрдо решила обратить меня в свою балтистскую веру, поскольку мать и отец – неуязвимы. Мать пока терпит, что я иногда гощу у тётки, но запрет едва-едва не срывается с её уст. А я к тёте Мане я иду с радостью. Я не чувствую, что от меня что-то хотят. У них мне всё интересно: от усов дяди Егора до крепкого запаха краски и стружек, которым с порога обдаёт их жильё. На одутловатом, с нездоровым румянцем лице дяди выделялись большие тёмные глаза, которые смотрели на всё вокруг с любопытством и одновременно с полнейшим пониманием. Он раскрашивает распиленные куски фанеры. Это декорации, говорит он, и я сразу запоминаю звучное слово. Куда-то декорации приспособят, и возле них другие люди будут играть на сцене. В том, что взрослые тоже «играют», есть что-то странное и утешительное. Дядя Егор приветлив, но молчалив, погружён в свои мысли и работу, попыхивает трубкой.

А тётка ласкова, всё время старается угодить мне. В комнате чистота, уют. На окне белая занавеска, глиняный пол прямо светится, а дверные ручки и самовар на столе начищены до блеска. Тётя Маня сидит на лавке у окна.

– Милый мой Алёша, – говорит она, – как хорошо, что не забыл свою тётю и навещал нас!

Она хлопчет у стола, угощает чаем и пирожками. Потом извлекает на свет книгу в изъеденном временем переплётё, с потёртыми пожелтевшими страницами.

– Алёша, у меня глаза слабые, плохо вижу... Почитай ты мне.

Раскрыв книгу, тётя Маня тычет пальцем в первое попавшееся место. Я уже умел читать. Научился как-то незаметно, но позже мать говорила, что показывала мне буквы и заставляла складывать слова.

Первая книга! Первой любовью моей была хрестоматия, отпечатанная на плохой бумаге в начале 20-х годов. В ней были собраны сведения по истории, географии, физике,

литературе, в ней можно было почерпнуть знания по ботанике и сельскому хозяйству, даже по анатомии и астрономии. Мать звала эту книгу «Учителем». Книга ещё называлась «Вчера и Завтра», она охватывала прошлое и прокладывала тропинку в будущее. В ней были портретики Пушкина и Лермонтова с пояснением под ними: «Певцы Кавказа». Ещё ниже шло стихотворение «Кавказ». Перевернув страницу, можно было видеть на одной из снежных вершин крошечную, с булавочную головку, фигурку. Конечно, это был Пушкин, догадывался я, ведь всё совпадало: и стихи, и человек на краю пропасти. Лермонтовские «Дары Терека» сопровождалось расплывчатым изображением Дарьяльского ущелья, но сколько тревожных образов будило оно!

Мама не могла читать без слёз две вещи: «Казачью колыбельную песню» и отрывок из «Тараса Бульбы», где мать обряжает сыновей на войну, а потом сидит всю ночь над спящими Андрием и Остапом, плача и прощаясь с ними. К стихам «Садок вишнёвый коло хаты» прилагались портреты Шевченко и Гоголя с подписью: «Певцы Малороссии». В другом месте книги особая страничка отводилась для «певцов степи» — Кольцова и Никитина.

Теперь, оглядываясь на свою жизнь, я с благодарностью вспоминаю хрестоматию В.П. Вахтёрова, ещё до школы приобщившую меня к знаниям, к литературе, природоведению, географии.

Но у тети Мани другая книга. Начинаю со строки, куда она ткнула пальцем.

— И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг его в море, говоря: с таким стремлением будет повержен Вавилон, великий город, и уже не будет его.

Поднимаю глаза на тётю Маню. Смотрит в окно на дальнюю гряду гор. Мягкие черты её лица словно вырезаны из дерева.

— Читай, читай... — шепчет она, и я продолжаю: «И голоса играющих на гусях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе...»

Мрачная угроза эта подействовала на меня удручающе. Чем виноваты люди, почему эта книга грозит им погибелью? В самом имени «Вавилон» было что-то нечеловеческое. Я замороженно читаю страшное пророчество дальше:

— И свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нём найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле...

Тётя Маня положила на страницу ладонь:

— Довольно, Алёша, спасибо. Пойдёшь со мною вечером к братьям и сестрам?

— А мама позволит?

— А мы её уговорим, — тётя Маня подмигивает мне.

Прошёл быстрый и бурный, с громом и молнией, дождь, и кругом звенят, шумят потоки воды, устремившейся по склонам в город. Тропинка расплзается под босыми ногами, когда мы с тётёй Маней выходим из её домика. Тётка придерживает юбку выше колен и молодеет на глазах, смущается и смеётся... Уже вновь на чистой синеве неба появилось солнце, но оно склоняется к горам, а от этого всегда грустно.

Мать моя неприязненно относилась и к церкви, и к собраниям баптистской общины.

— Бог не в церкви, а здесь, — говорила она, прижимая ладонь к сердцу. Не знаю, как удалось уговорить мать, но мы идём в обещанное место. В горах темнеет быстро, и пока добрались, уже горели фонари. В помещении с голыми барачными стенами сидели на длинных лавках люди. В глубине на покрытом чёрной тканью ящике горели две свечи. Люди походили на колеблющиеся тени. Никто не оглянулся, когда тётка вела меня вглубь зала. Мы уселись. Неожиданно рядом с ящиком возник бледнолицый, худой, одетый в чёрный костюм мужчина. Тени на скамьях заколыхались и замерли, и он, держа руки перед собой — ладонь к ладони — сказал:

— Братья и сестры! Прочтём молитву Господню!

Удивительно согласно, односторонно и, как показалось, холодно собравшиеся пропели молитву про какого-то Отченаша. У тётки оказался приятный голос. После непонятного «ами-инь!» бледнолицый помедлил немного и сказал:

— Темой беседы, братья и сестры, изберём события последних дней, то есть чудесное исцеление сестры Александры и брата Николая!..

И он заговорил о том, как страдали эти люди, как медики отступили перед роковой болезнью, как скорбь разлилась по общине, но все уповали с верой, пока, в конце концов, не вмешался сам Иисус Христос. На скамьях плакали, и тётка исходила слезами. Когда плач и вздохи особенно усилились, бледнолицый взмахнул рукой, и все запели. Я изнывал. Было жутковато и непривычно, казалось, дяди и тётки играли в какую-то странную и несерьёзную игру. Более того, слёзы, стоны и пение изрядно напугали меня, и я теснее прижимался к тётке Мане, хотя вела она себя так же непонятно, как все.

Позади, у входа, послышался шум. Стучали в дверь, кто-то явно скандалил и ругался. Община и проповедник глазом не моргнули. Но тётка схватила меня за руку, прошептала: «Идём, это дядя!» В самом деле, за порогом в слабом свете уличных лампочек покачивалась фигура дяди Егора.

— А-а! — протянул он. — Братья и сестры? За мальчишку взялась?

Тётка решительно схватила его за руку и повела прочь, не выпуская и моей. Дядя Егор был пьян, вырывался, но держала она крепко. На одной из улиц нашли тогдашнее такси — линейку, которая и доставила нас на Бермамыт...

На собрания тёткины я больше не ходил. Мать, узнав про наш поход, запретила навещать и тётку, но та не оставила надежды обратить меня. Тайком от матери она сводила меня ещё и на службу в православный храм — шаг, с точки зрения баптистов, заслуживающий сурового порицания. Помню золотистый блеск свечей, лики иконостаса, тёплый запах ладана, повеявший нам в лица, жаркий шёпот молящихся...

Тётя сделала всё возможное, чтобы заронить в душу ребёнка семя веры, но ничего не получилось (теперь говорю об этом не без сожаления). Почему не вышло? Как всякий мальчик, я был открыт всему, что посылала жизнь. Может быть, я ещё не жил сознательной жизнью и не мог *проникнуться* всем этим? Да и ветры времени («забота века») дули во все те маленькие паруса, на которых я уже робко осмеливался отрываться от берега... Не это ли спасло меня от братьев и сестёр добросердечной тёти Мани? Спасло? Или погубило?..

Пережили мы и голод, заглянувший в 1933-м году даже в Кисловодск. Мать рассказывала, что исхудали до последней степени. Меняли вещи на кукурузную муку, тем и спасались. Я плохо запомнил это время. Может быть, истощённый организм воспринимал окружающее приглушённо? Говорили, что на улицах падали и умирали люди. Машины быстренько подбирали их и с глаз долой отвозили к братским могилам. Город-курорт всё-таки!

Один случай, когда плакал отец, я запомнил. Потому и запомнил, что он плакал. Он съездил в Пятигорск «что-нибудь раздобыть»: обменять золотые серёжки матери и кое-что из вещей на съестное. Вернулся спустя несколько дней с двумя новенькими венками, швырнул их в угол, сел на койку, и по лицу его потекли слёзы. Венки — это было всё, что он привёз. Мать посмотрела на него ужасными глазами, потом вдруг бросилась к нему, обняла, стала успокаивать, говорить, что не стоит падать духом, что всё обойдётся. «Ведь ограбили? Ограбили?» — спрашивала она. Он кивнул, рассказал, что вёз полпуда муки — настоящее сокровище по тем временам. Вооружённые горцы ворвались в вагоны и отняли продукты у всех дочиста... Мать поплакала-поплакала и стала собирать на стол, наливать в миски мамалыгу из оставшейся к приезду отца муки.

Фомичёвы тоже впроголодь жили, но им было легче: помогала тётина община. Марья Яковлевна даже нам кое-что подбрасывала. И дядя Егор образумился, перестал пить. Стал работать «по заказам», как он говорил. Дело в том, что в некоторых санаториях отдыхали «видные партийные и государственные деятели», то есть тогдашние вельможи со своей многочисленной челядью. Они будто и не знали про голод в стране. Детки их в белых носочках и юбочках резвились на лужайках, а те, кто постарше, играли в теннис, весёлым криком оглашая дол. Заказы Егору Семёновичу шли оттуда. Как я теперь понимаю, не было у него ни таланта, ни образования. У заказчиков тоже. Но дядя был мастер по столярному делу и по своим «художествам». Красил частокол возле милиции, малевал плакаты для кирпичного завода, декорации для клуба. А для «видных деятелей» делал копии известных картин. На большее они и не претендовали. А он пилил, строгал, прибивал, раскрашивал...

Но с каким любопытством я разглядывал кисти, банки с красками, холсты на подрамниках! В моих глазах дядя Егор был настоящим художником. У него было лишь одно горе: жена-баптистка!

А ветер века трубил повсю... Через год отец получил должность заведующего клубом строителей. Там же нам выделили комнатку, в которой было две двери: на веранду и на сцену. Таким образом, мы поселились в Сапёрном переулке на втором этаже дома, кото-

рый квадратом замыкал двор. Вход на сцену отец задвинул сундуком. Бывшая артистическая уборная мало была приспособлена для жилья, но мать постаралась создать кое-какой уют. Дверь выходила на деревянную галерею, опоясывающую дом изнутри двора. Здесь и прошли мои «кавказские» годы.

Вскоре обнаружилось, что за стенкой живёт Вася Шубин, мальчишка на год старше меня. Неожиданно, едва я вышел на веранду, пролетела картофелина, ударилась о стену. Я пустил её в обратном направлении. Он улыбнулся, и я сразу же был покорён этой смуглой лукавой физиономией с торчащими ушами и вихрами. Мы подружились. Вася жил с отцом-пьяницей и младшей сестрёнкой Розой.

По вечерам в клубе властвовал Великий немой, то есть шли фильмы. Меня, сына заведующего, контролёры пускали в зал без билета. Пользовался я этим безбожно, но отец, кажется, не догадывался, хотя нередко видел меня со стайкой сверстников, примостившихся на полу у первого ряда. Со мной завела приятельские отношения почти вся окрестная детвора.

О, эти красивые фильмы под бравурную музыку тапера! Когда на Украине и в России подбирали на улицах трупы умерших от голода, эпоха предложила некую замену жизни – кино! Да разве могли соперничать унылые братья и сёстры тёти Мани, скорбящие над скверной мира, с этим волшебством, с белым квадратом и звуками разбитого пианино, сопровождающими каждый поворот яркой, героической жизни на экране!..

Фильмы, по-моему, делились на три категории. Первая – романтические истории эпохи завоевания Кавказа: «Абрек Заур», лермонтовский цикл по «Герою нашего времени» и, между прочим, фильм о самом поэте «Кавказский пленник», занятный «горский боевик». Смутно помнятся фильмы про Сергея Муравьёва-Апостола и «Поэт и Царь».

Фильмы о гражданской войне. Мы жили ещё в тени этой войны, прошло всего десять-двенадцать лет, как отгремели её выстрелы, и две трети души нашей были ещё там, на полях сражений. «Броненосец «Потёмкин» (на нём служил один из моих дядьев), «Мисс Мэнд», «Сорок первый», «Красные дьяволята»... Кого из нашего поколения не захватывали эти ленты, у кого не разгоралось воображение, чтобы потом, в темноте двора, на лестнице большого дома, стуча кулачками по коленкам, рисовать картины сражений, в которых участвовал не кто-то другой, а мы сами, дети Сапёрного переулка. Звёзды сияли над нами, луна молчаливо проходила большую часть своего пути, а мы всё толковали о летающем танке, с помощью которого можно было бы уничтожать несметные конные полки врагов.

Другие картины, особенно «Спартак», уводили нас в далёкие времена Рима. Затаив дыхание, мы глазели на экран, где, потрескивая и посвёркивая, разворачивалась битва между войском Спартака и легионерами Красса, и на фоне тёмной травы холма белые фигурки с мечами стремительно надвигались на зрителей!.. Я не пропустил ни одного сеанса со «Спартаком», и молнии в его глазах преследовали меня даже во сне.

А благородные песни нашего детства! И среди особо любимая – песенка Джинни из «Острова сокровищ», «Весёлый ветер» или песенка Паганэля из «Детей капитана Гранта»: «Капитан, капитан, улыбнитесь, Ведь улыбка – это флаг корабля!..»

Декабрьским вечером отец по пригласительным билетам повёл нас с матерью в городской кинематограф.

– Будет звуковой фильм, – сказал он.

Мы не поверили: разве такое может быть?!.. Когда в тёмном зале обозначился пустой квадрат экрана, из глубины которого возник и стал расти звук бубенцов, началась новая эра в развитии кино. Говорят, первым отечественным звуковым фильмом была «Путёвка в жизнь». Нет, хочется верить, что звуковое кино в нашей стране ворвалось в зал под звон милых российских бубенцов и стук копыт. Тогда, в моем детстве, именно тройка вырвалась из-за леса и помчалась прямо на зрителей. Так начался «Чапаев». Всё в этом фильме потрясало значительностью событий, величием и простотой Чапаева, Петки, Анки. На всю жизнь зрители уносили с собой грандиозную «психическую» атаку каппелевцев и стремительные броски чапаевской конницы...

В полночь, когда мы возвращались, на одном из перекрёстков нас остановило радио. На тускло освещённом лампочками тротуаре поблёскивал снег, мы ещё жили только что отгревшем фильмом, но из репродуктора вырвались слова: «Сегодня в Ленинграде злодейски убит Сергей Миронович Киров!» Кажется, только скользнуло это по сознанию, не затронув глубоко. Слишком я был оглушён «Чапаевым», однако кольнуло сердце, и вспомнилась картина, висевшая у нас в Дунаевцах.

Мы топтались на снежном перекрёстке.

– Будь он трижды проклят! – громко сказал отец. – Будет очень плохо, будет ужасно... Для всех! Сколько можно?! Что он делает?!..

– Кто он? – спросил я.

Отец как бы опомнился и сбоку странно посмотрел на меня. А мать оборвала мой следующий вопрос. Мал ещё знать!

С гор веяло холодом, и пока добирались домой, промёрзли насквозь.

– Да, вот и убили Кирова, – повторила мать уже в тёплой комнате.

– А что теперь будет? – спросил я.

– Как что! Врагов-то сколько!

– Каких врагов? Как в кино?

– Не спрашивал бы, а подумал лучше.

– В кино что! – примиряюще говорит отец. – Легко было Чапаеву в бою – коли, руби, стреляй. А вот когда строчат на тебя донос, или стреляют в спину, и распознать невозможно, это враг замаскированный...

Чувствую, что родители хитрят, стараются переиграть невольные слова отца в минуту отчаяния.

Были ли счастливы мои родители в супружестве? Отец любил мать, это знаю твёрдо. Она была неуравновешенной, неясные, но сильные чувства волновали её, что отзывалось на отношениях. Потом-то она признавалась мне, что всегда любила только одного человека – своего мужа и моего отца, неудачника Кузьму. Но и мучила его изрядно. Бывало, я

заставал их за объяснениями, с покрасневшими лицами, мать плачущей, а отца растерянным и бормочущим:

— Ну, полно, Катя, полно!..

Видно, мать переживала один из кризисных моментов и со мной была нетерпимой и несправедливой. Бурные вспышки кончались тумачами с её стороны, и мы оба раздражались слезами. Один случай мне особенно запомнился. Сердито звякает крышка, и всем существом чувствую что-то недоброе в кухонном запахе, поднимающемся от кастрюль.

И надо же было мне — очевидно, после какого-то фильма о покорении Кавказа — обратиться к ней с просьбой. Хотя делал я это чрезвычайно робко, без малейшей надежды.

— Мама, купи мне черкеску...

Я ничего не просил у матери после случая с флейтой. А тут попросил.

— Ишь чего захотел! — немедленно и резко отозвалась мать. — А ну марш на двор!

Я тогда сильно обиделся. Ведь она ещё могла рассмеяться, обернуться, ласково потрепать меня за волосы, наконец, но не сделала ничего этого.

Я видел черкеску, сшитую для мальчиков моего возраста, в витрине магазина на улице 25-го Октября. И, просыпаясь по утрам, я мысленно снова *встречался с нею*, светло-розовой, с витым поясом и кинжальчиком, с газырями на груди, настоящими, как у джигитов, газырями...

Я поднялся по лестнице в кинозал и вскоре очутился на сцене, в душном полумраке кулис. В зале шло какое-то собрание... Пока не начнется новый киносеанс, я решил немного помечтать. Как всякий мальчишка, я мечтал о подвигах, мечтал стать абреком, самым храбрым и справедливым на свете. Вслед за черкеской в мечтах появились тонконогий скакун и ружьё, торчащее в чехле из-за широкой чёрной бурки. Да, это было прекрасно: на фоне жёлтых и голубых вершин Кавказа — маленькая чёрная фигурка всадника.

Раздались хлопки, задвигались стулья. Люди покидали зал. Я отогнул край занавеса и сошёл в солнечные полосы, в мириады золотистых точек, плавающих в воздухе. С лестницы доносился гул голосов. Со стен укоризненно смотрели вожди: это ты-то абрек? И вдруг я увидел на стуле кошелек, подбежал, схватил, открыл его: внутри зеленела плотно свёрнутая пачка трёхрублевок... Мне стало жарко. Скорее, пока не ушли люди, скорее за ними! Я представил горе человека, обнаружившего пропажу, и кинулся к двери на лестницу... Да, к счастью, люди там были.

— Чей кошелек? — крикнул я, подняв его над головой.

Может быть, я слабо крикнул, но оглянулась лишь одна женщина. В мужском пиджаке, с узким ртом, красноватым носом, коротковолосая и худая.

— Это вы забыли? — спросил я.

Она уже была рядом, понюхала мою голову, шевельнула губами, как будто улыбаясь.

— А как же! — она хлопала себя по юбке. — Это я, я потеряла!

И кошелек тотчас исчез в глубинах её пиджака, а сама она, оглянувшись туда-сюда, исчезла в толпе...

Вечером я рассказал обо всём матери, она отставила в сторону уют и повернулась ко мне.

– И ты отдал?

– Ну, конечно! – сказал я и отступил на шаг.

Её лицо стало неузнаваемым. По губам скользила усмешка. Согнутым пальцем она больно ткнула меня в голову. И ещё, и ещё...

– Вот тебе шахматы, что ты просил! Вот тебе «Том Сойер»!

Я не просил у неё ни шахмат, ни книг, но она знала о моих баталиях с Васькой, знала и о Томе Сойере! Ей самой было больно, наверное...

– Ну хватит, – попросил я.

– Вот тебе газыри, вот бешмет!..

Я долго еще стоял на веранде, держась рукой за столб, подпирющий крышу. Окна, арка над воротами, куча бревен, сложенных во дворе, сливались в моих глазах во что-то дрожащее, сверкающее, расплывчатое. «Чтоб ты умерла! – мелькнуло во мне. – Сколько ещё ты будешь мучить меня!» Подошла соседка. Постояла, погладила мои вихры и еле слышно сказала:

– Своего не била бы!..

Я взглянул на неё, но она заспешила прочь, продолжая что-то бормотать...

Сегодня, едва взошло солнце, во дворе беготня и крики. Детвора собирается в поход. Цель – Медовый водопад в пяти верстах от города. За старшую – Женя Садикова. Валя Оболин, самый младший, больше всего боится, что мы уйдём без него. Здесь и мой дружок Вася Шубин, и его сестрёнка Роза. Она несёт провизию. Уходим на весь день, не исключено, что заночуем в горах, хотя родителям об этом ни слова.

В этой тайне – главная прелесть прогулки. Вася уже побывал на водопаде и по секрету сказал, что там есть большая запруда из глины и камней и можно искупаться, а если кто умеет, то и поплавать. Плавать я не умею, но скорее утону, чем сознаюсь в этом.

Все счастливы, но ведём себя сдержанно – ведь мы уже побывали на Кольце-горе, взбирались даже на скалу Лермонтова. Пес Лунат, всеобщий любимец, откровенно радуясь, вьётся между нами: мол, возьмите, пожалуйста. Кое-кто из родителей вышел на порог. На веранде немножко волнуется моя мать: отпускать меня надолго она не привыкла. Вышли отец и мать Жени и Володи. Он в военных брюках с подтяжками поверх белой сорочки. Ноги в сапогах, начищенных до зеркального блеска, тонки, живот большой, головка маленькая. Впрочем, мы уважаем его за другое: он служит в каких-то военнизированных органах, да и квартиру Садиковы занимают в несколько комнат и одеваются приличнее, чище других. В последнюю минуту сбежал по лестнице Васин отец, небритый и, как всегда, под хмельком. В пятерне у него несколько яблок.

– Розка!

Она подходит. Он запихивает в ранец яблоки.

– Долго не шляться! – строго приказывает.

– Не, не, – говорит Роза, – мы скоро.

Чем дальше отходим от городка, тем опаснее и суровее серые валуны и утёсы. Узкая тропинка взбегает по каменистой почве, а потом круто обрывается вниз и, змеясь, исчезает в колючих зарослях шиповника. Тропа – знак, что здесь проходили люди и мы на правильном пути. К одиннадцати часам из-за мелких задержек едва одолели две трети его.

Лунат нашёл нору суслика. Мы окружаем его. Пёс фыркает, роет лапами. Лёва побежал с бутылкой к ручью, и вот уже струйка воды исчезает в чёрном отверстии. Зверёк выскочил и рванул вверх по откосу...

А вот рощица тоненьких стройных райских яблонь. Мы самозабвенно грызём невозможно кислые плоды...

Кто-то взобрался на скалу и кричит, что видит Храм Воздуха в городе, Змейку – горную дорогу на Кисловодск – и даже Эльбрус. Конечно, карабкаемся на скалу. Вдруг Валя, цепляясь за выступ, кричит: «Ма-а-ма!..». Видим: под ним пустота метров в десять. Рискую сломать шею, Вася вытаскивает Валу. Бледная Женя шлёпает малыша по попе. Нам становится весело, и мы, как заправские путешественники, именуем эту скалу «Мамочкиной»...

Ещё один поворот, и словно гул громадной толпы донёсся до нас. Прибавляем шаг и, обогнув очередное нагромождение камней, замираем. По камням, по уступам прыгает перед нами живая, сверкающая на солнце водная лента. Полнейшее безлюдье – и говор тысячи голосов... Это Медовый водопад.

Перекрывая грохот воды, Вася кричит:

– Смотрите вправо, видите две скалы?

– Крепость? – кричит Женя.

– Я знаю! – кричит Роза. – Это Замок Коварства и Любви!

Мы устали на «Замок». Кто из нас не слышал легенду про эту двухбашенную скалу? Не знал рассказа про пастуха и княжескую дочь, про их любовь? Родители хотели их разлучить. Они же поклялись броситься с этой скалы вместе... Пастух разбился о камни, а его возлюбленная испугалась, осталась жить...

На берегу речушки – продолжение водопада, но Женя объявила привал. Мы расположились в тени терновника, разросшиеся кусты которого протянули широкую сеть вдоль кручи. Рядом с нами – запруда! Мы разделись. Я немного стеснялся, но увидев, как свободно чувствовали себя мальчишки, разделся тоже. Девочки скрылись за кустами, откуда появились в беленьких трусиках. Роза была, как мы, но Женя – другая. У неё было то, чего никто из нас не видел, – слегка наметившаяся грудь.

Туча приблизилась незаметно, и мы опомнились, лишь когда первые крупные капли упали на наши головы. Забились под нависающую над тропинкой скалу, тесно прижались друг к другу, упершись подбородками в колени. Слева от меня был Вася, чьи чёрные блестящие глаза странно вспыхивали при всплеске молнии. Он, как и я, наверное, впитывал в эти мгновения всё целиком: и отлогий спуск, и клубящиеся над нами тучи, и солнечный город вдали, и всех нас, ребят.

Гроза, разогнавшись над нашей скалой, катилась вдаль, а солнечные столбы перемещались дальше к горизонту. Дождь падал уже на город, а здесь его нет, и все зашевелились, первым выскочил, весело лая, Лунат, а последней вышла Женя, которая сказала, что пора домой, что мы загуляли, а дома волнуются родители.

* * *

Пора было и в школу поступать. Четырёхлетка помещалась в одноэтажном здании с чугунной решёткой. Сквозь её прутья бурно прорывались изнутри ветви кустарников. Рядом шумела речка Ольховка. Хорошо помню улицу Лермонтова с тротуарами в белых плитках. Улица расплзалась на два рукава: один упирался в каменный собор, куда меня приводила тётя Маня, второй же – с лестницей каскадами – уклонялся в Крепостной переулочек, за которым начинался знаменитый парк с Красными Камнями и зеркальным источником... Помню и старинный двухэтажный дом в колоннах и балконах, побитый и потемневший от времени. В нём жила Тоня Кубенская, моя соученица, с которой я некоторое время дружил. Школа была смешанная: за каждой партией – девочка и мальчик. Учила нас всему понемногу старушка Надежда Васильевна, ни в чём нас не притеснявшая и не умевшая ставить плохие оценки. Кое-как нас переводили из класса в класс... Зато директор Прасковья Андреевна Осянина была не учительница наша, а мучительница, постоянно изумлённая и негодующая. Придиралась к каждой мелочи...

Мне однажды досталось за рисунок на обратной стороне доски: «Два часа после уроков, а завтра придёшь с матерью...» (Конечно, кудрявый ягнёнок в слезах напоминал мою соседку по парте Аллу Соколову, а косоглазый волк – Прасковью). Даже теперь, после целой жизни, я вспоминаю эти «два часа» в начале жизни с чувством печали и растроганности. Дело в том, что вместе со мной осталась в пустом классе Тоня Кубенская. Она читала вслух «Робинзона Крузо», а я готовил домашнее задание. Потом я провожал её домой и чуть-чуть гордился: в школе Тоня была на особом счету. Отец у неё был военспец, летом Тоня с мамой обычно уезжали в Москву.

Однажды мы с моей маленькой верной подружкой решили пойти на Змейку, где будет гулянье... На Змейке город встречал терский казачий отряд. Выйдя из Грузии, казаки пересекли главный хребет и с Клухорского перевала направились прямо сюда, к нам. Реяли флаги, гремел, блестя медью, оркестр, в палатках торговали пирожками и конфетами. Курортников в полотняных костюмах было больше, чем местных. Наспех сбитая из стволов молодых деревьев арка была увита цветами и полотнищем: «Добро пожаловать, герои Клухора!» Мы бродили в толпе, покупали леденцы на палочках и жадно всматривались вдаль. Вдруг из-за холма показался бешено скачущий верховой... «Сейчас будут!» Грянул марш. Казаки ехали шагом, усталые, улыбающиеся терцы. Одеты и вооружены они были, как джигиты-горцы. Потом был митинг, речи. Что-то вроде: «Наше казачество – верные защитники народа».

Солнце склонялось к закату, я проводил Тоню к Зеркальному источнику. За этот день я узнал, что Тоня была застенчивой и, волнуясь, становилась неловкой в движениях, в

разговоре. Но эти светло-голубые глаза, нос с горбинкой, небольшой рот, умеющий неожиданно улыбнуться, память хранит до сего дня. Она раскраснелась, была так безмолвно благодарна за проведённый вместе день... При выходе из парка в какой-то безлюдной аллейке я обнял её за плечи, и мы, ещё совсем дети, неловко поцеловались. В первый и последний раз.

Мне нравится болеть. Мать не дергает меня, как обычно, притихшая, мягкая, ласковая. Я читаю. «Робинзона Крузо»... Это волшебно-музыкальное имя навсегда вошло в душу. Теперь я Робинзон, проведший на необитаемом острове двадцать пять лет...

Идёт урок. Надежда Васильевна что-то рассказывает. На коленях у меня «Оливер Твист», дома поджидает «Пиквикский клуб»... Голова вперёд, глаза скользят по строчкам, а старушка обращается ко мне с каким-то вопросом, класс утихает, оглядывается. До меня доходит, что я в центре внимания... Пренеприятное положение!

Станция Минутка. Пионерлагерь. Просыпаюсь от птичьего гомона за настезь открытым окном. Поблёскивают в солнечных лучах листья сада. Ребята ещё спят. Под подушкой – «Гаргантюа и Пантагрюэль» (детское издание). Хорошо, скрестив руки под голову, смотреть в окно, в будущее. Впереди – целая жизнь, и неизвестно, что она припасла для меня. Зачем я живу на свете? Чего хочу? Кем буду? – вопросы, вопросы... Что меня ждёт? Но за окном так спокойно, птички голоса перекликаются так мирно, что будущее кажется безмятежным, а жизнь – желанной и многообещающей.

Солнечное утро во дворе. Кое-где хлопают двери: хозяйки спешат на рынок за речкой Аликановкой. И мать отправилась туда. Мне с веранды видна Мария, девушка, жившая со своими родителями в одной из квартир. Она сидит на табурете, сбросив туфли, придерживая халатик на груди, склоняясь к большой книге на коленях. Чёрная шапка непричёсанных кудрей оттеняет белизну её лба, и хотя она только с постели и, наверное, не умыта, всё равно кажется свежей и чистой. Я спускаюсь вниз, становлюсь сбоку, заглядываю в книгу. Мария не сердится. Листает книгу, возвращается к началу, и на солнце появляется портрет автора. Мария разительно похожа на него.

– Байрон – учитель Пушкина, – говорит Мария. Я еще не знаю, что эта минута, пронизанная солнцем, что сама девушка, черноволокосая, восемнадцатилетняя, и тень её на стене, и это прекрасное гордое лицо на портрете, и сказанное ею, – словом, всё, вместившееся в это мгновение, припомнится мне через много-много лет во всей своей первозданной свежести...

Помню, как взрослые заговорили вдруг, что рабочие в Вене захватили целые кварталы. Социал-демократический Шутцбунд решился на вооруженное восстание. Насчитывались сотни убитых и раненых. Ожидалось, что рабочие зашевелятся и в Германии. Следи-

ли за боями в Вене по радио и газетам. Потом газеты перестали сообщать о восставших, и стало понятно, что революция в Австрии подавлена. А спустя, кажется, месяц Кисловодск взбудоражило известие, что венцы, участники восстания, едут в наш город. Где же и отдохнуть было борцам за свободу, как не на северокавказских курортах?!

Помню празднично убранный вокзал, звуки оркестра, поезд, замедляющий ход, крепкие мужественные лица героев в окнах и дверях вагонов, их поднятые в знак приветствия кулаки, их возгласы, их береты... Как сложилась их судьба в дальнейшем? Многие ли остались на свободе до войны?

Набегали тучи, холодным ветром обдавало лицо, и ты как бы просыпался, чтобы содрогнуться, взирая на нелепое, Непонятное, Страшное. Из-за угла дома, с Осовиахи-мовской улицы, по мостовой сворачивает колонна людей. Серо-бледным рядам их нету конца, они спешат, у каждого котомка или сумка, каждый смотрит исподлобья, то ли растерянно, то ли остро, то ли улыбаясь. Да, смотрели и так – улыбаясь... Впереди колонны и с боков по тротуарам решительно шагают в больших сапогах военные, у каждого в руке – наган... Слышатся окрики, звук шагов, кашель, и вот уже прошла колонна призраков, и вновь пуст Сапёрный переулок. Что за люди? Кто их гонит? Куда?

Вечером спрашиваю у матери. Отец поднимает голову из-за газеты:

– Вырастешь, Лёня, узнаешь...

Ночью ворочаюсь в постели. А перед глазами они, бледно-серые лица горбящихся людей – по городу их гнали быстро. За другим углом – автобаза в полукилometре от конца Сапёрного. По ночам там заводят моторы. Ребята шёпчутся: «расстреливают!..» Кого и за что, я узнал, когда вырос и сам в чем-то разделил их судьбу....

Утром июньского дня мы: Вася, Володя и я, покинули своих родителей. Сбежали в Америку. За пазухой – яблоки и карта с Кавказом и Москвой. Позади остались неясные мечты на лестнице, лицо матери, с которой я прощался навсегда, книги и школа. Ночь провели в копне сена над мутной Ольховкой, а с рассветом двинулись дальше к западу, где клубились белые тучи.

Какие мы были наивные, как безоглядно мы пустились в жизнь, которую слишком мало знали! По дорогам – сначала грунтовой, потом водной и, наконец, железной – добрались-таки до Ростова, где попали в компанию бывалых ребят, какое-то время шатались вместе, пока, голодных и грязных, нас не выловила милиция и не отправила с провожатым в Кисловодск... Родители встретили тихо-мирно, с перепуганными лицами, а на другой день отодрали: Ваську – отец, мать – меня. С мечтой об Америке было покончено навсегда.

Но жизнь продолжалась. Нам оставалось недолго прожить в Кисловодске. Отец страдал сердечным заболеванием, и врач посоветовал сменить горный климат на степной. Родители решили отправиться в родной город отца – в Николаев.

Пришлось расстаться с Казачьей горкой, с улицами, знакомыми до последней трещинки на тротуаре, с кинотеатром, где я видел первый в моей жизни настоящий спектакль — «Ревизор»...

По пути в Николаев остановились в Синельниково. В первый же вечер узнали от дяди Афанасия и тёти Анюты, что накануне «воинствующие безбожники», местные активисты, вызвали вечером во двор священника и его жену, облили бензином и сожгли. Священник был из любимых народом. Сегодня хоронили их, провожали тысячи людей... Дядя неверующий, но пришёл в ужас от такого злодеяния, даже слёг. Родители мои, хотя и считали себя атеистами, тоже сочувствовали убиенным, но больше молчали. Да и что они могли сказать? Так уж получилось, что свидание с дядей и тётёй было омрачено этим обстоятельством, и мы не задержались у них надолго, хотя мне очень хотелось: я любил их обоих, и они это чувствовали.

В марте 1938-го года мы прибыли в Николаев. С вокзала поехали на Сенную улицу, 29, к бабушке Дорофее, в полуподвальную комнату, где предстояло жить четвером. Она как будто была довольна, отнеслась к нам сердечно, с прибаутками: «чем богаты, тем и рады» и «в тесноте, да не в обиде». Отец строил планы, уверенно говорил об устройстве на работу, о том, что стеснять бабушку будем недолго. В самом деле через несколько дней его приняли в пожарную команду, поставили в очередь на квартиру, о чём он радостно сообщил нам.

Вскоре сердце напомнило о себе, он уже не вставал, задыхался и только повторял: «Горит, горит в груди. Воздуха, воздуха!..» Мы не отходили от него, по очереди опаживали его лицо газетами, но боли не унимались, и отца отвезли в больницу... Там он и умер. Так бабушка Дора пережила десятого из своих детей, и мы остались втроем. Отца хоронили пожарники, был оркестр, красное знамя с чёрным крепом, на кладбище говорили странные вещи: «умер как коммунист», «на боевом посту», «сгорел на работе». Похоронили его почти рядом с братской могилой защитников Севастополя в Крымскую кампанию, недалеко от церкви.

Мать устроилась уборщицей в продуктовом магазине, и добираться туда приходилось целый час на трамвае. А я стал ходить в школу № 20, что в Курьерском переулке в трёх кварталах от нашего полуподвала. Школа помещалась в длинном одноэтажном доме с большим двором, где росло несколько акаций. Было где попрыгать, побегать на большой перемене. Я быстро освоился с одноклассниками, подружился с неторопливым полноватым Юрой Ходзицким и всегда щеголевато одетым Лёхой Гольденбергом. Помню ещё первого ученика Юру Козленко и Володю Быстрова на протезе. Совсем мальчонкой он попал под трамвай и потерял ногу. Несмотря на хромоту, ходил красиво, голову всегда держал высоко. А уж плавал в лимане, как рыба, быстрее нас доплывал до стоящей в километре от берега яхты «Арктика». И это с одной ногой!

Из девочек больше всего запомнились добрая и общительная Муся Слоним, строгая в поступках и словах Ляля Винокурова, белокурая красивая Тамара Руденко и староста класса Зина Корчмарь в очках... Была ещё Римма Лихая, которая оправдывала свою фамилию бойкостью нрава и изменчивостью настроения, пожалуй, самая интересная из девочек класса.

Жили в предвоенное время бедно, только некоторые могли одеться лучше других, но большинство бегало в одних и тех же сереньких платицах или брючках. На переменах не умолкал галдёж и весёлый смех. На воротах чья-то рука выводила: «Варвара – б...!» (завуч школы Варвара Владимировна, строгая, даже вредная, но внешне привлекательная, могла при всех сказать девочке, что у неё уши грязные). Словом, всё, как у всех детей всех поколений...

С Юрием Ходзицким ходили в краеведческий музей, где размещались сокровища, добытые в Ольвии, древнегреческой колонии в тридцати километрах от Николаева. Обломки статуй, амфоры разных форм, картины на исторические темы, карты, медные дельфинчики, служившие некогда ходячей монетой, – всё запечатлевалось в памяти. Как чудесно звучали в устах нашей милой исторички Фиры Моисеевны египетские и греческие имена и названия: Аменхотеп, Фемистокл, Демосфен, Афина-Паллада, Пантеон!..

Вспоминая детство, часто жалуется на плохих учителей. Я в 20-й школе таких не помню. За редким исключением, все они умели пробудить любознательность, пытливость, желание шевелить мозгами и не отставать в учёбе от остальных. Ада Марковна на уроках географии любила рассказывать о своей молодости, когда она немало поездила по белу свету, побывала в Европе и Америке. Это было всегда захватывающе интересно.

Математичка Екатерина Васильевна, очень тихая, скромная, может быть, из-за своей близорукости, запомнилась тем, что над ней нередко подшучивали, иногда переходя всякую меру. Она никогда не жаловалась, и, вспоминая её огорчение, её беспомощность перед шалунами, становится больно самому... И через столько лет!.. Прасковья Фёдоровна вела уроки украинского языка и литературы – наше горе и страх, хотя и язык, и поэты украинские нравились за благозвучие.

Но обожали мы только Александру Демьяновну Земницкую, нашу классную руководительницу, преподававшую русский язык. Юра Ходзицкий был её сын, и, помнится, обращалась она с ним строже, чем с остальными. Дети очень чувствуют, когда их любят или не любят, и отвечают тем же. Александра Демьяновна любила нас, Варвара Владимировна – нет.

Учитель русской литературы Николай Павлович Мирошниченко был по-мужски взыскателен к нам, но и добр, открыт. Чувствовалось, что он никогда нам не врёт, говорит, как думает. Так, однажды, Козленко, Быстров и я, окружив его на перемене в коридоре, спросили, кто теперь самый большой оратор в мире. Николай Павлович внимательно оглядел каждого и сказал: Эдуард Эррио и Лев Давыдович Троцкий. (Учитывая, что шёл 1939-й год, эти имена могли стоить учителю свободы и даже жизни, и он, наверное, знал об этом, но кривить перед нами душой не мог и не хотел!)

«Фауленцер» — первое нелегальное в жизни моей «общество», шалость мальчишки, вовлекшего соучеников, бессознательная игра с огнём. В членах кружка половина класса. Одно из правил — не учить уроков (Faulenzer — по-русски лентяй). Два-три члена считались «радистами»: должны были подсказывать по учебникам вызванному к доске. Правило второе — сохранение тайны. Это было наиболее интригующим для 13-14-ти летних «злоумышленников». В этой проделке, может, и было что-то роковое, чего я, увлечённый игрой, совершенно не сознавал.

«Фауленцер» действовал недели две. Учёбу запустили, нахватили «неудов», так как «радисты» работали бездарно: то подсказывали, то забывали. Окончилось тем, что староста класса очкастая Зина Корчмарь донесла директору. Все всполошились. После уроков ребят оставили в школе, девочек послали за родителями. Мы сначала не знали, что случилось. Родители приходили запуганные, недоумевающие. Рассаживались за парты, которые мы очистили для них, сгрудившись на одной половине классной комнаты.

Вошёл директор, экспансивный армянин с чрезвычайно рассерженным лицом, за ним завуч Варвара Владимировна, суровая, раздражённая, Александра Демьяновна, подавленная и встревоженная. Директор понёсся с места в карьер. Из его бурной речи присутствующие узнали, что в советской школе была организована «подпольная, чуждая нам, группа учеников», они «систематически вели работу по разложению других учащихся», что «это дело политическое» и т. п. У родителей всё больше вытягивались лица. А мы были поражены собственной злонамеренностью. После директора выступила первая ученица Зина Корчмарь, которая-де вывела нас «на чистую воду»...

Я понимал, что вся вина на мне. Я поднял руку. Бедная мать сидела ни жива, ни мертва. Меня до сих пор мучает то, с какой робостью я заговорил. Из-за стыда перед ребятами и их родителями и особенно перед матерью своей. Но как бы сбивчиво я ни говорил, я признал главное: что общество придумал сам, что ничего зловредного я не видел в этом, а одну только игру. Ребята не виноваты, я подбил их, меня одного и наказывайте...

После паузы, которая длилась минуты две-три, заговорила Варвара Владимировна. Конечно, сказала она, эта игра, придуманная учениками, — серьёзное нарушение школьной дисциплины, за это надо отвечать. Она предлагает ограничиться собственными мерами, вплоть до исключения виновника из школы. Александра Демьяновна, хотя и пожурила меня, но прибавила, что повинную голову не секут. Я, мол, ученик способный, живой, у меня хорошие отметки, а в школе плохо работают кружки, ребятам некуда деться в свободное время, вот они и придумывают всякое... Директор закруглил собрание, уже успокоившись и на миролюбивой ноте (теперь я думаю, что раздувать дело было не в его интересах) ограничился назидательными сентенциями в адрес родителей и учителей, а нам погрозил пальцем. На том всё дело и кончилось, если не считать домашнего разбирательства с матерью, о чём я лучше умолчу.

Восстановив в памяти тот эпизод далекого детства, невольно подумал, что, если бы школьное начальство сообщило «куда надо», какой подарок получил бы следователь НКВД! Главное, не надо ничего придумывать. Общество было? Было. Даже с немецким названием. Членские билеты были? Да, мы, дураки, писали и билеты. «Радисты» были? Секретность? Какая никакая деятельность? Оставалось добавить политики, какой-нибудь иностранной чертовщинки, и — «загремели» бы за милую душу все пятнадцать «членов»! Скорее всего, детьми не ограничилось бы, потянули б и взрослых.

Римма Лихая позвала меня в театр. Вот это номер! Оказывается, мама её — артистка ТЮЗа, и ставят там «Мещанина во дворянстве» Мольера. Мама вручила дочке две контрамарки, посоветовав пригласить кого-нибудь из школьных подруг. Она решила: меня! Что ж, пошли, сидели рядом, смотрели, не отрываясь, на сцену. Спектакль был яркий, праздничный, с музыкой и танцами. Я был доволен, проводил Римму домой, но, признаться, весь вечер чувствовал себя не в своей тарелке, не знал, о чём с ней говорить. Хотя спасибо сказал, и то хорошо... Месяца через два, вновь в воскресенье, Римма позвала меня, на сей раз в художественный музей.

Это событие я помню до сих пор, но тогда оно повергло меня в смятение. С девчонками водиться я не умел. Вообще говоря, девчонки были для меня тайной за семью печатями, создания неведомой породы, от которых можно было ждать невесты чего. А тут самая заметная в классе девочка говорит, что у неё есть деньги на билеты в музей и ей хочется пойти туда со мной. Конечно, их семья жила в большем достатке, чем мы с мамой. Отец Риммы был начальником охраны судостроительного завода, значит, входил в городскую элиту, а мать — актриса. Даже держали домработницу Шесту.

В бывшем польском костёле на Глазенаповской улице, где помещался теперь музей, шум и зной города обрывались, застревая в решётчатых окнах. Кругом лежали ковры, и время дышало в них прохладой и тишиной. Музей был основан ещё до революции художником Верещагиным, подарившим родному городу несколько своих картин. Помню картины с убитым французского солдатом, над которым уже кружит стервятник, помню триптих «Письмо домой»: 1) Раненый солдат диктует письмо сестре милосердия; 2) Солдату плохо, сестра встревожена; 3) Он скончался. Сестра стоит над ним. Письмо валяется под кроватью. В левом нефе собора висели картины Мурашко и Судковского. Рядом большое, во всю стену, полотно Айвазовского: скалистый берег: бушующие волны, и в центре картины — Пушкин, как иллюстрация к его стихотворению «Прощай, свободная стихия...»

А вот блеснула золотом табличка: «Выставка картин Мазурина», местного художника. Навстречу нам поднялась седая старушка. Опираясь на трость, она прищуренно смотрела на нас. Седые волосы и белейшие кружева воротничка обрамляли смуглое лицо, спокойное и важное в своих морщинах. Она повела рукой, показывая на акварели: какие-то руины, лица крестьян, река и степные жаркие просторы, домики в саду, тихие улочки провинциального города.

— Это начальные работы художника, — говорила старушка. — Трудился, забывал еду и жену и стал мастером. Вот портрет натурщика: обнажённый мужчина на табуретке. Картина была представлена в Академию, отмечена золотой медалью... На портрете — человек, известный всему миру.

— Да! Правда! Это Горький! — вскрикнула Римма.

Наш экскурсовод одобрительно посмотрела на неё:

— Алексей Максимович тогда пешком исходил всю Россию. И возле нашего города заступился за женщину, которую стегал кнутом озверевший муж. Был сам избит до полусмерти пьяными мужиками. Месяц пролежал в нашей николаевской больнице. Когда вышел, в кармане не было ни гроша, и его пригласил позировать Мазурин.

Мы обратились к противоположной стене. Выделялся портрет девушки в светлом, глухом до подбородка платье. И она, и деревья были пронизаны солнечными лучами, которые как бы терялись в зале где-то у наших ног. Девушка с картины жалобно смотрела на нас. Старушка пояснила:

— Девица, как всякая в её возрасте, здоровая, красивая, глупая. Служила художнику натурщицей, потом стала невестой. Видела, что он хороший и какой-то беззащитный. Читала Гамсуна, головка её была полна всяких романтических идей. Ужасно скучала в глуши. Здесь она ещё чувствует себя самой несчастной, но не знает, что протянет долго, и мужа похоронит, и будет сторожить его работы, рассказывать о нём экскурсантам...

Мы рассматривали девушку, у которой из-под жёлтой соломенной шляпки выбивались буйные белокурые пряди волос. Потом перевели взгляд на седую голову старушки...

— Так-то вот, — сказала она. — Каждый это проходит. Всё меняется. Неизменно только это...

Она провела рукой вдоль стен с картинами мужа. Римма шагнула к ней.

— Стойте, девочка. Жалеть меня не надо. Вы, как понимаю, дружите. Будьте добры к нему, жизнь его ждёт тяжёлая...

Старушка вздохнула и прибавила:

— Извините, что наставляю вас. Вы здесь не посторонние, я это сразу почувствовала. Еще приходите, через год, через десять лет. Меня не будет, но вы всё равно приходите к ней. А сейчас простите меня, старую.

И она отвернулась. Куда? В себя, в одиночество, в давно минувшее?..

Мы вышли. Солнце уже коснулось деревьев на бульваре. Темнела зелень, Римма была бледна. Молчали. Возле дома остановились. Нужно было расходиться. Она повернулась, посмотрела мне в глаза и обняла за шею...

Ах, эти довоенные дворы южных городов! Залитые солнцем, густонаселённые, где жизнь людей протекает на глазах друг друга, где детвора разных возрастов ползает по мощённому камешками двору, где мадам Майер чистит рыбу под своими окнами, а в каждом коридоре надрываются примусы, где в глубине двора ругаются соседки, не поде-

лившие бельевую верёвку, а мужчины вертят в руках папиросы и обсуждают войну в Европе. На своём порожке сидит, жмурясь на солнце, 18-летняя признанная дворовая красавица Эдя Тахтер, а мимо проходит, покачиваясь с полочки, весёлый Иван Васильевич Кобыш, слесарь с завода Марти. Трясёт рядом у своих дверей Феня Борисовна Перман и всё поглядывает на ворота, не идёт ли с работы муж Юдя.

Ещё мир, какой никакой, но мир! Ещё мальчишки с криком гоняют по песчаной улочке тряпичный мяч, еще мирно стучат на стыках трамваи на Глазенаповской, ещё из раскрытых окон доносится беззаботный смех, а по радио передают песню: «Броня крепка, и танки наши быстры...». Мальчишек во дворе немного: Коля, Фима Перман и я. Правда, иногда вспыхивает «война» ребят, живущих на Сенной, с «дачниками». Тогда мобилизуются старшие и младшие, тогда бьют по «врагу» из рогаток или под крики «Ура-а!» идут в атаку... Но над страной ещё чистое мирное небо...

Как-то с мамой пошли в кино, а по возвращении обнаружили, что бабушка Дорофeya умерла. Кончилась её «большая жизнь»... Остались с матерью вдвоём, если не считать маминных родных – сестры Марии и брата Афанасия.

Перед финской кампанией маме было видение. Она стирала бельё в коридоре, когда вдруг услышала шаги в комнате. «Я прямо-таки обмерла, – рассказывала мать, – острожно подобралась к двери и заглянула в комнату. И увидела Ленина! Стоит, руки в карманах, кепка на голове, смотрит на меня. Я так и села на пол. Когда пришла в себя, его уже не было». Померещилось ей или нет, знак был плохой и вещал недоброе.

Война с белофиннами удивила всех. Ждали быстрой победы над бывшей провинцией России. Но шли недели, месяцы. Возникли очереди за мукой, сахаром. Исчезли из продажи соль, спички, мыло. Я приучился читать «Южную правду», сообщавшую об ужасных налётах немецких бомбардировщиков на английские города. А по радио гремели песни:

*Кони сытые бьют копытами.
Встретим мы по-сталински врага!..*

Мать учила меня: «Туже поясок, меньше есть хочется...». Ежедневно на трамвае еду к ней на работу. Захожу с чёрного хода в магазин, мать, стараясь, чтобы не увидели, выносит поллитровую банку молока и франзольку. Это мой роскошный обед сорокового года...

В областной библиотеке прошёл вечер Максима Рыльского – первого увиденного мной живого поэта. Он занятно рассказывал о литературных делах в Киеве, по просьбе присутствующих читал стихи, особенно ранние, и вдруг погасло электричество (тогда это случалось часто). Вечер продолжался при свечах. «Так даже лучше», – пошутил Максим Таддеевич. Задавали вопросы, в том числе довольно глупые, например: «Что вы почувствовали, узнав о награждении вас орденом Ленина?» Ответ: «Мне позвонил Тычина в четыре утра, поздравил. К шести собрались все награждённые, выпили, как положено...» – и всё это со смущённой улыбкой.

В этот год я много читал поэтов и даже сам написал стихотворение, которое показал Римме:

*В пыли, на камнях раздорожья,
Слепой и сгорбленный старик,
На слух ловя шаги прохожих,
К столбу дорожному приник.
Но чья-то жалость прозвучала
Паденьем звонким пятака,
И долго шарила, искала
Его дрожащая рука.
Головки лёгким поворотом
Ты подарила мне лишь взгляд,
И, как слепец, искал я что-то,
Как он, случайному был рад...*

Римма прочла стихи подруге, и передала её отзыв: «жалкое подражание Лермонтову!» Вот это да!.. Стоило ли браться за перо и марать бумагу?!

Помню приезд в Николаев героев-полярников Папанина и Ширшова, площадь, заполненную толпой, чуть не опрокинувшей трибуну, поднятые в отчаянии над головой руки Папанина. Народ очень любил своих героев... Помню и предвоенный первомайский парад, местных руководителей, почему-то очень пузатых. Поднимая ладони, они приветствовали колонны моряков, выходявшие на площадь с Адмиральской улицы. Сначала шли морские офицеры, впереди которых шагал сухонький адмирал Кулешов с позолоченным кортиком на поясе. Было много цветов, гремел оркестр... (Кто тогда мог предположить, что эти парни в бескозырках, эти молодцы, через полтора-два месяца столкнутся со страшным и беспощадным врагом — механизированными частями вермахта, а Кулешов за быструю сдачу Николаева будет расстрелян маршалом Будённым в его ставке в Крыму?)

Пока ещё мир. Пока ещё в клубе ЭМТа идёт суд над старым мастером-корабелом, попавшим под «Указ об опозданиях и прогулах». Старик загулял на свадьбе собственной дочери, на следующее утро опоздал на полчаса на работу и получил теперь пять лет лишения свободы. У входа горестно плакали и причитали женщины: «Как же так! Надо послать телеграмму Калинину, пусть заступится наш всесоюзный староста!..»

Учёные мужи говорят, что человек формируется в детстве, к 8-10 годам есть и характер, и даже мировоззрение. Всё, что будет потом, пути-дороги жизни, познание того-иного, просто накладывается на уже готовый характер и взгляды, полученные в детстве... Не потому ли мы так часто вспоминаем свои детские годы?..

Был день прозрачной синевы и медленно летящих облаков, день такой по южному яркой, что, казалось, сам воздух дрожит и переливается. В прохладном сумраке комнаты мы играли в шахматы с Колей Свистуновым, когда во двор вбежала восьмилетняя Розитта.

— Война! Война! — весело закричала девчонка. — Немцы бомбили Киев и Минск!

Мы смешали фигуры, помчались на улицу. У столба с чёрным раструбом собралась толпа. В три часа радио повторило короткую речь Молотова.

— А почему молчит Сталин? — спросили в толпе.

Кто-то крикнул:

— Через месяц будем в Берлине, товарищи!

И ещё помню возглас:

— Это им не Польша! Не Франция! Это Россия!

Весь день прошёл в напряжённом ожидании. Радио ожило лишь в одиннадцать вечера, когда зачитали указ о всеобщей мобилизации... И потянулись дни, из которых память выхватывает то одно, то другое. По сводкам Информбюро трудно было понять, где немцы, но становилось ясно одно: они наступают...

В облике и походке людей появилась особая сосредоточенность и даже молодцеватость. Вскоре пошли беженцы, немцы оказались ближе, чем предполагалось. По Варшавскому мосту через лиман ползли машины, шли моряки и дети, двигались подводы, велосипеды, шли молодые и старые, и всё гудело, кричало, плакало, когда на бреющем полёте проносились немецкие штурмовики.

Эвакуация была похожа на бегство. Пристани и вокзалы забыты, ходили слухи о предательской пятой колонне в нашем тылу. Кто-то видел в степи стоящих во весь рост на танковых башнях вражеских наблюдателей с биноклями.

У нашей калитки боец попросил воды. Высокий, ладный, с винтовкой через плечо дулом вниз, чёрный от солнца и пыли, он пил воду, обхватив ведро, и вода лилась ему на грудь. Мы молча смотрели на него, и он сказал, что, когда в окопах кончились боеприпасы, машины подбросили на передовую одни противогазы, огромное количество противогазов, и ничего более. «Измена! — прибавил он и плюнул. — Выдали нас немцам с потрохами!..»

Помню, как простился с Риммой, которую мама увозила в Ташкент, как я потом плёлся по улицам, спрашивая себя: уезжать тоже? А мать? Как в тумане вспоминаются последние трое суток перед вторжением немцев, разбитые магазины на Советской, погреб на Сенной, где, по колено в вине, покачивался отставший от части пьяный боец.

В какую-то минуту меня захватила паника («Ведь немцы идут!»), и я бросился уходить пешком. Решил — через Богоявленск, но в первом же селе узнал, что дороги на юг и юго-восток перерезаны вражескими мотоциклистами. На первом попавшемся автофургоне вернулся назад, но шофёр испугался, что в городе фрицы, и повернул обратно. Я успел

соскочить и побрёл к городу, над которым металось пламя, и дым столбом поднимался к небу.

И внезапно почти рядом с собой я увидел этих самых фрицев. На въезде в Николаев из колонки била струя, а вокруг, хохоча и перекликаясь, толпились солдаты, выхватывая пригоршнями воду и плеща себе на лица и шею. Обыкновенные, загорелые, весёлые. Только что вышли из боя, опьянели от своей победы и от того, что остались живы...

«Это немецкий язык?» — подумал я, вслушиваясь в лающую речь, так не похожую на школьный Deutsch, с которым мы маялись. На обочине дороги валялись мотоциклы и трёхногий миномёт. Несколько баб с круглыми плетёнками несмело подошли ближе, и солдаты обступили их, запуская руки в корзины, хватая яблоки, груши, сливы... Обобрав женщин, пропустили нас в город. За громадой элеватора я повернул на Слободку. Из-за угла метнулись трое красноармейцев: «Немцев видел, пацан?» Едва они ввалились в чью-то калитку, как на улицу медленно выехала колонна бронетранспортёров. В переднем, стоя, ехал офицер с биноклем. Увидел на пустой улице меня, проводил долгим взглядом. На перекрёстке неторопливо повернули назад. «Как на прогулке, гады!..» — мелькнуло в голове.

На углу Херсонской и Московской я остановился, ухватившись за дерево. Два блондина: немец с неестественно откинутой головой и один из наших — прислонились к стене, свесив руки меж согнутых колен, словно ненадолго присели отдохнуть... Между разбитыми танками с белыми крестами и противотанковым орудием тоже лежали убитые — немцы и наши. Улица ещё дышала отгрохотавшим коротким боем.

В седьмом часу я постучал в калитку на Сенной. Мать, бледная, с дрожащими губами, обняла меня, гладила мои волосы, и я почувствовал на своем лице слёзы... Её или мои? «Где же ты был, сынок?..»

Стрельба в районе обсерватории и яхтклуба продолжалась. Там ещё дрались. Подошли соседи: дядя Саша Чубаров, маленькая Рабинович, степенная тётя Нюся Кобыш, худая, со впавшими глазами Ольга Андреевна, художница. Стали спрашивать, где немцы?

На водонапорной башне бился на ветру красный флаг, к которому по железной лестнице подбирался немец. Он был на полпути, когда не то с моста, не то из яхтклуба застучал пулемёт. «Это морячки!» — крикнула с балкона солдатка Зоя с ребёнком на руках.

Немец оторвался от лестницы и полетел в пустоту. Женщины ахнули. И тотчас заговорили миномёты. Они били по яхтклубу и Лескам, и другой солдат добрался-таки, сорвал флаг и воткнул свой, гитлеровский. Но опять подал голос пулемёт — и древко, перерезанное очередью, вместе с немцем упало вниз... Бой длился и в темноте. Мы разошлись по квартирам, не зажигая света, — бледными вспышками разрывов озарялись окна...

Утром на башне уже болтался флаг со свастики. Моряки в яхтклубе пали смертью храбрых, или, будем верить, удалось им оторваться от противника, уйти на катерах вниз по лиману. Бой за знамя на водонапорной башне видели сотни, а то и тысячи николаевцев, но почему-то нигде ни словечком за все послевоенные годы о нём не упоминается.

На другой день вечером Сергей, муж больной художницы, позвал меня и Колю к себе послушать приёмник. В сводке об оставленных городах не было ни слова. То же — на следующий день. Ольга Андреевна, которая уже не вставала, поманила меня и раскрыла книгу. Я прочёл:

Скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать; ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедою; вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои...

— Это Библия, пророк Иеремия, — прошептала она, и глаза её лихорадочно блеснули.

Через лиман из Малой Коренихи и Варваровки переправлялась германская пехота, с севера в город входил мадьярский моторизованный корпус, с востока — танки вермахта...

И только через две недели мы с Сергеем, наконец-то, услышали: «Говорит Москва. От Советского Информбюро. После ожесточённых боёв наши войска оставили город Николаев... Весь железнодорожный узел взорван... У завода выставлена военная охрана. Немцы планировали восстановление завода, но оборудования не оказалось, его вывезли, а то, что осталось, было испорчено. Николаев сейчас мёртвый город, хлеба нет, рынки не торгуют. Воды в городе нет, водопровод взорван, люди ходят за водой в яхтклуб. Электростанция не работает...»

Города по-разному переносили оккупацию. Позже я узнал, что херсонцы осенью 1941-го года не испытали особого голода. Сравнительно спокойно жила Одесса, может быть, потому, что румыны — не немцы и распорядились по-своему... Николаеву же с первых дней было хуже всех. Население впало в нужду, голодало, хотя было ещё лето. Во время внезапного отхода наших войск не задумывались об одежде и продуктах, не до того было, однако чем устойчивее чувствовали себя иноземцы, тем неотвратимее вставал вопрос: как и чем жить дальше? Мы с матерью тоже голодали. Несколько килограммов прелой пшеницы с поднятой из воды баржи помогли продержаться недолго, и, однажды, преодолев страх, я вышел из дома на разведку...

Мать не отпускала ни на шаг. Еле уговорил. Улицы будто постарели, сгорбились. Людей не видно, повсюду только военные. Правда, у окна бывшей парикмахерской — кучка прохожих. Приказы, объявления, сводки, суровые жирные буквы, два языка... В бумажках говорилось про комендантский час и что попавшиеся на улице после шести будут расстреляны на месте, что жители должны снести в комендатуру оружие и приёмники (за укрытие — расстрел), что в Николаеве теперь — центр 4-го генерального округа, а земля западнее Буга именуется Транснистрия и принадлежит королевской Румынии, что в Киеве учреждён рейхскомиссариат «Украина», а вот гебитскомиссар Опперман приказывает жителям регистрироваться по месту работы (укрывшиеся будут расстреляны), отдельная регистрация назначена евреям (укрывшиеся будут повешены), что лица, пожелавшие сотрудничать, будут вознаграждены продуктами, что населению будет ежемесячно

отпускаться 1200 граммов хлеба и поллитра постного масла на каждого, а за самовольный убой скота виновные будут казнены, что войска фюрера стоят у стен Ленинграда и после ожесточённых боёв взяты Смоленск и Днепропетровск, а храбрая армия маршала Антонеску плотно облегла Одессу...

«К жителям города Николаева! Смертная казнь ожидает каждого, кто прямо или косвенно укрывает члена банды, саботажников, бродягу, беглого пленного, снабдит его продуктами или окажет ему помощь. 10000 рублей вознаграждения получит всякий, кто об их местонахождении сообщит в германскую полицию службы безопасности (Большая Морская, 23) или в украинскую полицию (ул. Франко, 46). Пока жители не возьмутся за выявление и поимку большевистских агентов, они будут нести полную ответственность за смерть заложников и подозрительных лиц. Городской комиссар д-р Отто».

Объявление на домах, где жили военные и гражданские немцы, а также фольксдойчи: «В этом доме живут немцы. Каждый, кто провинится чём-нибудь перед ними или покусится на их собственность, будет расстрелян».

Приговор: «Внимание! Приговор чрезвычайного суда в Николаеве. Обвиняемые Мария Александровская, Вера Александровская, Клавдия Цегельник приговорены к казни за антигерманское поведение. Эти трое читали антигерманскую литературу, высказывали согласие с её содержанием и распространяли её. Приговор приведён в исполнение».

Объявление: «За нарушение приказа о запрещении хранения оружия в Николаеве полевая комендатура расстреляла Владимира Левченко, Николая Рубцова, Дмитрия Мавродия, Владимира Лисовского, Виктора Пришелуцкого, Андрея Дышловского».

«Николаев — это жемчужина юга России. Наши солдаты чувствуют себя в нём спокойнее, чем дома» (из речи Розенберга, «Украинская думка», 20.XI.41).

Люди молча читали, молча переглядывались, поспешно уходили.

Я направился к Советской. Сразу бросилась в глаза на углу дома жестянка с готическими буквами: «Hitlerstrasse». Гордость Николаева, его маленький Невский проспект, — это улица Советская. Чего только она ни перевидала с тех времён, когда светлейший Потёмкин основал здесь верфи! До 1917-го года улица называлась Соборной, и со стороны Адмиральской была украшена памятником адмиралу Грейгу. Мать моя, бывало, вспоминая молодость, говорила, что когда-то левая сторона Соборной (если идти к памятнику) предназначалась для чистой публики. «По ней ходили дамы, офицерёе, пахло духами, говорили по-французски. А вот справа гуляли солдатики, матросы, прачки, белешвейки, пахло мылом, жареными семечками». По мостовой носились конки и фазтоны, и мать помнила, как однажды, извергая дым, промчался автомобиль Уточкина, зачем-то нагрнувшего сюда из Одессы. «Худой, чёрный, в кожаной кепке, и очки — два пузыря на лице... Пронёсся вихрем, только зубы блеснули, сама видела...»

Старожилы, и те не могут толком сказать, сколько разных властей перебивало в городе в гражданскую войну. Засыпали при деникинцах, просыпались под звуки марсельезы, — оказывается, ночью в город вошли французы! Врывались и разудалые григорьев-

цы, и мрачные петлюровцы. Здесь стояли усталые, апатичные солдаты кайзера, а сменили их лихие слащёвцы, даже как-то прошла горбоносая греческая кавалерия — в фесках, верхом на осликах, с ногами до самой земли. Каждая власть считала делом чести — устроить на Соборной парад с оркестром, со знамёнами причудливых расцветок, с головными уборами, заломленными набок.

Но постепенно в войне всех против всех устояли лишь грозные большевики, которые действительно смели всех, улицу назвали Советской, а статую Грейга заменили более скромным памятником Ленину. Стёрлось различие между левой и правой сторонами. Всюду замелькали женские красные косынки и мужские галифе, белые косоворотки навыпуск с тонкими наборными кавказскими поясками. Как и прежде, много было моряков, залетали и заграничные гости: французские и английские моряки, возле пивных баров возникали потасовки. Крупнейшие в России судоверфи «Наваль и Руссуд» были переименованы в завод имени Андрэ Марти и завод имени 61-го коммунара. В ходу была страсть всё переименовывать. Два раза в году — весной и осенью — по Советской двигались многотысячные толпы, и в толпе — мать в единственном платье из светло-коричневого бархата с приколотой на груди брошкой — подарок покойного отца. Гремели марши. Знамёна и транспаранты в сочетании с зеленью акаций, шелковиц и тополей сливались в мажорную, неповторимо праздничную картину. Теперь здесь было всё по-другому.

С балкона свисают полотнища: со свастикой в белом круге и жёлто-голубое — украинских сепаратистов. Над дверью вывеска: «Міська Управа». Входят и выходят «парубки» с белой повязкой на рукаве. У каждого — винтовка или автомат, взгляд исподлобья...

Я, как замороженный, смотрел на них, когда вдруг заметил, что рядом следит за входом в Управу ещё один худой и рослый подросток.

— Гарно устроились хлопцы? — подмигнул он мне.

— Дуже гарно, — ответил я в тон. — Не успели наши уйти — тут как тут.

Мы разговорились. Валька сразу понравился мне. Что-то было в нём решительное, доброе, быстрое.

— Айда отсюда, а то и пристрелят сдуру, — сказал он. — По Фалеевской сейчас пленных будут гнать.

В самом деле там уже шли пленные: в рваных шинелях, выцветших пилотках, натянутых на уши, в разбитой обуви, облепленной глиной, с посиневшими от истощения лицами и странным взглядом, какой я замечал только у пленных, — погружённым в себя и в то же время не упускающим ничего вокруг. Чьи-то сыновья, мужья и отцы, чьи-то братья...

С тротуаров женщины высматривали своих и, не находя их, вытаскивали из-за пазухи или узелков варёные картофелины, лепёшки, чеснок. И как растение поворачивается к свету, так пленные обращали свои лица к хлебу. Но между хлебом и пленными шли эти, с белыми повязками, а сзади колонну замыкали солдаты. Шарканье ботинок о булыжник, стук подковок на полицейских сапогах, тяжёлое дыхание идущих, резкие команды конвоиров, взволнованные голоса женщин — всё это осталось со мной на всю жизнь.

— Геть! Геть! — взмахивали руками полицаи, как бы отменяя женщин подальше от мостовой.

— Марш! Марш! — лаяли солдаты, орудя прикладами, и кто-то надрывно охал от удара, по инерции убыстряя шаг: упадешь — пристрелят!

— Сынок, разреши, а? — обратилась старушка к одному из полицаяв, видимо, уловив в лице его что-то человеческое.

— Тильки швыдше, стара! — прошипел тот, и она кинулась к колонне, а он закричал в толпу: — Бачыте своих пэрэможцив, га? От яки красюкы!

Сухари во мгновение ока исчезли в рядах, старушка вернулась на тротуар, но её примеру последовали другие, и полицаи, хоть и подняли ругань, не очень препятствовали.

Оказалось, что Валька тоже прихватил сухари. И я глазом не успел моргнуть, как он кинулся наперерез пленным, а когда выскочил по ту сторону колонны, руки его были пусты. Какой-то полицай, обзлившись, погнался было за ним, но тот смешался с толпой...

Вечером — дома. Потихоньку рассказываю матери, как провёл день... После пленных мы с Валькой зашли к нему домой на Рождественскую, и он познакомил со своими приёмными отцом и матерью. Жили они летом в полускрытой старой шелковицей кухоньке в глубине двора. Пётр Анатольевич, в прошлом судосборщик, спокойный, доброжелательный, слушая о полицаях, задумчиво покачивал головой. Скорбно смотрела на нас его жена. Когда я уходил, она сунула мне в руки узелок с сухарями и баночкой абрикосового варенья, вкус которого мы с мамой давно забыли. Пётр Анатольевич приглашал заходить, не стесняться.

— Мы теперь все нужны друг другу, — сказал он.

На плите закипал чайник. В резком свете карбидной лампы лицо мамы казалось густо припудренным, то есть мертвенно-бледным.

Кто-то из соседей рассказал, что на углу Советской, у парикмахерской, висят на трамвайных столбах три молодых женщины. Это было первое злодеяние оккупантов на глазах у всего города. Недели через две я шёл по Спасской и нечаянно поднял голову: надо мной висел еще один казнённый. Вниз головой, привязанный за одну ногу к балкону, бородатый, седой, с разбросанными руками, почему-то в колушке, хотя ещё не было холодно, а на груди — дощечка: «Партизан». И это воспоминание осталось на всю жизнь.

На Фалеевской опять пленные, на этот раз — моряки. Их немцы особенно боялись, называли морскую пехоту «чёрной смертью». Это моряки держали ещё оборону Одессы, они первыми вставали в атаку, а если отступали, то последними. Говорили, что в плен моряков не брали, да и они предпочитали плену смерть. Тем удивительнее было их появление, тем больше сбежалось посмотреть на них баб и детишек.

Моряков было человек тридцать, и шли они в беспорядке. Конвойных было втрое больше обычного, лица злые, команды звучали чаще и резче. Шли моряки босиком, со

связанным за спиной руками, и лишь на немногих висели ключья тельняшек. Тела и лица их – в кровоподтёках и синяках. Они бросали взгляды на баб – исподлобья или пытаясь улыбнуться распухшими губами. Женщины не выдержали.

– Черти! Черти! – кричали они конвойным. – Что с людьми делаете!..

– Закрый рота, стара вѣдьма! – заорал полицай.

– Ах, это я – вѣдьма?! – вскрикнула старуха и, оттолкнув полицая, кинулась к моряку, несколько поотставшему от других, сунула ему за тельняшку свѣрток. Немец прикладом ударил её по спине, и старуха ничком повалилась на камни мостовой.

– Verfluchter Hund! – прохрипел немец, но едва лишь он полуотвернулся, моряк изо всей силы двинул его запрокинутой назад головой, «взял на кумпол», как сказали бы сами моряки. Конвоир грохнулся на бульжник, дёрнулся раз-другой и затих. Из-под головы его расплывалась кровь... Конвойные тут же прикладами убили моряка. Полицай разогнали женщин. Моряки кричали:

– Не плачьте, бабы!.. Победа будет за нами!..

Так их и прогнали через весь город и где-то в степи за Ингулом расстреляли. Есть ли обелиск на этой братской могиле?

В сентябре в парке им. Петровского сгорел склад горючего, 15 грузовиков и несколько солдат. Заложников нацисты повесили, а на город наложили контрибуцию в 50 тысяч рублей. Вскоре новый пожар озарил улицы, на этот раз в нашем районе: на Глазенаповской запылал кондитерский комбинат. Запах дыма смешался с ароматом конфет и пирожных. В бывшем кинотеатре на Католической располагался огромный склад зимнего обмундирования. Его тоже сожгли!

Двоюродный дед мой Степан Тимофеевич Карнаухов, проводив больного сына в эвакуацию, жил один в большой полутёмной квартире на Московской. Вскоре после прихода немцев я навестил его. Открыв дверь, он сурово взглянул на меня поверх очков и кивнул: заходи.

– Журналы смотреть пришёл? – спросил он.

– Вас, дедушка, проведать.

– Ладно, – усмехнулся он. – Ступай в залу, распорядься.

Он зашелестел газетой, а я прошёл в полумрак залы, сел на пол и открыл шкаф. «Мир Божий», «Нива» и «Вокруг света», «Всемирный следопыт» – игра фантазии, приключения, герои и пройдохи, масса фотографий...

Я уважал деда, но побаивался его. Уважал за известность на заводе и за журналы, а побаивался потому, что он казался мне сухим, неприветливым. Проходили часы, пока вдруг скрипнет половица в столовой, послышатся шаги в кухне и дед появится в дверях: «Чай будем пить». Мы выпили по чашке, и неожиданно дед, разворачивая «Українську Думку», сказал:

– Не читал? Лают всех: и французов за революцию, и евреев, и русаков. Русаки ограбили Украину: украли Гоголя и Короленко. А сами и колеса не выдумали. Только и

всего, что Пушкин у них да Менделеев. Но и Пушкину досталось – за Мазепу. – Хмуро глядя в окно, он постукал костяшками пальцев по столу. – Скоро новый памятник соорудят. Мазепе. Бронзу возьмут у Грейга...

На центральной площади в квадрате из каменных тумб и чёрных цепей стоял адмирал – в плаще, подзорной трубой опираясь о ногу, в ботфортах, при шпаге. И долго бы ещё стоять адмиралу, если б в 1927-м году к нему не подобрался бы фыркающий дымом трактор. На шею Грейга накинули петлю, и он рухнул на мостовую. Его отволокли на бульвар. Он лежал носом вниз, нелепо оттопыривая шпагу, и какой-то остряк вывел у него на спине мелом: «Не хотели смотреть Грейгу в лицо – смотрите в ж...»

Через два года его перевезли во двор звездоносного костёла (в первые советские годы вместо крестов водрузили звёзды). Теперь это был музей. Во дворе стояли степные скифские «бабы» и мраморные надгробия. Грейг опять поднялся на ноги. Мальчишки любили забираться внутрь памятника и высовывали из полуоткрытого рта дымящуюся папиросу: издали казалось, адмирал курил!..

Как? Из Грейга сделают Мазепу? За то ли, что «он не ведаёт святяни, что он не помнит благостыни, что он не любит ничего, что кровь готов он лить, как воду, что презирает он свободу, что нет отчизны для него?». «Обратите внимание, – говорил нам учитель литературы Николай Павлович, – для Пушкина самое страшное и неестественное – не иметь отчизны! Именно это он выносит в конец своей обвинительной речи.

Забегая вперёд, скажу, что вскоре оккупантам надоели разговоры о «самостийной Украине». Во Львове и Киеве были арестованы Бандера и его соратники, и Мазепа был «отменён». Статую Грейга (кстати, работа Опекушина) это, увы, не спасло: по указанию какого-то офицера адмирала упаковали в деревянный ящик и отправили в Германию. Ходил слух, что в Румынии эшелон разбомбили наши самолёты.

В своих блужданиях по улицам я забрёл как-то в сквер, где недавно стояла немецкая часть. Клочки газет, банки из-под консервов, пустые сигаретные пачки, и среди этогохлама уцелевшая «Иллюстрированная Солдатская Газета»: снимки, снимки, короткие тексты, цифры...

Офицеры разглядывают в бинокли горящий вдали Ленинград. Группа парней в Вильнюсе, ухмыляясь, собирается казнить черноволосого юношу. Уже верёвка на шее. Бесконечные ряды военнопленных под Киевом. На переднем плане снимка – молодой грузин без пилотки с поднятым воротником расстёгнутой шинели. Смотрит исподлобья. Рядом – немецкий офицер со стэкком. Подпись: «Лейтенант Красной Армии, сын Сталина, Яков Джугашвили в плену». Старая Русса: покосившаяся рама грязного окна с увядшей геранью. Подпись: «Нужна ли коммунистам культура? За этим окном Фёдор Достоевский писал роман «Братья Карамазовы». Я долго смотрел на эту фотографию. Вспомнилась довоенная хроника: фашисты бросают в огромный костёр книги, книги, книги. Им ли говорить о культуре?..

Однажды Валька пришёл на Сенную и вызвал меня.

– Сейчас без четверти шесть, – сказал он. – Успеем прошвырнуться по городу? После шести стреляют без предупреждения. Батя говорит, останешься у нас ночевать. Ладно? «Уговорить мать будет трудно, – подумал я, – но попробую. Я не ребёнок, у меня своя жизнь». Мать действительно заупрямилась, а я, увещевая её, даже накричал:

– Народ воюет, а я не могу у товарища переночевать! Ничего со мной не случится, утром приду!..

Мы неслись квартал за кварталом, прячась в подворотни при появлении патрулей. Пётр Анатольевич ждал нас во дворе. Он, видимо, тоже тревожился и, едва мы появились, жестом пригласил в комнату. В глубине комнаты я увидел Машу Слоним, мою одноклассницу. В школе её называли Муха, и была она очень жизнерадостной девочкой, училась неважно, зато много читала. Теперь она неподвижно сидела у стола, сжав руки коленями, и, увидев меня, как-то жалко улыбнулась. Маша была очень худа, с тёмными кругами под глазами. «Она же еврейка!..» – пронеслось в голове. Но волосы у Мухи были светлые, глаза голубые...

Вера Степановна внесла самовар, и мы сели к столу. После чая Анатолич негромко спросил, не обратили ли мы внимание на то, что немецкая техника пестрит разными изображениями: орлы, зайцы, тигры, олени на ветровых стёклах и дверцах.

– Да, да, – закивали мы. Подумали, что солдаты делали это ради развлечения, скрашивая армейские будни.

– Нет, дело серьёзное, – пояснил Анатолич, – завтра или послезавтра пройдут армейские части на Херсон через Варваровский и, возможно, Ингульский мост. Было бы здорово хотя бы приблизительно посчитать орлов, зайцев и тигров. Без карандаша. У вас головы молодые, свежие. К ребятам немцы относятся менее подозрительно, чем ко взрослым. Само собой, держите это в секрете. В 5 часов я жду вас. Справитесь?

– Какой разговор! Конечно.

Вера Степановна пошла в дом посидеть у окна, а Анатолич, повозившись в углу, поставил на стол радиоприёмник.

Валькин батя крутил ручку настройки, и в кухню ворвалась разноголосая Европа: Лондон, Берлин, Ватикан. «Laudetur Jesus Christus!...». Неожиданно прорвалась русская речь, не то мужской, не то женский голос, – так странно звучали шипящие: «Говорит Львов! Говорит Львов! Передаём обращение к гражданам Одессы. Одесситы! Скоро вы все умрёте от голода и жажды. Румынские войска держат вас в стальном кольце. Отрезан водопровод. После ухода Советов остались продукты, но их хватит ненадолго. Впереди – жестокая русская зима. Подумайте о своих детях, матерях, женах. Сдавайтесь в плен. Не слушайте своих комиссаров...»

Сквозь треск и писк вдруг ясно прозвучали позывные, и напряжённый голос Левитана произнёс: «Говорит Москва! От Советского Информбюро. На протяжении истекших суток наши войска вели тяжёлые бои с наступающим противником...». Мы не отрывали глаз от светящейся шкалы. Ещё узнали, что советские войска вошли в Иран. Анатолич выключил питание, и приёмник смолк.

Валя ушёл, а мы с Мухой ещё постояли во дворе.

— Я боюсь, — сказала она, — боюсь... Что делать? Что делать? Смерти не боюсь, а мучений и... этого — да!..

Мы стояли вдвоём в темноте, и её страх передался мне. Я неожиданно осознал, что она красива и уже поэтому ей грозит опасность. Я стал уговаривать её не терять мужества, но чувствовал, что слова повисают в воздухе.

— Слушай, Муха, — сказал я наконец, — мы тебя спрячем. У нас на чердаке на Сенной есть место. Положим матрас, я буду приносить еду и книги. Наши набирают силы. Ты же слышала сводку!

— Нет, маму я не оставлю. Знаешь, Алёша, — горячо задышала она мне в ухо, — я украла револьвер. В самом начале, когда меня заставили мыть пол в комендатуре. Пьяный офицер спал в кабинете. Он, видно, подумал, что потерял оружие, решил помалкивать. Револьвер всегда со мной. С ним мне спокойнее...

Обещанные хлеб и масло выдали только однажды. Люди несли плоские, полусырые хлеба и бутылочки с прогорклым маслом, но и тому были рады. Регулярно, утром и вечером, по Фалеевской вели пленных. И так же регулярно на углу Привозной распахивалась окошечко, из которого выглядывал лысый офицер в очках. По его знаку конвоир пропускал к нему кого-либо из пленных, и в чёрный котелок переваливалась каша или суп, картофель или даже кусочек мяса... Иногда несколько пленных шли с торбами просить подаяния у населения. Николаевцы делились последним.

«Шталаг-364» назывался концлагерь на Тэмводе. Лагерь смерти. Подаяния и та помощь, которую оказывали пленным горожане — капля в море. Голод, эпидемии — и раненые умирали и умирали. Зарывали трупы в балках, в степи... Офицер с Привозной был, конечно, исключением и, с точки зрения нацистов, нарушал предписания фюрера. Вскоре он исчез: то ли его перевели на фронт, то ли отдали на пытки в гестапо...

Недалеко от нашего дома была пекарня. Работала только на немцев. Когда в доме не было ни крошки, я ходил туда раздобыть хлеба, почти всегда напрасно, но бывало и так, что, поравнявшись с часовым, я вытаскивал какую-нибудь безделушку, взятую из маминой шкатулки, полтинник царской чеканки, например, или перочинный ножик с незамысловатой резьбой на ручке, и солдат, поморгав белёсыми ресницами, уходил во двор и выносил под шинелью буханку хлеба. Или я грузил хлеб на машину, и за это перепадало полбуханки. Сунув хлеб под куртку, я мчался порадовать мать. Обычно у Ингульского моста или в конце Херсонской я считал машины с солдатами и боеприпасами, мотоциклы, танки — всё, что шло на Запорожье или в Крым. Сведения передавал Вальке, встречаясь с ним в Курьерском переулке. Я сомневался в полезности добываемой мною информации, но «разведка» наполняла жизнь хоть каким-то смыслом.

— Links! Links! Links!

По правой стороне Советской (превратившейся в Hitlerstrasse) марширует подразделение — с полроты. Солдаты поют в ритм со строевым шагом. Когда они поравнялись с

гостиницей «Ленинградской» (бывшей «Лондонской»), из окна четвёртого этажа вылетел завёрнутый в газету предмет и упал в гущу солдат. От взрыва зазвенели стекла, а вместо молодцеватых живых парней на развороченной мостовой валялись мёртвые и раненые. Послышались стоны, выстрелы, топот бегущих...

Метнувшего гранату, так и не нашли, — иначе оповестили бы весь город о казни. Гитлеровцы часто убивали невинных, но были ль казнены заложники в этот раз, не знаю. Имя храбреца не названо до сих пор.

При театре организовалась группа украинских артистов. Ставили комедии «Шельменко-денщик» и «Наталка-полтавка». Но однажды мелькнула афишка: В «Эрмитаже» — премьера драмы в трёх действиях «Тарас Бульба». Один спектакль в полдень, второй — в семь вечера. Населению за вход пять рублей, германским офицерам и солдатам — бесплатно. Я уговорил соседа пойти. Денег у нас не было, и решено было пробраться в театр через Зимний сад. Так и сделали, но попали в зал только к началу второго действия.

Спектакль захватил меня, каждая реплика, каждый жест находили отклик в душе. И не только — в моей. В партере и на галёрке были не только немцы. Зал притих. Немцы, конечно, не понимали украинского, но дух пьесы, её пафос их насторожил, они стали перебрасываться злыми фразами. Когда поляки истязали Остапа, он выдержал пытки, даже стоном не порадовал палачей. Полуобратившись к залу, Остап воскликнул: «Батько! Где ты? Слышишь ли?»

И вздрогнул зал, потому что с галёрки донеслось: «Слышу, слышу! Смерть фашистам!..» Актёры замерли. Между рядами бежали солдаты, устремившиеся выполнять приказ офицера... Мы, как и все, бросились к выходу, но его успели перекрыть. Нас долго маршировали, подростков отсеяли, потому что голос был явно мужской, но смельчак так и не нашли. А театральную труппу вскоре разогнали.

Мать испекла постные лепёшки, завернула в полотенце и велела отнести деду. На мой стук никто не ответил. Соседка, низкорослая старая женщина с недобрым взглядом, на вопрос, дома ли Степан Тимофеевич, проворчала, что он работает на немцев, днюет и ночует на заводе.

Деда я больше не видел и лишь спустя 20 лет узнал о том, что тогда произошло. На заводе прошёл слух: немцы собираются поднять со дна лимана коробку линкора, которую при отступлении сварщики разрезали и затопили: палубы, переборки, отсеки. Дед немедленно «замельдовался» на работу. Ему поручили возглавить рабочую группу подводных сварщиков. Они поработали на славу, превратив коробку судна в груды металла. Мать рассказывала, что по городу был расклеен список расстрелянных по этому делу. Первым в нём значился мой двоюродный дед Степан Тимофеевич Карнаухов...

У театра — статуи: стройный Вах, изящно изогнувшись, подносит ко рту чашу с вином и вытягивает навстречу губы, которые то ли смеются, то ли плачут, и задрапирован-

ная шалью женщина с эллиническими чертами лица, с мягкой печалью, разлитой во всей фигуре. Очень выразительные скульптуры в человеческий рост, без постамента, как бы прямо рядом с тобою...

В одну из ночей около театра послышалась какая-то возня, топот, грубый смех, потом вопль, и вот между колонн мелькают тёмные фигуры солдат. Они тащат кого-то за волосы, голые ноги белеют на плитках тротуара... Они втаскивают свою жертву в палисадник, привязывают живое тело к статуе Ваха и упражняются в стрельбе из нагана. Девушка безжизненно обвисает на собственном шарфе... О том расстреле также нет мемориальной таблички. И пусть по сей день на груди Ваха заметна круглая вмятина – след от пули, люди проходят, погружённые в заботы дня, торопящиеся, не знающие и, может быть, не хотящие ничего знать.

Более или менее обеспеченные горожане эвакуировались в Ташкент или Баку, в Николаеве осталась одна гольтба. В нашем дворе жили две еврейские семьи: Люся Рабинович с матерью и сестрёнкой и Тахтеры. Эдит Тахтер была года на четыре старше меня. Соседки считали её «тронутой». Она и впрямь была нелюдимою и почему-то печальной. Но ведь не напрасно же жили на свете эти слегка косящие светло-карие глаза!..

Отец Эдит после прихода немцев не вставал с колен, молился, накрыв голову какой-то тканью. Про него говорили: очень учёный еврей, цадик. Во дворе появились постояльцы: ефрейтор Курт и шофёр Франц. Встретили их одни со страхом, другие враждебно, но немцы вели себя вежливо, даже общительно, и к ним привыкли, полагали даже, что двору повезло.

Заметили, что Франца всё больше тянуло туда, где любила сидеть Эдит. Францу выносили табурет, и он играл на мандолине («Лили Марлен» или вальсы Штрауса). И девчонка привязалась к солдату! Родители Эдит не препятствовали, а может, и поощряли эту привязанность: им казалось, немец защитит их семью от погрома. Но арийцам запрещались связи даже с русскими, не говоря о еврейках. Как-то Эдит остановила меня и сказала, что, по словам Франца, немцев не сегодня завтра отправляют под Одессу. По моей просьбе она узнала номер дивизии и армии, в которой служил Франц, а я через Вальку передал это Анатоличу.

В начале октября по Глазенаповской, Херсонской и Соборной выстроились солдаты – в касках, с примкнутыми штыками. Ждали важного гостя. Утром Курт ездил куда-то на велосипеде, вернувшись, шептался с Францем, и через полчаса мы знали: Гимmlера! Я помчался к Анатоличу. Фалеевская была оцеплена, и я бежал по Пушкинской. На Глазенаповской колыхалась тёмно-зелёная живая лента.

— А я-то думаю: чего это они? — сказал Анатолич.

Местные группы сопротивления были слишком слабы, чтобы что-то предпринять. Хотя приезд Гимmlера имел зловещие последствия: «окончательное решение еврейского вопроса» в Николаеве.

Был приказ: уезжать. Курт сел за баранку, а Франц раскрыл ворота. «*Wohl auf, Kameraden, auf dem Pferd, auf dem Pferd!*» Франц что-то говорил, а Эдит, подняв на него прекрасные семитские глаза, краснела и кивала. Курт позвал его, и Франц, стуча каблуками, побежал к машине. «*Auf dem Pferd, auf dem Pferd!*». Так кончился их роман, наполненный отчаянием и крошечной надеждой.

Через неделю Курт был убит в машине, а Франц попал в госпиталь и умер сутки спустя, успев попросить знакомого водителя, возвращавшегося из-под Одессы, заехать на Сенную...

Помню, как шли дожди, лились по стенам, по спискам расстрелянных и сводкам с фронта. Было и новое объявление – призыв на работу в Германию, путь к «райской жизни». В нём проглядывала и угроза: отказ равносителен саботажу.

Во дворе появился полицай, учтиво осведомился, где живут Тахтеры и Рабиновичи, и вручил повестки: завтра собраться на кладбище, продуктов взять на три дня, укрывшиеся будут строго наказаны.

Как-то два мадьяра ворвались в комнату Люси и стали приставать к ней, но она выпрыгнула в окно и прибежала к нам. Мать спрятала её за шкаф. Сама встала в дверях, и когда шальные солдаты подскочили к порогу, широко перекрестилась. Может быть, это подействовало, солдаты не догадались, куда спряталась девушка.

А потом настал день, когда с улиц почему-то исчезли солдаты и потянулись вереницы людей: бледных, черноволосых и рыжих, сгорбленных и идущих прямо, но всё же покорных. Помню, как вышла Эдит со своими, и отец поправлял на ней шарфик и рюкзак. Вышла и Рабинович с дочками: черноглазой Люсей и смуглой до желтизны Женей. Весь двор проводил их до ворот.

На следующий день моя мама и несколько соседок пошли к кладбищу. Часовые не помешали им вызвать Тахтершу и Рабинович.

– Разное говорят, – сказала Рабинович, принимая узелки с продуктами. – Кажется, всё-таки на работу. Послезавтра, наверное, уедем.

Соседки навестили кладбище и на второй день, а на третий – пронёсся слух: евреев расстреляли. Вскоре стали известны некоторые подробности.

Но сначала несколько слов о нас. После смерти отца мои отношения с матерью были более или менее нормальные. Мать трудилась, кормила меня, ухаживала, когда я болел. Однако пару раз на неё снова «находило», она срывалась, доставала отцовский ремень, чтобы проучить неслуха. Так было после шума с «Обществом Фауленцер». Так случилось и в этот памятный мне день. В оккупации нервы у людей были напряжены до предела, и досаду свою измученная женщина могла вымещать на собственном сыне. Но за эти месяцы я стал намного взрослее.

Когда мать из-за какого-то пустяка взялась за ремень, я неожиданно для себя самого схватил её за запястья и повалил на кровать. И тут же отпустил её, и, пока она барахталась,

пытаясь встать на ноги, я, испугавшись своего поступка, схватил пальто, шапку и убежал на улицу. Отсутствовал я три дня. Шёл куда глаза глядят, но стараясь двигаться к Херсону. По дороге пристал к группе пленных, выпущенных накануне из лагеря. Немцы иногда отпускали украинских сельчан с Правобережья Днепра, вместо пропусков выдавая им на руки грамоту, что такой-то направляется на работу в «общинное хозяйство», то есть в свой родной колхоз. С ними я и двигался, устраивался на ночлег к сердобольным сельчанкам, чьи мужья пропадали неизвестно где: то ли на фронте, то ли в плену, а, может быть, и в земле сырой.

В одну из таких ночёвок я и услышал следующий рассказ вольноотпущенного пленного. Только он вышел из лагеря и пошёл в своё село, как увидел возле кладбища скопление машин и людей.

— Часовые меня как-то проглядели, подхожу к грузовику, спрашиваю: «Куда вас?». «В Одессу, на работу», ответили. Я обрадовался: «Меня подбросите?» Поднялся жуткий гвалт: «Лезь к нам, смелее, лезь!». И в несколько рук втянули меня в кузов. Колонна тронулась, поехала, но, смотрю, не на запад. Думаю: «По окружной едут?». Напряжение в машине всё росло, многие это заметили. Через полчаса пронеслись мимо какого-то села, свернули на просёлок, услышали автоматные и винтовочные выстрелы, вопли убиваемых и всё поняли: конец! Ну, братцы, что со мной было, словами не передашь... Едва остановились, распахнули борт. «Выходь!» — заорал один с повязкой на рукаве. «Heraus! Schneller!» — кричали немцы. «Ряздягайся!» — крикнул с повязкой. Кто-то разделся, кто-то не успел, и новая команда: «До балки марш!» Пошли в ход палки, приклады, сапоги. А на дне балки уже тысячи тел в немислимых позах... Я размахивал грамотой, орал во всё горло, что я украинец, что я не еврей, а полицей бил меня палкой и приговаривал: «Раздягайся, жидовська морда! Раздягайся, падло!..»

На моё счастье, подъехала машина, из кабины выскочил офицер, вырвал грамоту, глянул в неё и залепил мне пощёчины с двух сторон. Пинками погнал за оцепление. Я упал и пополз, пополз за кусты. Там лежали мужики, которые наблюдали за расстрелом... Сначала, говорят, привезли мужчин, потом женщин и очень много детей... Управились за двенадцать часов. Говорили ещё (я сам не видел), какой-то офицер-любитель выбирал красивых, отводил в сторону и фотографировал, потом показывал рукой: в общую яму. Одна девушка вела старуху и не послушалась приказа. Офицер схватил её за руку, и тотчас десятки рук облепили его руки и ноги, и солдаты еле отбили своего командира, стреляли в упор, а затем заставили нести убитых к оврагу. Офицер что-то говорил девушке, сделал с неё несколько снимков и пристрелил из нагана...

Человек рассказывал, а я думал своё, вспоминал довоенный Николаев, школу в Курьерском переулке. Да, в нашем классе были русские, евреи, украинцы, один татарин, один армянин, даже грек Попандопуло, и никто не задумывался, что мы разные, просто сидели за одной партией, читали вместе Лермонтова и Шевченко, разбирали битвы при Фермопилах и на Куликовом поле, бегали в кинотеатр «Пионер», собирались на раскопки в пре-

красную Ольвию... Вспоминал Люсю и Женю Рабинович, Эдю, Лилю Цырульникову... Как не повезло нашим ребятам!.. Какой ужас! И за что?!

Много лет спустя я прочёл книгу английского публициста лорда Рассела «Проклятие свастики». Перечисляя места массовых расстрелов в Европе, он упоминает село Калиновку на юге Украины. Туда свезли евреев из Николаева и Херсона. Позже я узнал, что расстреляно было тридцать семь тысяч человек.

Летом 1972-го года я побывал в Калиновке, в тех самых местах. Ухожу от лениво плещущего Ингула, от камышей, где изредка напомним о себе лягушка, от бликов на воде. Солнце скоро сядет, и я спешу вскарабкаться на крутой склон, хватаюсь за ветки, обращаю внимание на каменистые рёбра в срезе обрушившейся земли. Наверху озираюсь. Весь склон изрезан балками, из которых буйно рвутся к солнцу деревья, густой шиповник, а степь их глушит и не может заглушить, сметая в долины перекаати-поле – эти колючие, добела промытые дождями скелеты растений. Тут не пашут и не сеют. Эти странные бугры покрыты нездоровым разнотравьем, колючим, бурым, ядовито-зелёным, как болотный дёрн. Я брожу от балки к балке, стараясь не наступить на редкие васильки, колокольчики, ромашки, и чего я ищу здесь, сам не знаю. А ищу я хоть какой-нибудь отметины, хоть камень, пусть без надписи, лишь бы видно было, что живые не забыли...

И ещё я вспоминаю, как погибла Маша Слоним: Анатолич переправил её с матерью в Терновку – большое болгарское село. Жили они на чердаке, еды хватало. Раз в месяц Муху навещал кто-то из наших, приносил книги и новости. Однако она делала вылазки в город, появлялась даже на Соборной, а однажды дала пощёчину пристававшему к ней солдату. Увидевший это офицер бросился к ним, Муха уложила его с первого выстрела, но покончить с собой не успела...Прежде, чем расстрелять, ее пытали. Мать её утасла, конечно, с горя.

Оккупанты прямо на улицах отнимали у николаевцев шарфы, варежки, ушанки. Такой зимы здесь не видели сорок лет. Воробьи замерзали на лету, эти комочки из пуха валялись по всему городу. А вот по улице семенит завоеватель полумира – в натянутой на уши пилотке, в гигантских эрзац-валенках на деревянной подошве сантиметров двадцати толщиной, с каплей под носом...

Если бы от холода страдали только немцы! Для пленных на Тэмводе зима была ни с чем не сравнимым бедствием. Но рассказывали о фантастическом побеге пленных: среди тех, кого гоняли расчищать аэродром, оказался лётчик; каким-то фантастическим образом достали горячее и под выстрелы конвойных улетели в сторону Крыма...

В одно мартовское утро 1942-го года я потащился на маслобойню с корзиной семечек, чтобы обменять их на поллитра постного масла. В воздухе уже тянуло весной. В Широкой балке, наверно, подснежники появились. За рыночной площадью, в самом начале Соборной, чернеет толпа возле какого-то сооружения. Бреду туда. «Да это же висели-

ца!». Повешенных десятеро. В рабочих телогрейках, босые. Один, тонкий, худой, в синем костюме. Носок побурел от крови. На куске фанеры надпись: «Заложники. За пожар на аэродроме».

Часовой отворачивается, не смотрит, как пожилая женщина, обнимая за ноги повешенного, еле слышно причитает: «За что тебя, Мишенька!..» В толпе по стойке «смирно» стоит румынский офицер. Неожиданно он падает. Суетятся солдаты вокруг него, расстёгивают воротник, втаскивают в машину. Обморок.

Иду к бульвару. Оттуда виден аэродром. Чёрный столб дыма над ним. Иду к Анатольичу. Он, как всегда, дома. Бросаю корзину у порожка и, обхватив лицо руками, сажусь на койку. До меня доносится голос Анатольича: «Это хорошо. Плачь. Я сам рад бы, да не могу... Но помни: они погибли не зря...» Только после войны я узнал, что ангары, склад с горючим и 27 боевых самолётов на аэродроме уничтожил один человек – Александр Сидорчук. Ещё говорили, что во время казни один из заложников вырвался, побежал через площадь. Его ранили и потащили назад к виселице, а он кричал: «Люди, я умираю за Родину, за Сталина!»

Осталось прибавить, что снимок с повешенными был напечатан в московских газетах в мае 1942-го года, в январе 1946-го на этом месте была построена другая виселица и на ней повесили группу гитлеровских офицеров во главе с генералом, а лет через 20, начисто стирая прошлое, здесь поднялся Дворец корабелов.

Через неделю снова на Соборной толпа. И много солдат. Конечно, потянуло туда! Так я попал в облаву. Я ещё не знал, что немцы начали вылавливать ребят моего возраста (14-16-ти лет) для отправки в Германию. И вот мы бредём по улице, шаря глазами по сторонам, куда бы кинуться... «Шнеллер, шнеллер!» – кричат нам в затылок. Во дворе биржи труда калитка не закрывалась, пригоняли все новые и новые партии подростков, и скоро стало не протолкнуться в толпе. Вышли офицеры и переводчики. Нас выстроили в очередь к врачу. В кабинете два офицера в серых мундирах со свастикой безразлично поглядели на вошедшего, а третий, в белом халате, хлопнул меня по спине: *Ab! Du fahrst nach Deutschland!..* (Поедешь в Германию!)

Нахолодавшееся за зиму здание спиртзавода на Новосельской. Запах сивухи и глесе-ни, на полу – солома. Рядом со мной – Миша Царюк со Слободки. К вечеру у ворот собралось много женщин. За решёткой я увидел глаза матери. «Как же так, Лёня? Добегался?..» – беззвучно шептали её губы.

Она передала узелок с едой («Вареников тебе сварила»). Нас толкали, но мы смотрели друг на друга, мысленно прощаясь навсегда. Я говорил какую-то чепуху, пытаюсь хоть чуточку отвлечь её от предстоящей разлуки, а в голове проносились прошлые дни, наша жизнь: то это был запах свежестиранного белья, то прогулки в заветном кисловодском парке, то как мы ехали к дяде на Украину – и смерть отца... Вспомнился душный зал и фильм об Иоганне Штраусе, который смотрели вместе. Особенно сблизились мы в оккупацию, сблизились как люди, познавшие общую большую беду.

Ночью мы с Царюком ворочались на соломе, покуривая в кулак вонючие румынские сигареты «Плугар», за которые на толкучке расплачивались сахарином... Разговаривать не хотелось. В туманном будущем уже угадывались очертания неведомого, но заведомо страшного Рейха, который жадно ждал нас.

Часть 2

ЗАПАД

Отправляли нас в Германию в пасмурный апрельский день 1942-го года накануне Пасхи. Солдаты загнали нас в теплушки, не позволив проститься с родными. Из толпы на перроне доносились рыдания, крики. Наконец поезд тронулся и пошёл, пошёл, набирая ход. Мама не отстаёт от поезда, почти бежит. Успеваю ещё увидеть, что она спотыкается, падает на шпалы. Она что-то кричит мне, вижу её раскрытый рот, но не слышу ни звука... Серое небо, морозящий дождик, бесконечные рельсы, бегущие вдоль нашего поезда. А в вагонах пели. Разное пели: «В далёкий край товарищ улетает...», «Весёлый ветер», «Катюшу». Тогда же я услышал песню, в которой звучало всё, что пронеслось в наших душах и головах:

*Ночь начинается
Вагон качается.
На нас спускается
Тревожный сон...
Прощайте, улицы
Родного города!
Прощайте, девушки,
Отец и мать!
Страна любимая
Все удаляется,
Едет в Германию
Наш эшелон...
Едем в Германию
На муки голода,
Едем в Германию
Мы погибать!..*

Между Долинской и Хитровкой — леса, леса, убегающие в тень. По слухам, в знаменских лесах — партизаны, последняя наша надежда. Вдруг налетят на эшелон и отобьют нас?! Не хочется терять место у окна, я держусь за край его, на лицо падают брызги

дождя: апрель 1942-го года... На рассвете под Шепетовкой останавливаемся, немцы отодвигают двери, пересчитывают нас. Неподдалеку – выстрел: убили мальчишку, спрыгнувшего из вагона и не добежавшего до ближайших кустов. Трогаемся дальше. И снова та же песня:

*Так знайте ж, сволочи –
«Освободители»,
Что и для вас придет
Расплаты час,
Ночь начинается.
Вагон качается.
На нас спускается
Тревожный сон...
Когда возьмут Берлин
Герои-соколы,
Они отплатят вам
За всех за нас!..
Страна любимая
Все удаляется.
Едет в Германию
Наш эшелон.*

В Люблине, первом польском городе, нас выгрузили и погнали по узкой улице между высокими закопченными домами, за которыми ещё выше поднимались стрельчатые башни костёла. Помню и первый привет, обращённый к грязным, измученным дорогой подросткам: на тротуаре пожилой поляк в жёлтых крагах и с пером на шляпе смотрит злыми глазами и кричит нам в лица:

– Езус похваленный! А мы думали, что вы – люди!..

Бредут мимо него угрюмой колонной подростки, которых воспитывали всё-таки в духе дружбы народов, бредут как оглётанные, и конвоир-немец безглаголиво машет старику: «*Ber! Ber!*»

... За колючей проволокой пересыльного пункта нас партиями водят в баню. Одежда сдаётся в «прожарку», а мы становимся в очередь к банщику, который окунает щётку в бочку с зелёной жижей и смазывает наши подмышки и пах. Раствор огненно-едкий, и сорок фигур стоят, покачиваясь, расставив руки и ноги, пока не впускают в отделение, где с потолка льётся чуть тёплая вода.

Вечером снова теплушки. Теперь куда? В Кёнигсберг? Ночью проехали Варшаву, и в полдень следующего дня – Берлин, где нас из теплушек перегнали в пассажирские сидячие вагоны, предварительно выдав каждому картонный стаканчик с гороховым пюре. Поезд двигается еще дальше на запад.

Разноцветный город-красавец Гамбург! На мгновение заиграло, выбравшись из-за туч, солнце, запахло водой и камнем. Тут же опять помрачнело, пошёл дождь. Выгружаем-

ся на перрон, по краям которого — охранники с овчарками на поводке. С перрона попадаем в большой каменный двор с нависающей над ним крышей. Говорят с нами по-человечески, не орут, как в Люблине. Получаем по ломтю хлеба и по сто граммов колбасы.

Вскоре появляются щеголеватые и весёлые «покупатели» — в дорогих костюмах штатские, сопровождаемые эсэсовцами. Приходит на память невольничий рынок из «Хижины дяди Тома». Здесь тоже, выбирая ребят, осматривают зубы, щупают мускулы. Отсеивается человек двести, которых выстраивают по четыре в ряд и выводят на улицу под морозящий дождь, сквозь который светящимся призраком мчится трамвай. В мокрых стёклах лица, глаза, глаза, немки, немцы... Все взоры обращены на нас. По тускло освещённым улицам гуртом — вперёд, подгоняемые охранниками: «*Los! Man los!*» (Давай! Пошёл!)

Шагай, братва, *man los*, братва! И запоминай дорогу от вокзала...

Большой мост через Эльбу. В железных настилах — дыры, говорят, от бомбёжек. Пронизав мост, бомбы взрывались где-то внизу, не принося ему большого ущерба. За каменной аркой опять улицы, отодвинутые вглубь нижние этажи домов и нависающие над головой террасы... А вот и площадь, а на ней собор, шпиль которого прячется в дождливом небе. Красиво, странно, холодно...

Потом пошли элеваторы и пакгаузы из тёмного кирпича, длинные-предлинные в гсущающейся тьме. Когда совсем стемнело — остановились. Слева — невидимый во тьме канал, только плеск воды. Впереди — забор и караульная вышка. Проходим ворота. Справа — освещённые окна здания, за ними — люди в спецовках. После пересчёта впускают внутрь. Нас окружают, спрашиваем друг друга.

— Как дома? Что на фронте?

— А здесь — лагерь? Завод?

Здесь — оstarбайтерлагерь «Шуппен-43» судостроительной верфи «Блюм унд Фосс». «Шуппен» — по-русски «амбар», «склад». До войны здесь разгружали товары из Южной Америки: пряности, какао, оливковое масло. Позже переоборудовали здание под мастерские и общежитие. В январе 1942-го года привезли пятьсот первых остовцев из Харькова. К нашему приезду (апрель 42-го) половина их вымерла. С нами общаются оставшиеся в живых — хоть и молодые, но измученные, бледные до синевы подростки. Лагерь охраняют эсэсовцы, для внутреннего порядка поставлены вахманы.

Мы поспели к ужину. В кипячёной воде плавают куски тошнотворной брюквы — основного продукта питания остовцев. Поначалу новенькие отворачиваются от мисок, а старожилы хватают их, разливают похлёбку по столу, мгновенно проглатывают куски брюквы.

Напротив за столом Миша Царюк. К нему подсаживается старожил Шуппена, предлагает часы: «Махнём?». «За что?». «За сколько дашь. Часы-то золотые». У Царюка есть хлеб, но его пугает это «сколько дашь»: «Нет. Не надо». «Может, возьмёшь? За двести грамм?». «Не надо». И, глядя в мою сторону, прибавляет: «Здесь кто скуп, тот не глуп».

Бессонная ночь. Грядёт голод. Почему, почему так дурачки я позволил себя увезти? Не сбежал ещё в Николаеве? Или по дороге сюда? Голодать мне приходилось и раньше. С

первых дней войны мать советовала ту же затягивать пояс, приучаться к маленьким порциям. «Желудок тоже можно натренировать на голодный режим, организм приспособится и переживёт любой голод. Главное — не распускать живот». Так учила меня мама, пережившая голодные и двадцать первый год, и тридцать третий... За столом соседи перемолвились обо мне: «Во фитиль! И двух месяцев не протянет». Я подумал, что и двух недель не выдержу тут. Мог ли я предвидеть тогда, что выдержу многое и, увы, переживу многих?..

— *Aufstehen! Los! Los!* (Подъём! Живо! Живо!)

Грохочут вниз по лестнице деревянные ботинки (сабо), строимся на проверку. Вахманы не в ладах с арифметикой: считают нас три раза. К завтраку получаем по кусочку хлеба, по кружочку колбасы, по две югославские сигареты «Рама» (не так плохо, поясняют старожилы, немцы получают по три сигареты). Ещё — кружка чёрной жидкости — кофе. Хлеб сладковатый, наполовину из брюквы. «Чистого» хлеба выходит граммов 150. Едят его шуппенцы по-разному. Один самодельным ножичком делит пайку на мелкие кубики, долго колдует над ними, пока не съест. Другой пьёт кофе, хлеб же убирает за пазуху, чтобы отдалить главную трапезу. Были и такие, что расправлялись с хлебом в два счёта, думая о другом, о постороннем. Странно, но, кажется, последних выживало больше.

Так же с сигаретами. Их то режут на четвертинки или половинки, то выкуривают сразу. Как в каждом человеческом муравейнике, и здесь есть «чёрный рынок», где меняют, так сказать, шило на мыло. Хлеба полпайки отдают за миску баланды или две сигареты. Недельная плитка маргарина (суррогатного) тоже стоит полпайки. По 50 граммов колбасы (конской) получают трижды в неделю. Среда и четверг — «сухие», только «голый» хлеб. В субботу выдают сахар и соль (по 75 граммов), и на рынке царит оживление.

Главная ценность — соль! Баланду привозят несолёной. Само по себе это не играет роли. На острове Робинсона Пятница отплёвывался от соли. Ею не пользовались целые народы, зулусы, например. И оставались здоровыми. Но остовцы и не слышали об этом. В Шуппене соль стоила дороже сахара. Посолённая баланда казалась сытнее. Казалась, но не была. Некоторые лагерники, начав с небольшой дозы, увеличивали её вдвое, втрое, вскоре и этого не хватало, и люди впадали в солевое помешательство, меняли на соль жизненно необходимые маргарин, колбасу, хлеб. Резко повышается кровяное давление, отекают конечности, по коже ползут зловещие пятна. Человек умирает.

В Шуппене есть противопожарные посты, кирки, лопатки, бочки с водой и с красной солью. Кое-кто добавляет в пищу этот химикат. Результат хуже смерти — безумие. Помешанных становится всё больше, и вахманы иногда развлекаются — загоняют больных в умывальню и поливают их из брандсбойта ледяной водой... Климат, голод, такое вот «лечение» — конец один.

Мы выкурили по сигарете, и раздался сигнал строиться. Впереди группы немцев в комбинезонах — худой хромоног с жёстким властным взглядом. Рядом — высокий, блед-

ный, как все шуппенцы, переводчик. Они останавливаются перед нами, и дылда переводит:

— Вы уж поняли, дети мои, что здесь не курорт. Вас привезли сюда работать и помогать германскому народу победить большевизм. Эти люди — ваши мастера. Главный инженер, герр Фейерберг, хочет от вас одного — чтобы вы честно трудились. Саботажников будем наказывать. Герр инженер готов ответить на ваши вопросы.

Вопросов не оказалось. Нас спрашивают, кто есть кто, кто и что умеет делать. Мастера уводят свои группы в длинный зал, уставленный верстаками, среди которых кое-где возвышались сверлильные станки.

Я попал к невысокому коренастому мастеру, очень подвижному и крикливому. Его скуластое смуглое лицо, запавшие, но живые, умные глаза, чёрные с проседью волосы запомнились на всю жизнь. Он хватает нас за плечи, подталкивая к тискам, тараторит вперемешку немецкие и русские слова:

— Мы все люди! Запомнил? Ви будете *борен*... Ви ист айн руссиш? (Он выхватывает из нагрудного кармана книжку, вероятно, словарь, листает). Боре... *борен*... Свер-лить... Ви будете свер-лоф-шчик! Я есть ваш майстер. Понималь? Ви люди, и я люди, *verstehen*?

Он включил станок. Зашелестел, напрягаясь, ременный шкив. И тотчас забился, заходил вверх-вниз. За верстаком — окно с видом на свинцовые воды канала. Свесив хоботы, неподвижно стоят подъёмные краны... Воняет закипевшая на сверле эмульсия. Взмахивая руками и крича: «Все люди *arbeiten!*», вбегает мастер и тут же исчезает в другой двери. Его так и прозвали: «Вселюди»...

Вчерашние школьники оказались под враждебным пасмурным небом на клочке вымощенной камнем земли, отрезанной от мира каналом и проволочным забором, где их временные господа пытались совместить несовместимое: выжать из подростков все силы, потратившись на это как можно меньше.

Бежать — вот что сразу приходит в голову. После первых дней растерянности — бежать, пока есть ещё силы, пока движутся руки и ноги. Так думаю не я один. За нашим столом об этом перешёптываются ещё двое. Яша Минтурин, бывший военнопленный, сбежавший из шталага на Украине, и Аркадий, недавний студент пединститута. Царюк пробормотал:

— Вольному воля, а я не дурак.

Мнётся и мой сверстник Петя Пруссов, красивый черноглазый подросток с Херсонской улицы. Мол, зачем торопиться, сначала надо оглядеться. В конце концов, отказывается. На этот раз. Что ж, осматриваемся. Рядом с нашим Шуппенем, за проволочным забором, располагается другой лагерь, торцом к торцу. А в следующем за ним живут пленные французы. По утрам их водят на работу вдоль нашего забора, они машут нам руками, они всегда оживлены, веселы. Некоторые поднимают на уровень головы кулак: символ «Рот Фронта».

Им, конечно, живётся полегче: ежемесячно каждому вручают посылки с продуктами от международного «Красного Креста». За французским лагерем ещё один Шуппен — 46-

й. Это база подводных лодок, куда они возвращаются после своих походов. Моряки по увольнительным бегают тоже под нашими окнами. Одеты, как наши моряки, но выглядят невзрачнее, мельче наших. Неужели это они — лихие охотники за военными судами союзников в просторах Атлантики?..

Вечер. Я на верхних нарах — под лампочкой, единственной на всё помещение. Вахманы зашторили окна, и теперь внизу в столовой коротают дежурство за картами. Люди эти не годятся ни на военной службе, ни на производстве, лица и привычки у них разные, но в обращении с нами они одинаково тупы и жестоки. Вот Герхард — глаза навывкате, челюсть вперёд, рука на отвороте мундира. Такими рисовал фашистов наш «Крокодил». Его боятся, как злую собаку, способную укусить в любую минуту. А вот Карл — сухопарый, крепко сбитый, горбоносый и в фуражке набекрень. Общительный, ухмыляющийся, вертящий перед носом лагерника кулак — такое у него чувство юмора. Его почему-то не боятся. Всего вахманов человек тридцать, подчиняются коменданту Россману, широкоплечему, сутуловатому, внешне доброжелательному, хотя говорили, что в Югославии он служил в карательных войсках. У коменданта есть *риттеркрейц* (рыцарский крест).

Узнали мы и о побегах, которые были до нашего этапа. Бежали одиночки. Судьба двоих неизвестна, и ребята надеются, что они ушли. Третий поплыл через канал, и спустя неделю переводчик Жорка объявил, что труп беглеца был прибит волнами к противоположному берегу. Несчастный добрался-таки до цели... «Нет, мы пойдём другим путём», — говорит Аркадий.

Не спит рядом Миша Царюк, натянувший на голову потёртое шуппенское одеяльце. Тяжело ему, ребята хотят уходить, и он бы рад, да боязно. Оставаться ещё страшнее... Достая из-под подушки книги, которые мама завернула в бельё. Их две. Мама выбрала что-то дореволюционное, не советское, чтобы не повредить мне. Одна большая, с цветными рисунками — «Мировые загадки», вторая — сочинения Лермонтова. Листаю «Загадки» Геккеля, немецкого учёного. Интересно, интересно, что он пишет об орангутанге (о том, что мы все произошли от обезьян, нам говорили, ещё когда мы были октябрятами).

Но знаменитого учёного занимали и другие проблемы, например, культ силы в природе и политике. Сто лет назад он мечтал «объединить», как он говорил, «36 разбойничьих государств Германии» в одну великую империю под руководством «немецкого Гарибальди», приветствовал Бисмарка, сплотившего немцев «железом и кровью»...

Давно книга под подушкой, тёртая солома под головой хрустит, все спят, а в мозгу крутится что-то вроде фильма, где Вильгельм наплывает на Бисмарка, а Гитлер на них обоих...

Это была, конечно, безнадежная затея: бежать в незнакомом городе, где всё тебе враждебно, не зная языка, в рабочей робе и деревянных пантофлях, не имея карты, запаса еды и питья. Но нам казалось, что выбравшись из Шуппена, мы как-нибудь найдём дорогу.

— Отсюда я вас выведу, — говорит Яша, — ну, а там, — он неопределённо машет рукой, — как повезёт... Коренастый, полноватый, с добродушным и весёлым лицом, Яков за старшего. Позади у него и Минский котёл, и Березина, и шталаг на Украине. Неожиданно 29-го апреля шуппенцам выдают продукты на четыре дня — хлеба 1200 г, 50 г маргарина и 100 г колбасы. Расчёт прост: 1-го мая лагерь будет голодать. Ни у кого не хватит выдержки распределить хлеб на каждый день. Так и получилось. Уже в день выдачи многие съели весь свой запас, а 30-го апреля несколько человек умерли в страшных мучениях. Помочь им было нечем, в лагерной аптечке была лишь ихтиоловая мазь... Умерших немцы убирали, не мешкая. На нашем столе было иначе. Отрезав по кусочку хлеба, мы сдвинули буханки на середину стола.

— Подкрепитесь, братцы, — сказал Яша, — сегодня уходим. И больше улыбайтесь. Это всегда помогает...

Медленно текут часы. После отбоя, когда лагерники уснули, я комкаю постель (вид спящего человека) сверху набрасываю пальто. Снизу из столовой доносятся голоса и смех вахманов. Они заняты игрой. Шуппенцы бегают в уборную мимо двери в столовую, вахманы привыкли. С одеялом, накинутым на голову, гремя колодками, бегу по проходу и перед спуском на лестницу оглядываюсь. Кто-то приподнялся с нар, но мне некогда. Спускаюсь на апельсплац и бегу за деревянные щиты уборной. Быстро одеваюсь. На пороге появляется Царюк. Машет мне рукой: я с вами! Стучат колодки Аркадия, а следом за ним и Якова. У студента топорщится куртка: запас хлеба. Увидев Мишу, Яков молча грозит ему пальцем.

Верха у нашей уборной нет. Десятиметровые столбы ведут под самую крышу Шуппена. Подтягиваясь на руках, Аркадий добирается по столбу до поперечной балки, садится на неё верхом, выставляет стекло в боковом окне на крышу и исчезает в оконной раме. Но вот голова его появляется вновь, он кивает: давай! По очереди взбираемся к боковому окну, выходящему на мокрую гофрированную крышу. Во влажном небе над нами звёзды. Гамбург перемигивается огоньками. Но с канала уже поднимается туман.

Осталось управиться с лестницей. Толстая кирпичная стена образует конёк крыши, на котором по всей его длине лежит пожарная лестница из железных прутьев. Яков шёпотом направляет наши действия, и через какое-то время лестница, повиснув над проволокой, концом своим ложится на крышу следующего здания, пустующего и неохраняемого. Карательная вышка была теперь значительно ниже и в стороне. Часовой, главным образом, следит за восточной стеной Шуппена. Но прожектор его может вспыхнуть каждую минуту и обшарить Шуппен с севера, где в темноте ночи копошимся мы.

План Якова кажется сумасшедшим. Но делать нечего, хватаясь за мокрые ржавые перекладины, по одному переползаем на Шуппен-44. А дальше — проще. Вынув такое же боковое стекло, спускаемся по столбу внутрь здания, отодвигаем высоченную дверь на шарнирах, и мы на канале! Завернув колодки в одеяла, мчимся босиком по камням и перелазим через невысокий забор на улицу. Оглядываемся: громада нашего Шуппена безмолвна. Потом был путь по безлюдному городу мимо бесконечных пакгаузов и длинных кирпичных стен. Наконец, останавливаемся. Вот и Эльба, вот мост, по нему мы

шли с вокзала. Впереди в тумане посвёркивали фонари. Мы прошли арку и, держась левой стороны, почти бегом миновали половину моста, когда вдруг позади раздался треск мотоциклов, и мы увидели приближающиеся фары. Недалеко же мы ушли. Возле нас полицейные остановились – в высоченных шапках, в широких плащах – бравые молодцы.

– *Hier an dieser Stelle sie irreleiten!* (Вот где они заблудились!) – сказал один из них, подходя к нам. Полицейская машина мигом доставила нас обратно. В ярко освещённом умывальном зале, среди мрамора и кафеля (вот на что не поскупились владельцы судов-верфи!), нам приказали раздеться. Голые, встрёпанные, с лихорадочно блестящими глазами, отражаемся в многочисленных зеркалах. Вахманы прощупали одежду, отложили в сторону хлеб и яшину бритву. Мы оделись, и они, по знаку коменданта, набросились на нас с дубинками. Избили нас жестоко. Потом заперли в карцер – железный ящик с цементным полом и полоской света под дверью.

– Жив, Лёнчик? – слышу я голос Якова.

– По руке саданули здорово, а так ничего.

– А ты, Мишка?

– Жив-то он жив, но к девкам долго не захочется, – пошутил студент.

Гремит дверь. Вошёл комендант, за ним – Карл и переводчик. Мы поднялись, и Жорж, покачиваясь на своих длинных ногах, говорит:

– Дела плохи, дети мои. Герр комендант очень расстроен. Побег в военное время! О чём вы думали? Это же саботаж!

Комендант, седой, благообразный, с мягкими чертами лица, смотрит на нас с сочувствием. Жорж продолжает:

– Герр комендант сообщает вам, что утром приедет гестапо и вы будете повешены. На кранах. На глазах у всех. Как урок остальным... Хороший Первомай вы нам устроили, ребята.

Комендант, как заведённый, кивает всему, что говорит переводчик.

– От себя добавлю, – ухмыляется Жорж, – что время проститься с жизнью у вас ещё есть. Сталин вас не выручит. На Бога не надейтесь. Как сказал Остап Бендер, Бога нет – это медицинский факт... – и Жорж делает нам ручкой. Они уходят. Мы снова валимся на пол. И вдруг в темноте ко мне с кулаками бросился Мишка.

– Чёрт тебя дери! – закричал он. – Зачем сманивал меня!

Яша нас разнял.

– Чего бузишь? Чего валишь на Лёшку? – кричит он, прижимая Царюка к стене. – На такое дело каждый сам решает, идти или нет.

– Всё верно, – говорит Аркадий. – Наши писали, а мы не верили. Пропаганда, мол. Ведь и Маркс, и Энгельс – немцы. А ведь наши были правы.

– Конечно! – восклицает Яков. – Убьют – и не откажешься. Одно слово – фашисты. Да по мне лучше сдохнуть, чем медленно доходить в этом вонючем Шуппене! Умрём как советские люди, ребята, не жалея ни о чём...

— А мне умирать не хочется, — говорит студент. — В дорогу мама напекла блинов. Вот уж когда я наелся! С тех пор так и вижу эту тарелку с блинами... Даже во сне снятся.

— В порядочных тюрьмах, — вставляет Яков, — кормят перед смертью. Что пожелаешь, то и дадут. Даже выпить...

— Выпить нам сейчас не помешало б! Но это у культурных народов, Яша. А тут последнее отнимут. Хлеб наш и то отняли, гады.

Разговор сошёл на нет. Каждый думал о своём. Я — о том, как две недели назад дышал свежим ветром на лимане, верил, что немцев скоро погонят... Сколько хотелось в жизни сделать! Но теперь, кажется, всё!

Теперь, вспоминая ту ночь, я только руками развожу, так негаданно и невероятно чередование событий, так непостижимо всё обернулось. Поначалу было очень тяжело. Мы не сомневались в том, что было нам обещано. Мы хорошо помнили, как деловито и бездушно немцы стреляли и вешали в Николаеве даже детей и женщин. Разговаривать не хотелось, молчать было ещё хуже. И вдруг часа в четыре завывла сирена воздушной тревоги. Очередной налёт английских бомбардировщиков. На этот раз бомбили совсем близко.

После отбоя в камере запахло дымом. Трепетно засветилась щель под дверью. Горел Шуппен. Мы забарабанили в дверь, потом дружно, по команде и с разбега, бились о проклятую своими телами. Она не поддавалась, она и склёпана была, чтоб не поддаваться. Дышать уже было нечем...

Внезапно дверь распахнулась. Карл, весь в саже, что-то рявкнул нам и исчез в дыму. Мы бросились за ним. Одежда на нас дымилась, вверху затрещали балки... Но мы уже вырвались наружу. Во дворе метались в суматохе люди, их крики перемежались с выстрелами. В раскрытых настежь воротах лежало несколько неподвижных тел. На улице стояли цепью эсэсманы с винтовками. Со стороны канала подошла подводная лодка, и струя воды ударила в горящее здание нашей мастерской и жилого помещения.

Как нам рассказали позже, на крышу Шуппена были сброшены «зажигалки» и две фугаски. Вахманы открыли убежище под мастерской. Остовцы вырвались во двор и смели ворота. С вышек стали стрелять. Но более половины лагерников разбежалось. Немцы по тревоге подняли мосты, превратив Гафен в остров. Многие вернулись сами, остальных выловили в течение следующего дня.

Тогда во дворе мы этого не знали, и нос к носу столкнулись с комендантом и Жоржем. Он спросил, кто нас выпустил, смерил всех четверых странным взглядом, как бы что-то взвешивая, и сказал, что нам повезло и он рад, что хоть эти «дум кёпфе» оказались в наличности. Погрозив пальцем, он махнул рукой и отвернулся, а мы тотчас смешались с толпой. Мы как бы вернулись с того света, и товарищи, несмотря на суматоху, были рады увидеть нас живыми.

Аркадий сразу же исчез. Крикнули, что горит каптёрка, то есть хлеб. Остовцы кинулись в огонь. Кое-кто добрался до ящиков, набил себе пазуху пайками. Во дворе на них набрасывалась толпа и в свалке отнимала добычу. Аркадий, набрав хлеба, побежал не на двор, а на берег канала, где его сбила с ног струя воды. Всё же хлеб он сберёг, спрятал в

кирпичах. Обрушился первый этаж. Днём, разгребая пожарище, на месте каптёрки нашли обгоревшие трупы... То ли пожар и два десятка погибших в ту ночь избавили нас от казни, то ли комендант и Жорж только пугали нас, но мы остались жить.

На одной из проверок переводчик сказал, что мы находимся в плену, то есть немцы рассматривают остарбайтеров как военнопленных. Сколько из наших навсегда осталось там, сколько вернулось с подорванным здоровьем – об этом писали, хоть и скупо, так что стоит, может быть, напомнить некоторые цифры. По справочнику Политиздата (Москва, 1965, стр. 388) в промышленности и сельском хозяйстве Германии было занято около 10 млн иностранных рабочих и военнопленных. В том числе советских граждан 4 млн 978 тысяч. «Наука» в 1967 г. выпустила сборник «Совершенно секретно! Только для командования!», и в нём уже другая цифра о советских пленных: 5 млн 750 тыс. человек. Из них к 1 мая 1944 г. в лагерях умерло 1 млн 981 тыс., 1 млн 30 тыс. человек «убито при попытке к бегству» или передано гестапо «для ликвидации», 280 тысяч погибло в пересыльных пунктах. Общее число умерших – 3 млн 291 тыс. человек. Ничего подобного русская история не знала.

Среди 2,5 млн выживших был и пишущий эти строки...

Немцы решили восстановить мастерские и общежитие, для чего понадобилась половина Шуппена-46, где располагались военнопленные из Франции. Поставив дощатую стенку, французов согнали в одну половину, а нам предоставили другую. Это было первое соприкосновение с французами, отличными парнями, которые радостно приветствовали нас через тонкую перегородку.

В громадном и безоконном помещении, предоставленные сами себе, мы пока не работали, спали на металлических стружках (раньше здесь была свалка металлолома) и, как могли, преодолевали уныние, коротая время от получения пайки утром до отбоя вечером.

Я теперь дружу с Петей Прусовым. У нас есть что вспомнить о Николаеве, есть о чём перемолвиться. Он любит стихи, и после пожара у него сохранился сборник стихотворений Брюсова – единственная книга на весь Шуппен.

Аркадий тоже устроился рядом. Он в команде по расчистке. Вытаскивает из-под обломков станки. Вечерами, хитро щуря глаза за стёклами очков, выкладывает перед нами буханку хлеба, того самого, добытого с риском для жизни в горячей каптёрке, делит её на всех. Никогда не забыть мне этот сладковатый, наполовину из брюквы, гамбургский хлеб!

Вскоре выдали по одеялу и матрасу, набитому опилками. Французы чуть выше пола отодрали доску в стене. Каждый из них стал прихватывать с работы то несколько картофеля, а то и целую брюкву. И у отверстия в стене по вечерам тихая возня, передача брюквы и картошки голодным остовцам.

Через неделю пустили станки. Мы вживаемся в шуппенский порядок, но мысль о побеге не оставляет нас. Когда и как это будет, никто не знает. Просто надеемся на случай,

который может подвернуться. А пока берёмся за немецкий язык. Записываем слова на клочках бумаги, учим, складываем предложения. На самом примитивном уровне мы можем уже худо-бедно объясняться с немцем.

Я опять за станком. Левая рука хватается за скобу, правая давит на рукоятку. Сверло ворчит и выгрызает синюю стружку, а если сильнее налечь — чёрно-коричневую, и слегка подташнивает от запаха закипающей эмульсии. Руки заняты, память прокручивает прошлую жизнь. С вечера я намечаю себе какой-нибудь кусок жизни, который днём воспроизвожу в памяти до мелочей. Школу, окрестности Кисловодска, пионерские маневры (синие против красных), столетие смерти Пушкина, груды яблок на николаевском рынке...

Мимо рваных телогреек и мутных окон идёт инженер. На военной службе он был ранен в Африке, теперь инвалид, на протезе. Хмуро кивает направо и налево: «*Арбайтен!* *Арбайтен!*» В цеху появляется нечасто, но немцы его побаиваются. Сегодня навстречу ему попался мастер Людвиг, который и провожает его до кабины. Проводив, трёт руки, подмигивает остовцам...

Странный этот Людвиг. Среди мастеров он — белая ворона. Бегаёт, шумит, ругается, но вреда никому не причиняет. Со своим «сверлофшчиком» он совершенно откровенен. Я скобу за скобой отправляю в ящик, а он, повиснув надо мной, тычет в станину пальцем и, не умолкая, говорит. Со стороны кажется, что немец наставляет русского, а он на ужасной смеси двух языков расспрашивает про нашу страну или, сокрушённо вздыхая, вспоминает Германию, какой она была до 1933-го года. Он состоял в партии — социал-демократической, хорошо помнил разгром гамбургского восстания в 1918-м году, тяжёлое послевоенное время, времена Веймарской республики, времена свободы и демократии. С приходом нацистов всё пошло *zum Teufel!*.. Да, по-русски говорил он плохо, по-немецки я понимал плохо, однако всё «доходило». Нацистов и «новый порядок» он ненавидел. Признался, например, что молится Богу, дабы Гитлер и его клика поскорее ухнули в бездну, избавив Германию от своего руководства. Я ему поверил до конца, мысль о том, что есть такие немцы, помогала жить и смелее смотреть в будущее.

Утром, прежде, чем переодеться в полинявший от стирки комбинезон, он опускал за пожарную бочку в полутёмном проходе небольшой свёрток, а затем, проходя мимо, толкал легонышко в плечо: «Лео, перекур...» Худой, некрасивый, нервный, с лихорадочно блестящими глазами — таким он запомнился мне.

Я выключал станок, шёл к пожарной бочке, а оттуда — на пустынный канал, садился на рельсы, идущие вдоль кромки причала, смотрел на грязную воду, на проходящие суда и съедал приношение Людвига: два тончайшие бутерброда с селёдочным фаршем или кабачковой икрой... Позже я узнал, что и другие мастера подкармливали своих рабочих.

Всем, что происходит в Рейхе, Людвиг делится со мной. Новости с фронта, слухи, которые мастера передают друг другу. Например, о том, что в Берлине, в Люстгартене, была устроена выставка «Советский рай» с целью устрашения обывателей коммунизмом. В нескольких местах вдруг начался пожар. Выставка сгорела дотла.

У нас сменился комендант. Вместо Россмана стал Крюгер, невысокий эсэсовец с худым лоснящимся лицом, с неимоверно вытянутым носом и искусственной левой рукой в чёрной перчатке (его поэтому звали Железной Рукой). При нём ввели кухню, которой заведовал датчанин в белом колпаке на плешивой голове. Он всё время держал в руке «весёлку» и то размешивал баланду в котле, то прохаживался по плечам и головам своих помощников из остовцев.

По субботам рабочий день кончался в полдень. Мастера получали голубые конверты с недельной зарплатой. За час до гудка уже переодевшиеся в «гражданское» немцы нетерпеливо поглядывали на часы, а мы нетерпеливо ждали, когда они уберутся.

Вечер субботний проводим в столовой. Кто курит, кто нашивает заплату, кто сидит за самодельными шашками... За нашим столом собирались обычно Паша Гиляев, журналист из Харькова, Федя Букин — из военнопленных, инженер Жаков из Николаева, седовласый и уже больной. В Шуппене он работал уборщиком, у него опухали ноги, сдавало сердце, но он предпочитал проводить время с молодёжью. К нашему «огоньку» тянулись и другие шуппенцы: весёлый и насмешливый Сергей Емцов, вечный спорщик Боря Санжаревский, задумчивый Юра Томенко. Федя Букин до войны работал в областном аэроклубе, в войну летал на ПО-2, доставляя донесения в штаб армии, вывозил раненых, совершал ночные полёты за линию фронта, участвовал в бомбёжках... Ему было о чём рассказать нам!

Шуппен кажется мне большим кораблем, затерявшимся в мрачном море. Люди работали и умирали, на их место привозили других, и всё шло по-старому. Но за пятнадцать месяцев, прожитых в Шуппене, случилось немало разного рода происшествий, больших и малых. Хотелось бы кратко рассказать о них.

Одно из воскресений, солнечный день, берег канала, ограниченный с двух сторон колючей проволокой. Люди сидят где попало и, раздевшись до пояса, истребляют вшей. Исхудавшие донельзя или распухшие шуппенцы перебирают почерневшие от грязи куртки и сорочки. Нас заедают вши и клопы, хотя и в новом Шуппене немцы построили умывальную с блестящими кранами, холодной и горячей водой, зеркалами по всем стенам. Но утром и вечером на умыванье выделено ровно 15 минут. О стирке не могло быть и речи.

На канале стояло одинокое судно — метрах в трёхстах, и на корме его висели флаги: немецкий со свастикой и трёхцветный голландский. Палуба была пуста, но появился человек в жёлтом комбинезоне и с аккордеоном в руках, исполнил несколько мелодий, и вдруг мы услышали «Интернационал». Невероятно: в фашистской Германии человек играл коммунистический гимн! Играл настойчиво, вновь и вновь повторяя знаменитую мелодию. Кое-кто из наших подхватывает, начинает петь. Песня звучит громче, шире, присоединяются всё новые голоса, и аккордеонист играет всё азартнее. Поём назло себе, назло немцам.

— *Schweigen! Schweigen!* (Молчать!) — выныривают из Шуппена вахманы. Мелькают дубинки. Немец топает ногой, грозит ярко-жёлтому кулаком.

В столовой нас ждёт Крюгер, взобравшийся на скамейку. Посвёркивая из-под очков глазами, объявляет, что за исполнение большевистской песни мы оштрафованы: нас оставляют без обеда и ужина.

Низкие облака, чистые, словно вымытые, мостовые, стрелчатые окна, круглые и квадратные, весёлая вывеска: румяный дядя с пивной кружкой и надпись: Bavaria... По мостовой идут остарбайтеры, измождённые, в лохмотьях, стучат сабо, орут вахманы, рвётся с поводка овчарка. Прохожие останавливаются, глазеют. Старики подкручивают усы: Германия отомщена! В развязных позах привалились к стенам парни; поглядывают исподлобья, отворачиваются девицы. И только в лицах пожилых женщин мелькает что-то похожее на сострадание, порою блеснёт и слеза...

Так раз в три месяца гонят шуппенцев в баню. По семь человек в ряд. Передние набрасываются на морковные огрызки, апельсиновые корки, окурки... Со двора бани очередь вползает в банное помещение. Свёртки с одеждой – в «прожарку», сами – в душевую. На ладонь плещут коричневую жидкость – мыльную эмульсию, которую надо немедленно размазать по телу. Спешим к металлическим чашкам, свисающим с потолка. И выскакиваем из-под ледяного дождя. В куче пропаренных свёртков искать свой бесполезно, берёшь что попало. Одеваемся в строю. Опять считают-пересчитывают. Растревожённые паром, ползут по спинам вши, белые, крупные. Несём их в лагерь... Наконец добираемся до казармы, валимся с ног, но ещё надо выстоять новую перепроверку. И уж после баланды, на нарах, приходишь в себя. Двенадцатичасовой День бани позади!

Сева Уфимцев ждёт возле кухни, пока ему тайком сунут сырую брюкву, или повисает на железной лестнице, спущенной в канал, выжуживает из фиолетовых пятен нефти размокший свёрток, выброшенный из камбуза какого-нибудь парохода. Его то и дело видят у забора, за которым база подводных лодок. Сева «стреляет» у моряков покурить...

Однажды один из них вынес из кубрика несколько консервных банок. Окликнув Севу, стал бросать их через проволоку. Из конторы это увидел бухгалтер. Высокий, лощёный, со значком «СД» на лацкане пиджака, он помчался вниз по лестнице. Сева попался на месте. Бухгалтер дал знак часовому на вышке, тот позвонил куда надо.

Появились вахманы, комендант, прибежали офицеры-подводники. Избитого до крови Севу повели к морякам, выстроенным в шеренгу. «Дизер?». «Найн!». Снова быют, и снова вопрос: «Дизер?». «Найн!». Вечером в столовой Севу привязали к столбу, вахманы по очереди дежурили возле него. Двое суток без воды и пищи простоял он, последние часы уже без сознания.

Замечательно поведение немецких моряков после команды разойтись. Они кинулись к своим вещмешкам... «*Руссише камераде, комм хир!*» – И на нашу сторону летели банки, сигареты, хлеб.

Подводную лодку спешно отправили в море. Начальство решило, что соседство пленных русских действовало на моряков разлагающе, и базу перенесли в другой район. Севу мы, как могли, отходили.

«Германский солдат твёрдой ногой стал на Чёрном море! Севастополь пал! Ожесточённое сражение закончилось победой Рейха! За каждым камнем скрывается большевик! — передано из Главной квартиры Фюрера». Русская газета «Новое слово» выходит в Берлине и к нам поступает по субботам. Сперва её читают вслух, потом передают друг другу... Понимаем главное: наши уже не отступают, уже дерутся за «каждый камень». Под Севастополем столкнулись силы, едва ли уступающие друг другу.

В остальном газета была мирной, рассчитанной на эмигрантов. При отсутствии печатного слова мы жадно прочитывали всё, вплоть до объявлений. Помню статьи Иванова-Разумника о Блоке, Есенине, Клюеве; большую статью о погибшем в московской тюрьме поэте Павле Васильеве, о мытарствах детей и внуков Достоевского. Длинные списки умерших в ленинградскую блокаду учёных, писателей, артистов. Особая колонка отводилась под розыски: «Г-жа Муромцева (адрес) разыскивает возлюбленного сына Андрея. По слухам, из советской России он прибыл в Германию»; «Маша, отзовись! Ротмистр N-ского полка Пеклеванов». Обращала на себя внимание и фамилия главного редактора — Деспотулли.

Что-то случилось с водопроводом. По двое, по трое приходят вольнонаёмные слесари и с любопытством озираются на нас, узников Шуппена... Так я познакомился с Мартином. Это спокойный человек с мужественным лицом, прямым взглядом из-под козырька надетой набекрень тельмановки. Он сам искал возможности пообщаться, поговорить. Проходя мимо, подмигнул мне и кивнул на дальний угол мастерской, где возились водопроводчики. Я выключил станок и подошёл к ним.

Кое-как мы объяснились, и я узнал, что он хочет что-нибудь сделать для нас, русских. Я попросил немецко-русский словарь и какую-нибудь книгу потолще. Он принёс словарь и роман, где подробно описывалось восстание крестьян против феодала. Так я стал регулярно читать немецкий текст, выписывая незнакомые слова, заучивая их под бормотание сверла с прилаженного к станине листка. Потом Мартин стал приносить «Гамбургер Тагенблатт», вкладывая в него газетку-листочку «*Innere Front*» («Внутренний фронт»). Видимо, он вполне доверял мне, а я всё-таки опасался, не провокация ли это, о чём до сих пор жалею...

Лето 1942-го года. Бои шли в районе Эльбруса, в местах моего детства. Ум отказывался верить в это. Однако в августовских сводках замелькал город Ржев, где наши наступали и даже добились некоторого успеха... Французы будто только того и ждали, чтобы поздравить нас и подбодрить: постучав в дощатую стену, исполнили хором и в одиночку «Кукарачу», «Челиту», «Катюшу» и другие песенки.

Ответом были усталые, вразнобой аплодисменты. Соседи попросили спеть что-нибудь для них. Не очень дружно наши затянули «Из-за острова на стрежень», но постепенно песня зазвучала хоть и негромко, но величаво и даже грозно. Подпевали и сами французы... Когда умолкли последние слова, от аплодисментов задрожал Шуппен.

Вскоре остовацы устроили концерт. Поставили в ряд скамьи, соорудили «сцену» и занавес из старых одеял. Собрались зрители, неожиданно появился комендант с переводчиком и свободные от дежурства вахманы. В неярком освещении бледный мужчина во фраке (где он его раздобыл?!) поправляет бабочку:

— Друзья, собратья! В нашем рационе нету одного маленького, но очень важного витамина. Да, да: витамина С! Он появляется внутри каждого из нас, когда смеёмся. А смеёмся мы, братцы, редко, и это никуда не годится. Давайте попробуем смеяться, друзья, и вы увидите, как вокруг нас станет светлее и на сердце веселее... Итак, смеёмся? — Он делает паузу. Все молчат. Объявляет: — Стихи поэта Сергея Есенина читает Федя Букин!

Федя прочёл стихи, как поэт возвратится в отчий дом, где чья-то «чужая радость» и где «в зелёный вечер» он повесится на собственном рукаве...

*Большие вербы у плетня
Нежнее головы наклонят,
И не обмытого меня
Под лай собачий похоронят...*

Есенин так просто и обыденно писал про смерть, которая каждодневно заглядывает нам в очи!.. Ничего подобного раньше мы не слышали и не читали. Нас будто разбудили, вывели из оцепенения. Федя читал и другие хватающие за душу стихи, и мы, хоть и не дружно, аплодировали.

Боря Санжаревский под гитару исполнил одесскую уличную песенку: про Софу-Софию Павловну. Его номер всё-таки вызвал слабые улыбки на лицах. Затем двое остовацев сплясали попеременно гопак и лезгинку. Даже Железная Рука ослабилась и сделал два-три хлопка. Бледный во фраке читает рассказ Зоценко «Баня». Вслед за ним имитатор очень ловко изображает паровоз, пилу и птицеферму. Посмеялись, конечно. Рослый и худой Алёша Вирт спел песенку Дженни из фильма «Остров сокровищ». Слушатели покосились на немцев и стоявшего рядом в ними с застывшим лицом Жоржа. Не переводит ли?.. Гриша Нос закончил вечер песней «Помню городок провинциальный, Тихий захолустный и банальный, Церковь и базар, городской бульвар, Образы мелькавших пар... Катя, Катюша, Катюша моя!..» У соседей я увидел слезы...

Дни наплывают на дни, подобно волнам Гафена. По ночам ревут сирены. Исчезают вдруг люди. Немцы пронюхали, что в Шуппене есть бывший военнопленный, участвовавший в прошлом году в боях на Березине, где впервые применили «Катюшу». Кто именно, не знают. Вот и увозят на допросы разных людей. В Шуппен они не возвращаются. Яков говорит: узнать секрет устройства снаряда им всё равно не удастся. Даже наши минометчики не знают его.

Через пять месяцев после прибытия в Германию разрешают написать домой открытку.

Из Берлина приезжает врач, высокопоставленный немецкий партиец. Вахманы нервничают, возле санпункта выстраиваются больные. Толстяк с брюзгливым выражением лица идёт вдоль шеренги. По команде Герхарда каждый поднимает вверх цынготную ногу — распухшую, в тёмных пятнах. Толстый палец врача оставляет в ней вмятину. Физиономия «сверхчеловека» выражает крайнее недовольство...

Когда он уезжает, больным дают микстуру и выписывают на работу. После визита врача будят на час раньше и выгоняют на физзарядку. Очумелые от недосыпа люди выстраиваются в густом предутреннем тумане спиной к забору, поёживаются, вполголоса ворчат. Облокотившись на перила, с вышки смотрит на этот необычный спектакль часовой.

— Приседаем! — бодро кричит с балюстрады Жорж. — Раз! Два!

Присесть-то присели, но встали далеко не все...

— Рассказать кому — не поверят ведь!.. — вздыхают шуппенцы. Как ни тягостно на душе, ребята всё-таки улыбаются.

— Ну-ну, вставайте, дети, вставайте! — с наигранным добродушием взывает Жорж, хлопая в ладоши.

— Ауф, ауф! — вторят вахманы, тоже улыбаясь и помахивая дубинками. Улыбается и часовой.

С канала доносится гудок. Выносят ящики с хлебом. Звучат команды:

— Первая сотня! Вторая сотня!

Идёт раздача паек. Сигарета. Сигнал на работу.

... Ужин. У раздаточной стоят вахманы, отбирающие картонные жетончики, взамен которых остовцы получают баланду. Жетоны ввели недавно, выдают их на всю неделю: 14 разноцветных кусочков картона — по два на день. Вчера, скажем, были жёлтые, сегодня — красные, завтра — зелёные. Двигается очередь, мелькает черпак за окном раздаточной: жетон — миска, жетон — миска. Жетоны вахман кладёт в задний карман комбинезона. И вдруг тревога: из кармана зрителя исчезло десятка полтора картонок.

— Кто взял жетоны, дети? — по привычке покачиваясь, спрашивает Жорж.

Молчание.

— Кто сознается, тому ничего не будет! Давайте, выкладывайте.

Молчание.

Комendant белеет от злости. По его знаку вахманы бросаются к пожарным кранам, тянут шланги, направляют на нас ледяные струи. Вокруг ножек столов бурлит вода.

Наконец краны перекрывают.

— Я вас предупреждал? — говорит Жорж. — Сознайтесь и расходитесь.

Молчание. Снова поливают. И длится это до полуночи. Устали не только мы, но и вахманы. Немцы совещаются: после такой ночи смогут ли завтра эти паршивцы работать? Столами они перегораживают помещение пополам, сгоняют нас на одну половину, сами выстраиваются на другой. Переводчик возглашает:

– Вот проход. Вот ведро. Свет мы выключим. Переходите по одному сюда. Тот, у кого жетоны, пусть положит их в ведро. Поняли? Итак, начинаем!

На ощупь движемся мимо ведра. Кашель, смешки, шёпот.

Включили свет, и немцы видят на дне заплёванного ведра один-единственный разорванный жетон. А на зелёной стене кухни кто-то во всю ширину размашисто вывел мелом: **ФАШИЗМ – ЭТО ГОЛОД И ВОЙНА!**

Нас погнали в спальню. Мы их всё-таки переупрямили.

Ночью нары освещены тусклой лампочкой. Спят шуппенцы, ворочаясь в одиночке своего сна, кто-то стонет и вскрикивает, а кто-то встаёт и, стуча колодками, бежит в уборную. Стуком этих колодок наполнены наши ночи.

Почему я тут, зачем я тут, кто в этом виноват? Детство вспоминается как нечто неправдоподобное, потустороннее. Какой-то другой мальчишка бежит босиком по горячему песку или плавает в солнечной воде, устремляясь к едва видимой цели – сказочно белой яхте. Ведь это было совсем недавно!.. Как случилось, что я очутился в неволе, в стороне от великой битвы, которая обновит мир?! Я ещё не понимаю, что человек должен испытать всё. Не понимаю, что любой скотский загон на земле может оказаться местом борьбы за своё достоинство, за свою свободу. Но я уже чувствую это. События влекут меня, и нечего горевать, что на плечах не солдатские погоны, а куртка лагерника. Я на своём месте, это и есть моё главное место, а люди рядом со мною – самые дорогие и родные мне люди. Путь на Родину перекрыт. Но каждый день – это день возвращения, учу ли чужой язык, собираюсь ли в побег, ищу ли подпольщиков...

Я засыпаю. И опять снится густая прохладная трава, синие горы, девочка с зелёными глазами...

Международный Красный Крест не помогал нам, не защищал от расправы: в организациях по охране прав военнопленных Советский Союз не участвовал. К осени 1942-го года в Германию было угнано почти два миллиона советских людей, и об их печальной участи мир всё-таки узнал. Раньше всех об этом сказали англичане, а осенью появилась нота Молотова. Немцев предупредили, что за погубленных советских пленных придётся отвечать.

И вот однажды в столовую входит начальство. Переводчик вскочил на скамью. Глаза горят, губы дергаются. С чего бы это?

– Дети! – возглашает он. – Хорошая новость! По указанию райхсминистра Лея, с сегодняшнего дня мы уже не военнопленные, а гражданские лица, то есть просто «старбайтеры». С чем вас и поздравляю.

Особых чувств это не вызвало. Изменений в жизни не произошло. Хотя прислали одежду. Шуппенцы ходили в отрепьях, особенно курские, которых пригнали в сентябре чуть ли не с поля боя... Разномастная одежда грудой лежит на полу, к ней очередь, вахманы хватают штаны или куртки, суют в первые попавшиеся руки... А отойдя в сторону,

видишь рваные дыры и бурые засохшие пятна. Одежду срывали с расстрелянных. Многие отказываются носить её.

И впервые пришли открытки с родины. Мама пишет, что ходит в село, меняет одежду на продукты. Им разрешили послать нам бандероли (по 200 граммов каждая), она шлёт мне 10 посылок. Расстрелян наш сосед Пётр Жигалкин, машинист паровоза. Помогал пленным бежать из шталага. А Анна Фёдоровна Ерохина (тётя Нюра), красивая и строгая, испортила себе ногу кислотой, зато её и не взяли в Германию.

Следом — посылки: в мешочках кусочки сала, сухари, чеснок. Шуппен несколько оживает. Правда, посылки были единственный раз.

Ещё одно: приказано нашить на куртки белые квадраты со словом «OST».

Привозят книги! Говорят, Русское Библейское Общество в Берлине позаботилось о шуппенцах. Книги перетаскиваем в небольшую каморку рядом с санпунктом. Библиотекарем назначен фельдшер — строгий и педантичный Павел.

Половина книг — Библии, их не трогаем. Есть, конечно, в Шуппене люди, для которых Священное Писание — манна небесная, а для едва вырвавшихся из детских одежек это трудное и непонятное чтение. Но я и Петя не могли дожидаться конца работы, чтобы, наскоро похлебав баланды, уединиться на нарах. Я бережно листаю Пушкина. В предисловии говорится, что «Пушкин давно стал необходимой настольной книгой каждого русского, и редакция поэтому свела в одно целое всё, что написал наш славный поэт».

С таким же трепетом читаем Гоголя, изданного в Париже на толстой шершавой бумаге и по старой орфографии, которая нам очень нравилась. Тоска по родине окрашивала в светлые тона даже Ноздрёва, даже Собакевича.

По очереди прочли мы с Петей друг другу «Анну Каренину», со страниц которой вставала многогранная, навсегда ушедшая Россия. Как благодарны мы были членам Библейского Общества! Помню из тех дней еще роман «Восьмидесятники» Амфитеатрова — про студентов, земских врачей, народовольцев. С интересом прочли мы «Путешествие ко святым местам» Бальмонта и книжку безвестного Горного «Только о вещах», в которой автор оплакивал потерянную Россию, своё золотое детство и отрочество... Были и стихи: Ахматова и две-три книжки Фёдора Сологуба.

Читали немногие. Большинство не придавало книгам особого значения.

Ноябрь 1942-го года. За окном несутся по ветру белые хлопья, падают, и тотчас темнеет брусчатка. В Шуппен прибыли новые люди. Их человек двадцать, выглядят хорошо и одеты неплохо. Наверное, мы отвыкли от нормального вида людей, нам странны эти чемоданы, музыкальные инструменты в чёрных чехлах, мальчик лет десяти, с любопытством и некоторым страхом смотревший на нас.

— Откуда, земляки?

— З Кыива.

— Что там нового, и кто вы?

— Там погано. А мы — капела бандуристов імэни Шэвчэнко. Чулы, мабуть? Нимцы казалы, што будэмо издыты по таборам з концэртамы...

Их разместили на пустующих в углу нарах — подальше от наших вшей, и в субботу нас ждало невероятное зрелище. В белых свитках и синих шароварах, в «червонных» сапожках на высоком каблуке и с бандурами на коленях, они расположились весьма живописной группой: первый ряд — на полу, второй — на скамьях, а третий — без бандур — стоит полукольцом сзади. Мальчик одет, как все, и сидит рядом с отцом. У него маленькая, почти игрушечная бандура.

В тишине, под нежный перебор струн они исполнили «Закувала та сыва зозуля...», «Ой, Морозэ-Морозэнку...», «Заповит» и «Думы мои, думы...». Вечер остался в памяти как одно из самых прекрасных моих переживаний на чужбине.

Бандуристы никуда не поехали. В понедельник их палками поднимают вместе со всеми, выдают по пайке и гонят на работу: одних — подметать мастерские, других — на кухню. Они становятся такими же, как мы. Но это не освобождало их от концертов по субботам. Через несколько месяцев артисты выглядят истощёнными, им всё труднее петь и играть, но комендант неумолим. Как трогательно заботились они о своём мальчике (он обычно подметал пол в столовой)! Худенький, с большими печальными глазами, Василёк стал любимцем всех лагерников...

Какая зима в Гамбурге! Туман, слякоть. В шесть утра ещё горит лампочка. Мы завтракаем, а из репродуктора льётся траурная музыка. Кто-то говорит: «Какой-то воротила отдал концы».

Выкурив сигарету, плетусь в мастерскую. За забором видны спешащие на работу велосипедисты. Типичная картина, одно необычно: на правом рукаве каждого — чёрная повязка.

В девять в мастерскую вбежал взволнованный Людвиг. Не снимая плаща, кинулся ко мне, выключил станок и рассказал путано, но вполне понятно, что фельдмаршал Паулюс сдал свою армию и покончил с собой под Сталинградом, что на заупокойную мессу придет сам фюрер, а по всей Германии объявлен трёхдневный траур.

По газетным сводкам мы уже знали, что на Волге происходит что-то для немцев страшное, и всё-таки никто из нас не представлял масштаба и значения этой битвы. Некоторое время спустя понимаем: война на переломе. Немцы бегут с Кавказа и Кубани. Англичане под Эль-Аламейном, разбив танки фельдмаршала Роммеля, врываются в Тобрук и Триполи. Авиация союзников бомбит немецкий тыл. В северную Африку непрерывным потоком вливаются американские войска. 200 000 французских солдат переходят на сторону союзников. В результате всего этого в мае 1943-го года немцы капитулируют по всей Африке.

Какое славное время! Ходят слухи, что советские солдаты и офицеры надели погоны, что повсюду в России открываются церкви, где службы ведут священники с крестом в руке. В марте мелькнуло сообщение о роспуске Коминтерна, и сразу же заговорили, что после войны Сталин распустит колхозы.

Происходящее отражается на судьбе лагерников. Узники Шуппена на своей шкуре знают, что, чем успешнее воюют немцы, тем жесточе они относятся к пленным. И наоборот. После *нашей* победы на Волге постепенно становится чуть легче дышать, улучшается даже качество баланды. Нас больше не стригут наголо. Нам позволено стирать. И, наконец, самое неожиданное: прогулки! Правда, многие не дожили до этого дня: Гриша Нос, добрейший старик Жаков...

На вечернем *аппеле* Железная Рука объявляет, что по спискам, составленным мастерами, каждое воскресенье 30-40 шуппенцев смогут *шпацирен* в городе и любоваться «прекрасной *дойче гаймат*». Затем Жорж наставлял нас, как себя вести в городе, и под конец пригрозил: «Если кто сбежит, зажмут всех! А вы знаете, немцы это умеют». Да, это мы помним.

Благодаря Людвигу я попал в первый же список, и в воскресенье утром вахманы выводят нас за ворота. Идём по Гафену мимо пакаузов и элеваторов, идём по двое, как диккенсовские сироты из работного дома, и прямая пустынная улица выводит нас на берег канала, весь в кустах боярышника и остролиста. Как здесь тихо и тепло, не верится, что где-то льётся кровь и рвутся снаряды. Сквозь зелёные листья проглядывает ярко-красная ягода, и всё это шевелится под лёгким ветром с канала. Где-то гудит шмель, и, может быть, от этого или от запаха трав, от солнечных бликов на воде или просто от свежего воздуха как-то странно, до звона светлеет в голове. Всё кружится передо мной, и я опускаюсь на землю, прикрыв ладонью глаза. Здорово мы ослабли на брюквенной пайке. Не я один, многие стоят, как пьяные, садятся в изнеможении на траву... Засунув пальцы за пояс, смотрит на нас немец, кивает сам себе, что-то шепчет. Может, сочувствует?..

Количество «отпускников» увеличивается с каждым воскресеньем. Выпускают без охраны. Разрешено ездить в трамваях, но на задней площадке. Можно посещать зоопарк Гагенбека, район Сан-Пауля, картинную галерею. Выдают деньги на карманные расходы – две марки (кружка пива стоит полторы, две ложки пюре из брюквы – 80 феннингов; можно купить билет в кино...)

Вторично я попал в город месяц спустя. Одежду одолжил один из бандуристов: казачьи шаровары и сорочка, красные сапожки и кубанка. Помню, как вдруг вытягивались и бледнели лица у прохожих, особенно молодых, а мы шли втроём, весело смеялись и не обращали внимания ни на кого. Мне и в голову не приходило, что я ошарашиваю немцев своим экзотическим видом...

Улица выглядела уныло. Стены домов, пивных баров, кинотеатров выкрашены в грязно-зелёный цвет, окна крест-накрест заклеены бумагой, на углах стоят громадные щиты с силуэтом шпиона: «Внимание! Враг подслушивает!» Мы зашли в кафе Сан-Пауля для иностранных рабочих, в основном, русских. Хозяин, седоусый немец, приносит пиво, тёмное и безвкусное, и, прислушиваясь к разговорам, со странным выражением лица разглядывает нас. Рассказывают, что в первую мировую он побывал в русском плену, и когда остовцам разрешили прогулки, выхлопотал право открыть бар именно для русских.

Заглядывают сюда и эмигранты времён гражданской войны. Помню одного: в потёртом пальто, в старенькой шляпе, из-под которой выбивались седые волосы. Переминаясь с ноги на ногу, он неуверенно поглядывал в нашу сторону. Под мышкой держал довольно толстую папку (как выяснилось, это были ноты). Мы потеснились и пригласили его к себе.

— Откуда вы, господа? Как же, Николаев, в Херсонской губернии. Помню, помню! Памятник Грейгу, морское собрание с библиотекой, театр Шеффера... У меня под Херсоном было маленькое имение, я там родился и вырос, а потом кого только не довелось мне встречать, каких людей... Горького, Куприна...

Мы с симпатией смотрели на первого в нашей жизни эмигранта, хотя невольно в каждом шевелились мысли о «недобитом» помещике, может, даже деникинце. И всё-таки «классовый подход» быстро уступил место простым человеческим чувствам, а, разговарившись, мы узнали, что наш новый знакомый по профессии пианист и однажды аккомпанировал самому Шаляпину...

Он спрашивает, знаем ли мы казачий хор Жарова, и косится на мою кубанку. По воскресеньям хор выступает неподалёку отсюда, и сейчас мы могли бы услышать его. Для советских — вход бесплатный. Мы немедленно согласились, по дороге спросили, где же он встретился с Шаляпиным (на пароходе, шедшем из Нью-Йорка в Европу, не оказалось аккомпаниатора, а публика просила петь, пришлось участвовать в концерте). Он расспрашивал, где мы росли, учились, «как жили при Советах». В глубине души стыдась чего-то, отвечали коротко, что ничего, мол, «всем бы так жить», а про себя сердито думали, как самому-то жилось на чемоданах, и дождался ли перемен на Родине, и понял ли, что годы прошли зря. Мы нетерпимы были и резки...

В театр Жарова успели вовремя. Зал был переполнен: русские, французы, немцы. На сцене полукольцом стояли немолодые уже певцы в белоэмигрантских погонах на выцветших гимнастёрках. Одиноким голос выводил:

*Пройдёт весна, настанет снова лето.
В садах цветочки пышно расцветут.
А мне-е-е, бедному мальчонке,
Цепями руки-ноги закуют...*

И хор с отчаянной удалью заполнял вдруг своды зала:

*Но я Сибири, Сибири на боюсь!
Сибирь ведь тоже русская земля!
Эй, вейся, вейся, чубчик кучерявый,
Эх, да развевайся, чубчик, на ветру!..*

Тогда-то впервые услышал я и легенду, что романс «Гори, гори, моя звезда...» любил адмирал Колчак и даже пел его перед расстрелом...

В третий свой выход в город я несколько часов общался с семьёй русских. Был я уже не в казачьем наряде, но тоже — с бору по сосенке.

В конце Сан-Пауля стоял парусный корабль, врытый в холм и утонувший в деревьях. Вместо мачты — фигура Бисмарка, громадная, опирающаяся на меч. На палубу, усыпанную жёлтым песком и уставленную скамьями, поднимались по узким деревянным ступеням. Видны были силуэты далёких домов и церквей. Я пытался угадать, в какой стороне Шуппен, когда услышал русскую речь.

Их было трое: седой, с военной выправкой мужчина, моложавая женщина и девушка моего возраста, скорее всего, их дочь. Они были рады, кажется, встретить русского, который «недавно оттуда». Мы разговорились. Виктор Арсеньевич в прошлом воевал за белых. Теперь работает при зоологическом институте, орнитолог. В начале войны был интернирован, но за него хлопотала дирекция института, и его выпустили...

Уже смеркалось, когда Яковлевы предложили проводить их домой, велели заходить и снабдили меня бутербродами. А ещё подарили книги: стихи Блока и роман Мережковского «Леонардо да Винчи»...

Это была единственная такая встреча. Назревали события...

Сначала прощаемся с артистами. Пришло-таки указание капелле ездить по рабочим лагерям с концертами. Мы привыкли к ним, и теперь напутствуем добрыми пожеланиями. Петя Андреев и я передали свои записки — на случай их возвращения на Родину. Алёша Вирт, оказывается, писал стихи, вручает им рукопись. Шуппенцы пишут письма домой. Состоялся последний, 16-й за 4 месяца, концерт. Утром они ушли. С дороги оглянулись на наши окна и низко поклонились.

Еженощно в глубь страны проносились воздушные армады. В газетах — снимки разрушенных кварталов Кёльна и Эссена, Бремена и Берлина. На очереди — Гамбург.

Мы не пропускали ни одной газеты. Союзники уже в Сицилии. В июле — сражение под Курском. В одном из номеров «*Фёлькишер Беобахтер*» была напечатана большая речь Геббельса под заголовком «Большевицкий вал катится на Европу». Провозглашалась тотальная война, то есть удлинится рабочий день, урезались пайки. В Вене гитлеровцы устроили международный журналистский конгресс, на котором выступил Кнут Гамсун. Речь его была опубликована под заголовком «Англию нужно поставить на колени!»

В один из июльских дней Людвиг показал мне листовку, сброшенную накануне на город. В ней говорилось, что Гамбург подвергнется массированным атакам Королевских военно-воздушных сил. Население призывали покинуть город. Людвиг состоял в отряде противовоздушной обороны. По его словам, власти, по примеру других городов, никак не отреагировали на предупреждение врага. На случай, если я останусь жив, а его убьют, он просил записать и запомнить адрес его сестры в Ганновере. В том, что убьют, он не сомневался. И не ошибся. Мы виделись в последний раз.

В половине второго ночи завывли сирены. Нас погнали в убежище Шуппена. Начался налёт, который историки войны назвали потом «звёздным»... Почти сразу мы услышали взрывы — и дальние, и близкие, совсем близкие... Погас свет. От особенно сильного

разрыва где-то совсем рядом наше убежище почти легло набок, но камень и бетон выдержали...

Налёт продолжался бесконечно долго: аж два с половиной часа. После сигнала отбоя мы, держась друг за друга, спотыкаясь и падая в темноте, поднялись в столовую чудом уцелевшего здания, за окнами которого по ту сторону канала тянулись нескончаемые пожары.

В эту ночь не ложились больше. Ждали утра, но оно никак не наступало. Репродуктор молчал. В одиннадцатом часу можно было различить как бы мчавшееся сквозь чёрный дым и копоть багровое пятно. Это было солнце. К полудню до Шуппена добрался один из мастеров. Он показал экстренный номер газеты размером не больше листовки: в налёте участвовали сотни самолётов, отряды ПВО сбили 37. Жителей предупреждали, что улицы усыпаны бомбами замедленного действия и взрывающимися авторучками.

Наконец ветер несколько развеял хмарь над Гафеном. Поголубело небо. На большой высоте мы увидели медленно летящего английского разведчика... Под вечер мимо Шуппена проехало несколько машин, наполненных трупами. Мы сгрудились у окон. На одежде некоторых — нашивки «OST». Вахманы сказали, что это погибшие с «Радиоверке».

Ещё одна ночь. Спим не раздеваясь. Однако налёта не было. Утром опять не привезли хлеба. Не меняются часовые, так и спят на вышках. Днём стало известно, что погиб инженер Фейерберг, несколько мастеров и вахманов. К вечеру привезли устрицы: по горстке на человека. Паёк за двое суток... В убежище больше не пойду, решаю я. Петя тоже соглашается остаться.

В два часа ночи начался второй налёт... Мы с Петей были на балюстраде. Небо грозно гудело, навстречу ему поднимались аэростаты. С воем пикировали самолёты. Тьму прошивали трассирующие пули, скрещивались и разбегались лучи прожекторов, вспыхивали снаряды. Картина величественная, страшная.

Бомба падала прямо на нас, на наши головы, так пронзительно она визжала! Не выдержал немец, прыгнул с вышки на ступени подвала — и вовремя! После вспышки синезёлтого пламени, треска и грохота вышки и забора как не бывало. Воздушной волной нас ударило о стенку, и на какое-то мгновение я потерял сознание. Придя в себя, в свете ракеты я увидел, как, цепляясь за проволоку, бегут на мостовую три согнутые фигуры. Мы вскочили и бросились за ними. Не помню, как добежали до Гафенштрассе. Помню лишь свист осколков вокруг, грохот обвалов. Рядом падали тяжёлые бомбы, и мы не столько слышали, сколько почувствовали, что последняя упала на Шуппен... Вот и канал в конце Гафенштрассе. Отбой. Догорает элеватор на том берегу. Падаем в траву под какие-то кусты.

Мимо дымящихся развалин тянется нескончаемый людской поток. Пешком и на велосипедах спешат покинуть город потрясённые бедствием жители. Из-под завалов доносятся крики. Кое-где работают группы, но, в общем, люди торопятся мимо. Разобрать завалы, спасти погибающих — на это нет времени при повальном бегстве. Я с трудом ориен-

тируюсь в знакомых местах. Улицу, где жила семья Яковлевых, не узнать: вместо стройных домов — руины, на которые падают и падают с неба огромные чёрные хлопья пепла.

На площади живая река распадается. Люди устремляются к котлам, где девушки из организации «Красный Крест» разливают суп. Очередь движется мимо длинных рядов убитых при бомбёжке, накрытых брезентом людей, извлечённых из-под развалин. Их ещё не успели отвезти к братским могилам.

Мы получили свою порцию горячего супа и едва выпили его, как почувствовали, что штатский с повязкой не сводит глаз с наших колодок... Смешавшись с толпой, уходим от площади, движемся в общем потоке. На окраине города выбираемся из толпы, поднимаемся по тропинке на бугор, где чистый воздух, тишина, густая трава. На краю холма над Эльбой — скамья. На ней мы увидели даму в чёрном. Она берёт из кулёк печенье, надкусывает и оцепенело смотрит на реку. Я подхожу к ней. Немка, вздрогнув, как бы просыпается и прикрывает кулёк ладонью. Уроки немецкого не пропали даром. Учиво спрашиваю, как нам пройти в Шварценберг. Женщина робко улыбается и показывает рукой на дорогу:

— Dahin... Dahin!

Затем протягивает нам кулёк...

Нас пятеро: трое харьковчан с Холодной Горы и двое николаевцев. Одеты в спецовки, на ногах колодки. Все мы крайне истощены, но привыкли к внешнему облику друг друга и не замечаем этого. Просёлочная дорога бежит на юг по правому, более высокому берегу Эльбы. На той стороне — деревушки: чистенькие островерхие домики под красной черепицей, окружающие кирху и утопающие в зелени деревьев. Красиво, но нам не до красоты, мы во вражеской стране, где каждый человек — для нас угроза. Намерения у нас ясные — добраться до железной дороги, потому и идём в Шварценберг — на узловую станцию. А там будет видно. Пока радуемся солнцу и безлюдью, уходя всё дальше от Гамбурга... Пётр хмурит брови, настороженно озирает окрестность. Сергей и Борис шутят, но, в общем, нам не до шуток. Мы фактически трое суток не ели... Сева вдруг спрашивает, всем ли показалось, что бомба угодила в Шуппен. Да, как будто всем, но полной уверенности нет. Сговариваемся, что мы с «Радиоверке», нас разбомбили и мы заблудились. Сергей предлагает двигаться на юг. Швейцария ближе, чем Россия, но дорога не менее трудная и опасная. Выхода нет, и шаг за шагом, час за часом мы всё больше удаляемся от места, где маялись полтора года.

На закате пришли в какую-то деревеньку. Кое-где светятся окна. Гадали, не лучше ли заночевать в поле. Но в деревне, может быть, удастся хоть что-то поесть?.. Проходит мимо крестьянин в войлочной шляпе. Он гонит корову с пастбища, на нас смотрит исподлобья.

— *Uebemachten?* — переспрашивает он и показывает пальцем: там...

Меж деревьев что-то голубеет. Река. Идём сквозь рощу, сворачиваем по тропе и видим вдруг крестовину ворот, проволоку, лампочки на столбах...

Назад повернуть уже поздно: наперерез идут через рощу семеро солдат. У каждого мундир под мышкой: только что искупались. Молодые, рыжие, в веснушках. Смотрят на нас во все глаза. Старший спрашивает, кто мы и что тут делаем. Узнав, что из Гамбурга и что нас разбомбило, велит идти вместе с ними.

За воротами внутри ограждения барачные домики образовали квадрат, посреди которого красовалась клумба с красными, белыми, жёлтыми тюльпанами, а между бараками — зачехлённые зенитки. Было время ужина, и из столовой высыпали солдаты — 16-17-летние подростки. Тот, кто привёл нас, кивает на траву: садитесь. В дверях кухни показался повар. Улыбаясь и причмокивая, он опустил на траву между нами поднос с миской повидла и хлебом, потом принёс кастрюлю супа и ложки. Мы набросились на еду, и аппетитом своим доставили повару немалое удовольствие. Всего съесть не смогли, и он посоветовал забрать с собой остатки хлеба. После ужина немцы выдали по паре сигарет и повели к конюшне в углу зоны. За деревянным барьером всхрапывали лошади. Мы спали, зарывшись в сено...

Ночью что-то мягкое, холодное и мокрое коснулось моей груди. Сна как не бывало, но я тут же облегчённо вздохнул: разбудила лошадь, привлечённая запахом хлеба. Я поделился с нею этим хлебом, погладил по голове. Донёсся еле слышный вой сирены. Я подошёл к двери: небо над Гамбургом сверкало от разрывов снарядов и лучей прожекторов. Это был третий налёт на город.

Утро. Первое, что я услышал, проснувшись, — птичьи голоса. Солнечные лучи пронизывали конюшню. Где-то тявкала собачонка. Мы вышли наружу. С реки доносился смех и крики: это купались зенитчики. А над Гамбургом ползла чёрная туча дыма и копоти. Солнце было уже высоко, когда за нами пришли. Возле столовой ждал вчерашний повар. Мы позавтракали, старший вывел нас за ворота и, улыбнувшись, сказал: «*Sie sind frei!*» (Вы свободны!)

Следующую ночь спали в поле, а проснувшись, немного поспорили и разделились: харьковские направились на юг, мы с Петром — на восток. Переправиться на левый берег Эльбы Сергей рассчитывал у Лауэнбурга, и они свернули, чтобы идти у самой воды. Мы побрели по той же дороге, по какой шли до сих пор, и за целый день благополучно миновали две или три деревни. Когда солнце стало склоняться к закату, сошли с дороги и за густым кустом боярышника развели небольшой костерок. В полукилометре виднелись дома и кирха. Конечно, двое мальчишек, проходивших мимо и заметивших нас, были из деревни. Поджаривая хлеб на огне, мы прикидывали, где бы поспать. Лучше всего — в поле. Стояла жара, земля была сухой.

Они скатились на тропу метрах в 400 от нас. Человек десять. Мы бросились к роще, за которой шёл лес — наше спасение, но тут засвистели пули. Немцы разделились: одни побежали вдоль дороги, другие через луг к той же роще. Мы петляли, как зайцы, между деревьями. Глядя на Петра впереди, я рвался через заросли и вдруг провалился в скрытую расщелину. Колени увязли в рыхлой почве, и шевелиться я не мог. В двух метрах от меня

торчала голова змеи — треугольная, на коротком сером туловище. Она как бы впиалась в меня вертикальными зрачками, вероятно, готовясь к нападению, но голоса приближающихся немцев спугнули её, и она пропала из виду. Но куда ушли немцы? В лес? В деревню?

Уже почти совсем смерклось, когда я выбрался из ямы. Спотыкаясь о корни и наткаясь на стволы, побрёл к просеке. Рассвет застал меня у подножия бука. Из-за леса блеснуло солнце. На горизонте светлели башни городских домов. У меня затекли ноги, ломило тело, но пора было идти дальше.

Что с Петей, я не знал. Надо было немедленно выбраться из этих мест. Идти к городу через луга и поле нельзя, и я пустился в обход, по краю леса. Путь занял целый день, и в город я вошёл, когда стемнело. Всё складывалось как будто удачно. На станции, пробираясь от состава к составу, я различил в темноте надпись мелом «*Nach Ukraine*». Пришлось повозиться с мокрой и тяжёлой ручкой, но я сдвинул дверь и влез в теплушку, а дверь поставил на место. Внутри пахло вином, в ящиках, обложенных соломой, стояли пустые бутылки. Надёргав этой соломой, я лёг у стенки.

Ночью поезд тронулся. Я думал, как доеду до Украины и проберусь к своим, перейдя линию фронта... Это представлялось так ярко, что я забыл о реальности. Одно мучило: что с Петей?

Незаметно для себя я уснул, а очнулся — поезд стоял. Луч фонаря пробежал по вагону, и кто-то закрыл дверь на запор... Вторично проснулся, когда сквозь оконце под крышей проглядывал пасмурный день. Я залез на ящик и посмотрел в окно. Сквозь дождь угадывались острые крыши ратуши и церкви. У меня оставались ещё сырые картофелины и корочка хлеба...

Ночью я прыгал по вагону, стараясь согреться. Это была бесконечно долгая ночь. Я то дремал, то бодрствовал. Зато утро наступило солнечное. Поезд по-прежнему стоял. В окне я увидел квадраты травы, шоссейку, столб с указателем и деревню вдали. В пейзаже что-то явно изменилось. Донеслось ритмичное постукивание деревяшек об асфальт, и я увидел девушек в белых платьях и сабо. Девушки катили тележки с бидонами, хорошо были слышны их голоса и смех.

Не терпелось выбраться из вагона: хотелось есть, но жажда мучила ещё больше. Дверь не поддавалась. Подождав, пока девушки скроются за поворотом, я вылез через окно наружу и спрыгнул на насыпь. Через минуту я был по ту сторону эшелона, в лесу. Солнце поднялось высоко, от запаха мяты кружилась голова. Когда состав ушёл, я встал и направился к указателю на шоссе. Подобные фанерные стрелы были знакомы по Николаеву, немцы ставили их там на всех перекрёстках. И вот что я увидел на столбе:

Utrecht — 126 km
Rotterdam — 132 km
Haag — 135 km

Одна стрела была направлена в противоположную сторону:

Deutsch-Niederlandische Grenze — 1 km

Вот тебе и «*Nach Ukraine!*»!.. Я посмотрел на безмятежно голубое небо и сжал голову руками: рваться домой, а оказаться в Голландии! Я потащился в лес и долго лежал в траве. Голландия! Три страны, две границы, впереди Атлантический вал с его гарнизонами. И везде хозяйничают те же гитлеровцы! А я ни слова не знал по голландски, а по-французски — чуть больше... Позади страна более или менее знакомая, где немало русских и украинцев, а среди немцев не все фашисты... И я повернул обратно.

Недолго был я на воле. Но, оборванный и голодный, я мог распоряжаться самим собой и поэтому был счастлив, наверное. Я не заметил, как пересёк границу. Пограничники дежурили лишь на дорогах, а границу рейха обозначал Атлантический вал.

Я шёл мимо дюн и маршей, через холмы и болота. Ночевал в поле или в лесу, ел что попадалось: сырую брюкву, картошку, яблоки. Деревяшки натёрли ноги. Надо было передохнуть, а главное — сменить тряпье, в которое превратилась спецовка и «обувь».

Под Оснабрюком, который я обходил стороной, за мной увязалась собака. Кормить её было нечем, но она не отставала. Когда я заговаривал с ней, смотрела на меня, подняв одно ухо. Иногда подолгу отсутствовала, но вдруг снова оказывалась рядом. Мы избегали дорог и людных мест. Но однажды я слишком приблизился к какой-то деревушке, пытаясь разглядеть хозяйские постройки, чтобы, когда стемнеет, пробраться к кладовке или яме с картошкой. Я не заметил, как на повороте тропинки появилась немка. Собака негромко зарычала, и я оглянулся. Девушка во все глаза смотрела на меня и собаку.

— Гутен таг, фройляйн!

Я погладил собаку, и та перестала рычать. Зато заговорила *фройляйн*. Дрожа от страха или гнева, она на чём свет стоит стала ругать меня и собаку за то, что напугали её. Эта бледнолицая и худая фурия выпалила, что сразу поняла, кто я. *Ауслендер*, не так ли? *Руссе*, да? Так она и знала!.. Тяжело дыша, она неожиданно присела на траву, не спуская с меня круглых серых глаз.

И чтобы я думать не смел, что она боится. И собака моя ей нипочём. И всё-таки ей хотелось бы знать, откуда я взялся... Умолкнув, она продолжала упорно глядеть на меня. Я как можно спокойнее объяснил ей, что работал в Гамбурге, что завод наш разбомбили, что иду в Ганновер, но заблудился.

Девушка внезапно засмеялась. Она слыхала кое-что о России, её отец воевал там в первую мировую, и когда привезли советских и раздавали по хозяевам, отказался от рабов, хотя работы у них много... В селе неподалёку, сказала она, висело объявление про русских бандитов: их надо опасаться и сообщать куда следует. Тогда меня, наверное, отправят в концлагерь, ответил я. Она покачала головой: мол, нет, она не выдаст, и если я буду тихо сидеть вон за тем кустарником, принесёт немного еды. Ведь я не бандит, правда?

Принесла не только еды, но куртку и карту, правда, школьную...

В октябре 1943-го года меня окружили и «взяли в плен» юнцы в шортах и с кинжалами. Их было человек десять. Они ехали на велосипедах, я шёл пешком — в Гитлерюгенд-

хайм, стоявший среди красивых лугов и рощ. Заперли в комнате с большими окнами. На полу лежали охапки сена.

Когда стемнело, я лег спать. Ночью меня разбудили смешки, шёпот, жужжание. По комнате бегал зайчик от карманного фонарика, мелькали юбки, девичьи ноги... Увидев, что я проснулся, девчонки с громким смехом убежали. Утром я обнаружил у изголовья четыре больших яблока.

За окном стоял рыжий часовой, сжимавший рукоятку кинжала. Я толкнул раму и показал жестом, что хочу умыться. Он погрозил кулаком, топнул ногой и приказал закрыть окно. Потом меня позвали во двор и отконвоировали в соседнюю деревню, в бауэрхауз, где хозяйничали девушки в фартучках. На столе стояли тарелки с гороховым супом, лежал хлеб, сливы.

– Essen sie...

Я зачерпнул ложку супа и поднял глаза: мои конвоиры и девчонки с любопытством смотрели на меня. Я спросил: «Унд зи?» «Nein, nein!» Что ж, долго упрашивать меня не надо было. Съев всё, я поблагодарил девчонок, и они прямо просияли: «Bitte, bitte!..»

Через неделю привели второго беглеца – пожилого француза с весёлыми глазами. Он постоянно подмигивал мне и строил рожицы за спиной у немчиков. А через пару дней появились двое русских, мои сверстники, сбежавшие из Ганновера. В комнате стало веселее. Да и наших тюремщиков тянуло к нам. В отсутствие старшего они охотно вступали в разговоры, похожие, правда, на допросы. Мы были настороже: не сболтнуть бы лишнего. На вопрос «Stalin gut?», например, отвечали вопросом: «Hitler gut?» Да, отвечали те, Гитлер гут, не стало безработных, построили автостреды, он научил немцев величию, научил мстить врагам Германии. Все страны покорились нам, а вы не сдаётесь! Разве вы не голодали при советской власти? А колхозы?..

Мои товарищи (уроженцы Ворошиловграда) и я были городские ребята, много читали и могли бы тоже задать разные острые вопросы, но положение наше не располагало к дискуссии. Мы вспоминали то, чем жили в детстве, – кинокартины, Чкалова и челюскинцев, Николая Островского. Пальцем не мог пошевелить, ослеп, но какую книгу замечательную написал!.. Это так, соглашались немчики, и всё-таки они нас обязательно разобьют, подчинят себе!.. Француз усмехался, кривя рот и уморительно поводя носом...

Но скоро нашим прогулкам в бауэрхауз и разговорам настал конец: нас отвели в полицейский участок ближайшего городка. Помню, как в полутёмный коридор шагнул грузный мужчина в крагах. Наши стражи щёлкнули каблуками. Мужчина небрежно изогнул руку ладонью вперёд и важно сказал немчикам что-то вроде того, что Германия не забудет их службы, что он уверен, они и впредь будут бдительно служить рейху и фюреру.

Из полицейучастка эсэсовцы доставили нас в Ниенбург, где чиновник записал, кто мы и откуда, в каком лагере были до бомбёжки... Потом отвезли в Шварценберг. Круг замкнулся.

Я в одиночке. На стене в рамке — пожелтевшее от времени расписание режима для юных правонарушителей. Значит, до войны здесь сидели немецкие «малолетки». Первая в моей жизни тюремная камера имела шесть шагов в длину, три — в ширину, две деревянные койки, ватерклозет за дощатой перегородкой и умывальник. У окна — столик и табуретка. В большое зарешённое окно можно было увидеть колодец двора.

Помню первый вечер: вспыхнула запылённая лампочка в проволочном колпачке, и вошёл старик-вахман. Пробормотав «*Guten Abend*», велел опустить подвешенную над окном гардину из толстой чёрной бумаги: для светомаскировки. Заключённый в синей спецовке принёс ужин: два ломтика хлеба, ложку повидла и кружку суррогатного кофе. На спине у заключённого я увидел пришитую к куртке большую жёлтую звезду (знак отличия еврея).

На рассвете щёлкнул волчок, кто-то сказал за дверь: «*Auf, auf!*». Принесли завтрак, который точь-в-точь повторил ужин. Дали ещё две сигареты. Потом надзиратель принёс клубок величиной с футбольный мяч — спутанные лоскутки и верёвки, которые надо распутать. Что ж, хоть какое-то занятие рукам! Обед — полмиски горохового супа.

Через несколько дней привели поляка лет двадцати. Он со страхом оглядел стены, меня, глухую дверь и заплакал:

— Матка Бозка Ченстоховска! Я не хце тюрьму, я не хце лагерь, я не повинен, я не повинен...

Непривычно и тяжело было видеть плачущего мужчину. Немного успокоившись и узнав, кто я, он рассказал, что работал у бауэра, очень плохого человека, который издевался над ним. Однажды Стась не выдержал и ударил немца. По словам поляка, это погубило его: отвезут в Аушвиц, и ничто не спасёт теперь от крематория. Действительно, через трое суток Стася увезли...

Прогулок не было, и с соседями общались через окна. Когда я увидел шуппенца Ивана Дубового, а он меня, обрадовались оба, как родные. Да, бомба тогда всё-таки попала в Шуппен, убила несколько человек, но многие разбежались и теперь скитаются. Кое-кто из наших сидит в этой же тюрьме...

Из окна была видна куча песка во дворе, который просеивали, а потом на тачках увозили французские евреи с жёлтой звездой на спине. Один из них сложил руки рупором и крикнул: «*Камарад, раухен, битте!*» Я кинул сигарету, он отсалютовал и сказал по-русски: «Спасибо, Иван!»

Наконец меня вызвали в контору. Немец в штатском опять спросил, где я работал в Гамбурге. Услышав, что на «Радиоверке», покачал головой, записал что-то в grossбух и махнул вахману: уведи! Наутро загремели двери камер: нас, человек сорок, куда-то отправляли. Евреи в синих спецовках постоянно находились в тюрьме, помогали старикам-вахманам, вели себя здесь, как дома. Спрашиваем, куда нас везут. Они лишь пожимают плечами.

Конечная станция — Крюммель-на-Эльбе. Кирпичные домики, купы деревьев. Асфальтная дорога, извиваясь, ведёт в глубь леса. В окружении конвоя уходим всё дальше и

дальше от городка. Никто не знает — куда. В поезде прошёл слух, что всё может случиться, что, возможно, придётся схватиться с немцами. Обращал на себя внимание широкоплечий худой мужчина в вылинявшей гимнастёрке. Бывший пленный офицер Красноталов будто излучал энергию, и это притягивало к нему людей. Не сговариваясь, все признали его вожаком, и он понимал это. Люди получили строгий наказ — без сигнала Красноталова ничего не предпринимать.

Справа вдоль дороги бегут столбики с натянутой колючей проволокой. Наша тревога передаётся конвойным. Но Красноталов спокоен, потом он объяснит почему: возле таких заборов не расстреливают. Идём долго. Наконец деревья поредели, за ними — автострада в стальном блеске. На перекрёстке надпись: Гамбург-Берлин. Пересекаем шоссе и берёзовую рощу, идём по грунтовой дороге, утоптанной до каменной твёрдости. Когда колонна остановилась, мы увидели ворота, вахту, овчарку у забора. По ту сторону ворот в глубине — аккуратные ряды новеньких барачков, и к ним от ворот бегут тропинки — синяя, жёлтая, зелёная. На аппельплаце играют в волейбол. По зоне свободно ходят молодые женщины и мужчины, и волосы у них почему-то тоже синие, жёлтые, зелёные...

Это остарбайтерлагерь — не такой, как Шуппен, сдавленный камнем со всех сторон, а просторный, окаймлённый лесом и лугом. Человечек с водянистыми глазами проходит вдоль шеренги, трясёт костлявым пальцем наставительно: «*На-ла-ла!*». Это лагерфюрер. За ним идёт инженер и на плохом русском языке спрашивает, у кого какая специальность писарь ведёт учёт.

После этого рассылают по барачкам. Я попал — в шестой. В шлуже посредине чугунная печка с вытанутой в окно трубой. За шкафчиками для одежды и посуды двухэтажные койки. Кто-то кричит: «Айда на кухню!». Опять бруква, но здесь она густо заправлена мукой. Кроме того, выдали по целой буханке (!) хлеба, пусть и заплесневелого.

Вечером вернулись с работы слесаря, и я, к своему удивлению и радости, встретил шуппенцев: Борьку Санжаревского, Костю Збукера, Сергея и Севу, которые так и не добрались до Швейцарии. Ночь не спали, всё говорили, говорили... За Эльбой ребят схватила полиция. На допросах так же, как и мы, сказали, что работали в Гамбурге на «Радиоверке». Их сразу же отправили сюда, в Крюммель. «А где теперь Пруссов? — спросил кто-то. Мишку Царюка видели в Шварценберге. Многие шуппенцы погибли в третью бомбёжку. Среди них Павел — библиотекарь, Аркадий и Яков...

Новички расспрашивают, что за лагерь, почему у людей разноцветные волосы, почему дают столько хлеба. Да, говорят нам, лагерь, динамитная фабрика и селение на берегу Эльбы — всё это Крюммель, 35 км южнее Гамбурга. Кроме немцев, на фабрике 10 000 иностранцев, в том числе 2 000 советских. Цеха под землёю, а сверху — лес. Волосы разноцветные — из-за кислоты серы и нитросоединений, с которыми приходится иметь дело. Слесарям живётся чуть вольнее, чем другим: могут ходить из цеха в цех, быть подолгу на воздухе. И с харчами лучше, чем в Шуппене: французы, голландцы, югославы здесь по найму, за деньги, и, как правило, не сговариваясь, отказываются от обедов, зная,

что эти обеды пойдут русским. Не все, конечно, но многие. Немцы-рабочие — тоже. А хлеб... После бомбёжки Гамбурга его подвозили эшелонами, не успевали раздавать, вот и заплесневел... А что на фронтах? Наши взяли Киев и Смоленск и подошли к Херсону и Запорожью. Италия вышла из войны. Ребята рассказывают, как арестовали Муссолини и немцы вошли в Италию. В самой Германии немцы создают «Русскую Освободительную Армию» генерала Власова. И последняя новость: в Тегеране прошла встреча Черчилля, Рузвельта и Сталина.

В Крюммеле я пробыл полтора года. Впечатления, встречи, события сохранились в памяти отрывочно. Поневоле «пунктиром» будет и рассказ, но хотелось бы запечатлеть общий дух пережитого, контур времени. Наступила сырая бесснежная зима. Я привык к новому лагерю, хотя можно ли к этому привыкнуть? Да, условия жизни здесь получше, но главное — тут интереснее, чем в Шуппене. Вот один рабочий день. В *бетрибе*, где работаю, — французы, немцы, итальянцы. Я и Бруно из Неаполя таскаем сварочный аппарат. Или я иду в один из цехов на горе, куда посылает инженер Винтер. В лесу пустынно, хорошо, цех выныривает прямо из-под земли. Ряды котлов, в крышки которых встроены круглые окна из толстого стекла, и, заглянув в них, видишь, как механическая лопасть перемалывает жёлтую бумажную кашицу, которая по трубам идёт в цеха, претерпевая в каждом — различную обработку, чтобы превратиться в динамит. Возле котлов дежурят хорватки, рослые, крепкие, светловолосые. Ровное гудение цеха не мешает им петь что-то родное, но однажды я услышал «Из-за острова на стрежень...» По-хорватски.

У подножья горы, возле *бетриба*, железные будки — персональные раздевалки немцев. Приходят в девять утра, долго переодеваются, завтракают, читают газету. У одного из них, старика Мюллера с усталым лицом и мешками под глазами, работаю подсобным. Иногда опаздываю, и он брюзжит, а сам пододвигает термос с эрзац-кофе и бутерброд с селёдкой. Он постоянно ворчит: на погоду, на инженера, даже на фюрера. Впрочем, работает, «как зверь», изматывая и себя, и подручного.

Однажды в обеденный перерыв, глядя на меня как-то отчуждённо, рассказал о своём прошлом. Он входил в руководство Гамбургского отделения компартии, участвовал в подавлении «пивного путча» и в восстании портовиков, на одном из митингов выступал рядом с Тельманом. Мюллер вспоминал о схватках со штурмовиками, о выборах, на которых 150 тысяч гамбургских рабочих голосовали против Гитлера. Теперь он вытирает глаза и вздыхает: «*Alles vorbei, Leo, andere Zeit — andere Leute*» («Всё прошло, Лео, другое время — другие люди»). Их тогда всех посадили в концлагерь, но если ты отказывался от своей веры, выпускали. Теперь сидят самые упрямые, такие, как Тельман. А вот он, горемыка Мюллер, слесарничает, распоряжается русским пленником, каждую субботу получает розовый конверт с зарплатой и придирчиво разглядывает бланк расчёта: не обсчитали ли...

С инструментами отправляемся в какой-нибудь цех, где кислота разъела резиновую прокладку или асбестовую изоляцию. В подземном цехе безлюдно, тепло, в гро-

мадных чанах кипит всё та же жёлтая масса. И руки наши тут же желтеют. Заменяв прокладку, Мюллер уходит, и некоторое время я предоставлен сам себе: могу думать, читать газету. В каждой можно что-то найти: события в Европе развиваются необыкновенно быстро. На Украине бои идут уже за Белую Церковь. Вверх, по итальянскому «сапогу», движутся англо-американцы. Югославских повстанцев снабжают оружием англичане и русские.

Иногда слышен стук каблучков о деревянные решётки на полу. Курьерша в сером комбинезоне отдаёт рабочему какой-то листок и, заметив меня, подходит. У Терезы бледное некрасивое лицо и умные насмешливые глаза. «Ага, поймала», говорит немка, кивая на газету. «Работаем, да? А как с «тотальной войной»?..» Среди рабочих, иностранных и немецких, эта шутка теперь в ходу.

С гудком на обед бегу в раздевалку. Возле моего шкафчика уже стоит тарелка картофеля из кухни для иностранцев. После обеда мы с Бруно курим в сварочной, пуская дым в вытяжную трубу. Бруно курит только крепкие, просто гадючие, бельгийские сигареты. Вообще-то курить на фабрике строжайше запрещено. Кое-кто был отправлен за это в штрафлагерь Любека. Но Бруно осторожен только в политике, избегает разговоров на эту тему: боится навредить родителям и жене в Италии.

А немцы-работяги вроде бы ни о чём, кроме политики, и не помышляют. Мне кажется, что автокарик Гельмут и слесарь Вольфганг не боятся ничего и никого на свете. Нас троих уже можно было бы повесить за разговоры...

Но вот без десяти пять. Люди прячут инструменты, моют эмульсией руки. Бруно в щегольском плаще с серым шарфиком на худой шее... Мы разбегаемся: немцы и иностранцы — к западной проходной, им надо успеть на поезд в Геесттахт; я — к противоположной, через которую идут оstarбайтеры.

Вечером собираемся у печки с распахнутой дверцей, и на лицах пляшут отблески огня. Заводила у нас Боря Санжаревский. Он смешит публику байками о довоенной жизни в Харькове. Вяжутся и братья Почеловы, Володя и Виктор (они из Енакиева), и москвич Иван Иванович, и Петя Румянцев из Курска. Сидим допоздна, ложимся при бликах угасающих в печке огней.

Пришёл Володя, по прозвищу Харьковский, и попросил помочь в немецком. Мы разговорились. Отец его не вернулся с финской войны, а когда немцы подошли к Харькову, мать растерялась, и они не успели уехать. В Крюммеле он слесарничал. Лицо у него привлекательное, что-то даже девичье сквозило в нём. Такого мы в детстве называли бы «маменькин сынок».

Я согласился, рассчитывая освежить запас слов. Читали тексты, учили фразы. Через месяц он мог уже одолеть сводку в газете. Как-то Тереза принесла пухлый том — роман «*Wer ist er?*» Про революционера-анархиста, за которым охотилась полиция многих стран, но он счастливо выходил из самых невероятных переделок. В книге было много рисунков. Володя читал её запоем.

В лагере стояло некое сооружение из досок, вроде сарая. По вечерам оттуда был слышен смех, разговоры, звуки баяна. И, отбрасывая тени на доски, кружились пары. Об этой минуте иная из девушек мечтала весь день, и, сбежав после работы за баландой, наскоро причесавшись, приходила на танцы преображённая и светлая, в надежде, что повезёт, что случайное знакомство обернётся чудом. Но редко кому улыбалась судьба: девушек было втрое больше, чем мужчин. На связь с иностранцами решиться могла не каждая: хлопцы ревностно следили за землячками и «провинившуюся» стригли наголо, а то и уродовали.

Я познакомился с Зоей Брагиной. Вечерняя тёмная зона, и мы, как тени, бредём, между бараками. Она рассказывает о своём городе, родителях и школе. На лагерные условия не жалуется и ни минуты не сомневается, что наши победят. Жизнь всё равно хороша, любила она повторять. В ненастье я проводил у неё целые вечера. Девушки из её *штубы* привыкли ко мне, и я чувствовал себя среди них, как дома. Мы с Зоей сидели у неё на койке в углу, за шкафом, она мечтала после войны работать в школе, и от её облика, строгого, полного достоинства, веяло мягкостью и силой, что свойственно хорошим мамам. Было ей тогда 20 лет...

В моём шкафчике был теперь непривычный порядок, полочка для посуды блистала чистой, на вешалке — свежевывстиранные сорочки и куртка. Зоя была ласкова, но до известных границ, как бы напоминая мне, что мы в лагере, идёт война, проявление чувств несвоевременно и неуместно. Она не делила немцев на хороших и плохих. Немец тем уже плох, что он немец, считала она. Терпеть не могла немецкого языка и книг, которые я читал, даже Гейне.

Иногда девушки пели. Песни звучали как бы с той стороны фронта: «Огонёк», «Тёмная ночь», «Землянка». Ходила в лагере и песенка на мотив «Брызги шампанского»:

Новый год! Порядки новые:

Колючей проволокой весь лагерь обнесён.

Со всех сторон глядят глаза суровые,

И смерть холодная мерещится во всём...

За окном сгущались тени, и девичьи голоса звучали удивительно стройно и красиво. Но звенел рельс, по баракам шли вахманы... Уходить было трудно, но расставались мы лишь до завтрашнего дня. Всё это происходило как будто на другой планете...

Вахманы не вмешивались в быт лагерников. Иногда кого-нибудь могли обыскать, подозревая, что тот пронесит с фабрики спирт. На *апельплац* не гоняли, как в Гамбурге. Проверки проходили ночью: пересчитывали спящих. Женщинами ведала лагерфюрерша Гертруда Лангер — худая, носатая, с седыми волосами. Эта мегера после отбоя тенью перебегала от барака к бараку, подстерегая опоздавшую, выводила её за зону, ставила спиной к столбу и била по щекам — по часу и более. Утром девушка плелась на работу с распухим лицом.

Зона имела входы и выходы законные и, так сказать, неположенные. Просто в колючей проволоке были дыры, к которым начальство относилось беспечно. Впрочем, в охране немцы были уже не те, что год-полтора назад, — служили пожилые фолькштюрмисты да инвалиды. В будни остовацы уходили через дыры, а по воскресеньям их отпускали на прогулки: в деревню Грюндсдорф на Эльбе, в Геестгахт, что в семи километрах от Крюммеля, или к землякам, работавшим у бауэров. Побегов почти не было. Многие знали на собственном опыте, что такое скитаться во вражеской стране без денег и документов. Другие считали, что «от добра добра не ищут».

Может показаться странным, что в гитлеровской Германии советские люди, мужчины и женщины, жили вместе, а по воскресеньям даже ходили на прогулки. ЛагереЙ в Германии было много тысяч, и все разные. О концлагерях типа Освенцима и Бухенвальда я не пишу, я там не был. За исключением двух месяцев штрафлага, я жил в остарбайтерлагерях. Но вплоть до осени 1942-го года это тоже были лагеря смерти: как я уже говорил, в Шуппене вымерла половина приехавших. Только когда немцы начали терпеть поражение на фронтах, стало легче остовацам. Конечно, легче относительно других мест, где были газовые камеры и крематории. Жилось и нам тяжко. В Гамбурге, Крюммеле, Геестгахтеузники, в основном, выживали...

Дважды я побывал в Эльбсдорфе в гостях у Севы Уфимцева. Спал он в конуре, а за перегородкой похрюкивали бауэровы свиньи. Всегда такой жизнерадостный и добрый, теперь Сева помрачнел: труд был поистине каторжный. Одет в тряпье, из грязного башмака торчали пальцы. Грязь была на штанах и на табуретке, которую он пытался вытереть, чтобы я мог сесть... Вскоре стали сходиться девчата — бауэровы рабыни. Две украинки и полька. Они вздыхали и плакали. Бауэр, или, как они говорили, барин, заставлял работать с рассвета до темна, нередко бил, и лица девушек были в синяках. Одежды не давал, и ходили они буквально в лохмотьях. Крюммельцы старались припасти кое-что, и оба раза я приходил со свёртками, в которых были пара брюк, две-три куртки-спецовки, гольцпантофли, рукавицы. Девчата радовались, совали мне кое-какую снедь: кормил бауэр всё-таки сносно. Мы пили чай, сдувая мутную плёнку от таблетки сахарина, и за разговорами незаметно проходил воскресный день...

Во второй свой поход в Эльбсдорф я запасся ещё и листовками, отпечатанными на ротаторе. Когда возвращался, с Эльбы тянуло прохладой, а в лесах просыпалась ночная жизнь. В сёлах загорались окна: женщины и дети ужинали дымящейся на столе брюквой и картофелем — обычной едой немецкого крестьянина. Оглядывая темнеющие поля, я спешил в лагерь.

К Пете Румянцеву приходила Соня Ильина, миловидная женщина родом из Курска. В шлуде при ней становилось как будто теплой и уютней. Петю и Соню мы считали мужем и женой и окружали заботой, как могли.

Однажды я поранил на работе руку, и Петя повёл меня к врачу. Так я познакомился с Генрихом Шварцем и фельдшером Гуго, который делал перевязку. Рана была пустяковая, но суровый с виду Шварц освободил меня от работы на несколько дней. На следующий день Петя передал мне брошюрку. Такие книжечки появлялись уже в Шуппене: их тайком пронесли немцы-водопроводчики. На дощине страниц серой бумаги немецкий *Widerstand* призывал рабочих к борьбе и сообщал свои новости. Со мной вместе *«Innere Front»* читали Сергей и Костя Збукер — мои ближайшие товарищи...

Бюллетени приносил в зону доктор. Мы собирались в пустой палате лазарета, а Гуго дежурил в конце коридора, чтобы предупредить при появлении вахмана или лагерфюрера. Собиралось человек шесть-семь, разговоры шли о войне и будущем Европы, слушали по старому приёмнику Русскую службу Би Би Си и даже Москву.

Была ещё группа Красноталова. Поначалу они относились к Шварцу недоверчиво, ревниво, что ли, но время шло, и красноталовцы проникались все большим уважением к доктору, видимо, понимая, что должны же быть немцы — противники «нового порядка».

Мы, поодиночке и вдвоём, ездили даже в Лауэнбург, Шварценберг, Любек, где оставляли листовки в публичных местах. У доктора были связи, и он вёл «чёрный список» осведомителей не только в русском лагере, но и среди французов и поляков в Геестгахте. Так, однажды Петя узнал от доктора, что проживающий в нашей *штубе* Владимир Почелов тоже на подозрении. Пучеглазый Володька, он всегда был весел, работал в Геестгахте на кухне французского лагеря, приносил нам хлеб и американские сигареты «Кэмел», щедро угощал всю *штубу*. Считалось, что и тем, и другим его снабжали французы, но сообщение доктора мы приняли к сведению.

Нужно заметить, что самой опасной и вредной работой в трудовом лагере заняты были девушки: начинали взрывчаткой снаряды и бомбы. Нервы постоянно напряжены: порой «начинка» взрывалась. Не проходило недели без несчастного случая...

Группа Красноталова тем временем стала вооружаться. Сёстры Тополевы из Луганска, их землячка Вера, трое югославок и одна французенка изготовляли ножи и самодельные бомбы; гранаты свои называли «букетами», прятали их в рабочей зоне в лесу...

В эти месяцы мы жили полной жизнью: у нас была цель, мы были не одиноки в ее достижении. И всё же время тянулось невероятно медленно, хотя события опережали одно другое...

Однажды по радио из Москвы мы услышали: «30-го марта 1944-го года в районе города Николаева наши войска успешно форсировали Южный Буг и Бугский лиман и западнее Николаева с боями заняли более 60 населенных пунктов, в том числе районный центр Варваровку...»

Я представил, что творилось на Сенной улице, где жила моя мать, сколько радости принёс николаевцам день освобождения! Это был и наш праздник!..

А 6-го июня началась долгожданная высадка союзников, пробившихся через Атлантический вал. Власовские газеты, попадавшие в Крюммель, носили «плутократов» Аме-

рики и Англии. Вспомнили, что первый в мире концлагерь создали в начале века именно англичане и замучили в нём десятки тысяч буров.

Вскоре Лондон сообщил, что советские танки вышли на границы страны 1941-го года и захватили польский город Люблин.

24 августа в *бетриб* вбежала Маша Тополева с газетой в руках. Мы увидели снимки взорванного помещения и надуленного Гитлера. И заголовок: «Провидение спасло фюрера». Сообщалось, что изменники-генералы пытались свергнуть национал-социализм и убить вождя. Эта попытка окончилась для них крахом. Тогда мы могли лишь догадываться, что творилось в высших сферах Рейха. В Крюммеле был арестован и увезён в Берлин владелец фабрики граф фон Баум. Впрочем, недели через три он вернулся в своё поместье...

Аббатство Монте-Касино в Италии – памятник XIII-го века. В разрушении его немцы обвиняли американцев, а те утверждали, что на колокольне был наблюдательный пункт, корректировавший огонь немецких батарей. 15-го августа союзники высадились и на юге Франции. Миллионные армии шли со всех сторон на Германию, но гитлеровцы ошалело продолжали сопротивление. «Хоть усямся, но не сдамся!» – говорили лагерники.

23-го августа король Михай отстранил маршала Антонеску от командования румынскими войсками и обратился к Москве с предложением о мире. А в конце августа настал праздник для французов: военный комендант Парижа Хольтиц вручил акт о безоговорочной капитуляции своих войск французскому генералу Леклерку и полковнику Роль-Танги. Вечером у Зои девчата встретили меня песней:

*Посмотри из-под крыш
На чудесный Париж!
Там цветут красота и любовь!..*

В воскресенье 29-го августа восстала маленькая горная Словакия, но немцам удалось подавить повстанцев, боровшихся и за нашу свободу. Для нас эти недели и месяцы были временем тревоги и надежд.

Обеденный перерыв. Гельмут зовёт меня в лес. Под деревьями лежат и сидят человек пятнадцать. Немцы нашего *бетриба*. Здесь и Винтер в халате цвета кофе с молоком, при галстукке и с циркулем в нагрудном кармане. О чём у них шла речь, я не знаю. Винтер повернулся первым: мол, добро пожаловать, Лео, ты в *бетрибе* один – остарбайтер, и наш *камерадшафт* собрался задать тебе кое-какие вопросы. Можешь не бояться, говорить прямо, из какой семьи, как живут рабочие в Советском Союзе и т. п.

Не подростки Гитлерюгенда – на меня смотрели работяги среднего и пожилого возраста, люди опытные и немало пережившие на своём веку. Я почувствовал радость: дело идёт к концу, немцы опомнились. Но что я могу сказать им? О чём можно и о чём нельзя говорить здесь? Из своих семнадцати более двух лет я в немецкой неволе на голодном пайке, где из меня выматывали душу, заставляя работать. Правда, в Крюммеле

некоторые работяги относились ко мне с дружеским участием, и всё равно была черта, разделяющая нас. Что бы ни сказать, всё будет пропагандой, только вражеской. Я прошу задать вопросы. Рассказываю об отце, умершем в 38-м году, о матери, уборщице в магазине, о школьных годах, о том, чему нас учили: все нации равны, но в каждой есть угнетатели и угнетённые, и мы, дети, мечтали об освобождении человечества от насилия... Вопросы продолжались. Какие отпуска давали рабочему? Две-три недели с сохранением зарплаты, иногда с путёвками в дома отдыха и санатории (немцы недоверчиво переглянулись). Верили они мне? Наверное, нет. Но хотели верить. Что им ещё оставалось в 44-м году?

Вечером доктор расспросил обо всём, недоверчиво качая головой. Я отмахиваюсь, я доволен собой, а это так редко бывает. Генрих вздыхает:

– Немцы принесли твоей стране столько зла, а ты...

Второй подобной беседы не последовало.

Старик Мюллер давно намекал, что у него есть подарок для меня. Я не проявлял любопытства, хотя меня очень занимало, что бы это такое было? И вскоре после разговора в лесу, переодеваясь в своей будке в чистый костюм, Мюллер достал из портфеля обёрнутый тряпкой предмет. Развернув свёрток, протянул мне маленький, почти игрушечный наган, в барабане которого было семь пуль. Мюллер сказал, что с этим наганом он в числе рабочих Гамбурга подавлял нацистский путч в 1923-м году.

– *Schreckliche Zeit! Weisst Du, dass Telman tot ist?* (Ужасное время! Знаешь ли, что Тельман умер?)

Да, я знал. Сообщалось, что погиб в Бухенвальде при бомбёжке. (Позже стало известно, что был убит по личному приказу Гитлера). Я замороженно смотрю на наган. Даже не знаю, что мне делать с ним. Но от подарков не отказываются, да и может ещё пригодиться. В субботу, когда на вахте почти не обыскивают, проношу в лагерь. Где же хранить? У Севы в деревне? Отдать доктору?..

В бараке никого. Кладу свёрток под подушку, бегу на кухню, получаю миску баланды и спешу обратно. Это заняло минут десять. Навстречу из барака выходит Володька Харьковский. Улыбается, здороваётся. Ах, этот загадочный девичий взгляд!.. Сказал, что принёс книгу, оставил на моей койке... Да, «*Wer ist er?*» – на одеяле. Подушка на месте, свёрток тоже.

Беру ложку, но есть не могу, подмывает бежать из барака. Володькин взгляд, его скороговорка, чуть сдвинутая подушка мгновенно связываются в одно целое. Чёрт возьми, пусть он видел наган, разве он не наш?! Мы не говорили с ним о политике, о войне. Бывало, я или Борис возмущались по поводу русских эсэсовцев или власовцев (для нас это было почти одно и то же тогда). Володька помалкивал, как будто эти разговоры его не касались.

Когда смерклось, мы вышли с Алёшей Виртом за пределы лагеря в лес и под сваленным недалеко от шоссе деревом закопали свёрток, завалили хвоей. Знать бы тогда, какую

беду накличет этот тяжёленький, такой удобный, помещающийся в ладони подарок старика Мюллера!

Власовское движение задело и крюммельский лагерь. В воскресенье к воротам подъехали в двух машинах несколько военных в тёмно-серой форме с андреевским крестом на рукаве. Побывав в комендатуре, разошлись по баракам. В нашу штубу вошёл затянутый в ремни блондин с простодушным, даже красивым лицом, правда, испорченным оспой. Отрекомендовался капитаном Бережковым, пропагандистом русской освободительной армии. Он достал из портфеля пачку газет и брошюр и веером разбросал на столе. Мелькнули названия: «Конвейер смерти», «Россия в концлагере», «От двуглавого орла к красному знамени»...

Бережков заговорил о том, что мы плохо знаем свою родину, её историю, особенно историю России при Ленине и Сталине. Его спросили, не собирается ли РОА освобождать Россию вместе с немцами. Он быстро ответил, что немцы всего-навсего союзники, не больше. Верно, они выдали оружие, но эта война – не их война. Это война русского народа против большевиков. Разве любят друг друга Черчилль и Сталин? Они враги, но в данный исторический момент они союзники... Впрочем, добавил он, в три часа в лагере состоится митинг, выступит генерал Малышкин, он расскажет обо всём подробнее.

Капитан ушёл. Витька Почелов взял газету «Заря». Мы уставились на снимок двух генералов в очках. Один курил, а второй держал в руках фуражку. Власов и Гиммлер. (Остовцы понимали, война шла к концу, и немцы хватались за кого угодно: за русских, украинцев, казаков, горцев с Кавказа. Хотя теперь даже идиоту было ясно, что рейх медленно, но верно катился в пропасть...) Кто-то прервал тягостное молчание: «Есенин!» Среди брошюр выделялся томик Есенина... Он тут же исчез в чьем-то кармане...

На митинг выгнали всех. Вахманы тарасили глаза: на помост, похожий на эшафот, взобрались гости – крепкие бравые мужики в немецких мундирах. Малышкин начал свою речь с 17-го года, когда большевики самым подлым образом обманули народы России, выдвинув лозунги: «Мир – народам! Фабрики – рабочим! Земля – крестьянам!». Вместо мира ввергли страну в братоубийственную войну. Закабалили рабочих и крестьян, интеллигенцию стали изничтожать с первых же дней, продолжают убивать и сегодня в застенках НКВД. Покрыли страну концлагерями от Кольского полуострова до Владивостока. Судьбе было угодно, говорил генерал, вручить нам оружие, и РОА готова выступить против большевистских палачей. Заканчивая речь, он призвал нас вступать в ряды РОА. Кто-то из толпы спросил, не входит ли РОА в систему войск СС? В газетах снимок Власова и Гиммлера. Малышкин явно смутился и сказал примерно то же, что Бережков.

Затем полковник Мальцев рассказал о своих злоключениях в советских тюрьмах и лагерях, когда его, военного лётчика, ни за что ни про что истязали в ташкентской тюрьме, принуждая оговорить себя и «признаться в несодеянных преступлениях». В войну его всё-таки освободили (видимо, из-за нехватки лётчиков) и послали на фронт. Вылетев бомбить немецкие части, он посадил самолёт в Ялте и сдался немцам. Некоторое время был

бургомистром Ялты, теперь командует эскадрилейой РОА. Выпустил книгу про советские тюрьмы.

На вопрос, каким будет строй в России, Мальцев ответил, что Россия будет такой, какой стала в феврале 17-го года — демократической. В ответ услышал, что России не будет, как до сих пор утверждает фюрер. Мальцев подмигнул толпе и заметил, что великую державу уничтожить нельзя. Никому нельзя!..

Всё происходило, как во сне. Проволока, вахманы, люди в немецких мундирах говорят на чистом русском языке о великой России. В двухтысячной толпе женщины первые закричали: «Позор! Позор!», а за ними и мужчины. Малышкин и его спутники быстро убралась в комендатуру, а нас разогнали вахманы.

Наши показали гостям, с кем они. Вечером Алексей Вирт, Иван Дубовой и я в пустой палате лазарета в три руки написали листовки против РОА и ночью расклеили возле раздаточной и уборной.

Генерал со свитой уехал. Капитан Бережков остался и несколько дней ходил по лагерю, останавливал то одного, то другого, уговаривая вступать в русскую армию. Нашлись, нашлись добровольцы, но всего несколько человек. Их освободили от работы, выделили отдельную *штубу*, где они ждали отправки.

Поодиночке или небольшими группами мы ходили в Геестгахт — в небольшой и довольно уютный кинотеатр. Приходилось маскироваться под поляка, прикрепляя к куртке нашивку с буквой «Р»: поляки жили свободнее восточных рабочих. Какие фильмы шли тогда? Штраусовские оперетты и мелодрамы 30-х годов. Помню ещё «Гибель «Титаника». Но изо всех фильмов запомнился больше всего цветной «Мюнхгаузен». Мы ведь знали Мюнхгаузена по детской книжке — носатого, глазастого, худого и крайне симпатичного чудака. В фильме от этого образа не осталось ничего. Барон-враль был представлен как национальный герой Германии: учителя истории, красивого, мужественного, посещают ученики. Их беседу прерывает старушка. Учитель целует ей руку: «Знакомьтесь, ребята, моя супруга». Дети поражены. Когда старушка ушла, учитель говорит: «Да, моей жене 93 года. Мне 35». Он берёт с полки «Приключения барона Мюнхгаузена» и начинает свой рассказ: «170 лет назад я служил у нашего мудрого короля Фридриха Великого...». Кабинет исчезает. На экране XVIII век: парики, шпаги, красочные знамёна. Учитель — в кафтане прусского офицера, на голове парик с кисточкой — ведёт на штурм горстку солдат. После всяких приключений, в которых нет ничего неправдоподобного, барон попадает в Петербург, и тут начинаются нелепости. Худенькая вертлявая Екатерина Вторая отчаянно кокетничает с ним. Князь Григорий Потемкин яростно вращает одним глазом и скрежещет зубами. Ночью во дворце Потёмкина — дуэль. Стреляют на слух. Вдребезги зеркала и статуи... Барон, ясное дело, убивает фаворита царицы. За представление двору граф Калиостро дарит ему кольцо бессмертия, наказав никогда не снимать его, дабы не умереть... На экране снова кабинет, учитель, дети с ужасом глядят на кольцо и вскоре уходят. Барон, обращаясь к пейзажу в тяжёлой резной раме, с пафосом произносит: «Германия! Я

не переживу тебя!». Входит старушка, он обнимает её: «Мы умрём вместе!». Кольцо летит в форточку, барон поворачивается к зрителю: это глубокий старик... Конеч!

Таким причудливым образом отразились на экране события 1944-го года. «Германия! Я не переживу тебя!» — повторяют потом многие гитлеровцы, стреляя себе в висок. Но до этого ещё было не близко...

Утром после сигнала воздушной тревоги я спустился вместе со всеми в убежище. Каждые 10-15 минут репродуктор называл количество самолётов противника и сообщал, куда они направлялись. Помню двух хороших литовок, сидевших напротив за нашим столом. Одна шила, вторая листала английский словарь. В завязавшемся разговоре они сказали, что русские для них не лучше немцев...

В одном углу шумно вели себя итальянцы, то и дело заводили песни. Французы поблагодарили их монетой, пролетевшей убежище и зазвеневшей о бетон. Изготовились к драке. Один из французов громко объявил, что и Муссолини дерьмо, и Бадoglio. А макаронники трусы. В ответ итальянцы так же громко спросили: «Сколько дней лягушатники сопротивлялись Тедеско?». Обошлось устной пикировкой. В таких случаях апеллировали к третьей стороне, чаще всего к русским: их страна продолжала воевать и перешла в наступление.

Между прочим, самые быстрые и близкие отношения налаживались у русских с французами. Остальные — итальянцы, к примеру, или, скажем, югославы и поляки — держались особняком, а последние чаще всего и враждебно. Голландцы и датчане были нейтральны.

После отбоя я варил в верхнем цеху флянец. Пришёл Бруно и сказал, что меня требует главный инженер *бетриба* Думке. Там ждал сюрприз — двое вахманов из фабричной охраны. Инженер объяснил, что я должен пойти с ними в управление. Я ломал голову: в чём дело?

В северо-западном углу рабочей зоны стояло приземистое строение со множеством помещений: лаборатории, охраны, а отдельно — комнаты владельца фабрики. Меня обыскали и отправили на гору. К круглой башенке с глубоким сводчатым входом в камеру вели каменные ступеньки. Через некоторое время вахман принёс суп и посоветовал лечь спать. Я растянулся на топчане вдоль стенки.

Утром повели к Розе. Бледный человек с выпученными глазами спросил, говорю ли я по-немецки. Я ответил: «Нет». Он нажал кнопку, вошёл мужчина с бабьими чертами лица, с мешками под глазами. Взгляд у него, однако, был живой и быстрый. Он по-русски сказал, что зовут его Аркадий Евгеньевич, что он переводчик и господин Розе, секретарь господина фон Баума, хочет задать мне пару вопросов. Не сводя с меня глаз, Розе сказал, что ему известно, что у меня есть оружие, точнее, револьвер. Я ответил, что это неправда. Розе насутился, и переводчик горячо стал уговаривать меня не упираться. Мол, на кой чёрт мне револьвер, я воевать, что ли, собираюсь?.. Господин Розе обещал: оружие на стол, и катитесь вон. Канцелярия господина Баума

не имеет отношения к гестапо. Но если буду упрячиться, дело передадут в гестапо, а там язык живо развяжут...

В башню я вернулся, понимая, кто меня выдал, — кроме Володьки Харьковского и Алёши Вирта, никто ничего не знал. Провокация со стороны Карла Мюллера исключалась. Я подтянулся за решётку: стекла в окне не было. Внизу извивалась вымощенная плитняком дорожка. Отвесный склон был покрыт диким кустарником. Луч солнца освещал мрачные неровные стены, чёрные от времени балки под крышей. Всё выглядело крепко, нерушимо. Уйти нельзя. Внимание привлекли царпины и надписи на топчане, неровные буквы, даты. «*Vive l'armee Rouge!*» — восклицал неизвестный француз. «23 августа. Еду в Любек. Валя К.» «Меня выдала Лидка. Галя». Была надпись «*Hitler caput!*», были — на итальянском и польском. Судя по датам, люди находились тут по два-три дня, а то и неделю. В полдень мне принесли суп.

В тот же день меня дёрнули ещё раз. Розе был один. Сказал, что я *люгнер* (лжец), что я помогал кой-кому учить немецкий (только Володьке!) и переводчик нам не нужен. Я возразил, что немецкий знаю плохо, он отмёл это движением руки: достаточно, чтобы отвечать на вопросы. Главный из них: где оружие? Я настаивал: у меня его не было и нет. Побледнев от злости, Розе спросил, знаю ли я Вольдемара (Владимира) Харьковского? И в каких с ним отношениях? Немного помогал учить немецкий, давал читать книгу «*Wer ist er?*». Розе открыл ящик стола, вытащил лист бумаги, подал мне. В заявлении остарбайтера Владимира Харьковского сообщалось, что он обнаружил под подушкой остарбайтера Леонида Ситко (SU 156) револьвер системы «наган», изъять который не успел. Ещё он что-то писал о моих высказываниях против Рейха. Осталось одно — всё отрицать, что я и сделал. Розе лишь усмехнулся.

Дежурка вахманов находилась в сотне метров от башни, и в полночь я дождался гостя. Женю Серова я близко не знал. Он сказал, что внизу на дороге Зоя, пришла с ним. Каким-то образом Жене удалось взобраться на гору и просунуть в оконце свёрток. Я сказал, за что меня посадили, что донёс Володька Харьковский и что я ни в чём не сознаюсь. Ничего странного, отозвался Женя, Володька записался во власовцы, освобождён от работы, с ним ещё несколько добровольцев, их скоро куда-то отправят. Какая сволочь, однако!

Долго я ещё, стоя у окна, слушал шорохи ночи, потом развернул свёрток. Пара бутербродов, пара сигарет, пачка суррогатной махорки (остовцев снабжали табачным корнем, высушенным и измельчённым, так называемым гольцтабаком), два листочка бумаги, шведские спички. Запахнув на груди куртку, я забрался с ногами на топчан и, не спеша, выкурил сигарету. То ли от прохлады, то ли от всяких мыслей меня била мелкая дрожь. Перед рассветом неожиданно для себя уснул. Вскоре проснулся. Развернул записку от Зои, которая заверяла, что будет меня ждать, а после войны обязательно разыщет. Была ещё листовка с маленькой картой фронтов и надписью на трёх языках — французском, немецком и польском: «К вам идёт свобода. Русские стоят от Берлина в 500 км,

союзники — в 700 км. Вступайте в Сопротивление. Варварству и террору скоро конец». Бумаги я, конечно, сжёг.

В бараке фабричной охраны меня заперли в комнатке без окон и с тусклой лампочкой под потолком. Через полчаса или час распахнулась дверь, и вошли трое молодых парней в новенькой эсэсовской форме. Один из них неожиданно по-русски, даже окая по-вологодски, спросил:

— Комсомолец?

— Нет.

— Какого же... не сознаёшься?

— В чём?

— Ах, в чём?! — Второй из вошедших с размаху вмазал мне по уху. Я откатнулся и получил удар справа. И ударом в подбородок вологодский отправил меня на пол. Я ещё успел почувствовать удар в бок, теперь сапогом...

Очнулся, когда облили водой. В дверях старый вахман сокрушённо качал головой. Девушка в белом халате ваткой вытирала мне разбитые губы. Я попробовал встать, но мешала острая боль в боку.

Вошёл Розе, наклонился, буркнув, что эти свиньи перестарались. Что-то сказал немке и вышел. С помощью медсестры и вахмана я мало-помалу поднялся к своей башне, сел на топчан, и они ушли. Наверное, это и была *Sonderbehandlung* (спецобработка), о которой в лагере ходили тёмные слухи... В сумерки старик принёс суп и кружку горячего кофе...

— Били тебя твои земляки, — сказал он, прибавив, что Розе уехал домой и я могу спать.

Уснуть я не мог. Болело всё тело, особенно в боку, и, кроме того, припомнилось одно воскресенье января 1938-го года. Собираемся в больницу к отцу. Кошка, всегда спокойная, мечется по постели, отчаянно мяукает, тянется изо всех сил куда-то в угол. На ходиках наших ровно три часа. Ехали в трамвае через весь город, потом сидели в очереди в тёмной приёмной. Вышла женщина из палаты, сказала, что кто-то там умер. Вскоре матери дали халат, и она ушла в палату. Через пять минут санитарки привели её обратно. Бледная, осунувшаяся мать сказала сквозь зубы: «Папа умер. В три часа...». Потом: «Что делать? Что делать? У нас совсем нет денег. Отец ничего не оставил. Похоронить не на что...». Помню, меня это очень задело — в такую минуту говорить о деньгах!.. Хотя понять было можно: жили бедно...

Процессия тянулась по грязным, оттаявшим улицам на другой конец города к кладбищу. Отец лежал большеносый, отрешённый, свой и уже чужой, не наш... На веки закрытых глаз падали снежинки и не таяли. Я держался за борт платформы и упрямо шагал прямо по лужам... Соседки говорили обо мне: «Сирота теперь...». Мне это не нравилось: «Какой я сирота! У меня — мама!».

Музыка надрывала душу. Склонялись красные знамёна с чёрными лентами. Говорили об отце то, чего я не знал: во главе продотряда дрался с бандитами батьки Григорьева, на

работе себя не щадил. Один дядечка так и сказал: «сгорел на работе»... Когда опустили гроб, мать велела бросить на него горстку земли. Могилу быстро засыпали, люди стали разбредаться. Ушли и мы.

Почему я вспомнил это именно тогда? Кто знает... Вообще у меня были вопросы к прошлому. Почему году в 30-м отец сидел в тюрьме? Он был троцкист? Помню, как он вернулся глубокой ночью, обнял мать... Почему ночью? Почему отпустили?..

В эту ночь опять был Женька, принёс хлеб и курево. Рассказал новости: вахманы поставили в *штубе* всё вверх дном, но ушли ни с чем. Добровольцев РОА, в том числе Харьковского, увезли. Они завербовались в русский корпус СС на западный фронт. Вот для чего негодяю нужны были немецкие слова!

Два дня не трогали. На третий – в полночь пришли. Половину здания канцелярии Баума и Розе занимали комнаты самого барона. Из полуоткрытого окна доносились звуки пианино. Наконец велели войти. Похоже, я очутился в кабинете самого Баума. На большом письменном столе бросилась в глаза фигурка в треуголке. В камине горел огонь, стояли кресла, на шахматном столике в углу лежал хлыстик, а рядом с ним – пистолет. О войне напоминала лишь гардина из чёрной бумаги.

У стены сидел переводчик, перелистывая записную книжку. Он кивнул на стул, я сел. Через несколько минут быстрой упругой походкой вошёл мужчина лет 45-ти в зелёном охотничьем костюме, моложавый и потрёпанный. Сел, взглянул на меня настороженно, но не враждебно.

– Почему его выпустили после 20-го августа? Доказал свою непричастность к покушению? Да разве тогда разбирали, виноват человек или нет? Генералов расстреливали одного за другим. А Баум вернулся... – думал я, глядя на него.

Между собой они говорили по-французски. Баум горячился, Аркадий Евгеньевич – спокойно, даже несколько небрежно. Так разговаривают люди на равной ноге. Но вот он повернулся ко мне.

– Господин Баум огорчен, что у вас были неприятности. Он в это время отсутствовал. Секретарь Розе поступил самовольно, однако вы ведь записались. Господин Баум ждёт ответа об оружии. Где оно?

– Харьковский наврал. Пусть его приведут и пусть докажет, что видел у меня наган.

Они опять заговорили между собой: Баум – морщась от досады, а переводчик – убеждая его в чём-то. Затем, пряча глаза, сказал:

– Мы допускаем, что донесли не только нам и что за вами могут приехать из Геестгахта, из гестапо. Что это значит, вам известно...

Он откинулся в кресле и с любопытством посмотрел на меня.

– Ну так вот, – продолжил он, – господин Баум решил отправить вас в другое место... Вам понятно?

Я понял кое-что, но легче не стало. Куда могут отправить попавшего под подозрение остарбайтера? Даже якобы спасая от гестапо. Переводчик только бросил: «Сами увидите».

На рассвете пришёл незнакомый вахман, крепкий белобрысый верзила, которому быть бы на фронте. В конторе присоединился вахман-старик, как всегда, добродушный. Выдали полкирпичика хлеба, кулёчек сахара, граммов сто маргарина. В фабричной полициемашине мы покатали в противоположную Геестгахту сторону — в Лауэнбург. С безлюдного перрона вошли в поезд. Верзила ненадолго отлучился, и старик-вахман сказал, что едем в Любек, в штрафлаг... Были всё-таки в Германии люди!..

Мимо окон проносились деревушки, кирпичи, ухоженные поля и берега какого-то канала. Поезд останавливался, входили и выходили пассажиры, поезд снова катил на север, а я вспоминал этих странных людей: Баума, переводчика и его напутствие: «Желаю, юноша, удачи в ваших бедах. Господин Баум уверен, что, пусть не сразу, вы вернётесь. Главное, ведите себя, как надо, и крепитесь...» Лицемерил? Говорил со мной только на «вы»... Почему же штрафлаг? Почему об этом он умолчал? В глубине сознания я хвалил себя: не поддался! Но за это надо было теперь платить...

Недели на штрафняке слились в нагромождение абсурдных эпизодов, инстинктивных решений, попытки не поддаваться окружающему безумию и надругательству. Потускнел даже Шуппен 42-го. По-моему, штрафлаг в Любеке мало чем отличался от лагерей смерти.

Внешне лагерь как лагерь: проволока в три ряда, вышки, пулемётные гнёзда, собаки, массивные ворота, с десятков аккуратно размещённых барачков... Но что это? Посреди *аппельплаца* — эшафот, перекладина на столбах, две петли болтаются...

Офицер в конторе, мрачный толстяк, принял от моих провожатых запечатанный конверт, сразу же вскрыл, прочёл и что-то пробормотал моим вахманам... Щёлкнув каблучками, те исчезли. Он с нескрываемым отвращением посмотрел на меня.

— За что попал сюда?

— Не знаю, майн герр...

Я уже давно знал, что так надо отвечать на вопросы начальства, но всё равно было противно.

— Комсомол?

— Нет, майн герр...

Он хмуро просмотрел бумагу, потом с моих слов заполнил анкету: год и место рождения, национальность, какой веры, адрес матери... И прочёл нотаацию: здесь не курорт, а кое-что получше, *ферштеен*? Здесь перевоспитывают врагов рейха, *ферштеен*? Буду честно работать и делать то, что прикажут, — выйду в срок, *ферштеен*? А если нет — тут и подохну, *ферштеен*?

Как будто ему не всё равно, *ферштеен* я или не *ферштеен*.

Из конторы эсэсман погнал меня к концу здания. Едва я поравнялся с дверью, где стоял другой охранник, эсэсман огрел меня по спине дубинкой, а охранник поддал под зад ногой. Я влетел в дверь и распластался на полу. Под смех охранников дверь захлопнулась...

Я сел и огляделся. В полутёмном помещении на полу сидели люди, и они ничуть не удивились, каким образом я «вошёл». Один из них, высокий, худой, приблизился ко мне и, узнав, что я советский, улыбнулся. Протягивая руку, сказал, что он чех, зовут Людвик, что они прибыли из Шверина, немцы, поляки, даже русские. Утром ничего не дали, может быть, в обед покормят, и нет ли у меня немножко хлеба? В кармане было с полпайки, которую мы вместе и съели.

Люди сидели, прислонившись к стенке, и молчали. Подошли двое наших ребят. Лёва Колосов (или Колесников?) из Киева и Семён Мурашко из Чернигова, угнаны немцами в конце 43-го. Сюда попали, как им сказали, за подготовку к побегу. Через какое-то время пинками и руганью погнали на «санобработку», напомнившую мне Люблин. Остригли под «ноль». Потом приволокли кучу разномастной одежды, велели одеться. Обрабатывали заключённые, поначалу, видимо, так спасавшиеся от голода и гибели, а потом вошедшие во вкус, сами ставшие садистами.

Я попал в барак (или блок) № 4, Людвик тоже, а ребята – в какой-то другой. Секции набиты битком. Непрерывный поток заключённых из восточных лагерей. Почти скелеты, но тех, кто выдерживал, отправляли на запад, в более поместительные лагеря. Кормили так: 250 грамм эрзацхлеба, раз в неделю – кусочек маргарина, кулёчек соли и сахара (граммов по 50), днём и вечером – черпак *зуплэ* из волокнистой брюквы или кислой капусты. Каждый день у барака складывали трупы...

Страх иногда сжимал сердце. До сих пор смерть обходила стороной, что-то (или кто-то?!) будто хранил меня, спасал... Неужели теперь?.. Поначалу я казнил себя за близорукость, небрежность. Как я мог не отшить этого молодчика, суетливость и назойливость которого мне всегда не нравились?!. И всё же что-то помогало, может, простая мысль: «Наши идут!»

Группа человек в тридцать долго бредёт по окраине города, а потом и вовсе за город, на болотистую местность. Перед нами не то траншея, не то канава. Руганью и дубинками эсэсманы заставляют нас прыгать в холодную воду по всей длине канавы, откуда-то появляются ведёрки и лопаты. Черпаешь воду, с размаху выливаешь как можно дальше за край канавы. Вода стекает обратно, но, черпая почаще, добираться до жижицы и выглёскиваешь уже лопатой... А вдоль канавы бегают в резиновых сапогах эсэсманы. Их чёрные плащи развеваются на холодном ветру. На наши головы льёт дождь, обрушиваются дубинки и брань... Как в аду, где мы – грешные души, а они – черти. Измождённые штрафники не в силах вычерпать грязь – в этом и состоит, наверное, наказание. Кое-кто уже падает, надсмотрщики заставляют выволакивать его из канавы, пинают неподвижное тело, свистит в полицейский свисток, и сквозь туман над болотом показывается повозка, которую тянут изо всех сил такие же доходяги. На досках лежат то ли мёртвые, то ли живые. Тело бросают сверху, и труповозка, ковьяля в грязи, ползёт к дороге.

Вечером в бараке старшина выдаёт *зуплэ*: заправленная мукой водичка. Походя бьёт черпаком по лицу доходягу, замешкавшегося у бачка. Спим «валетом» – голова-ноги,

голова-ноги. Встал ночью – на свое место не ляжешь, ищи другое. В шесть утра – *aufstehen!* – проверка на апельплаце, пайка эрзацхлеба. За ночь умерло семь человек. Кладут у стены барака. Живые строятся на работу: одни на болоте, другие в каменоломне. Вот где, говорят, ещё хуже.

О, Боже! Я помнил голод 33-го года. Мне было шесть лет. Опухали ноги. Мать варила жидкую мамалыгу. Отец плачет от бессилия помочь нам. И потом, когда жизнь немножко наладилась, жили впроголодь. И так до самой войны. Но голод на баланде и брюквенном хлебе – это что-то иное. Человек перестает здраво мыслить, им овладевает апатия, руки свисают, как глети, кожа мертвенно-серая... Были споры и драки дистрофиков за горбушку, которая у соседа казалась больше, за *зуплэ* погуще, за место на нарах... Были даже убийства за кражу хлеба у товарища («Ступай эсэсовца обкради! Что у своего крадешь!»). Но было и другое: «сбрасывались» по ломтику хлеба для того, кто уже совсем дошёл. Не все теряли в себе человека, помогали, чем могли, иногда просто добрым словом. Наиболее выносливыми мне казались выходцы из Союза. Чем это объяснить? Не тем же только, что «наши идут!» Не тем ли, что и на родине немало горя хлебнули и привыкли к нему? Поляки, чехи, особенно итальянцы казались совсем уж беззащитными, опускались и умирали быстрее...

При комендатуре – эсэсовская «обжираловка». Лагерник украл ведёрко с мармеладом. Непонятно, как он ухитрился это сделать: его шатало от слабости. И поймали, конечно. Эсэсманы, с руганью и смехом отдубасив его, ради забавы надели ведро ему на голову: «А теперь марш-марш бегом!» Доходяга «бежит» вслепую, еле переставляя ноги. Из баракров выскакивают такие же доходяги, набрасываются на него. Он падает, «куча мала» растёт, все перемазаны мармеладом, а над ними, держась за бока, хохочут вахманы...

В воскресенье – казнь. На эшафоте – два понурых человека с петлями на шее. Это поляки, их прегрешение: читали вражеские листовки, клеветали на фюрера и рейх. Перекинутые через перекладины верёвки тянутся по земле метров 30-40, за концы их ухватились добровольцы (!), человек двадцать за каждую (им обещана лишняя порция *зуплэ*). Замерли в стороне лагерники, бранью и пинками выгнанные из баракров, чтобы получить урок. Кучей стоят эсэсманы, наблюдают, вытянув шею. Раздаётся команда... Трое суток висят поляки над апельплацем. День за днём всё меньше жалости к людям, к себе, меньше страха, всё больше равнодушия...

Однажды утром француз, мой сосед по нарам, по дороге на работу внимательно посмотрел мне в лицо и сказал по-немецки: «*Гельб, гельб!*». (По неписанным законам своим французы обычно избегали немецкий при любой погоде. А тут он сказал «гельб», что значило: «жёлтый»). Я безразлично выслушал его и протянул рабочий день на болоте, чистя канаву. В зону доплёлся кое-как, есть не хотелось совсем, но француз заставил меня проглотить несколько ложек баланды. Я сознавал, что заболел, но к врачу идти не хотел. В лазарете мёрли как мухи, лечения не было, но можно было заболеть ещё и тифом. Так прошло несколько дней. И какой человек был этот француз! Он буквально выходил от меня, заставлял есть, помогал на моём участке канавы. Лишь благодаря ему я протянул эти дни перед тем, как вдруг пришло избавление...

Из штрафлага всё-таки отправляли людей. Не только большими партиями (копать траншеи? разбирать развалины?), но и маленькими группами, а то и одиночек. В Шверин или Гамбург, ещё куда-то... Лёва и Людвик уже уехали. Однажды в бараке появился эсэсовский офицер с бумажкой в руках. Через блокового вызвали троих, и третьим был я. Двое были сербы. В конторе сидел тот же толстяк. Он с удивлением читал бумагу, бросая на нас свирепые взгляды. Потом поговорил по телефону, и через некоторое время вошёл мой старый знакомый, крюммельский вахман. Он подмигнул мне. Дежурный сказал, что мы должны сдать здешнюю одежду и получить свою. Я не верил своим ушам. Неужели – Крюммель?! Толстяк не удержался от своего «*ферштеен?*», помахивал перед носом пальцем, а мы кивали, приговаривая: «Да, майн герр. Нет, майн герр».

Я вернулся в Крюммель, когда выпал снег, растаял и снова выпал. От свежего воздуха и слабости кружилась голова. Через лес меня провожал старик-вахман. Я снова увидел товарищей, Зою. Вытирая глаза, она улыбалась:

– Пока, что ты – ходячий скелет... Но главное, ты жив, жив!

Но я уже вовсю болел: пожелтели белки глаз, шея, руки. Доктор Шварц положил меня в палату, где летом мы с ним слушали радио. Мне показалось, что Шварц здорово сдал. Сказались тревожные ночи, он выглядел измождённым. Свободные вечера Зоя просиживала у меня. Она достала пьесы Шекспира в роскошном зелёном переплёте, целыми днями я читал. Недели через две желтуха отступила, а пережитое в Любеке отходило всё дальше в прошлое. Товарищи расспрашивали, конечно, но отвечал я безучастно, словами трудно было рассказать всё... Алёша сказал мне: «Я перепрятал конфетку. В зоне. Потом покажу – где». Хотя я едва не погиб из-за нагана, я и это выслушал равнодушно.

Навестил меня Красноталов. Мы обсуждали поведение Баума, не верившего мне ни на йоту. Он хотел, как я понимал, штрафлагом избавить себя от неприятностей, а меня – от гестапо. Андрей Павлович сказал, что Баум после августовских событий сам прошёл тюрьму и допросы, но, видно, выкрутился, не имея отношения к покушению. «После войны, – сказал Красноталов, – таких, как Харьковский, брать домой не станем. С ними на месте будет расчёт короткий».

Да, Красноталов остался самим собой – негибаемый, прямолинейный, беспощадный. Может быть, поэтому, думал я, он не смог найти общего языка со Шварцем? Эта мысль огорчала. Красноталова на войну призвали, но Шварца ничто не заставляло рисковать собой, своей семьёй. Ничто, кроме совести...

Новый, 1945-й год я встречал вместе с Зоей. Она осталась у меня до утра. «Как говорила моя бабушка, без Страстной пятницы не было бы и Воскресения», – пошутила, сбрасывая туфельки...

В марте сырая грязная зима сменилась чудесной солнечной погодой. Казалось, сама природа радовалась концу войны. Всё чаще самолеты союзников кружили над бараками, покачивая серебристыми крыльями. Лагерники в ответ бросали в воздух кепки и миски.

Немцы только руками разводили. Лагерфюрер Брюллер ходил по зоне и говорил, что, пусть даже союзники займут лагерь, беспорядков и они не потерпят.

В субботу 7-го апреля сигнал тревоги совпал с окончанием рабочего дня. Деревья уже покрылись свежей листвой, день был тихий, солнечный, и я с интересом следил за появившимися высоко в небе самолётами. Столько раз уже они летали над Эльбой! И вдруг ведущий сбросил указующую бомбу со шлейфом чёрного дыма, вслед которой к земле понеслись сотни фугасок... Я побежал, пытаясь где-то спрятаться. Мелькала дорога, справа и слева гнулись и трещали деревья. Затем наступила тишина, в которой слышен был только рокот моторов: самолёты делали новый заход. Я бежал, падал, прижимался к земле, вскакивал, снова бежал. Не знаю, за сколько минут я пересёк вздымавшуюся взрывами зону и очутился возле старого *бетриба*. Зачем-то вбежал в столовую и увидел стоящую у стены между окнами девушку. Я схватил её за руку и потащил за собой. Мы бежали мимо больших кабельных катушек. Под одной из них прятался знакомый француз.

— *Курээ иси! Курээ иси!* — неслось нам вслед.

Перед нами был уже забор из колючей проволоки, и мы бросились под железнодорожную насыпь — в бетонную трубу. Бомбы рвались где-то над нами, совсем рядом, труба ходила ходуном, с каждым взрывом падало сердце.

Внезапно стало тихо.

— Вот и конец, — сказал я, не веря сам себе. — Пошли.

— Nein, nein. Ich fuerchte mich...

Через несколько минут мы вылезли наружу, где по-прежнему светило солнце, будто ничего и не произошло. Лицо немки было совсем серое, она походила на призрак, думаю, и я был не краше. Девушка стала рыдать и кричать, я обнял её за плечи и повёл, и ходьба немного успокоила её.

Вместо дороги зияли большие ямы. Не было заборов и домов по ту сторону, не было деревьев, а заодно и катушек. Не было и француза. Только ямы, ямы, ямы... На месте *бетриба* и столовой — руины. Завыла сирена отбоя. И сразу высыпали люди, слышались голоса, неестественно громкие, резкие.

Я спросил немку, дойдёт ли она до вахты. Она отрицательно мотнула головой. Я сдал её с рук на руки вахтёрам, а сам побежал к восточной вахте. Возле руин — бывшей канцелярии Баума — толпа полицейских и пожарных. Подземные цехи зияли провалами. И только знакомая мне башня оказалась нетронутой. С фабрикой было покончено.

Первой я увидел Зою. Девушки наперебой делились только что пережитым... Было полностью уничтожено одно убежище. Погибло более ста человек — французов, русских, поляков, немцев...

Прошло дня четыре, и на противоположном берегу показались танки Монтгомери. Население Геестгахта вывесило белые флаги, в окрестностях не было ни одной воинской части, охранники ходили как в воду опущенные. Думали, что англичане сходу преодолению

реку, но этого не случилось. Через день немцы свернули флаги. Чья-то твёрдая рука сколотила из подростков, инвалидов и остатков прежних частей некое войско. На авто-страде появились кучки солдат, окопчики для фаустников, а правый берег Эльбы укрепился пулемётными гнездами и снайперскими точками.

На третий день загудел, как пчелиный улей, наш лагерь. Мужчин, около пятисот человек, согнали на *апельплац*. Лагерфюрер, взойдя на помост, объявил, что те, чьи фамилии он зачитает, отправятся в тыл рыть окопы. Каждому выдадут трёхдневный паёк хлеба и маргарина. Уклонившиеся считаются саботажниками. Незнакомый офицер, стоявший рядом с Брюллером, усмехнулся и подвигал указательным пальцем, как бы нажимая на курок.

В список попала почти половина нашей *шлубы*. Среди остающихся были Иван Иванович, братья Почеловы, Петя Румянцев. На окопы угоняли 120 человек. Начались сборы, прощание. Из тайника в умывальной я вытащил наган. Он легко поместился в боковой карман куртки. Зоя пыталась улыбаться...

Наша *шлуба* старалась быть вместе и поближе к Красноталову. Он открыто высказывал тревогу: немцы отобрали самых активных лагерников. Красная Армия вот-вот перейдёт Одер, союзники на той стороне Эльбы, и какие еще немцам окопы, если им в пору сдаваться. Словом, нужно быть готовым ко всему...

В 25 км к востоку от Крюммеля вошли в деревню. На сельском кладбище, окружённом оградой в половину человеческого роста, мы расположились небольшими группами между могил и поглядывали по сторонам. За оградой вокруг кладбища – часовые. По форме – полевые части СС. Подъехали ещё два грузовика с солдатами. Они садились и ложились где попало на землю и в обнимку с винтовками засыпали...

У Коли Лещенко и Севы (он сбежал от бауэра и месяца два работал в Крюммеле) были ножи. Кое-кто из наших запасся самодельными гранатами. Мы поели немного хлеба. Сергей побывал за кирхой и из-за надгробий осмотрел задний участок ограждения. И там ходил часовой, но стена длинная и можно попытаться уйти.

На кладбище прибыла новая партия оstarбайтеров. Пока немцы пересчитывали людей, мы, пробравшись за кирху, наблюдали за оградой. Вдоль чугунной решётки с каменными тумбами ходил автоматчик. Кладбище огибала дорога, поодаль виднелись лес и пастбище. Немец иногда останавливался, зевал, тёр уши. Сергей выждал момент, когда тому осталось пройти шагов двадцать до угла, перескочил через ограду и исчез в кювете. На углу солдат повернулся и пошёл назад – в нашу сторону. Неожиданно появился второй охранник. Они закурили и сели на бугорок лицом к ограде. Около часа мы следили за ними, затем отползли назад. Наконец прибыл и Красноталов. Обсудили ситуацию. Он сказал, что уходить лучше ночью, большой группой. Если надо – силой и врассыпную.

В сумерки на кладбище вошли двое офицеров с фонариками в руках, те, которых мы видели с Брюммелем, и приказали всем спать. «Покойников не бойтесь, – пошутил один, – и никаких костров, а то – *шиссен, шиссен!*..» Небо было чистым, но на земле стемнело

быстро. Около полуночи мы бесшумно поползли за кирку. Я старался не отстать от Красноталова и видел, как он вытащил нож...

Какое-то время мы лежали между могилами, но вдруг он прыгнул через ограду и сзади бросился на немца. Тот повалился лицом вперёд. Красноталов сорвал с него автомат. Через ограду полезли другие, быстро перебежали дорогу и падали в кювет. Слева послышался топот сапог и тревожные голоса. Я выхватил револьвер. Когда солдат, клацнув затвором, выскочил из-за угла, я из кювета дважды выстрелил в него, и он упал. Кто-то из наших схватил его винтовку.

— Зер гут, — сказал рядом Андрей Павлович, — айда в лес! Бегом, бегом!

Из-за ограды прыгали и прыгали наши, а мы уже мчались через луг. Позади падали из автоматов и винтовок, по дороге проносились мотоциклы, и Красноталов останавливался и несколько раз стрелял по только ему видимой цели. Наконец добрались до леса, и, попав в струи лунного света между деревьями, никак не могли остановиться, бежали дальше и дальше.

Всю ночь мы были на ногах. Сева вёл меня и Николая к деревне Эльбсдорф. Про остальных ничего не знали. После короткой схватки с немцами всё во мне было напряжено до крайности, хотя внешне я, кажется, был спокоен. Поплутав, через день дошли-таки до Эльбсдорфа. Сева побывал в деревне у бауэра и вернулся с поляком и девушками. Они принесли сухари и варёную курицу. «Ночуйте в лесу, а днём будем вас подкармливать, — сказали они. — Англичане вот-вот перейдут Эльбу, здесь и дождётесь...»

Мы жили возле вышки лесного объездчика, с которой видны были холмы за лесом и река. Так прошло дней десять. Уже хотели было сами переправиться на другой берег, но девочки сказали, что это опасно. Так, у англичан побывали двое подростков-немцев, те угостили их шоколадом и велели отправляться домой. Второй случай. Пятеро голландцев взяли лодку бауэра и поплыли ночью, но их заметили с немецкого берега и обстреляли. Все погибли...

Спали в небольшой яме, натащив в неё хвои и сухой листвы. Однажды утром, проснувшись, увидели... немецких солдат. Да, это были именно солдаты. Нас они не замечали, перебрисывались словами, собирая ветки для костра. Один из них лез на вышку, другие устанавливали орудие, подносили ящики с зарядами. Мы молча встали и молча пошли прочь. Нас не остановили, не окликнули. Объяснить это можно лишь одним: фрицам не до нас, они готовились к бою.

В тот день прошли километров двадцать и дважды натыкались на немецких солдат. Под вечер увидели за опушкой силуэт крюммельского лагеря. Что привело нас обратно? Может, тянуло туда, где нас было много, с одной судьбой?.. Мы ждали до ночи. Небо заволочло тучами. Никак не могли решить, кому идти на разведку. Настоял на своём Николай:

— Пиду до Наталки, розпытаю, а потим выйду. Свистну раз — тикайтэ. Свистну два разы — идить спокійно...

Время тянулось бесконечно. Лагерь молчал, только возле вахты глухо залаяла собака. Наконец услышали: Николай свистнул дважды. Через несколько минут мы были в штубе, где жила Зоя и её подружки. Увидев меня, Зоя побледнела и схватилась за край шкафчика. Оказывается, ей сказали, что я убит. Некоторые из беглецов сразу же вернулись в Крюммель и теперь прятались в лагере. Одни говорили, что в ту ночь с кладбища сбежало человек двадцать, другие – что вдвое больше. Ужаснее всего была весть, что в лесу были расстреляны наши товарищи, не успевшие сбежать. Крюммельцы проклинали немцев, досталось и англичанам, застрявшим на том берегу...

Девчата согрели воду, заставили помыться. Мы обрядились в халаты, поели. Девушки принялись стирать. На общем совете они решили, что нам не надо уходить. Немцы не появляются в зоне уже дней десять. Приезжает лишь повар.

Утром к одной из девушек пришёл её друг – француз, принёс важные новости: русские окружили Берлин и встретились на Эльбе с американцами... А наш лагерь – как заколдованный! Рейх доживал считанные дни, а здесь всё по-прежнему: комендатура, часовые на вышках, колючая проволока. Правда, пели лагерную песню уже по-иному:

*Дождались сволочи –
«Освободители»,
Что и для них настал
Расплаты час,
Что и в Берлин пришли
Герои-соколы,
Герои-мстители
За всех за нас!*

Наступил обычный день. Никто не знал, что это последний день неволи. В 23.00 разразился артиллерийский ураган. Часовых с вышек как ветром сдуло, вахманы втиснулись в наши битком набитые норы. Снаряды проносились со свистом и падали в сотне метров за лагерем. Англичане усердно обрабатывали пастбище. Вся мощь обрушилась на бедных коров, ночевавших в поле...

Так же внезапно канонада кончилась. С той стороны Эльбы поднималось трепетное сияние, и в зоне стало светло, как днём. Позже мы узнали, что на левом берегу были включены сильные прожекторы, ослепившие немцев. Сотни чёрных амфибий ринулись через реку, и каждая тянула грузовик с пехотой.

Когда я вышел из щели, на Эльбе слышалась пулемётно-винтовочная пальба. Потом наступила тишина, и сияние за рекой погасло. Мимо лагеря, перекликаясь, бежали немцы, тащившие ящики с патронами и ручные пулемёты. В темноте я столкнулся с Санжеревским. «Надо фрицев наших разоружить», – сказал он, и мы пошли в убежище. Немцев было трое. «Сдать оружие!» – сказал Борис. Вахманы торопливо объяснили, что вчера сдали оружие Брюллеру. Через минуту мы стучали в барак лагерфюрера. За дверью что-то упало, видимо, стул. Дверь распахнулась. Лагерфюрер стоял в сорочке, без мундира, но в брюках и сапогах. На койке похрапывал кок. На столе валялись бутылки.

– Руки вверх! Где оружие?

Взгляд Брюллера прояснился. Он увидел у меня наган и кивнул на подушку. Под ней лежало пять пистолетов и ключи от бункера. Растолкали повара и обалдевших с похмелья немцев с поднятыми руками повели через весь лагерь. О чём-то подобном мы мечтали три года...

В бункере оказалось двое наших ребят.

– Выходите, декабристы! – Власть переменялась.

Их место заняли Брюллер и кок. Вскоре в лесу вдоль зоны послышалось движение. Мы с Борисом стояли у ворот и видели, что в темноте на дорогу вышли люди и двинулись мимо лагеря. Мы побежали навстречу. Это были англичане! Они показались очень высокими. С плоских, как тарелка, касок свисали сетки, за которыми поблёскивали глаза, а автоматы были наставлены на нас.

– *Nicht schissen! Wir zind russisch!*

– *Russia, Russia...* – пронеслось по цепи. Сбоку появился офицер, который по-немецки велел нам вернуться в лагерь. Да, они знают, что здесь концлагерь. Им надо пока прогнать немцев подальше, а утром мы встретимся.

Весть об отступлении немцев мгновенно разнеслась по лагерю. Улицы и аппельплац заполнили люди: плакали, смеялись, поздравляли друг друга. Рассвет двадцать девятого апреля сорок пятого года. Первый день свободы.

Мир в то утро казался умытым и нарядным. Одно печалило нас: мысль о тех, кто не дождался этого дня, кто погиб перед самым освобождением... Грустно было видеть и убитых коров на пастбище за зоной.

Над комендатурой трепетали на ветру английские и советские флаги. Ворота были распахнуты настежь. Появилось мясо, там и сям в зоне загорались костры. В *штубу* Зои вошли, озираясь англичане. Трое солдат, по-юношески худых и длинных, и рыжий капрал чуть постарше, знаками показали, чтоб мы не беспокоились, и уселись у стенки на полу. Прижав к груди винтовки, мгновенно уснули. Для нас это было ново: не вломились, а вошли извиняясь; не повалились в ботинках на чужую постель, а примостились на полу... Девчата стали греть воду: солдаты были грязны, будто вылезли из болота.

Проснувшись и увидев тазики с водой, они засмеялись. Всё так хорошо складывалось: живыми вышли из боя, и впереди – свободный день. И мы были счастливы, и это им нравилось. В медлительности своего командования эти парни не были виноваты. Подмигивая нам и уморительно двигая губами, рыжий капрал лихо орудовал бритвой. А потом, посвежевшие и преображённые, они выгрузили на стол консервы, ножи, вилки, появилась фляга с виски и флакон с содовой.

Всё было чудесно в этот день, в честь которого мы выпили. Зоя вспомнила, что сегодня день моего рождения, что мне уже восемнадцать. Девчонки бросились ко мне, чтобы надрать уши. (С датой моего рождения вышла небольшая путаница, но это ни тогда, ни потом не имело значения).

С Давидом Прайсом (сожалею, что забыл имена его товарищей) я даже вступил в «полемику». Дейв сказал: «Stalin» и поднял как можно выше руку, показывая рост и значенье маршала. Потом сказал: «Churchill» и опустил руку пониже: вот, мол, какого росточка премьер. Нам тоже так казалось тогда. Но от виски кружилась голова, и я поднял к потолку обе руки: «Сталин – Черчилль». Мол, оба хороши. Англичане заулыбались.

День света, надежды, но и горечи запомнился обрывочно. Немцы продолжали сопротивляться. Часов в восемь утра англичане обстреляли миномётами лес возле Геесттахта. Вскоре два конвоира ввели в нашу зону пленных – с полсотни юнцов, почти подростков, с перемазанными землёй и гарью лицами, с вытарашенными глазами, в которых застыл ужас. Одни нервно ёжились, другие, может быть, раненые, сели на землю, третьих трясло мелкой дрожью. Я спросил долговязого фрица, почему они сдались в плен. Тотчас все разом заговорили, размахивая руками, стали рассказывать, как попали под миномётный огонь.

Лагерники молча слушали, втайне радуясь поражению немцев, и те поняли это и сразу сникли, а один, обхватив голову руками, заплакал. Им велели подняться, вывели на дорогу, и колонна нестройно заковылялась, поглелась в Грюнсдорф.

Возле вахты отдыхали английские солдаты. На подоконнике раскрытого окна радиоприёмник передавал чью-то речь. Я подошёл ближе. Солдат в очках поднял от газеты глаза и покосился на приёмник.

– Черчилль, – сказал он и махнул рукой. – Надоел!

Показал снимок в газете: в чёрных дымящихся развалинах ползёт танк.

– *Berlin*, – сказал он. – *Russian tank*.

Солдаты с любопытством поглядывали на меня. А я впился глазами в газету...

У нас появились велосипеды и даже мотоциклы. Взяли в брошенных домах или у местных жителей. Сообщение последнего часа: правый фланг немцев оставил Геесттахт и отходит к Гамбургу. Грузовики доставили в лагерь консервы, хлеб, сигареты. Обедали крюммельцы на одеялах, расстеленных на траве. Где-то играла гармошка.

Андрей Павлович создал группу вооружённой охраны: дежурили у бункера, где сидели вахманы и Брюллер, и следили за порядком в зоне. Начались болезни. Лагерники набросились на мясо, и некоторых мучили теперь понос и рвота. Прибыли санитарные машины с солдатами в клеёнчатых фартуках. Один из них на руках нёс заболевшего лагерника, испачканного рвотой. На лице солдата не было и тени брезгливости.

Любители выпить таскали из уцелевшей лаборатории древесный спирт. Несколько человек ослепли, четверо, в том числе англичанин, умерли. Солдаты увезли его (что сообщили родным? пал на поле брани?), а наших похоронили на краю леса. Над свежей могилой мы поминали товарищей тем же спиртом. Красноталовцы отнимали банки, выливали спирт на землю. А могли ведь и пулю схлопотать: многие теперь были вооружены.

В полдень пронеслось: «Все на митинг!..». Мы сошлись на *апельплаце*. Бесстрастные томми провели к помосту арестованных – тех, кто в момент освобождения застрял в

лагере: лагерфюрер Брюллер, шеф-повар, надзиратели. Не было, однако, Гертруды Лангер. Немцы стояли потупясь.

— Наши советские друзья! — сказал по-русски с помоста человек средних лет с офицерскими нашивками на рукаве. — Мы рады, что встретились с вами. Эти люди (он указал на пленников) говорят, что здесь остарбайтерлагерь. Но мы не слепые. Мы знаем, что колючая проволока, вышки с часовыми, сторожевые собаки — всё это называется концлагерем. Мы читали о терроре в германских концлагерях. Отвечать за террор должны прежде всего немцы. Они были вольными или невольными исполнителями приказов Гитлера. И вот тут-то надо разобраться, заблуждались они искренне или поступали сознательно. Разобраться вы сможете лучше нас... *«Herr Lager-fuerer, kommen sie auf»*, — сказал он Брюллеру. Тот, взойдя на помост, по-военному повернулся лицом к лагерникам.

— Как по-вашему, хорош он был или плох? — спросил офицер. Толпа загудела: «Мерзавец! Садист! Повесить мало!..»

Офицер жестами велел Брюллеру спуститься, отойти в сторону.

— Следующий!

Опьянённый свободой, глядя на пленников, с которых жалко свисали мундиры, я знал, что жестокость в конце концов уступит место великодушию. Но я чувствовал, что простить нельзя. Из-за долгих страданий народов России, Европы. Из-за погибших товарищей, в том числе расстрелянных накануне освобождения. Тогда любой немецкий мундир казался униформой, в которую вырядилось всемирное ЗЛО, и всё же, и всё же... Что несло нам самим будущее? Кто мог предвидеть, что наша невообразимая свобода — всего лишь передышка?..

Из десятка надзирателей к Брюллеру присоединилось семеро. Трёх, о которых отозвались хорошо, тут же выпустили из-под стражи. При виде шеф-повара голоса разделились. Толстяк оглядывал толпу, останавливая испуганный взгляд на знакомых лицах. Враждебные выкрики, казалось, озадачили его. Да, его весёлка гуляла по спинам воровавших брюкву, но Шток этим и ограничивался, никого ни разу не выдал на расправу лагерфюреру. Многие это понимали. Переводчик поднял руку.

— Друзья! Прошу тишины! Лагерь есть лагерь, кто-то должен работать на кухне. Разве ваш шеф-повар не справлялся с этим? Теперь, получая хорошие продукты, он сможет угодить вам. Пусть искупит свои грехи!

Последовала пауза, и толпа закричала:

— Верно! Согласны! На работу его!

Лицо Штока вдруг скривилось. Размазывая кулаком слёзы и прижимая пухлую ладонь к груди, он заверил, что будет стараться, что благодарит, что детки его благодарят и т. д. Переводчик подвёл итог:

— Ещё несколько слов, друзья! Жестокий режим Гитлера — это вчерашний день. На место его пришли законность и правосудие. Только суд определит вину этих людей. Сейчас их отправят в Геестгахтскую тюрьму. Будет следствие.

Лагерники смущённо молчали. Слово «правосудие» ничего нам не говорило. Сцена отделения козлов от козлиц подогрела страсти, люди ждали, что возмездие свершится немедленно, на глазах у всех. Теперь жертвы ускользали.

— Господа! — на помост вспрыгнул Андрей Павлович. — Не выйдет. Господа!! Это преступники! Это фашисты! Они издевались над нами! Они расстреляли наших ребят в лесу! Это не люди! Их надо покарать на месте, как они расправлялись с нами. Это и будет нашим судом! Мы требуем его!

— Правильно! Кончай гадов! — закричали в толпе. Остовцы подступили к Брюллеру и его компании. Солдаты загородили арестованных, держа поперёк живота винтовки. Немцы пошли к вахте. Если бы Андрей Павлович дал знак, люди смяли бы кордон. Однако он вдруг с кривой усмешкой сказал:

— Сами видите, товарищи, какая политика у союзников! Гитлеровцев спасают! Мы обязаны подчиниться, но я заявляю протест от имени нас всех. Мы этого не забудем! (Он повернулся к офицерам). Не забудем!

— Только правосудие! Никакого суда Линча! Да восторжествует правосудие! — ответил переводчик. — Мы цивилизованные люди!

— Посмотрим на ваше правосудие! — Красноталов спрыгнул на землю.

Немцев увезли. Офицеры, горячо споря между собою, скрылись в бывшей комендатуре. Лагерники разбрелись.

Иначе вышло с Гертрудой Лангер. Солнце было ещё довольно высоко, когда крикнули: — Ведьму ведут!

Я вышел из барака. У проволоки волновались женщины. Через лес в сопровождении двух солдат шла фрау Лангер. Чем ближе подходила она к воротам, тем громче кричали женщины, тем страшнее становились их лица. Фрау Лангер остановилась, показывая солдатам на толпу. Те нерешительно переглянулись и повели её прочь.

— Девочки! — крикнули в толпе. — Не дадим ей уйти!

И несколько женщин кинулись вдогонку. Потом рассказывали, что они отняли её у солдат, набросились с *гольцпантофлями* и убили. Солдаты, покуривая в стороне, смотрели на всё это безучастно...

— Эх вы-ы! — презрительно говорила лагерница. — Мужики! Упустили своего Кашея! А нашей кошке отозвались мышкены слёзки!..

Вскоре Дейв и его товарищи уехали в Гамбург. Война ещё продолжалась. Дорога в рабочую зону отливала радугой. По шоссе неслись мотоциклисты, прогуливались парочки. Девушка пыталась сесть на велосипед, то и дело соскакивала и смущённо озиралась.

Из Лауэнбурга на огромной скорости промчалась колонна студебеккеров. Водители-негры как-то странно вели машины, глядели не вперёд, а по сторонам, улыбаясь и приветствуя взмахом руки пешеходов. Из высокой кабины иногда торчала нога, которой водитель помахивал в воздухе. Говорили, что негры оказались отличными лётчиками и шофёрами.

Я пошёл на опустевшую фабрику — взглянуть на места, где провёл часть жизни... Руины цехов и изломанные стволы деревьев, разрушенное убежище... Изрытая воронками аллея привела к каменным ступенькам, поднимающимся к башне с решёткой в окне... Тяжёлая дверь не поддавалась. Сквозь деревья виднелся тот берег, поля, рощи, светлые летучие облака над ними...

Я сел на ступеньку. Вспомнилось довоенное детство, наивное представление о мире, обещающем таинственные острова, где добро всегда побеждает зло. Тот мир лежал в развалинах... Оккупация с виселицами и расстрелами, Гамбург, Любек, бомбёжки, искажённые жаждой мести лица женщин...

Река поблёскивала сквозь деревья, ветерок шевелил листьями, всё вокруг казалось тихим и мирным, но мне стало вдруг тяжело. Откуда взялась эта тоска, это предчувствие ещё неведомых бед? Обретённая свобода показалась призрачной и нереальной... Я думал о товарищах, о девушке, которую нечаянно встретил в лагере. Не хотелось верить, что лагерное братство, помогавшее выстоять, пройдёт, развеется, исчезнет. Ведь теперь каждый вдруг стал сам по себе. На лицах появилась отчуждённость, каждый будто задумался о своей и только своей судьбе. Не приходил больше Генрих. С Зоей я был в размолвке: к ней проявлял внимание Толя Ковалёв. Это волновало Зою и задевало меня. Мы погорячились, объясняясь, и, возвратившись в свой барак, я перестал с нею встречаться.

Замкнулся в себе и Андрей Павлович, резко отрицательно относившийся ко всему западному и видевший в союзниках будущих врагов нашей страны. Многие исчезли из лагеря к приходу англичан, в том числе братья Почеловы...

Я спустился с горы и побрёл в сторону посёлка Крюммель. И здесь было безлюдно. Ветер свевал в сторону перья, перелистывая страницы книг, валявшихся на земле, колыхал занавески в разбитых окнах. На стене дома была выведена бурой краской надпись по-немецки: «Кто не с фюрером, тот собака!..» Поперёк мостовой лежал убитый. Я отвернулся.

Второго мая по рукам пошла листовка с портретом Гитлера и коротким сообщением, что фюрер погиб в сражении за Берлин. Покончил с собой и Геббельс («Мы напоследок так хлопнем дверью, что мир содрогнётся», — сказал он в апреле). Отравился и Гиммлер. Так была подведена черта второй мировой войне в Европе.

Третьего мая в лагерь въехал на велосипеде черноволосый юноша в белой рубашке с засученными рукавами. Он искал меня. Это был Петя Пруссов. Мы обнялись. Ночь прошла в воспоминаниях и разговорах. Тогда, в лесу, Пете удалось уйти от погони, и он вернулся в Гамбург. Теперь жалел, что не оказался вместе со мной в поезде: «Из Голландии мы бы добрались и до Франции!..». В Гамбурге Пётр прожил полтора года, причём на свободе. И вот, дождавшись прихода англичан, приехал за мной. Надеюсь найти меня, попал в Геестгахт и занял домик, покинутый немцами, где предлагал жить вместе.

Вокруг Геестгахта было много лагерей, и город трясло, как в лихорадке. Немцы заперлись в своих домах, многие отступили с остатками вермахта. Вооружённые группки

бывших пленных разных национальностей искали переодетых эсэсманов, вахманов, членов партии, устраивали облавы на земляков, которые служили немцам, на власовцев, стремившихся раствориться в общей массе «перемещённых лиц», как теперь называли иностранцев в Германии. Городом правил самосуд, то есть задержанных не сдавали в комендатуру, а расстреливали на месте. Из действующих групп выделялась руководимая неким Капланом. Он носил френч и галифе, украшенное на заднице рыцарским крестом. Про него рассказывали ужасные вещи. Пребывая постоянно во хмелю, он лично расстреливал немцев, правы они или виноваты, ночью и днём и где попало...

Я поехал с Петром, главным образом, из-за Генриха: узнать, что с ним и его семьёй. Он не появлялся в Крюммеле со дня бомбёжки фабрики. Мы застали его дома. Нет, пока их не трогали. Генрих болел, а потом жена и дочери просто не выпускали из дома, боялись за него, за себя... Настроение у доктора было подавленное. Наступило долгожданное крушение рейха, но то, что творилось теперь, не укладывалось в голове: насилие, расправы, месть, кровь, кровь, кровь...

В доме, занимаемом Петром и где моей стала комната-мансарда, жила польская пара. В палисаднике цвели белые и красные тюльпаны. Повевля стариной, Германией, которую я знал по книжкам, но ощущение это было мимолётным. Хозяева, спасаясь от англичан, увезли с собой всё, даже мебель. Дом был совершенно пуст. Лишь наверху – грубая койка, стол и несколько книг, в том числе сочинения Гёте и Шекспир по-немецки. Мы ходили в русский лагерь в Геестгахте, появились знакомые, даже приятели, встретили и шуппенцев, Мишку Царюка, например. Конечно, я думал о Зое, даже тосковал по ней. Но что-то сильнее меня мешало взять велосипед, поехать в Крюммель и всё выяснить.

Однажды пришёл Миша. Я уже рассказывал ему о Генрихе: что живёт в городе хороший немец и будет ужасно, если он пострадает от таких, как Каплан. Теперь Мишка прибежал предупредить, что на доктора готовится нападение. Пошли к Генриху. Нам обрадовались, как родным, настолько тревожно они жили. Мы остались ночевать на мансарде, но не спали, а сидели у открытого окна. После полуночи услышали возню у калитки. Пришли! Миша высунулся из окна и, сложив руки рупором, крикнул: «Эй, вы, кретины! Кто войдёт – получит пулю! Марш отсюда, мать-перемать!» После такого «заклятья» ночные гости убралась.

Грабежам и убийствам не мешали предупреждения военной комендатуры, расклеенные по городу. На разных языках. Англичане не вмешивались. Конечно, в основном, наши были в стороне от этого. На улицах среди английских офицеров стал появляться советский майор. Провели радио, и Москва начинала передачи словами: «Дорогие соотечественники и соотечественницы в Германии! Родина вас на забыла, Родина ждёт вас!». Были учреждены пункты регистрации, и «перемещённое лицо», записав анкетные данные, уже считалось репатриантом, то есть возвращающимся на Родину. Так же обстояли дела у французов, югославов, итальянцев. Сложнее было у поляков, ведших бурные дискуссии, и, в конце концов, большинство отказалось возвращаться на родину.

Мы, советские, почти все готовы были вернуться в СССР. Когда Дейв, получив отпуск и разыскав меня в Геесттахте, пригласил погостить, я согласился лишь при условии, что вернусь в Германию ко дню регистрации.

Выведший виды грузовой транспортный самолёт «Дуглас» доставил нас в Лондон. Если б я не знал Гамбурга, Лондон подавил бы меня своей громадностью и неуютом. Центральные улицы выглядели деловито и мрачно. На каждом шагу — развалины. Вокруг памятников ещё не успели убрать мешки с песком. Тяжёлое впечатление оставляли дома, однообразно серый цвет стен и крыш. Нигде не было видно детей (их эвакуировали на север, говорил Дейв). Среди военных — немало женщин в униформе. В скверах и парках царил запустение — следы бивуачной жизни американских и канадских войск. Но всё это принадлежало дню вчерашнему. Завтрашний обещал быть солнечным и радостным.

Изумрудно-зелёная Англия пронеслась мимо, когда ехали в такси в Brentwood, где жила семья Дейва. Помню дороги, побелевшие от пыли, и на обочинах — дикие розы и кусты с красными ягодами, напоминавшие бузину. Тихие деревни и городки, чистенькие церкви, а то и поросшие мхом башни средневековых замков... Помню коттедж в небольшом городке близ Лондона — с ярко-красными пятнами кирпичной кладки, проглядывающей сквозь виноградные листья.

Дома всё было так, как, наверное, и мечтал Дейви. Благообразный отец, озабоченная мать, две сестрички. Одна высокая, светловолосая, немного полноватая для 17-ти лет. Что-то кроткое и спокойное было во взгляде голубых глаз, напоминающих глаза брата. Вторая — на два года младше, её щёчки при виде брата пылали от восторга и радости...

— Я привёз вам русского парня! самого настоящего!

— *O, I am very glad to you!* — отец крепко пожал мне руку.

Родители Дейви сделали всё возможное, чтобы я чувствовал себя свободно и удобно. Миссис Прайс отнеслась ко мне просто по-матерински. Отец расспрашивал сына прежде всего о службе, о Гамбурге, о немцах. Он гордился им, улыбался, вздыхал... Может быть, вспоминал свои молодые годы, проведённые на первой мировой.

— Какие чудесные цветы! — воскликнула сестра. — Неужели ты привёз их из Германии?

Нас проводили в наши комнаты. Мать и сёстры поцеловали Дейви, пожелали и мне доброй ночи...

Так промчалась неделя. Из семи дней в Англии четыре прошли в тумане, а три дня солнце боролось с ветром и облаками. Дейв постоянно прикладывался к фляжке и угощал меня, что не способствовало ясному взгляду на мир... Однажды мы остались с Дейви одни. Долгая пауза. Затем он сказал, собравшись с духом и подняв голову: «Все мы хотим, чтоб ты остался у нас...» «Нет, никак не могу...»

Долго говорили. Незнание языка мешало, но Дейви меня понял. Я не мыслил себя вне родины. Да и матушка не согласилась бы жить в Англии.

Возвратившись в Геесттахт, я не застал Петра. Он поехал на велосипеде в Гамбург, сказали мне, чтобы попасть на транспорт во Францию...

В солнечный тихий день человек двадцать из крюммельского и геестгахтского лагерей собрались отметить освобождение. Кладбище с аллеями старинных деревьев напоминало пустынный парк. Расположились на поляне у серого обелиска Неизвестному солдату (сооружён в 1918-м году). Настроение беззаботное. Из Лауэнбурга привёзли на мотоцикле бутылку очищенного спирта. Мне было поручено доставить всеобщую любимицу Лиду с гитарой... Выпили за победу над Германией. Закусывали шоколадом: ничего другого под рукой не оказалось. Спирт ударил в головы, все заговорили, не слушая друг друга, посыпались шутки, смех, зазвенела гитара. Лида пела разное: «Звать любовь не надо», «Калитку». Хлопали, просили повторить. Среди наших был француз Луи, которого привела дружившая с ним девушка из Львова Мария. Они уезжали во Францию. Говорили сумбурно, весело, хотя и на невесёлые подчас темы:

– Сталин всех нас в Сибирь сошлёт: посмотрелся на заграничную жизнь – становись на пенёк!..

– Ты УП изучал, Устав пехоты? Если от плена не уйти – убей себя!..

– Я в 14 лет в облаву попал...

– Страдали, голодали, и за это ещё наказание нести?!

– Эх, братцы! Государство – баба ревнивая: измены не прощает...

Красноталов вдруг хлопнул ладонью по земле:

– Будет вам! Паникуете зря. Проверять, конечно, будут, чтоб власовцев да эсэсовцев отсеять.

– Власовцы на Запад бегут сейчас...

– Переловят, – сказал Андрей Павлович и безо всякой связи продолжил: – Мы вот радуемся, что война кончилась, и невдомёк, что одна кончилась, а другая – на носу. Кто наши союзники? Буржуи и капиталисты. Социализм им поперёк горла. Сейчас очень удобный момент: их военная машина на полном ходу.

– Фашисты тоже называли себя социалистами!..

– Разный бывает социализм. У нас правильный, хороший. Не для одной нации, а для всех...

Разговор прерывался тостами – за встречу с родными, за наш социализм, а если союзники пойдут на нас, то – за победу над союзниками!.. Сосны на краю поляны покачивали верхушками, напоминая о прошедших двух войнах, о мёртвых, казалось бы, прислушивающихся к шумной беседе. Слово за слово разговорился я с Луи и Марией. Они вдруг стали звать в Париж. Мария сказала, что у Луи большая квартира, что поначалу освою язык, на это уйдёт полгода или год, а потом найдётся и работа.

Несмотря на три лагерных года, я чувствовал, что детская моя мечта увидеть мир жива, я так же любопытен и жаден на всё новое. То ли от спирта, то ли от свободы было так легко на душе, голова кружилась от открывающихся возможностей, и я, конечно, в ту минуту согласился ехать. Чем чёрт не шутит!

– Через три дня во французский лагерь подадут студебеккеры. Готовься.

В сумерках бродили мы по лунным улицам, и нас задержал патруль – рослые югославы в штатском, в ремнях и при оружии. Узнав, что мы из СССР, заговорили дружески, а один даже показал комсомольский значок под курткой...

На закате третьего дня я собрал рюкзак: консервы, сигареты, несколько книг и сидел у раскрытого в сад окна в ожидании Марии. Она шла через сад, тоненькая в косых лучах солнца, и с каждым её шагом я всё острее понимал, что любой выбор мой потом не поправить. На душе было тяжело, смутно.

– Сегодня едем. Луи тебя ждёт.

Я вздохнул, как бы собираясь с духом прежде, чем сказать:

– Нет, я возвращаюсь в Россию.

Она больше не улыбалась. Я услышал её тихий голос:

– Ты, наверное, знаешь, какую встречу готовят вам? Ты ещё вспомнишь эту минуту, и не раз...

Что ж, она оказалась права. Я не однажды вспоминал этот закат, открытое окно и исчезнувшую за оградой тоненькую фигуру девушки...

Через несколько дней загудели наши лагеря. Рассаживаемся в кузовах машин, шумные, весёлые. На каждом – синяя пилотка с красной звёздочкой. Кто-то прилаживает к кабине древко, и вот уже трепещет на ветру красный флаг. Девушек отправят во вторую очередь. Сегодня они провожают нас, машут платками, а машины одна за другой вырывают на главную городскую улицу. Рядом или между грузовиками мотоциклисты. Англичане сопровождают нас до посадки в поезд, охраняя от возможного нападения Вервольфа...

Тысячи немцев высыпали на улицы. Стоят по обе стороны мостовой. Ни улыбки. Насупленные лица, надвинутые на брови шляпы. Мёртвое молчание. Сквозь эти взгляды едем, как сквозь строй. Мы поём, перекликаемся, а в груди закипает злоба. Многие грозят немцам кулаком, кто-то кричит:

– Ну, чья взяла, гады?!

– Мы ещё вернёмся, фашисты проклятые!..

Машины набирают скорость. Скрылся кинотеатр, где я смотрел «Мюнхгаузена». А вот и балкончик доктора Шварца. Дом как бы ослеп: окна и двери закрыты, во дворе ни души. Прощай, Генрих! Спасибо, ты был человеком!.. Идут пригороды, и мы вылетаем на широкое шоссе. Прощайте, Эльба, Крюммель, Геестгахт!..

В Шварценберге, ожидая поезда, коротаем время в цехах какого-то завода. На цементном полу – костры. Закусываем, допиваем остатки спирта. В соседнем цеху – польки, бывшие концлагерницы, ожидающие поезда на Запад. Приглашаем одну из них к нашему костру. Ей едва ли двадцать, но лицо, как будто паутиной подёрнуто, глаза – немигающие, широко открытые – кажутся неживыми. Она выпивает, что-то ест. Щёки её розовеют. Немножко оживляется, рассказывает, что во время восстания Варшавы была связанной. Как ждали помощи! Как дрались за каждый дом! Немцы бросили танки, самолёты, артилле-

рию и подавили восстание на глазах у советских частей, которые не двинулись ни на шаг! Оставшихся в живых – примерно четверть миллиона человек – угнали в лагерь...

Мы молча курим, с особым тщанием гасим о цементный пол сигареты, а потом, не сговариваясь, вытаскиваем из чемоданов вещи, которые приберегли для своих на родине: чулки, туфли, платье, шарф. Поляка безучастно смотрит на это добро, обводит нас взглядом и спрашивает, с кем она должна переспать. Мы возмущены: и в мыслях такого не было!... Тогда она впервые за вечер улыбаётся.

Поезд идёт на северо-восток. Сидим на полу теплушек и, выставив наружу ноги, болтаем ими. Два поляка громко и дружелюбно спорят, и один, обращаясь к нам, говорит: «Жили при Николае, поживём при Сталине!». Не все поляки хотели остаться на Западе, но не было специального транспорта (мало репатриантов), и эти схитрили, выдали себя за русских. И мы рады за них.

Рады и за себя, хотя тревога не отпускает: как-то нас встретят? Три года ждали этого часа, и чем он ближе, тем неудобнее чувствуем себя. Мы, впрочем, бодримся, поём фронтовые песни. Кто-то рассказывает свежий анекдот:

– Переоделся Геринг в женское платье и драпанул в Гамбург, откуда он родом. По дороге заходит в пивную, садится за стол, просит пива. Возле него вьётся официанточка: «Пожалуйста, господин Геринг!». Он выпучил глаза: «Ты что, девка, умом тронулась?!». «Ах, господин Геринг, – хихикнула та, – я вас сразу узнала. А вы меня – нет? Я Гиббельс!»

Тогда многие не верили, что главные нацисты убили себя. Не те, мол, немцы. Про Гитлера говорили, что уплыл на подводной лодке в Аргентину, а Гиммлер с Борманом улетели к генералу Франко...

В четвёртом часу проехали демаркационную линию и справа увидели на холме лениво шевелящиеся громадные полотнища: американский, английский флаги и наш – советский! У подножия холма стоял русский часовой! Все столпились у дверей. Мы впервые видели солдатские погоны. На груди у часового поблёскивали две медали. Он был худ и небрит и, опершись на винтовку, устало и безразлично поглядывал на проплывающий мимо поезд...

Это была советская оккупационная зона Германии.

В долине с разбросанными по ней рощицами и небольшими озёрами выгружаемся. Из-за холма видны крыши деревни. Оккупированная советскими войсками земля Мекленбург.

– Ну, братва, дальше пешедралом! – шутит кто-то.

Вот был бы номер! Некоторые везут по два-три чемодана. Да и у меня рюкзак нелёгок: книги и консервы. Строимся. Подходят несколько солдат во главе со старшиной – громадного роста молодцеватым усачом.

– Здравия желаю, граждане! Проздравляю с прибытием!

В ответ – нестройный хор голосов.

– Видать, что не солдаты, – усмехается усач. – Так вот, граждане, вас сейчас кормить будем, чем Бог послал. Ночёвка в деревне. Окромя нас, славян, в ней ни души. Любую хату займите. Но вести себя культурненько. А сейчас всем сдать оружие! Ни к чему оно вам. Всё одно будут обыскивать, не сейчас, так потом. Ну, кто первый?

После заминки к ногам старшины сыплются вальтеры, браунинги, гранаты, обоймы. В общую кучу летят несколько автоматов, маузер и даже карабин. Каюсь, я не послушался старшины. Наган теперь ни к чему, но мне хотелось сберечь его: это был подарок, и, что ни говори, я расплатился за него сполна пребыванием в штрафлаге.

– Всё? – спрашивает старшина, прохаживаясь вдоль шеренги и сбоку поглядывая на репатриантов. – Ну что же, верю на слово. И, поворачиваясь к солдату: – Дьяченко, гони машину.

Получаем по ломтю чёрного хлеба, на котором пирамидкой желтеет сахар, отдающий гарью. Сахар трофейный, добыт на горящем складе. Заполняем деревню, устраиваемся кто как. Разговариваем вполголоса. Уже не те люди, не вчерашние. Не знаем, что нас ждёт, что нам можно, а неизвестное всегда страшит.

У стены напротив поляки болтают про Миколайчика и Люблин, про Андерса и Сталина. Тот, что постарше, всё приговаривает: *«Нех бендзе Езус похвалены! При Николае мы кепсько жили? И под Сталиным будзем жить!»*

Рядом со мной у стены примостился Кирилл Шервуд. Мы познакомились в вагоне. Ему тоже не спится, и он рассказывает о концлагере Нейенгамме, где провёл полтора года, о том, как в апреле 1945-го года заключённых внезапно погрузили в товарняк и перегнали к Нейштадтской бухте. Там их уже ждали суда, в том числе громадный лайнер «Кап Арконе».

– Мы сидели в трюме, и вдруг раздались взрывы и крики о помощи. Эссэсовцы выгнали всех на палубу. На «Кап Арконе» было тысяч 10, все в полосатом, так что англичане видели, кто мы, и всё-таки бросали бомбы. Корабль загорелся. Многие кинулись в трюм: там были посылки Красного Креста. Большинство собрались на корме. Возле шлюпок на воде шла драка, шлюпки переворачивались. А тут ещё ударили из пулемёта. Немцы, конечно. Жру шоколад и не знаю, что делать, – прыгать или оставаться. Рядом поляк с двумя посылками на шее. *«Матка Бозка Ченстоховска!»* и сиганул в воду. Не то утопиться решил, не то уплыть с посылками, но даже и не вынырнул. Я вдруг тоже перекрестился, прыгнул и поплыл подальше от судна. Попался кусок доски метра на два, ухватился за него, чуть отдышался. Слышу: «Спасите!». Оглядываюсь: наш, русак, знаю, что Женькой зовут. Ору: «За доску, за доску держись!». Но двоих не выдерживает. Метрах в десяти от нас дерутся за лодку. Поглядел Женька мне в глаза, кивнул и поплыл туда. Я опять уцепился за доску и продержался на ней километра три. Слышу: выстрелы. Люди выходят на песок, а их косят из пулемёта. Что делать? Сил нет. Всё равно, думаю, конец. Решил идти. Тут и пулеметы замолкли. Подавили их артогнем. И откуда только они взялись, английские танки?! Немцы драпанули. Человек триста вышли из моря...

Кирилл замолкает. Поляки тихо поют:

*Еще Польша не згинэ-эла,
Поки мы живэ-эмо.
Еще утка нэ скваснэ-эла,
Поки мы жуэ-эмо.
Марш, марш, Домбровский!
Поки мы живэ-эмо!..*

Я спрашиваю:

— И как вас встретили англичане?

— Да как! Спасли тех, кто ещё держался на воде. Собрали, построили, и мы пошли. Голые, в чём мать родила. На улицах солдаты со смеху помирали. Фотографировали. Дали робы, накормили, и мы разбрелись, кто куда. В Геесттахте я решил репатриировать-ся. У меня в Харькове мать и сестрёнка. Теперь — домой!

Домой! — эхом отозвалось во мне.

Утром мы с Юрой Томенко на лугу за древней увидели трибуну, вокруг которой сидели оркестранты.

— Сейчас начнут наяривать «Гром победы, раздавайся, веселися, храбрый росс!» — предположил Юра.

— Как это «наяривать»? — недовольно спрашивает пожилой сержант.

— Я хотел сказать: сыграют...

— Стыдно. Такие шуточки надо было оставить там, — сержант качнул головой на запад.

Собираются репатрианты. Оркестр играет вальсы, марши. На трибуне появляется группа офицеров. Толстый добродушный полковник открывает митинг и представляет слово красивому черноволосому майору.

— Дорогие земляки и товарищи! Мы хорошо знаем, как измывались над вами немцы, как наших советских людей превращали в рабов, в рабочий скот. Четыре года мы проливали кровь за свободу Европы, за вашу свободу и вот пришли на эту чёрную немецкую землю с победой...

Майор говорит не меньше часа, упоминает даже, что товарищ Сталин и товарищ Молотов сказали тогда-то и то-то в нашу пользу.

— Понятно, что вы были в Германии не по своей воле. Теперь вы свободные люди. Родина, семьи и лично товарищ Сталин ждут вас. Слава Советской Армии, которая уничтожила гитлеровскую гидру! Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков! Слава во веки веков гениальному полководцу всех времён и народов товарищу Сталину! Ура, товарищи!

От здравниц мы отвыкли. Особенно поразило это «во веки веков»: так говорят о Боге... Но гремит оркестр, и по знаку с трибуны мы встаём, потому что звучит гимн, заменивший в войну «Интернационал».

— Есть желающие выступить? — спрашивает полковник.

Каждый пережил столько, что сказать об этом в коротком слове, да ещё стоя среди офицеров, трудно.

– Нет желающих? – повторяет полковник. Офицеры хмурятся. Но кто-то уже спешит к трибуне.

– Товарищи! Братцы! – говорит он и замолкает. Он ищет нужные слова, и молчание затягивается. – Спасибо, земляки, спасибо! – прибавляет он. Мужчина лет 30-ти плачет на глазах своих товарищей, на глазах офицеров и оркестрантов, повторяя одно слово: «Спасибо!». Это и есть ответ репатриантов.

Проходит два дня. Снова болтаемся в кузове студебеккера. Автоколонна мчит на восток. В Ростке и Висмаре много военных, регулировщиц, а в сумерки на сером фоне Балтийского моря возникает город Барт. Въезжаем под арку громадных ворот меж двух рядов колючей проволоки и вышек. Лагерь?

Высокие просторные бараки набиты репатриантами из Бремена, Ганновера, Гамбурга. Стены бараков в рисунках, изображающих воздушные бои: здесь сидели военнопленные лётчики.

– Крюммельцы есть? – слышу я девичьи голоса. За окном стоят Зоя и Лида-гитаристка...

Долго в тот вечер ходим с Зоей по тёмным улицам лагеря. Она говорит, что лагерь называется «фильтрационный». Все должны пройти «фильтрацию». Зоя в подавленном состоянии, что-то её мучает. На мои расспросы отвечает:

– Помнишь, как ждали, как надеялись!.. С иностранцами ведь путались немногие, они с ними и укатили. А большинство сразу выехало сюда, к нашим. И вот в первую же ночь стали отбирать красивых девушек. Ну, мы в слёзы, кричать... И в ответ: «А, немецкие б...! Под немца ложились, а с нами не хотите!..» Ну, каково это терпеть от своих?! Что нам, тоже мазать лицо сажей, как это делали немки?..

Зоя плачет. Чем я могу защитить её, как утешить?

– Жаловались командирам, – говорит Зоя, – те уверяли, что виновных накажут, и больше это не повторится. А на следующую ночь пришли другие за тем же самым... – Она смахивает слёзы и улыбается: – Ну да ладно, что это я раскисла? Жизнь всё равно хороша, правда? Говорят, мужчин всех в армию возьмут, и тебя возьмут! – Она кладёт руки мне на плечи и смотрит в глаза. – Буду ждать тебя, переписываться будем, правда?

И я чувствую на своих веках, на щеках и губах её торопливые, ищущие, жадные губы... Знаю, что Зоя не говорит пустых слов, верю ей.

Весь следующий день составляли списки, стригли наголо, разбивали по взводам и батальонам. Коренастый, в выцветшей гимнастёрке политработник с планшеткой на боку сказал, когда построились:

– Вы находитесь в расположении 193-й дивизии 65-ой армии генерала Батова на территории бывшего Сталага-Люфт-1. Здесь наша дивизия освободила 8000 американских и 2000 английских лётчиков.

Он не удержался от радостной улыбки. Нам тоже было интересно узнать, что среди пленных было восемь полковников, тридцать подполковников, сто майоров и более восьмисот капитанов и что всех немедленно отправили на запад — домой. «А что же будет с нами?» — не вышло из головы.

— Вы теперь, товарищи, — продолжал замкомбата по политической части, — состоите на учёте в 120-м ордена Суворова стрелковом полку. Вам есть чем гордиться! За доблесть, проявленную при взятии города Штеттина, полк приказом Главкомандующего награждён орденом Красного Знамени.

Мы продолжали внимать. Это тоже было интересно. Но всё-таки — с чего начнётся наша служба в этом славном полку? Замполит продолжал:

— Завтра утром в походном порядке полк выходит в направлении города Штральзунд — в 25-ти километрах отсюда. Там нас ждёт транспорт. Солдатскую службу будете проходить на Родине.

Вечером Зоя сказала, что их начали «фильтровать». Вопросы обычные: кто, откуда, где работал в Германии. Над нами черной тучей нависла разлука.

— Напиши матери, — сказал я, — пусть не горюет. Три года из плена ждала, дожждётся, авось, и из армии. Армия — в этом есть что-то почётное. Да и долг. Будем, как советовал политрук, гордиться...

— Лидка да и другие ругают меня, — задумчиво сказала Зоя. — Не могли, мол, уехать с тобой куда-нибудь, хоть в Америку. И горя не знали бы. Я с нею спорю, а в глубине души нет-нет да и шевельнётся: права ли я?

— Права! — заверил ее я. — Наше место здесь.

Сколько репатриантов скопилось в Барте! Голова колонны подходила к Штральзунду, а хвост ещё выползал из Сталага. 20 тысяч — скорее, дивизия, а не полк!.. Отдав половину припасов Зое, я шёл налегке в одном взводе с Юрой и Кириллом. С ночёвкой нашему батальону повезло: спали не в лесу, а в замке. Я устроился на ковре у камина. Остальные — тоже кто где хотел. На оленьих рогах, украшавших стены, сохли носки и портянки.

Утром замполит Быков пожурил нас за то, что при переходе вели себя, как стадо баранов: нарушали строй. Затем сказал главное: идёт демонтаж военных заводов Германии, транспорт брошен на перевозку, есть приказ командования — в Россию идти пешим порядком. Покинувший строй будет числиться дезертиром. Идти будем так: 5 км пути — 10 минут привала, через два дня пути — день отдыха. Дневная норма — в среднем 30 км. С нами походная кухня, приварок будет выдаваться дважды в сутки, хлеб и сахар — своим чередом. Командирами взводов, рот и батальонов назначены сержанты и офицеры, прошедшие с полком славный боевой путь. Марш равносильен боевому заданию, и, подчеркнул замполит, «об этом марше знает товарищ Сталин».

Мы переглянулись: ого!..

— Как с чемоданами? — спросили из рядов. Быков поморщился, заметив, что солдату не к лицу возиться с тряпками, но раз уж так случилось, чемоданы сдать старшине, для них выделены две повозки.

Приказ есть приказ, пешком так пешком... Взводы получили по ручному пулемёту и по две-три винтовки: *Wehrwolf* то там, то сям ещё показывал зубы. И пошли наши километры. Десятки, сотни километров! На своих двоих. В зной и в дождь. Днём и ночью. Впереди Юра, рядом Кирилл. Тридцать человек по четыре в ряд, а сбоку татарин Наврузов – взводный. Во главе батальона – коляска комбата, в хвосте – повозки с вещами да те, кто уже натёр до крови ноги, кому старшина разрешил поддержаться час-другой за край повозки. Обувь самая разномастная: ботинки, туфли, сандалии, редко сапоги. Ночевали в лесах. На зорьке кто-нибудь, собрав котелки, мчался на кухню. Пара картофелин и, если повезёт, кусочек мяса, и каждый из нас был готов к дневному переходу.

Мы ещё не «отошли» после вчерашнего марша, но взводный начинает «считать ногу», и человек включается в ритм, и тело движется будто само по себе, и чем чётче строй, тем легче шагать. На привалах бросаемся в кюветы, задрав ноги на склон. Иногда неумолимый замполит читает нам газетные новости, но сознание не улавливает их, отдыхает, как и каждая клетка тела... Мимо колонны тархтят полевые кухни, спеша на будущую стоянку, непременно в лес. Из-за этого норма перехода увеличивается до 40, а то и до 50 км.

На небе ни облачка. Набрасываемся на каждую уцелевшую колонку, а то и просто лужицу, покрытую ряской. И командование разрешает, наконец, идти ночами, чтобы в солнцепёк спать где-нибудь в сосновом бору. Правда, из-за злосчастных кухонь то и дело приходится плестись не один час по самой жаре.

На нашем пути десятки покинутых жителями деревень и городов.. Иногда на городской площади нас встречает начальство, и обязательно играет духовой оркестр. Наврузов загодя начинает «считать» в такт музыке: «Левой!», «Левой!». Проходим мимо зданий, похожих на скелеты со множеством пустых глазниц, и вопреки усталости шагаем под «Марш егерского полка» или «Прощание славянки» бодро и даже весело, не забываем при этом «есть» глазами начальство. Откуда-то берутся силы перевозмочь любой «потолок» измотанности, любую «мёртвую точку». Человек оказывается способен соревноваться с самыми двужильными животными на земле, так он неприхотлив и вынослив. Случаи солнечных ударов, обмороков и истощения были крайне редки. Дезертирства – только два («Подгадили нам эти литовцы!» – в сердцах заметил Наврузов). Остальные 20 тысяч шли, шли и шли...

Земля ещё не остыла, не забыла недавних боёв: разбитая техника, запах разлагающихся трупов... Характер разрушений в городах был иной, нежели на Западе: там авиация не оставила камня на камне, здесь целы были хотя бы стены: артиллерийский огонь – не то, что бомбы...

По дорогам Европы брели большие и малые группы освобождённых французов, голландцев, югославов, чехов. Многие ещё не сняли полосатых одежд. Страшно истощённые, шагали быстро, глаза сияли сумасшедшей радостью, приветствовали нас ликующими возгласами... Тогда всем казалось: кончилась война, кончились беды!..

Много лет спустя я видел в кинохронике, как парижане восторженно – с цветами, слезами и песнями – обнимали своих измученных братьев и сестёр, переживших немец-

кую каторгу. И поныне бывшие узники надевают в праздники лагерную униформу и идут в рядах демонстрантов с плакатами «Это не должно повториться!»...

Мы же шли своей дорогой. Под Штеттином, где мост через Одер был начисто разрушен, использовали понтонный. Кругом — следы ожесточённых боёв: взорванные орудия, сгоревшие студебекеры, исковерканные дзоты и доты.

Возле Франкфурта на въезде в одну из деревень — фанерный щит, на котором свежей краской начертано: «Здесь, у деревни Кюнерсдорф, 1 августа 1759 года русские войска под командованием фельдмаршала Салтыкова нанесли решительное поражение армии прусского короля Фридриха II, тем самым открыв дорогу на Берлин. Слава русскому солдату — чудо-богатырю!»

На коротком привале, на опушке леса — разбитые танки: семь «тигров» и пять «тридцатьчетвёрок», застывших в разных положениях. Изрытая земля уже поросла травой, сквозь траки распластанных гусениц тянулись к свету ромашки. Ствол одного танка разворотило снарядом, и он стал похож на гигантский серый цветок. Мы с волнением бродили меж этих чудищ, пока трупный запах не прогнал нас. Я обратил внимание на качество сварки. «Тигр» трещал по швам, хотя они и были наложены с немецкой аккуратностью. А «сработанные» каким-нибудь ремесленником-подростком на Урале швы «Т-34», несмотря на их неряшливость, не дали ни одной трещины. Превосходство нашей техники было очевидно.

Вскоре замполит сказал: «Вступаем на территорию дружественной Польши. Не дай бог, если кто-то сорвёт хоть редиску!..» В польских городах отовсюду звучала музыка. По тротуарам прохаживались brave военные в конфедатках, из распахнутых окон смотрели молоденькие польки. А мы пели. Один взвод — «Три танкиста», другой — «С неба полудённого...», третий — «Кони сытые бьют копытами...». И всё это разом. Литовцы и латыши (они шли отдельно) пели своё. Интересно, какое впечатление оставалось у поляков от этой разноголосицы?.. Выйдя из города, смолкали: разрешалось не петь.

За Познанью пошла уже коренная, глубинная Польша, замаячили границы Союза. Но, как гром среди ясного неба, грянул приказ — повернуть назад, на юго-запад, в Силезию! Приказ есть приказ. Назад так назад! И снова десятки и сотни километров дороги. В дождь и зной, днём и ночью.

— Начальству виднее. Оно газеты читает, — говорили в колонне.

Снова ночёвки в лесу, разбитая техника, разрушенные города, брошенные сёла, бодрые марши, начальство — руку под козырёк. До сих пор не понимаю, была ли это обычная армейская служба или всё это придумали специально для нас. Поначалу я даже упал духом, но ведь всегда у человека сохраняется право думать и думать по-своему.

Под Глогау мы вновь перешли Одер. Вместо изб с крышами из потемневшей соломы пошли добротные, под черепицей, кирпичные постройки немецких бауэров. Жара сменилась затяжным дождём. Ночевали в наскоро устроенных шалашах, обувь клали под голову, портянки на живот и, прижимаясь друг к другу, спали, как убитые.

Солнце проглянуло только под Лигницем. Ветер смёл разорванные облака, небо заголубело, от нас повалил пар.

В Лигнице стоял штаб Рокоссовского. Город наполняли легковушки, джипы, громадные грузовики. А мы опять пели: «Белоруссия родная, Украина золотая! Наше сча-а-стье мо-о-лодое!..» или: «Дальневосточная, даёшь отпор! Краснознамённая, смелее в бой!..»

Возле Бунцлау — три дня отдыха! Незабываемое блаженство... Однажды к нашему костерку подошёл замполит. Он, как и мы, был худ и чёрен. Весь марш Быков прошёл пешком, а мы знали, что он попал в полк прямо из госпиталя. До войны преподавал историю в одной из школ Воронежа. Может, поэтому не мог не сообщить нам, что в Бунцлау похоронен Кутузов. Точнее, земле предано его сердце, а тело покоится в Казанском соборе в Ленинграде.

— Товарищ лейтенант, а нельзя ли съездить на эту могилку?

Быков прищурился, подумал и сказал:

— Постараюсь устроить. Честно говоря, не знаю, удастся ли...

Замполит машину достал. Набралось человек пятнадцать. Город казался запущенным, нежилым. Редкие прохожие опасливо озирались на наш грузовик. Машина остановилась у двухэтажного дома со свежebelёнными стенами. На пороге нас встретил худой приветливый старик, распахнул дверь.

— Bitte, bitte meine Herren!

Длинные коридоры меж пустых комнат. В одной из них — угол, ограждённый цепью. На этом месте, стояла походная кровать, здесь скончался победитель Бонапарта — *der grosse Feldmarschall, Seine Erzellenz Fuerst Golenischtscheff-Kutuzoff*. Мы благоговейно взирали на сияющие чистотой доски пола, на ржавую цепь, на старинное, в позолоченной рамочке изображение Александра I у постели умирающего Кутузова... Старик объяснил, что комендант уполномочил его открыть в этом доме музей, и, подмигнув, прибавил, что знает, где та самая фельдмаршальская койка...

Поехали на кладбище. В лейтенанте проснулся бывший учитель. Он взволнованно говорил, что весна сорок пятого напоминает весну далёкого 1813-го года. И тогда русские освобождали Европу от деспотизма. Хотя, заметил замполит, сравнивать Гитлера с Наполеоном было бы неверно и смешно. Да и мы, усмехнулся он, мало похожи на русских александровской эпохи... Сорвав пилотки, мы смотрели на обелиск за невысокой оградкой, на скромный крест, надпись по-русски: «Пусть сердце моё останется на чужбине вместе с моими солдатами...»

От Бунцлау двинулись на юг. Снова жара, но лица оведал лёгкий прохладный ветерок с Исполинских гор, за которыми были Судеты и Чехословакия.

В густых сосновых лесах близ города Герлица остановились. Кроме Кирилла, Юрки и меня, в нашем шалаше появился Костя Киреев. Он был старше лет на пять, вырос в Ленинграде, воевал-воевал и умудрился под конец войны, в марте 1945-го, попасть в плен, но

бежал и присоединился к репатриантам. Он был невероятно худ и жёлт, из-за отсутствия зубов пришепётывал, но всегда был весел, к тяготам относился иронически, подтрунивал и над ними, и над нами. Перед войной Костя окончил театральную студию, успел выступить в ленинградском драмтеатре и знал наизусть невероятное количество юмористических рассказов. По вечерам в нашем шалаше не смолкал смех.

Шуппенско-крюммельская компания рассеялась ещё в Геестгахте. В Барте мы вообще не виделись, хотя попали в один полк. Каждый был привязан к своему батальону, и найти друг друга было нелегко...

На четвёртый день отдыха батальон по тревоге был выстроен на опушке. Подъехал комбат. Он был грузен, говорил немногословно, несколько брезгливо, и это производило особый эффект: триста с лишним человек на лету схватывали его слова. А говорил он, что часть Силезии принадлежит теперь Польше. Немецкое население, особенно городское, запуганное геббельсовской пропагандой, драпануло на запад. Созрел урожай: рожь, овёс, пшеница. Убирать некому. Командование решило бросить на уборку личный состав 120-го запасного. Хлеб нужен не только армии, но и мирным жителям — немцам и полякам. Начальство выражало уверенность, что боевая задача будет выполнена с честью...

Что ж, урожай так урожай! Наше бытие обретало смысл вполне насущный. В соседнем селе добыли косы и на рассвете вышли в поле. Я с завистью смотрел, как сноровисто косил сосед справа. Поплевав на ладони, я ухватился за рукоятку и — «раззудись, плечо! размахнись, рука!» — врезал так, что лезвие на треть ушло в землю! Под смех и шутки мне показали, как правильно держать косу...

Кругом росли копны — колосьями внутрь на случай дождя. Мы зверски устали, но с задачей справились. Раздражала грубость начальства, постоянные понукания старшин и взводных — ведь мы и так работали от души. А это нелегко на полупустой желудок. О «приварке» говорили: «Крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой». Хлеб был плохо пропечённый, вязкий. Постоянно сосало под ложечкой, и на поле многие жевали пшеничные зёрна.

Однажды, идя по ещё не скошенному участку, я у самых ног увидел зайца. Солнце жарило вовсю, а он, растянувшись на брюхе и обняв морду лапками, спал, как убитый. Это был крупный, отъевшийся беляк. Не помню, как я упал на него, но боролся отчаянно. Если б не рубашка, в которой заяц запутался ногами, мне пришлось бы плохо. Я крикнул ребятам, они примчались, и вечером в шалаше закатали ужин: на первое, на второе и на третье была зайчатина. Уписывали за обе щеки, шутили, смеялись, я чувствовал себя героем, но... до сих пор не могу забыть, как бился подо мной и верещал этот безобидный зверёк!..

Жизнь нашей четвёрки внезапно изменилась: Косте Кирееву вздумалось организовать самодеятельность.

— С комбатом я говорил, — сказал Костя. — Главное, чтоб всё было «на уровне». Нас я уже внёс в программу. Для остальных будет экзамен...

– Как так «внёс»? – спросил Юра.

– Неужели не сможешь продекламировать «Жил-был у бабушки серенький козлик» или что-нибудь в этом роде?

– А если я не хочу в артисты? – спросил я.

– Будешь статистом! Вы, ребята, забыли, что мы в запасном полку, что скоро нагрянут «покупатели». Нам, четверым, неплохо попасть в одну часть.

Участвовать в нашей самодеятельности согласилось человек двадцать. В день концерта нас освободили от работы. Построили сцену, из плащпалаток соорудили занавес. Из Фрайбурга, где стоял штаб, замполит привёз механика и киноустановку. Зрители сидели на траве. Из ближнего села пришли немки – девушки и несколько женщин постарше. Играли чеховский водевиль, танцевали, пели хором, был и фокусник. Юра спел шуточную, с кавказским акцентом песенку: «*На Кавказе есть гора са-а-мая большая, а под ней тэкёт Кура, мутная такая...*» Я прочитал отрывок из «Полтавы» – описание боя, и одно современное, 1941-го года, стихотворение, не то Уткина, не то Светлова, о том, как Александр Невский разбил немцев на Чудском озере, потом при Елизавете, «*громила их пехота, крошил балтийский флот...*»

Когда смерклось, натянули экран, и показали документальный фильм. Несколько десятков немецких генералов открывали шествие по Садовому кольцу тысяч военнопленных, за которыми шли поливальные машины. Запомнились лица москвичей, конников-конвоиров в кубанках и шеренги, бесконечные шеренги идущих, ковыляющих, озадаченных солдат, оглядывающихся на объектив. На вокзале их ждали теплушки с надписью мелом: «В Сибирь...» Вдруг одна из немок, тыча рукой на экран, вскричала:

– Es ist er! Es ist er! Mein Gustav! Mein armer Gustav!

Она узнала своего мужа! Случай этот всех поразил, замполит предложил вторично прокрутить плёнку, чтобы женщина проверила, не ошиблась ли. Кадр остановили. Небритый худой солдат смотрел на нас. Немка снова кинулась к экрану. Другая немка сказала замполиту: «*Ja, ja, es ist er, Gustav*». Из санчасти прибежал фельдшер, несчастную кое-как успокоили. Замполит долго убеждал её, что Густав вернётся, что в плену людей кормят и т. п.

Утром старшина хмуро зачитал список.

– Освобождаетесь от работы, артисты! Поедете во Фрайбург...

И вот мы несёмся мимо *Schneekopfe* и разбросанных по Силезии замков и сёл. Мы не знаем, что на вилле Визенштейн угасает Герхарт Гауптманн. Никто из нас о нём и не слышал. Позже я прочёл в записках военкора Г. Вайса, что русские офицеры как раз тогда позаботились о престарелом писателе-гуманисте.

Немецкая церковь, островерхая, строгая, с несколькими пробоинами от снарядов. Поваленная у входа статуя какого-то святого, разбросанные повсюду молитвенники. Из-под ног поднимается туча пыли, и сквозь неё на нас печально смотрит из придела потус-

кневший лик Божьей Матери... На втором этаже – библиотека. Жить будем здесь. Посреди комнаты – груды книг. Сюда ходили справлять нужду фашисты, изгадили все углы. Нам предстоит работка – убрать помещение, вернуть на место книги. Делаем это не без удовольствия: после неволи и мытарств время принадлежит нам. Поработав часок-другой, бьём баклуши, разглядываем городок, переживший недавно смену власти, обедаем в штабной столовой: суп, каша плюс консервы и сахар – так называемый доппаёк...

Часа два репетируем. Костя Киреев решил поставить две-три сцены из «Бориса Годунова». У меня – роль Гришки Отрепьева. Не потому, что во мне обнаружены актёрские данные, а по дружбе. Костя вздыхает: нет молодой и красивой девицы, придётся опустить сцену у фонтана. Зато будет «Корчма у Литовской границы», и я то и дело репетирую: прыгаю через окно в фанерной стене, но всё как-то неловко, не так, как учит школа Станиславского. Уходя в побеги из немецкого плена, я прыгал, наверное, лучше, а вот на сцене...

Библиотека удивляет разнообразием. Среди богословских и церковных книг попадаются классики – немецкие, английские, даже русские. То это «*Raskolnikoff*» Достоевского, то «*Der Krieg und der Frieden*» Толстого. Замечательно, что напрочь отсутствует политическая литература. Я постоянно роюсь в книгах, и томик за томиком встают они на полки в отдельном шкафу. Не знаю, зачем я делаю это и кому это понадобится: не только Гёте и Шиллер, но и Гомер, и Шекспир. Обнаруживаются порой весьма неожиданные вещи: романы белоказачьего генерала Краснова «От двуглавого орла к красному знамени» и «Амазонка пустыни». Каким путём в церковную библиотеку попали книги светского содержания, одному Богу известно. Это было интересное чтение. Знал бы о нем злобный и опасный начальник политчасти капитан Рогачёв!

Обычно мы подолгу не спали, говорили о будущем нашей страны до глубокой ночи. Газет давно уже не видели, новости узнавали задним числом, жили больше слухами. А события накатывались одно на другое: совещание в Потсдаме, отставка Черчилля, ввод наших войск в Маньчжурию, капитуляция Японии, учреждение Нюрнбергского суда и Организации Объединённых Наций. Дошла до нас и неясная молва о сверхмощной бомбе, взорванной над Японией...

Нас почти не видно, но немцы обходят церковь стороной. Однажды Юра Томенко обратил внимание, что к изображению Божией Матери кто-то по ночам приносит цветы. Кто? В однообразии дней мы рады и этой загадке: встаём на рассвете и на цыпочках спускаемся в церковь, но всегда опаздываем. У ног Пресвятой Девы уже лежат свежие, обрызганные росой розы – белые и красные. В один из вечеров взбираюсь по витой железной лестнице на хоры, сажусь на место органиста и решаю провести здесь ночь. Что это? Охотничий азарт? Или простой человеческий интерес ко всему непонятному, таинственному?..

Сижу, жду... Мрак заполняет церковь, жутковато сереют оконные отверстия в высоких стенах. Тишина полнейшая. Час, другой, третий... И наконец шаги – лёгкие, осторожные, быстрые.

Молниеносно свергаюсь по лестнице, нажимаю кнопку фонарика. В круге света – пожилая немка. Прижимая к груди цветы, дрожит от страха.

– Муттер, не бойтесь, – говорю по-немецки. – Почему Вы ночью приходите?

– О! Вы – большевики... безбожники!.. – лепечет она.

– Приходите утром, не бойтесь. Никто вас не обидит.

Подходим к Богоматери. Немка кладёт цветы и, соединив руки на груди, негромко, но быстро и горячо говорит:

– Боже! Боже милосердный! Моего сына убили в России... Мой муж пропал без вести в Италии. У меня осталась только Она.

В следующий раз немка пришла утром, тоже с розами, а унесла сумку со всякой снедью, собранной для неё безбожниками. У страха глаза велики, но ведь, что солдаты русские – народ мирный, разошлась по Фрайбургу. В кирху стали приходиться, в одиночку и группами, и постепенно привели храм в порядок. Цветы у ног Девы Марии не успевали увядать...

Несколько раз выезжаем на полевые станы. Отец Варлаам, то есть Костя Киреев, неподражаемо приговаривает пушкинское: «Выпьем, поворотим да в донышко поколотим!», я неловко ныряю в окно, и никто не смеётся, иногда даже хлопают...

Одели нас во всё солдатское. Шинели – из трофейного немецкого сукна. Подворотнички на гимнастёрки пришивает живущая недалеко от кирхи немка, мать двух веснушчатых мальчишек. Однажды я, разглядывая корешки книг на ее этажерке, вытащил увесистый «кирпич». С красочной обложки смотрит исподлобья Адольф. «*Mein Kampf*»... Окликнув хозяйку, советую избавиться от этой книги. Она краснеет, благодарит, обещает немедленно ее сжечь...

(Много лет спустя мать рассказала, что в оккупацию у неё квартировали немецкий офицер с русским переводчиком. Однажды переводчик достал с моей книжной полки «Историю германского фашизма» – солидный труд какого-то немца-коммуниста. «Чья это книга?». «Сына». «А где он?». «В Германии». Переводчик сказал, что хранить книгу рискованно, пошёл к плите и, вырывая листы, совал их в огонь... «Перепугалась я тогда страшно», – вспоминала мать).

Наехали «покупатели». Вопреки прогнозам Кости мы попали в разные подразделения. Он и Юра – к связистам, мы с Кириллом – в сапёры, в 46-й отдельный дорожно-строительный батальон 65-й армии. Он стоял в 20-30 км к югу от Фрайбурга – в деревне Теспегуде. Наша рота целиком уместилась в толстостенном, похожем на крепость бауэрском доме. Хозяин с женой отодвинуты во флигелёк, не показываются.

Несём караульную службу при казарме и на току, куда на обмолот пшеницы нанимаются немки. Ежедневно полчаса политинформации. В свободное от караулов время бродим в живописных окрестностях Теспегуде – в лесах и по горам, увенчанным старинными замками. Когда-то эти места принадлежали славянским племенам, потом немцам. Теперь Силезия польская, и на дорогах с колясками и рюкзаками немцы. Уходят на запад. К

нашему хозяину тоже пришли парни в конфедератках и велели собирать пожитки, поскольку дом отныне принадлежит новому хозяину — поляку. Бауэр растерянно поморгал глазами, жена и дочка всплакнули, а через час они выкатили доверху нагруженную тележку и включились в вереницу бредущих по дороге соплеменников.

Нам приказано не вмешиваться, хотя вид гонимых вызывает сочувствие. Эти женщины и дети неповинны в том, что 600 лет назад Барбаросса колонизировал славянские земли. Растерян и новый хозяин дома: худой, небритый пожилой поляк со страхом поглядывает на каменные стены двора, на часового у ворот. Нежданно свалившееся богатство ошеломляет его, да и о *Wehrwolf'e*, наверно, наслышан. Наш ездовой рассказывал, как ночью, когда батальонные лошади паслись за деревней, к его костру подошли вооружённые мужчины в гражданской одежде. Но вели себя немцы мирно, выкурили по сигарете и ушли, сказав, что русских не трогают, только поляков.

Когда появился у нас номер полевой почты, я написал матери в Николаев. Ответ пришёл довольно быстро. С волнением читал я составленное неровными буквами, без точек и запятых письмо. «Из эвакуации вернулась Римма, — писала, среди прочего, мама. — Узнала, что ты жив, и от радости упала в обморок. Мать её умерла в Ташкенте от тифа. Римма живёт в старой своей квартире, учится в кораблестроительном. Она сама тебе обо всём напишет...» Я был рад, что Римма жива. Но мы были детьми в 1941-м. Четыре года войны, наверно, сделали нас другими людьми. Римма была вестью из безвозвратно ушедшего прошлого... Я написал Зое в Енакиеве...

В Теспегуде мы прожили месяц. В однотонность службы ворвался трагический случай. Был в роте запевала — рослый красавец Коля Бойченко с Днепропетровщины. В одном из домов он нашёл пачку конвертов, окаймлённых чёрной рамкой, видимо, для траурных сообщений. Вообще-то мы слали домой «треуголки», а Николай возьми да и отправь письмо в таком вот конверте...

Старшина Наврузов был командиром взвода. Чистяков — старшиной роты. Наврузов считал зазорным подчиняться Чистякову. На этой почве враждовали. Приварок был неважный, роте приходилось «промышлять», добывать на стороне дополнительное питание. Ночью дежурный по кухне брал двух-трёх солдат, и через часок возвращались с добычей: то это была свинья, то корова, реквизированные у бауэра. Дня два рота ела мясо.

В тот вечер дежурный по кухне Наврузов, взяв двух дневальных, Николая в том числе, и ушёл на «промысел». Как на грех, дежурным по роте был Чистяков и он строго приказал часовому в казарму никого не пускать, в случае чего — стрелять. Ребята после полуночи притащили на верёвке козу. Маленький толстяк Костя Алексеев крикнул: «Стой! Кто идёт?». «Да брось ты...» — махнул рукой комвзвода. Лампочка над входом светила ярко, Костя видел всех троих, но всё-таки, крикнув: «Стой! Стрелять буду!», вогнал в ствол пулю. Наврузов стал стыдить Костю, что тот издевается над своими. Тут и раздался выстрел. Коля Бойченко упал с простреленным лбом... Сбежались ребята из казармы, Чистяков, а потом и командир роты. Коза обнюхивала неподвижное тело Коли, и Наврузов никак не

мог её прогнать. Костю отправили на гауптвахту, Колю Бойченко унесли в «красный уголок» под портрет генералиссимуса...

Костя настаивал, что не нажимал курка. Проверили, вогнали пулю, через полторы минуты винтовка выстрелила сама... За халатное отношение к проверке личного оружия 15 суток «губы» получил Чистяков. Наврузов отсидел трое суток – за «реквизицию» козы. Костю тоже вскоре выпустили.

По извилистой дороге мимо выглядывающих из-за деревьев черепичных крыш огромные бельгийские кобылы везли на армейской повозке Колю Бойченко с мёртвой забинтованной головой. Следом, посвёркивая штыками, шла рота, шли мы. Плакали немки в хвосте колонны... Среди немецких могил прогремел трёхкратный залп. Над холмиком водрузили деревянный обелиск со звездой и надписью: «Погиб на боевом посту»... Так же написали родителям. Через неделю после похорон от матери пришло письмо Коле. Хлопцы распечатали, прочли: «Боже, як ты нас налякав, Мыкола. Побачила конверт – так в очах почорнило. Та що ты наробыв, сынку мий? Дэ ты пидибрал атаку трофэйну гадисть?..»

Случайность или что-то мистическое было в этой горькой истории?

Прощай, Теспегуде! Фургоны один за другим выкатываются на улицу. Поставив винтовку между ног, сижу на козлах рядом с Павликом Сорокой. Стоят под дождём немки. Трогаемся, и сквозь плач слышны голоса: «Иван! Иван!..» Мы для них «иваны». Они привыкли к нам, эти Эльзы и Гертруды. Им страшно оставаться с польскими властями, которые не церемонятся: слишком много обид накопилось в душах поляков за годы оккупации. Чуть что, тянут в комендатуру. Одной пожилой немке за то, что собирала колоски на поле, дали двадцать пять «горячих» розгами...

Во Фрайбурге формируется состав: несколько вагонов – для коров и лошадей, остальные – для нашего брата. В теплушки соседнего эшелона солдаты с хохотом втаскивают свиней. Над станцией стоит несмолкающий визг. Маршрут известен – Брест. Позади остаётся мокрый, в дымке дождя город. Прощай, Германия, прощай, Силезия!..

Польша – официально дружественная страна, но ухо надо держать остро, предупреждают командиры. В лесах бродят подразделения, признающие польским правительством лондонских эмигрантов. Знать не хотят варшавское. И действительно ночью под Ченстоховом нас обстреляли из крупнокалиберных пулемётов: убито три коровы, ранена лошадь. К счастью, никто из ребят не пострадал.

На остановках патрулируем вдоль состава. Ночью начальник караула привёл меня на паровоз: «Услышишь стрельбу в голове поезда – давай команду: стоп! Если в конце – пусть поддают жару!»

Останавливаемся часто: то паровоза нет, то бригады. Плетёмся уже 3 недели. Однажды ночью я шёл вдоль эшелона. От стоявшего рядом встречного состава метнулась тень. Я включил фонарик. Истощённый до крайности человек готовился спустить штаны.

– Камарадо, камарадо, – затараторил он испуганно, – я итальяно...

— Ладно, ладно, — сказал я, проходя мимо, но он увязался за мной и, не умолкая ни на минуту, сыпал русские, немецкие, итальянские слова... Попал в плен под Сталинградом, был в Сибири, затем в Средней Азии. 45 тысяч их было, осталось тысяч девять. Едут домой. Но многие больны дизентерией...

... На мосту под Брестом в теплушки заглянули пограничники, и мы двинулись дальше. Родина! Четыре года назад мы покидали тебя как невольники, а возвращаемся солдатами твоей победоносной армии. Мы приняли присягу. Наши матери, наши девушки подождут. Мы должны помочь тебе залечить раны войны. С этим настроением мы и въехали в славный город Брест.

Тогда Брест ещё не был прославлен, не был городом-героем... Нам первым довелось прикоснуться к руинам крепости. Пронизывающий ветер обдаёт снежной крупой лицо. Глухо гудит кирка или лом, смёрзшийся кирпич поддается туго. Через месяц такой работы лица наши задубели, тело ломило. Но части нужен был кирпич.

Война кончилась, однако время было недоброе. Нашли убитым командира второй роты. Он лежал недалеко от казармы. Капитанские погоны были сорваны и крестиком сложены на груди. Семь ножевых ран. Бандиты? Армия Крайова? Погиб и старшина Чистяков: его повозка подорвалась на mine.

В деревне Рясное Высоко-Полянского района выкапываем из-под снега сваленный ещё до войны булыжник и на носилках таскаем к железнодорожной насыпи. По воскресеньям вместе с жителями деревни обмолачиваем пшеницу, убираем сено в амбары. После работы для нас накрыт стол: солёные огурцы, сало, самогон. Приходят девушки, иногда поют. Луна ярко освещает неровные улицы. В морозном воздухе далеко слышны голоса и девичий смех.

Через месяц уезжаем. В Бресте весной и летом 1946-го года мы несли обычную караульную службу, иногда конвоировали немецких военнопленных, разгрузивших ящики с демонтированной техникой. Вели они себя, как правило, мирно и дисциплинированно. Я один конвоировал группу человек в пятьдесят...

Беспрерывное стояние на часах так утомляло, что однажды я умудрился задремать на посту. Разбудил меня комбат и дал трое суток «губы». Отоспался там, читал «Войну и мир» — даже с удовольствием вспоминаю эти трое суток.

На политзанятиях офицер развешивает карты. Жирные красные стрелы рассекают немецкие фронты. Тема: «Десять гениальных сталинских ударов». Лишь благодаря мудрости товарища Сталина и руководимой им партии выстоял наш народ. Поначалу беседа идёт без сучка и задоринки, но вопросы солдаты задают трудные, офицер краснеет, горячится, настораживается. Народ у нас, что называется, битый, напрямую не спрашивает, но сквозь реплики проглядывает множество неприятных и даже опасных «почему». Почему, скажем, наш Вождь позволил Гитлеру заглотать одну страну за другой и тем самым увеличить военную мощь Германии? Почему мы кормили армию Гитлера нашей пшени-

цей, а не ударили в тыл, когда фашисты вторглись во Францию или Югославию? Нам требовалось время для строительства военных заводов? Что же дала отсрочка?.. Почему тогда немцы появились у стен Ленинграда и Москвы, близ Кавказа и на Волге?..

На эти вопросы нет вразумительных ответов, их и не задают. И хорошо делают. Офицер расценил бы их в лучшем случае как политически незрелые, в худшем – как провокационные. Сталин – гений, а остальное – от лукавого.

Ещё в Бресте я получил письмо от Пети Пруссова. В июне сорок пятого ему повезло: попал домой, в Николаев. Писал о том, как трудно живётся, перемен никаких, люди угрюмы. «Иной раз я жалею, что передумал и не поехал во Францию. Я люблю Родину, но чувствую, что увязаю в трясине мелочных забот, вместо того чтобы учиться, стать полезным, радоваться жизни...»

Я ответил ему горячо и приподнято. «Только сверхличное, только жертвенность поможет нам преодолеть досадные тяготы жизни!» – убеждал я товарища. Забегая вперёд скажу, что он прожил внешне спокойно, преподавал физику, вступил в партию. Меня же судьба повела совсем другими путями...

В конце лета 1946-го года батальон расформировали, и мы переехали в Минск, ещё полуразрушенный. Я попал в 7-й Отдельный батальон по строительству и охране аэродромов, и хотя мы носили голубые, как у авиаторов, погоны с золотистыми крылышками, это был самый обыкновенный стройбат: ни одного лётчика, ни одного аэродрома мы не видели. Шустрые офицеры разыскивали бесхозный строевой лес, штабеля которого мне, например, довелось охранять в Полесской области и который, в конце концов, куда-то отправляли. Напарником моим был Сеня Сахно, жили мы в заброшенном домике лесника.

Осенний высокоствольный лес, и мы бредём, огибая болотца, в надежде подстрелить утку. Когда они несутся над лесом, кто-нибудь стреляет в просвет между кронами. Утка падает далеко впереди, и мы спешим разыскать её. Однажды на нас с Сенькой наткнулась стая одичавших овчарок. Мы знали от местных жителей, что в войну овчарки «помогали» эсэсовцам охранять лагерь. Брошенные при отступлении, собаки разбежались, от голода поедали трупы солдат, а теперь бросаются и на живых. Были облавы, но истребили не всех. Услышав быстро приближающийся лай, мы взобрались на деревья и открыли пальбу. Три людоеда было убито, несколько ранено, и стая с жутким воем рванула обратно в лес.

Комбат вынес нам благодарность в приказе. Майор Кротов – кадровый офицер, рослый, немногословный. Говорили, что службу начал ещё на Халхин-Голе. Ротным капитан Шутов – нервный, подвижный, весёлый человек, а взводом командует старший лейтенант Марцишин – толстый, по-хохлацки упрямый.

Я-таки стал студентом! Солдат тогда принимали без экзаменов, требовались только анкета, характеристика и фотокарточка. Заочно учился я в Московском институте иностранных языков (английское отделение) и Тамбовском педучилище им. Ушинского. Живя в

лесу, заниматься было нетрудно. Когда вернулись в посёлок, стало сложнее: времени не хватало, вечером часто гас свет, ребята посмеивались, иных раздражали мои учебники, тетради, — один умник выискался на весь батальон. Однако учебные задания выполнял, дело шло своим чередом.

В конце сентября меня вызвал командир взвода.

— Труднэнько? — спросил он и тут же добавил, что едет с женой в трёхмесячный отпуск на Украину, а квартиру хочется «доручыгы» мне.

— С комбатом я домовывся. Тэбэ нэ стронут. Займайся соби.

В сенях он показал подвал:

— Тут у мэнэ картофэль. Полтонны. Вари, кушай...

Так я очутился в убранной трофейными коврами офицерской квартире. Всё здесь было немецкое: дорогая люстра над столом с витыми ножками, сервиз с Германом и Доротеей на дне тарелок, даже тяжеловесное кресло с вытисненным на спинке названием фирмы. Книг не было, если не считать школьного задачника Березанской, сборника украинских песен и «Краткого курса ВКП(б)».

Хорошо было принадлежать себе, думать о чём угодно, только не о кубометрах леса; знать, что не услышишь команды: «Подъём! Стройся! Снять рубашки для проверки на вшивость!»... По вечерам приходил иногда Кирилл Шервуд. Мы топили лейтенантскую печку, пекли лейтенантскую картошку и болтали о делах международных. Закончился Нюрнбергский процесс, в Фултоне выступил Черчилль. Речь его положила начало так называемой «холодной войне». Говорили и об армейских порядках. Кирилл всё больше удивлял цинизмом, но я подозревал, что у него чахотка, и относил его раздражение на счёт болезни...

Через полтора месяца, когда мороз сковал болотца, пришёл приказ ехать. Не то в Кировскую, не то в Костромскую область. Вещи Марцишина забили в ящики и погрузили в офицерский вагон, а картошку брать не стали. Тогда мы с ребятами засыпали её в мешки, затащили в вагон, сверху положили доски-нары для солдат, посреди вагона поставили печурку, и поезд тронулся.

Ехали трое суток. Кутаясь в шинельку, я просовывал руку между досками и щупал картофелины: они каменели. Круг тепла вокруг печки был мал, не достигал углов, изукрашенных густым инеем. Но взвод ехал сытым: с утра до вечера пекли и ели марцишинскую картошку. «Всё равно помёрзнет», — приговаривали солдатики. О встрече со старшим лейтенантом я старался не думать.

За Вологдой пошли непривычные названия станций: Буй, Галич, Монаково. Самая что ни на есть глубинная Русь. Приоткрыв дверь навстречу обжигающему морозу, мы смотрели на голубовато-белые сугробы, за которыми чернел вековечный лес: ольха, ель, пихта. Прекрасная и суровая природа лёгкой жизни нам не сулила.

Ночью на станции Никола-Полома поезд стал, посыпались на снег солдаты. В свете станционных прожекторов метались длиннополые фигуры, ревели машины, увозя солдат и батальонное хозяйство. Мешки с картошкой выгрузили на снег. Я кинулся к одному

офицеру, к другому. Им было не до картошки. Тогда я сел на мешки и стал ждать. Часа через четыре подкатил грузовик, а ещё через час мы въехали в лесную деревню Успение. Давно надо было отделаться от картошки, всё равно помёрзла, но хоть такую я должен был сдать комвзвода, и пришлось тащить мешки на чердак двухэтажного кирпичного здания, занятого под казарму. Картофелины гремели, как бильярдные шары.

Несытое было время. Из дома писали, что буханка хлеба стоит 120 рублей. Когда я рассказал Марцишину, что стало с картошкой, он выматерился.

— Та кращэ было б кнуты усю мэбэль, а картофэль збэрэгты!..

А солдаты нашей роты всю зиму варили в котелках почерневшую, вонючую картошку и, кривясь, присаливая, ели-таки...

Есть места на земле, которые покоряют человека своей безусловной красотой. У меня любимый город — удивительный, окружённый таинственными синими вершинами Кавказа город, где прошло детство. Второй любовью стали костромские леса и затерявшаяся в них деревня Успение. Но не сразу я полюбил их, а лишь пройдя через страдную стройбатовскую зиму 1946-1947 годов.

Вспоминая это время, не хочется писать о лесоповале, когда мы, проглотив черпак пшенной каши, весь день по пояс или по колено в снегу на 30-градусном морозе валили лес, выволакивали сосны на дорогу с помощью лошади...

Деревня Успение (15-20 дворов) раскинулась как попало по обеим берегам глубокого ручья. Двери и окна большинства домов крест-накрест забиты, и только в трёх-четырёх дворах шевелились старики и старухи. Они ещё помнили время, когда деревня жила по другому укладу: жители везли в город грибы, занимались отхожим промыслом, уходили в Питер и Москву плотниками, каменщиками, землекопами. В деревне ждали «присылу» жены и дети. Теперь же хозяева домов или перемёрли, или отсутствовали по другим причинам. Над полупустой деревней возвышалась церковь, построенная в XVI веке. В былые времена по большим праздникам из окрестных деревушек и хуторов-«заимок» тянулись сюда богомольцы. Рядом с церковью выстроена была для них двухэтажная гостиница. Теперь в ней поселились мы. Остальная часть роты — в пустовавшем доме священника. Из окон мезонина на снег летели старинные Евангелия, молитвенники, патерики. Мы не знали им цены, не знали даже, что у них есть цена. В церкви устроили механическую мастерскую.

Я в ночном карауле на складе ГСМ — горюче-смазочных материалов. Поверх шинели — тулуп, а в рукавице — листок с английскими глаголами. На морозе потрескивают столбы, а стоять надо четыре часа. (Солдаты шутят: «Что такое часовой?. Кусок мяса, завернутый в шинель и выброшенный на мороз»). Постукивая валенками, хожу по тропинке, вспоминаю стихи, думаю о прошлом, о лагере на Эльбе. Или о будущем. На гражданке меня ждали мать, Зоя, преподавательская работа.

Из деревни бредут разводящий и сменщик. И вот я в караулке, в тёплой, провонявшей портянками избе, стаскиваю шинель и заваливаюсь на горячие кирпичи русской печи. В

конце февраля я заболел дизентерией. Когда через три недели вернулся из Ярославского госпиталя, в воздухе тянуло весной.

Хотя шинель висела на мне, как на вешалке, внутренне я уже готовился к лесоповалу. Старший лейтенант Мелехов рассудил иначе. Этот высокий, сгорбленный, какой-то растрёпанный офицер забрал меня в транспортный взвод — заполнять путёвки водителям, выдавать бензин. Теперь в свободные минуты я мог наверстать упущенное: выполнить контрольные работы, написать письма домой. Но недолго мне пришлось работать с Мелеховым.

В мои обязанности входило и дежурство при штабе батальона в Парфеньеве.

Как-то вышел на крыльцо. Из комнаты, где шло партсобрание, слышались голоса. Неожиданно заговорил комвзвода. Он сидел недалеко от двери, и я хорошо слышал каждое слово.

— Старые коммунисты помнят партийные собрания 1927-го года. Тогда спорили друг с другом, решали всё свободным голосованием. А сегодня, товарищи, мы все скучаем, всё известно заранее, спорить не о чем. Правда никого не интересует. Нас как подменили. Забыто всё, чему учил нас Владимир Ильич...

Мелехова прервал заместитель командира по политчасти капитан Папушин. Я хорошо слышу его сиглтый, злой голос:

— Старший лейтенант Мелехов вспомнил 27-й год. А ведь тогда партия спорила с троцкистами. Мелехов не просто вспоминает, а делает вредные обобщения. Он умышленно забывает, что за эти 20 лет партия прошла сталинскую выучку, стала монолитной, как никогда. Я вот слушал Мелехова и поражался: неужели это говорит советский офицер? Ведь его выступление по сути своей враждебно советскому строю. А товарищ Сталин неоднократно указывал...

Собрание длилось недолго. Закуривая, вышли на крыльцо офицеры. Ссутулившись, быстро прошёл Мелехов: в ротном «газике» ждал наш шофёр. Наутро узнали, что Мелехова ночью куда-то увезли. Транспортным взводом стал командовать старший сержант Спирин.

Ещё один эпизод с Папушиным. Однажды он пришёл в казарму, где дневалили двое ребят, и одному из них, Павлику, указал на портрет маршала Жукова: «Снять! Отнести на чердак!». Солдат опешил: «Не могу. Не смею, товарищ капитан». Через три дня гауптвахты куда-то отконвоировали и Павлика.

На лесоповале надежда на лучшее меня не оставляла. Теперь же, в тепле казармы, за письменным столом, настоящее казалось ужасным, будущее — беспросветным. Даже наша переписка с Зоей почти угасла. В один из очередных приступов хандры написал и преподавательнице, что не вижу смысла в продолжении учёбы, пусть извинит меня за потраченное время... Я перестал спать, лежал, глядя в темноту, и всё чаще приходила мысль о смерти. И тогда, порывшись в чемодане, я извлёк подарок старика Мюллера, завернул в рукав старой рубашки и под шинелью (от греха подальше!) вынес к проруби за деревяней и утопил.

Вскоре события отвлекли от мрачных мыслей. Неожиданно я нашёл библиотеку. От «англичанки» из Москвы пришло ободряющее, сердечное письмо. «В качестве ответа жду контрольной работы», стояло в конце. В довершение всего я чуть не влюбился.

Но сначала о книгах. Они возникли среди бензина, «строёвок», полуголодных обедов, нудных политинформаций, зубоскальства солдат и непрерывной матерщины. Сахно привёл меня к домику на краю деревни. В небольшой комнате с единственным окном, залепленным снегом, по всем стенам стояли книги. Семён сказал, что здесь до революции жил учитель с двумя дочками, они уехали в Питер лет тридцать назад и больше не приезжали. В доме никто не живёт.

Семён ушёл, а я топтался то у одной стены, то у другой, наугад вытаскивая книгу за книгой. Я дышал на замёрзшие непослушные пальцы, разглядывал переплёты, титульные листы. Полные собрания сочинений: от Шекспира до Ибсена, от Пушкина до Чехова. Приложения к «Ниве», и самые поздние издания помечены 1917-м годом. Теперь в свободные часы я читал. Это были пьесы и эссе Уайльда, благородно дерзкий Сирано де Бержерак, увядший в неволе Орлёнок Ростана, монументальный ибсеновский «Бранд» – мир для меня удивительный и новый.

Прошло три месяца. Я полюбил эту тропинку в Парфеньев, эти три километра дикого дремучего леса. Люблю эти минуты за одиночество, за то, что здесь я принадлежу себе да развесистым, прекрасным в своей нетронутости деревьям. Здесь можно остановиться, увидеть небо сквозь хаос ветвей, забыть огорчения и ощутить, что жизнь невероятно многообещающа. Я медленно иду извилистой тропой. Выхожу на опушку леса, и на правом высоком берегу Неи вижу огромный белый собор.

Городок Парфеньев был вполне «тихий, захолустный и банальный». Немощённые улочки в ненастье утопали в грязи, а в жару пустынный пыльный скверик изнывал всеми своими деревцами, которые неохотно росли в окружении домов. В центре сквера был традиционный памятник Ленину. До железной дороги – 24 км, и казалось, что жизнь в городе не движется, что революция прошла стороной, если не считать памятника, Дома колхозника и нашего штаба.

Время было трудное, в буфете Дома колхозника хвост селедки стоил 15 рублей, а 100 г водки – 70. Бабы пекли картофельники, каждая лепешка – 2 рубля. Прохожих почти нет. Бабы, сидя вдоль стены, жмурятся в лучах августовского солнца. А мимо идёт Маша Морозова – заведующая городской библиотекой. Она задумчиво разглядывает картофельники. Ясно, что денег у неё всего ничего. А я досаую, что и я не могу пригласить девушку в ДК, где есть буфет...

За углом – штаб. Офицеры заканчивают работу. У знамени стоит навтыжку солдат. Меня вызывают к начальнику штаба – спокойному строгому капитану.

– Сходите на квартиру к старшине Заплюйсвичке, скажите, что жду его. Живёт он на Ольховской, как раз напротив дома Лермонтова. Любой покажет.

– Лермонтова?

– Выполняйте! – холодно взглянул на меня капитан.

Здесь – дом Лермонтова? Спрашиваю, объясняют, как пройти. Выполнив поручение, стучу в калитку напротив. В ответ – звон цепи и яростный лай. Вхожу во двор, поднимаюсь по узким, кособоким ступенькам, стучу. Дверь открывает востроногая пожилая женщина, смотрит на меня немного испуганно.

– Здесь живут Лермонтовы?

Женщина молча идёт в столовую, я – за ней. За столом без скатерти хлебает щи босой, в расстёгнутой рубашке мужчина. Две девушки, хихикнув, вскакивают из-за стола и скрываются за занавеской. Мужчина кладёт ложку, встаёт. Глядит на меня настороженно.

– Это дом Лермонтова?

– Да, мы Лермонтовы.

Оглядываю комнату. Мебели мало, книг нет, на стенах фотокарточки. Робко спрашиваю, не родственники ли они поэта.

– Не-е, – говорит мужчина, – мы по шофёрской части. – И, передохнув: – Да вы, товарищ военный, скажите, зачем пожаловали. Может, подбросить надо, так мы – мигот... А поет Лермонтов нам не родня. Мы сами по себе...

Как же так? Лермонтов – фамилия редкая, откуда она здесь? Тогда эта загадка казалось мне неразрешимой. Потом я узнал, что всё просто: рекруты нередко записывались под фамилией помещика, которому принадлежали, а один из двоюродных дядей поэта владел в Костромской губернии деревнями...

В штабе сдаю путёвки и сталкиваюсь со старшим сержантом Спириным. Мы с ним на «ты». Спрашиваю, можно ли задержаться часа на три в городе.

– Небось, познакомился с кем? – улыбается он.

Да, с Машей мы почти знакомы. Сегодня я решил превратить это «почти» в знакомство. Обменяв книги, я всё смотрел на её тонкое, зарумянившееся лицо, на гладко зачёсанные, собранные на затылке волосы, и вдруг сказал:

– Я свободен до десяти, Маша...

А она просто ответила:

– У меня ещё полчаса здесь. Мы закрываем в восемь.

Полчаса провёл за газетами. А потом мы гуляли, и по безлюдному скверику я проводил её домой. Было прохладно, уже тянуло осенью. Мы говорили и говорили. Я многое узнал о ней (мать умерла от болезни, отец погиб под Берлином. Кончила библиотечный техникум. Дружила долго с одноклассником, но... Живёт одна).

Я и о себе рассказал немало, и мой рассказ – представить только! – её не испугал, не покоробил. Она только ахала. Рассказывая, думал, неужели судьба? Может, мне такая и нужна, миловидная, кажется, добрая и умная, сдержанная, чуть таинственная, а не самоуверенная и, пожалуй, многоопытная учительница, в переписке с которой мы отделились друг от друга, – и не диво, столько времени прошло! Разная жизнь, разные люди, разное к ним отношение. За полтора года два письма – рассудочных, прохладных. Ты устала, и с

какой стати надо ждать, правда? Встречались на иной планете, в иное время, ушедшее в туманы прошлого. Новые ветры остудили лицо, остудили чувства.

А потом я спешу в Успение. Тропа еле-еле подсвечена луною. Лес мрачен, но вся лесная нечисть — ведьма и лешие — не пугают меня. И напрасно!

В сентябре 1947-го года секретарь комсомольской организации Спирин побеседовал со мной о вступлении в их славные ряды, и я сказал себе, а почему бы нет?! Через три недели состоялось собрание. Солдаты сидели на койках и табуретах, а президиум — под портретом Ленина: комроты Шутов, Марцишин и подтянутый, неразговорчивый начальник штаба, зачем-то прикативший из Парфеньева. Вёл собрание Спирин.

После разговора о текущих делах перешли к приёму новичков. Третьим был я. Рассказал, где родился, где учился, где провёл войну. Ребята сказали, что примерный, мол, боец, хороший товарищ, учится и т. п. Марцишин отметил, что с порученной работой справляюсь, грамотный и сознательный, в политических вопросах разбираюсь... Слово неожиданно попросил начштаба. Я удивился: что мог сказать обо мне он? Оказалось, мог. Что солдат я нерадивый, сидел на «губе» не раз и, наконец, не участвую в общественной жизни подразделения. С принятием меня в комсомол капитан советовал повременить...

После неловкой заминки встал Спирин:

— Проголосуем, товарищи! Кто за то, чтобы принять бойца Ситко в ВЛКСМ?

«За» проголосовали ребята и Спирин, «против» — начштаба и Марцишин. Шутов воздержался.

— Большинство голосов Ситко принят. Поздравляю вас, товарищи!.. Билеты получите через месяц.

Но удостоверения я так и не получил.

Начальство уехало в город, и у нас выдалось свободное утро. пышное северное лето уже тронато увяданием. Скоро хлынут затяжные дожди, избы нахоятся, почернеют, и не будет ничего безотраднее на свете, чем русская деревня в ненастье. А пока ещё можно уйти за древние стены церкви и упасть в густую траву меж запущенных могил, смотреть на цветок или бабочку, слушать жужжанье пчелы... Рядом раскрытый солнечным лучам том Метерлинка, учившего счастьем тех, кому довелось прочитать его.

Пчела всё жужжит. Я смотрю на полусгнившие кресты, на дальнюю полосу леса, слышу тарахтящий в деревне мотор, чьи-то голоса. И в безмолвии бабьего лета, на заброшенном кладбище, у этой древней колокольни, я даю себе обещание — всегда идти дорогой сердца, которое знает, где Добро, а где Зло!..

Маша берёт из невысокой вазочки ромашку и обрывает лепестки. Мы в Доме колхозника. На тарелке — гора картофельных лепёшек. Кутим. На днях я получил перевод от приятеля, у которого умер дядя-старик, завещавший племяннику несколько тысяч руб-

лей, — сумма по тем временам не ахти какая. Мы теперь редко видимся: на дежурство в штаб меня почему-то не посылают.

За окном по-осеннему холодно, слякотно, но нам хорошо. Мы немного выпили, и Маша порозовела, глаза блестят. Ещё четыре месяца, и мы свободны!

«Милый сыночек, — писала мама, — значит, скоро увидимся. Сколько слёз я пролила, пока ждала тебя. Ты пишешь о Маше, что хочешь на ней жениться. А как же Зоя? Что с нею? Года полтора она мне не пишет. Жаль, что так получилось. Я-то считала, что старый друг лучше новых двух. Прости меня, сынок, я не упрекаю тебя. Ты взрослый человек, много пережил, тебе виднее. Я, конечно, всей душой буду рада вам с Машей. Лишь бы она любила тебя, лишь бы сердце у неё было доброе. Нашу квартиру занимают теперь чужие люди. Мне, как одинокой, дали комнатушку, в которой жила слепая Тася. Ну, как-нибудь устроимся. Жду не дождусь февраля...»

Я вернулся на лесоповал. С души спала тяжесть. Не надо общаться с начальством, быть на посылах у штабистов, тревожиться из-за накладных... В одно из воскресений старшина огласил список. Последним — тринадцатым — был я.

— Поедете фотографироваться для Доски отличников боевой и политической подготовки.

Мне почуялось что-то недоброе, и я пошёл к Спирину.

— Сомневаешься, что ты отличник? — весело сказал он. И, понизив голос, добавил: — Тебя внесли в список по указанию начштаба.

Меня сфотографировали не только анфас, но и в профиль. Я постучал к начштаба. Представившись, сказал:

— Меня фотографировали как отличника. Таковым себя не считаю. Тут какая-то ошибка...

— Какой вы боец, решаю не я и не вы, а ваш командир. На стрелковых соревнованиях в Полесской области вы были одним из победителей...

— Разрешите ещё вопрос, товарищ капитан. Зачем снимали в профиль?

— Откуда я знаю, — усмехнулся штабист, — может, ваш профиль понравился фотографу... У вас всё? Можете идти.

В воскресенье, восьмого февраля 1948-го года, я отпросился у Спирина в библиотеку. Утренний лес был прекрасен. У собора я выпрыгнул из кабины, и до открытия библиотеки решил погулять по морозцу. Неожиданно рядом со мной остановился «газик», из которого выскочил старший лейтенант Чекалин.

— Вас вызывает ротный...

— А в чём дело?

— Не знаю, — фальшивым голосом ответил он.

Почему-то ёкнуло сердце... Прикрываясь рукавицей от бьющего в лицо морозного воздуха, мы возвратились в деревню. В комнате старшины вдоль стен неподвижно сидели

офицеры роты. Возле печки я увидел свой чемодан и рюкзак. За столом восседал, перебирая какие-то бумаги, начальник особого отдела батальона. Страшно, когда все на тебя смотрят!.. Фамилия особиста — Беленький, а сам розовенький, надушенный, глаза бесцветные, ресницы белёсые. Голосом негромким и сиплым он сказал:

— А, вот и вы. Я должен задержать вас, произвести обыск и под конвоем препроводить в штаб батальона. Вы меня поняли?

— Объясните, что случилось, — сказал я. — Почему меня арестовывают?

— Вам виднее почему, — бросил он. — Раздевайтесь до белья.

Лейтенант Беленький тщательно прощупал мою шинель, гимнастёрку, заглянул в сапоги, провёл руками вдоль тела...

— Одевайтесь.

В чемодане были книги и тетради, особенно много тетрадей. Конспекты, письма, стихи, рисунки. Особист хватал их, распахивал, бросал, хватал другие, приговаривая почти весело:

— Всё это будет прошито, пронумеровано, проштемплёвано...

Офицеры молчали. В комнату заглядывали любопытные. Особист гнал их. Приехал майор Кротов, подошёл ко мне и, твёрдо глядя в глаза, спросил:

— Вы что-нибудь чувствуете за собой?

Я затряс головой. Что-то дрогнуло в лице комбата. Протянул руку.

— От всей души желаю оправдаться. Надеюсь, вернётесь, ещё послужим вместе...

Ничуть он не надеялся, старый служака, просто хотелось ему приободрить меня хоть словом.

— Эти книги библиотечные, — сказал я особисту, указывая на два учебника и томик Шекспира. — Их надо сдать.

— Можете не беспокоиться, сдадут.

Когда я садился в машину, сбежалась вся рота.

— Не тушуйся, Лёша!.. Держись!..

Кто-то добавил: — Все там будем!..

— Разойдись!.. — выкрикнул Беленький, но Сахно успел сунуть узелок — пачек десять папирос...

Лейтенант сел рядом, а позади — солдат, с которым ещё вчера мы рубили сосны и ели одну кашу. Теперь в руках у него — карабин...

В штабе ждал быстрый краснолицый майор МВД. У дверей комнаты, куда меня ввели, стояли с автоматами незнакомые, не нашей части, сержант и ефрейтор. Майор шушукался с Беленьким, долетали обрывки фраз: «Сухим пайком... Поезд идёт ночью... Ну и поряточки тут у вас!.. Просит воды? Дайте...»

Через час мы выехали на дорогу к станции Никола-Полома. В окне мелькнул заснеженный бульварчик, Дом колхозника, полуоткрытая дверь в библиотеку. «Прощай, Маша!»

На станции нам отвели дежурную комнату. Беленький не отходил от моих вещей. Мне разрешили прилечь на лавку у забитой двери, из-под которой несло морозом. Я

ворочался на узкой доске, урывками соскальзывая в сон, а за столом кутили провожатые: звенели стаканы, мельтешили девки. Я смутно слышал пьяные голоса, визг, хохот, засыпал и опять просыпался, коченея от холода.

В 5 утра – поезд на Москву. Мне дали лечь, и я немного согрелся, уснул. Проснулся, когда в окна бил яркий день, но мысли путались, знобило. Беленький и майор всё спрашивали, как себя чувствую, заставили принять аспирин...

Вечером следующего дня сошли на Ярославском вокзале столицы. Несколько военных быстро провели нас через служебный ход на улицу к чёрной легковушке. Справа и слева от меня сели майоры, возле шофёра Беленький. Долго ехали по блистающим огням улицам, слева мелькнули кремлёвские башни.

Выбравшись из машины, вошли в громадное серое здание и стали подниматься по широкой, укрытой ковром лестнице, и в одном из пролётов чемодан, который нёс Беленький, раскрылся, и вывалились на красные ступеньки мои тетради и книги. Мы кинулись подбирать, и побагровевший лейтенант злобно обматерил меня. Сразу стало весело. Я выпрямился и, улыбнувшись, сверху посмотрел на особиста: ползай, подбирай...

В большой комнате, где позволили сесть, из-за стола смотрел на меня печальными глазами черноволосый майор. Другой майор сидел, покачивая ногой, на чёрном блестящем диване. Тот, первый, сказал:

– Понятно ли вам, где вы находитесь? Здесь контрразведка...

– Понимаете вы, где находитесь? – черноволосый, не торопясь, надрывает пачку папирос. – Вы находитесь в стенах контрразведки.

Пристально смотрит на меня второй майор, тот, что в небрежной позе сидит на диване. Голова у меня затуманена, по телу горячо разливается слабость. Запахиваю шинель, крепче прижимаюсь к спинке стула. Контрразведка? Тогда всё разрешится. Не дураки и не злодеи тут работают, а люди, обязанные «проявить» любую судьбу человеческую. Правда, в нашем батальоне, ещё до меня, были аресты. Ребята говорили, что брали ни за что. Но никто не вернулся. Мы как-то легкомысленно относились к этим арестам. Не меня ведь взяли... Может, пронесёт?... Не пронесло. Теперь взяли меня. Но как некстати я заболел! Говорю об этом майору. Переглянулись, нахмурились, насторожились. Если я тот, за кого они меня принимают, то способен и подохнуть не вовремя.

Идём полутёмными коридорами пустого здания к врачу...

– Температура 39,8... Крупозное воспаление правого лёгкого.

Неделю в госпитале пролежал почти без сознания, но врачи старались вовсю, сбили температуру, погасили воспалительный процесс. На утреннем обходе старший врач, женщина с добродушным и усталым лицом, присела на край моей койки.

– Вы очень ослабли. Няня жалуется, что ничего не ели...

Я спросил, приезжали ли за мной.

– Приезжали, да. Ежедневно. Очень беспокоятся товарищи.

Смотрела на меня понимающе и настороженно.

– Вы что-нибудь чувствуете за собой?

Я покачал головой.

– Ну, разберутся. У вас ещё вся жизнь впереди...

Потихоньку возвращались силы, кормили в госпитале неплохо... По соседству лежал молоденький лейтенантик, которого часто навещала мать. Я попросил у них конверт и бумагу и написал в Николаев, маме. Мол, временно исчезаю, прошу не беспокоиться, всё разъяснится. Мать лейтенанта обещала опустить письмо в почтовый ящик. Письмо моё не дошло: наверно, при выходе из госпиталя его отобрали.

Смотрю на затканное морозом тускло светящиеся окна. Последние дни и ночи на воле...

Выписали досрочно: на лестничной клетке меня уже ждали. И снова за стёклами легковой машины проглядели башни Кремля, снова ковёр широкой лестницы, снова мы в той же комнате. Папиросная пачка «Пушки», пепельница, спички, а рядом на столе – белые руки... Шарят, что-то ищут.

– Познакомимся. Я – старший следователь госбезопасности. Моя фамилия – За-райский. Обращаясь ко мне, говорите: «гражданин следователь».

В теле, иссушенном болезнью, странно легко, в голове ясно, и ясными глазами смотрю на майора. Полноватый, белолицый, аккуратно причёсанный. Глаза – блестящие тёмно-фиолетовые сливы. «Кавказец? Еврей? Может быть. Всё равно», отмечаю равнодушно. Слышу треск распрямляемых листов бумаги.

– Расскажите о своей антисоветской деятельности.

Молчу.

– Итак, в чём проявлялась ваша антисоветская деятельность?

– Ни в чём. Её просто не было.

Майор смотрит на меня, вздыхает, достаёт ручку и закуривает.

– Придётся по порядку. Говорите о себе с самого начала. Где родились, где, так сказать, крестились, как попали в оккупацию.

Между высокими рамами окна – тонкая решётка. За ней снаружи воркуют голуби. Тянется сизоватый дым в форточку. Ползут минуты. Я негромко рассказываю о семье, об оккупированном городе. Волнуюсь, конечно, стараюсь говорить как можно яснее. А он весь – сочувственное внимание. О крюммельском лагере просит говорить подробнее, даты, фамилии. И это настораживает меня.

Вспомнил разговор на геестгахтском кладбище, где отмечали наше освобождение в мае 1945-го.

– Сталин нас, братцы, прямо в Сибирь ушлёт. Никогда не простит, что за границей побывали, пусть даже в руках врага. Не простит! Пусть мы дошли от голода и работы, Мудрый всё равно скажет: вы где жили-то? На той стороне? Что вы там слушали, что

видели, что читали? Одну-единственную газетку прочитал — достаточно, чтоб упечь тебя куда подальше, где дурь эта из тебя выветрится...

Мы, молодёжь, в те сумасшедшие радостные дни не верили в столь мрачный прогноз. Сама природа, ликующая в солнечном свете, была с нами заодно, не позволяя дурным предчувствиям смущать душу. Конечно, нас ждала неизвестность, но мы старались на этом не застревать, мы верили, что всё разрешится, всё устроится. С этой верой переехали из английской зоны в советскую. И нашим надеждам пришёл конец. Сразу же! Было такое! Вместо того чтобы отпустить домой опомниться после лагерей, загнали в армию, бросили на лесоповал...

Глядя на спокойного майора за столом, думаю, может быть, он и впрямь хочет знать правду о пережитом в Германии? И чего стоила советским людям немецкая каторга? Снова рассказываю про Гамбург, Крюммель, Любек.

Темнеет в окне, в круге света от настольной лампы поёт при нажиге перо следователя, неутомимо бегающее по бумаге.

И только когда я начал читать, что он написал, понял, что за человек передо мной, какой злобный крючкотвор, какой ненавистник и злодей в погонах артиллериста (тогда работники СМЕРШа носили какие угодно армейские погоны, только не своего ведомства, о чём я узнал позже), как он старается извратить мои слова.

— Всё ли правильно? — спрашивает он. Отвечаю, нет, неправильно. Он закусывает зубами папироску, откидывается на стуле.

— Что записано не так? Я ведь с ваших слов...

— Хорошо. Вы пишете: «уехал в Германию», а не «нас угоняли». Вы пишете, что мы работали там-то и там-то, и ни слова о том, как мы вредили немцам, уходили в побеги и т. д. Я говорил, что мы сами, добровольно, поехали на родину, а вы пишете, что нас «передали» английские власти. Вы не написали ни слова, что я был в штрафлаге. Почему?.. Ну, и во всём остальном...

— О, я должен написать вам целый роман? В протокол заносится только то, что касается следствия, суть его, а всё остальное — побочные детали, без которых вполне можно обойтись...

— Пишите что вам угодно. И не просите меня подписывать.

Зарайский кривит губы и битый час переписывает своё сочинение.

— А теперь?

Просматриваю и вижу, что вместо чётких ответов моих всё неясно, бессвязно и подозрительно. Подследственный хочет сбить с толку следователя. Подписывать отказываюсь.

В комнату следователя я вошёл утром, а вышел часов в девять-десять вечера. В одном из коридоров у входа на лестницу сопровождающий меня солдат вдруг ни с того ни с сего гаркнул:

— Лицом к стенке... твою мать! Руки на затылок!

Я ведь тоже солдат. На мне шинель, ушанка, погоны, с меня ещё и пояс не снят. Разница лишь в цвете погон: у меня голубые, у него красные. Я не спешу выполнять приказ и вглядываюсь в его заплывшие глазки, в которых мелькает дурашливое выражение. Я поворачиваюсь к стене и получаю в затылок удар кулаком. Стена поплыла перед глазами, и я ткнулся в неё головой.

– Стоять смирно, дура...! Кому сказано: к стенке!

Ещё удар в голову, и я оказался на полу. Он загремел ключом, открыл дверь и крикнул вниз:

– Гарагуля, подь сюда!

Притопал солдат, схватил меня под мышки и потащил вниз по лестнице в коридор с камерами, в одну из которых и бросил на цементный пол. Дверь с грохотом закрылась. В коридоре раздались невнятные голоса и смех. Схватившись за край нар, поднимаюсь и ложусь на доски. Щёлкнул волчок в двери.

– Лежать не положено!

Снимаю шинель, кутаюсь в неё, сажусь. Вонючий воздух, бадья-параша, за проволочным колпачком лампочка над дверью. Накатился подземный гул, превратившийся в грохот, тут же стихший: рядом промчался поезд метро. Так каждые пять минут. Напряжение сменяется тяжёлой усталостью. Сейчас в госпитале готовятся ко сну, тихо ходят медсёстры.

Вспоминаю допрос. Антисоветская деятельность... Следователь изображал скуку на лице, слушая рассказ о товарищах по лагерю, о побегах, о группе Красноталова, о таких немцах, как доктор Шварц. «Мы вас не за это сюда доставили. Нас интересует ваша антисоветская деятельность...» И всё же в глазах пробежала тревога. Не придётся ли извиняться и выпускать? Однако, сколько раз я уже слышал: «Наши органы не ошибаются!..»

В дверь постучали: «Сидеть не положено! Отбой!» Успел еще подумать: то, что на меня накинулся ни с того, ни с сего конвоир, исходит от следователя. Начали «обрабатывать», дали понять, что ждёт в дальнейшем...

Несколько дней без вызовов. Хлеб утром, в полдень жидкие щи, вечером каша. Папиросы ещё есть, но кончаются спички. Попросил у солдата за дверью.

– Не положено.

Через несколько часов стучу в дверь опять. Молчание. Стучу. И в камеру вваливаются трое. Избили что надо, хотя по голове не били, больше по рёбрам...

Зарайский вызвал спустя неделю. Глаза бегают, блестят сильнее обычного, он потирает руки и произносит скороговоркой:

– Получен ордер прокуратуры. Поедете в тюрьму, там вам будет лучше. Вот ваши вещи. Теперь убедились, что наши органы не ошибаются?

У ног его чемодан. Тетради и книги исчезли. На дне скомканное полотенце, зубная щётка, «Прибой» — то, что осталось от папирос после КПЗ. Во дворе переминаются на снегу двое автоматчиков и сержант, железный фургон с жёлтой надписью по всему борту: **ХЛЕБ...**

Итак, я в первой на своём веку советской тюрьме — Бутырки. В ней тепло и оживлённо. На всех этажах что-то постоянно двигалось, гомонило, стучало ключами, топало. Как

на вокзале. Блатные, например, называют тюрьму «Курским вокзалом». И, несмотря на это, казалось, что главное в ней — тишина. Тишина особая — обострённого слуха и ожидания. С первого твоего шага взаимоотношения с тюрьмой определяются чётко: наг родился и наг приходишь ко мне. Никакого философского тумана, ни культуры, но и никакой лжи. Всё, приобретённое на воле в общении с людьми, стряхивается с тебя вместе с одеждой и бельём, и остаётся одна голая суть, твоё открытое, как на ладони, личное «я». Из чего оно, это «я»: из подлости, трусости, доблести, благородства — всё будет проявлено как надо.

С пилотки и шапки срывают звёздочки, крючки вырывают из шинели, срезают с гимнастёрки пуговицы. И со штанов тоже. Чтобы стоять, нужно придерживать штаны руками, и надзиратель советует оторвать от кальсон тесёмки и приладить их к поясу, завязав на животе. Но ты идёшь по рукам. Другие надзиратели приказывают снять с себя всё, и ты стоишь, прикипая ступнями к цементному полу, а они прощупывают по шовчику одежду, заглядывают тебе в рот и вообще всюду. Потом к чёртовой матери летят твои волосы из-под машинки. Потом входят две молодки в сапогах и погонах. Хватаешь штаны прикрыться. Надзирательница, хихикая, вырывает их, а другая говорит: «Ишь, какой скромник!..». Ходят вокруг, рассматривают. Та, что постарше, сержант, заполняет графу «Особые приметы»: «Выше правого колена — наколка: «Гаврош-1944»...

Чего вы только ни насмотрелись в тюрьме! Чьи-то сёстры, чьи-то жёны!

С тесёмками приходится возиться ещё у врача и в бане. Смываешь с себя прошлую жизнь, выходишь пустой и готовый к новой жизни... Тюрьма предусмотрела: хочешь жить или не хочешь — дело твоё, но ты *должен жить*: пролёты лестничные закрыты железными сетками. Приземистый надзиратель невозмутимо вышагивает рядом, стучит по пряжке длинным ключом, оповещая коридоры: «Берегись! Мы идём!» Стучат и впереди — значит, кого-то ведут с той стороны. Надзиратель толкает меня к стене, прикрывает дверью, и я вижу в щель между дверью и стеной: идёт молодой, бледный, в костюме, в белоснежной рубашке...

Тюрьма густо заселена. Звонит ключами, хлопает дверьми, а вдоль камер по ковровой дорожке неслышно двигаются тюремщики — от волчка к волчку. В одном из коридоров мой провожатый остановился, переговорил с коридорным.

— Поднимите руки, — вполголоса сказал он мне. Его ладони прошлись по бокам, ощупывая гимнастёрку и штаны. Ключом из длинной связки открыл камеру 149-ую и жестом пригласил войти. Дверь за мной захлопнулась, задвинулся запор, щёлкнул замок всисячий, скрежеща повернулся ключ в замке внутреннем.

Минуту-другую я привыкал к полумраку, после чего разглядел две койки, между которыми человек в такой же гимнастёрке, как моя, протягивал мне руку:

— Иван Завьялов, — представился он. — Из армии взяли. Тебя тоже?

Видимо, волнуется парень. Лицо бледное, вытянутое, обыкновенное русское лицо. За решёткой в окне поверх досок — узкая полоса зимнего неба. Тумбочка, чайник, две кружки, две миски, стопка книг... От батареи сквозь железную сетку тянет слабым теплом. В углу — кадка с крышкой.

В первые минуты я прямо-таки впал в отчаяние, смешанное с гневом, с желанием немедленно что-то сделать, отчего я заметался взад-вперёд по камере, пока вдруг не понял, что со мной разговаривают.

— Не горюй, друг. Пообвыкнешь. Поначалу и правда сам не свой, а потом вроде так и надо. *Кормют*, в баню *водят*... Закурить есть?

Я выложил на тумбочку пачку папирос, Завьялов закурил.

— Спасибо, друг, а то уши опухли без курева...

Он блаженно затягивается и, откинув голову к стене, закрывает глаза. Никак не могу успокоиться, всё хожу. Окно-дверь, дверь-окно. Всего несколько часов назад я видел из автофургона улицы, полные жизни и движения. А теперь загнан, заточён! За что?!

В тюрьме я пробыл девять месяцев. Поднимался по побудке и, по очереди с Иваном, натирал пол мастикой, что заменяло физзарядку. Становился на поверку, когда входил корпусной с карандашом за ухом. В обширном прогулочном дворе возле башни, в которой, по преданию, сидел Пугачёв, бегал, чтобы не замёрзнуть, по кругу, и, пробегая мимо скучающего выводного, бросал взгляд на песочные часы — тоненькую струйку времени, вмещаемого в 30 минут. Всё это бездумно и равнодушно.

Откидывался со стуком железный квадрат дверного окошечка, и появлялась голова надзирателя. Негромко, чтоб не услышали в соседних камерах, произносил первую букву фамилии кого-либо из нас: «С» или «З», в ответ мы называли полную фамилию. Он сверял её по бумажке и так же тихо говорил: «На выход, без вещей». И я, напряжённый, подтянутый, сосредоточенный, иду вслед за ним по коридорам и лестницам. Или растерянный, охваченный страхом, хотя старался никак не показывать тюремщикам, что я их боюсь. После отбоя в 10.00 накрываю глаза полотенцем (прятать голову под одеяло запрещалось, а свет не выключался всю ночь) и жду одиннадцати, когда из соседнего корпуса доносились крики избиваемых. Там пытали, и тюрьма, затаив дыхание, не спала, слушала... Всегда в одиннадцать. Впрочем, длилось это недолго, минут 15-20.

За что взяли Завьялова? Большую часть дня он сидел на койке, обычно с книгой, Делал вид, что читает, а на самом деле, спал сидя. Как-то рассказал о своём деле. Служил под Москвой и однажды по увольнительной отправился посмотреть столицу. Особенно хотелось увидеть Сталина. Быстро попал в центр и околачивался возле Кремля: на Большом Каменном мосту, у Боровицких ворот и храма Василия Блаженного. Повсюду видел лишь глухие молчаливые стены, пугающие недоступностью. Били куранты, очень красиво били, а из ворот краснозвёздной башни иногда выезжали машины. Как замороженный, пошёл по пустынной площади к Спасской башне. Его задержали. Объяснить толком, что ему надо, не сумел. Поверить, что человек просто хотел увидеть Сталина, не могли или не хотели. Теперь шьют террор. Выясняют, кто завербовал, чьё задание выполнял. Дружки-сослуживцы испугались, показали, что анекдоты про Сталина обвиняемый «травил». На самом деле, какое там, он же из деревни!.. Я Завьялову верил. А следовательно шил дело. И мой сокамерник подписал все...

– И что Сталина хотел убить, и агитацией занимался?

– Что поделаешь? Не признаешься – бить будут, а то и на Лубянку свезут, а там, следовательно говорит, всё подпишешь...

– А так ведь двадцать пять дадут.

– Не, следовательно обещал, что *помене* будет.

Однако обвинения придавали его, двигался сосед механически, нервно оживляясь лишь при вызове на допрос. На прогулке знаками просил у часового покурить. Тот стоял в будке на углу высоченной стены и, случалось, уловив момент, когда выводной смотрел в сторону, бросал во двор пачку махорки, которую Завьялов, вернувшись с прогулки, бережно делил пополам.

Дней через десять, благоухая одеколоном, мой следователь Зарайский спросил:

– Осмотрелись? Бежать не собираетесь?

Это он так пошутил. И, усмехаясь, добавил:

– Не советую. Был только один удачный побег, да и то бежал коммунист.

– Да, Бутырки – настоящая крепость, – поддержал я беседу.

Майор посерьёзней и заметил:

– Наследие царского режима. Тогда тюрьмы строили на века.

– Только первый этаж из старинного кирпича, а три остальных...

Он прищурился и, не то похвалив, не то осуждая, проговорил:

– Вы наблюдательны...

И на этот раз я повторил то, что говорил ранее: о детских годах, об оккупации, о Германии. У следователя была манера: из протокола в протокол переносить одни и те же вопросы в надежде, что где-нибудь «поскользнусь», ответу не так, как отвечал ранее. Теперь я говорил безучастно, коротко. Он записывал. Потом я читал. Протокол мало чем отличался от того, первого, и я его не подписал.

Следователь даже не разозлился и сказал:

– Накличете себе ба-а-льшие неприятности!

В тот вечер опять «дёрнули». Я думал, к следователю, но меня доставили в большую накуренную комнату, напоминающую аудиторию с рядами столов, за которыми сидело множество людей в полковничьих и генеральских погонах, возбуждённых, краснолицых и, как мне показалось, сильно навеселе. Одну стену украшал портрет Дзержинского, бывшего узника Бутырок, другую – Берия в пенсне.

Когда я вошёл, присутствующие замолчали и воззрились на меня. Тут же отвернулись, чтобы продолжить разговоры. Дружно хохотали. Лишь дородный, лет тридцати пяти генерал спросил у меня фамилию-имя-отчество и весело добавил:

– Чудо-богатырь! Долго же мы за тобой гонялись!

Сидящие за столом снова затряслись от смеха.

– Жалоба на тебя есть, – продолжал генерал, – дерзишь следователю, протоколы не подписываешь! Тебя что, шутки шутить сюда привезли? Ну, так знай: все равно сознаешься и всё подпишешь! Не таких обламывали... Понял? – он взглянул мне в лицо неподвижными мёртвыми глазами.

– В чём сознаваться? – спросил я, исподлобья рассматривая военных. Меня, недавнего солдата, поразило, что столько высших чинов заинтересовались моей скромной персоной. Впрочем, скорее удивило, чем поразило...

– *Во всём!* – отрубил генерал. – Ты предупреждён! А теперь иди!

Возвращаясь в камеру, думал: бить будут? И, как Завьялов, «признаюсь» во всём, что придумает Зарайский? Сказанное генералом звучало так недвусмысленно, что я готовил себя к самому худшему.

Книги – верные спутники, верные друзья – выручали в гамбургском лагере, скрашивали солдатчину на родине. И здесь раз в десять дней через «кормушку» в камеру заглядывала бледная темноглазая женщина в чёрном халате. Забирала прочитанные книги и совала взамен стопку других. Однажды попросил принести второй том какой-то книги, первый том которой я возвращал. Захлопнула «кормушку» молча и резко...

Два слова о худенькой темноглазой библиотекарше. Впервые я услышал эту легенду в Бутырке. Говорили, что женщина эта – дочь Фанни Каплан, стрелявшей в Ленина, и, по его просьбе, якобы, оставленной в живых: пусть, дескать, доживёт до социализма и сама поймёт, на кого руку поднимала... Согласно легенде, в тюрьме Каплан родила дочку, в тюрьме дочь выросла и осталась работать вольнонаёмной. Сама Фанни, говорили, во время войны умерла в Иркутской тюрьме. Слышал это в разных местах: в Москве, в Казахстане, в Заполярье... Может быть, чтобы прекратить всякие толки на сей счёт, в хрущёвские времена была выпущена книжонка, автор которой, бывший комендант Кремля Мальков, сообщает, что через четыре дня после покушения по приказу Свердлова самолично застрелил Каплан в кремлёвском дворе, после чего труп её был сожжён.

Библиотека помещалась в здании бывшей тюремной церкви. Раза два меня водили вдоль, и я видел в окнах ряда сидящих девушек в одинаковых чёрных халатах. На столах громоздились груды книг, и каждую нужно было перелистать, каждую рассмотреть. Правила пользования книгами запрещали делать пометки на полях и в тексте карандашом, ногтем, обгоревшей спичкой, вырывать или перегибать листы, вкладывать записки. Разумеется, тюремщиков заботило не состояние книги. Они стремились лишь пресечь попытки заключённых наладить связь между собой и с внешним миром.

На камеру выдавали пять книг. Любых. «Цемент», «Поднятая целина», «Кавалер Золотой Звезды» и всё такое. Редко попадалось что-нибудь стоящее.

Я решил нарушить одно из «Правил». Сэкономив листочек серой бумаги, выдаваемой корпусным на заявления и жалобы (вместе с огрызком карандаша), я нацарапал записку: «Уважаемый зав. библиотеки! Прошу отобрать для камеры № 149 следующих авторов...»

Самое замечательное, что записка дошла до адресата и меня не отправили в карцер. Может быть, записка попала к Зарайскому, может быть, зав. библиотеки распорядился самостоятельно, что сомнительно. Но факт остаётся фактом. О том, что именно в эти дни ввели предварительную запись на книги, я узнал потом, общаясь с обитателями других камер.

У нас было так. Появилась та же неприветливая книгоноша с блокнотом в руке и сказала: «Заказывайте книги». Я назвал несколько. В тот же день после обеда у камеры остановилась коляска, и нам выдали всё, что просили. Наша взяла!

В тюрьме книга была бесценным благом. Растоптаный, измученный узник обретал желанную действительность, а следователи и палачи, папки с лживыми обвинениями и ужасными по своей дьявольской сути протоколы превращались во что-то призрачное, отвлечённое. Это правда, но в этом крылась и некая опасность. При стихийной тяге заключенного к книге, как защите от беды, его постигшей, книга могла «сработать» наоборот, расслабить. Лишь сознательное строгое отношение к чтению превращало книгу в надёжного союзника...

Составлялась тюремная библиотека из конфискованных частных собраний, чьи хозяева погибли в рядах белой армии, ушли в эмиграцию, были расстреляны в разные годы в подвалах ЧК. На титульных листах попадались отпечатки экслибрисов, вензелей, гербов с именами бывших владельцев. Но книги, дошедшие до нас из прежней России, носили и бесовский знак нового времени: чёрные жирные квадраты тюремной печати, чтобы здешний читатель не забывался, и через каждые несколько страниц зловещий уродливый отпечаток вновь и вновь заявлял о себе. И так до последней страницы. Говорили, что в Бутырке нельзя получить лишь одну книгу, в которой описана она, родимая, — это роман Льва Толстого «Воскресение»...

Не странно ли, что в годы, когда в тюрьмах растапывалось достоинство и жизнь человека, заключённым разрешались книги? Одни объясняли это мерой против сумасшествия. Другие — что, по замыслу карателей, изымавших любой клочок бумаги и допускавших книги, последние должны были обезоруживать подсудимого и способствовать «дознанию». О себе скажу, я в немалой степени обязан книге тем, что не спятил тогда и не разбил голову о стену...

Впрочем, были и другие радости в тюрьме. Например, небо над прогулочным двором, иногда солнечное, иногда пасмурное, но всегда родное...

На допросах, то запугивая, то усыпляя мою бдительность, Зарайский твердил: неважно, признаю ли я свою вину или буду упрямыться, судить станут всё равно. «Наши органы не ошибаются», «сюда доставляют людей только виноватых» — повторялось без конца. Если признаюсь, внушал майор, срок выйдет небольшой (годика четыре-пять), а нет — опустят на всю «катушку».

Я не знал, что допросили и продолжают допрашивать моих товарищей, бывших остовцев. Обычно допрашивали в угрожающем тоне (это я узнал позже из протоколов), и

все они: Костя Збукер и Ваня Дубовой в Харькове, Соня Ильина в Курске, Толик Ковалёв в Ставрополе, Петя Прусов в Николаеве начисто отрицали мою вину перед родиной, рассказывали правду о моём поведении. Следователям это едва ли нравилось, но ответы записывали правильно.

Зарайский, несомненно, понимал, что я невиновен, но попавший в «капкан следствия» человек должен был обязательно «признаваться»... (Тогда я не представлял, прости Господи, размеров бедствия, которое обрушилось на страну, не знал, что шёл очередной – который по счёту? – сталинский «набор», и в лагерь хлынул поток рабской силы, в котором я был песчинкой...)

Прошёл ещё месяц, и, наконец, следователь приоткрыл, в чём меня обвиняют и на чём сие обвинение сооружалось. Зачитал показания Зои Брагиной (с нею я дружил в Германии и некоторое время потом переписывался). На первых допросах она, как и все мои товарищи, говорила правду. Но допросы ужесточались, и её нервы не выдержали. Да, показывала она, Ситко допускал антисоветские выпады против политики нашего государства, колхозов и против товарища Сталина. Да, «припомнила» она, однажды я признался ей, что меня завербовали немцы.

Зарайский с важным видом спросил, подтверждаю ли я её показания... Нет, не подтверждаю и требую очной ставки, ответил я. На это он как-то странно отреагировал. Мол, Брагина не сразу «расколосась», её тоже можно привлечь, можно судить, если я не признаю её показания. Что он, торговался со мной, что ли?.. Но мне стало легче на душе. Значит, Зою просто застрашали, заставили клеветать... Вот, значит, из-за чего меня взяли! Нет уж, давайте очную ставку. Пусть подтвердит свои слова в моём присутствии...

Он ругался, то и дело вскакивал с места и, пройдясь по комнате, спрашивал, не хочу ли я снова на Лубянку? При этом говорил мне то «вы», то «ты»... Что ж удивляться, ему было лет 35, а мне – 21. Он нередко пугал меня Лубянкой, как будто костоломов и пыточных камер не было в Бутырке... Я ерепенился и сопротивлялся, но он всё-таки хотел «справиться» со мной самостоятельно, не прибегая к помощи коллег с натренированными кулаками...

Через пару дней спросил, знаю ли я Владимира Почелова. Конечно, знал! Он жил в нашей *штубе*, общительный, но какой-то слишком шустрый. Со всеми в приятельских отношениях, курил сигареты, когда все курили *гольцтабак*, правда, щедро угощал соседей. На вопрос, откуда сигареты, хитро улыбался. Насколько мне известно, никто из-за него не пострадал. Вернувшись на родину, он был арестован как агент гестапо. Допросов (и пыток?) не выдержал, назвал своих, якобы сообщников, таких же, как он, «агентов», в том числе и меня. Притом он оговорился, что меня он только подозревал, но сотрудничал ли я с немцами, он поручиться не может...

На мое требование очной ставки следователь рассмеялся. Да и я тоже. Какая наивность! Захотел очных ставок! Добро бы, работали те в пользу следователя. Он даже заикнулся о моём требовании в протоколе, которого, конечно же, я не подписал. (Забегая вперёд, приведу ещё одни штрих, характерный для моего дела. При знакомстве с ним, перед подписанием 206-й статьи я узнал из показаний остоцев, что в Крюммеле не было

отдела гестапо, что владелец фабрики Баум имел в своём распоряжении лишь фабричную полицию. Это значило, что Почелов оболгал себя и других! И наши доблестные органы проводили людей через следствие и суд, опустив такую «мелочь», как отсутствие гестапо в Крюммеле.)

Но всё равно показания на меня дали двое: Зоя и Почелов. Одной я как будто признался, а другой меня подозревал... И всё. *И всё!*.. Зарайскому осталось только добиться моей подписи, чтобы навесить на меня «измену родине» (ст. 58-а, п. 1).

Дело моё, по тогдашним меркам, было не ахти какое. Обычная, по словам Зарайского, «текучка». Почему же он тратил столько сил, добываясь моего отречения от самого себя? Начались допросы на изнурение: день-ночь, ночь-день. Отпускали лишь поужинать. Я ходил по камере, чтобы вернуть чувствительность ногам, которые затекали от многочасового сидения, и меня снова вели к следователю. И снова — лампа с отражателем слепила мои глаза. Следователя я не видел, только слышал голос из темноты:

— Говоришь, родине не изменял? А в Германии кто был — я или ты? Кто работал на немецкую промышленность? Кто читал газеты, которые фашисты печатали для лагерей? Кто ел немецкий хлеб? Смотрел немецкое кино, когда советский народ воевал?

— И вы воевали?

— Да, воевал. У нас был свой фронт. Обезвреживали шпионов, диверсантов, ловили дезертиров.

Он называл свой кабинет фронтом. Он гордился, что всю войну просидел на боевом посту в тёплом кабинете, в сытости, чистоте и безопасности, и получал за это награды. Сколько же народу он погубил в этом кабинете? А теперь доказывал мне, что я корячился не в немецкой каторге, а чуть ли не в санатории, да еще изменял Родине...

Казалось, лампа просвечивает меня насквозь. По щекам текли слёзы. Я чувствовал, что поддаюсь его «логике»: действительно, немецкий хлеб ел, немецким воздухом дышал, на немцев работал, а народ наш в это самое время воевал... И не давала покоя мыслишка подлая, сколько дадут, если соглашусь со следователем, признаю себя преступником: пять лет? десять?

А тут мрак, толстые стены, день и ночь лампа с рефлектором, незаконные дела, мучители и палачи... И чтобы от них избавиться, нужно лишь признать себя виновным, подписать всё, что сочинит следователь, с выхоленного лица которого не сходило выражение угрозы и садистского удовлетворения при виде моих страданий... Скорее, скорее из тюрьмы! Подписать, пусть отвяжется! Зато там, на свету, дать им бой, и тогда будет видно, чья возьмёт!..

Какая странная и печальная, но вовсе не единичная в те времена история!..

Через одиннадцать лет моё «дело» 1948-го года поднял старший следователь КГБ Коми АССР старший лейтенант Сизов и после проверки состава преступления не обнаружил. А в новое время, до которого я, слава Богу, дожил, время бурных перемен, пришла полная реабилитация. Но меня мало радует это. Я ещё не до конца избавился от тогдашних

тяжёлых мыслей, подавленности и тоски. И тогда я терзал себя рассказием и сожалением. Правда, время показало, что я был слишком пристрастен к себе. Мой следователь, действовавший незаконно, бесчеловечно, уничтоживший, например, дневники и письма, которые я писал и получал в армии, следователь, который «стряпал» дело вопреки фактам, отразившимся в этом же деле, не был уродливым исключением в ряду многотысячной армии уродов в тогдашних «органах». Мой арест и протоколы, которые он вёл, были в порядке вещей. Сколько встречалось мне заключённых, осуждённых на основании самооговора!

Об этом же писала и Ольга Берггольц, прошедшая через все круги сталинского тюремного ада:

*Нет, не из книжек наших скудных –
Подобья нищенской сумы –
Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы.
Как мы любили нежно, грубо,
Как обманулись мы любя,
Как на допросах, сжавши зубы,
Мы отрекались от себя...*

Потом меня почти не вызывали. Ничего конкретного я добавить не мог. Просто не было этого конкретного. И вскоре меня перевели в другую камеру.

Незадолго до этого Завьялов вернулся с допроса в сильном волнении, ходил по камере, странно поглядывая на меня. У двери долго вслушивался в коридорные шумы. Остановившись у тумбочки, еле слышно спросил:

– Слышь, как фамилия твоего следователя?

Покосившись на волчок, я тоже почти шёпотом ответил. И тут Завьялов сказал, что Зарайский его вызывал, сообщил, будто я признался Завьялову, что сотрудничал с немцами, которые меня завербовали, что, если он поможет следствию, ему срок меньший выйдет. Нужно только подписать то, что напишет следователь. Завьялов ответил однозначно: мол, никто и ни в чём ему не признавался и ничего подписывать он не будет. На том стоял до конца, и рассвирепевший следователь приказал увести его.

– Нас теперь разделят. Ты не сомневайся. Одно дело – на себя клепать, а на товарища – ни за что...

Так и вышло. После ужина мне велели собраться «с вещами». Собрать было нечего. С сожалением оглядел камеру. Молчаливо и ненавязчиво прожили мы бок о бок полтора месяца, привыкли друг к другу и теперь вот расходились.

– Прощай, Ваня! Ты – человек!

Дверь загремела. Я крепко пожал Завьялову руку и вышел.

В новой камере было многолюдно, хотя по площади она была как прежняя. Две койки вдоль левой стороны, две справа, одна под окном. Если кому-нибудь захочется прогуляться, остальные должны сидеть, поджав ноги под койки.

Переход в другую камеру был некоторой разрядкой. Теснота действует на психику, и, казалось, трения были неизбежны, но здесь этого не замечалось. Понимали, что не по своей воле толкаемся друг о друга в каменном мешке.

Под окном спал такой же солдат, как и я. Дело его было простое: служил в армии, а родные голодали в колхозе, читал письма из деревни товарищам, конечно, матерился при этом, доставалось властям, и кто-то донёс начальству. Теперь за «клевету на советскую действительность» и «злостную антисоветскую пропаганду» его проводят по статье 58-10. Одутловатый, с нездоровой бледностью, солдат чувствовал себя в тюрьме неплохо: ни строевой, ни чистки оружия или нарядов на кухню! Ешь, спи, и мухи не кусают. Во всём признался. На допросы выходил посмеиваясь: «Вот уж где надымлюсь!»

Совсем другим был московский студент. Тёмные глаза его из-под очков горели мрачным огнём. Он большей частью молчал. Прошло недели две, прежде чем разговорился. Взяли его и товарищей по курсу за нелегальный кружок. Пошерстили и профессоров в престижном институте Международных отношений. Чем занимались? Тем же, чем во всём мире студенты спокон веков: спорили, читали, что-то записывали. Их интересовала политика, социология, история России за последние полтора века. Выводы, к которым они пришли, были ужасны. Костя Кунин говорил, что прокурор так и сказал: «Да лучше бы вы убили кого-нибудь по-уголовному, чем это! И вам, и нам было бы легче! А то — Достоевский!..» Я невольно позавидовал студенту. Человек сидел за свои убеждения, за поиск правды! Именно этого я искал после запойного чтения в 149-й камере. Ибо, как сказал тот же Достоевский, «в тюрьме можно найти огромную жизнь». Встреча с Куниным всколыхнула в душе что-то, что нуждалось в толчке со стороны.

Его соседа, старшего лейтенанта, привёл в тюрьму случай и «недоработка следственных органов», как он выразился.

— Мы были на манёврах, — рассказывал офицер, жестикуюлируя и широкими шагами меряя камеру, — я командовал отделением из трёх танков. Сам находился в головном. Шли вслепую, команды отдавались по радио. Задача состояла в том, чтобы, не доходя трёх-четырёх метров до траншеи, в которой сидел «противник» (младшие лейтенанты, только что из училища), развернуться, пройти вдоль траншеи, тем самым закончить атаку... Идём, ничего не видим, по радио приказали развернуться. Выполняю команду и... Под гусеницей кровь, земля, всё перемешалось... Младшие лейтенантики, только из училища! До последнего сидели эти девять человек, даже когда увидели над собою танк. Думали, что так и надо!.. Хотел застрелиться на месте. Отняли оружие. Техническую экспертизу провели наскоро. Дали пятнадцать лет ИТЛ. Из лагеря я писал, требовал переследствия и новую экспертизу. Теперь, наконец, вызвали. Дело идёт на лад. Лет десять, возможно, скинут

Он не унывал, был самодоволен и ребячлив одновременно, вносил в быт камеры движение, смех, был зачинщик игр в домино, шахматы. Из картонных и спичечных коробков с помощью хлебного мякиша искусно строил домики, хоромы, церквушки, а однажды сотворил даже Спасскую башню. Побелил её зубным порошком, и она украсила нашу

темницу, словно видение из другого мира. Лейтенант был художник. В один из обходов башню заметил начальник тюрьмы.

— Красивая штука, — сказал полковник, — но ей не здесь место, а у меня на письменном столе. Взять! — кивнул надзирателю. — А ты церкви лепи, а башни кремлевские не трогай! — приказал он напоследок, рассудив, что нечего вражескому отродью баловать с символом советского государства.

Каждый понедельник в Бутырке работал продовольственный ларёк. Заключённый, имея на лицевом счету деньги, мог заказать хлеб, повидло, папиросы, зубной порошок. У меня ещё в прежней камере кончились деньги. Мы с Завьяловым давно сидели на махорке, входившей в рацион арестанта. Родственники москвичей — офицера и студента — присылали деньги постоянно, и папирос соседям хватало. По пятницам москвичам приносили и передачи: булки, конфеты, яблоки. Всё делилось поровну на всех. Я даже решился послать небольшую передачу Завьялову.

Один из надзирателей показался мне добродушнее других. Если надо было вызвать дежурного офицера или корпусного, он делал это без недовольства. Разговаривал вежливо, даже с ноткой сочувствия, *шмонал* для виду, но едва я попросил его передать папиросы и батон в 149-ю, он и разговаривать не стал. Когда я вернулся с допроса, прежде чем открыть камеру, он с упрёком сказал:

— Человек культурный, а не понимаете, при всех нельзя о таком просить. Народ разный есть и среди ваших. — Понизив голос, он быстро прибавил: — Послезавтра оставьте под подушкой. Уйдёте на прогулку — я отнесу вашему земляку...

Как радуется заключённый участию со стороны таких же, как он, обездоленных! Но встретить его в надзирателе? Меня до сих пор изумляет, что он поверил мне. Ведь и «среди наших», по его словам, «народ разный есть». Надзиратель очень рисковал. Но простые люди узнают друг друга при самых мрачных режимах, они добрее и мягче инстинкций, которые вырабатываются для них.

По утрам я стал заниматься зарядкой. Настоял на этом танкист. Как старшему по возрасту ему подчинилась вся камера:

— Жизнь продолжается, братцы кролики, — поучал он нас. — Вам ещё понадобятся силы. Двигайтесь, не спите днём и не берите ничего в голову. Я вот ни о чём не думаю...

Как-то он получил яблоки. Высыпал на одеяло и стал, как бы играя, перебирать их. Некоторые отложил в сторону. После ужина раздал по два яблока.

— Без команды не есть, — таинственно сказал он. — И следить за дверью.

Пройдясь по камере, оглядел нас и, смеясь глазами, тихо произнёс:

— Взять по яблоку. Взяли? Так вот, братцы кролики, сегодня у меня день рождения, 36 лет стукнет. Устроим сабантуйчик. Раз, два, три! Яблоко съесть!

Некоторое время в камере слышался хруст. Потом каждый почувствовал приятное головокружение. Заблестели глаза, потянуло на беспричинный смех. Тут же все догадались: в яблоках был спирт! Настоящий! Танкист всё объяснил. Накачивают его в яблоко

медицинским шприцем. Отверстие заделывается. Запаха никакого. В яблоке средних размеров вмещается почти пятьдесят граммов спирта. Под хмельком мы вели себя дисциплинированно, не забывая про волчок и бесшумных тюремщиков. Старший лейтенант пустился в воспоминания, рассказывал, как жил на воле, как бесшабашно относился к жизни, любил выпить, любил женщин. Называл имена известных киноактрис, с которыми были интрижки. Привирал, наверное. А, впрочем, кто знает. Нам тогда стало всё интересно... Но спирт разбередил раны, на душе было мутрно и больно.

Именинник поведал нам и о лагере: ничего, жить можно, если, конечно, ты не на общих работах. Он устроился художником, жил не в бараке, а в кабинке среди фанеры и красок.

— Главное, ничего не бойтесь!— говорил он. — Жизнь продолжается...
Да, знатная была разрядка. Сабантуй вышел на славу!

Не без волнения вспоминаю ещё одного обитателя камеры. Это был худощавый молодой человек лет двадцати трёх в потёртом, но ещё приличном костюме, за которым он особо следил. Держал себя незаметно, тихо, старался всем уступить и услужить. По ночам, когда не спалось, я знал, что и он не спит, тяжёлые вздохи доносились с его постели. На подъёме вскакивал первым, нервно улыбался, старался быть, как все. Но он не был, как все. Это чувствовалось.

Не знаю, почему именно мне поведал Юрий свою историю. Присел на мою койку и полушёпотом рассказал всё. Не помню его фамилии (кажется, Иванов) и из какого он города, Ярославля или Костромы, но рассказ его запомнил.

Брат, рассказывал Юрий, воевал, а он работал по броне на заводе. Жил с матерью, всего не хватало, мать на толкучке торговала зажигалками, портсигарами, которые он изготовлял. Кое-что перепродавала. Её заметила милиция. Особенно взъелся начальник милиции района. Раза два сажал её как спекулянтку. Юрий терпел, терпел, а потом решил проучить мента. За две буханки хлеба выменял трофейный пистолет, и, спрятавшись в развалинах, проследил начальника в пустынном переулке, дважды выстрелил в него. Милиционер упал, Юрий бросился бежать. Нет, тот не был убит, только притворился мёртвым. Потом стал появляться в их районе с провожатыми.

К тому времени вернулся из армии брат. На груди медали, трижды ранен. За бутылкой водки Юрий поведал, как они с матерью мыкали горе. Расплакался брат. Полез в чемодан, порылся, нагрузил чем-то карманы, Юрию подал «вальтер» и сказал: «Пошли, покажешь, где живёт начальник». Был вечер, темно... Квартира начальника примыкала к отделению милиции, возле которого дежурил «газик». Окна были открыты, ярко освещены, братья услышали смех, голоса, звуки патефона. Оказалось, что, как на грех, у начальника собрались гости: местный прокурор с женой, два-три офицера с жёнами, были и гражданские лица. Брат сунул Юрию какой-то предмет: «Ну, давай!» Это была противотанковая граната. У Юрия дрогнули руки. «Эх, ты! — сказал брат. — Смотри, как фронтовики бросают. Ложись!» — крикнул он, и взрыв потряс здание.

Братья не бежали, нет, просто быстро шли, оглядываясь, перебегая от дерева к дереву и отстреливаясь. По тревоге были подняты милиционеры. Вслед за братьями, включив фары, пошёл грузовик. Стали стрелять по фарам. В перестрелке брата ранило в голову. Юрий, приподняв его на колено, отстреливался, пока подкравшийся милиционер не оглушил его сзади прикладом...

Теперь следствие шло к концу. Юрию предъявили снимки того, что наделала граната, и он потерял сон. Все, кто был в столовой, погибли. Остались живы жены начальника милиции и прокурора, отлучившиеся на кухню за очередным блюдом, их только контузило. У братьев была очная ставка. Старшего принесли на носилках из лазарета. Они ни в чём не запирались. Дело осложнили пули, выпущенные Юрием по главному милиционеру. При обыске ведь и пистолет был найден. Это значило, что преступление было задумано давно, а не являлось следствием выпитого, на что они ссылались.

Вот так погубили себя братья, бывший фронтовик и бывший слесарь.

— Что теперь будет! — шептал Юрий. — Что будет! Расстреляют обязательно, ведь так?

Я не знал, что отвечать. А он всё шептал себе:

— Вышку отменили, но всё равно боюсь. Нас в живых не оставят...

Чем всё кончилось, не знаю. Знаю лишь, что в 1948-м году смертной казни в нашей стране вроде бы не было.

— ... А какие ещё видел фильмы? «Дети капитана Гранта»? Черкасов там гениален! Паганель — это на всю жизнь!..

В камере тихо. Только что отобедали щами с черпаком каши. Танкиста и Иванова увели на допрос. Федька-солдат прилёт поспать, а Костя подсел ко мне на койку. Между нами — шахматы, но вполголоса говорим о другом, вспоминаем пионерлагеря, книги, товарищей, войну, оккупацию...

— Помнишь песню Дженни «Я на подвиг тебя провожала...»?

— Из фильма «Остров сокровищ»? Конечно...

Детство наше оведали гуманизм, уважение к человеку, любовь ко всем народам. Но рядом творились дела подлые, ужасные. Рядом мучили и расстреливали. Мы хотели быстрее стать взрослыми, мечтали о революции на всей земле. А начинать надо было с собственной страны, с наших вождей, с 17-го года...

Глаза Кости за стёклами очков разгораются мрачным огнём.

— На каких дрожжах выросла такая система, такие нелюди? Мы ели отравленную пищу, и пора ответить на вопросы: кто виноват? и что делать?..

Говорилось это лихорадочно, сбивчиво, но падало на благодатную почву. Появлялись просветы, намечались пути. А он говорил и говорил:

— У нас с чего началось? С чтения. В одиночку, потом вместе. Что нам вдальбивали в школе, в институте? Настоящая, «умная», так сказать, история начинается с 17-го года. А до того шли сплошь одни безобразия, и правили Россией тысячу лет дураки и параноики.

Непонятно только, как и почему возникла в стране культура, музыка, живопись, литература, философия, появились учёные с мировыми именами. Случайно или закономерно? Достоевский здорово нам помог. Его «Бесы» и «Карамазовы», «Дневник писателя». Следователи и прокуроры ничего не могут понять в нашем деле, но чувят, чувят угрозу самой советской системе. Был на допросе начальник следственного отдела, полковник. «Целыми страницами - говорит, — ваши поделники шпарят из Достоевскому. Надо бы его запретить печатать...» Что же это за страна, где гения ставят вне закона!..

Разговор сбивчивый, лихорадочный. А Костя продолжал:

— Россия! Они бы и Россию закрыли! Знали ли мы, что, начиная с 60-х годов девятнадцатого столетия, она крепла, мужала, развивалась? И что мы, вообще, знали об интеллигенции? О том, как шла она в народ, заводила читальни и больницы в самых глухих местах? О том, что в начале века в России было столько художников, сколько во всей Европе, вместе взятой? Да, в России был суд присяжных, независимые от правительства, от государства университеты, свободная пресса. Последнее двадцатилетие в ней действовали полтора десятка политических партий и профсоюзов.

Я вклинил в этот дифирамб вопрос:

— А цензура? Была она?

— Да, была. В цензорах у нас числились, между прочим, Тютчев и Гончаров. Всё, что появлялось замечательного на Западе, моментально переводилось на русский, как это было, к примеру, с «Капиталом» Маркса. После Германии Россия была второй страной, где его опубликовали. Хм, цензура! Во время войны Подвойский писал Ленину в Цюрих: «Шлите статьи! Пораженцы отныне печатаются в России свободно!» Где ещё это могло произойти? В три дня англичане артогнём разрушили Дублин, стоило ирландцам зашевелиться. А во Франции демонстрация под социалистическими лозунгами разогнана пулемётами.

— Да ведь шла война, Костя!

— Именно! Германия должна была стать на колени, и выручить её, впрочем, ненадолго, могла лишь катастрофа в России. Через год Европа и Америка праздновали победу и мир. Все праздновали, кроме России, где ещё четыре года шла братоубийственная война... Какая несчастная страна!..

Я свёл речи Кости в монологи, на самом деле мы не раз спорили, но большей частью я молчал — по привычке не перебивать старшего.

Война со следователем, плохое питание привели к тому, что за полгода ястал доходягой. Тот самый пожилой надзиратель как-то сказал:

— Вам бы врача... Скажите корпусному, он запишет.

На следующий день меня вывели в коридор и велели снять гимнастёрку. Молодая врачиха сразу сказала, что надо в больничку, в Пугачёвскую башню...

— А книги там дают?

Она удивилась: Конечно, дают. После ужина я простился с соседями по камере. Надзиратель повёл меня, но шли недолго, и этажом ниже попали в какой-то другой,

странный мир. После грязно-кирпичных стен общей тюрьмы с её вечными сумерками контраст был разительный: стены голубые и белые, двери без кормушек. Впрочем, в каждой двери — маленький глазок с заслонкой, но даже надзиратель, и тот в белом халате, под которым угадывались погоны. Иногда над той или иной дверью загоралась синяя лампочка, и дежурный, заглядывая в волчок, тихо переговаривался с сидящими внутри. Я помылся в ванной, надел свежее бельё и светло-жёлтый халат, и надзиратель пустил меня в одну из камер. Дверь за мной закрылась.

Я отвык от нормального человеческого жилья, от нормальной пищи. Война для таких, как я, как бы не кончалась, и солдатские условия мало чем отличались от лагерных и тюремных. Поэтому-то я так удивился, очутившись в камере с выбеленными стенами и ярко освещённой. На окне шевелилась занавеска, полуоткрывая решётку, за которой не было даже «намордника». Вдоль стен на двух пружинных кроватях аккуратно лежали одеяла с пододельниками и пуховые подушки. Вместо параша в углу стоял стеклянный сосуд.

В камере был человек. Когда я вошёл, он отложил книгу и поднялся. Среднего роста старик лет 60-62. Седые волосы обрамляли розовую лысину, а сквозь пенсне в золотой оправе смотрели насторожённые и цепкие глаза. На нём был шёлковый халат и мягкие шлепанцы.

— Добро пожаловать, — ответил он на мое приветствие отчётливо, как это делают иностранцы, и добавил: — Полотенце повесьте на спинку вашей кровати, а миску и кружку — на тумбочку (эта тумбочка тоже ваша).

Я сел на табурет, он тоже. Черты лица его, по-стариковски мягкие, дрогнули в улыбке:

— Давайте знакомиться, молодой человек. Кто вы? И почему здесь?

Я коротко ответил, что я солдат, и, хотя — в тюрьме, никакого преступления не совершал. Он кивнул.

— А вы кто? — спросил я.

— Ну, во-первых, я немец. Во-вторых, — не пугайтесь, пожалуйста, — генерал. Отставной генерал.

Он задумчиво, изучающе смотрел на меня, потом спросил:

— Приходилось ли вам слышать фамилию Цейс?

Да, я слышал про цейсовские бинокли, всемирно известные, знал, что существует фирма Цейса.

— Нет, фирмой руководит мой брат, — продолжал старик. — Я профессор медицины, возглавлял вам, возможно, и неизвестный, но зато очень известный в научных кругах Тропический институт в Гамбурге (если память не изменяет, он сказал именно «Тропический институт»). Во время войны в моём ведении были тыловые госпитали всей Германии. Моё имя — Генрих-Людвиг, но русские коллеги обычно называли меня Андрей Львович. Можете обращаться ко мне как вам будет угодно.

Я пересел на кровать. Итак, я узник немецких лагерей, ненавидевший немецкий мундир больше всего на свете, нахожусь теперь в одной камере с гитлеровским генералом!

Случайность? Или это сделано по указанию моего следователя? Причём генерал прекрасно говорит по-русски. Он, кажется, сказал «русские коллеги»?.. Кто же они были, эти коллеги, Власов, что ли?! В первые минуты даже захотелось вызвать корпусного, потребовать перевести в другую камеру.

Но жизнь к тому времени уже сделала меня фаталистом: нужно сначала оглядеться, ничему не удивляясь, принимая всё, что ни посылает судьба. А тут сколько можно было узнать от немца о нацистских заправилах! Он встречался же с ними? И где он научился русскому языку? Когда и почему арестован? Более важной персоны я не встречал за эти полгода тюрьмы...

— Что вы читаете? — спросил я, чтобы разрядить затянувшееся молчание. Он с готовностью ответил:

— «Казачьи» Льва Толстого. Мой любимый писатель.

Русского писателя он называет любимым...

— Простите, а где вы научились так хорошо говорить по-русски?

Он улыбнулся.

— О, это долгая история! Я говорю и на других языках: французском, английском. Я знал их уже в детские годы. Чем больше человек знает языков, тем легче ему изучить новый. Русскому научился позже, перед Первой мировой войной. Мне приходилось бывать тогда в России, и, знаете, Россия меня покорила. Её народ, её литература стали мне родными. Во время голода на Волге я был там вместе с немецкой санитарной миссией Красного Креста. Мы много тогда поработали, у меня появились русские друзья. Знание языка всегда помогало... — Он грустно улыбнулся: — Но не сейчас. Сейчас это осложняет моё положение.

Мы опять помолчали. Затем я сказал:

— Может быть, потому что Германия напала на нас?

Лицо его напряглось, на нём выступили красные пятна.

— Это было величайшее несчастье, — сказал он жёстко. — Вина лежит на Гитлере, на его окружении. Всё в Германии подчинялось им. Немецкий народ пострадал не меньше других народов от этого безумия. Но я служил народу всеми силами, всеми знаниями, всей душой. Я медик, при любом режиме я выполнял бы свой долг, лечил бы раненых.

Всё это я уже слышал в Германии после крушения рейха. И я сказал ему:

— При Гитлере, господин генерал, вы занимали высокий пост.

— Высокий пост! Я учёный, у меня было имя, были заслуги перед нацией. Среди моих друзей, молодой человек, — Свен Гедин, Нансен и Амундсен. Естественно, что мне поручили это дело — дело спасения людей. И, пожалуйста, не называйте меня генералом. Я уже давно просто человек...

Итак, я делил камеру с бывшим немецким генералом. Меня в неё всунули, и пришлось как-то общаться с необычным соседом. Да, недавно прошла по Европе страшная война. Остро жива была память о патологической жестокости, с какой немцы обращались с

завоёванными народами. Только время могло затянуть эти раны, напомнить, что немцы были разные: от молчаливо протестующих до героев сопротивления. Я уже тогда пытался смотреть на немцев более терпимо, с пониманием, что ли, — мой опыт общения с ними в Германии был весьма разнообразным.

Прошёл июнь, потом июль 1948-го года. Поначалу было неловко, но камерное житьё сближает: дышишь одним воздухом, выходишь на один и тот же прогулочный двор. Если напарник вежлив и уступчив, и на том спасибо. Важно как можно меньше мешать сокамернику. Я привык к Цейсу, с ним было нетрудно. На допросы меня не вызывали, его тоже. Жизнь в тюрьме свелась к чтению и воспоминаниям. Изредка беседовали о прочитанном. На прогулке я бегал по квадрату вдоль стен, а Цейс медленно ходил взад-вперёд посреди двора. Вечером, устав от чтения, разговаривали. Мало-помалу я узнал его историю.

Из Западной Германии его выкрали. Около года назад однажды он отдыхал на пляже, километрах в 15-ти от Гамбурга. Жена, дети, внуки радовались прекрасной погоде, купались, болтали о том, о сём и о плохом не думали. На шоссе остановилась машина, четверо прилично одетых молодых людей направились к Цейсам. Это были немцы, они представились как сотрудники института и сообщили, что в Гамбурге проходит совещание учёных (были названы имена), которые просят Цейса немедленно приехать к ним. «Мы отвезём вас туда и доставим обратно». Ничего не подозревая, Цейс согласился.

По дороге его отключили, стянув шею полотенцем с его же плеча. Пришёл в себя лишь в Потсдаме, в советской контрразведке. Сказали, что направляется в Москву. Был водворён в Бутырскую тюрьму. За что и почему, не имел представления. Первые месяцы не вызывали, а он ждал каждый день, что вызовут и все недоразумения развеются. Вёл себя смиренно, пока не понял, что ещё немного — и сойдёт с ума. Стал стучать в железные двери, требовать начальство. Через три дня в камеру вошёл офицер и на вопрос, почему его никто не вызывает, чтобы объяснить случившееся, ответил, что ему ничего неизвестно и что обязательно вызовут.

Тогда Цейс заявил, что находится в одиночке два месяца и не ручается за свои поступки. Офицер обещал передать его слова по начальству. На следующий день в камеру внесли койку с постелью и втолкнули старого-престарого еврея с длинной бородой, в руках у него был средних размеров туго набитый мешок. Вскоре выяснилось, что это запасы еды, он то и дело развязывал мешок и подкреплялся, но это мало помогало: он страдал расстройством желудка, то и дело взбирался на парашу. Общения не получилось. Цейс считал, что старика ему, немцу, подсунули специально. Через несколько дней он возопил и пригрозил наложить на себя руки. Старика спешно «выдернули», и его место занял студент, общительный и весёлый. Цейс вздохнул свободнее.

Тут его, наконец, вызвали к следователю, который сказал Цейсу следующее: «Вы проводили медицинские эксперименты в своём институте, занимали высокое положение во время войны, и нам хорошо известно, что участвовали в подготовке бактериологической войны. Это первое. Второе обвинение: в 1921-м году в Поволжье вы не столько помогали голодающим, сколько проводили шпионскую работу в пользу Германии». Всё

это Цейс отверг, не подписал протокола допроса. Вызывали его ещё два раза, допросы вели спокойно, без нажима. А недавно была очень интересная встреча с тремя генералами. Один из них, наверное, старший, предложил Цейсу работу по руководству советской лабораторией, снабжённой самым лучшим в мире оборудованием и с неограниченными средствами. В распоряжении Цейса будут помощники любого научного уровня. Цейс думал, что его хватит удар. Конечно, и слышать об этом не хотел! Вернувшись в камеру, по совету студента, написал жалобу на имя Берия.

— Прошло девять месяцев. Жена, дети, внуки не знают, что со мной. Месяца три назад перевели в больницу. Дают «генеральский паёк» (масло, сахар, печенье), на кухне готовят по заказу, но я потерял аппетит и ничего почти не ем...

Вот примерно то, что я запомнил из рассказа Цейса. Я спрашивал его о многом, например, видел ли он Гитлера. О, трижды — на совещаниях генералитета. Какой он был человек? Ярко выраженная психопатическая личность, однако действовал на окружающих гипнотически и был прирождённый оратор. Мог нести несусветную чушь, но так, что у слушателей дух захватывало. Он стал диктатором, и в этом беда Германии, Европы, его личная беда. Он думал, что он Заратустра, но этому противоречило то, что Гитлер глубоко ненавидел людей. Не только евреев, или французов, или русских, но и немцев, даже ближайших помощников. Его ближайшими сотрудниками были одни подонки.

Знал ли генерал о концлагерях и зверствах в Германии?

— Кто этого не знал! — воскликнул он. — Протестовать? Не хватало духа. Весь народ как помешался. Одиночек сминали. И не у всякого поднялась бы рука ударить в спину сражающимся на фронте...

Я рассказал о своих приключениях в Германии, в Гамбурге, о немцах в тылу, противодействовавших режиму. Их было немного, но всё-таки они были.

— Кровавый, бессмысленный, подлый — разве не таким был фашизм? — приставал я к нему. Он покачивал головой и виновато, как мне казалось, моргал. Только один раз выдержка изменила ему, и, блеснув пенсне, он проронил:

— А что, Сталин лучше? Вот вы сидите здесь — о чём это говорит?

Вопрос по существу, но противно, что задавал его немецкий генерал.

Такие беседы у нас получались нечасто. А в общем, за время, проведённое в этой камере, я почувствовал себя лучше, даже немного поправился. Следователь вызвал раз-другой, не скрывая, что следствие идёт к концу. Кормили хорошо, регулярно приносили на подносе рюмки с рыбьим жиром: пей, сколько хочешь... Старик Цейс не раз, открыв тумбочку, предлагал масло, печенье.

Однажды я попросил библиотекаршу принести «Фауста» Гёте. Увидев книгу, Цейс воскликнул:

— О, если бы это было по-немецки!

— За чем же дело? Закажите — принесут на немецком.

Цейс с радостью перелистывал книгу. В былые дни, говорил он, не расставался с

карманным «Фаустом», читал всюду, куда бы ни забрасывали превратности войны, а на полях ставил дату и место чтения. Чисто немецкая черта.

Однако время шло, и со стариком творилось что-то неладное. Он снова затосковал. В послеобеденные часы не раскрывал книги, а медленно бродил, шаркая шлепанцами, по извечному маршруту: окно-дверь, дверь-окно. За решёткой на выступе стены копошились воробьи, и это тоже волновало Цейса.

— Это дети мои, их души, навещают меня. Я их понимаю. Они рассказывают про свои дела, успокаивают меня, — сказал он однажды без тени улыбки, и холодок пробежал у меня по спине.

На лестнице, по которой спускались в прогулочный двор, я брал его под руку: так неловко ставил он ноги, будто собираясь рухнуть на каменные ступени. С другой стороны старика поддерживал надзиратель, которого заключённые называли просто Лёвой. Это был тихий человек, что-то робкое было в его повадке. Не помню, чтобы он хоть раз сделал нам какое-нибудь замечание. Во дворе стоял возле песочных часов так, чтобы не видеть нас, предоставляя нам полную свободу действий. Он ни разу не поторопил нас с возвращением в камеру. Надзиратели были народ отборный, и Лёва являлся странным исключением.

Однажды дверь распахнулась, и в камеру ввалилось человек пятнадцать военных. Мы с Цейсом оказались буквально прижатыми к стене. Запахло одеколоном, коньяком. Два генерала — высокого роста, краснолицые, за ними полковники, майоры. На меня не смотрели, взгляды устремлялись на сокамерника.

— Ну как, Цейс? — спросил один из генералов. — Как жизнь?

— Жизнь моя кончена, господин генерал, — чуть слышно ответил Цейс, глядя на генеральские пуговицы.

— Что это ты духом упал, Цейс! — трубным голосом сказал генерал. — Нечего тебе духом падать! Понял?

— Кончена моя жизнь, господин генерал, — повторил Цейс.

— Ну, уж это позволь нам судить, — «пошутил» генерал. Сопровождавшие расплылись в улыбках. Затем дверь открылась, и все ушли. Мы остались одни.

— Вы этого генерала видели когда-нибудь? — спросил я.

— Нет, никогда.

Мы помолчали.

— Зачем приходили они? Так просто они не заходят. Что бы это значило? — спрашивал Цейс, шаркая по камере.

Утром после завтрака вошел корпусной старшина.

— Цейс! При поступлении в тюрьму что было на вас из одежды?

— Вот этот халат, белый летний костюм и полотенце. Меня арестовали на пляже, господин начальник.

Корпусной озабоченно поразмышлял о чём-то и вышел. Через полчаса надзиратель вызвал Цейса в коридор. Напротив двери лежала груда костюмов, рубашек, галстуков.

Через некоторое время Цейс появился на пороге камеры, одетый в слегка помятый, но приличный костюм стального цвета. Воротничок рубашки стягивал чёрный галстук. На ногах лакированные туфли. Он был неузнаваем, выглядел стройнее и моложе, но от волнения едва держался на ногах.

— Прощайте, друг мой... — пролепетал он. — Видите, как меня вырядили. Всё чужое. Сказали, что уезжаю... Наверное, к самому Берия... Я прожил с вами прекрасные дни, незабываемые дни. У вас доброе сердце, юноша...

— Давай, Цейс, поторапливайся! — вмешался надзиратель.

— Ну что ж, обнимемся, друг мой... — На глаза Цейса навернулись слёзы. — Как у вас говорят, не поминайте лихом... — сказал он и скрылся за дверью.

Я остался один. На кровати его лежала недочитанная книга, но камера опустела. Человек ушёл в неизвестное. Больше я его не встречал.

Через неделю, когда Лёва выводил меня на прогулку, я тихо спросил:

— Цейс в тюрьме?

Он сделал большие глаза, ничего не ответил, но после прогулки на одной из лестниц прошептал:

— Его здесь нет.

— А где он?

Лёва пожал плечами.

Наконец-то и меня вызвали к следователю. Обычно мы с охранником поднимались двумя этажами выше и длиннейшим коридором шагали в следственный корпус. Теперь спустились вниз, в подземелье. Освещения не было, отовсюду несло пронизывающей сыростью. Ноги разъезжались в чём-то скользком. Такими туннелями располагали, наверное, средневековые замки и тюрьмы. Надзиратель включил карманный фонарик и велел мне идти впереди. Отбрасывая длинную колеблющуюся тень, спотыкаясь о неровности почвы уходящего во мглу sklepa. Я старался угадать, зачем повели в туннель. Уж не расстреливать ли?! «Так вот где таилась погибель моя!»...

Но мы всё шли и шли в прыгающем круге света, и, признаюсь, что-то сжало горло, стало трудно дышать... Приказывал себе не робеть, но мало ли что можно себе приказывать? Я напрягал все силы, чтоб не упасть. Шел, отсчитывая про себя минуты, когда вдруг впереди забрезжил свет. С каждым шагом свет становился ярче, уже стали различимы склизкие стены подземелья, уже можно было понять, что это дневной свет. Я невольно прибавил шаг. Наша дорога выходила к перпендикулярно поставленной высокой башне, в которую мы вошли и стали подниматься по узким железным ступенькам вверх. Там нас ждала площадка с железными настилами вместо пола и железная дверь с волчком, в который и заглянул мой провожатый.

Я глубоко вздохнул: вот какие катакомбы тут имеются! Позже старые зеки подтвердили, что меня вели через «расстрельное место». И рассказали о технике расстрела, когда в поднимающегося по лестнице человека стреляли из скрытого отверстия в стене, он

падал, железные настилы раздвигались, поглощали жертву, снова сдвигались, и со всех сторон помещение обмывалось струями воды, готовя место к следующей «операции».

Надзиратель открыл дверь, и пошли знакомые коридоры с пролётами в стальной паутине. Через несколько минут я был уже в кабинете следователя. Опустившись на табурет, встретился взглядом с глазами врага своего. Он натянуто усмехался: после подземного перехода, с бьющимся сердцем, с вытянутым и насторожённым лицом, я выглядел, наверное, не лучшим образом.

— Сегодня заканчивается наше дело, — сказал Зарайский, — вы ознакомитесь с ним и подпишете 206-ю статью.

Всё стало понятно. Проводя через подземелье, меня психологически готовили. Больничка, досуг, хорошая пища — можно было и подзабыть, кто я и где я. Спуск под землю вносил существенную поправку.

Майор велел придвинуться с табуретом к столу, открыл сейф и положил передо мной папку с бумагами. Над ней он корпел и мучил меня полгода. Выкладывая «Дело», его руки дрогнули. «С чего это он так волнуется? — подумалось мне тогда. — Уж не честолюбие ли крючкотворца заговорило?» Впрочем, набив руку на протоколах, он всё-таки писал малограмотно. Поначалу я исправлял ошибки, но он так смутился, что вмешиваться в его писанину расхотелось...

Нет, причина беспокойства была более важная. Я мог заупрямиться и не подписать 206-ю статью. Досталось бы, в конечном счёте, и ему (за недоработку, невыполнение плана, срыв графика), и мне («поволокли бы по кочкам», и взвыл бы, как те, кого истязали по ночам в бутырских или лубянских кабинетах).

Тревога его была напрасна. И незачем было пугать меня подземельем. Всё было решено мною: избавлюсь от следствия любым путём и выйду на суд «с открытым забралом». Я перелистал дело, кое-что прочитал, иногда удивлённо и горестно качал головой или улыбался. Несмотря на старание майора, любому, заглянувшему в дело, стало бы ясно, что шито оно белыми нитками.

Я подписал 206-ю статью.

Через неделю меня выписали из больнички и перевели в камеру общего режима. Кончилась моя жизнь в чистом воздухе. Ещё через неделю я расписался на бумаге, гласившей, что дело моё передано в московский военный трибунал. И всё. Прошёл месяц. Днём ещё как-то можно было жить. Уборка камеры, получасовая прогулка, обед, чтение. Странная вещь — время. Каждый отдельный день тянулся бесконечно, а в общем, время исчезало незаметно. Не успеешь оглянуться — прошла неделя, а там — вторая, смотришь — месяца как не бывало.

Хуже было по ночам. Вытянувшись на жёсткой койке и накрыв глаза полотенцем, я не спал. Сон, когда, по словам поэта, «безумец утихает, как дитя, и узнику освобожденье снится», ушёл от меня. Мучила мысль, что страдаю ни за что. Осознать, увязать обстоятельства жизни, моё прошлое, стремления и мечты я никак не мог. Всё ухнуло в пропасть.

Человек попал под обвал. Или за борт судна, или под колёса автомашины. Кто виноват? Судьба? Значит, существует неминуемое, промысел, рок. Бог или Его антипод? Борьба между Добром и Злом? За что было ухватиться затравленному человеку в ночи XX столетия, когда торжествуют подонки и бесы?

Тюрьма жила и ночью. Звякал ключ, кого-то куда-то вели, приводили. Я косился из-под полотенца на мутный свет лампочки за проволокой, на тумбочку, где стоял чайник, лежала стопка книг. Закрыть глаза опасно — наваливалось прошлое... Повешенный с балкона вниз головой пожилой мужчина в оккупированном городе. ...Мать подаёт на стол лепёшки из прокисшей пшеницы. ...Убийцы в чёрной форме гонят нас на кладбище в земле Шлезвиг-Гольштейн. ... Поёт в бараке над Эльбой девушка. Лагерная песня на мотив «Брызги шампанского»... А теперь отреклась от правды, от того, кого любила, от самой себя! ... Вдоль ограды кладбища сквозь ночь несётся эсэсовец. Я поднимаю руку и стреляю. Он падает. Рядом весёлый голос: «Зер гут! Теперь — айда в лес, братва!»

А это что? Полутёмный зал кинотеатра. Напудренные парики XVIII века, шпаги. И музыка: «Сказки венского леса». Это Геестрахт, игрушечный городишко в 30 км от Гамбурга — от дымящейся груды битого кирпича. Лето 43-го...

... А это — в краю поэтов и красавиц, в кисловодском парке, где у нас, мальчишек, вигвам, и перья в волосах, а под охапкой травы — стрелы. Впрочем, это было слишком давно, и какая чистота вокруг, и внутри — голубое сияние!

... Оно сменилось тёмным небом над люнебургским лесом, где я прячусь, откуда слежу за обрывками быстро несущихся туч...

Я вскакиваю, тру себе уши. Я чувствую себя духовным калекой, клеймённым войной, чувствую, что сердце моё в шрамах, память — минное поле, куда забираться не стоит... Миллионы погибли. Но миллионы остались жить. Неужели все обречены нести груз прошлого? А прошлое — что оно такое? Подводные сумерки, нереальный, расплывчатый мир, куда невесть откуда падают световые столбы, и ты видишь, как обманчиво колеблются дома и церкви, руины, мимо которых, как в замедленном танце, движутся двуногие серые существа.

Знакомые лица: русские, немцы, французы, наконец, англичане, освободившие нас от кошмара гитлеризма. Я вижу себя подростком, высоким, худым, длинноногим, вечно голодным, но достаточно выносливым, чтобы потом, уже на нашей стороне, выдержать тысячекilометровый поход в строю и лесоповал на севере Костромской области... И всё же, всё же, несмотря на то, что тюрьма меня приморила, я готов к новой жизни, что бы она ни несла. Я знаю, что в лагерях будет не до книг, оттого и читаю, запасаясь впрок, всё самое замечательное, что могла предоставить бутырская библиотека. Это не так уж мало для человека, которому едва исполнился двадцать один год.

Два месяца спустя воронок промчал меня по Москве и остановился у входа в большое здание с колоннами. Едва я вошёл на первую ступеньку, как два дюжих молодца в гимнастёрках заломили мне руки назад и буквально взнесли вверх по лестнице в само здание. Там

мы пролетели ещё одну лестницу, свернули в длинный коридор, по которому с деловым видом бегали взад-вперёд, как заведённые, какие-то люди в костюмах и при галстуках, с папками и портфелями в руках. Впрочем, были и в мундирах, но бегали все одинаково, не обращая ни малейшего внимания на то, что мимо них два вертухая волокут человека.

Я был доставлен в маленький пустой зал. По случаю жаркой погоды окна были открыты. Несколько скамеек стояло в зале, одна из них – за перегородкой. Это была моя скамейка, на неё я и опустился, а мои провожатые встали позади.

В глубине, на небольшом возвышении, стол, обтянутый красной материей, а за ним – во всю стену портрет Сталина, на фоне которого, примерно на уровне живота генералиссимуса, я не сразу разглядел бюстик Ленина.

В окна доносился шум улицы: шаги, голоса, смех, редкие автомобильные гудки. Там буйствовала зелень, синело небо, там была воля. На мгновение мелькнула сумасшедшая мысль рвануться к окну и закричать на всю улицу:

– Люди! Караул! Спасите!

Но в эту минуту в зал вошёл человек. Он потоптался на месте и, неуверенно, но сочувственно улыбаясь, направился ко мне. Хрупкий, очень бледный, он протянул руку и скороговоркой сказал:

– Здравствуйте. Моя фамилия – Юдков (или Юдкин?). Меня назначили вашим адвокатом. Сообщили только что, и, натурально, ваше дело я не смотрел. Не можете ли вы в двух словах объяснить суть его. В чём вас обвиняют? Ещё есть минут десять, если не ошибаюсь.

Он был одет в тёмно-синий костюм, и в запавших глазах его я видел смущение. Ему предстояла трудная задача – защищать человека, не зная дела. Я ему не сочувствовал. И только сказал:

– Дело – сплошная липа. Я ни в чём не виноват. Буду требовать переследствия с другим следователем.

– В чём вас обвиняют?

– 58-я, 1-а.

– Измена родине... – сказал он озабоченно. В это время стукнула дверь, и он быстро добавил: – Держитесь, молодой человек. Что сможем – сделаем.

Сзади меня один из охранников громко произнёс:

– Встать! Суд идёт!

Я поднялся, а Юдков отошёл в центр зала. В занавесе за портретом генералиссимуса открылась дверь, и появились трое военных. Они степенно прошли за стол и уселись. Откуда-то возник юркий лейтенантик, присевший к тому же столу, но сбоку. Адвокат, опустившись на первую попавшуюся скамейку, воззрился на судий. Я тоже сел. Осанистый майор, перед которым лежало моё дело, сказал, глядя в окно:

– Заседание трибунала Московского военного округа объявляю открытым.

И принялся читать. Я уловил лишь, что фамилия председателя трибунала – Верёвкин. Потом спросил у меня мою фамилию, имя, отчество, место и время рождения и

сверился по бумаге. Всё совпадало. Спросил, признаю ли я себя в предъявленном мне обвинении виновным. Я ответил, что нет, не признаю. Теперь уже они все устались на меня.

— Почему не признаёте?

Я стал говорить. Голос у меня зазвенел. Я сказал, что родине не изменял, следствие велось не по правде, в деле нет никаких уличающих меня материалов, а те, что есть, — лживы. Я требую переследствия и более честного, следователя. Слушали меня насупившись. Потом защитник в более обтекаемых выражениях попросил «высокий трибунал» назначить следствие. Председательствующий качнулся головой к сидящему справа, к сидящему слева и произнёс:

— Ходатайство защитника Юдкова трибунал отклоняет. Подсудимому предоставляется последнее слово.

Я стоял и молчал. И молчал, наверное, довольно долго, потому что нарушил молчание майор:

— Подсудимый, почему молчите? Вам предоставляется последнее слово.

Я ответил:

— Мне нечего прибавить. Я всё сказал.

Майор кивнул:

— Трибунал удаляется на совещание.

Они вышли. Адвокат быстро подошёл ко мне. Уголки его рта поддёргивались. Он старался меня успокоить, но я почти не слушал. Впрочем, я был признателен ему: он поддержал моё требование. Об этом я ему сказал.

Подхватив под мышки, вертухаи помчали меня в бокс — продолговатый ящик, поставленный «на попу» и обитый клеёнкой. Я сел и закурил. И увидел на клеёнке, а там, где она было ободрана, и на стене — буквы и цифры. Люди царапали свои фамилии и сроки — для сведения идущим на смену.

Едва выкурил две махорочные самокрутки, за мной пришли. В зале мы остановились у стены почти рядом с дверью. Члены трибунала уже стояли за столом. Председательствующий Верёвкин откашлялся и негромко сказал:

— Оглашаем приговор.

Не спеша надел очки, поднял бумагу и начал чтение. Я услышал только начало: «Именем Союза Советских Социалистических Республик...» и конец: «...приговорил к двадцати пяти годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях и к пяти годам поражения в правах с конфискацией всего имущества».

Верёвкин опустил бумагу на стол. Наступила мёртвая тишина, прерываемая лишь гудками машин за окном.

— Подсудимый! — вдруг сказал он. — Почему вы улыбаетесь? Вам ясен приговор?

Я не ответил. Он пожал плечами, закрыл папку, и они гуськом скрылись за портретом Сталина. Возле меня топтался, что-то говорил и жестикулировал адвокат. Я заставил себя прислушаться к его словам.

—... Я напишу, напишу, — говорил он, — только и вы напишите, иначе вас отправят в лагерь... Не теряйте надежды. Я сегодня же напишу. (Через много лет при разборе дела я узнал, что Юдков выполнил свой долг и опротестовал приговор. Во времена террора он, образно говоря, играл с огнём).

Вертухаи доставили меня к воронку. Курносый весёлый солдат с погонями войск МВД спросил:

— Сколько?

— Двадцать пять.

Он развеселился ещё больше.

— Во дают! Теперь только и знаю, что вожу двадцатипятилетников. Хоть так, хоть этак, двадцать пять никто не отсидит.

При возвращении в Бутырку то же самое повторил обыскивающий надзиратель. Он немножко удивился, что *четвертак* дали ни за что. Среди тюремщиков и эзков ходила поговорка «ни за что — десять дают»... После *шмона* (только для порядка) повели в корпус, в котором я ещё не сидел. Год назад, как только в Лефортовской тюрьме казнили генерала Власова и его штаб, смертную казнь официально отменили. В камеры смертников стали запирают получивших «на полную катушку», или *четвертак*, т.е. 25-летний срок. Двери камер выходили в наглухо замкнутый квадрат коридора, где электричество тускло светило круглые сутки: окон в коридоре не было. Один вид коридора нагонял тоску. Воображение рисовало картины последнего ухода людей — в небытие.

Камера смертников была более удобна, чем камеры следственного отделения. Окно без намордника, рамы открыты настежь, и свежий воздух свободно поступал в камеру. Отсутствовал едко-аммиачный запах параши. Вместо неё — стульчак и бачок с проточной водой. До отмены «вышки» койки и столики, видимо, убирались и закреплялись в стене специальными замками. Теперь на них лежали матрацы, а на столиках — шахматы, книги, посуда. Стены выбелены, а не вымазаны грязно-бурой краской. Окно выходило во внутренний двор, сквозь движущуюся листву деревьев краснело кирпичное здание церкви.

В камере было три человека. Сухонький быстрый старик в коричневом свитере жестом как бы пригласил меня:

— Женили? Двадцать пять? Ничего-о, ничего-о... Тут все такие. Располагайтесь, юноша, поудобнее.

Протянув худую жёсткую ладонь, он с ухмылкой представился:

— Степан Степанович Фёдоров. В миру был художник. Пострадал за искусство. С кем имею честь? Судя по всему, вы солдат?

Познакомился и с двумя другими: полный низкорослый и вялый белорус — шахтёр в грязной телогрейке и резиновых сапогах («прямо в шахте и загребли», подумалось мне) и сельский учитель с украинским акцентом, который повёл на меня недобрый, каким-то цупающим взглядом.

Через день-два я несколько попривык к новому месту и сокамерникам. Выполнив просьбу адвоката и отправив жалобу, я совершенно освободился от всяких забот. Оставалось только ждать, постепенно узнавая новых знакомых.

Я так и не понял, за что получил срок учитель. Судя по отрывочным репликам, кто-то где-то «подсидел» его, члена партии, и здесь он оказался по недоразумению. Предполагалось, что остальные, — по делу. Так, по крайней мере, следовало из его поведения. Он-то учил детей истории, свято веря в партийные установки, «Краткий курс» и Сталина. По вечерам они со стариком, начав с какой-нибудь мелочи, спорили, старику изменяло его обычное добродушие, оба горячились и злились, но доказать свою правоту в беспорядочном споре было трудно. Спорили о наболевшем: о коллективизации, религии, о Ленине и Сталине, о феврале и октябре 17-го, о том, как жили при Николае и как теперь. По мнению учителя, весь мир был неправ, а партия была права всегда и во всём.

— Ну, что ж, в таком случае, правильно она, твоя партия, тебе, дураку, намотала срок! — запальчиво отвечал старик.

Белорус, привалившись спиной к стене, с изумлённо-глуповатым видом слушал их, я тоже старался не пропустить ни слова. И правда, не знаешь, где потеряешь, а где найдёшь. Люди, извергнутые из общества, утратившие физическую свободу, за решёткой обрели вдруг свободу слова. И если старику было легко (критиковать всегда легче, чем защищать, особенно советскую власть), учителю приходилось туго. Он спорил против очевидности, но спорил отчаянно и, по-видимому, искренне отстаивал свои взгляды, ибо, лишившись их, он оказался бы один на один с непостижимым хаосом действительности, безо всякой опоры внутри и вне себя. Оставалось умереть, но не сдаться. В его положении виноваты отдельные зловредные люди, пробравшиеся на посты, чтобы вредить, а ни в коем случае не партия, не государство, не система.

Шахтер Петя просто и бесхитростно поведал, что в оккупации служил в полициях. Не добровольно, конечно. В партизанах был его младший братишка. Немцы, прознав об этом, арестовали отца с матерью, сестру и его, Петю. «Или всех расстреляем, — сказали ему, — или пойдёшь служить в полицию». Петя согласился, и родных выпустили. Нет, ни одной души он не погубил, хотя, правда, на облаву на партизан выезжал с другими полициями, стоял в «заграждении». Он растерянно моргал красноватыми веками в белёсых ресницах и говорил:

— А послушайте, братцы, что было, когда наши пришли. В полициях я был два месяца, тут подошёл фронт, все они намылились за немцами, а я остался. Ну, взяли меня наши. И ещё одного словили. Привели в штаб. Старший лейтенант там был, спросил то да сё. Потом, говорит, садитесь, где стоите. И приставил к нам бойца. Привалились мы к стенке, сидим. Люди ходят, все военные, на нас глядят. Кто, мол, такие? Вдруг приказ пришёл им сняться, идти дальше, на запад. Один спрашивает про нас: а их, мол, в штаб армии, что ли? Старшой подумал и машет рукой: не с кем, говорит, отправлять, в расход их пускайте. В расход так в расход. Два бойца выводят нас на крыльцо. Один говорит: «Во-он воронка от бомбы, видите? Ну так вот туда марш...» Что ж, идём. Шагов сорок было до воронки. Яма

аккуратенькая, широкая и по глубине порядочная. Песочек жёлтенький. Пока здесь штаб располагался, на той стороне воронки уборную кое-какую из досок и фанеры слепили. Весь тот край был в дерьме. Ноги меня не слушают, удивляюсь, как я их переставлял. Иду, на это дерьмо смотрю и прощаюсь с белым светом. У края ямы остановились. Бойцы уже затворами клацают. В ту минуту стукнула дверца уборной и выходит майор, застёгивает штаны. Видит всю картину да как заорёт: «Что делаете, мать-перемать!» Солдатик отвечает, что в штабе велели изничтожить эту полицейскую гниду. Ну майор и понёс их! «Самосуд, значит? Немедля снарядить подводу и отправить в штаб армии!...»

Петя широко улыбнулся, поморгал и сказал:

— Тут нас отвезли в СМЕРШ. Влепили по десятке. Работал я на шахте, здесь, в Московской области. Четыре годика на отвале вкалывал. В чём втыкал, в том и спал, вот в этой телогрейке, сапоги ещё выдавали, рукавицы. Кормили чем? Да всё то же: баланда, каша. Хлеб добавочно давали за перевыполненную норму. Показалось начальникам, что срок у меня «детский», привезли сюда, пересмотрели дело, судили и дали четвертак... Братишка добывался, чтоб меня освободили, да не помогло. Тут хоть отмылся немножко да отоспался...

Учитель слушал Петю с пренебрежительной миной на лице. Когда тот кончил, сердито двигая шеей, сказал:

— Тоже скажешь, ни за что сидишь?

Петя опустил глаза, задумчиво развёл руками и ответил:

— Сижу-то за дело, но...

— Что, они ума там лишились, те, которые такие срока дают? — быстро заговорил старик. — Посудите сами, юноша, можете себе представить: мне 73 года. И сколько вы мне отмерите на житьё? Ну, три, ну, самое большее, четыре годика. Так эти чокнутые дали мне все двадцать пять! Анекдот? Хочешь — не хочешь, живи, отбывай! Спросите, за что? Я художник, портретист. С молодых лет ничему другому не был обучен, только портреты с людей рисовать. Этим на хлеб зарабатывал, кормился. До войны все больше героев гражданской войны и стахановцев писал. На жизнь хватало, и детей в люди вывел, внуки у меня хорошие растут. И разве виноват я, что наверху прошляпили, позволили немцу пол-России отхватить? Оккупация, голод, толкучка... Кроме сахара, ничего не достать. Попробовал малевать этюды, пейзажики. Не идут. Людям не до картинок было.

Жил у нас во дворе на постое немецкий офицер, из интендантов вроде... Кто-то ему и скажи, что я портреты умею делать. Зачастил он ко мне, всё просил написать с него портрет. В военной форме и при всех регалиях. Мне и так противно на него глядеть, а тут стой, рисуй. А он каждый раз портфель жратвы тащит. Ну, посоветовался я с женой, плюнул и в два-три сеанса написал офицера. Эх, уж он доволен был. Портрет, в самом деле, вышел ничего. Мы, художники, знаете, народ кичливый. Я, как обычно, возьми и распишись на холсте, отчётливо: Фёдоров и дата: 1943. Запаковал немец портрет, отправил семье в Германию, а вскоре уехал куда-то. И забыл я эту историю... Ну, в конце войны, когда наши достигли-таки Германии, в одном брошенном доме портрет этот попался на

глаза чекисту. Удивительный случай! Поначалу ничего особенного: немецкий офицер — с орлами и крестами. Да вот привлекла внимание фамилия русская в уголочке. Портрет переправили в Москву. Начали розыски. Представляете, идёт война, а взрослые серьёзные люди чем занимаются! Сколько городов было под немцем и сколько Фёдоровых, а надо было найти только один город и одного Фёдорова — портретиста! Более важных дел у них не было? Три года искали, три года! И нашли. Большое государственное дело сделали: нашли старика, уже песок сыплется, и дали ему двадцать пять лет!.. Живи, пожалуйста!..

Как рассказать о томительных тюремных вечерах, насторожённой тишине в коридоре, о шуме ветра или дождя за окном! День с его несложным распорядком кончился, всё переговорено, шахматы надоели, и осталось ждать отбоя в 10.00, а пока каждый сидит сам по себе, читает или плетёт свои невесёлые думы.

И вдруг во дворе кто-то запел. Мы подняли головы, переглянулись. В однообразии дней и вечеров каждая мелочь — событие. Женский голос выводил бесконечно грустную мелодию, очень русскую, но с цыганской окраской. Голос то удалялся, то становился ближе, проникая в сотни выходящих на двор окон тюрьмы. Болезненная страсть, молодость, горестное раздолье... Учитель выпрямился и сидел, положив руки на колени, в неестественно-напряжённой позе. Старик художник, задрав голову, не отрывался от сгущающейся темноты в квадрате окна. Фраз не было слышно, отдельные слова: «тройка», «любовь-злодейка», «ветер», «снег»... Петя рукавом грязной телогрейки закрывал глаза.

Видно, одна из зечек гуляла до отбоя и весь час пела. Никто её не прерывал, не уводил, не наказывал. Следующим вечером она вновь была на прогулке и пела, и так — неделю, и каждый задавался вопросом: будет ли петь сегодня?

Была ли певунья-невидимка Лидией Руслановой, как иногда приходилось слышать в лагере? Не знаю, вряд ли. И кто позволял ей гулять допоздна и петь? Сами тюремщики с разрешения высокого начальника? Песни были разные: знакомые и вовсе незнакомые, но тоскливые, как жизнь наша. Её голосом как бы пела сама тюрьма, все мы, изолированные, придавленные нечеловечески тяжкими приговорами, молодые и старые, у которых отняли свободу, а теперь постепенно отнимали здоровье, жизнь...

Самое, пожалуй, страшное состояло в том, что в битком набитых камерах каждый был одинок. Когда-то у революционеров были общие идеалы, организации, средства и традиции борьбы не только на воле, но и в тюрьме. Везде они чувствовали плечо друг друга. Это происходило в другой России, в другой жизни. За тридцать советских лет всё изменилось неузнаваемо... Спайка или своеобразная организованность была лишь среди уголовников, среди блатных. Политические же осваивались в одиночку, потом уже нащупывая пути к себе подобным... Изоляция была настолько продумана, что за девять месяцев пребывания в тюрьме я видел только девять заключённых, хотя тюрьма кишела ими.

Ещё два-три случая нарушили однообразие нашего существования. Несколько дней подряд к нам стучали из соседней камеры. Стучали с перерывами, осмысленно. Учитель, чтоб отделаться, отвечал двумя-тремя ударами кулака, но сосед за стеной не унимался. Так же терпеливо и ритмично утром, днём и вечером он выстукивал что-то своё, выстукивал на авось: вдруг кто-то поймает его сигналы и ответит. Учитель, чья койка была привинчена к этой стене, не выдержал, стал считать удары, запоминать буквы, складывать слова. Стучали примитивно, по алфавиту. И после утомительно долгого прослушивания мы разобрали слова: «Харьковские есть?» Учитель тем же способом ответил: «Нет». Обмен «телеграммами» состоялся. Это вдохновило на изобретение более простого способа передачи слов. Участвовали все трое. Сократив алфавит до 27 букв за счёт тех, которые можно заменить, горелой спичкой нацарапали табличку из 27 клеток. Приписали цифры сверху и сбоку, буквы поместили в клетках по алфавиту.

Перестукиваясь внутри камеры на книжных переплётках, опробовали новый способ. Оказалось намного удобнее прежнего. Своей придумке радовались, как дети. Мы не знали тогда, что точно такую азбуку изобрёл впервые декабрист Михаил Бестужев, а потом её заново открывали для себя народовольцы.

Надо было передать таблицу соседу. Энтузиаст перестукивания, каким стал учитель, потратил на передачу нового способа целый день. Проявив незаурядное упорство, цели своей он достиг. Через день можно было получить от соседей какие-то сведения. Мы узнали, что их двое, из Харькова и Пятигорска, у каждого по *четвертаку*. Сосед отстучал вдруг: «Маршал Тито изменил». У него был, наверное, источник новостей. Вскоре по перестуку мы узнали, что умер Жданов. Перестукивание не имело особого смысла. Мы скорей скрашивали, как могли, наши будни. И когда камера рядом не отозвалась (обитателей её перевели или отправили на этап), мы не очень-то расстроились.

Расскажу об одном ночном происшествии. Отбой. Тишина. Ночные шорохи. Только где-то далеко звенят ключи, открывается или закрывается дверь: уведят, приводят... Изредка донесётся паровозный гудок. Как будто всё спокойно. Но это обманчивый покой. Вдруг в отдалении возник и тотчас же оборвался рёв сирены. Поднимается какая-то возня, кто-то куда-то пробежал, раздались тревожные голоса. Кто-то, скорее всего, надзиратель, тяжело топя сапогами, прокричал другому:

– Убили! Убили!

Мы посбрасывали одеяла и кинулись к окну. В дверь постучали:

– По местам! Лежать тихо!

Много лет спустя, вспоминая со старым зеком 1948-й год и пребывание в тюрьме, я упомянул об этом эпизоде, переположившем тюремщиков. Он невесело усмехнулся и рассказал, что в ту ночь находился в самом центре случившегося. В корпусе, где он сидел, были общие камеры, каждая на 15-20 «мужиков» (на воровском жаргоне – не блатных зеков). В их камере были и блатные, несколько воров. Сам он был мужик и с блатными не водился. Среди политзеков камеры находился один фраер, инженер по канализации,

впрочем, осуждённый по бытовой статье. Блатные всё гомонили про побег, но как ни прикидывали, признавали, что «из такой кичи не уйдёшь». Даже если пройти коридоры и лестницы, что уже фантастично, даже если выйдешь из корпуса, существуют внешние глухие и высокие стены, а на них часовые. Инженер к ним прислушивался и вдруг сказал: «Вы меня, ребята, только во двор проведите, а я вас выведу за пределы тюрьмы». Блатные обсели его. Оказалось, несколько лет назад он проводил канализацию в тюрьме и запомнил расположение люков и труб. Договорились, стали копить толчёный кирпич, выдаваемый в камеру для чистки посуды. «Я это видел, но мне и в голову не приходило, для чего они это делали», — признался Н.

Вывести инженера во двор они задумали бездарным и, главное, подлым образом. Видел же инженер, с кем связывается! За месяц набрали чайник битого кирпича. Этим ограничилась вся их подготовка. Однажды после ужина, выпуская зеков на opravку, надзиратель упустил из виду, что не вынесли и не опорожнили парашу. Его сменил другой надзиратель, немолодой и покладистый, в общем, отзывчивый человек. Характерно для блатных: где тонко, там и рвать. Чем добрее человек, тем удачнее можно провернуть свой план. Ну, ясное дело, после отбоя параша потекла, в камере лужа. Блатные подняли хипиш, накинулись на зека, дежурившего в тот день по камере, стали стучать в дверь, просить выпустить в уборную. «Никак нельзя, не положено», — убеждал их через дверь растерявшийся надзиратель, который и сам видел, что бадья течёт. Туда-сюда, в общем, открыл он камеру. «Два человека, выносите», приказал. Подхватив чайник, за ними внаглую увязался третий: «Водички наберу». Итак, в коридор к надзирателю вышли трое блатных. Не успел он закрыть камеру, на него обрушился чайник с тёртым кирпичом. Блатные сорвали с битого связку ключей и спрятали труп в хозкамере среди наваленных кучей матрацев. Крикнули в камеру: «Пошли!». Как и следовало ожидать, железная дверь с решёткой из коридора была закрыта. Едва вставили ключ, повернули в замке, как тотчас завывла сирена. Поняв, что попались, блатные кинулись открывать остальные камеры: «Все выходите! Все! — кричали они. — Кто не выйдет — убьём!» По тревоге сбежались тюремщики, явилось начальство. Надзирателя нет, коридор полон народа. Ну, загнали зеков по камерам, очень быстро нашли убитого. И пошла кутерьма! Всю ночь ходили по камерам, выстраивали зеков, били: «Кто? Признавайся, кто?..» Уже под утро шустряк из малолеток, что был с чайником, не выдержал напряжения, выскочил вперёд: «Я, я убил!» и, задрав рубаху, поронил себя по животу лезвием безопаски. Цель харакири была в том, что окровавленного по каким-то неписанным законам не бьют, а скорее отправят в лазарет.

Н. покачал головой и добавил:

— В лазарет его-таки доставили, но уже мёртвого. Истёк кровью... Судили всю камеру, и меня тоже, хотя участия в побеге и убийстве не принимал. Было у меня десять, добавили. Впрочем, меньше, чем другим, всего пять...

Спрашивается, кто виноват в этом маленьком, но жутком эпизоде из громадной картины тогдашнего тюремно-лагерного мира? Кто виноват, что завелось столько шуше-

ры — блатных, соединивших в себе все человеческие пороки? Конечно, война, безотцовщина, послевоенные годы... Но только ли это?

Я уже упоминал, что из тюремной библиотеки не выдавался роман «Воскресение» (наверное, не только этот роман, многое другое тоже). Работая над ним, Лев Николаевич посещал Бутырки или, как при нём называли тюрьму, Бутырский замок. С тех пор эта тюрьма не раз перестраивалась и достраивалась.

Случай с осуждённой по недоразумению на четыре года каторжных работ прости-туткой послужил писателю поводом, чтобы в гневной книге своей камня на камне не оставить от государственного строя тогдашней России. И всё же, всё же суд присяжных, судьба Катюши Масловой, рассказание и высота поиска Нехлюдова, обличение изнутри общества безнравственности этого общества и насилия над человеком — всему этому пришёл конец при советской власти. Русская действительность сороковых годов двадцатого столетия была иной. Теперешний зек, если бы он читал эту книгу, обратил бы внимание на следующие штришки тогдашней тюрьмы: на окнах не было «намордников»; сидящие в камерах через открытые окна спокойно разговаривали с гуляющими во дворе; в камере имелись вино и водка; матерей не разлучали с детьми; в тюрьму то и дело приносили подавания: булки и деньги; посетители могли без предъявления документов назвать любого заключённого, и тот получал свидание; обитатели тюрьмы ходили в церковь на заутрени и обедни. При всём при том писатель не скрывал ужаса, который в нём пробудила тюрьма.

Народоволец и учёный Н.А. Морозов содержание в тюрьме вспоминает как что-то чудовищное. Но что мы узнаём? В доме предварительного следствия заключённые могли встречаться с кем угодно два раза в неделю. Это первое. Затем: «Неведомые мне дамы, — пишет Морозов, — избравшие меня заочно предметом своей симпатии (...), начали заваливать меня присылаемыми чуть ли не каждый день фруктами, конфетами, букетами цветов. В конце концов они настолько приручили к себе наших надзирателей(!) (...), что те стали передавать мне, а вместе со мною и всем другим избранным, не только дозволенные предметы, но и тайные записочки... Одна дама из общества (...) доставила мне много-томные всемирные истории Шлоссера, Гервинуса, а затем русскую историю Соловьёва... Письменные принадлежности можно было беспрепятственно (!) иметь в доме предварительного следствия...» (У советских зеков отметали любой клочок бумаги и переворачивали вверх дном всю камеру в поисках даже не карандаша, нет, а намёка на карандаш, какого-нибудь огрызка.) Автор вспоминает, что, пока он занимался в камере научными изысканиями, из его дела «готовятся сделать чудовищный процесс».

Однако вдруг: «— Пожалуйте на свидание! — сказал тюремный служитель... Моё сердце забилося... Два человека в штатском встали при моём появлении». Это были отец Морозова и следователь, тут же оставивший отца наедине с сыном. Отец говорит: — Теперь твоё дело (...) передано этому Крахту. Он (т. е. следователь по особо важным делам! — Л.С.) уже ознакомился с ним и не нашёл его важным. Он согласен отпустить тебя домой на мои поруки под залог...

— ...Но я и этому следователю (...) не скажу, где я был весной позапрошлого года.

— Он тебя не будет и спрашивать, — отвечает отец.

Он не будет и спрашивать! Может быть, Морозов сидел в доме предварительного следствия безвинно? Степняк-Кравчинский писал ему так: «Целый год третье отделение разыскивало тебя по всей России как одного из опаснейших заговорщиков, ты ходил в народ, был редактором революционного журнала за границей, числишься и теперь членом Интернационала...». Добавим: Морозов, возвращавшийся из Швейцарии, был задержан при переходе русской границы с прусским паспортом на чужое имя, шёл в Россию «участвовать в революционном движении», очень не безобидном, а террористическом. При советской власти Морозова провели бы по всей 58-й статье, по всем её 10-ти пунктам. И следователь царской охранки не спрашивает его ни о чём и согласен его освободить!..

На какой планете это было? И могла ли уцелеть *такая* Россия? Я не хочу идеализировать тогдашний режим или бросить тень на политзаключённых той поры. Их нас связывает подобие судеб. У них и у нас разные взгляды, разные идеалы, но это наши братья. Они, как и мы, в тусклом освещении тюремного окошка замирали над книгами, ходили на прогулки, не спали ночами. Правда, в наши дни окна были потемнее, эти самые стёкла — со стальной сеткой внутри, с решёткой и деревянным щитом снаружи. Это мелочи. Они, те страдальцы, боролись и умирали с большим мужеством, хотя пути их борьбы кажутся теперь большей частью ошибочными и пагубными для дела свободы, для общества, для всей России. На отечественном примере история ещё раз доказала, что нельзя шутить, нельзя играть и таким понятием как «цель оправдывает средства». Горячие, нетерпеливые, благородные, они мечтали о какой-то абстрактной обновлённой и свободной России. Однако ведомо ли им было, кому прокладывает дорогу их отвага? И когда «смогли честные, доблестно павшие», кто явился им на смену? И если им их положение казалось ужасным, каким показалось бы наше? Увы, ещё одни штришок для сравнения. Морозов решил всё-таки освободиться. Не его решили освободить, а он сам решил.

«Я быстро надел пальто, за подкладку которого через дырявый карман успел (...) сунуть все свои последние тетради. Целую грудку других тетрадей с научными работами я послал контрабандой к Эпштейн ещё две недели назад».

Морозов напрасно боялся. Его выпустили не обыскивая. Зеку, прошедшему следствие, обыски, рассчитанные не на каких-то обыкновенных людей, а на сверхчеловека, остаётся лишь опустить занавес.

Вскоре сообщили то, в чём я не сомневался, — высшая инстанция приговор утвердила. Потянулись дни, прошёл месяц, в окно подуло морозцем. На одной из проверок я записался у корпусного на приём к начальнику тюрьмы.

Хотелось скорее выбраться из этого каменного мешка. Стены давили, раздражали даже товарищи по камере. Хотелось на воздух. Хоть в лагерь, лишь бы избавиться от ватерклозета и пятачка, где надо постоянно быть начеку, чтобы не задеть друг друга. Душу

и ум спасает воображение, но сдаёт тело. Оно физически чувствует камень, как будто в гробнице.

Но знал бы я, куда стремлюсь!..

Часу в девятом следующего вечера меня доставили в кабинет главного тюремщика Бутырок. Кабинет напоминал громадную пещеру, где царил полумрак, где пол был устлан толстым тёмно-красным ковром, а стены затянуты такого же цвета портъерами. В углу в светлом круге за столом сидел человек в мундире и пристально смотрел на меня. Я сделал пару шагов по направлению к столу, а он, вскочив и упираясь руками в стол, закричал, подпрыгивая на месте:

– Назад!! Стоять у двери!

Я вернулся на место.

– Что надо от меня? – рявкнул он.

– Прошу отправить в лагерь! – крикнул я в ответ.

– Чего орёте? Это всё? Идите!

Наверное, начальник орал на меня от страха. Человек, получивший полную катушку, может ведь и наброситься на него. Ночью я ворочался с боку на бок, пытаюсь хоть чуть-чуть угадать будущее. В голове роились планы полуфантастические. Плыть по течению не входило в эти планы. Меня привлекало другое – то, к чему я вновь и вновь возвращался мыслью все недели после суда. Я говорю о побеге. Казалось, что в лагере, который рисовался мне по немецким стандартам и по рассказам танкиста в камере, обязательно найдутся и средства для задуманного, и товарищи. После бутырских келий – шесть шагов вдоль, три поперёк – предстоящее казалось многообещающим. Знал бы я...

Я прощался с Бутырской тюрьмой. С грустью выходил на прогулочные дворы. Под ногами стёртый бульжник, с четырёх сторон – вековые кирпичные стены. Окно канцелярии, в котором однажды девичья рука поставила горшочек с цветком, по случаю холодов закрыто. В камере, попросив позволения у старика Фёдорова встать на его койку, я подолгу смотрел в окно на бывшую церковь. Листва опала, и церковь без куполов являлась во всей своей изуродованной красе. Было ощущение, что в тюрьме я прожил тысячу жизней. Приходили на память стихи из лермонтовского «Пленного рыцаря»:

*Быстрое время – мой конь неизменный,
Шлема забрало – решетка бойницы,
Каменный панцирь – высокие стены,
Щит мой – чугунные двери темницы.
Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой броней мне стало!..*

Я не задавался вопросом, буду ли я кому-нибудь писать из лагеря. Я решил, что не имею права на переписку. Все остались позади – в жизни, отрезанной навеки. Впереди – страдания и противоборство. Я был обречен. Напишу матери, ей одной. Мысль о ней

причиняла боль почти физическую. Три года в немецкой неволе. Ждала меня. Три года солдатчины. Ждала. Теперь ее оглушили, наверное, вестью о моем сроке. Как перенесла она? Как сейчас выглядит? О чем думает теперь? Какой тяжелый жребий у моей матери!

Интересно, куда меня отправят? На север, на Колыму, или поближе где-нибудь ждет меня лагерь? Лагеря есть везде. Почелов, как я узнал из протокола его допроса – под Мурманском. Танкист был где-то за Волгой, а Петя добывал уголь рядом – в Московской области. Впрочем, не стоило ломать голову над этим...

Часть 3

ЮГО-ВОСТОК

Наконец наступил, этот день! Как только надзиратель сказал: «Собирайся с вещами!», малоподвижная жизнь в камере сменилась лихорадочной. Только и было времени проститься с сокамерниками, и загремела дверь: «Выходи!». Возле камеры стоял мой чемодан. И опять шмон. Обыскивали совсем не так, как Морозова, а заставили снова раздеться и прощупали каждый шовчик. Правда, делалось это быстрее, чем при поступлении. И выдали «сухой паек»: две буханки хлеба, две селедки, несколько кусков сахара.

Наконец я попал к внутренним воротам. Гудели моторы воронок, и меня повели вдоль шеренги девушек, по две в ряд. Высокие, стройные светловолосые литовки. Плотный коротконогий тюремщик в очках выкликает по списку:

— Мачугене! Янушкавичене!..

Я помахал рукой: «Привет, девочки!»

— Молчать! — крикнул надзиратель.

Девушки наперебой закивали головами: «Добрый день! Добрый день!» Видели: я — в шинели. И надзиратели за моей спиной. Не все русские для них враги. Простой обмен приветствиями. Но и через много лет приятно вспомнить, что первые, кого увидел после камеры, были девушки — мои сверстницы...

Я стоял под холодным мокрым ветром, повернувшись к закрытым воротам, вскоре присоединили еще несколько человек. Мы переглянулись со странным чувством совершенно незнакомых людей, понимающих, что мы одного поля ягода. Измученные лица, помятая одежда. Узелки в руках, чемоданы. Молодые, средних лет. Русские и два эстонца или литовца. Ворота беззвучно раздвинулись, и мы вышли к воронку. В девять утра небо было наглухо закрыто тучами. Шел снег и тут же таял. Тюремный офицер передал конвойному офицеру запечатанные конверты: на каждого по пакету. Конвойный сказал:

— Я называю фамилию, а вы говорите год рождения, статью, срок.

После переключки, на которой выяснилось, что все двадцатипятилетники, посадили в воронку, и мы поехали.

- Куда нас? – тихо спросил кто-то в темноте.
- На Казанский вокзал, – ответили так же тихо.
- А куда вообще отправляют, не знаете? – спросил третий.
- Нам знать не положено, – был ответ.

Вмешался еще голос:

- Что было – видели. Что будет – увидим.
- Вы заметили? Пакеты-то разноцветные... – сказал тот же тихий вежливый голос. –

Что бы это значило?

Действительно, на пакетах по диагонали полосы – красная, синяя или желтая. На моем – красная. Позднее мы узнали, что цвет обозначал разряд лагеря, в который из режимных соображений направлялся осужденный.

Разгрузили в пустынном месте вдаль от главного перрона. Перед нами – три зеленых вагона с решетками на окнах.

- Знакомое дело, – сказал один из нас, – ствольпинский!

Последовала новая переключка, и нас ввели в вагонный коридор, по одну сторону которого тянулись клетки, намного уже тех, что в зверинцах. Каждая плотно набита людьми. По проходу ходил часовой с автоматом. Стали рассаживать. Я попытался со своим чемоданом войти в открывшееся «купе» и натолкнулся на людей. Часовой локтем и коленом подпер меня сзади и задвинул дверцу.

В клетке было темно, только возле самой решетки чуть светлее.

- Устраивайся, сынок, – сказал чей-то голос. – В тесноте да не в обиде.

Я кое-как втиснул чемодан, поставив «на попа», и присел на него... Верхние полки, просторные и светлые, были заняты блатными. Они играли в карты, бранились, улюлюкали, когда по коридору шагало пополнение. В конце коридора две клетки были женские. Блатные чувствовали себя как дома, через весь вагон выкрикивали гнусные предложения. Конвойные орали только на мужиков, блатных увещевали. То же творилось во всех клетушках. Мужики сидели колени в колени, тяжело вздыхая и изредка перебрасываясь отдельными репликами.

Отправки ждали с минуты на минуту. Но прошла ночь, день, еще ночь, а мы все стояли. Спали, склонив голову на плечо соседа, если это можно назвать сном. Вечером и утром по одному пускали в нужник. Бегом туда, там минута – не больше, бегом назад. Раз или два в сутки подавали сквозь окошечко в двери жестяную кружку с водой. Новеньких приводили днем и ночью, и дверцы захлопывались с грохотом пистолетного выстрела. Мужики шушукались, что в женскую камеру провели заключенную Зою Федорову, известную киноактрису, а по соседству сидит прославленный полярник Кренкель. Все это напоминало мобилизацию.

Я как-то читал, что декабристы, выехавшие из Петербурга в Сибирь, в почтовых повозках проехали по зимней дороге 6050 верст до Иркутска в 24 дня. Хотя расстояние до лагеря оказалось в три раза короче, меня в XX веке доставили только через два с лишним месяца. Если правда, что рядом ехал Эрнст Кренкель, как ему показался наш этап после

зимовки в Ледовитом океане? Со стихией и медведями совладать, наверное, было легче, чем с человеческой пучиной, куда его окунули с головой и где мужество, надеюсь, ему не изменило.

Трое суток стояли вагоны, и трое суток мы сидели без воздуха и движения, почти без сна, без оправки: по минуте утром и вечером, остальное время — хоть лопни! Не выдержав, люди мочились на пол, а в нашем «купе» кто-то выделил для этого дела старый сапог. Паёк из селёдки и хлеба, кружка воды в день...

Наконец тронулись, и в этих условиях прошло ещё двое суток. В вагон поступали новые и новые люди, камеры были набиты так, что не продохнуть. Наискось от нашей клетки через проход — окно, наполовину залепленное мокрым песком и сажей. Поезд останавливается на какой-то станции. Ночь. И мы видим махины воронок, включённые фары, в свете которых сидят на вещах люди, множество людей, мужчин и женщин, сидят молча, отрешённо, сгорбившись, ожидая, когда их засунут в вагонзак... В морозном воздухе носится пар от их дыхания. Подходят машины, новые партии разгружаются на снег. Слышны команды, крики, мечутся в долгополых шинелях конвойные. Кого-то строят, кого-то ведут, кому-то кричат: «Вещи на снег! Садись!»

Это — Россия! В страшном сне проплывают мимо вагона зеки, часовые, воронки, и нет им конца... Завьюженные просторы, насупленные леса, столбы, просёлки; и вновь станции, станции, и вновь зеки, зеки, зеки... Боже, куда их гонят! Как будто весь народ сняли с места и под дулами автоматов послали в ледяную даль! Тот самый народ, который ценою миллионов жизней сокрушил гитлеровскую громаду! А ещё говорят, что победителей не судят.

В Свердловске наш вагон разгрузили. Мы выбирались на воздух, и совсем ослабевшие валились на снег. Их подхватывали под руки товарищи и так держали, пока пересчитывали. По четыре в ряд, нас оказалось 80 зеков.

Вагоны ушли, рельсы справа и слева, множество путей, станция была большая. Конвойный офицер скомандовал сесть на корточки.

— Кто поднимется, стреляем без предупреждения!

Сидим на согнутых ногах. Слева оказался тот самый человек, который всё спрашивал, куда нас везут. Мы кивнули друг другу.

— В Свердловске большая пересыльная тюрьма... — сказал он

По правую руку от меня — сухонький, средних лет, заросший щетиной человек с маленьким узелком в руке.

Позади колонны вдалеке показался поезд. Конвойные справа перешли рельсы и стали почти вплотную к зекам. Поезд шёл на большой скорости. Вот он достиг колонны. Не успел я глазом моргнуть, как человек с узелком вскочил и перед самым носом паровоза бросился через колею. Между ним и нами теперь мелькали колёса. Конвоиры растерялись, забегали, стали стрелять в воздух.

— Ложись! Ложись! — закричали дикими голосами.

Мы упали в грязный снег, пытаюсь сквозь колёса разглядеть нашего отважного товарища. Но мелькнул последний вагон, беглеца и след простыл...

Произошло это буквально во мгновение ока. Как точно он всё рассчитал! Пусть бесятся конвойные! Как я желал ему удачи! Да и не я один, а, наверное, все, кто лежал под автоматами в те далекие сумерки на свердловской станции.

Ещё несколько эпизодов этапа. Пересыльная тюрьма. Разводят по камерам. Надзиратель сдаёт меня коридорному и уходит.

— Открой чемодан.

Видит полотенце, ложку, зубную щётку, закрывает и говорит:

— Не положено.

И, раскачав чемодан, бросает его с такой силой, что тот летит по всему коридору и с глухим стуком ударяется в стену.

— Не положено, — лениво и равнодушно повторил он, открыл камеру и толкнул меня через порог.

Здесь новое приключение. Во-первых, у ног своих увидел полотенце. Чистое полотенце лежало, как половик. Я переступил его и сделал несколько шагов. Камера большая, по одну сторону тянулись два этажа нар, на которых сидело и лежало человек тридцать. И я увидел, что ко мне подходит мальчишка лет четырнадцати. Подмигивает, как-то гадко хмыляется и ласково говорит:

— Ну-тка, дай погляжу, что у тебя есть...

Его рука скользнула ко мне в карман. Я треснул его по уху.

— Не трожь малолетку! — раздался угрожающий голос. На верхних нарах сидел долговязый худой зек, из блатных. Покачивая ногой, нагло смотрел на меня, и губы его кривились в усмешке. Такими рисовали в средние века чертей.

— Дунька! — крикнул он мальчишке. — Чего сказано было?

— Дерётся... — плаксиво ответил тот.

— Пусть только тронет, — пригрозил блатной.

Внутри у меня всё кипело.

— Пусть попробует, — сказал я, вытаскивая из кармана руки. Мальчишка несмело подступил ко мне. «А что же остальные? Неужели тут одни воры?» — пронеслось в голове, и в ответ я услышал из угла:

— Не тронь солдата, пацан!

Обняв колени руками, там сидел в гимнастёрке и сапогах бывший военный, может быть, бывший офицер.

— Тебя не..., не дрыгай ногами! — сказал блатной на нарах.

— Не тронь солдата, паршивец! — спокойно и насмешливо повторил военный и легко прыгнул с нар. Не спеша подошёл к нам. Мальчишка, кинув на него злобный и трусливый взгляд, подобрал полотенце и полез на нары.

— Ничего, сынок. Он пожалеет об этом, — задумчиво произнёс блатной.

– Пошли, солдат, там место есть... – сказал мой защитник, и мы направились в угол. Он освободил место для меня. Чем-то он напомнил Красноталова.

– Молодец, – вполголоса сказал он. – Главное – не дрейфить. А мужики боятся. Довели народ – такой швали бояться. Как звать-то? Где служил?.. Меня зови Максимом. Будем держаться вместе. Ночью спать по очереди. У этих гадов финка есть. Могут и заделать.

– Финка в камере?

– У них с надзором своя лавочка. Поживёшь – увидишь.

– Подолгу тут держат?

– Как когда... Иной раз сразу отправят. А другие по месяцу ждут. Я вот две недели загораю. У тебя на пакете какая полоска?

– Красная...

– Катушка, значит. Таких долго не держат. И у меня красная. Ты удивился полотенцу, и я сразу понял, что новичок. Вытер бы ноги о полотенце, значит, вор, свой то есть. Переступил – фраер. Тебя можно курочить, то есть обобрать. Я за время этапа многому научился.

– А по званию кто вы были?

– Капитан. Из сапёров... – он помедлил. – В отдельном стройбате служил... Дороги, мосты...

– На каком фронте? – быстро спросил я, тоже бывший стройбатовец, только уже после войны.

– На Втором Украинском.

– Вы Николаев брали?

– Нет. Прошли севернее. Там я третье ранение получил. Николаев брали наши войска, генерала Цветаева. Слышал?

– Конечно...

Хотелось расспросить о взятии Николаева, но я ужасно устал, в глаза будто песку насыпали. Капитан задумался, а потом прибавил:

– Что было, то прошло. Вспоминать нечего. Ты, верно, с этапа спать хочешь? Давай, ложись. А я отоспался, могу и так побыть...

Я примостился на голых досках, подложил под голову сапоги и шапку-ушанку, завернулся в шинель. Вспомнился опять Красноталов: новый знакомый такой же собранный, решительный. Повезло мне. Вместе бы на этап. Да на это надежды мало. Тасуют людей, как хотят. С этими мыслями провалился в сон.

На следующий день разыгралось побоище. Привели группу новеньких. Трое русских, трое литовцев, которые отличались добротной одежкой и туго набитыми мешками, и ещё двое. Шестеро недоумённо покосились на полотенце у порога, зато двое станцевали на нём и вытерли ноги. С нар раздался радостный голос: – Солёный! ... меня в рот!

– Бармалей! Ты ли это? – откликнулся низенький кавказец.

– Канай сюда, Солёный!

Блатные попрыгали наверх, уселись в кружок, стали обнюхиваться (знакомиться). Мы насторожились. К блатным пришла подстава (пополнение). Теперь они покажут зубы. Пока сидели и тихо мирно беседовали: «Такого знаешь?» «Сидел с ним там-то». «А такого?» «Ссучился, падла!» В общем, новенькие прошли экзамен, оказались своими в доску, и можно было начинать. И они начали.

У литовцев тоже оказались земляки. Они присели на нижних нарах, полусняв заплечные мешки и опустив их на пол, беседовали. Тотчас двое блатных оказались рядом. Дунька быстро обшлёпывал мешок, а тот, что постарше, сказал:

— Давай, мужик, развязывай. Бацилы есть?

— Бацилы? — удивился мешковатый и с виду крепкий мужчина.

— Ну всё, что на «о»: масло, сало...

— Ах, вот оно что! — как бы в раздумье протянул литовец и, приподняв ногу, изо всей силы двинул блатного ниже живота. В тот же миг были на ногах и литовцы, и блатные. Вскочили мы с Максимом. В воздухе мелькнул нож, один из литовцев вскрикнул и схватился за плечо. Максим ухватил крышку с параша. И началось... На помощь прибалтам кинулось несколько человек. Один из блатных забарабанил в дверь, остальные, прижавшись к стене, отбивались ногами. Били их чем попало. Кто-то из мужиков стянул сапог и молотил им по головам. Дверь распахнулась. Блатные пулей выскочили в коридор.

Общая картина тех лет... По этапу нескончаемым потоком движется Пятьдесят Восьмая. А вокруг да около вьются и вплетаются в него блатные, воры и суки. Последние открыто сотрудничают с начальством, как это делали капо в немецких лагерях. Первые — смертельные враги последних, и, в отличие от них, зовут себя честными ворами. И те, и другие, разжиженные по камерам и вагонзакам, по коварному замыслу начальства, терроризируют эзковскую массу изнутри. У блатного в камере всегда есть нож, у 58-й — никогда. Зэки для этих паразитов — живое тело, из которого можно сосать кровь и тем жить. Советская власть рассматривала уголовников социально близкими, в чем-то чекисты и блатные — близнецы-братья. Паразиты — не фигуральное выражение. Собираясь бежать, блатной сманивал политзэка — «на мясо».

Уголовники были всегда. Кто-то правильно подметил, что в прошлом поэты романтизировали их. В ходу было выражение «благородный разбойник». Позже Достоевский развенчал это «благородство», хотя и в них он искал «искру Божию». В России уголовники по сравнению с политическими числились на низшей ступени, понимали свое место и к политическим относились с известным уважением, зная, что те страдают за народ, а значит, и за них. Об этом писали многие: Мельшин, Тан-Богораз, Короленко. В 20-е годы, годы всяких экспериментов, уголовников пытались некоторое время перевоспитывать.

В 40-е годы уголовник стал национальным бедствием — количественно и качественно. Перед этим существом встали бы в тупик и психологи, и социологи. По свидетельству Достоевского, уголовник был завистлив, тщеславен, хвастлив, обидчив. «Большинство было развращено и страшно исподлилось, — писал Федор Михайлович и прибавлял, — но против

внутренних уставов и принятых обычаев острога никто не смел восставать, все подчинялись...». В наше время уголовник был уже свободен от «внутренних уставов и принятых обычаев». Пышным цветом развились пороки, перечисленные Достоевским. Уголовник стал развратен и подл во сто крат больше, для него уже не существовало ограничений, он вообще отринул все человеческое. Во время разговора, например, он мог спокойно пальцем проткнуть собеседнику глаз или сразу оба. Мог проиграть в карты нос или ухо ничего не подозревающего соседа, и в ту же ночь человек вскакивал, заливаясь кровью. Наркомания процветала. Без гашиша не обходились. Кололи морфий, а за неимением морфия – загнившую воду из пожарной бочки. Известен случай, когда блатной держал при себе кошку, вытягивал из нее кровь и запускал себе в вену, чтобы хоть на минуту почувствовать кайф. Подобные вещи даром не проходят, у блатного, в конце концов, отнялись руки и ноги. Обычным явлением в жизни блатного была педерастия. Среди своей же братии подбирали «Машек» и «Дунек», заставляли их носить юбки и красить губы. Постоянно склопничали и грызлись друг с другом, но когда надо раскурочить мужиков, которых они, с одобрения чекистов, называли фашистами, блатные поднимались все за одного и один за всех. Они были страшно суеверны, верили в гадания и приметы, почти все носили на груди чертогоны (кресты), что не мешало богохульничать самым гнусным образом.

... Вернусь к своему рассказу. Через несколько минут в камеру вошли надзиратели. Старшина указал пальцем на Максима, литовца и еще одного наугад:

– Вы начали драку, – сказал он, – выходите!

Максим машинально двинулся выходить, но что-то мне не понравилось в лицах надзирателей, и я схватил Максима за руку:

– Товарищ капитан, не ходите, бить будут...

Но уже вся камера орала:

– Не выйдем никто! Эти гады нас грабили! Человека ранили! Без начальника тюрьмы и прокурора по надзору из камеры не выйдем! Врача давайте!

Может быть, надзиратели не ожидали такого единодушия. Старшина как бы даже смутился и, потоптавшись на месте, более спокойно сказал:

– Начальника нет сейчас. Прокурора тоже. Блатняки в карцере. А вы марш на нары! И не шуметь! Врача вызову...

Хоть небольшое, но достижение. Людей, как обухом по психике, ударили двадцатипятилетним сроком, потом бросили на этап, на них насели конвойные, блатные, надзиратели... И стоило дать пример, они подняли головы, расправили глечи, отстаивая какую-то частицу своего поруганного «я»...

Литовца-таки вызвали в коридор и сделали ему перевязку (нож распорол пальто, костюм и задел руку выше локтя). Наутро половину камеры перевели в «тюремный вокзал», разбитый на множество клетей металлическими прутьями, упирающимися в пол и потолок. Капитан, к сожалению, попал в другую клеть. «Вокзал» был переполнен. Готовился большой этап. Пролежали на полу трое суток, а затем отдельными партиями, в воронках и открытых машинах, под автоматами нас отвезли на вокзал. Там стояли старые

знакомые-теплушки. В них уже несколько десятков лет возят по всей необъятной державе скотину, солдат и заключенных.

Далеко позади Урал и граница Европы и Азии. Состав подполз к городу Петропавловску. Знающие зеки говорят, что Петропавловск — узловая станция, пересылка побольше, чем Свердловск. Отсюда этапники расходятся веером в разных направлениях: в Сибирь, Забайкалье, на Колыму, в Казахстан...

Больше всего мне врезались в память поверки при смене конвоиров. О, это была уморительная забава! Для конвойных, конечно. С грохотом отодвигается на шарнирах дверца вагона, и по команде «Поверка!» все должны сбиться на одной половине теплушки. В вагон взбирается конвойный с деревянным молотком на длинной ручке. Кучка солдат топчется внизу, с интересом поглядывая на происходящее. Сержант по бумаге выкликает:

— Иванов!

Один из заключенных стремительно бросается на пустую половину, стараясь при этом поскорее вскочить на верхние или нижние нары. Поскорее — иначе получит молотком по спине. Вся игра состоит в том, что солдат обязательно хочет попасть, а зэк хочет вернуться. При этом он еще обязан в ответ на свою фамилию крикнуть имя-отчество и год рождения.

— Сидоров! — вызывает сержант, и зэк, мчась по вагону, вопиет:

— Сергей Петрович! 1923 год!

Зэк увертлив. Молоток не всегда попадает, но особенно по старикам и больным. Промахнувшись, солдат огорченно матерится, и на его место становится другой. Когда поезд застревает на каком-нибудь полустанке, эта забава длится часами: у начальника не всегда ведь сходится по списку. И все это — по всем вагонам. Женским в том числе. Дважды в сутки. Неделями.

В остальные часы, покачиваясь в вагоне, сидят зеки, понутив головы, прижавшись спинами друг к другу, кое-как уютившись, чтобы хоть немножко поспать, и ждут следующей поверки. Вольготно чувствовали себя одни блатные, которыми и тут развлекали Пятьдесят Восьмую. Они играли в карты, омерзительно лаялись, при случае курочили мужиков (не отдашь — наутро тебя из вагона вынесут). Били только мужиков, а ворюгу пропускали, и тот не спеша шел на свое место.

Пусть меня простят политарестанты дореволюционной России! Такого им и не снилось... А что им снилось?... Вот всего один пример.

Петербургский градоначальник допустил превышение власти (это случилось за 70 лет до нашего этапа): заставил надзирателей выпороть на тюремном дворе студента из политических. Дело было *неслыханное*, из ряда вон выходящее. Шум поднялся на всю Россию, газеты в столице и провинции гневно клеймили незадачливого администратора, а заодно с ним весь тогдашний строй. В приёмную градоначальника явилась молодая женщина (Вера Засулич), дважды выстрелила в него из пистолета, и тут же сдалась поли-

ции. И что же, её, может быть, повесили? Или дали 25 лет, проволокли по этапам, сгноили в тюрьме? Ничего подобного.

Её судили, это верно. И царский суд, который в советское время изображали как монстра, а создан он был по английскому образцу, эту женщину *оправдал!* Под овацию переполненного зала, под овацию всей просвещённой России! Она стреляла, а её оправдали! И это не сказка. Что же случилось за эти 70 лет? Почему так одичали эти безумные солдаты, позавчерашние пионеры? Ведь и они были в школе, учили стихи Некрасова, а когда дубасили молотком по спинам и головам больных, стариков и женщин, то, наверное, все как один состояли в комсомоле... Не в этом ли дело? В том, что их такими воспитали, такими вырастили на потребу диктаторам — беспощадными садистами, готовыми хлопнуть по голове или запросто заложить родного отца?..

Запечатлелся в памяти и марш со станции до пересылки. Сумерки. Нас гонят по мокрой, разъезженной глинистой дороге. Справа и слева дома, ни света в окошке, как вымерли. По четыре в ряд, тяжело дыша и утопая по щиколотку в грязи, согнувшись вперёд всем корпусом, бегут зеки, а по бокам колонны бегут и лают собаки, бегут конвойные, подхлестывают зеков, орут:

— Вперёд! Шире шаг! Шире шаг! Вперёд!

Упал старик, его волокут, но надо же бежать, сзади стреляют. Может быть, в воздух, но стреляют. И старик остаётся в грязи, и в темноте его втоптывают в грязь вслед бегущие. «Не могу... — выдыхает кто-то рядом, — сердце...». «Держись, батя!», — подбадривает сосед, но человек падает... Помню, сердобольные люди из зеков тянули по грязи тележку на четырёх маленьких колёсах, на которой лежала грузная женщина, завёрнутая в платок, лежала в параличе, но её гнали как всех, с собаками и матерщиной. Кто-то прохрипел: «Тоже 25 дали...», и доволокли-таки несчастную до места. Сколько мы бежали? Три километра? Пять? Дорога казалась бесконечной. Ладно. С грехом пополам, в конце концов, донесли себя до пересылки.

Пересылка в самом деле большая, но зеков ещё больше. В камере можно только сидеть, согнув колени. Встанешь — место потеряно. Чтобы пройти к параше — нужно наступать на соседей. Впрочем, те терпят, не ворчат, не ругаются. Понимают: иначе дальним до параша не добраться. Прогулка, правда, есть. Она же оправка. Выгоняют минут на пятнадцать в широкий двор. Хлеба не дают. Зато три раза в день — миска баланды наполовину — с чем бы вы думали? — с мясом! Говорят, рядом мясокомбинат, и отходы идут заключенным. В Бутырке мяса не видели. Здесь без хлеба, но сыты.

В ожидании этапа мы провели на петропавловской пересылке месяц.

*Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!..*

Поезд шел на юг. Поговаривали, что в Караганду. Леса давно кончились, и по обе стороны дороги простиралось однообразное, убегающее за горизонт белое мертвое пространство, от которого несло холодом. Видели его лишь мельком, когда открывалась

дверца, и в вагон бросали мешок с пайками. Остальное время мы покачивались в такт колесам на своих нарах, погруженные в собственные думы. Мы знали, что избежали Колымы, что наше место – в Казахстане...

В безликой серой массе эков стали проявляться индивидуальные черты. Я разглядывал лица харбинцев, целая компания которых располагалась напротив. Судя по их репликам, по их коротким разговорам, люди эти были поразительно наивны, будто прибыли прямо с Марса. Они, пройдя следствие и получив свои 25, совершенно не понимали, почему это случилось и за что их гонят теперь на каторгу. Впрочем, затейница-судьба позже повязала меня с некоторыми из них более тесно, но об этом речь впереди.

Потом я обнаружил, что мне очень мешает чемодан соседа: я все наткался на него, желая прилечь. Хозяином его был высохший до цвета папиросной бумаги человек с нервным подвижным лицом. Он первый заговорил со мной.

– Позвольте, молодой человек, если не ошибаюсь, я встречал вас на свердловской пересылке?.. Вот видите! У вас тоже «катушка», как выражается остроумный русский народ. Судили вас в Москве? Бо-ольшие оригиналы!

Болтал он без умолку, и это как-то скрашивало однообразие дороги. Вскоре я узнал, что он принадлежит к «славному роду князей Сумбатшвили». Например, актер и драматург Сумбатов-Южин приходился ему родным дядей.

– Уверяю вас, – говорил он, – никакой вины перед советской властью у меня нет... Господи! Ну какой я князь! Я давно забыл, что я князь. Но они мне напомнили. Да еще как! Бо-ольшие оригиналы!

Харбинцы вполголоса дружно начали петь. Почему их везли за колючую проволоку? Еще в 1945 году они жили в Харбине, как при царе, а жизнь в Союзе шла по своим меркам. Так мне объяснял потом один из них. Они страстно ждали «своих» и, дождавшись, бурно приветствовали, но у каждого нащупали кое-какие «грешки» и дали по четвертаку. Голосом и броской физиономией с орлиным носом выделялся некий Шульц.

– ... Заче-е-м же ты контрика полюби-и-ла!.. – тянул он, и было странно и смешно думать, что мы теперь действительно контрики. Куда денешься?..

А Сумбатшвили, глядя в потолок и дирижируя себе рукой, бормотал:

*Экселенце, вашу шляпу,
Экселенце, вашу шапу! –
И плетемся по этапу
Мы к могильному оврагу...*

Из Караганды после короткой остановки поезд двинулся на запад, вглубь мертвого царства голой зимы.

Есть на карте Казахстана названия: Джекказган, Джекды, Кенгир. В 1948 году здесь находились отдельные пункты Степлага, то есть Степного лагеря, а вокруг простиралась Голодная Степь, прокляенные морозным ветром пространства...

– Вот куда Макар телят еще не гонял! – сказал кто-то, когда нас выгрузили на снег и погнали к воротам кенгирского лагеря. Лагерь не был мне в диковинку. Как и у немцев, здесь была колючая проволока, вышки, прожектора, приземистые вонючие бараки, надзиратели и конвойные, скопище униженных, бесправных людей. Но подходя к воротам, мы радовались: пришел конец страданиям в вагонах и на пересылках, дадут горячую баланду, выделяют место на нарах, пошлют на какую-нибудь работу, – все-таки жизнь...

Но в Германии нас мытарил враги, фашисты. Здесь как будто свои, советские. Там надеялись на конец войны, и надежда не обманула. Здесь надежды не было. Двадцать пять лет – это пожизненно. На мгновение ужас охватывал сознание: уж не снится ли все это? Может, стоит проснуться, и развеется кошмар? Что ж, если это был сон, то снился он самому дьяволу с густыми кавказскими усами.

У ворот топталось начальство в серых папахах, дежурные офицеры, нарядчик из эска, надзиратели.

– Ха! Сварщики? Ставай сюды! – краснобордый нарядчик в белом полушубке, услышав, что я знаком с электросваркой, указал на кучку зеков в стороне. Нас погнали в каптёрку, выдали телогрейки, бушлаты, ватные штаны, валенки. Всё новенькое, первого срока. Не веря себе, мы обменивались взглядами.

Но мне долго радоваться не пришлось, слишком я был приморенный. Следующий день – это было за зоной, в громадном амбаре – я провёл на остром сквозняке десять часов и схватил крупозное воспаление лёгких, с которого начиналась моя Бутырка и теперь Степлаг. В зимнем Кенгире пневмония была обычным делом, как в дождливом Гамбурге насморк. На третий день я еле добрёл до лазарета, с трудом разделся, и дюжий санитар подхватил меня, как ребёнка, на руки. Возле палаты замешкались. Из неё выносили мертвеца.

– Ось и койка звильнылась! – весело сказал санитар и опустил меня на матрас, набитый опилками, провонявший мочой и потом... Я почувствовал, что весь горю. Иссушающая лёгкость в теле, веки тяжёлые, сознание ещё не отказало, но готово вот-вот погаснуть. И всё-таки идёт какая-то борьба, и ты вновь возвращаешься.

Что это колышется надо мной? Большеглазое, тонколицее, с серебристым крестиком в вырезе халата. Касается ладонью моего лба. Прохладно, хорошо...

Всё-таки болезнь – что-то сверхъестественное! Сначала – страшно. В углу никак не хотел умирать японский офицер из военнопленных, скрежетал зубами на всю палату. А мне мерещился за окном разбойного облика горец в папахе, который норовил поближе разглядеть меня. «Это он, он, злой дух, преследующий меня всю мою короткую и горькую жизнь», – думал я, и санитар, тот самый, высокий, с большими руками, по моей просьбе гремел бачком на подоконнике, стучал в замёрзшее стекло и говорил: «Цэ тоби привэрэ-дылося, братьку. Никого нэма! Крашэ спы!..»

Я опускал веки, и тотчас опускалась в подземелье моя койка... В тускло освещённой комнатке без окон и дверей лежала громадная, с доброго телёнка чёрная собака.

Чуть приподнимала голову, и глаза её горели жутким огнём, но самое невыносимое было в том, что у неё на голове была папаха из барашка. Большой, похожей на руку лапой она сжимала длинноствольный пистолет. Такие «пушки» существовали в прошлом веке, я мог их видеть только в кино, ими убивали поэтов. «Ну вот, — думал я, — мой демон прикинулся собакой...». И, пытаясь сорваться с койки, чувствовал, что меня держат, и держат крепко.

— Тю на тэбэ! Кыдаешься, як скажэный!

За спиной санитары стояла она, Экко Лепп, эстонка, добрая, милая медсестра. Ей тоже дали *четвертак*, и доктору Ржановичу, и быстрому весёлому хирургу-испанцу Фустеру, с которым, как говорили, у Экко был роман... Сострадание, жалость, любовь — и это на краю замордованной земли!..

К утру скрежет зубовой прекратился, санитар закрыл лицо японца одеялом. На обходе высокий худой Ржанович, одной рукой подкручивая тонкий ус, другой сдёрнул одеяло, прикоснулся ко лбу умершего и повернулся к сестре:

— Пятый за ночь...

Тяжко умирать вдали от родины. Когда его проносили мимо, я увидел умиротворённое, будто чуть улыбающееся лицо. Верят ли самураи, что душа их после смерти витает в небесах? Имеет ли право на загробную радость душа солдата, сдавшегося в плен? А что мерещилось в смертный час нашим братьям-славянам, которых выносили вслед за ним и складывали в штабель за бараком?

Экко сказала, что и я был на волоске от смерти, но кризис миновал, и надо жить. «Надо жить!» — повторило моё сердце. Я неуверенно смотрел на истончившиеся руки: смогу ли?.. Мне шёл двадцать первый год.

Я чувствовал, что выздоравливаю, и уже не отказывался от скудной пайки. Захотелось курить. Мы склонны забывать страдания, но цепко храним память о хороших минутах жизни. Мне запомнились первые дни выздоровления, солнце, заглядывающее в палату сквозь полузамёрзшие окна, проснувшийся интерес к соседям, к разговорам вокруг... Помню случайно нашедшуюся у кого-то книжку про адмирала Бутакова и экспедиции на Аральском море. Светлым идеализмом прошлого века повеяло на меня от стихотворения, приведённого в книге:

*Вперёд — без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!..*

Милые наивные люди, они верили в святость первозданного мира! В то, что общество можно повернуть к добру, непременно к добру... Теперь, в потёмках века XX-го, как трогательно звучали их призывы.

*Не сотвори себе кумира
Ни на земле, ни в небесах,
За все дары и блага мира
Мы не падём пред ним во прах!*

Повесть о Бутакове я читал и перечитывал, пока не выучил почти наизусть: других книг в палате не было...

Неожиданно пришла посылка от матери: сахар, сало и самое драгоценное – табак-самосад крупной резки. Мать писала, каким ударом было для неё известие о моей судьбе, какое отчаяние охватило её! Она бедствовала и снесла на толкучку мои книги – собрания сочинений русских и иностранных писателей в приложениях к дореволюционной «Ниве». Представляю замелькавшие на южном базаре имена Гауптманна, Уайльда, Ницше, Гамсуна, Ибсена, Метерлинка. «Я не знала им цены, – писала мать, – и отдала дёшево. Мигом расхватали...»

Прямоугольник, разгороженный на зоны, мужскую и женскую, – это и есть кенгирский концлагерь. Лазареты в обеих зонах, но мужской набит битком, и часть мужчин лечится в женском. В 1948-м году это было ещё возможно. Тогда зоны разделяла только колючая проволока, потом воздвигли саманную стену, немедленно прозванную «Китайской», утыканную поверху железными рогачами с колючей же проволокой. Пять тысяч зеков по одну сторону стены, три тысячи зечек – по другую. Стена наглухо разделила людей по половым признакам.

Впрочем, каков был режим, как мы жили, стало известно миру по повести про Ивана Денисовича. Автор её тоже был в те годы на кенгирском лагпункте. Поэтому не буду вдаваться в подробности. Хочется рассказать о людях, с которыми лагерь свёл меня, о событиях, свидетелем и участником которых довелось мне быть. Кенгир был моей первой ступенькой. За год и семь месяцев я превратился в настоящего, стопроцентного зека, в меру выносливого, неприязнательного, готового и к дружбе, и к ненависти, но не растерявшего известной доли наивности. Я был упрям и с некоторыми иллюзиями никак не хотел расставаться.

Справа от меня лежал рослый, широкоплечий и очень худой человек лет пятидесяти. Он попал в лазарет раньше меня. Я уже выкарабкивался из температуры, уже поглядывал вокруг, а он всё ещё метался и невнятно, скорее всего в бреду что-то бормотал. Через несколько дней и его организм всё же преодолел недуг (не порошки же, которыми нас снабжали), и он лежал тихий, ослабевший, но уже с осмысленным взглядом. Слово за слово мы разговорились. Сначала о врачах, о порядках в лазарете, а потом и о себе. Я узнал, что Михаил Григорьевич Кривцов – сын казачьего офицера, бежавшего в 1920-м году из России, окончил русский кадетский корпус в Белграде, служил в казачьих частях, которых Югославия держала на своих границах, изъездил до войны Европу, побывал в Америке. Во время войны, когда генерал Краснов собирал казаков для власовской кавалерии, Кривцов из патриотических побуждений уклонился и у себя на квартире в Белграде дождался прихода советских войск. Через две недели его арестовал СМЕРШ, доставил в Москву, и он получил свой *четвертак*. Кривая судьбы метнула Кривцова на родину, теперь – в концлагерь. Он не сетовал, не жаловался.

– Посудите сами, – говорил он медленным слабым голосом, – сколько советских людей сидит! И те, кто сознательно (власовцы, бандеровцы, литовцы, татары), и те, кто поневоле поднял оружие против Сталина, и те, кто проливал кровь за Родину, но побывал в плену. Сидят вместе с фашистами-немцами, а их в Степлаге тоже немало. И вам вот не повезло, молодой человек. После немецких лагерей в бериевские – чего уж хуже!.. Кому это надо было, спрашивается?

Или возьмите хирурга Фустера. Коммунист, республиканец, три года воевал против Франко и спасся в СССР. Неужели ради того, чтобы получить здесь срок?! Выходит, никакой целесообразностью тут и не пахнет. Один произвол. Все одинаковы: и палач, расстреливавший в войну детей, и радист, из немецкого тыла посылавший на большую землю шифровки. Что же говорить мне, сыну белого офицера и бывшему кадету? Моё место только в лагере!..

Он на мгновение показывал зубы, улыбался, значит. В крупном, горбоносом, будто из камня высеченном лице было что-то от хищной птицы. И только ум, светившийся в больших, слегка выпуклых глазах смягчал общее впечатление.

Лагерь – как фронт. Часы, когда люди исповедуются, говорят о самом наболевшем, понимают и сочувствуют друг другу, – может быть, лучшие часы в жизни ээка. Тускляя лампочка под потолком, воет ночной ветер над крышей лазарета, стучит в окна снежной крупой, а тебе не надо никуда, ты лежишь, угревшись под рваненьким тонким одеяльцем, и слушаешь неторопливый рассказ о судьбе человека, заплутавшегося во всевропейской «завирюхе» 30-40 годов.

– Признаться, Леонид, я верю в Бога, верю, что человек еще здесь, на земле, должен ответить за свои поступки. Создатель мудро устроил мир. Человек не животное, у него своя этика. Переступил – отвечай. И я верю, что те, кто возился со мною в Москве, кто осудил меня на пожизненный ад, – всего лишь исполнители Высшей Воли. Спросите, чем я погрешил против этики? Отвечаю: я был наемником, участвовал в итальянском походе в Абиссинию. Я был молод, но не настолько, чтобы не понимать, что делаю. Мне платили. Этого было, я полагал, достаточно. Вы думаете, в дикую страну эфиопов мы несли факел цивилизации? Да, этим факелом мы поджигали их камышовые дома. Ради чего? Ради империи цезарей, которую решил восстановить дуче?..

Кривцов, вздыхая, повернулся набок, прикурил и, откинувшись на подушку, пустив в потолок струю дыма, продолжал:

– Месяца два мне пришлось стоять со своей частью в одном селении. Вождь со всем племенем сдался нам без боя. Я зачистил в его «дворец» – такую же хижину, как остальные. Узнав, что я русский, седовласый высокий эфиоп с умными глазами проявил вдруг ко мне необычайную почтительность... Мы разговаривали по-итальянски, язык и он, и я знали неважно. Я был потрясен, когда он сказал, что знает и помнит Гумилева, который побывал с русской экспедицией в этих местах... «Это был чудо-человек!» – сказал старик, поднимая глаза к потолку. Указывая на маленький золотой крестик на своей груди, он

добавил: «Его крест. У него – мой. Мы побратались». Слово «побратались» вождь сказал по-русски... О, дело не только в Гумилеве! Дело еще в том, что Абиссиния – страна древнейшей культуры. Они приняли христианство на несколько веков раньше нас, россиян. И прадед Пушкина, как известно, из эфиопов... И такую страну я покорял во славу Муссолини! Нет, сударь, я верю в возмездие, и поделом мне! Забыть ничего нельзя... Даже в могиле... Для души нет могилы... А, значит, и для памяти...

Речь его становилась бессвязнее, наконец наступило молчание. Мы думали каждый о своем, потом засыпали.

В другой раз он мне сказал:

– Вы недавно в лагере. Не всем раскрывайте свои чувства и мысли. Опасайтесь осведомителей. Продадут. Не за тридцать сребреников, за баланду и черпак каши. Продадут – и не охнут. И сами на крючок к оперу не попадите. Был случай: вызвали меня. Вхожу, шапку снял. Приятный полумрак, гардины, приемник играет, уютно посвечивая голубым глазом, настольная лампа... Сам-то опер гладкий такой, чистый, смотрит елейно, учтив до тошноты. «Садитесь, садитесь. Давно пора познакомиться... Ну, рассказывайте...». Рассказываю, как «загремел» в тюрьму, лагерь. «Понятненько, – говорит майор, – что ж, есть и такие случаи, ни за что попал человек. Я вам верю. Знаете, напишите жалобу, принесите нам, а мы отправим. Мы поможем, глядишь, и скинут срок-то...» Что ж, может, действительно человек старается, жалеет, входит в положение.

А он закурил, протянул пачку мне и говорит: «Но и вы нам помогите. Вы ни за что сидите. А вокруг вас – враги. Они сидят по делу. Замышляют что-то, побег ли, забастовку хотят, допустим, организовать. Да и вообще антисоветские разговоры ведут. Мы за всем не уследим. А вы нам помогите... Если на работу более-менее чистую хотите, на кухню или в хлеборезку, пожалуйста, сделаем, устроим... Итак, договорились?» Слушал я слушал, чувствую, лицо пылает, глаз на него не могу поднять, думаю: «Ну и фрукт. Извините, – говорю, – честь русского офицера, понимаете? Не могу-с!...». «Ну и катись к ... матери! Честь у него! С говном смешаю!». Тем и закончилась милая беседа...

Нет! Не пережил Михаил Григорьевич Кривцов, русский офицер, этой зимы... Вышел в лазаретный коридор, продуло его, началось обострение, и ничего не помогло: ни порошки, ни мои вздохи над ним, ни чай, которым поил его, обменивая последнюю махорку на сахар. Умер. Мне кажется, умер, потому что и не хотел жить. Перед смертью он читал наизусть по-английски монолог Гамлета...

Конечно, Кривцов был прав: не все лагерники несли свою кару зря. Встречались и такие, которых любой суд в любой стране и в любые времена признал бы преступниками. Каратели, например. Те, кто истязал, вешал и расстреливал детей, женщин, стариков, военных и гражданских пленных, заключенных гиммлеровских лагерей – от Атлантики до Кавказа, от Средиземного до Северного моря. Машина уничтожения людей требовала обслуживающего персонала и вербовала его где придется. В лагерях сидели все: и палачи, и жертвы, и тем, и другим хотелось порой высказаться, облегчить душу или память.

Прошли годы, и к чему помнить, да ещё воспроизводить то, что они говорили? Но ведь каждый такой рассказ — судьба, они были разные, и из них состоит, в сущности, моё повествование. Хочется, чтоб слово имели друзья и враги, побеждённые и победители, пахари и работники, невежды и интеллигенты...

Я был очень истощён за последний год, и врач Ржанович повременил с выпиской. Шла четвёртая неделя моего лазарета.

Ночь. Не спится. Напротив негромко гутарят двое больных, в прошлом эсэсовцы. Раздражает их бормотание, но и я невольно слышу, о чём толкуют...

— Выполз с камыша... Смотрю, где меньше сполохи, туда и поспеваю, от фронта... Наши, кто успел с окружения, драпают на восток, до своих. Думаю: шо я — дурень! Рвать когти надо на запад! Ой, браток, как я выскочив с кольца, самому чудно. В селах побырався, хозяйки жалеют нашего брата, подают на жизнь. У одной я встряв. Ну сами знайте, огород, дровишки, а как ночь — на перину до неё завалишься. Рада. Мужик на фронте, она другого пригрела. С одежды дала мне мужнее, цивильное, а красноармейское поховала. Живу — сыт, пьян и нос в табаке. Чего ещё? Только скука, Боже ты мий! От себе и на шаг не отпустить. Во дурна баба! Разве мушину привяжешь до юбки? Прихватив я гроши хозяйкины и намылился. Добираюсь до Житомира, гуляю себе день-другой. Кругом немцы, полицаи — куда деваться? Сперва думав — у партизаны. Чем не житуха на воле да в лесу. Потом пораскинув мозгами. Припомнив, как громили наших под Киевом. Гитлер своё берёт. Его сила... Как-то по утрянки вештался я по толкучци. Чую, хтось за плечо меня. Обертаюсь. Парубчина стоит: шинель чорна на ём, пряжка горить, сапоги блестять. Думаю: пропал, сичас привяжеться: кто? да откуда? Он всмехнулся, говорить: не знаешь? Боже ты мий! Да цэ Петро! Земляк, с одного села! Ну и обрадовався я, он тоже. Позвав до себе. Жив он у каменном доме, у казарми. С ним еще чотыри хлопця. Достав он шнапс, хлеб, сало. Сидимо, Петро и став уговаривать идти до них. Хто вы? — спрашиваю. Эсэсовская частыня особого назначения. По-германски: зондеркоманда. Чем занимаетесь? Да ничем, говорит. Вот уж месяц нас не стронули. Паёк дають, гроши, в баню кажну недилку гоняють. А то построят, сведут на стрельбище. Приезжала яка-то шишка с Берлина, так мы охороняли вокзал, супровождали до бургомистра. Чудное житьишко, ступай до нас! Все одно: Сталин — капут, нашим не встоять. Почесал я у голове, говорю: давай, скажи, до кого звернуться. Словом, замельдовался я...

Последовала пауза и вопрос:

— Может, вы вже спите?

— Давай рассказывай. Днём выспимся, — ответил голос чеченца Худзоева, на которого я не мог не обратить внимания ещё раньше. Что-то необычное было в его смуглом, будто опалённом лице, в длинном, свисающем носе и в небольших, с холодным блеском глазах.

Рассказчик продолжал:

— Эх, я усе пытаю себе: не зустрився бы з Петром, не знав бы горя, не сидев бы здесь, у Кенгири!.. Ну замельдовався я, значитя. Петро натырив меня сказать, шо я сын куркуля.

Поверили. Медкомиссию пройшов. Чистый ариецъ: высокий рост, блондин, очи голубии. На вещсклади немец пидигнав под меня униформу... Петро попросив начальство направить меня в його подразделение. Вот так бывший красноармеец Николай Новохатько став эсэсманом. Обвык. Хожу по увольнительной по городу и в очи людям смотрю. Ничего... А после настав день, который мени и на том свете не забыть... Подняли нас по тревоге у чотыре ночи, за час мы упорались, поснидали и почулы команду: «В ружьё!». «Бегом на двор!» «Шынкуйсь!» Построилися, стоимо. Дождик капае, туман... Зъявылыся офицеры. Одын з них заговорив до нас по-русски, заговорыв про великую Германию, про миссию, про то, шо мы будемо заняты в *гроссоперацион*, в большой акции... И от нас требуется одно, — сказав он, — мужество... Мы погрузились у машины. За городом нас развели на посты. Стало развздыняться. И через час зи своего места здлая я увидел расстрел евреив. Не, наши хлопци не стреляли, мы булы на внешней охороне. За нами возле лесочка стояли два ряда столов, на одному — шнапс, консервы: подходи, ешь, пей. На другом — патроны, автоматы, смазка. Евреив везли на машинах, сгружали и гнали до противотанкового рова. Стрельба тяглась несколько годын. Я глотав шнапс не закусуочи. Потом мене рвало, и унтер-офицер разругав мене и послав отлежаться в леску. Под вечер стрелянина кончилась, солдаты уехали, но нашу охорону не зняли. Мы то грелись коло костров, то мокли под дождем на постах. Ну стою я, ели стою, у головы — ералаш, и страшно мне подывытыся у ту сторону, где их вбывали. И думая: що робыты, в эсэсманах буты я не зможу. Раптом чую, хтось дыхае тяжело, чую, пидползаеть хтось, и прямо на мене. «Стой, стрелять буду», — тьхо сказав я и шагнув уперед. Пиднимається дивка, лет ей висимнадцять, наверно, було, не больше, гола, и вся грязюкою заляпана, вся чорна от грязюки. Она от самого рова з километр повзла по-гласунски. «Пропусти, солдат, не убивай, я и так ранена...». «Ложись!» — приказав я ей. Она лягла. Я посмотрев вкруг себе. Влево, у сотни метров, блымае костёр. Там пересувалыся тени моих камарадов. Вправо костры тягнулыся блидымы цяточкамы и зныкалы, до них було двичи расстояние... Вот- вот должна змина прыйты до мене. «Я дезертир и изменник, но не убивця и палач!» — майнула думка, и я прошепотив: «Повзы! Швядше! Вправо забыврай! Чуешь?». «Хорошо, солдат, мне бы до леса, а там...» Шезла она в темряви. Ну, думаю, пиймають — будет горение! «Я ничего не бачыв, ничего не чув...» А сам Богу молюсь, щоб доповзла... Ну, обийшлось. Через день, ничего не говорячи Петру, я дезертировав. На толкучци обменяв шинель на старе цивильне пальто и кепку и поихав до Херсону. Там мене захомуталы до Германии, де працював у Эссени. Писля войны Петра судылы. Он припомнив своих камарадов, назвав и мою фамилию. Так я попал на кичу. Теперь пидрахуйте. У зондеркоманди я був десять суток. Мени дали двадцять пять рокив: по два з половиною роки за сутки. Здорово, га?

— Скажи спасибо, что секир-башка не сделали, — отозвался Худзоев. — Ты, Коля, путаник. Изменил нашим, изменил немцам. И те, и те с тобой рассчитались. Всё в порядке.

— Але, як бачу, и вы мени не уступите. Чи вы не изменили нашим?

— На меня советую не ссылаться. Я со школы, с пятого класса, поклялся мстить Советам, когда убили моего отца... Немцы ни черта не понимали в моих мотивах. Посыла-

ли против кого угодно — хорватов, сербов, словаков. А у меня руки чесались на наших... Не пришлось. Наши до меня добрались...

Наступила тишина, на этот раз она затянулась. Наконец, Новохатько спросил:

— Вас у Германии арештовали?

— Это неважно — где. Лучше я расскажу тебе пару случаев про то, как поступает настоящий мужчина при особых обстоятельствах. Всё было, как с тобой, когда ты бежал из Житомира. И приговор, который привёл меня в эту вонючую палату, был справедлив. Я, как и ты, был дезертиром, но значительно позже... Когда каждый дурак понял, что Гитлер капут, а мне это стало ясно ещё в 43-м, я решил бежать в Швейцарию. Отпуск я проводил в Берлине, жил в гостинице. Золото у меня было, фальшивые документы тоже. Купил я саквояж и, возвращаясь в номер, подобрал в разбитом квартале кирпич. «Хватит! Отвоевался!» — сказал я себе. В номере переделся в гражданское, положил во внутренний карман свой «вальтер», к кирпичу приложил свои эсэсовские документы, завернул их с кирпичом в офицерскую форму и в газету, перевязал верёвочкой. Ещё раньше я приметил одно местечко на канале, где ступеньки сбегают к воде. Едва стемнело, я был там, бросил свёрток в канал. По пути на вокзал решил попрощаться со своей немкой. Вроде любила меня, шла на риск, да и я зачем-то рисковал, связался, дурак... Ну, говорю, *ауф видерзеен, майне либхен*. Мол, уезжаю... Она, как увидела меня в гражданском, всё поняла. «Уж нет! — говорит. — Не пуш! Германия тебе надоела, куда ни шло! Но меня бросать... Не выйдет! Сама погибну, а заявлю в полицию!». Я ей тихо, спокойно так говорю: «Дура, опомнись, что ты мелешь?». «В полицию!» — кричит, а сама вцепилась в мой плащ, рвёт с меня... Не любит наш народ, когда ему мешают, Коля. Я схватил её за горло, заставил стать на колени. Потом толкнул. Она ударилась о спинку кровати и повалились на пол. Я положил ей на голову подушку и придержал немного. Потом выключил свет, закрыл дверь, а ключ выбросил по пути на вокзал...

Новохатько издал горлом неясный звук. Худзоев спросил:

— Ты что-то сказал?

— Ни, ничего. Розкауйте дали...

— Борьба за жизнь, Коля, борьба за жизнь. Разве я мог допустить, чтобы эта женщина, эта кошка, меня погубила? Ехал я на юг в вагоне первого класса. Меньше шансов было попасть под проверку. Крупные чиновники, дипломаты, высшее офицерство. Документы у меня до поры до времени были в порядке. Я ехал в качестве берлинского представителя заводов Сименса. Ты, может быть, слышал. Крупнейший в Европе. Всякие мысли о превратностях моей жизни не мешали зорко следить за соседями и проводниками. Хотя я был более-менее в безопасности. Но я сказал: до поры до времени. В южной Баварии я сошёл с поезда и просёлочными дорогами пошёл к границе. Обходя деревни, шёл через горы и лес. Положение стало опасным. При задержании я никак не мог бы объяснить, почему я оказался вдали от пункта назначения. Я свалил дурака и зашёл в деревню. Стояла жара, деревня казалась вымершей. Всё живое: женщины, дети — были в полях, шла уборка урожая. На центральной площади я вошёл в Биерхаус, попросил у хозяйки пива. В зале я

присел у окна, чтобы не упускать из виду улицу и площадь. Понятно, что я был начеку. Возле немки вертелся мальчишка лет восьми. Когда она принесла пиво, мальчишка исчез. Его мать суетливо разложила бумажные подставки, кружки и ни разу не взглянула на меня, хотя я не спускал с неё глаз. Не успел я допить кружку, появился мальчик. Допивая вторую, я увидел в окне полицейского. Несмотря на жару, он был в мундире и каске и, грузно покачиваясь корпусом, приближался к Биерхаусу на велосипеде. Я допил своё пиво, бросил на стол несколько марок и сказал немке: «Сдачи не надо...» Полицейский сошёл с велосипеда, прислонил его к крыльцу, и я услышал тяжёлые шаги. Я вышел из зала и остановился у стойки. Немка теребила фартук, мальчишка засунул палец в рот и глядел на меня во все глаза. Дверь открылась. Жандарм вошёл, приложил руку к козырьку каски: «Уважаемый господин, – сказал он, – я обязан проверить ваши документы». Я спокойно смотрел ему в глаза. «Документы? – переспросил я. – Пожалуйста». Я полез во внутренний правый карман и подал ему дорожный паспорт, который он раскрыл. А из левого кармана я выхватил «вальтер». Жандарм вскинул голову и отшатнулся. Я выстрелил ему в переносицу. Немка вскрикнула. У двери я обернулся и пристально взглянул ей в глаза. Не любит наш народ, когда его предают. Нет, её я не тронул, но когда в следующее мгновение мальчик кинулся в зал, он не успел, – пуля скосила его на пороге... Женщина закричала и, всплеснув руками, упала на колени возле сына. Я аккуратно закрыл за собою дверь, вскочил на велосипед и через десять минут был в пограничном лесу, а ещё через некоторое время уже шагал по той стороне границы. Да, наш брат опаснее чёрта, когда его прижмёт...

В палате тяжело дышали, храпели и стонали больные. Я закурил. Напротив тоже курили, и Худзоев приглушённо досказывал соседу свою историю. Из отрывочных слов я понял, что Худзоев всё-таки вернулся в Союз, был разоблачён и посажен. Но я тогда не знал, что спустя несколько месяцев, в очередной период междоусобицы и поножовщины, Худзоев возглавит земляков – чеченцев и кабардинцев. Погибнут русские и украинцы, и его нынешний сосед Новохатько, невесть каким образом попавший в эту заваруху, инспирированную, между прочим, начальством лагеря. Худзоев получил новый срок и на какой-то пересылке был заколот рукой неизвестного зека, отомстившего ему за своих.

Обычная в те годы лагерная история.

Прошел месяц. Я был выписан из лазарета в инвалидный барак, откуда на работу не гоняли. Но, в общем, инвалидов не баловали, им оставалось лишь голодать и спать. Убогое зрелище представлял из себя этот барак. На голых нарах сидели и лежали старики и больные. Матрасы и подушки выдавались в рабочие бригады, а здесь под боками была лишь доска, укрывались рваными и замызганными бушлатами. В промерзшие и худые окна дуло из степи, поэтому закутывались в бушлат с головой и тихо ждали, когда поведут в столовую.

Стоял жестокий февраль с ветром и морозом. За порогом лицо обдавало жестким снегом, сыпучим, как песок. Уже не было на мне спасительных сапог и шинели. Пошли за

две пайки хлеба, несколько котелков баланды и за разлапистые дырявые валенки, как говорили соседи, «тридцать третьего срока». Вид зимнего лагеря наводил уныние на душу, и спасение искали во сне. Библиотеки не было, редкие книги, ходившие по рукам, были зачитаны до дыр.

Голод подтачивал силы. Голод стал постоянным спутником моей жизни с августа сорок первого года. Голодал в лагерях на Эльбе, где наелся лишь в короткий промежуток между приходом английских войск и незабываемым маршем по разрушенной Германии и Польше летом сорок пятого. В солдатчине – в Белоруссии и на Костромщине – редко выпадали сытые дни. И получилось, что впервые я нормально питался лишь в Бутырке, в камере с немецким генералом. Теперь опять голод, которому не видно конца. Под своим бушлатом, примиренный с хроническим отсутствием еды, пытаюсь оттолкнуться от мыслей о ней, грезил о прошлом, напрочь отменяя настоящее и будущее...

Но однажды случилось непредсказуемое. Я лежал на нарах, и меня что-то разбудило. Я стянул с головы бушлат.

– Этот? – спросил человек в белом полушубке и новеньких сапогах гармошкой. Сапогом он меня и разбудил. На сытой физиономии его была скука.

– Этот... – робко сказал худой старик, мой бригадир.

– Вставай. Пошли, – приказал придурок.

Мы вышли в снежную метель.

– Образование? – спросил он.

В исключительных случаях в лагере нужно завышать уровень образованности. Это я знал и, смутно на что-то рассчитывая, ответил:

– Высшее.

– Значит, считать умеешь?

– Считать?

– Ну, до тысячи к примеру?

– Могу.

– Кто я такой, знаешь? – спросил он, ошупывая меня взглядом, и прибавил: – Я заведующий кухней. Будешь на раздаче принимать миски у бригадиров. Под расчет: ни одна чтоб не пропала...

Так я очутился по другую сторону заколдованной черты, отделяющий службу от простых смертных зеков, сытых – от голодных. На раздаче было мокро. По плитам пола текли грязные струи. В валенках-развалюхах я торчал перед окошечком, в которое поступали миски. Я пропустил через свои руки десятки и сотни тысяч. Стоило взглянуть на стопку мисок, чтобы определить, сколько их в ней – 50, 40 или 35. Бегом тащил посудомоям. Трижды в день по два часа – миски, миски, миски. Я и ночью не мог избавиться от них, снились постоянно...

Зато три раза в день горбатый Гришка-раздатчик, стукнув трижды черпаком, метал по металлической крышке стола полную миску овсянки или пшенки. Голод постепенно разжимал когти. Я очень уставал (в обязанности входило помогать посудомоям) и, доб-

равшись до нар, валился полумертвый, но чувствовал, как с каждым днем прибывают силы, а значит, и надежда, что еще не вечер.

В Степлаг я прибыл готовым романтиком, мечтая о встречах с настоящими людьми, которых навоображал, о борьбе, которая могла оправдать жизнь.

Иван Яковлевич Соловьев был просто одержимым. Не забыть мне первого впечатления! В переполненной палате Иван читает стихи. В полный голос. Выздоровливающие и санитары, не отрываясь, смотрят на голубоглазого молодого человека, который чеканит каждое слово, пылкий и вдохновенный:

*...Пройдут года — узнает вся Россия
И содрогнется в страхе от стыда,
И люди спросят: кто они такие,
Те ироды, что правила тогда?!
Но я поэт! И долг велит мне первым
Спросить у вас, откуда вы пришли,
Христопродавцы, каины и стервы,
Как стали вы владыками земли?..*

Я привел лишь восемь строк из поэмы «Зачумленный», в которой автор обращался к светлому женскому образу, мелькнувшему в его жизни, изобличая при этом «Чудище обло»... Как рассказал Иван, в Дубровлаге * он тяжело болел, и выходила его докторша, к которой он и обратился потом со своим посланием.

Есть такие протестанты, правдоискатели, «русские мальчики» (по Достоевскому). По настоящему я познакомился с ним перед выпиской, узнал его прошлое, о котором, впрочем, он говорил неохотно. Старше меня лет на пять, он после трёхлетнего заключения считал себя «битым» лагерником. Кроме обычного для всех степлаговцев «четвертака», имел ещё срок, десятилетний, по той же 58-й. Получил в Дубровлаге, где сблизился с баптистами и писал для них гимны.

Наши беседы неизменно сводились к одной теме — *Россия*. Иван явно тяготел к славянофилам.

— Есть на земном шаре Россия, значит, есть на земле Бог, — рассуждал он. — Недаром первое, что сделали новые власти, — стёрли само имя России с географической карты!..

Пригожее умное лицо, голубые глаза, порывистость речи и движений — таким остался в моей памяти Иван Соловьёв, смело бросивший вызов тирану, правившему великой страной. Стихи его в суровых буднях Степлага казались мне подчас наивными, но не надо забывать, что за рассказанный шёпотом анекдот давали тогда десять лет. Меня подкупала в Иване готовность идти на жертву и страдания. Россия была жива, если в самые глухие годы террора жили и не молчали добрые, умные, честные сыновья её, «русские мальчики», как называл их Достоевский. Решительные и энергичные, они прошли, как сон. У переживших остались в памяти их образы и «обрывки неведомых творений»...

* По документам — Дубравлаг (Дубравный ИТЛ). В мемуаристике — Дубровлаг.

*Пусть я умру. Ведь поздно или рано
У всех у нас с землёй порвётся связь.
Но те, кто выйдет к свету из тумана,
Я знаю, скажут: умер он, борясь!..*

Это обращено уже к новому времени, к новым поколениям.

То, что Николай Башлыков был хлебобрезом, настораживало. «Придурков» опасались. Он первым подошёл ко мне однажды вечером после работы и заговорил. Моя уклончивость его подстрекнула, он стал настойчивее искать встреч. По его словам, он всегда тянулся к людям, которых считал образованнее и начитаннее себя. Постепенно беседы наши становились откровеннее, и вскоре мы подружились. В молодости человек доверчив и открыт. Потом приходится жалеть об этом или благодарить судьбу, всё проверяется в испытаниях. Можно сказать теперь: я не жалею, что встретился с Николаем Башлыковым.

К внешности его надо было привыкнуть. На первый взгляд, в ней была какая-то неправильность, несуразность. В крупной голове на слегка перекошенных плечах было что-то симпатично верблюжье. Про таких говорят: кость широкая, но исхудалая. Довольно большого роста, он чуть горбился, но двигался быстро, уверенно, ловко. Взгляд из-под сдвинутых бровей казался слишком пристальным, даже дерзким, но в разговорах Николай был добродушен, участлив и, что важно в тех условиях, почти всегда весел, неисчерпаем на шутку и смех. Подшучивал над недостатками ближних, более всего над самим собой, но в шутках его никогда не было ничего обидного. Редкое качество.

Единственное, над чём не шутил, была война. В войну Башлыков служил во власовской армии. В 1944-м году к нам, остовцам, приезжали власовские пропагандисты, встречали мы их враждебно и расклеивали против них листовки. Тогда всё выглядело ясно: немцы — враги, враги нашей родины, нашего народа, наши враги. Тот, кто с ними, тот против нас. Но годы идут. Всё дальше то бурное время, война стала историей, появилось множество исследований, воспоминаний и книг, и те события предстают во всей сложности, которую невозможно изменить, но можно и надо изучать. В последние годы проявилось внимание исследователей к движению, которое называется власовским. Мне как зеку пришлось видеть власовцев в лагерях на юго-востоке и на севере. Одинаково обезличенные, заклеянные и брошенные в один котёл, на одни и те же нары, мы чувствовали себя товарищами (в чём наши гонители достигли-таки успеха!).

В отличие от эмигрантов гражданской войны, поневоле всё растерявших, ущербных и угасающих, новое поколение политэмигрантов (а к таковым можно ли причислять власовцев) было жизнестойким, оптимистичным, верило в будущее России. В этих обыкновенных русских людях, из бывших советских, была внутренняя бравада тем, что они прикосновенны к странному, необычному эпизоду войны. Они продолжали верить в правоту своего выбора.



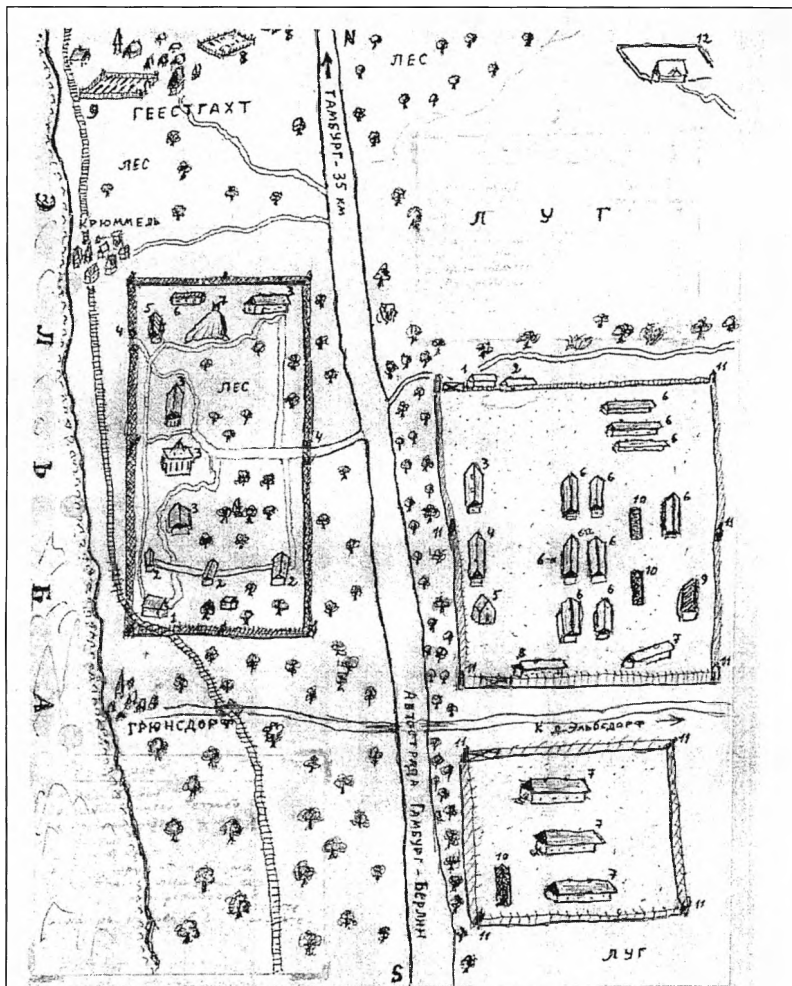
Семейная фотография. 1929–1930. (Слева направо: бабушка Дорорея Ивановна, Лёня Ситко, мама Екатерина Яковлевна, сестра Анастасия, отец Кузьма Макарович)



Лёня Ситко, 3–4-х лет.
Николаев. 1930–1931



Лёня Ситко, 14-ти лет.
Николаев. Июнь 1941



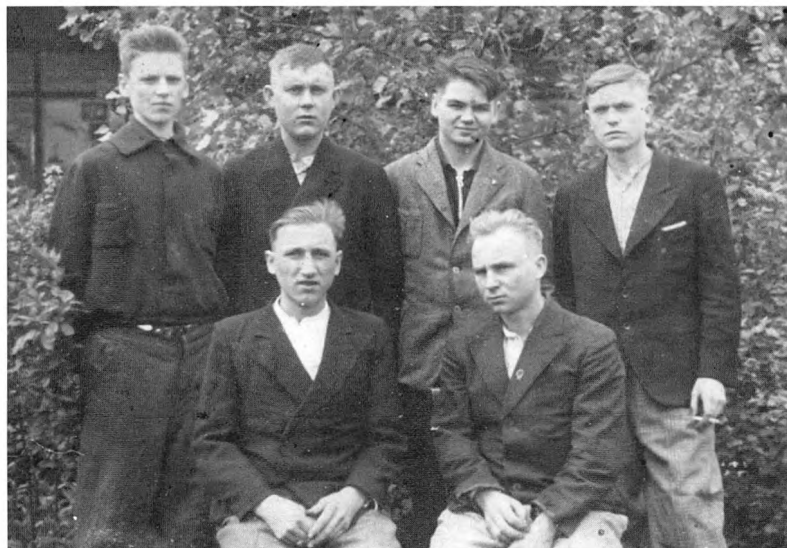
Крюммель - фабрика

1. Наш бетриб.
2. Цеха нашего бетриба.
3. Прочие разные цеха.
4. Вахты.
5. Управление фабрикой.
6. Канцелярия фон Баума.
7. Камера в башне на горе.
8. Лагерь иностранных рабочих в Геестгахте.
9. Лагерь остоццев в Геестгахте

Крюммель - лагерь

1. Вахта.
2. Комендатура.
3. Пищеблок.
4. Лазарет.
5. Амбар - "клуб".
6. Мужские бараки.
7. Женские бараки.
8. Лагерфюрер.
9. Уборная и умывальник.
10. "Шели" от бомбежек.
11. Сторожевые вышки.
12. Бауэрская усадьба, загон для скота.

План-схема концлагеря в Крюммеле. Ноябрь 1943 – апрель 1945



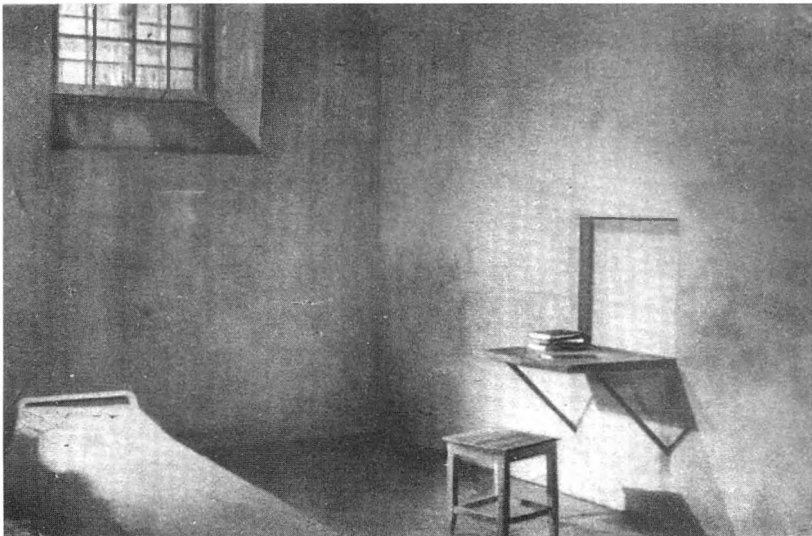
Групповая фотография оstarбайтеров. 12 мая 1943.
(*Стоят: Леонид Ситко, Сева «студент», Петр Пруссов, Николай Гончаренко*)



Леонид Ситко после освобождения
из концлагеря. Май 1945



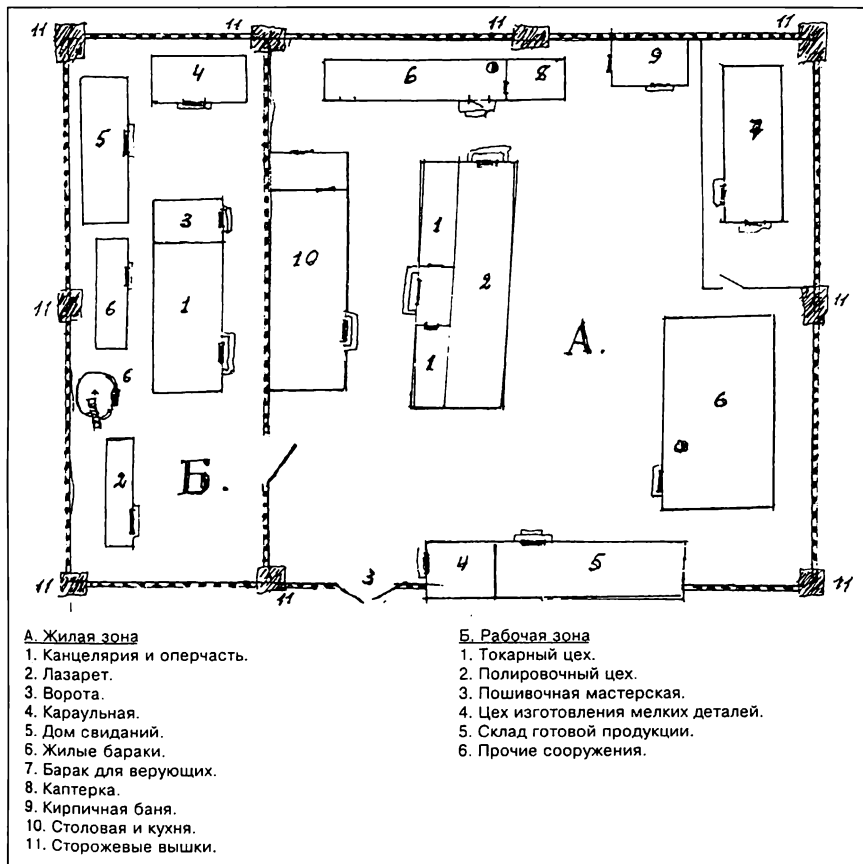
Леонид Ситко. Стройбат. 1948



Одинокaя камера Бутырской тюрьмы. 1948



Кенгир. Степлаг. 1949–1950 (этюд)



План-схема Минлага. Осень 1951 – весна 1956



Леонид Ситко. 1-й Горный. Инта. 1953.
(Портрет работы художника Николая Раева)



Игорь Ковальчук-Коваль, волонтер
Русского Шанхайского полка.
Шанхай. 1933

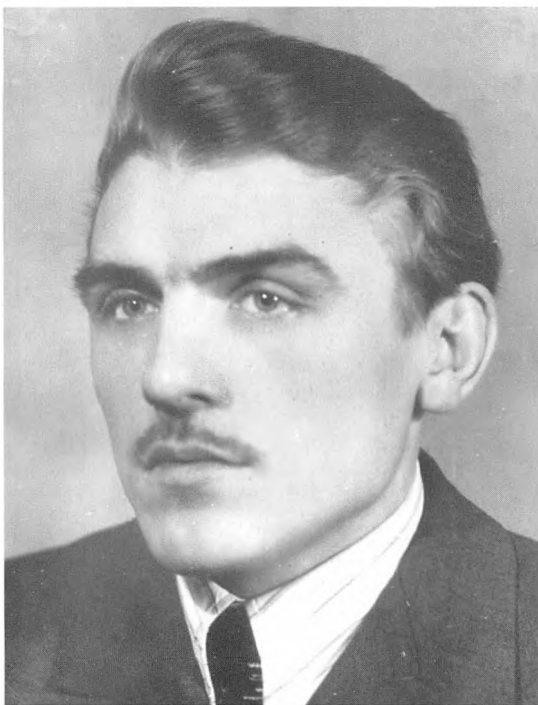
Игорь Ковальчук-Коваль. 1950-е
*(Портрет работы лагерного
художника И. Штормера)*





Георгий Терешонков. 1941

Николай Башлыков. Май 1955





Александр Околёснов.
Инта. 1955-1956



Валентин Соколов.
Инта. 1957



Юрий Степанов.
Инта. 1956



Виктор Булгаков.
Инта. 1954



Ярослава Людкевич.
Инта. Лаборатория. 1957



Галина Мышкина. После сдачи
экзаменов на врача. Начало 30-х



Ксения Петровна Ковальчук-
Коваль. Инта. 1954



Леонид Ситко, Ольга Бинкис, Борис Оксюз.
Инта. 1955



Вид с террикона 2-1 шахты.
Инта. Лето 1956



Леонид Ситко.
Инта. 1955



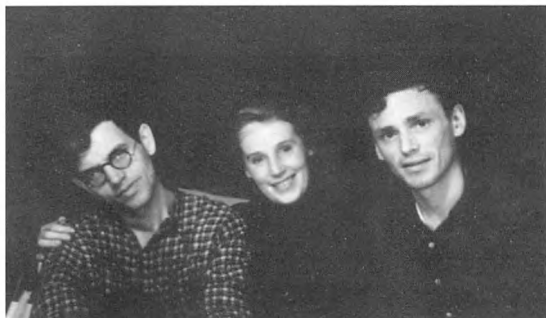
Леонид Ситко. 1-я шахта.
Техкабинет. 1955



Сборная по хоккею 4-го ОЛПа.
Март 1955



Дмитрий Дудко (слева)
и Евгений Дивнич.
Инта. 1954



Александр и Варвара
Околёсны, Леонид Ситко.
Инта. 1957



Групповой портрет участников
литературной группы
при газете «Искра».
Инта. Январь 1957.
(Слева направо: Евгений
Смирнов, Николай Житков,
Валерий Фролов, Леонид Ситко,
Корбец [?])



Леонид Ситко. 1-й Горный.
Школа. 1955

Леонид Ситко. Инта. Ноябрь 1956





Леонид Ситко. Инта. Август 1957



Леонид Ситко. Инта. 9-я шахта. 1958



Газомерщики перед спуском в 9-ю шахту. Август 1958

Главное, с чем они спорили, было мнение, что они, в общем-то, защищали национал-социализм. Хотя как тут спорить? Вооружали и одевали их гитлеровцы! Они настаивали на том, что Гитлер был для них таким же врагом, как Сталин, поэтому-то они и потерпели неудачу. Немцы, по их словам, не напрасно тормозили движение, они боялись его больше, чем большевиков, и обратились к нему с отчаяния, когда уже было поздно...

Башлыков много рассказывал о себе. В отличие от соратников, воздерживался от личной оценки движения, просто делился фактами своей жизни. В 41-м попал в плен в киевском котле, два года находился в нечеловеческих условиях военнопленных лагерей. Мучительные раздумья об исторических бедах родины привели его в лагерь под Берлином, куда собирались будущие офицеры-власовцы. Пройдя курсы пропагандистов, через год он командовал уже ротой в дивизии Буняченко. На смотре роту отметили за строевую и боевую подготовку, и Власов вручил Башлыкову именные часы. Затем последовал страшный путь по Германии — в сторону Чехословакии, когда дивизия вышла из подчинения Вермахту. Ожидая нападения немецких войск, связалась в Праге с чешскими патриотами, чехи восстали, и первая дивизия РОА помогла им бить немцев. После чего в походном порядке пошла сдаваться в плен к американцам.

— Впереди были американцы, — рассказывал Башлыков, — позади советские танки. Американское командование принять нас отказалось. И наш генерал, Сергей Кузьмич, отдал свою последнюю команду: «Разойдись! Спасайся, кто может!». Началась паника. Офицеры и солдаты спарывали знаки отличия с мундиров, кто мог, переоделся. Немало людей постреляли себя. Тысячи разбрелись по лесу, а по следу шла облава. Помню, погнал я коня в чащобу, спешился, погладил его по спине, давай, мол, спасайся. Сам вытащил пистолет... В этом месте несколько дней назад стояла, видимо, немецкая часть. Валялись консервные банки, ящики из-под патронов, обрывки газет. Я мысленно представил недолгий мой путь под солнышком и уже прощался с жизнью, когда взгляд привлекла втопанная в траву бумажка. Я поднял её. Это был листок из какой-то книги. Над синим потоком возвышался коричневый утёс, а на утёсе обнажённая женщина в соблазнительной позе расчёсывала длинные до пят волосы. «Лорелая!» — сработала память. Дешёвый лубок, но это изменило ход моих мыслей. Умереть успею, жизнь ещё не исчерпана. Если погибло движение и армия, лично каждый из нас не должен терять надежду. Я свистнул коня, вскочил в седло и поскакал искать ближайший контрольно-пропускной пункт советских войск...

Дальнейшая судьба Башлыкова была обычной для бывшего власовца. Из пяти лет ссылки два года он добывал «золотишко» в Сибири. Затем за ним приехали, пересудили и дали *четвертак*. Так он попал в Степлаг.

Тогда в лагере многие писали стихи. Николай тоже. Помню эпитафию к какой-то из его поэм, где русские постоянно сражаются с иноземными захватчиками: «Лёгкие победы не льстят сердцу русскому. Александр Суворов». Учился он больше всего у Маяковского,

Асеева, Кирсанова. Стихи напоминали собою автора и его жизнь, казались нарочито корявыми, но это были стихи. Теперь нас, пишущих, было трое.

Вскоре меня «вытурили» с раздачи и из инвалидного барака: кум распорядился. Он вызвал меня, и всё произошло по рассказу Кривцова. Разочаровавшись в моих «патриотических» чувствах, капитан Куранов затопал ногами. На следующий день меня списали в рабочую бригаду на «общий котёл».

В Бутырке я сам попросился у начальника на этап, и он упёк меня в Степлаг. Теперь я почувствовал, чего лишился: споры, получасовые прогулки, тишина камеры, шахматы с сокамерником, раздумья в ночи, чтение днём...

Лагерь наваливался нечеловеческой тяжестью. Не хватало сил тащить тачку с цементом по доскам над котлованом, отбивать ломом куски камня от вековечной породы.

Колочая проволока, вышки. Нары в приземистом вонючем бараке. Скопище таких же, как ты. Я ещё считал, что мне повезло. Лазарет и инвалидный барак были отсрочкой от убивающей физически и морально работы, голода и холода. Рабочая зона и лагерь годы и десятилетия давили и коверкали жизни миллионов людей, лишая их надежды.

С какой сумятицей в голове поднимается новичок, бежит в столовую, идет в рабочую зону? Сознает ли он, почему жизнь свелась к отчаянной схватке за пайку хлеба, к полубезумному взгляду из-под уродливой арестантской ушанки? День за днём, год за годом — обыски, стрижка головы, рудник, прожектора, брань конвойных, овчарки, а конец срока прячется в степной дали или ядовитом дыму терриконов над чёрной ледяной речкой...

И все же, и все же, что, в конце концов, помогало человеку держаться? В тёмном царстве зоны то там, то здесь вспыхивали искры, чертили светящиеся линии, пересекались, гасли, вспыхивали вновь. Были люди, не потерявшие лица, преодолевшие лагерь. И те, кто молча готовился в побег, и те, кто собирал обвинительный материал против системы (ни один из фактов не должен пропасть!), и те, кто накапливал знания, вникал в происходящее, искал причины и следствия. Именно оттуда, из тех лет нашего пребывания в Степлаге, тянутся предпосылки будущего восстания кенгирцев, будущих «сорока дней» вооружённой борьбы с озверевшими карателями. Новым поколениям стоило бы с уважением отнестись к этим героическим усилиям, как бы канувшим в Лете. Немногие вернулись из ада. Ещё меньше их теперь осталось в живых. Теперь на тех местах — никаких следов и знаков. Кажется, и название «Кенгир» исчезло с карты. Теперь там — весёлые города или молчаливые многослойные пески...

Коротка память отдельного человека, с ним и кончается, он смертен. Долга и плодотворна память народная, память народа.

Не знаю, то ли бригадир решил перевести меня с непосильной работы в группу маляров и штукатуров, где я мог бы быть более полезен бригаде, то ли кто-то из влиятельных зеков (им мог быть Николай или тот же Иван, близко стоящий к лагерным медикам)

«побеседовал» с бригадиром в жилой зоне, но я был включён в бригаду, занятую на строительстве соцгородка.

Сначала и тут меня обескураживали метраж, наряды, проценты. Но я старался и быстро приноворился, даже «насобачился», набил руку. Работа мне нравилась не только тем, что посильная, но и тем, что помогала осуществить некий план, одновременно влеветший нам с Иваном в голову. Что ж, задумано — будет сделано...

Я работаю в промёрзлом подвале Дома культуры, громоздкого сооружения в «азиатско-европейском» стиле, я работаю мастерком и под стук сердца заглаживаю последние неровности стены. Волнуюсь не напрасно. За кирпичной кладкой — тайник. В нём бутылка из-под шампанского, которую раздобыл Иван и которую мы туго набили пакетиками с тонкой, мелко испанной бумагой. Горлышко, заткнутое резиновой пробкой, засмолили, и теперь бутылка в глубине толщенной стены, в подвальном помещении, затерянном в лабиринте стен, переходов, коридоров...

Надежды, что её когда-нибудь обнаружат и мир узнает правду о нас, почти нет. Мы рассчитывали на то, что кто-то из нас, кому удастся дожидаться воли, вернётся сюда и вскроет тайник. Но будет ли это время? Будем ли мы?

Я знал, что друзья в жилой зоне волнуются, ждут конца рабочего дня, моего возвращения. Целый месяц, пока я привыкал к новому месту, мы трое собирали свой «архив». Делалось всё исподволь, потихоньку, через близких знакомых, которым верили и которые даже не знали, зачем мы выпрашиваем у них то одно, то другое. Просили прочесть, а сами копировали, переписывали, придумывали для авторов псевдонимы, которых они не знали. Словом, законспирировались надёжно. Материала хватило бы на солидный альманах. Рассказы о судьбах, письма погибших лагерников, краткий отчёт врача Г.В. Мышкиной об умышленном создании нечеловеческих условий в томских лагерях (статистика, факты смерти от дистрофии и т. п.), очерк развития казахстанских лагерей, подробная справка о Степлаге, а также стихи. Их было много: поэмы Ивана Соловьёва «Зачумлённый» и «Таракан» (сатира на Усатого), отдельные стихи Башлыкова и даже мои (я тогда только-только пытался изобразить что-то в рифму, конечно, идейное). Украинские стихи Миши Иванцова и узбекские — Фавзи. Харбинская поэтесса Валентина Лапина ухитрилась на развёрнутом инфолио листе вместить целый сборник своих по-ахматовски коротких и очень лиричных стихотворений. Стихи Чудинова, Александра Сидоренко и Руфи Тамариной. Посылку в будущее сопровождало «Послание к потомкам», составленное мною при участии Ивана и Николая. Только мы трое знали о месте захоронения. Но знать должен был один. Трёх человек оказалось слишком много для одной тайны.

Но пока суд да дело, я тихо радуюсь и поспешно заглаживаю сырую стену, уже схваченную морозом.

Как-то я попал на постройку горно-обогатительного комбината в нескольких километрах от Кенгира. Сотни зеков в глубоком котловане добывали камень для будущих

железобетонных конструкций. Транспортёр бесконечной чередой нёс камень наверх. Наша бригада грузила камень на машины.

Однажды в грузовике с полным кузовом заглох мотор. Вольнонаёмный шофёр сел за баранку, мы облепили полторку и под команду одного из зеков стали машину раскачивать. Мотор завёлся, грузовик сдвинулся с места и пошёл. Я не успел отскочить, и заднее колесо подмяло меня и наехало на ноги. В какое-то мгновение я чуть не ухватился за колесо руками, чтобы повернуть его обратно. Слава Богу, не ухватился и остался жив... Машина покатила, а я прошёл несколько шагов и почувствовал, как волна пламени и боли поднялась по ногам и по телу. Я упал. Через час к носилкам в коридоре женского лазарета, где теперь была одна мужская палата, вышел хирург Фустер. Пощупав ноги, он сказал:

— Счастливый. Кости целы. Будете у меня в хирургическом.

Какое блаженство! Вместо разводов, шмонов, бесконечно долгого дня на стройке — наблюдать, глядя в окно, как день идёт к вечеру, болтать с медсестрой в белоснежном халате или читать бог весть как уцелевшую в лагере книгу.

О нашем хирурге я уже был наслышан. На родине он был коммунистом. Участвовал в войне против Франко. В числе республиканцев во Франции был интернирован, но через некоторое время смог перебраться в «первую социалистическую»... Горячий, порывистый, не умеющий молчать, он, естественно, оказался за колючей проволокой. Ему ещё повезло. Только врачу можно было работать в лагере по специальности. От общих работ был избавлен. Но был также избавлен от своих иллюзий. Через руки Фустера прошли тысячи дистрофиков и покалеченных. И его вера не выдержала потрясения.

О врачебном искусстве Фустера ходили легенды. Мне припоминается случай с одним несчастным венгром. Помешательство его выразилось в непрерывном потоке нецензурной брани, которой он встречал медперсонал и в безудержном онанизме (за это санитары, сорвав с него одеяло, били несчастного по голове). Ел он «по-собачьи», как бы лакая. Доктор Фустер решил вмешаться. Больного подготовили к операции. В Кенгир прикатили медицинские светила из Алма-Аты и Москвы. Гости в белых шапочках заполнили операционную. Больного усыпили под наркозом. Фустер поднял черепную кость и обнажил правое полушарие мозга. Сестра, ассистировавшая хирургу, рассказывала мне, что на сером веществе мозга больного врач обнаружил более светлое вещество, напоминающее плесень или бесформенные обрывки ваты. Это вещество врач удалил. Операция длилась три часа, и присутствующие почти не дышали...

Венгр с забинтованной головой больше не ругался, лежал тихий, и в больших глазах его было лишь изумление. Но человек предполагает, а... Вольнонаёмной заведующей лазарета, толстой и с усиками, донесли: Фустер сожительствоет с медсестрой Экко Лепп. Для начальства к лету 1949-го года тесное соседство мужской и женской зоны стало проблемой номер один. Преследовали жестоко. Руками зеков была воздвигнута между зонами «китайская стена», саманная, толстая, пятиметровая (доставляли трижды), с

ключей проволокой, с током высокого напряжения, с часовыми на вышках по оба конца её. Начальство, наверное, ночи не спало, придумывая, как пресечь связь между разнополными зонами. Карали, как могли, — карцером, БУРом, лагерной тюрьмой, этапом на другой лагпункт.

Доктор Фустер перед этапом обошёл на прощанье больных. Худое, бледное лицо его было серьёзно и скорбно. Возле койки венгра помедлил и сказал:

— Хотел из тебя человека сделать, да вот, братец, уезжаю.

Больной беспокойно завозился, забормотал, захныкал. А потом — прощанье эстонки с испанцем, и тоненькая фигурка медсестры рвалась из рук удерживающих её санитарок вслед уходящему Фустеру... Встретились ли они вновь? Экко вскоре попала в «мамкин барак», родила сына. Детей у зечек после грудного кормления отбирали, записывали под вымышленными именами и фамилиями и отвозили в детдома. Некоторые мамы, «прокантовавшись» несколько месяцев, были рады такому исходу. А другие от горя бросались на проволоку. Самые находчивые делали тайные татуировки, какую-нибудь буквочку ребёнку и себе, в надежде потом, когда-нибудь, по этой метке отыскать дочь или сына. Однако бывало, что с «большой земли» приезжали за ребёнком мамы родители и забирали внука или внучку с собой. Это разрешалось, хоть и не поощрялось: всё-таки родители и дети «врагов народа»! Я слышал, что дедушка и бабушка увезли-таки эккиного ребёнка в Эстонию.

Зима. Бригаду зекв занарядили рыть траншею в женской зоне. Работа внутризональная, вместо конвоя — три надзирателя. Время дневное, в зоне лишь освобождённые санчастью зечки, и работяги договариваются с надзирателями, чтобы те разрешили одному из них прогуляться по баракам — просить у женщин хлеба и баланды. Паёк в Степлаге одинаков для мужчин и женщин, но все знают, что мужчины на нём слабеют, а женщины как-то держатся, даже не худеют, кое-что хранят про запас. Надзиратели не возражают: на этого длинного доходягу Лауриньша вряд ли клюнет самая захудалая, пусть и изголодавшаяся по мужику зечка. Вид у латыша действительно жутковатый: лицо под рваной ушанкой обвязано грязным полотенцем, бушлат и ватные штаны (просто хлам!) держатся на завязочках и верёвочках, а поверх полотенца смотрят белёсые, почти потухшие глаза. Вылитый немец из-под Сталинграда.

Пошёл латыш по баракам да и сгинул. Надзорсостав женского лагеря перевернул всю зону и никаких следов пропавшего не обнаружил. Шмон охватил мужскую зону. Через 48 часов был объявлен «всесоюзный розыск». По рассказам бывалых людей, «всесоюзный розыск» означал усиленные наряды на всех погранзаставах Союза, то есть во всех республиканских и областных центрах на железных дорогах тысячи сексотов с размноженной фотографией Лауриньша в карманах толклись на вокзалах, в магазинах и на базарах. Среди населения близ лагеря был пущен слух, что из Степлага бежал «адъютант Гитлера». А был Лауриньш полуграмотный крестьянин, ненароком накормивший забредших на хутор «лесных братьев»... Солдаты и местные казахи день и ночь кружили на приземистых

лошадках: за поимку беглеца обещали сахар и крупу. Личный самолёт начальника лагеря Чечева носился над Голодной Степью, как злой дух...

Через три месяца в общей камере внутризонной кенгирской тюрьмы распахнулась дверь, и в камеру вошёл цветущего вида улыбающийся мужчина. Это был Лауриньш. Напрасно его искали в степи, в столицах и приграничных районах. Три месяца он тайно отсиживался в жензоне. Новый срок за побег был бы нелепостью даже с точки зрения начальства. Дали шесть месяцев БУРа (обычная норма за связь с женщинами), и довольный латыш поведал свою историю.

Когда рыли траншею, в одном из пустых барачков он наткнулся на двух освобождённых от работы бригадиров, бывших воровок. Те пригласили его к себе в угол, усадили на нары, накормили «от пуза» и, болтая о том о сём, предложили жить с ними как с женами. «Мы тебя спрячем, — сказали бригадирши, — у нас и хавира готова. Поначалу откормим, а войдёшь в силу — будешь спать то с одной из нас, то с другой. Согласен?». Недолго размышлял Лауриньш, всё равно предстояло загибаться на общем режиме, сроку конца не было видно, а тут и отъесться можно, и баб попробовать, а там пусть хоть расстреляют. Девки подняли кусок материи на стене (бригадирки могли баловать себя всякими «ковриками»), вынули две доски, и Лауриньш пролез в тайник, встроенный между барачной стеной и вагонкой для спанья. Помещение его, тёмное и узкое, было в рост человека. Бригадирши заранее набросали тряпья, чтобы мог спать, снабдили и ведром для естественной надобности. Днём латыш отлёживался в своей норе, после отбоя вылезал в набитый битком и спящий барак и, подвернув выше колен штаны, с головой закутавшись в одеяло, совершал в проходе между нарами прогулку да и заваливался к какой-нибудь из своих временных жён. Под утро тихонько убирался в свою дыру. Минуту два месяца, на третий он заскучал. Стали обременять обязанности двоеженца. Кроме того, между ссучившимися воровками пошла свара, сцены ревности. Вдобавок ко всему полтора зечек почуяли в барачке мужчину. Многие лишились сна, завидуя и обливаясь слезами. И кто-то не выдержал, настучал начальству. Начальство вечером в полном составе нагрянуло в барак. Сам полковник Чечев рванул со стены ряднину, начальник режима собственноручно вытащил доски, и толстый Чечев зычно проорал:

— Ну, погужевался, герой? Довольно с тебя! Вылазь!

— Спасибо, что выручили, гражданин начальник, — появляясь, весело сказал Лауриньш.

Бригадирши получили по два месяца БУРа каждая. Лагерники считали, что, в общем-то, они отделались дешево.

И еще на ту же тему. Начальство хоть и жило в вечном страхе перед Москвой, но и само, поставленное в тупик, нарушало лагерные законы.

Лето 1949-го. Идёт развод. Выходят пятёрки за зону в зеленеющую степь навстречу ласковому ветру и нежаркому утреннему солнцу. Вереницы конвойных солдат, собачей успокаивает рвущуюся с поводка овчарку. Нас ждут зияющие проломы в каменном

карьере, мельчайшая белёсая пыль, заслоняющая солнце, бесконечный эскалатор, поднимающий из расщелины куски добытого камня, белые от пыли грузовики. Впереди – грязь и пот рабочего дня. По утрам час-полтора, пока нас ведут на объект, мы дышим полной грудью, вполголоса шутим, глаза жадно следят за одиноким орлом, степенно парящим в вышине, за караваном из трёх длинноногих верблюдов, за женскими бригадами, выходящими на развод, – женщины в белых косынках издали напоминают стадо гусей.

Однажды на разводе не оказалось женской бригады в количестве пятидесяти человек. Нарядчик вбежал в барак поторопить их. Женщины, в большинстве уголовницы, лежали на своих местах и никуда не собирались.

– Почему не на разводе, мать-перемать! – заорал нарядчик.

– Потише, ты... – ответила одна из зечек. – Хватит, пострадались! Давай мужиков! Не дашь мужиков – на работу не выйдем! Мы тоже люди...

– Откуда же я возьму мужиков?! – развёл руками нарядчик.

– Откуда хочешь! Хоть сам всех ...! Так и передай начальнику: без мужиков не выйдем!..

Нарядила опешил. Неслыханное ЧП! Лежат пузом кверху полсотни баб и требуют мужчин. В барак явились надзиратели, а полчаса спустя прибежал запыхавшийся начальник лагеря. Первое, что он сделал, – пообещал мужиков.

– Только ради бога-Христа-матери, не подводите меня! Идите сейчас же на развод. Мужики будут. Даю честное моё слово... Что-нибудь придумаю...

По знаку бригадирши бабы зашевелились, стали подниматься.

– Смотри, начальник! Сам, небось, с женой живёшь? Мы тоже люди. Пару дней потерпим, а там – и не уговоришь, плакала твоя работа!..

В тот же день, прихватив бутылку коньяка, начальник укатил за 10 километров в соседний посёлок, где тоже был лагпункт, у которого был свой начальник. Достать мужиков там было сподручнее, чем в Кенгире: не так бросалось в глаза.

Встретились начальники, выпили, закусили, перемолвились о погоде и об охоте. Затем разговор пошёл серьёзный:

– У меня на объекте работка есть одна. Не под силу моим бабам. Доходят быстро, а замены давненько не было. Не смог бы ты удружить – одолжить бригаду мужиков на месячишко? План не стоит, а с погрузкой – жидковато...

– Ты что? – округлил глаза начальник мужской зоны. – Да разве можно! Попортят твоих баб, и ни плана, ни девок. Все уйдут в мамкин барак...

– Изоляцию обеспечу, – заверил гость и раздумчиво сказал: – Помню, в сорок седьмом году на сводных работах пахали вместе мужики и бабы, и план не стоял, даже переполнялся.

– Да, бывало, – ухмыльнулся хозяин, – ещё какой-то мудрец древний сказал, что бабы без мужиков дурнеют, а мужики без баб тупеют. Ладно, по рукам, выделим бригаду на две недели, разгрузят ваш карьер.

Наутро нарядчик сказал на разводе бригадиру мужской бригады:

— Идёте на другой объект.

— Так мы на нашем не кончили, — забеспокоился бригадир.

— Ничего. Две недели будете на другом, начальству виднее.

Повели конвойные мужиков. На работу никто не спешит: ни зеки, ни конвой. Работа не волк, в лес не убежит: и солдатам целый день на вышке торчать, и зекам втыкать тоже целый день. Привели к рабочей зоне. Мужики удивляются. За проволокой бабы машут косынками, кричат:

— Эй, мальчики! Это мы вас вытребовали!

Конвойные ушли в дежурку, потом вышли, открыли ворота.

— Первая пятёрка вперёд!

И сошлись мужики с бабами. Разговоры, смешки. Потом часа два на объекте не видно было ни души. Наконец то там, то здесь загремела лопата, зазвенела кирка. И что же? Работали весело, с шутками и прибаутками. Последний доходяга ходил петухом, зечкам приходилось его сдерживать.

Всё вышло, как загадали. План был перевыполнен. Но скоро стало заметно, что многие из женской бригады беременны. Впрочем, с Большой земли доставили новые партии женщин, и небольшое своеволие двух начальников сошло им с рук.

Лето, жаркое казахстанское лето. *Лагзоны* гомонят, ходят на объекты. В воскресенье выгоняют зеков возводить стену, а вместо деревянных вышек — саманные башни. Степь, вначале зеленевшая кануром и верблюжьей колючкой, выгорела от солнца, посерела, зато небо здесь — бездонная синяя высь днём, а ночами — низкое, бархатное, ярко-звёздное. Лагерник в белых заплатках, на которых чёрной, как дёготь, краской — номера. На правой штанине выше колена, на груди и спине, а четвертая пришита к шапке. Для начальников удобно. Чуть что, надзиратель уже рисует твой номер в своей книжице. Или летит над Кенгиром самолётик, и из оконца выглядывает полковник Чечев, и сразу ему видно, кто там на земле ползёт, зек или надзиратель. Ещё не закрывают на ночь, это будет потом: ночи в закрытом на замок бараке с громадной смердящей парашей в проходе. А пока мы после отбоя прохлаждаемся на свежем воздухе, поглядывая на небо. Там с детства знакомый светящийся рисунок, несколько смещённый к северу.

Недалеко от столовки — сцена и ряды скамеек. Здесь наш клуб, сюда мы собираемся: Николай и Иван, Саша — добровольный переписчик стихов, узбек Фавзи, грузин Гога, Миша Иванцов из Западной Украины. Пёстрые по судьбам, о чём толкуют, горячатся эти люди со сроками на полную катушку? О строке или рифме в новом стихотворении кого-то из нас, о том, Брюсов значительнее для русской поэзии или Блок? Тогда мы не знали Пастернака, Мандельштама, Цветаеву, Ахматову; их не издавали. Ходила по рукам затрёпанная пожелтевшая книжка стихов Есенина (год издания 1946-й). Саша быстро скопировал её, и, загипнотизированные магией слов, мы читали Есенина днём и ночью, про себя и вслух:

*Обратись лицом к седому небу,
По луне гадая о судьбе,
Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе...*

Или:

*Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звёздного огня.
Те, кого любил я, отреклись,
Кем я жил — забыли про меня.
Но и всё ж, теснимый и гонимый,
Я смотрю с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за всё благодарю.*

Среди нас иногда появляется, поблёскивая золотистой оправой очков, врач Виктор Петрович Лоскутов — низенький, полненький, чистенький. Он большой любитель потрепаться о делах парнасских. Ему, например, известно, что именно помогло Есенину выйти в свет в 46-м году двадцатитысячным тиражом.

— Есть девочка в нашей стране, — рассказывает Лоскутов, и глаза его не улыбаются, — есть девочка, к которой Отец народов привязан более, чем к кому-либо другому, хотя Светлана мало отличается от других детей, даже ходит в общеобразовательную школу. Однажды, приласкавшись к отцу, показала ему заветную тетрадку, разрисованную ромашками и исписанную крупным детским почерком. «Папа! Посмотри, какой хороший поэт. Я списала у девочек...». Так Отец народов услышал из уст собственной дочери есенинские стихи. Что он тогда подумал, наш мудрец? Наверное, что просочилась-таки враждебная кулацкая философия интеллигентствующего хулигана... В заботах по выращиванию твердокаменных «строителей коммунизма» Отцу народов приходилось заниматься и бесплодной областью литературы. Правильно, что запрещали, — стихи упаднические. Но как быть с дочкой — единственным любимым существом на свете? «Папа, девочки говорят, что совсем нет книг такого замечательного поэта!». «Оставь, читаю», — сказал хмуро. Почитал. Что ж, любовь, природа... Грустные стихи. Да, видно, такой уж народ поэты — слюнятя! Хотя бы Костя Симонов. Тоже мне коммунист! Да ладно, пусть похнычут... Можно печатать, но профильтровать как следует... Так вот и появился этот сборничек.

— У каждого диктатора свои сентименты. Наш, видно, не исключение... — вставил Фавзи.

Гога Чавчавадзе, внук поэта, поведал ещё одну легенду:

— Приближался юбилей Шота Руставели. Наш Мудрец повелел показать ему все переводы «Витязя» на русский язык. Заглянул в один, в другой. Как будто у Бальмонта хорошо, и у Петренко неплохо. Но все-таки что-то не то, нет той силы и мощи, что в оригинале... И было приказано найти лучшего специалиста по грузинской литературе. Сказано — сделано. Вождь народов спросил специалиста: «Кто из теперешних перевод-

чиков с грузинского на русский самый лучший?». «Нуцубидзе». «Вызвать ко мне!» Замялись. «Он в заключении, в лагере. Срок – 25 лет, товарищ Сталин». Товарищ Сталин кашлянул и подумал немного. Затем потребовал дело этого самого Нуцубидзе... И в одном из лагерей заключённого Нуцубидзе срочно вызвали в спецчасть. «Выдать одежду первого срока, – приказал бледный начальник. – Едете в Москву». Были сборы недолги: воронок – самолёт – Москва – воронок – Лубянка. Ночью зеку принесли ворох одежды. «Подберите костюм, приведите себя в порядок», – велел дежурный по корпусу офицер. Нуцубидзе переоделся, его побрили, накормили, и в ту же ночь два майора привезли его в Кремль. Повели. Лестницы, коридоры. И не успел он опомниться, как очутился один на один с Вождём народов. Тот курил трубку, поглядывая на стопку книг на столе. «Говорят, переводишь с грузинского?» – спросил Сталин. Нуцубидзе, еле ворочая языком, ответил: «Делал, что мог, гражданин Сталин». «Вот я почитал «Витязя в тигровой шкуре» по-русски. Не нравится. Новый перевод нужен стране...». И, не спуская глаз с Нуцубидзе, вдруг спросил: «Сделаешь?». «Условия не позволяют». «Создадим условия. На Лубянке будешь. Питание хорошее получишь. Любые книги получишь. Сиди, работай... Так как?» «Согласен, гражданин Сталин» «Сколько времени тебе понадобится?» «Два года, гражданин Сталин». «Даю тебе полтора. Справишься с заданием – свободу получишь, премию получишь». Слово своё переводчик сдержал, корифей тоже. В прошлом году вышел «Витязь» в переводе Нуцубидзе. Была и премия – сталинская. Вот такая история... – закончил Чавчавадзе, усмехаясь.

В эту минуту в лунном свете появился надзиратель:

– Ага, архаровцы! Попались!

Узнав врача, умерил тон и миролюбиво сказал:

– Ну-ка, живо по баракам.

Врачей надзорсостав «*кнокает*»... Врачи всем полезны могут быть.

Утро. Колонна зеков плетётся к объекту. На посторонний взгляд все зеки на одно лицо. Но под нагрудными номерами бьются сердца людей разных. И разные дороги привели их в эту степь, и каждый занят своим, хотя думать об этом нестерпимо больно, и лучше глушить память, гнать мысли прочь. Зачем вспоминать немецкий лагерь на Эльбе или солдатчину, зачем будить надежды, которые помогали там жить? Каждый занят сегодняшней или, самое большее, завтрашней заботой. Один спрятал полпайки в бараке и теперь мается, не будет ли *шмона?* Другой гадает, удастся ли вечером «закопать» лишнюю миску баланды. Третий перебирает в памяти поступки и слова знакомого, заподозренного в стукачестве. Кто-то строит фантастические планы побега. Но каждого в отдельности и всех вместе мучает предстоящая работа в каменном карьере, неизбежная, выматывающая, убивающая мысли, сводящая их к одному желанию: дожить, дотянуть до съёма, до возвращения в лагерь.

Бывает, в колонне разговаривают. Маленький скуластый белообрый начальник конвоя кричит: «Прек-р-ратить р-разговор-ры!» Если не унимаются, командует остановиться

и, пробегая вдоль колонны, ищет слушников. Стоят пятёрки, остановились конвойные, овчарка, высунув язык, смотрит на зеков.

— Пр-ризнавайся, кто р-разговар-ривал? — кричит начальник. И вдруг в колонне кто-то негромко, но отчётливо говорит:

— Заткни хавало, дур-рак!

Скулы и нос у сержанта белеют. Останавливается возле нашей пятёрки, смотрит на меня бешеными глазами.

— Эй ты! Выходи! — относится ко мне. Не зная всех правил, я выхожу, хотя кричали соседи: без лагерного надзирателя имею право не подчиниться!

— Я тебе покажу «хавало», — шипит начальник и громко командует:

— Д-927! В хвост колонны — марш!

За последней из пятёрок начальник, захватив мои руки за спину, щёлкает наручника-ми. Руки напрягаются, и в ответ пружины давят ещё сильнее. Колонна тронулась дальше. Стараюсь не отстать и чувствую, как немеет правая рука. Наконец подошли к рабочей зоне. Мне приказано стать ото всех в стороне. Я полагал, что наручники снимут, запишут номер и вечером отправят в кондей. Но цель у начальника более зловещая. Я понял это, лишь когда закрылись за последней пятёркой ворота и конвоиры скрылись в караульной пристройке, оставив меня одного на дороге. Зеки, чувствуя нехорошее, не разошлись, а сбились в толпу. По лицам пробежала тревога. Из толпы кричали:

— Не бойся, Лёша! Мы свидетели! Стрелять не посмеет!

Толпа не трогалась с места, все следили за караульной и за мной. Прошло полчаса, прошёл час. Зеки не расходились. Конвоиры не показывались. Ожидая выстрела из окна караулки, я стоял вытянувшись, не шевелясь. Иногда мимо по дороге, разглядывая меня, шли на свои рабочие объекты вольнонаёмные..

Убийство заключённых было делом обычным. Неделю назад солдат с вышки подо-звал к запретке инвалида и попросил подбросить пустую обойму. Наивный зек нагнулся за обоймой и был сражён выстрелом. Солдат заявил начальству, что подвергся покуше-нию, получил именные часы и отпуск на родину.

Я простоял два часа. Стукнула дверь караулки. Сержант и один из солдат, низенький кривоногий казах, подошли ко мне.

— Идешь в подразделение, — сказал сержант. — Идти не быстро, не тихо. Шаг вправо, шаг влево считается побег, конвойный стреляет без предупреждения. Кругом! Шагом марш!

Казах-конвоир шёл позади меня метрах в двадцати. Тропинка пролегла меж невысоких холмиков, поросших побуревшей на солнце травой. Краем глаза замечаю: конвоир намеренно придерживает шаг, увеличивая интервал, водит дулом автомата. Значит, реши-ли убить подальше от зоны, от свидетелей. Прохожего! Пошли, Боже, прохожего! Не успел я подумать об этом, как из-за холмика увидел вольняшку, идущего навстречу... Прошёл один, появился второй, потом и третий. Как сговорились! Проходя мимо, с любо-пытством косятся на зека в наручниках, на азиата, который так и не осмелился разрядить

автомат. Холмы кончились, мы вышли на ровное пространство. Слева позванивала проволокой жилая зона лагеря, справа протянулись солдатские бараки.

Конвойный, который успел уменьшить интервал между нами, приказал свернуть к казарме. Мы вошли в барак. Он на минуту зашёл в дежурную комнату, вышел без оружия в сопровождении здорового старшины с красной повязкой на рукаве. Я стоял, прислонившись к стене. Конвоир снял наручники.

— Откуда родом? — спросил старшина.

— С Украины...

— Во-во! Украину продал? — ухмыльнулся старшина и ткнул легонько под рёбра. Я охнул от неожиданности и боли, и солдат ударил меня по голове. Благоразумие оставило меня, но онемевшие руки не слушались, и я стал отбиваться ногами, как воры на свердловской пересылке. Мы возились в коридоре несколько минут. Все тяжело дышали. Но душ они ответили, и старшина сказал:

— Ладно, веди его к полковнику...

Чечев с весёлыми дурашливыми глазами говорил недолго.

— Ты свободен, — сказал он солдату. — А тебе — пять суток.

Он нажал кнопку звонка на столе и вызвал надзирателя.

Генеральные *шмоны* случались раз в месяц, обязательно в воскресенье. С утра население лагеря выгоняли за зону. Одежда, простыни, мелкие пожитки зек нёс с собой: проводилась ещё одновременно и регистрация казенного имущества. На это уходил весь выходной. И в любую погоду. Помогали надзорсоставу свободные от вышек солдаты: шли в пустые бараки, опрокидывали тумбочки, сбрасывали с нар матрацы. После этого за зоной становились в ряд лицом к толпе заключённых, каждого из которых надо было «проверить на вещдвовольствие» и обыскать...

Пережившим войну вид тысяч людей, согнанных в одно стадо, всегда напоминал гитлеровские экзекуции. Среди зеков одно время бытовал слух, что Берия входил к Сталину с докладом, предлагал физическое уничтожение всей 58-й статьи. Доклад обсуждался на Политбюро, и Сталин как будто склонялся к согласию. Но кто-то (кто?) из членов Политбюро был не согласен и тайно дал знать об этом за границу. Вопрос о советских концлагерях подняли на Генеральной Ассамблее. Наши газеты сообщали, что американский представитель выступил с клеветническим утверждением о наличии лагерей в районе Колымы, Омска, Тайшета, Казахстана, Мордовии, Коми АССР и предложил создать комиссию по обследованию условий, в которых живут заключённые в СССР. Разумеется, советский представитель опроверг измышления американца. Но вместо того, чтобы уничтожить, нам спешно выдали одеяла и простыни «первого срока»...

Так вот, ходишь-топаешь по осенней грязи, ждёшь, когда вызовут твою бригаду, а время тянется. Холодно, голодно, на душе кошки скребут. За зону выгоняли в восемь утра — в барак возвращались под вечер, но надо было ещё найти свой матрац и тумбочку

и, прихватив ложку и миску, не опоздать с бригадой в столовую. А со столба из репродуктора песня тех лет:

*За столом никто у нас не лишний,
По заслугам каждый награждён...*

Иногда *шмон* падал на нас внезапно, по какому-либо поводу. Однажды утром зеки и надзиратели увидели на лагерных столбах и дверях... листовки. Написанные почерком крупным, ровным, аккуратным, листовки клеймили сталинскую тиранию, призывали ко всеобщей забастовке. После завтрака приказали оставить бараки. Между бараками и лагерной стеной — довольно обширная площадка. Сюда и согнали всё население лагеря.

— Раздется догола! Ботинки в правую руку, одежду — в левую! — раздалась следующая команда. Пять тысяч совершенно голых людей! Прообраз Страшного Суда! Решники идут сквозь строй чертей в серых шинелях, а те ищут бумаги, бумажки, хватают редкие в зоне книги, швыряют их в кучу.

— Разве не видите? Это же «Мать» Горького... — слышен робкий голос.

— Мать-перемать! Знаем мы этих горьких!

Видимо, тотальный обыск не дал результатов. Поиски продолжались. Посадили всю бухгалтерию, от каждого взяли образцы почерка и выпустили. Через 3 месяца эксперты напали-таки на след. Был арестован Миша Иванцов. Нашли по почерку. На следствии он сознался. Мишу судили. Расстреляли его недалеко от Кенгира за Чёрной речкой.

Скромный, всегда задумчивый, бесстрашный Миша Иванцов... ты презирал своего убийцу, гориллообразного старшину из тюремной охраны, и умер с гордо поднятой головой, когда он стрелял в твое Сердце. Но листовка твоя была первой ласточкой будущего восстания кенгирцев.

Пришёл этап из Сибири — «катэровцы»-25-летники (КТР — каторжные работы). Чем-то новым веет в воздухе Кенгира. С этапом пришёл скрытый дух сопротивления, хотя с виду все как будто спокойны.

Среди прибывших — критик Ананьев и писатель Кочин, автор известных в своё время «деревенских» романов. По утрам Кочин выскакивает обнажённый по пояс и натирается снегом. Ананьев — настороженный, молчаливый, от разговоров уклоняется.

А в одной из рабочих бригад — Солженицын, с которым как-то соприкоснулся Башлыков. Тот, по утверждению Николая, принёс ему однажды рукопись рассказа о том, как женщинам за связь с зеками топором рубили на бревне косы. Засиделись они тогда, и Савка-поломой подарил Исаичу пару луковиц и поил их чаем, а пришли надзиратели и набросились на них, стали избивать даже ногами. Но самому мне встретиться с Исаичем не довелось.

И был в Кенгире «день длинных ножей». Убивали стучакей. За день из рабочей зоны вывезли в лагерь пятерых зарезанных. Шестого — Валентина Бычкова — убили возле уборной в жилой зоне. «Братцы! За что? Не виноват я!» — были его последние слова. Месяца через два установили, что Бычков погиб зря.

Ещё дважды вспыхивала поножовщина. Сначала на национальной почве. Началось оссоры дневальных, двух инвалидов, — чеченца и русского. Не поделили спальный щит. В это время в зону вошли вернувшиеся с работы зеки. Темпераментный бригадир-чеченец Богатырёв поспешил на помощь земляку. Кто-то из русских бригадиров заступился за своего, сбил Богатырёва с ног. Тот стукнулся затылком о твёрдую, как камень, дорожку у входа в барак и скончался...

Вот уж вспыхнули страсти-мордасти! Загомонила зона. Затрещали доски нар, замелькали в воздухе коромысла. Нацмены объявили чуть ли не Газават. Человек тридцать русских и украинцев забаррикадировались в одной из барачных секций. С диким визгом осаждающие пошли на штурм. Надзиратели сбежали из зоны. Темнело быстро, враждующие носились по лагерю, размахивая факелами. Были убитые и раненые, но к утру поутихло. В зону вошло несколько взводов краснопогонников. Через час изолятор был набит битком. В одних камерах слышался возбуждённый говор северокавказцев, в других ругались славяне.

В ночной суматохе, охватившей лагерь, я решил перебежать из своего барака в другой, где жил Башлыков. В тёмном дворе меня внезапно ослепили фонариком. Вокруг с угрожающими лицами стояли чеченцы. Один из них подошёл, всмотрелся в меня и узнал. Это был Худзоев, вместе лежали в больничке, не раз беседовали. Он обернулся к своим, что-то пробормотал, и меня пропустили. Немножко забавно, что я обязан жизнью такому беспощадному головорезу...

Ещё одна резня — сук и воров — пронеслась по Кенгиру летом 50-го.

Летом 49-го года я пережил частые перебои сердца. Сознание то проваливается в бездну, то возвращается, будто выныриваешь из воды, чтобы опять погрузиться во мрак. Наверное, слишком много выпало сердцу нагузков, слишком открыто оно было и уязвимо. Я благодарен кенгирским врачам: Ржановичу, Смирнову, Фустеру. Маленькая тщедушная Галина Васильевна Мышкина была известна как выдающийся специалист по сердечным заболеваниям и называли её «королевой сердца». Сидела за то, что в оккупированном Воронеже работала в горбольнице, лечила не только советских больных, но и немцев. Испанец держался несколько особняком, ни с кем не сближаясь. Главврач Смирнов был в доверительных отношениях с Иваном. Позже Иван признался, что они готовили побег, и были бы приглашены и мы с Николаем, но дело с побегом не выгорело.

Приходила в нашу зону и врач Никитина, сидевшая много лет по «делу Горького». «Знаете, — сконфуженно говорила она, — Горького я видела только на портретах. Ну, книги читала... Никто из нашей «группы» никогда в жизни не видел писателя. Но все прошли по «делу Горького».

Медсестёр к нам не пускали, но с одной из них, Клавой Коптевой, высокой сероглазой красавицей с «тургеневской» косой, переписывался Николай.

Были знакомые и кроме медичек. Руфь Тамарина, в прошлом жена Михаила Луконина. Когда она получила *катушку*, бывший фронтовик прислал ей в лагерь развод. Крупная,

порывистая, она приходила в лазарет (когда я лежал в жензоне) и рассказывала о минувшей жизни, о муже, которого не осуждала, его друзьях, и среди них, Симонове. Или читала стихи. В то лето Руфь писала поэму «Современники», где лагерь не чувствовался вовсе, будто его и не было. В отдельных стихотворениях была смелее, и кое-что удостоилось нашего «архива».

Я с палочкой, прихрамывая, стал выходить. Устраивались на траве возле барака. Медсёстры, Руфь, харбинка Валя. Болтали, перемежая разговоры стихами. Мне было хорошо среди них. Когда ещё удастся смотреть на женские лица!

С одним из этапов в Кенгир прибыла киноактриса Татьяна Окуневская. Ходила, как в воду опущенная, за неё боялись. Врачи избавили её от общака, устроили санинспектором жензоны. Белый халат, тапочки, ходи – проверь гигиену в бараках. За что Окуневская схлопотала свою катушку? С чужих слов скажу, что она входила в делегацию, посланную в дружескую Югославию. Пользовалась вниманием маршала Тито. Поэтому и арестовали?..

Однако над нами уже собиралась гроза.

Взяли Ивана, потом меня, через несколько дней – Николая.

Одноэтажное, буквой «Г» здание, отгороженное невысоким колючим забором от остального лагеря, – наша тюрьма. Есть проходная, коридоры, одиночные камеры, карцеры, всё чин чином, как в любой тюрьме Союза. Одиночка чуть длиннее бутырской и пошире, доски оконного «намордника» не так плотно сбиты. С табурета подтянувшись за решётку, можно увидеть сквозь щели проволоку зоны, белый колпак раздатчика или бредущего на смену надзирателя.

Тюрьма оказалась доступнее извне, «провинциальнее». В первый же вечер моей «сидки» Николай показался поверх досок окна и протолкнул в камеру свёрток, в котором нашёл я две пайки хлеба, кулёк сахара, самосад и спички. Теперь, затаиваясь крепчайшим табаком, можно было жить, думать...

Вспомнилась шахматная партия с опером незадолго до моего ареста. В бараке зеки играли между собой. Внезапно в секции появился лейтенант Куранов. Блеснул на меня восточным глазом: «Сыграем?..» Потеснились, опустился он на табурет, стали играть. Он сопел, кряхтел, после третьего проигрыша, красный, разозлённый, ушёл, а окружающие стол зеки долго ещё смаковали посрамление «вражины», как обзывают своих подследственных бутырские чекисты... Что ж, теперь Куранов проведёт партию беспроигрышно...

Жизнь воспринимается на слух. В тишине тюрьмы справа по коридору стукнула дверь, стукнула вторая. Пара минут, и кого-нибудь потащат на допрос.

Следователь Дерягин – невыразительный человек, серый какой-то. Лет сорока пяти. Работать бы ему счетоводом в колхозе, отмечать трудодни тёти Глаши! Нет же! Сиди, вникай в малопонятные стихи, пиши про них чёрт знает что! Он низко наклонял голову, как бы нюхая строчки, которые накропал. Волокита прежняя: отвечаешь на вопросы так, записывает иначе. После долгой пикировки начинаю горячиться, доказывать, что те или

иные лица не имеют ко мне никакого отношения... «Имеют!» — кричит Дерягин. «Не имеют!» — кричу я.

Вот уж полтора месяца, как «три мушкетёра» в одиночных камерах. Статьи ясные: групповое дело, антисоветская агитация. У чекистов в руках наша бутылка из-под шампанского! Лейтенант Дерягин не так уж и безобиден. Крамолу чует и в любовной *ксиве*, которую зек перебросил зэчке. А тут такое!.. Только допытывайся, кто писал, собирал, замуровывал. У нас, у меня в голове другая работа: как гебисты узнали? Кто проболтался? Кто донёс?..

Я готов к самому худшему, но только для себя. Линия поведения — отмести всех! У следователя список моих знакомых в обеих зонах (кто-то постарался, вспомнил!). Пререкаюсь из-за каждого, чтоб не подвести «под монастырь». Однажды Дерягин положил ручку, повёл сутулой спиной, нервно сказал:

— По-вашему, следователи — не люди. Нет, мы тоже люди. Сколько наших село, сколько пошло к стенке, вам известно? То-то же... Ведёшь допрос, заходит начальник отдела: «Сознаётся?». «Никак нет, товарищ полковник!». «Нячнитесь с ним! Ну-ка врежьте ему как следует!». И попробуй не выполни...

Со своей табуретки я удивлённо смотрел на маленькое, издёрганное *кувшинное рыло*, жалующееся на свою незавидную долю. Нет уж, пусть тебя жалеют в ведомстве Абакумова. Раз уцелел в мясорубке, значит, бил, пытал, мучил, и сколько жертв на твоей совести, знают лишь тёмные архивы ваших картотек.

Коридоры располагались буквой Т. Моя камера находилась в центре, Башлыков — в коридоре, перпендикулярном основному, Соловьёв — в левом крыле. Я часто слышал его: с надзирателями и соседями Иван говорил громко и отчётливо и как-то вечером известил о приезде Г. В. Мышкиной: несколько месяцев назад её перевели в томские лагеря. Теперь хотят «пришить» к нашему делу!

Через день-второй Г. В. прислала нам по записке: рада вернуться в Кенгир, где столько друзей, просила не беспокоиться. На допросах спрашивают о разговорах с нами и обвиняют в том, что неодобрительно отзывалась о Маяковском. «Увы, что делать! — писала она. — Не люблю, грешница, его стихов!».

Записки передал Георгий Чавчавадзе. Работая на общелагерной кухне, он сумел перевестись в тюрьму раздатчиком. Георгий тихо сказал, что в тюрьме сидят три категории зеков: воры, суки и поэты; знакомые и друзья надеются: мы держимся и духом не падаем. В следующий раз Георгий пронёс для меня книги: первые два тома «Войны и мира» и... учебник биологии.

Звучат в гулких коридорах Лермонтов и Некрасов, Блок и Есенин — всегдашние спутники человека страдающего. Население тюрьмы, даже суки и воры, поощряют чтецов возгласами одобрения, хлопают. Читают после отбоя, когда дежурный ходит по коридору не вмешиваясь или за трубочку самосада стоит «на стрёме», а мы, не видя друг друга, толкуем о нашем деле, о следствии, о том, как отвечать на тот или иной вопрос. Допуская,

что могут подслушивать, прибегаем к недомолвкам, к намёкам. Впрочем, дальнейшее показало, что надзиратели нас не обманывали. Куда им было запомнить нашу тарабарщину! И в чём-то они были даже ближе к зекам, чем к своему начальству. И неписанный порядок в захолустной стороне был вольнее, чем в сердце нашей родины. Ведь не Степлаг просто, а степлаговская тюрьма! По ночам идут разговоры, передача продуктов из камеры в камеру, обмен книгами...

Однажды в однообразии мужских голосов неожиданно вклинился женский. В карцере башлыкского коридора сидела женщина, судя по голосу и речи, молодая и интеллигентная. Это был подарок! Она знала бесчисленное множество стихов Ахматовой и Гумилёва, рассказывала и о себе. В прошлом Ирина Рыбарж окончила МГУ, преподавала английский при югославской миссии, раза два со своей подругой Окуневской ездила в Белград. После разрыва отношений с Тито всех, причисленных к миссии, замели, дали по 25 лет, отправили в Степлаг. Здесь, работая «на общих», прослышала о нас и решила нарушить режим, чтобы попасть в карцер и познакомиться с нами. За невыполнение норм на неё набросилась бригадирша из уголовниц. Ирина дала сдачу, но получила пять суток...

Угомонились и уснули обитатели тюрьмы, а мы, прижимаясь к обитым железом дверям, всё разговариваем через смотровые отверстия. О, эти молодые голоса в ночи сквозь железо и камень! В них было всё: понимание, безысходность, упрёк судьбе, но и надежда, всё-таки не убитая, всё-таки живая.

На прогулке, ухватившись за края дощатого забора, я подтянулся вверх: стали видны окна камер. Башлыков сказал, что Иван на грани помешательства, бросается на дежурных, они сговариваются избить его.

После обеда послышались удары и крики в коридоре, топот ног. Донеслось вдруг моё имя. Схватив табурет, я стал бить им о дверь. Тотчас по всей тюрьме загремело железо дверей, понеслись крики:

– Ироды! Палачи!

Я бил табуретом, пока дверь не распахнулась. За нею стояли надзиратели:

– Выходи!

– Не трогайте Соловьёва, гады!

Потащили в дежурку. Старший надзиратель (он же начальник тюрьмы, «Горилла») стоял передо мною. Тонкие губы дрожали, взгляд уперся мне в живот.

– Бунт поднимаешь? – прошипел он, разжимая и сжимая кулаки.

За спиной моей гремела тюрьма. Горилла прикидывал ещё, как бы круче наказать меня, когда вошёл офицер с монгольскими глазами. Я узнал Куранова.

– Что тут у вас? – хмуро спросил он.

– Бунтует! – пояснил Горилла. – Табуретом в дверь стучал.

Куранов встретился со мной взглядом. Несомненно, узнал.

– Карцер. Пять суток, – сказал он и, ухмыльнувшись, добавил: – Лучше я вам объявлю шах и мат, а не он...

Повезло мне. Про Гориллу ходил слух, что он исполнял в Кенгире негласные смертные приговоры: убивал за зоной людей, среди них — Иванцова (их потом эксгумировали). Был уничтожен своими же, но до этого ещё было далеко...

Карцер. Размером с камеру, только окно не в стене, а в потолке. Видно высокое белёсое, отливающее голубизной небо. Пять суток покоя. Допросы, прогулки, обеды, ужины отменены. Раз в сутки выносишь парашу, минуту-другую смачиваешь лицо под краном. Утром дают паечку в 300 граммов, на третий день — горячую баланду. Пять суток живёт лишь память — по порядку. В первый день вспоминаю Германию, во второй — армию, третий день отдан стихам и песням (как без них?). На четвёртый (общеобразовательный) — история, нужно вспомнить всё, что читал. И в последний день настраивался на допросы.

Волчки в кенгирской тюрьме были без стёкол, и дважды в них появлялась трубочка с табаком, и как-то Георгий передал в пайке записку от Николая...

Мысли о еде отменялись безоговорочно, и организм подчинялся. Но, поднимаясь на ноги, чувствовал головокружение и особую лёгкость в теле. Мучила по-настоящему жара. В незастеклённый квадрат окошка лился густой зной степи.

Дерягин всё сильнее сутулился, иногда взрывался, стучал по столу кулаком или в зловещем молчании строчил протокол. Проходили часы. А я смотрел в окно на подбитый пылью закат в степи и старался понять причудливую линию жизни, приведшую в эту голую комнату в глубине Азии, где зловредный крючоктвор, как попугай, твердит вопросы, делая вид, что занят серьёзным делом.

Однако часы у следователя не всегда были однообразно тягостными. Выходя на допрос, я думал: а, может, и сегодня придёт Бакулин? Это был рослый, с несколько анемичным лицом человек. Войдя в комнату, кивал Дерягину, ставил портфель на подоконник и с приветливой улыбкой просил у меня позволения (!?) прилечь на диван, обтянутый чёрным дерматином. «Жарко нынче. С сердцем что-то неладно», — словно извиняясь, говорил он. «Ты там пиши, — обращался он к Дерягину, — а мы побеседуем с Леонидом». И заговаривал о чём угодно, только не о деле. О литературе или истории, рассказывал иногда о себе: где учился, что читал. Поначалу я слушал его в полуха: обычная трепотня гебиста.

Лейтенант Бакулин тоже следователь, только занимался кем-то другим, и мне казалось, он хочет, притушив мою настороженность, на чём-то поймать меня, «заговорить». Но беседы шли неприхотливо, с ним было легко, политики мы не касались, «злобы дня» тоже. Я чувствовал, что ему в самом деле интересно беседовать, он ищет что-то своё, вовсе не стремясь повернуть дело против меня. Более того, в печальных глазах его явно сквозило сочувствие. Несколько рассвободившись, и я порой пускался в воспоминания, рассказывал о поездке на яхте по Чёрному морю или о налёте бомбардировщиков на Гамбург в 1943-м году. Перо Дерягина переставало скрипеть, он тоже слушал, но, поймав мой взгляд, насупливался и с недовольным видом возвращался к бумагам.

Помню, заговорили о Лермонтове, кто что любит, и Бакулин вспомнил о поездке в Тарханы. Делегацию писателей сопровождали чекисты, среди которых был и он. Посещение дома-музея, часовни и могилы поэта, парка и усадьбы оставило глубокий след. «Вечером колхозники устроили ужин в честь писателей. Председатель колхоза, уже под хмельком, со стаканом в руке обратился к гостям: «Мы гордимся нашим земляком — Михаилом Юрьевичем. Скажите нам, товарищи писатели, за что вы-то любите нашего поэта, а мы послушаем и запомним». Обсуждение запланировано не было. Наступило замешательство. Эренбург переглянулся с Фадеевым, тот с Фединым, и все посмотрели на нас, скромно сидевших тут же. Наконец Фадеев кивнул, Эренбург встал и сказал: мы счастливы находиться в этом священном для каждого советского человека месте. Спасибо, дорогие товарищи колхозники... и прочее в том же духе».

— Вы болтаете, — сказал однажды ворчливо Дерягин, — а дело стоит.

Бакулин вздохнул, взял портфель и, чуть насмешливо глядя на Дерягина, вышел. И опять пошла карусель: знаком ли с тем-то, с какой целью была «установлена связь», какие «методы связи» употреблялись и т. д. и т. п.

Не знаком... связей не устанавливал... методов не употреблял...

Возвращаюсь с прогулки и вижу: в камере второй топчан. Весь день гадаю, кого приведут. К вечеру бочком со свёрнутым матрацем вошёл Лоскутов. Испуганно и, как показалось, смущённо поглядывал из-под золотистой оправы очков.

— Виктор Петрович, какими судьбами?

— Да вот не знаю. Пришли, взяли и сюда — без объяснений...

Странно. Если взяли по нашему делу, почему посадили со мною? Почему не вызывали его никуда? Почему первые дни он редко заговаривал о следствии, потом забеспокоился, только и говорил о нашем деле, даже «советовал» мне, что говорить Дерягину?... В совершенно новой «роли» вдруг открылся почтеннейший Виктор Петрович, знаток Метерлинка, Ростана, Гамсуна!..

Есть такие «уютные» натуры, с виду робкие, вежливые чрезвычайно, и нужно время, чтобы почувствовать в человеке его настоящее нутро — прохвоста и предателя. Лоскутов явно выполнял миссию насадки... Сразу же выросла стена отчуждения и враждебности, только так можно было избавиться от него. Правда, я ещё пытался вразумить его, однажды сказал как можно спокойнее:

— Если вас что-то мучает и тревожит, Виктор Петрович, почему вам не покаяться передо мной?

Он дико взглянул на меня, ничего не сказал и утром попросил пригласить прокурора. Ночь перед этим не спал. Прокурор не являлся. Через три дня доктор объявил перед старшим надзирателем голодовку.

— Зачем? — удивился тот.

— Хочу знать, почему я здесь.

— Прокурор скажет.

— Вызовите прокурора.

— Когда придёт, доложу.

Прошли трое суток, настали четвёртые. Лоскутов отказывался от еды, не пил воду, не ходил на прогулку. День-деньской лежал на спине и, глядя в потолок, сообщал о своём самочувствии. То он слушает пульсирующую на животе жилу, то изо рта дурно запахло, то в голове посветлело, как от палящего солнца.

Моё положение было не из лёгких. А тут ещё Николай прокричал, что «Виктор Петрович — стучач!». Я видеть не мог его неуловимых за стёклами очков глаз. Его поросших светлым пухом щёчек, пожелтевших за последние дни.

Я рассуждал так: агента, ходившего в наших добрых знакомых, бросают на «работу» в камеру (может быть, провинился, а, может, просто не считаюсь с ним как с человеком); «работа» агента не даёт результата; в наказание агента держат в тюрьме; в «знак протеста» агент объявляет голодовку...

Не моё дело вмешиваться в их тягужбу. Любой человек имеет право на протест, даже стучач. На второй день я предупредил Лоскутова, что начальство не вняло его заявлению, оставив со мною: ведь я получаю паёк. В таких случаях голодовка недействительна. «Пусть! — затравленно махнул он рукой. — Всё равно не стану есть».

Есть я тоже не мог, кусок застревал в горле. Я барабанил в дверь, требуя перевести меня в другую камеру. Старший надзиратель только ухмылялся. Под вечер четвёртого дня появился прокурор по надзору.

— Почему не принимаете пищу?

— Мне надо знать, почему я в тюрьме.

— А когда узнаете, прекратите голодовку?

— Да.

Через час Лоскутова вызвали. Вскоре он вернулся, слабо улыбаясь:

— Подписался под постановлением: за антисоветские разговоры два месяца изолятора. Голодовку отменил. Сейчас принесут хлеб и баланду...

Так закончилась эта странная голодовка доктора Лоскутова.

В другое время и по другому поводу держал «сухую» голодовку, т. е. не принимал воду, и я. Но я был один. Не курил, иначе голодовка была бы недействительной. Знакомый надзиратель усиленно отговаривал меня: незачем здоровье губить, помрёшь — и не заметят.

Я задавал себе умственную работу, заставлял себя глубже дышать — так советовали старые зеки. И на пятые сутки, кроме лёгкого головокружения, никаких зловещих признаков, отмеченных Лоскутовым, я не испытывал. Тогда я добился своего: разрешили книги и бумагу. В документе, который я должен был подписать совсем по иному поводу, было сказано: «Применял буржуазные методы протеста». Начальник тюрьмы зевнул и сказал: «Не подписываешь, и не надо. так подошьём».

За досками окна буйствовало степное лето, гомонил лагерь, шла корейская война, а нас продолжали «парить» в одиночках. От Лоскутова меня вскоре освободили. Того, что накروпали следователи, было достаточно по тогдашним меркам (одна «антисоветская» бутылка чего стоила), чтобы передать «дело» в суд. Но мы отрицали почти всё (за собой

я признал, что собирал материал, переписывал и замуровывал, но ни одного автора стихов и прозы не указал). И следователи с каждым наедине поставили вопрос прямо: или мы подписываем протоколы, признав их «криминальное» содержание, или будут взяты все наши знакомые, дело приобретёт размах, всех проведут по статьям 58-10 и 58-11, дадут новые сроки. В том, что гебисты могут выполнить угрозу, никто не сомневался. Так ли не сомневался?

Мы потом с Николаем пришли к выводу, что гебисты чего-то опасались. Уж не боялись ли, что дело примет нежелательный оборот, дойдёт до Москвы, понаедут из центра новые следователи, разворочат здешний муравейник, раскопают и то, чего не следует?.. Не лучше ли покончить всё келейно, если мы пойдём навстречу?..

— Ерепенишься нечего, — сказал мне Куранов. — Ваши товарищи берут всё на себя... Очередь за вами.

— Мне нужно поговорить с ними.

— Почему же нет! Вы и так говорите с Башлыковым на прогулке, найдёте способ и с Соловьёвым потолковать. Временно его переведут в соседнюю камеру. Собрать же всех в одной камере мы не имеем права...

Вот так, когда припёрло, разговаривал с нами Куранов. Следствие ускоренно пошло к концу. При подписании 206-й статьи я не спеша листал дело. Прочитал допрос некоей Тамары Гусевой. Да, был у Ивана повод помешаться! Гусева была в курсе всех наших дел. Простодушный Ваня открылся ей. Он всегда казался мне слишком эмоциональным, взвинченным, слишком открытым.

Так же внимательно я рассматривал снимки: глухая стена, пробитая стена, бутылка, разбитая молотком, груды свёрнутых пакетиков, пачки рукописей...

Ещё одно — название нашей группы. Иван приобрёл каким-то образом резиновую печатку, выполненную довольно искусно. Круг, внутри лира, пронзённая молнией, и вырезанные слова: «Союз поэтов — Молния». Шутки ради Иван ставил печать на своих письмах в жензону. Теперь печатка фигурировала в нашем деле как знак нашей «организации», как её название!..

Оперативных данных в деле не было: гебисты берегли свою агентуру. Гусева проходила как свидетельница, которая раскололась в ходе допросов.

На проверке дежурный сказал:

— Почиститься, привести себя в порядок. Сегодня — суд!

В девять повели. В комнате, где 4 месяца шли допросы, — длинные низкие скамейки (сядешь — и колени вверх), а напротив — сдвинутые воедино столы, покрытые красной тканью, стулья. На стене — усатый низколобый профиль. Это и был зал суда.

Увидев Г.В., я бросился к ней. Мы обнялись. Она была нашим ангелом-хранителем, доброй мамой. Чекисты, как всегда, просчитались, столкнувшись с простыми человеческими чувствами: взаимной симпатией людей, попавших под пресс, состраданием, пониманием. Мы чувствовали, что необходимо заявить свою волю и правоту, но сохраняя

лицо, не впадая в нетерпимость. Ярости государства мы должны противопоставить уверенность, что будущее — за нас.

Ввели Ивана. Я едва узнал его, только глаза остались прежние (а значит, и душа!). Вечный искатель истины, измученный следствием... Г.В. гладила его по голове, шептала утешительные слова.

Вошёл Башлыков.

— Я не опоздал? Ба! Кого я вижу!

И он присел к нам, всегда готовый к шутке, в тяжёлую минуту самый верный и стойкий. Идеалист и бывший власовец, золотоискатель и поэт, он и здесь каламбурил, старался отвлечь нас от предстоящей расправы...

Надзиратель возгласил:

— Встать! Суд идёт!

Председатель коллегии, незнакомый мужчина в штатском, занял место под портретом, остальные — надзиратели, вольняги Кенгира — по обе стороны от него. Они заметно смущались. Среди папок на столе появилась бутылка, расколотая и кое-как скреплённая проволокой — вещдок № 1. Рядом — бумаги, извлечённые из бутылки. Несколько вопросов Ивану и Николаю, как и почему она была замурована в подвале ДК, и судья обратился ко мне:

— Вы зачинщик этой акции. Кто вам внушил такую мысль?..

Я неясно помню ход допроса, ответы моих товарищей и свидетелей, но свою речь помню.

— Граждане судьи! Мы проходили в школе историю и знаем, что в Испании была инквизиция. Еретиков сжигали на кострах — за то, что они думали не как все. Тогда же в Испании преследовали евреев. Старики собрались, составили об этом отчёт: места, даты, фамилии инквизиторов — и замуровали бумаги в каком-то подвале. Через 500 лет свидетельства были найдены и опубликованы. Мир почтил память невинных жертв и предал проклятию палачей. Составляя «Письмо к потомкам», я думал о том же. Пройдёт 20-30 лет, люди узнают про Колыму, Воркуту, Стеглаг, где мучают не только евреев, а всех подряд. Узнают имена преступников: от первого человека в стране до надзирателя...

Тут меня прервали:

— Хотя бы здесь удержались от антисоветчины!.. Говорите ближе к делу.

Сказано: не мечите бисер... Да и женщина-секретарь ничего не записывает, только сочувственно смотрит на нашу скамью.

— Ближе нельзя, гражданин председатель! Я верю, что люди спросят, а кто они, те, кто преследовал, угнетал, мучил себе подобных? И где они? Никто, никто не уйдёт от ответа! Их будут искать, ловить и выставлять на позор...

— Хватит! — хлопнул рукой по столу председатель. — Садитесь! Подсудимый Башлыков! Встаньте... В тайнике найдены стихи, начинающиеся словами: «Лёгкие победы не льстят сердцу русскому». С какой целью вы передали их Ситко? Вы знали, что он собирает антисоветские рукописи для своего тайника?

Башлыков вытянул трубочкой губы. Раздался густой бас:

– Разве отстал бы я от товарища в святом деле? Слова, приведённые вами, не мои, о чём я горько сожалею, а генералиссимуса Суворова. Это эпиграф. Если бы вы читали поэму, вы поняли бы, что посвящена она русскому оружию и воинству, вставшему за родину во время войны с фашистами...

– Что вы всё уходите в сторону? – нервно сказал судья. – Ближе к делу! Считаете себя членом антисоветской группы «Союз поэтов – Молния»?

– Мы друзья. Вы зовёте это группой. Я входил в эту группу.

– Садитесь. Подсудимая Мышкина, каким образом документ под названием «Отчёт о больных Степлага» очутился в тайнике у Ситко?

Галина Васильевна сказала:

– Моё дело – лечить людей, для меня важны жизнь и здоровье людей. В записях моих, приобщённых к делу, речь идёт о туберкулёзе, дистрофии и других болезнях как о массовом явлении в лагерях. Я полагала, что «Отчёт» поможет моим коллегам в сохранении драгоценных человеческих жизней...

– Нас это не интересует! – вмешался председатель. – Говорите по сути вопросов. Вы входили в группу «Союз поэтов – Молния»?

– О таковой не слыхала.

Председатель полистал папку и сказал:

– Здесь записано, что вы охаивали Маяковского. О Маяковском товарищ Сталин сказал как «о лучшем поэте нашей эпохи». Итак, хаяли вы его или нет?

– Стихов Маяковского не люблю. Люблю Пушкина, Блока...

– Подсудимый Соловьёв, поэма «Зачумлённый» сочинена вами?

– Поэму написал я. Поэма автобиографическая...

– Ваша поэма – махровая антисоветчина. Вы не отрицаете?

– Подтверждаю. Кто у нас правит тридцать три года? Советская власть. Значит, поэма антисоветская.

После перерыва «прогнали» перед судом свидетелей, человек пятнадцать, среди них Николая Воробьёва, Руфь Тамирину, Тамару Гусеву, Бориса Зайцева...

Председатель (указывает Гусевой на пачку бумаг, бутылку, куски пробки и смолы):
Когда узнали вы об этой бутылке?

Гусева: О бутылке, гражданин судья, Соловьёв сказал в начале марта.

Я: Мужчины и женщины живут изолированно. При каких обстоятельствах Соловьёв сообщил свидетельнице о бутылке?

Гусева: Ходили через дверь в стене, те, у кого были пропуска. А в зоне встречались в разных местах...

Свидетели нового не добавили, но подтвердили чтение стихов. Волновались, старались и нас не топить, и судей не дразнить, что получалось плохо... Потом нас отвели в камеры, а около полуночи доставили вновь. Председатель зачитал приговор. Соловьёву, Башлыкову и мне по 58-й, пункты 10 и 11 дали по 10 лет ИТЛ (поглощённых 25-летним

сроком; пропали отсиженные два года). Галине Васильевне 11-го пункта не вменили (мы добились своего), но судили по 10-му и дали пять лет, тоже поглощённых её 25-летним сроком.

После суда выпустили в зону Башлыкова и меня. Дня три мы провели в инвалидном бараке, даже на работу нас не гоняли. Передали через Георгия письма и кое-что из еды Галине Васильевне и Ивану, которых в любую минуту могли этапировать. Написали в жензону: просили прощения за то, что процесс доставил им неприятные минуты. Помню ответ Руфи Таминой, взволнованный, добрый...

На центральной площадке возле сцены как-то увидел я лейтенанта Бакулина. День был жаркий, он оведал себя газетой. Встретились как добрые знакомые, и вдруг он заговорил так, что мне стало не по себе: какой он был идеалист в институте, предвкушал интересную работу по перевоспитанию заключённых и был потрясён, когда открылась совершенно иная картина в лагерях, где большинство заключённых – не враги, а «невинно и напрасно» посаженные люди...

– Сердце барахлит. Хочу уволиться – не увольняют, откровенно говорят, что «повязан» навсегда. Что делать, не знаю. Помирать здесь не хочется...

Я был смущён. Только что меня «женили» вторично, а тут – с исповедью человек в форме. Искренне говорит? Он знал наше дело изнутри, знал, что мы вели себя прилично, что можно открыть наболевшее. Я по-«худзоевски» посмотрел ему в глаза, и он выдержал взгляд. Я очертил круг у него на груди:

– Вот место, где ищите ответ. Не знаю, как помочь в вашей беде...

– А вы уже помогли. Спасибо. Хотелось поделиться, и вот стало легче...

Он пожелал удачи, и мы разошлись... Больше его не встречал и никогда о нём не слышал...

По гебистским правилам однодельцев вместе не держали. Галину Васильевну повезли в Томск, Соловьёва – в Карабас, Башлыков остался на месте, меня *запроторили* в Джезды на марганцевый рудник, прозванный «лагерем смерти». Изнашивались люди в три месяца, хотя к голодному пайку давали «за вредность» поллитра молока.

Был здесь ещё объект – каменоломня с печами для обжига кирпича. Туда гоняли четвертую часть лагеря, и в одну из бригад попал я. К тому времени выпал снег, ударил мороз. С утра до вечера люди долбили кувалдами и ломami обжигающий холодом камень, мельчили его и вывозили на тачках вон из котлована. Норму выполнить никто и не пытался. Горбя в полную силу, с двумя-тремя перекурами за день, человек едва вырабатывал пятую часть задания...

Бросил я кирку спустя неделю, сел на ближайший камень и на окрик бригадира сказал, что работать не буду. Несколько человек тут же последовало примеру новенького из Кенгира. Бригадир, ругаясь «по-чёрному», кинулся на одного из отказчиков, пиная его ногами и кулаками, но поднялись остальные отказчики, и бригадир, чья румяная физио-

номия побелела от страха, едва вырвался из рук зеков, помчался вверх по склону горы под защиту надзорсостава...

Вечером, когда наша колонна остановилась перед лагерными воротами, старший надзиратель выкликнул три фамилии, мою в том числе. На вахте нам приказали раздеться. Складывая одежду на стол, я кожей чувствовал угрюмые взгляды надзирателей, сидевших на лавках вдоль стен: вот-вот их кулаки загуляют по нас. Матерились они направо, но никого не тронули. Может быть, потому что мы помалкивали. «Два месяца ШИЗО» — гласило постановление...

Здесь текла жизнь, защищённая от бригадиров и каторжной работы. На нарах, рассчитанных человек на пятнадцать, было нас четверо. Мы не замечали ржавой решётки в окне, двери с волчком, параши в углу. Штрафной изолятор свёл в одну семью людей совершенно разных, и вечерами, когда глубокие тени заполняли нашу берлогу, чего я только ни наслушался, какие только судьбы ни прошли передо мною! У меня под наволочкой, в которой тёрлась соломенная труха, лежала единственная в камере книга — «Герой нашего времени».

В Дезде я встретил несколько кенгирцев, среди них доктора Фустера и тбилисец Льва Софианиди. Первый и тут работал врачом и, кажется, не терял живости характера. Лёва, хотя «доходил», оставался тем же «князем», как мы его называли то ли за грузинско-греческое происхождение, то ли за любовь к Гумилёву и абстрактным наукам, а, может быть, за то, что он был молод, образован и безукоризненно вежлив. Пригласил к себе в барак на нары второго этажа, выложил на полотенце пайку хлеба на двоих и две ложки сахара, и мы отметили встречу. Лёва вспоминал Тбилиси, студенческие годы, товарищей по скамье подсудимых и особенно горячо говорил про некую Ёлку — девушку, получившую *четвертак* и ее последнее слово превратившееся в блестящую обвинительную речь против Сталина и Берия. «Нас разогнали по разным лагерям, — говорил Лёва, — и куда попала Ёлка (Элла Маркман), никто не знает...». Лёва до отбоя развивал идеи пространства и времени, но в чём они состояли, я начисто забыл. Лёва передал в ШИЗО и Лермонтова. Спустя два месяца он же провожал меня к воронку, увозившему зеков в Дездеказган...

И часу не прошло, а нас уже вели в БУР — барак на 150 человек, окна которого выходили на запретку. Два ряда нар, дверь открывается лишь для раздачи пищи и для вечерних прогулок. Работа за зоной — погрузка камня на самосвалы. Остальные зеки лагпункта № 1 — на медном руднике. Нам завидуют. Мы в БУРе, но живём свободнее, работа легче (за смену надо нагрузить камнем две-три машины), за поясом у нас книжки, тетради, учим языки, среди нас есть лекторы, чтецы, превосходные рассказчики, есть и шахматисты (проводится турнир на первенство БУРа). Вкраплены уголовники, но на нас это не отражается.

Рядом со мной занимал место на нарах громадного роста человек, неволью привлёкший мое внимание. Крупные, грубые даже черты лица, маленькие светлые глаза, толстые губы, сжимающие постоянно курительную трубку. Почти непрерывно находится

в одном положении: затылком упираясь в стену, полулежит с книжкой в руках, в которую, кажется, и не заглядывает, а думает про что-то другое. Иногда блеснёт дыш из-под наспуленных бровей взгляд, от которого мне делается не по себе.

— Что читаете? — спросил я однажды. Он показал обложку. Это был «Пигмалион» Б. Шоу, изданный в Москве на английском языке.

— Я не читаю. Просто держу в руках, чтоб не приставали с разговорами, — прибавил он несколько раздражённо, и я надолго оставил его в покое. Мы спали или ели свою баланду рядом, почти не общаясь. Как-то он первый нарушил молчание.

— Не понимаю, что вы находите в шахматах? — спросил он, когда я после очередной партии вскочил на нары и растянулся рядом.

— Не понимаю людей, которые не понимают шахмат, — ответил я.

— Жаль, что не понимаете! — неожиданно пылко заговорил он. — Шахматная горячка в Союзе создана искусственно, её цель — отвлечь умы от больших вопросов, свести интерес людей ищущих к чёрно-белым квадратикам. Ну лагерь лагерем, тут ещё допустимо. Но в деревне какой-нибудь собрались трое парней, шарики у них работают. Куда они идут? В обязательный шахматный кружок при Доме культуры. Гамбиты, эндшпили, шахи, маты!.. Поразмыслить, что и они, и народ живут в социальном аду, просто некогда...

Сосед мой некоторое время энергично вскрывал передо мной систему затуманивания мозгов, в которой шахматы играли не последнюю роль. Потом мы перешли к другим темам, затронули литературу, и мой собеседник оказался незаурядным её знатоком. Он преобразился. Я тоже изголодался по настоящему интеллекту. Освежающее чувство внутренней свободы охватило нас, мы прорвались сквозь плотный слой степлаговского воздуха на почву иных интересов, иных мыслей, иного языка... Общечеловеческая мировая культура, просвещение, нравственные идеалы...

Закат в степи, все на прогулке, мы бредём в стороне возле самой запретки, и детина с разбойничьей физиономией, грассируя, читает по-французски «Сумасшедший корабль»...

Ночью после отбоя мы подолгу не спали, вспоминали каждый своё, давно утерянное, милое. Мой новый товарищ, уроженец Москвы, вырос на Арбате, в Староконюшенном переулке. Не знаю, кто был его отец, но у сына в детстве была гувернантка-француженка, привившая ему любовь к французским поэтам.

— Однажды в Подмоскowie, в одном из чудеснейших его уголков, я, тогда студент, спешил к пригородному поезду. Меня настиг ливень. Гром, молния, потоки воды бесновались вокруг. Я успел добежать до какой-то дачи и позвонил. Открыла девушка со светлыми косами и зелёными глазами. Взглянув на мой непрезентабельный вид, крикнула в глубину квартиры по-французски:

— Мама, тут какой-то бродяга! Наверное, попрошайка!

Из-за спины девушки выглянула женщина постарше, такая же зеленоглазая. Она серьёзно посмотрела на меня и сказала:

— Молодой человек, войдите, вы промокли...

— Мама, у него бандитская рожа... — опять по-французски.

— Не вмешивайся, — отмахнулась мать. — Войдите!..

Я не удержался и поблагодарил мадам на отличном французском языке. Как вспыхнули их лица!..

Улыбка смягчила черты лица моего соседа. Он ушёл в прошлое, всматриваясь во что-то чрезвычайно интересное для себя...

— Я стал ухаживать за юной зеленоглазой... Но началась война...

В другой раз сосед рассказал о фронтовом товарище-поэте, тоже москвиче, погибшем в 1941-м году под Смоленском. Умирая, тот завещал земляку найти зарытую под деревом какого-то скверика на Арбате стеклянную банку с рукописями.

— Место я нашёл. В банке были стихи погибшего. Прочесть?

Чтение продолжалось за полночь. Стихи поразили меня. «Вот это настоящее! — думал я про себя. — Что в сравнении с ними наши жалкие поделки! Писал несомненно большой поэт». И как было не догадаться, что автор их — мой сосед, Михаил Павлович Кудинов, ставший позже выдающимся поэтом-переводчиком...

Несколько дней нас гоняют на кирпичный завод. В голой степи месим глину. Конец длинной оглобли тянет на верёвке лошадка, оглобля движет два колеса, размалывающие и перемешивающие глину, погонщик в трусах, чёрный от солнца, переставляет по зарубкам на оглобле железный крюк, идущий от колёс. Способ допетровский. Всё это по кругу, по кругу. Сделав один круг, останавливаешь лошадь, переставляешь крюк, хлопаешь кнутом, кричишь, и лошадь вновь тянет из последних жил... Так с утра до вечера работают три глиномешалки. Остальные зеки лепят саман, раскладывают для сушки на солнце, готовят кирпич для будущих стен запретзоны. Высушенные кирпичи складываются в штабеля. Вот тут и находишь тень во время перекуров. Прежняя работа — погрузка камня — казалась нам, буровцам, потерянными раем... Тяжелее всего было подниматься после перерыва на ноги и снова впрягаться с несчастными животными в бесконечную круговерть на месте под безжалостным солнцем.

Под кирпичами, простоявшими в степи несколько недель, водились скорпионы. Кто-нибудь из зеков проделывал опыт, относил скорпиона на открытое место, сооружал вокруг него из сухой травы огненную преграду, и скорпион, взмахивая хвостом, попадал жалом в собственное тело. Попадал, ослеплённый отчаянием, разя невидимого врага, а вовсе не из желания покончить с собой. Так, по крайней мере, рассуждали мы, наблюдая его неловкие движения. Находились и противники, осуждавшие подобное жестокое обращение со скорпионами. Винават ли скорпион, что природа снабдила его страшным жалом?

Лошадей жалели все. Они страдали вместе с нами, и это отражалось в их прекрасных глазах, умных мордах. Бессмысленное кружение на месте выматывало животных быстрее, чем людей. За неделю пало от работы и невыносимой жары несколько четвероногих. Одну молодую кобылку к нам доставили прямо из табуна. Она оказалась норовистой и после часа работы на оглобле заупрямилась. На все понукания и удары кнута отвечала тем, что

упиралась всеми четырьмя ногами, дрожа всем телом, и не трогалась с места. Урок нам, людям!.. Но вот появился возле нас *фольксдойче* Шульц. Он был из бригадиров с «отмо-роженными глазами». Схватив кнут, Шульц принялся избивать беззащитное животное, распаяясь с каждым ударом и норовя достать кончиком кнута наиболее чувствительные места жертвы. С ненавистью глядели на подонка работяги. «Когда же он уймётся!» – думал каждый. Кобылка была в пене, копыто её мелькало в воздухе, как молния, но не попадало во врага, заходившего сбоку и продолжающего сыпать удары. И я не выдержал.

– Стой, гад! – закричал я. Кнут ожёг руку, которой я схватил его. Шульц невидяще глянул на меня, и лицо его выразило изумление. Он дёрнул кнут, пытаюсь высвободить, но работяги надвинулись со всех сторон, кто-то отпряг лошадку, и та, тяжело дыша и роняя кровь и пену, бросилась на своих тонких ногах к проволоке, наткнулась на неё и побежала вдоль ограждения к воротам.

На рассвете барак проснулся от булькающих звуков и хрипов: в углу, где стояли койки бригадиров, в луже собственной крови ползал Шульц. «Мама, мамочка!..» – стонал он. Кто поднял на него нож? И среди 58-й всякие были, но какой-то процент в лагере перепал на долю воров и сук. За что порезали Шульца? За кобылку? Вряд ли. Были у него счёты с блатными, а наказали всех.

На крыльце столовки появилось «высокое» начальство из управления Степлага. Лы-тый и толстый полковник, нахмурил грозны очи, изрёк толпе:

Пока не найден бандит, накладываем штраф на контингент лагеря, отбираем на месяц гитары (гитара была всего одна на зону), книжки, шахматы и домино!.. Никто не получит письма от родных и не напишет домой!..

И всё-таки наш БУР был в привилегированном положении. На рудник нас не гоняли. Начальство считало, что все мы отпетые, от которых можно ждать чего угодно. Состояние же общей массы зеков было ужасным. Человек быстро угасал под землёй, три-четыре месяца и – силикоз. Кормили плохо, о восстановлении сил не было речи. Номера, *шмо-ны*, строем в столовую, строем в барак, замки на дверях после отбоя, невыполнимые нормы по добыче медной руды, произвол бригадиров и начальства создавали ту грозную атмосферу, в которой накапливалась решимость зеков на отчаянный порыв 1954-го года, когда восстал Кенгир и забастовали джеказганцы. (Между прочим, Миша Кудинов войдёт в забастовочный комитет лагеря и сыграет важную роль в восстании). Но до этого было ещё далеко, ещё царствовал Сталин, свирепствовали Берия, Абакумов, Рюмин, а местные начальники по всей стране нагло ухмылялись. Шёл только 1951-й год.

Полторы сотни буровцев не были однородной массой. В одном углу, где верховодил некий татарин, слышались короткие реплики игроков в очко. Это блатные. В другом идёт спор о политике с неожиданными выходами в историю:

– Что ваш Запад? Молитесь на него, а он всегда боялся сильной России, всегда! Он предал белое движение, выдал Сталину власовцев и красновцев, ему начхать теперь и на миллионы зеков, в том числе на нас с вами!..

Третья группа изучает языки:

— Хау ду ю ду?... Вас воллен зи?... Буэнос диас!...

В четвёртой — стихи:

— Всё, что минутно, всё, что бренно...

Центром пятой группы был удивительный рассказчик Виктор Викентьевич Шиффер, эрудит и полиглот. Часами слушают его зеки: о приключениях полковника Лоуренса Аравийского, или красавицы Маты Хари, или как русская разведка перед Первой мировой выиграла тайную войну с разведкой австрийской.

В шестой группе обсуждаются текущие события: что, например, изрёк неугомонный Черчилль или куда и зачем поехал маршал Тито.

— Читали заявление Моррисона? В «Известиях»? Вот-вот, где он коснулся прав человека! Покой британского подданного вправе нарушить поутру только почтальон! И никто, понимаете, никто более!..

Оставалось недолго жить в Степлаге. Чья-то рука (опера? начальника спецчасти?) переложила мою карточку в другую картотеку, и линия судьбы ушла в неведомую даль. Но незадолго до моего этапа весь Джекказган всколыхнул дерзкий побег нескольких буровцев, в котором героизм переплелся с гнусным злодеянием...

О том, что группа зеков собирается уходить, знал весь БУР, общими силами и снаряжал их. Кто-то достал шмат сала, кто-то вольную одежду, говорили, что был даже шоколад. Всё это хранилось за plombой в печи. Я не помню их фамилий. Двое были бытовики (толстомордый татарин с тупыми глазками и невзрачный украинец), два грузина из бывших военных (один полковник), пятым был русак по имени Сашка. Я как раз получил новые кирзовые ботинки и отдал их Сашке в обмен на его развалюхи. Он не требовал, только намекнул. Потом я мучился от мысли, что, может, эти помешали Сашке убежать от страшной гибели, не спасли этого мягкого по виду, но решительного человека...

Не знаю, как удалось им уйти на Рудник с ночной сменой. В закрепленной выработке пробили киркой вертикальный проход и вышли на поверхность далеко за линией ограждения. Позже охранники нашли возле прохода пять узелков зековской одежды с номерами. Далее лагерь жил слухами. Каждое утро за беглецами уходили в степь грузовики с запасом воды и краснопогонниками. Несколько самолётов баррожировали над пустыней, просматривая её от Темиртау на востоке до Аральского моря на западе. Как потом выяснилось, беглецы шли на юг к Сыр-Дарье. Запас воды хранился в обрубках шлангов, перевязанных с двух концов и переброшенных через плечо. Сначала вышли к коневодческому совхозу, где их обстрелял случайный милиционер. Забросали его самодельными бомбочками со взрывчаткой, и милиционер был убит. Они выбрали из табуна по два коня и, пересаживаясь с одного на другого, сделали бросок километров в триста. От нехватки воды и изнурительной гонки лошади пали. По дороге беглецам ещё раз пришлось вступить в бой с засадой краснопогонников, и этот бой они выиграли. Было убито и ранено несколько солдат.

Перед беглецами простиралась степь, заросшая саксаулом на многие сотни километров. Река не появлялась. Вода в шлангах кончилась. Начались споры, куда идти. Грузины тянули на юг, татарин и его дружок уговаривали повернуть на запад. Сашка примкнул к последним. Группы разошлись в разные стороны...

Лагерь измученными своими нервами был с ними. То, о чём мечтали по ночам, осуществляла пятёрка, бросившая вызов чудовищному Степлагу.

... Первыми в лагерную тюрьму привезли грузин. Они таки вышли к Сыр-Дарье, где их окружили солдаты и после недолгого сопротивления вынудили сдаться. Один из беглецов был ранен. Через несколько дней поймали вторую группу, в которой, однако, Сашки уже не было. Блатные утверждали, что Сашка «откололся», пошёл один. Поиски его не дали результата...

Как сочувствовали лагерники беглецам! В одиночки всякими путями пошли передачи и записки. На третью ночь заключения татарин забарабанил в дверь камеры и крикнул в коридор: «Слушайте все, как умер Сашка!...». Содрогаясь от отвращения и ужаса, слушали его обитатели других камер.

... Вода кончилась. Безжизненному пространству не было конца. Они заблудились в зарослях саксаула. От жары и жажды потрескались губы, в голове стучали молотки. Двигались ночью, днём валялись в песках, пытаясь уснуть, но сон был продолжением страданий: воды, воды, воды!.. Пробуждение было ещё ужасней. Татарин напоминал буйнопомешанного, что-то бормоча и выкрикивая, но порою затихал, искоса поглядывая на Сашку... Татарин припомнил, что на родине малокровные женщины и дети ходили на скотобойню и стаканами пили кровь только что зарезанных животных. «Закон – тайга! – прохрипел он своему «шестёрке». – А здесь закон – Голодная степь!». Они с ножами бросились на Сашку. Он пытался бежать, но помешали ботинки, натёрли ноги, и он на коленях умолял озверевших извергов. В руках он держал карточки жены и двух детей. «Я мать свою не пожалел, зарезал, к чему мне тебя жалеть!» – был ответ татарина. Несколько ударов, и с Сашкой было кончено. Но утолить жажду кровью не смогли: кровь от жары сворачивалась... Обезумевшие каннибалы двинулись напролом через саксаул и спустя несколько часов вышли к реке и солдатам...

Днём следователь отвёз татарина на место убийства. Сашку привезли в посёлок и, по обычаю лагерей, тело бросили у вахты во устрашение зекам... Беглецов судили, «обновив» им сроки, и разметали по лагпунктам. Такой жуткой историей вынужден я закончить свой рассказ о Степлаге. Прошу прощения у читателя... Что поделаешь, что было – то было.

Вскоре опять мы встретились с Лёвой Софианиди. Его привезли из Джебды прямо в наш БУР... За разговорами не заметили, как мелькнула ночь. На следующий день меня вызвали в спецчасть: «Собирайся на этап! Тёплые вещи есть?» «Откуда?..». Старший нарядчик посмотрел на мою потёртую куртку поверх сорочки. «На север едешь... – сказал он. – Ладно, приходи в каптёрку, что-нибудь найдём...». Выдали драную телогрейку, шапку-ушанку и тёплые портянки...

Никогда не забуду прощания с товарищами, из которых только с Мишей Кудиновым и Лёвой Софианиди довелось потом встретиться в других условиях. К вахте провожали Виктор Викентьевич Шиффер, Андрей Трубецкой, Борис О. и шахматист Янушевский... Уже взбираясь в воронку, увидел бегущего к вахте Лёву.

– Если встретишь Ёлку, передай...

Я не расслышал, что именно нужно ей передать. Воронку свернул на дорогу к станции, и сквозь решётку задней двери я в последний раз увидел ворота Джезказгана. Прощай, Степлаг!

Часть 4

СЕВЕР

Когда в холодном сентябре 1951-го года вагонзак доставил меня в Минлаг (Минеральный лагерь) я, хоть и был «тонкий, звонкий и прозрачный», к воротам лагеря подошёл более или менее уверенно. Два с половиною года Степлага, новый приговор и этап через всю страну с пересылками Петропавловска, Свердловска, Кирова – и я испытывал странный подъём, пока мы стояли у проходной 5-го ОЛПа в Инте – пересыльного отдельного лагерного пункта. Но и здесь заключённый должен был работать. Нас уже ждал каменный карьер.

У самого Полярного Круга наступила зима, и голодные, с жалким запасом тепла под телогрейкой, мы проводили дни на полярном ветру. Утонувшие в снегу лагеря, а также бараки для вольнонаёмных носили поэтичное имя Инта («Инталия» – говорили зеки). Первая геологоразведочная «командировка» была разбита в этом гиблом краю в 1938-м году. 120 зеков было в посёлке, но через 14 лет в Инте работало уже несколько шахт и десятки тысяч заключённых.

На 5-м ОЛПе Минлага я провёл месяца три. Помню замёрзшие окна палаты лазарета, куда я вскоре, истощённый и простуженный, попал. Наискось от меня умирал старик – профессор математики Некрасов. Накинув на плечи одеяло и обхватив колени высохшими руками, он читал соседу, философу и поэту Льву Платоновичу Карсавину, стихи – читал размеренно, глухо, невыразимо печально: «Я лютеран люблю богослуженье...». Вскоре он и умер. «От сердечной недостаточности», как обычно писали про смерть стариков. Карсавин же попал в инвалидный лагерь Абезь, прозванный «свалкой учёных», где тоже через год-полтора умер. Блестящий религиозный философ, представитель русского экзистенциализма угас на нарах среди таких же несчастных беспомощных стариков. Друзья сохранили его стихи. Мощные, прекрасные, тонкие по форме, пожалуй, лучшие в русской поэзии терцины и сонеты (их переписывали лагерные интеллигенты из тетради в тетрадь, заучивали на память). Был у него ученик, уроженец Питера Ванеев, подробно рассказавший об учении Карсавина в великолепном «Addendum»¹ к его стихам...

Мелькает в памяти живое, нервное лицо Сергея Николаевича Нагорского, преподавателя Киевского университета, страстного филолога. Прижавшись к холодной стенке и жадно затягиваясь махоркой, он делится с нами сведениями о сравнительном языкознании, Марре, о новейшем «труде» Корифея и т. п...

Среди встреченных зимой 1951–1952 года заключённых были артисты, литераторы, музыканты. Не забыть мне крупную львиную голову С. Галкина с детскостью во взгляде, человека доброго и уже вечернего, прощающегося с людьми и с той неказистой местностью, укутанной снегами, куда привезли его догорать. (Недавно встретил в магазине сборник его стихов, — кто бы подумал тогда, что это станет возможно!)

Вот идёт в столовую, подняв воротник рваного бушлата, мягкий и ироничный Каплер. Показывают фильм «Ленин в 1918 году». Сталин ест картофель и мудро приговаривает: «Будет у нас каша, да ещё с маслом!». Голодные зеки дружно смеются, а Каплер покачивается и — слёзы в глазах...

Спрыгиваю в яму, которую долбим в вечной мерзлоте. Напарником у меня Рабинович, в прошлой жизни — дирижёр и музыковед, специалист по Шостаковичу. Конечно, пытаемся работать, но почва хуже камня: железные клинья и лом откалывают лишь крохотные комочки. Запыхавшись, бросаем инструменты на дно ямы, облакачиваемся на её края, и Рабинович читает стихи:

*В воротах Азии, в объятьях дикой стужи,
Где жёны в шубах и в тулупах мужи,
Несметные богатства затая,
Лежит в сугробах родина моя...*

Он читает и Баратынского, даже Анненского, потом спрашивает строго, знаю ли я Достоевского?

— Не могу преодолеть некий психологический барьер...

— И вы считаете себя культурным человеком?!.. — отчитывает он меня.

Вечером приглашает к себе на нары. И опять стихи, стихи...

— О, конечно, Заболоцкий возродил оду, только у него встретишь такие периоды на одном дыхании... Проверьте по стихотворению «Север»!

И Семен Абрамович, дрожа от холода и пряча руки в рукава, читает его наизусть и затем плавно переходит к любимому Шостаковичу.

В Инте третью свою «сидку» отбывал Ярослав Смеляков... Кто из наших не знал в Степлаге его стихов:

*Я строил окопы и доты,
железо и камень тесал,
и сам я от этой работы
железным и каменным стал.
Меня— понимаете сами —*

*чернильным пером не убить,
двумя не прикончить штыками
и в три топора не свалить...
Я стал не большим, а огромным –
попробуй тягаться со мной!
Как Башни Терпения, домны
стоят за мою спину...*

Я помню его немногословным, но когда заговаривал, то весьма категорично, о чём бы ни шла речь. Все-то он знал! Он и в лагере остался «комсомольцем 30-х годов». Об этом и «Строгая любовь», и стихи. Как говорится, все невпрок! Например «Воробышек» – какой частушечный итог народной трагедии! А я его помню в старом залатанном зековском бушлате с номером на спине...

Были и забавные встречи. В Гамбурге – в лагере на канале – к нам привозили берлинскую газету на русском языке «Новое слово». Один экземпляр на пятьсот остовцев. Тогда нас удивляла лишь фамилия редактора – Деспотулли. Грек? Итальянец? И надо же такому случиться, на 5-м ОЛПе наши места на нарах оказались рядом! Хочешь – не хочешь, ели одну баланду. Я пытался расспрашивать своего соседа о Бунине, Ходасевиче, Бальмонте. А Деспотулли в ответ всё твердил о фатальной ошибке, из-за которой его схватили в Берлине. Гордился тем, что «начал дело с тринадцатью марками в кармане», а «Новое слово» читала эмиграция по всей Европе. Почему это было позволено ему при Гитлере, умалчивал. Брюзжал по любому поводу, и когда его вызвали на этап, я вздохнул свободнее.

Встречи с украинскими литераторами оставили самое светлое впечатление. Прежде всего это Григорий Порфирьевич Кочур, поэт и переводчик зеровской школы, близкий друг Максима Рыльского, поэты Иван Савич и Дмитро Паламарчук. Лишь национальная настроенность несколько стесняла и мешала нам, но об этом буду писать в другом месте...

В лазарете меня заинтересовал профессор Иван Сергеевич Боголюбов. Он коллекционировал сны, записывал их, отмечая дату, место и фамилию, возраст и срок сновидца. (О парапсихологии профессора Васильева в те годы никто, понятно, не слышал). Доброжелательный, с неизменной улыбкой на лице, он по утрам обходил всех в палате и спрашивал:

– А что снилось вам? Расскажите, будьте добры, только ничего не пропускайте, ни одной детали...

Я возьмю и расскажи Ивану Сергеевичу то, что поведала мне в 1949-м году в степлаговском лазарете ночная няня Ксения Дмитриевна. Её любили больные зеки, с ней было спокойнее, надёжнее. Лет под 50, русоволосая, высокая, с мягкими движениями, с чуть смущённой улыбкой. Зеки звали её просто Ксюшей.

Так вот, когда однажды она заметила, что я лежу, заложив руки за голову и смотрю в потолок, присела ко мне, спросила, давно ли было письмо от мамы, вспомнила сына,

убитого на войне. Было приятно слушать тихий голос, смотреть на умное доброе лицо, от которого веяло чем-то материнским...

Я уже знал нехитрую историю её жизни. До войны и в оккупацию жила в Херсоне. У них во дворе на постое был немецкий офицер-интендант, взял её уборщицей в канцелярию, где и проработала года полтора. После войны перебивалась, как могла, даже семечками торговала. Однако органы пронюхали про канцелярию, дали обычный в таких случаях *четвертак* – и в Степлаг. Ходила некоторое время на общие работы, но как-то рассказала доктору Фустеру про операцию на голове, и за покладистый характер и добросердечие испанец устроил Ксюшу няней в хирургическое отделение.

– Хотите, коли вам не спится, расскажу один случай? Ещё на воле, три года назад... Вы не поверите, да и трудно поверить, а ведь было... Появилась у меня за правым ухом какая-то болячка. Сначала я не придавала значения, всякие примочки делала, таблетки глотала, но дальше – больше, соседка состригла волосы за ухом, и пошла я в поликлинику. Врач, внимательный такой мужчина, стал расспрашивать, когда это появилось, потом позвал женщину постарше, тоже врача. Осматривают, слова непонятные говорят. Решили положить в больницу на обследование. Мол, что-то не вполне ясное для них. Спрашивают, есть ли кто из родных или одна живу. «Возьмите самое необходимое: полотенце, мыло, порошок зубной – и приходите завтра...»

Перепугалась ужасно. Всю жизнь боялась таких болезней, и вот на тебе! Неужели рак?! Неужели мало мне горя, чтобы ещё и это на мою голову?! словом, легла я в больницу, уже к другим врачам. Снова расспросы, анализы, сердце проверяют... Лежу сама не своя, и вот однажды мой врач пришёл с той врачихой из поликлиники. Она и говорит, чтобы я взяла себя в руки. У меня, оказывается, злокачественная опухоль, и на завтра назначена операция. «Не волнуйтесь, опухоль в ранней стадии, её можно убрать, и чем быстрее, тем лучше». Обнадёжили как будто. Но мне всё равно страшно, места не нахожу, вспоминаю жизнь свою, сыночка вспоминаю, плачу... Ночь молилась, просила Пресвятую Деву защитить, уберечь от беды. Вам, может быть, смешно, но я верующая с детства, никогда не расстаюсь с иконкой Божьей Матери, она и сейчас со мной – вот, величиной с ладонь. При обысках надзиратели всегда отдавали её обратно...

Пришла за мной утром сестра и повела, как на казнь. В операционной у сестёр и врачей повязки на лицах, руками в перчатках помахивают. «Разрешите помолиться», – обращаюсь к ним. Переглянулись, кивнули. Стала я на колени перед своей иконкой и так молилась, так молилась. Думала, все глаза выплачу...

Сняла халат, помогли мне влезть на стол и усыпили под наркозом: застучали в голове молоточки, а потом тишина. Это уже сон наступил. И приснилось мне, что иду в тумане, всё выше иду и выше прямо по воздуху, и столько света вокруг, столько голубого простора, и так легко, так радостно, так свободно дышать...

Ксюша прижала руки к груди, закрыла глаза, затихла на минуту.

– А вдаль, куда меня почему-то влечёт, – не то река светлая, не то шоссе пересекает путь, и чем ближе я к ней, тем больше замираю от ужаса, потому что за этой полосой

вижу много народа, слышу глухой говор людской — как будто море шумит. Мне и хочется туда, к ним, и страшно, аж дух перехватывает. И я остановилась, глаз не могу оторвать от этих людей, а они заняты разговорами, стоят спиной ко мне. Но вот один оглянулся и говорит: «Вот и ещё одна дошла до *белой черты*». Другой окинул меня взглядом и говорит: «Да, но она вернётся». Ещё стали оборачиваться, но тут всё померкло, растаяло... — и я снова увидела своих врачей и сестёр, уже без повязок. А голова моя в бинтах, тяжёлая. «Вот и приехали! — сказал главный хирург. — А вы боялись...»

Такое было мне видение, — добавила Ксюша. — Потом, когда я пришла в себя после операции, чуть окрепла, одна из сестёр под большим секретом сказала мне, что я была при смерти, врачи уже и не надеялись вернуть меня к жизни. Хотя... хотя там я испытала такое счастье, такую радость, наверное, дарованную мне по молитве моей... И теперь всё думаю: может, напрасно вернулась я в эту жизнь, где тюрьму узнала и лагерь?.. Ну ладно, заговорила я вас, а ведь давно спать пора... Спокойной вам ночи! И хороших снов!

Она перекрестила меня и встала, чтобы уйти. Я хотел было её утешить, что *туда* еще успею и незачем торопиться, но только и сказал:

— Спасибо, Ксюша, милая вы душа! Спасибо за удивительный ваш рассказ! Не забуду его. Такое не забудешь!..

Иван Сергеевич подробно всё записал, поблагодарил и вспомнил по случаю:

Есть много в небесах и на земле,

Что и не снилось нашим мудрецам...

Однажды меня и молодого немца из военнопленных, Ганса, занарядили сооружать снежную стенку вокруг женской зоны. Между нашими зонами проходил проволочный забор, но начальство решило пресечь не только разговоры мужчин и женщин, но даже и обмен взглядами. Стена была уже готова, и, взобравшись на неё, мы с Гансом только делали вид, что поправляем сооружение, а сами тянули время, разглядывая открывшуюся жензону, ждали чего-то и как бы между прочим обхлопывали лопатами снег. Из барака вышли закутанные по самые глаза две неуклюжие фигуры в ватниках: одна потолще, другая потоньше — и принялись сгребать деревянными лопатами снег перед баракком.

Мы окликнули их. Та, что была потоньше, отозвалась:

— Что вам?

Боже мой, почти ребёнок!

— Послушай! — крикнул Ганс. — Сколько тебе лет?

— Девятнадцать!

— А срок?

— Двадцать пять!

— За что?

— Ни за что, — сказала она, улыбаясь, распрямилась и оперлась о лопату. — Станцевала с английским полковником — вот и вся моя вина.

— Как?! — весело хохоча, спросил Ганс.

– Видите ли, папа мой генерал...

– Папа – генерал?! – Гансу будто смешинка в рот попала. Чуть не свалился от смеха со стенки.

– Мы жили в Кёнигсберге. Принимали делегацию какую-то. Потом на следствии мне всё объяснили. Танец, видите ли, был маскировкой, а меня завербовала английская разведка.

– Как тебя зовут? – спросил я.

– Лариса.

– Тебе что-нибудь надо? Может, ты голодна? Ты куришь?

– Я читать люблю. А в бараке книг нет.

– Ладно, я достану. А что?

– Если сможете, сонеты Шекспира в переводе Маршака...

На следующий день, когда поблизости не было надзирателей, я спрыгнул со снежной стены внутрь жензоны. За поясом у меня были книги, среди них и Шекспир. В бараке у печки сидела дневальная, безгрудая старуха, в выцветшей косынке, из-под которой торчали седые волосы. Своим видом и ухватками она напоминала матёрого морского волка. Тем более, что была горбоноса, а из впалого рта торчала трубка. Равнодушно взглянув, хрипло сказала:

– Ларису? Ступай в конец барака. Она болеет.

Несколько женщин на верхних и нижних нарах приподняли головы и проводили меня удивлёнными глазами. В глубине, прикрытая ватниками, лежала Лариса. Она смотрела на меня встревоженно, тоненькая и слабая. Что-то детское было во всём её облике. Может быть, она подсознательно на что-то надеялась, как надеется ребёнок при встрече со взрослым... Забыть ли мне её молящий взгляд, румянец на бледных щеках, её высокий лоб в обрамлении светлых волос?... Так в последний раз внутри лагеря я соприкоснулся с миром женщин, от которого в душе осталось лишь имя – Лариса...

Через два года я узнал, что, спасаясь от придурков и надзирателей пересылки, которые не упускали случая склонить к сожительству красивых девушек, она попала в бригаду бывших монашек. Среди верующих женщин, быть может, нашла защиту от тлетворного дыхания лагеря...

Вскоре и я был отправлен на рабочий ОЛП – в лагерь, расположенный рядом с небольшой, убегающей в лесотундру речкой Угольной.

Его называли 7-м или просто «Маленьким», в отличие от 1-го, «Большого», разбитого на другом, более высоком берегу. Из «Большого» (около пяти тысяч зеков) гоняли на шахты, из «Маленького» (четыре сотни) – в РМЗ (ремонтно-механический завод), на аммональный склад и кирпичный завод. На железной дороге разгружали лес для шахты, чистили дороги во время заносов и прочее.

С пересыльного нас привезли в открытых машинах, сгрузили у вахты человек полтора. Снег, ветер – погода в этих широтах, по-видимому, обычная. Пятёрками шагаем в зону, а там – к выделенному для нас бараку. Едва с шумом и гамом разместились на нарах

(кто норовил на верхние, поближе к лампочке, кто — на нижние, где потемнее), в барак ворвалась дюжина надзирателей:

— Слезай с нар, так-перетак! Все на ту сторону барака!..

— Взять обувь в правую руку! Отвернуть рукава! По одному проходи!

Топаем голыми ногами по мокрым холодным доскам, проходим строй надзирателей. Те щупают ботинки, разглядывают изнанку рукавов в бушлатах... Длится это час-полтора. Уже знаем, в чём дело: когда этапников впустили в зону, произошло убийство: воры убили суку. Подозрение пало на новоприбывших. Искали ножи (блатные прячут обычно в ботинки), а на рукавах — капли крови.

Узнали и подробности. Ссучившийся блатной, в прошлом знатный вор по кличке Адмирал, зашёл в уборную, оправился, издал непристойный звук, сказал: «Ни хрена! Перезимую!», и это были его последние слова. Вбежали убийцы и со словами: «Врёшь! Не перезимуешь!» — перерезали Адмиралу горло. Начальство быстро докопалось до настоящих убийц, которые воспользовались тем, что все дежурняки были на вахте — в связи с этапом.

Утром следующего дня в барак вошёл сержант.

— Кто на работу? Добровольно-принудительно! Нет? Ну тогда — ты, ты и ты!. — и он указал пальцем на нескольких зеков. Неохотно стали застёгиваться, затягиваться бечёвками: уж больно не хотелось на мороз. Набралось человек десять, я в том числе.

— Эй, длинный, читать-писать умеешь? — спросил меня надзиратель и продолжил: — Будешь за бригадира! На хоздворе по этой бумажке получите ломы, лопаты, кирки, а также гроб. Его уже сготовили. Понятно? Санки тоже выдадут. Потом поезжайте к лазарету. Там увидите развалюху — морг. Возьмёте труп. Положите в ящик — и на вахту. Крышку не забивать, пока конвой не проверит. Понятно? Ну, живо, пошли!

Инструмент, гроб и убитого выдали без задержек. На вахте открыли ворота и, когда мы вышли на дорогу, велели поднять крышку. Подошёл здоровенный детина в погонах с деревянным молотком на длинной ручке. В ящике лежал на голых досках худой, среднего роста человек в белье. Снег падал на его заросшее щетиной лицо и не таял. Рубец тянулся поперёк шеи. Солдат усмехнулся:

— Эк поронули Адмирала! От уха до уха!

Слегка стукнув молотком по мёртвой голове, подал мне бирку:

— На, привяжи к ноге. Привязал? Заколачивай, и айда!

То и дело проваливаясь в снег, мы с трудом потянули сани в сторону от лагеря. Сопровождали нас четыре конвойных с собакой и надзиратель. Наконец добрались до кладбища. Снежные холмики, кое-где колышки с номерами. Место суровое и бесконечно печальное... Мы отгребли снег, добрались до мёрзлой почвы и стали долбить. Земля не поддавалась. Через три часа работы устали так, что кирка вываливалась из рук, а выдолбили яму глубиной в полметра.

Один из нас не работал — лагерник с простым крестьянским лицом, на котором сияли чистые голубые глаза. Он был «святой», т. е. из верующих, даже из сектантов (баптист? евангелист?). Посоветовавшись с остальными, я сказал:

– Постой в сторонке и хорошенько, от души помолись за Адмирала...

Один из работяг возразил:

– За такую падлу?

– Конечно, – заговорили другие, – за него как раз и стоит!.. Всё ж полегче ему там будет, мудаку...

Подошёл надзиратель:

– Почему один не работает?

– Молится за убитого.

– А-а, – изумлённо, но и уважительно протянул надзиратель.

Яма не двигалась, закоченел на морозе конвой. Надзиратель сказал:

– Хватит! Тащите ящики! Заваливайте! Ужо летом перехоронят...

По возвращении работяг отпустили, а меня завели в барак, где я расписался на шести больших анкетах с данными об убитом. Три из них, сказал лейтенант, пойдут в Москву. Так и мне довелось быть участником похоронной бригады.

В системе спецлагерей Минлаг был не то, что Степлаг. Вместо четырёх номеров (на груди, рукаве, ноге и спине) зек носил здесь только один – на спине. Вместо глухих стен – три ряда колючей проволоки и распаханная запретка. Лагерь просматривался насквозь. Но остальное – как и в Степлаге: тухлая тюлька, жидкая баланда, «стольпинская шрапнель». Так же закрывали бараки на ночь. Зато было больше книг. У меня даже появились свои, которые выменял за пайку: «Король Лир» в подлиннике и «Тристрам Шенди» в переводе Франковского. Сколько утешения они принесли в короткие час-полтора перед отбоем!

Недалеко от меня лежал Горчаков, бывший мидовец лет пятидесяти. Он неплохо говорил по-английски, и я зачистил к нему практиковаться в языке (по примеру Миши Кудинова, стал изучать иностранный). У Горчакова был крайне мрачный взгляд на наше положение: «Все вымрем! Воли нам не видать больше!» Он говорил, что Сталин убил ленинцев и троцкистов, а сам подхватил их теории. Мировая революция не удалась, приходится завоевывать мир иначе: штыком, подкупом, пропагандой. И начинается это чуть не с детских садов. Если в Москве издают «Тома Сойера», значит, нам выгодно, т. к. это ослабляет Америку... и т. д.

Какое-то оцепенение вдруг нашло на меня. С «обновлённым» сроком всё надо было начинать сначала. Думать днём было некогда. День состоял сплошь из мелочей, цепляющихся одна за другую и не оставляющих места для раздумий. Зато ночью, внезапно проснувшись, человек со страшной трезвостью осознавал вдруг роковую неотвратимость бездны и движения к ней. Хватит ли воли, рассудка, сердца, чтобы не упасть под ноги бредущим с тобою и позади тебя? В силах ли устоять твоё Я, твой внутренний мир, стремление к правде и неугомонное желание найти ближних, с которыми можно было бы двинуться вперёд, так как выбор был один: погибни или борись.

Так начинался концлагерь на Эльбе, потом Бутырка, за ней – Степлаг, так начинается Минлаг!..

Некоторое время гоняют работать на кирпичный завод. Смена у смрадной разгрузочной печи, тысячи горячих кирпичей, тысячи одних и тех же движений. Минуты перекура (табак пропитан чадными испарениями), а остальное время – тысячи и тысячи горячих кирпичей, прожигающих рукавицы, и никуда не деться, и нет спасения, кирпичи преследуют тебя и ночью во сне...

Нас трое в звене. Русанов, до ареста преподававший историю в Ростовском университете, – порывистый, быстрый человек. На смуглом до черноты лице его белозубая улыбка, сразу располагающая к себе. Но не стоит особенно обольщаться. Он кипит от возмущения, и то ли в шутку, то ли всерьёз говорит:

– Ей-богу, убью Соломона, суку (Соломон – старший нарядчик зоны, *бог-нарядчик*, как говорили зеки), хватит! Пусть что хотят, со мною делают.

– Опомнитесь, вы же человек умственного труда! – уговаривает его Коган, бывший преподаватель Института Красной Профессуры в Москве, оставшийся марксистом и в лагере. – Не к лицу вам брать топор и подстергать у барака Соломона. И почему именно его?

– Сволочь он! Одним мерзавцем меньше будет!

... В воздухе уже пахнет гнилью прошлогодней, морозы позади, ноги вязнут в болотной жиже. Наскоро похлебав горячей баланды, мы с Коганом торопимся в барак к Русанову. Чем чёрт не шутит, угробит еще человека! Полушёпотом в тёмном углу барака уговариваем не брать греха на душу. Незаметно разговор принимает отвлечённый характер, уходим в историческое прошлое страны, и вспыхивает бесконечный спор между марксистом Коганом и идеалистом Русановым, и, кажется, нет им дела до истины, оба отстаивают лишь своё убеждение... Хитро поблёскивая глазками на розовощеком лице, Коган говорит:

– Всё-таки Маркс был гениальный еврей!

Русанов вздёргивает кверху чёрную острую бородку.

– Катитесь вы с вашим Марксом!.. всю жизнь только и знал, что боялся нужды, и на деньги Энгельса писал свой «Капитал»!

– Совершенно с вами согласен! – подаёт голос с соседних нар мрачно-угрюмый Горчаков...

Пронесло, подумал я. Нарядчик, который и не знает о нависшей над ним угрозе, останется жить, и выручил его однажды не кто иной, как Карл Маркс...

Был уголок, куда я уходил по вечерам, – кабинка художника Алексея Богданова. Среди фанерных листов с «наглядной агитацией» и неоконченной копией вечного «Утра в сосновом лесу» (по заказу начальника) Лёша тотчас радушно принимается греть чай, и всегда у него найдётся несколько леденцов к кипятку. Досиживал он в Минлаге десятку, и его авторитет в зековских делах непререкаем. Но и жаль Лёше было бесконечно. За лагер-

ные годы потерял здоровье, задышался от малейшего усилия, но курить не бросал и постоянно *травил* анекдоты, за которые легко могло нагореть «по новой»...

По его рассказам, весной 1941-го года в Смоленске их, школьных учителей, взяли целую группу, пришили террор и антисоветскую агитацию, двоих приговорили к высшей мере, остальным дали по десятке. Склонив облысевшую голову и покачиваясь над столом, Богданов вспоминал те далёкие уже годы, чуть не плача.

– Мы были молодые, чистые, горячие. Собирались по вечерам и в выходные, говорили, мечтали о свободной России. Ну и замели всех, засудили, втоптали в грязь... Они мастера втаптывать в грязь живых людей, для них нет ничего святого!.. А вот что случилось с моими поделчиками смертниками. Мы ведь долго не знали, что немцы начали войну, хотя первые бомбёжки Смоленска, отзвуки которых доходили в камеры, озадачили нас. Кто-то из охраны шепнул: война. Вскоре *десятилетников* погрузили в теплушки и повезли на восток. Из Смоленска до Кирова ползли больше месяца. Неделями торчали на запасных колеях, продукты не выдавались по несколько дней. Сколько перемерло по дороге, никто не знает... А в это же время...

Через несколько лет в одном из лагерей я неожиданно встретил нашего, приговорённого в Смоленске к расстрелу. Господи, воскрес он, что ли! Подхожу, называю по фамилии, он ахнул, вытащил меня из барака в безлюдье и крепко попросил меня забыть ту фамилию. «Сейчас я иду под другой», – сказал он и поведал следующее:

– Когда вас увезли, нас оставили в тюрьме, видимо, чтоб порешить на месте при подходе немцев. Сидим, ждём конца. В городе бои, бомбы, снаряды рвутся, залетают и в тюрьму... Потом как будто стихло. Два дня никто не открывал кормушек, не слышно было шагов в коридорах. Сидим, доходим: ни хлеба, ни баланды. На третье утро в дальнем конце коридора послышались оглушительные удары. Первое, что пришло в голову: всё! расстреливают!.. Удары приближались. Когда громовый удар потряс соседнюю камеру, мы расцеловались, простились перед смертью. Кто-то заглянул в волчок, затем дверь наша дрогнула от грохота. Два удара, и она распахнулась. За порогом было множество людей, впереди всех – большущего роста улыбающийся немецкий солдат. В руках – молот. Вот как вышло! Всем фашисты, изверги, нам – освободители. «Живые есть? – крикнул кто-то в коридоре. – Выходи на волю!» Мы, обалдев от радости, высыпали во двор, где у полуразрушенных ворот тюрьмы, на солнышке, стоял стол и писарь выдавал аусвайсы – такие бланки вроде пропуска. Ну, дальше всё ясно: работал переводчиком, ушёл с немцами при наступлении наших, после войны попал в руки СМЕРШа под другой фамилией и получил срок.

Как видишь, смертникам нашим повезло, а мы хлебали горюшко всю войну и последующие голодные годы... Да чёрт с ним! Добиваю десятку, хоть бы выпустили. Но не выпустят. Добавят новый срок, вот и весь закон!

Богданов не ошибся. Под конец срока его вызвали в спецчасть, и он расписался в том, что «за регулярное ведение антисоветской агитации в лагере ОСО приговорило его к пяти годам лишения свободы в том же лагере». Вот так! Без суда и следствия, какое-то ОСО, и

сиди — копти небо! (Этот пятилетний срок Алексей Богданов отбыл полностью, освобо­дился со всеми в 1956-м году. На воле работал в Ухте, художником-оформителем на нефтепромыслах).

Однажды в снежных сугробах, сквозь которые мы рыли дорогу к аммональному скла­ду, ребята поймали землеройку величиной с мышку. Был январь, и землеройка, попав из­под снега на мороз, обмерла. Я отогрел её в рукавице, вечером пронёс в зону и сразу же побежал к Лёшке. Как он радовался крохотному симпатичному зверьку! Устроили ящик, землицы достали, и стала она жить в комнате художника. Назвал он её Машкой. На призыв отзывалась писком, поднимала носик. Мех у неё был гладкий, рыльце хоботком, глаза — блестящие пуговики. Привыкла к Лёшке, взбиралась по его штанине на колено, перебирая по-беличьи кусочек леденца или сахара... Так и перезимовала в тепле, общаясь с нами или воюя с мышами, которых немало водилось под бараком. А весной выпустили мы её на оттаявшую землю, и она, перебежав запретку, ушла в лес — на волю.

Всё-таки мы избавились от работы на кирпичном заводе. Случилось само собой: несколько зеков бросили работу и послали бригадира подальше, к ним присоединился Русанов, его оппонент по спорам Коган и я. Отказчики «загремели» в карцер. Сидели в одном белье на голых нарах с полуоткрытым окошком, в которое несло морозцем. Спали на боку, прижимаясь друг к другу и тем согреваясь. На другой бок поворачивались по команде. Иногда в камеру наведывался старший надзиратель Коломиец. Он присматри­вался к кому-нибудь, уводил зека в соседнюю камеру и избивал...

— Пусть попробует меня взять... — скрипел зубами Русанов. — Хочу, чтоб он меня взял...

Но садист Коломиец на взгляд уже знал, будет зек драться или безропотно подставит бока. Нас он не трогал.

Десять суток прошли, как один день, долгий и тяжкий. Нас раскидали по другим бригадам, ходившим на разгрузку леса для шахт, расчистку путей, работу в хозяйственном дворе. С кирпичным заводом было покончено.

В каждом лагере тлела какая-нибудь самодеятельность, был оркестрик или группа актёров. Даже на изнуряющем солнце Степлага торчала посреди лагеря летняя сцена с навесом, и перед нею тянулись ряды грубых скамей (правда, во время «междоусобных» войн зеки разломали скамьи на дрыны).

На пересылке в январе 1952-го года помню концерт женщин, приведённых из-за снежной стены. Когда раздвинулся занавес, мы увидели убогую каморку, на переднем плане которой, уткнув голову в руки, сидя спал Ванька Жуков. На эту роль подыскали удивительно миниатюрную зечку Малиновскую. Она подняла голову, взглянула блестя­щими глазами в зал: на сидящее в первом ряду начальство и на море стриженных голов. Затем звучно и торжественно сказала:

— С Рождеством Христовым вас!..

И замолкла. Мы замерли. В переднем ряду за скрипели стулья. Вспомнили, что сегодня в самом деле Рождество. Выждав некоторое время, показавшееся бесконечным, Малиновская прибавила:

— С Рождеством Христовым вас, дедушка!..

На «Маленьком» 7-м была музыкальная команда, а артистов к нам привёл конвой 1-го, «Большого» лагеря. Как бы ни устали работяги на морозе, дожде или у смрадных камер, вечером они обязательно топали в столовку занять место получше: что там отколют наши артисты? Откололи гоголевскую «Женитьбу». Среди узников ГУЛАГа немало было актёров из настоящих театров, и пьеса удалась. Голодные усталые зрители дружно смеялись и били в ладоши всякий раз, когда действие на сцене задевало за живое. Кочкарёв, Ячница, Анушкин, Жевакин — сами фамилии настраивали на смешной лад душу, истосковавшуюся по впечатлениям. А тем, что женские роли играли мужчины, театр ГУЛАГа воскрешал театр Шекспира...

Как провинциала тянет в столицу — поколесить по её улицам, музеям, магазинам, так тянул к себе «Большой» лагерь. Переход туда был возможен, если на тебя приходила заявка...

Помог латыш, игравший в «Женитьбе» Агафью Тихоновну. Он записал несколько человек (имена, номера, профессии — шахтёрские, конечно). Кто-то посоветовал мне записаться в вентиляцию, более лёгкую, чем проходка, отгрузка, посадка лавы и прочие подземные работы. Наш актёр оказался деловым малым (жаль, не помню его имени), и через неделю нас вызвали на вахту «с вещами». Человек десять, почему-то и Лёша Богданов. Он недоумевал, а потом махнул рукой: куда пошлют, туда иди. Простился я со своей бригадой, с Русановым и Коганом. Горчаков приболел и не поднимался с нар, подарил мне карманного формата английское Евангелие, просил сообщить, как устроюсь...

Через час нас уже принял 1-й Горный, и пошёл наворачиваться новый клубок внешних и внутренних событий, встреч с людьми, который семь лет спустя разматывали на Лубянке кропотливые и задумчивые следователи.

А тогда? Тогда — новое место, новые люди, новый, в чём-то более суровый уклад жизни и работы. Ну и новые надежды...

Лёша Богданов попал в бригаду погрузки угля из бункера в железнодорожные вагоны, избежав таким образом подземных работ. Меня включили в звено плотников, обслуживающих вентиляцию. Вольнонаёмный начальник вентиляции 1-й шахты поручил Петру Чипке познакомить меня с шахтой. Неприветливый, молчаливый, даже угрюмый галичанин кивнул, как бы позвал за собой. Всё было мне в диковину: спуск в клетки, мрачные штреки, с гроханием проносящиеся составы вагонеток — с утра пустых, быстрый, «обезьяний» подъём по почти отвесной деревянной лестнице на параллельный штрек, откуда шуровали по скату уголь и куски его, попадая в лестничный пролёт, били по нашим

каскам, затем спуск на заднице по другому скату в добрую сотню метров, когда до меня вдруг дошло, что при такой скорости я неминуемо разобьюсь. Суровый проводник, от которого я, стиснув зубы, решил не отставать ни на шаг, хоть и понял, что темп и маршрут тот выбрал самый «крутой», ни разу не проронил со мной ни слова. Носились и ползали мы этак часа четыре, и, вконец измотанные (оба!), поднялись на гора, и только тогда Петро Чипка дал понять, что в шахтёры гожусь, «вступительный экзамен» выдержал.

Начальник, щурясь на меня, спросил Петра:

— Обошлось без «костоломки»?

— Ничо, пидийдэ... Звыкнэ... — ответил Чипка.

Начальник отпустил его с каким-то заданием, а мне сказал:

— Посидите у нарядчика. Позову, когда понадобится...

Через час-полтора велено отправиться с плотниками вниз. Получили задание: прорезиненную трубу, надетую одним концом на вентилятор, протянуть в проходке вверх от штрека, закрепить и, включив вентилятор, продуть забой.

Проклятая труба почти метр диаметром и метров тридцать длины никак не давалась мне, я с трудом двумя руками поднимал её в угол под самую кровлю, а ведь ещё требовалось одной левой удерживать на весу, а правой с помощью топора забить в отросток трубы пару гвоздей, приспособить её к стойке, мокрой и склизкой. Без хорошей физической силы и сноровки справиться с этим я не мог. Мои же напарники делали всё ловко, но и здоровы же они были!.. Как бы не замечая моих потуг и прибив трубу на своих участках, в один мах прибили и на моём! Я чувствовал себя прескверно! Надо же было ввязаться в такую историю! Я удивлялся себе, — я ведь всегда справлялся с любыми заданиями, а тут как на грех ничего не получилось! Ни словом, ни взглядом не дали мне понять, что для этой работы я не гожусь. А начальнику, видимо, что-то сказали: утром он поинтересовался, не желаю ли я работать газомерщиком. Смутно соображая, что это такое, я согласился, — деваться было некуда! Не идти же опять в отказчики!..

Начальник велел переодеться в чистую робу и в здании комбината разыскать учебную комнату, где новичков готовят в газомерщики. Готовили основательно: за парты и тетрадкой, а потом под землёй — с лампой Вольфа в руках. Так я приобрёл подземную специальность, вполне посильную для меня, стал газомерщиком на 1-й шахте 1-го Горного.

Вечером в секции, где жили газомерщики и плотники, появился человек лет сорока, быстрый в движениях, с лукавым и доброжелательным лицом. Лагерная одёжка на нём была туго подпоясана и сапоги начищены до блеска. Это выделяло его среди зеков, одетых большей частью кое-как. Перемолвившись о чём-то с бригадиром и собираясь уходить, он заметил меня: я как раз читал. Задержавшись, он извинился и спросил, что читаю. «Король Лир» по-английски изумил его. Мы разговорились. Я спустился вниз, и мы присели на нару.

Так я познакомился с Игорем Константиновичем Ковальчуком-Ковалём. Довольно легко мы поведали друг другу о своих злоключениях в прошлом. Его жизненный путь меня

заинтересовал. Узнав, что он из Харбина, я рассказал о степлаговских харбинцах. Слышал он лишь о поэтессе Валентине Лапиной.

Мы быстро перешли на «ты». О своём деле Игорь говорил не таясь. Он входил в организацию НТСНП (Народно-Трудовой Союз Нового Поколения), и когда наши захватили Маньчжурию, сразу был арестован СМЕРШем, переправлен в Москву, где ОСО припало ему 20 лет ИТЛ.

Очень горевал Игорь по брату Ростиславу. Под Харбином японцы держали в тюрьме много советских людей, служивших до интернирования на КВЖД. С севера и запада наступали советские войска, узникам угрожала смертельная опасность: японцы при отступлении часто расстреливали заключённых. Ростислав собрал группу сверстников, напал на тюремную охрану и освободил арестантов. Тем не менее был схвачен советскими и очень быстро расстрелян в Чите.

С болью Игорь вспоминал семью: жену Марию и дочь Светлану, оставшихся в Харбине, а позже перебравшихся в Казахстан (жена работала лаборанткой в городской больнице). На шахте Игорь в ОТК. «Как видите, в придурках...» – посмеиваясь, сказал он. С любопытством и сочувствием расспрашивал о процессе в Кенгире, вообще хроника лагерных событий его чрезвычайно занимала (позже я узнал, что он вёл «летопись», т. е. был сотворён из того же «теста», что и я).

Мы договорились не упускать друг друга из виду...

Через несколько дней (я ещё ходил на «курсы») встретил Игоря в комбинате. Он радушно приветствовал меня и пригласил в ОТК попить чайку. Я не отказался. Чай был на диво хорош («Балует нас начальник по фамилии Орёл», – хитро прищурившись, сказал Игорь). Чаепитие происходило в бухгалтерии, где за единственным столом сидел суровый человек, которого Игорь и представил:

– Николай Никанорович Золотухин, прошу любить и жаловать.

Игорь Ковальчук-Коваль был старше меня на четырнадцать лет, а мой новый знакомый – старше Игоря. Высокий, худой, с усами, почти скрывающими верхнюю губу, с мундштуком, который не выпускал из зубов, с необыкновенно пронизательными глазами, Николай Никанорович произвёл на меня странное впечатление. Бухгалтеров я воображал сухими, мрачноватыми людьми, вечно занятыми цифирью, бланками, «талмудами». Николай Никанорович был человек интеллигентнейший, внимательнейший, добрейший. Сколько ни приходил к нему, он никогда не занимался бумагами, пренебрежительно отмахивался от них и говорил, что самое главное для него дело – разговор с тем, кто пришёл, а самое приятное – если человек оказывался толковым и умным. Я по сей день горжусь дружбой с ним и благодарен Игорю за знакомство с Носом, как прозвали Николая Никаноровича друзья.

Со временем, когда мы сблизились, он немало рассказывал о себе, и всё же жизнь его предстаёт передо мной отрывочно. Родился в Петербурге; кто были его родители, не знаю, а вот то, что он с гимназической скамьи не принял большевиков, помню. В 16 лет

ушёл к белым в Крым, но в армию не взяли, т. к. «годы не вышли». Как жил потом, неизвестно, но перед войной преподавал физику во Львовском университете. С началом войны сразу перебрался в Царское Село. Немцы согнали на площадь население и велели выбрать бургомистра. Выбрали его, человека среди жителей известного, уважаемого и знающего немецкий. С немцем-комендантом Н.Н. нашёл общий язык, сумел организовать хоть какое-то снабжение города. Например, с ничейной земли, обстреливаемой с двух сторон, жители-добровольцы тащили на себе убитых лошадей, мясо которых шло в устроенную Н.Н. бесплатную столовую. Дважды гестаповцы по разным поводам арестовывали бургомистра и готовили ему казнь. И дважды, один раз буквально из петли, его выручал комендант... Комната и кабинет с библиотекой Н.Н. служили ему и жильём, и местной управой. Сюда тайно приходили посланцы из леса: Н.Н. наладил связь с партизанами. Около года, до самого освобождения города от немцев, прятал в библиотеке двух офицеров — Героев Советского Союза, раненных в боях, попавших в окружение. Ясное дело, когда наши вернулись, органы немедленно арестовали Н.Н., судили. Не помогли ни местные жители, ни Герои, пытавшиеся прорваться к судилищу, чтобы свидетельствовать в защиту Н.Н., — их просто не пустили в здание суда. Приговор был обычный: 25 лет ИТЛ...

Обежав забои, проходки, штреки, я поднялся раньше времени на гора и, приняв душ, надев чистое, зашёл в ОТК. Игорь был на месте. Ему как раз доставили «почту», на столе возвышалась пирамида пакетиков, каждый меньше спичечного коробка, — письма из женской зоны... Игорь нашёл адресованное ему, а остальные пакеты смёл рукою в ящик стола и задвинул его. Письмо было на тончайшей бумаге, мелким почерком — строчка к строчке.

— От Ёлки, — сказал Игорь.

— Как от Ёлки? Она здесь, в Инте? — удивился я.

Игорь прищурился и помолчал. Любил он таинственность... «Ты знаешь Ёлку?» Я рассказал про Леву Софианиди, его поручение.

— Что ж, напиши, я перешлю.

Зашёл Гриша Бронников, земляк Игоря по Маньчжурии, из казачьего поселения на реке Сунгари. Я уже был с ним знаком. Поздоровавшись, он спросил:

— Мне ничего?

— От Черноокой? Есть, конечно...

Игорь дал Грише пакетик, тот чуть смутился, подмигнул нам и вышел.

Каким образом попадала «почта» с 4-го женского на 1-й ОЛП? Ежедневно мимо ОЛПа по шпалам одноколейки проходила на работу женская бригада. Зечки закутаны в бушлаты, ватные штаны, на ногах чуни, а зимой валенки, на головах — платки, а то и два, закрывающие лица по самые глаза. Не разберёшь — старая, молодая, уродливая или красивая. Напротив вахты, от которой вела через насыпь дорога на аммональный склад, одна из женщин в бушлате внакидку нечаянно роняла его на шпалы, где уже лежал неприметный комок из тряпок с письмами мужской зоны. Женщина подхватывала бушлат с тряпкой, оставив вместо неё — свою. Возвращаясь со склада, мы проделывали точно то же

самое. Требовалась ловкость и быстрота, чтобы конвой не заметил. Вечером хорошо подобранные «почтальоны» разносили письма по баракам.

Однажды начальник конвоя что-то заподозрил, остановил бригаду на подходе к перекрёстку и, *обшмонав* одну зечку, отобрал у неё письма. По инструкции он должен был сдать их нашему «куму» Лавриненко по прозвищу Скула (лицо его украшал глубокий шрам – след ножа, оставленный блатарём), но начальник попался не из «вредных», письма куму не отдал. Коротая дежурство, он сидел в караулке у печурки, читал письмо за письмом и отправлял их в огонь. Рассказывали, как изумлялся он, приговаривая:

– Едрёна вошь! Получила *ксиву*, и тут же выговаривает ему за то, что мало написал!..

Да, лагерная «почта» работала быстро и бесперебойно. Вероятно, были и другие пути переписки (например, через верных людей из вольнонаёмных), но главное, что в письмах люди общались, влюблялись, ругались и целовались, нарушая режим изоляции, на котором в Инте начальство было помешано не меньше, чем в Кенгире, хотя в Инте женский ОЛП находился в нескольких километрах от мужского.

В тот же день написал я Элле Маркман про её однодельцев и через пару дней получил ответ: «...Хожу как в тумане... до сих пор ни о ком из них не слышала... Напишите ещё, больше, что рассказывал Лёва или Тэмка...»

Мы обменялись двумя-тремя письмами, но за это время я познакомился с Риммой Александровой. По правилам конспирации каждая женщина носила условное имя. Римму я стал называть Марсианкой.

«На ловца и зверь бежит»... Круг моих знакомых расширялся не по дням, а по часам. Через Игоря поначалу. Вечером в одном из барakov он свёл меня со своими друзьями, которые, как он предупредил, хотели потолковать со мной. Их было двое. Игорь, представив нас друг другу, удалился... И тот, и другой сыграли в моей жизни (да и не только в моей!) существенную роль, и хотелось бы рассказать о них подробнее.

Один был старше, другой помоложе. Я отнёсся к ним настороженно, хотя вели они себя непринуждённо, говорили о себе откровенно и так же расспрашивали меня. Что меня и озадачило. Казалось, они разыгрывают какую-то трагикомедию. Непонятно было, шутят или говорят серьёзно. Евгений Иванович Дивнич, с чёрной бородкой и усами, отчего лицо казалось бледнее, чем было, с необыкновенно живыми глазами, одетый во всё «зечное», сперва играл простака.

– Ах, литература, тем паче поэзия! Знаком, знаком, увлекался, м-да... Но теперь это для меня лишь средство пропаганды, не более...

Тот, что помоложе, Борис Оксюз-Бакулин, прервал его:

– Папашка, а стишки, которые вы декламировали на суде в Воркуте?

И он, извинившись, не без пафоса процитировал:

*Страна моя родная,
Когда б хоть для тебя я мог ещё пожить!
Как я б любил тебя, всю душу отдавая*

*На то, чтоб и других учить тебя любить!
 Как пел бы я тебя! С каким негодованьем
 Громил твоих врагов! Твой пёс сторожевой,
 Я б жил одной тобой, дышал твоим дыханьем,
 Горел твоим стыдом, болел твоей тоской!..*

— Уж не Надсона ли ты читаешь мне, Боря? — продолжал валять дурака Дивнич.

Осенью 1951-го года, Дивнич и Оксюз прошли на Воркуте через второй суд — «за подготовку восстания» (с ними, среди других, — лётчик Сергей Щириков, дважды Герой Советского Союза). Вместо 20-летних сроков им дали 25-летние и с «места происшествия» отправили в ближайшую к Воркуте Инту.

Уверен, что стихи, прочитанные Борисом, написал не Надсон, а сам Дивнич, уж очень похожи они были на иные его высказывания. Однако он говорил и так:

— Что ни говорите, а у большевиков учиться надо. И пропаганде, и умению балансировать на чувствах толпы, и захвату власти, и, главное, удержанию её. Зачем выдумывать велосипед? Всё ясно! Ради России, её свободы, благополучия годятся все средства...

— И ложь?

Евгений Иванович серьёзно этак посмотрел на меня:

— Ну, зачем ложь? Народу нужно говорить правду...

Мы пили горячий кипяток из стеклянных банок, прикусывая по махонькому кусочку сахара, доставленному к столу Борисом. Нравился мне этот человек со странной фамилией, открытый, добродушный, внимательный.

Услышав, что я знаком с Золотухиным, Е. И. сказал:

— Удивительный человек! С таким не потеряешь зря время... Но знаете, он болен, в нём сидит залеченный, но всё же опасный туберкулёз. А он курит!.. Может быть, вам удастся уговорить его?

Евгений Иванович не курил. Зато я курил. И как!..

Дивнич заговорил и о национальных прослойках в лагере.

— Смотрите, сколько «землячеств» и группировок! Баптисты, иеговисты, галичане, прибалты, не говоря о среднеазиатах и кавказцах. Собираются вместе, поют, вспоминают родину. Даже блатные «кучкуются». Евреи размыты, почему-то у них не получается «вместе». С россиянами ещё хуже, не понимают, что и они, хочешь не хочешь, нация. Впрочем, какая там нация! Ни психологически, ни политически. Виновата география. Шутка ли, *разброситься* на два континента! И столько «разноликих народов»! Не отсюда ли пресловутая «всечеловечность» наша, подмеченная ещё классиками? Посему русский никогда, ни за что, никак не станет нацистом-шовинистом на манер немецкий. По природе своей он космополит, и дай ему Бог здоровья!..

— Можно слово, Евгений Иванович? — встрял Борис. — Разве космополитизм не сыграл в ящик в 41-м? Разве отец народов не сыграл в очко на национальных чувствах? Не воззвал к Александру Невскому и Суворову? Не открыл церкви кое-где: нате, подавитесь, но воййте, черти! Не вернул офицерам погоны: нате, носите, но побеждайте!

– В этом-то и парадокс, Боря. Побеждали всё равно ради интернационала, а не ради господства русских над остальными.

У меня голова пошла кругом. Но в целом, во время этого «чаепития», они мне больше понравились, чем наоборот, и я решил про себя не терять их из виду, хотя среди вполне здравых мыслей кое-что в их рассуждениях казалось неприемлемым, например, что надо учиться у большевиков, что все средства хороши... Может, они вызывали меня на спор?

Отмечу лишь одну реплику Е. И., которая пришлась мне по душе безоговорочно: «Своих мы будем узнавать по глазам...»

Кто же был Евгений Иванович Дивнич? Образ его противоречив. Вспоминают его по-разному, сходятся в одном: человек интересный, сложный и в памяти людей оставил глубокий след. Как среди товарищей, так и среди чекистов.

Из дворян, сын офицера, погибшего на 1-й мировой, в 20-м году вместе с семьёй эмигрировал в Югославию, где в 28-м окончил русский кадетский корпус. Участвовал в создании НТС, с 1934-го года шесть лет был председателем Правления НТС. Намеренно остался в Белграде, по приходе наших был арестован, сидел в Бутырке и в июле 1946-го его судили «за шпионаж».

Известно, что НТС ставил своей задачей освобождение Родины от коммунистов, но мало кто знает, что он противопоставлял советскому режиму, какими идеями воевал с «Чудищем обло».

В начале знакомства я не знал, что Дивнич и Оксюз – энтээсовцы, как и Игорь, или солидаристы (так они иногда себя называли). Я думал, что они сами по себе, действуют на свой страх и риск, занимаются «самодеятельностью», как и бесчисленные группы, «союзы», «общества» по всей стране, подобные тем, в каких состояли Соловьёв или художник Богданов...

Меня НТС не привлекал по причинам, о которых ещё будет речь, но кое-что показалось любопытным, когда спустя некоторое время Оксюз познакомил с планами, тактикой и программой Союза. Я предупредил, что не собираюсь вступать ни в какие организации, но познакомиться с программой – извольте. Он согласился.

Несколько слов о самом Борисе Оксюз-Бакулине. Родился в Полтаве в 1915 году. Каким-то образом в войну оказался в Софии, где вступил в болгарское отделение НТС. В составе вооружённой группы энтээсовцев попал на оккупированную немцами территорию с целью перейти восточный фронт и поднять восстание в тылу Советов. Был арестован, осуждён на 20 лет и отправлен на Воркуту, где и встретился с Дивничем. В Инте людей, с которыми общался, считал своей семьёй и к каждому относился любовно и бережно. Знаю по себе.

Е. И., Игорь и Борис восстановили программу НТС по памяти: кто что вспомнил. Прошло немало времени, и я могу воспроизвести лишь некоторые её положения, но и этого, по-моему, будет достаточно.

В стране должен восторжествовать «примат духовного над материальным» и установлен «демократический парламентский и президентский строй», причём президент должен стоять выше партий и движений... Вместо «марксизма» с его борьбой классов выдвигается «солидаризм», то есть все сословия и классы живут дружно по законам мира и взаимопонимания... Земля возвращается крестьянину. Рабочие являются совладельцами фабрик и заводов и подчиняются выбранному ими комитету... Церковь свободна от государства и проводит собственную политику. Все важные вопросы мира и войны решаются путём соборов и референдумов. По всей стране, вышедшей из-под идеологического пресса, запрещается проповедь насилия, ненависти, порнографии, наркомании, коммунистических и фашистских идей...

Что ж, звучало это тогда весьма привлекательно. Но осуществилось бы лишь в отдалённом будущем. А когда царил тотальный террор, тактика солидаристов должна быть осмотрительна и осторожна, пояснял Борис. Насколько я понял, в основе всего — группа из трёх членов, из них один старший, но каждый в группе в свою очередь волен собрать собственную тройку, в которой уже он будет старшим, причём не оповещая старшего из первоначальной группы. Тройки «почкуются» вширь, пока не охватят всю страну... Документации, символов, клятв не допускается. Программа заучивается наизусть в твоём присутствии и уничтожается на твоих глазах... Эта кропотливая работа рассчитана на многие годы. Солидаристы ведут обычную жизнь гражданина, но стремятся проникнуть во все сферы, во все поры государства, на все его ступени.

Подобная тактика показалась мне нереальной, заранее обречённой на неуспех. Увы, будущее показало, что я был прав... Хотя я сознавал, что встретился с чем-то более серьёзным, чем «Союз поэтов — Молния», но лагерь есть лагерь, он жил по своим законам и правилам: шахты с грохотом подавали уголь на гора, в столовых стучали миски и ложки, по сложной шкале делили хлеб (например, к 600-граммовой пайке навалотбойщики или посадчики получали 400 граммов добавки, погрузке давали меньше, вентиляции ещё меньше — 200 граммов). По воскресеньям приезжала иногда кинопередвижка. В КВЧ (культурно-воспитательная часть) листали газеты, библиотека выдавала книги. Однообразие дней нарушалось каким-нибудь ЧП: кто-то ушёл в побег, кого-то резали, на шахте произошёл взрыв метана, погибло пять горняков. Иногда вспыхивала междоусобица с поножовщиной...

«Землячества»... Проще всего было прибалтам и западным украинцам. Их объединяли предания родины, традиции, религия. С русскими, тут Евгений Иванович был прав, дело обстояло иначе. Разные группки возникали по разным же поводам. Например, влазовцы в день рождения Андрея Андреевича пели своё:

*Мы идём на бой с большевиками
На восходе утренней зари!..*

Уцелевшие от расстрелов троцкисты собирались стайками, толковали о каком-нибудь съезде, «злопыхали» в адрес Усатого, извратившего исторические факты, уничтожившего не только троцкистов, но и лучшую часть ленинцев.

Положение русских осложнялось и тем, что прибалты, бандеровцы и другие считали их советскими, конечно, по невежеству, искажая историю России до и после 1917-го года. Полиции и бывшие каратели приспособлялись и в лагере, лезли в придурки, многие из них были связаны с «кумом». Вне национальных рамок оставались верующие, сектанты и уголовники.

Русские обычно тянулись друг к другу «по интересам», например, поэты, или из чувства самосохранения, когда угрожал нож блатного или националистов. Междоусобицы поощряло начальство: легче управляться с «контингентом».

У нас тоже был свой «клуб» в 7-м бараке, в обширной курилке. Вдоль стен тянулись скамьи, а посередине стоял чан с песком, куда бросали окурки. Собирались по средам, обычно к вечеру, посудачить, обменяться новостями...

Прибегает всегда шумливый, встрепанный Сашка Околёнов, моих лет, большой и весёлый спорщик. Появляется и рослый, красивый атлет — румын, которого Сашка бурно приветствует: — Тэдди! Дорогой! Всё пашешь в забое?

Румын молча кивает и устало опускается на скамью.

— Сколько можно? — пристаёт Сашка. — Надо тебя на поверхность...

— Не хочу! С ума сойду! На проволоку кинусь! — отвечает, усмехаясь, Тэдди, в прошлом адъютант короля Михая. Под землёй работает по собственному желанию, изматывает себя, чтобы потом спать, как убитый.

Заходит степенно Николай Никанорович в паре с Павлом Ивановым, не старым по годам, но стариком по внешности, попавшим даже на ОП (оздоровительный пункт), где дохляк пытаются поставить на ноги дополнительным питанием, спасая от дистрофии, пеллагры, цинги. Садятся, Николай Никанорович вытаскивает мундштук, свёртывает cigarку, что-то прикидывает в уме.

— Говоришь, Павлик, в Большом театре дочь поёт? — спрашивает соседа.

— То-то и оно, Никанорыч! Сами посмотрите...

Дрожащими руками Иванов извлекает из кармана изрядно потёртую записную книжку, несколько газетных вырезок...

— Вот она в опере «Фиделио», дочь моя, Галина Павловна!..

— Не горюй, отец! — говорит Сашка. — Ей же премия корячится. Сталинская! Небось, вытащит отсюда...

— Нет уж, — отмахивается Иванов. — Не любила меня, для неё я никто... Да она и не знает, где я. Не пишу им. Стыдно.

Забегая вперёд, скажу, что Никанорыч с Евгением Ивановичем написали Галине Вишневской, где находится её отец, в каком плачевном состоянии и попросили прислать ему посылку с витаминами. Передали с верным человеком, письмо опустили на одной из станций за Котласом, то есть за пределами Коми АССР, но ответа не было. Возможно, письмо было задержано органами на каком-то другом уровне. Недрёманное Око следило и за артистами...

Если заходит Жанис Янушка, устремляется ко мне. Привык ещё по 7-му да по скульптурной мастерской на кирпичном заводе, где мы с ним одно время лепили и отливали

фигуры рабочего с кирпичом в руках и заначкой в голове — письмом в будущее (в память по кенгирскому тайнику). Жанис опять с книгой по латышски — что-нибудь «диалектическое», за что и прозвали его «марксёнком». Он упрямый малый, молча глотает обиды и продолжает «грызть науку».

Бывают здесь и Григорий Бронников, и Миша Животовский из бухгалтерии 1-й шахты, в прошлой жизни директор киностудии в Берлине, за что и срок получил. Он делится новостями от вольнонаёмных девушек и женщин бухгалтерии. Сегодня принёс потрясающую (шутка!) новость: посёлок Инта получил статус города. Вольняги уверены, что это как-то отразится на заключённых...

Ну и, конечно, Игорь Ковальчук-Коваль тут как тут! Помалкивает, поворачивается всем корпусом к говорящему, впитывая каждое слово...

Как реагирует Николай Никанорович на Сашкин вопрос: долго ли проживёт ещё великий и мудрый?..

— Люди у власти, Саша, чьё желание, любое желание, исполняется мгновенно, стареют быстрее прочих смертных. И умирают быстрее. Но в данном случае это нам не поможет...

— Что было, видели, что будет, увидим, — не без огорчения говорит Сашка.

Ещё в марте 1952-го года 1-й Горный перешёл на хозрасчёт, что возбудило среди лагерников напрасные надежды. Люди стали работать как бы за деньги. Мизерная сумма выдавалась даже на руки, остальное заносилось на лицевой счёт и могло быть выдано лишь при освобождении, о каком большинство зеков, имея *четвертак*, и не мечтало. Однако появился магазинчик, открыли буфет, где можно купить мыло, зубной порошок, махорку, даже повидло...

Поздней осенью Евгений Иванович уговорил меня сменить вентиляцию под землёй на *породоотборку* на поверхности шахты, где я тоже не задержался, а, при поддержке Никанорыча, вскоре попал в гардеробную, где проработал год — год памятный не только для лагерников, но и для всей страны.

Для меня начало 1953-го года отмечено было запойным чтением Достоевского. Дореволюционные томики издания Павленкова ходили по рукам в ближайшем окружении Николая Никаноровича, на них была очередь. Книги не задерживались, и мой черёд настал быстро. Неудивительно, ведь вечером дают тебе том с «Бесами», к утру ты должен передать следующему. Днём пытаешься «прикорнуть» на работе. Гардеробщик занят по два часа — в начале и конце смены. Остальное время — твоё. Напарник, зная, что ночей я не сплю, позволяя «отключаться», но при появлении начальства обязан был меня будить.

Подумать только, в две недели я одолел всё собрание сочинений Фёдора Михайловича! Не только романы, но и дневники... Я думал, что помешаюсь... Такого со мною ещё не было! Достоевский встряхнул, разбудил меня. В детстве я мечтал убежать в Америку. Теперь же он сказал: не надо никуда бежать, твоя «Америка» в тебе самом. Открой её в себе, открой свой собственный, не познанный тобою мир. Он есть у каждого! Его можно *заслать* и прожить жизнь, его не замечая, но он есть, этот мир, поэтому — проснись, человек!

Погружаясь в его романы, я испытывал восхищение и ужас. Я чувствовал словно второе рождение — не только духовное, но физическое. Я увидел жизнь свою в каком-то ином свете.

И главное, я почувствовал в себе и в мире присутствие Бога! Достоевский — христианнейший писатель в истории человечества...

Никанорыч сиял, наблюдая за мной. Делиться переживаниями я мог только с ним. Я мог молчать, и он понимал меня. Качество редчайшее!

Помнится, беседовал я с одним литовским священником, человеком начитанным и неглупым. Затронули литературу, Оказалось, он очень любил русских писателей, сильнее всех — Достоевского.

На вопрос, почему же тогда в своих проповедях он говорил о России с неприязнью, призывал паству не поддаваться влиянию с востока, противостоять не только этническому смешению, но и культуре, священник ответил: «Поддавшись вашей культуре, мы, в конце концов, растворились бы и исчезли как нация». Без сомнения, тут было опасение за свой народ, но и взгляд на него свысока, неверие в духовные силы его.

Ирландцы и шотландцы противостояли Англии, но не боялись её культуры.

Грустно на этом свете, господи!

У одного латиноамериканского писателя я прочёл, что он почувствовал, закончив чтение «Идиота»: «Я стал бы на колени перед Достоевским! Я так люблю русских!». Да, русских можно не опасаться, пока они на другом конце земли. Но в государстве, устроенном бесами, в лагерях, учреждённых Усатым Дьяволом, всё шло по законам преисподней...

Как-то раз на мои и соседние нары присели четыре хлопца. Я только проснулся и, увидев их, сразу понял, что за гости. Часть западноукраинцев (я склонен называть их галичанами), особенно те, кто участвовал в борьбе с Советами, попав с воли в лагерь, быстро сориентировались и организовались. Штаны с напуском на выдраенных до блеска сапожках (как у запорожцев?), аккуратно подогнанные телогрейки и обязательные ножи за хляевой.

Старший, чуть смущаясь (чего?), сказал:

— Хочемо про щось поспросыты тэбе. Звидкиля призывыце у тэбэ украинскэ? Ты шо, «пэрэвэртэнь»?..

Могут и поронуть, мелькнуло в голове. У Ковальчука уже побывали. Узнав, что родился на Камчатке, отстали. Но были случаи более «радикальные»...

— Нет, хлопцы, вырос я на Кавказе, а почему фамилия такая, не знаю...

Помялись немного, переглянулись, ушли... Пронесло...

У нашего знакомого было похуже. Ещё в Вильнюсе племянник Палецкиса Гердис Бинкис не скрывал в университете, что он марксист. Этого было достаточно, чтобы одно-

курсники «заделали козу», написали что надо и куда надо, и Гердиса замели. Правда, срок получил детский — «всего» 10 лет.

Высокий, стройный, с правильными чертами задумчивого лица, Гердис был воспитанным человеком и тяготел к нашему «клубу» — не по взглядам, а потому что можно было спокойно обсудить с доброжелательными людьми как личные, так и общие проблемы или просто послушать, о чём толкуют вокруг.

Вражду к Бинкису однокурсники передали «лесным братьям» в лагерь. Однажды в рабочей зоне, когда стемнело и Бинкис возвращался в комбинат по дощатому тротуару, на него набросились с ножами трое земляков. Никто в лагере не знал, что Гердис владеет приёмами самбо. Он ловко увернулся от ножа, распоровшего телогрейку и задевшего плечо, и расправился с агрессорами, сбросив их с тротуара в зловонную чёрную жижу кювета. Сам неторопливо пошёл в медпункт, где плечо обработали, забинтовали и дали направление в лазарет...

Мы с Борисом навестили его. Ничего, лежит, улыбается...

Что ещё из «инфернального»?

Прибыл небольшой этап с воли. Едва разместились, к одному из новоприбывших подселся блатной:

— Ну, мужик, рассупонь свой кешир! Что у тебя есть на «о»?

— Какое «о»? — не понял «мужик».

— Масло, сало...

— А ... не хочешь?

Блатной ухватился за мешок, но «мужик» попался не из робких и саданул блатного по зубам. Блатной такого не ожидал, «озверел», кинулся к «мужику» с пикой, и после нескольких ударов тот скончался...

И загудела зона, забегала! «Мужики» кто где похватили дрыны, у 58-й и пики оказались в загашниках, и пошли на штурм «блатного барака». Русаки, украинцы, литовцы соединились в одном порыве. Откуда-то и бревно взялось, затрещала под ударами дверь. «Мужики» ворвались в барак, а блатные, вопя от ужаса, выскакивали в окна с рамами на плечах. Кого достали «мужики», тех порешили, остальные сбежали под защиту надзорсостава. Начальство спешно убрало блатных на другие ОЛПы. Воздух на 1-м Горном стал чище.

Я уже не раз встречал у Евгения Ивановича Дивнича мужественного вида человека в полувоенной фуражке с козырьком, из-под которой смотрели внимательные глаза. Наконец Дивнич представил нас друг другу. Протянув руку, тот сказал:

— Георгий Терешонков из Питера.

— Мой начальник контрразведки, — прибавил не то шутя, не то всерьёз Евгений Иванович.

— Не верь, брат, не верь! Какой из меня контрразведчик! Сам попался к ним в лапы...

Мы сразу перешли на «ты», «узнали друг друга по глазам». Разговорились, и новый знакомый поведал свою, почти обычную по тем временам историю. Вот что запомнилось.

Родился Георгий Павлович в 1922 году, в 41-м со студенческой скамьи ушёл добровольно на фронт, попал в окружение, а потом в плен. Трижды бежал, но неудачно. Заточили его на острове у берегов Норвегии. За четвёртый побег был приговорён немцами к казни, но бежал в пятый раз.

«Нас было несколько человек, ворвались в комендатуру, вооружились, на катере добрались до Норвегии, оттуда в Швецию».

Их уговаривали в советском консульстве в Стокгольме как можно быстрее отправиться в Союз. «Родина ждёт вас, ребята! Ждёт — не дождётся!».

«У нас были велосипеды, новые чемоданы, костюмы, даже цилиндры(!), итальянская обувь, карманные деньги... Когда перевалили финско-советскую границу, поезд остановили, и мы оказались под дулами автоматов. Подарки отобрали сразу же».

Дальше их ждал фильтрационный лагерь. Георгия выпустили в ноябре 1945-го, немного подышал вольным воздухом, разыскал школьную любовь Олю, женился, дочка родилась, но в конце 47-го арестовали, по статье 58-б («измена родине») дали *четвертак* и отправили в Инту. Через год с напарниками, изготовив 30 самодельных гранат, пытался бежать через старый, заброшенный шурф, но их предали, и все были схвачены. Судили вновь. Походил в наручниках в БУРе и поздней осенью прибыл на 1-й Горный, тоже в БУР... Теперь вот выпустили в общую зону.

Георгий при мне сказал Евгению Ивановичу о печальном положении лётчика Щирова в БУРе. Надзиратели из подонков, сплошь садисты. Самый ярый, Салманов, повадился к Щирову в камеру, дразнит его, доводит до бешенства, после чего надзиратели гурьбой избивают Сергея Сергеевича, и он уже на себя непохож. Вырвался на днях в одном белье, взобрался на крышу, стал кричать в зону, чтобы выручили его от душегубов, позвали какое ни на есть начальство.

— Что делать? — спрашивал Георгий. — Не иди же к куму за помощью!

— Что же, это идея! — сказал Дивнич. — Лавриненко из тех, кто слушает. А на мятеж зеки ОЛПа не пойдут.

— Конечно, им тут вольготней, чем на Воркуте...

Сергей Щиров прошёл с Дивничем по воркутинскому процессу. От Евгения Ивановича мы услышали о горестной его судьбе. Была у дважды Героя Советского Союза красавица-жена. Берия стал её приваживать, а наткнувшись на сопротивление — преследовать. Щиров, пытаясь оградить жену от сексуального маньяка, пошёл жаловаться, и Берия стал искать на него удавку... Тогда С. С. уехал с женой на юг, в Армению, и они попытались уйти в Турцию. Были схвачены на самой границе, но перед судом предстал только С. С. Жена оказалась беззащитной перед Оберпалачом. Щиров же за «измену» получил — двадцать пять.

Не знаю, был ли разговор со *Скулой*, но из БУРа куда Щирова не перевели. Берия мог и в лагерь спустить «инструкцию», как его содержать. Избиения, вроде бы, прекратились.

Надо же! В зоне появилась баскетбольная площадка! Инициатором был Леонард Уинкотт, как говорили, настоящий англичанин! Лет сорока, расторопный, со всегдашней улыбкой на губах, по-русски говорил сносно, путаясь, правда, в падежах и глаголах, но, в общем, понятно. Я его взял на заметку в надежде, что поставит мой английский. Оказался общительным малым, про себя рассказывал без обиняков, опровергая мнение, что англичане народ сдержанный.

В Англии служил на флоте, вступил в компартию (и тут без неё не обошлось!), был организатором забастовки моряков, о которой в 30-е годы писали даже наши газеты. Не чужд был порассказать о свободе отношений мужчин и женщин, членов партии. Например, жена, уезжая на несколько месяцев по партийным делам в США, вместо себя оставляет с мужем товарку, готовую на все услуги. По-моему, на сексуальной теме Леонард был чуточку помешан, что в лагере не редкость. Однако жену питерскую вспоминал со слезами. На похоронах её, вспомнив, что она просила бросить курить, положил в гроб записку с обещанием не курить, честно исполненным. Столкнувшись с абсурдом советской жизни, конечно, драл горло, и, ясное дело, загремел на десять лет. Политики не касались. Леонард — потому что зек, которому осталось три месяца отсидеть, осторожничает. А у меня была задача подучиться у него английскому языку...

Я стал захаживать к Леонарду в барак, в непогоду, в метель или мороз, мы сидели под крышей, раскрывая рты и шевеля губами, воспроизводя диковинные звуки, а в хорошую погоду гуляли по лежнёвке вдоль запретки. (В Инте *полки* не стреляли в зону, как в Кенгире). Леонард с готовностью помогал мне, подарил словарь Мюллера, а я по мере сил правил его русскую речь. Естественно, общение наше бросалось в глаза. Меня вызвали к Лавриненко. *Скула* устроил радушный приём, усадил напротив, угощал «Казбеком». Всё, как всегда в таких случаях. Узнав, что я из Николаева, обрадовался:

— Как же! Клуб «Желдора» на Пушкинской, там ещё танцы были, театр имени Чкалова... Странно, не правда ли, имени Чкалова? Он что, артист? Яхтклуб. Забегаловка на Советской, в башне, помните?

Действительно, чёрт, знает город! Ну, гебисты... Где их только ни носила нелёгкая. И в Николаеве успел побывать.

— Впрочем, ближе к делу. Расскажите о себе. За что хоть посадили? Родители есть?.. Ай-ай. И у немцев успели посидеть, и у нас! Но, вы, несомненно, наш, вы советский... Я в это верю.

Курил много, сидел в дыму, как Мефистофель, пуская в потолок кольца.

— Если по-серьёзному, мы с вами в стане врагов, не правда ли? Посудите сами, их тысячи, а я один... Как тут разобраться, а? Вот, к примеру, англичанин этот... как его?.. Уинкотт. Сроку у него осталось с гулькин нос, а чем дышит, что думает, раскаялся ли,

вынашивает ли планы какие... Выпускать или пусть посидит? Я как-то видел вас вдвоём, случайно попались на глаза. Помогите мне.

Я слегка отодвинул стул от стола и посмотрел ему прямо в глаза. Таких мы тоже узнаем по глазам. И я сказал:

– Всякое говорят про вас, я считал, преувеличивают. Теперь познакомился. Наговорили про Николаев, разбередили. Думаю, человек как человек, напрасно оговаривают. И вдруг, здарсьте, всё просто: приходи, стучи. Нет уж, гражданин начальник, все, кто сидят, вам враги, а мне товарищи, одну баланду едим.

Он откинулся на спинку стула, побалансировал на задних ножках, окутываясь дымом, затем широко этак улыбнулся:

– Это мне нравится! Ей богу! Люблю, когда со мной откровенны. Знаешь, с кем дело имеешь. Что ж, вы свободны.

В тот же день за бараком я рассказал Леонарду о вызове к куму. Так что ведите себя, мистер Уинкотт, соответственно ситуации, не болтайте лишнего, например, о том, что вы на коленях бы поползли к стопам Её Величества...

Леонард поблагодарил и сказал, что привык к лагерю, и если даже не выпустят, готов терпеть «до потопа».

Вскоре привезли киноустановку. В столовой экран повесили посередине зала, и зеков набралось с обеих сторон, как сельдей в бочке. Я сидел с Леонардом недалеко от экрана, когда в дверях вдруг явился Лавриненко. Оглядев зал, заметил нас, усмехнулся. Всё ясно!..

Леди Гамильтон» с Лоренсом Оливье и Вивьен Ли. Прекрасный фильм взволновал зеков. По сему случаю мною написаны были стихи:

*Здесь человек – за паухой кулак –
Сопротивленья знак.
Здесь каждый – человек или собака...
Но мы в столовой. Мы теперь в кино.
Мы разжимаемся. Забыть разрешено
На полтора часа тоску барака.
И меркнет тихо «Леди Гамильтон»
Сломалась жизнь... И сердце бьётся в тон
Полуторачасовому виденью...
Выходим прочь. Над нами снова ночь,
И снова эту ночь не превозмочь, –
Себя я снова никуда не дену.
И рельса звон вмешался в ветра вой,
И снова человек здесь сам не свой, –
На лицах наших пляшет тень солдата...
Я встряхиваюсь... Снова тот же путь,
И снова пеплом застучали в грудь
Друзей погибших имена и даты...*

Свесив ноги с верхних нар, Лёша Богданов рассказывает очередной анекдот, а вокруг зеки рты раскрыли, внемлют:

Базар. Толпа. Один еврей говорит другому: «Мы тогда заживём хорошо, когда старик умрёт». Кто-то подслушал, донёс. Поволокли еврея к чекистам. «О каком старике изволили говорить?». «Да живёт у нас сосед, зловредный такой старикашка, прохода никому не даёт. О нём и говорил». «Ну, ладно, поверим, идите». Вышел еврей, а через минуту приоткрывает дверь, всовывает голову и спрашивает: «А вы на кого подумали?»

Зеки дружно смеются. Лёша серьёзно оглядывает их всех и спрашивает: «А вы на кого думаете?» И снова хохот. Пожилой еврей говорит соседу:

— Умрёт, умрёт старик. Поднялся на евреев — свернёт себе шею.

У Евгения Ивановича Дивнича кто-то был, я хотел уже уйти, но он задержал меня:

— Вы, Леонид, кстати. Заходите. Познакомьтесь: Николай Житков, пишет стихи. Это по Вашей части.

Присаживаюсь, разглядываю. Крепко сбитый, коренастый, ноги короче туловища, лицо скуластое, замкнутое, хмурое, молчалив. Глаза белёсые. Сразу чем-то не пришёлся по душе.

По просьбе Е.И. читает стихи — неправильные, беспомощные, но что-то в них есть. И чувства есть: грусть-тоска, родина, природа. Передал листочки, я просмотрел, что-то покритиковал, что-то одобрил. Кивает, соглашается. Говорю, что полагается в таких случаях, твёрдо памятуя, что любое интеллектуальное занятие в лагере — спасение. Решаем встретиться, познакомлю его с теорией стиха.

Потом, наедине, Е. И. сказал, что Николай из уголовников, но с прошлым порвал, хочет человеком стать. Тем интереснее будет помочь ему в этом. Ничего себе, Макаренко нашли! Запомнилась фраза Е.И.: «В побег с ним пойти — пожалуй, может и скушать... Но не предаст!» Логика, мягко говоря, странная.

Любил Е.И. иногда озадачить парадоксом.

Но чем чёрт не шутит? Может быть, и в самом деле человеком станет, научится чему-то! Говорит, что читал Есенина, Исаковского, Твардовского... Надо будет познакомить его с Блоком, Гумилёвым, Ахматовой...

Прошёл месяц, мы встречались, разбирали стихи. Должен признаться, Николай меня удивил. От Блока он был без ума, схватывал и запоминал на лету случайно оброненный стих, фразу, рифмы. Работать с ним было интересно. И стихи его стали иные — упругие, более внятные, попадались иногда строфы очень удачные. Я не верил своим глазам: человек перерождался!

Никанорыч улыбался в усы: ну-ну, посмотрим, посмотрим. Николай Житков стал своим в нашем кругу. Вскоре его тоже пристроили в гардеробной, где появилось время писать и читать.

Переписка с *Марсианкой* шла по градации: холодно — теплее — ещё теплее — совсем тепло — горячо!.. С чего всё началось? Приятельница Игоря Ковальчука-Ковалёва белорус-

ская поэтесса Лариса Гениуш как-то написала, что есть у них в зоне женщина, которая не прочь переписываться с кем-нибудь из его знакомых. «Высокая, милая и очень печальная,» — писала Гениуш. — Зовут её Римма Александрова...» Я написал первый, считая, что раз печальная, значит, моя. Она ответила. И пошло...

Меня привлекли в её письмах ясность стиля, ровность характера, отзывчивость душевная и деликатность выражений. Писала о предметах и событиях незамысловатых, связанных с лагерной жизнью, с её прошлым. Есть женщины, которые мыслят просто, и получается у них прекрасно.

Переписка захватила меня. Мы ведь не были стариками, трезво смотрящими на жизнь, хотя молодость как бы уже и прошла, но как прошла?.. Мы были ещё «невостребованными»... С лёгкой руки Игоря, почтовое имя моё было Гамлет. Что он увидел во мне от принца датского, непонятно, но и в его записях, где люди нашего круга носили разные прозвища, я фигурировал как Гамлет.

Я был большим «романтиком» в письмах к *Марсианке*, чем она, трезвая и рассудительная. Невидимка являлась мне в ореоле чистоты и света, над чем она, безусловно, посмеивалась, но так было. Обменялись случайно сохранившимися у нас снимками. Неясный образ превратился в задумчивое лицо блондинки, не лишённое привлекательности, схожее, как мне показалось, с лицом матери моей в молодости. Я послал Римме адрес матери, и они стали переписываться.

Римма рассказала о себе. Отец, страдавший алкоголизмом, из рабочей семьи. Мать, из старинного нижегородского купеческого рода Купицыных, — учительница. Картина её детства потрясла меня, острое чувство жалости ещё сильнее привязывало к ней («Жалость! Великое дело — жалость!» — сказал поэт; я добавил бы: сильнее любви). Мать и дочь сбежали от пьющего отца в Литву. Римма окончила школу, поступила в институт, но тут началась война. Прибалтика была захвачена в первые же месяцы... В их доме квартировал майор, австриец по происхождению. Узнав, что Римма владеет немецким и немного литовским, устроил её переводчицей при комендатуре. Римма писала, что их квартирант не любил фашистов, был мягким по натуре, воспитанным человеком, и она была как бы под защитой у него. Потом пришли наши. Римма к тому времени вышла замуж за литовца-бухгалтера, на двадцать лет старше её, практически не любя, только ради статуса жены. Родился сын Виктор, и почти сразу после родов Римма была арестована. Сын остался с бабушкой, преподававшей русский язык и литературу в литовской школе. Муж пытался покончить с собой (у него был револьвер), но рана оказалась не смертельной. В тюрьме Римма заболела грудницей, в тюрьме ее и лечили... Дали срок — 25 лет, привезли в Инту.

Я решил во что бы то ни стало хотя бы повидаться со своей *заочницей*.... В воскресный день на шахте проводились лишь профилактические работы, и народу выходило немного. «Женихов» было семеро (два украинца, два литовца, трое русских). Под землёй из штрека мы прошли в закрещённую досками проходку, часть которой была затоплена по колено. Нас можно было считать в побеге. Мы вышли к давно заброшенному шурфу. По полустгнившей деревянной лестнице выбрались из-под земли на поверхность и оказались

вне всяких зон. Но женская зона (бараки, три ряда проволоки) была метрах в тридцати. По правую руку — вышка с часовым. Бывалый проводник наш из литовцев успокоил: часовой подкуплен, полчаса в нашем распоряжении. По ту сторону проволоки уже ждали. Сразу начались разговоры, литовская речь смешалась с украинской и русской. Появилась *Марсианка*, предупреждённая накануне письмом. В синем халатике с белым воротником и в очках, она молча глядела на меня, молчал и я. Она оказалась красивее, чем на фотографии. Наконец я сказал что-то ободряющее. Она улыбнулась и ответила тем же. Мы ещё перемолвились несколькими словами, но о чём, даже не помню, о письмах матерям, о здоровье. Время пролетело незаметно. Солдат с вышки махнул рукой, на ту сторону полетела «почта», и мы стали прощаться...

И он настал, этот день! Но — по порядку... Едва репродуктор в столовой сообщил о болезни Вождя, все замерли, выслушали молча, но в каждом всколыхнулась надежда... Несколько дней утром и вечером радио передавало бюллетени о здоровье Сталина, и столовая переставала дышать. Обедали побригадно. В один из дней мы оказались далеко от репродуктора, доносились лишь отдельные слова: «...здоровье... Виссарионовича... у-у-у-шилось...» Стали кричать: «Улучшилось? Ухудшилось?» Те, у репродуктора, радостно замахали руками, закивали: «Ухудшилось! Ухудшилось!» В бараке Никанорыч, попыхивая махоркой, сказал, что Сталина, скорее всего, уже целую неделю нет в живых.

— Никто не посмел бы давать бюллетени, пока он живой. А вдруг переможет? И что тогда?

5 марта 1953-го года утром Левитан произнёс слово «умер»! Пошла траурная музыка...

Вне столовой:

— Как! Бессмертный умер?!

— Умер! Умер!! В гробу лежит!

Люди стали ходить подпрыгивая. Мы кожей чувствовали растерянность начальства. Помню одного нарядчика по фамилии Дерюга, так он просто дурашливо рыдал и бился в истерике. Прибежали из санчасти с носилками, уложили, понесли, а он, размазывая слёзы по багровой роже, причитал:

— Горе-то язз! Лышэнько мое!..

В бараке инвалидов старики-троцкисты и прочие «недобитые», укравшись с головой на нарах, тихо радовались, что пережили-таки! Впрочем, нашёлся старикан, который, сидя у тумбочки, уткнулся зарёванным лицом в ладони. Другой — его ровесник, подошёл с табуретом и стукнул рыдающего по голове:

Не считая единиц, зеки молчаливо ликовали: дождались-таки!.. Но дни шли за днями, хозяина всея Руси, уже мёртвого, внесли в мавзолей и положили рядом с другим мертвяком. Газеты перестали печатать снимки членов Политбюро, дежуривших у гроба. По радио понеслась та же карусель, что и раньше. Начальство успокоилось, приосанилось.

Лагерь жил по-прежнему. В кружках подбивали итоги, прогнозировали. Никанорыч отметил слишком частые призывы «Правды» к «единству», недопущению «разброда». Ждали амнистию: уж очень «крутое» наследство оставил Самый мудрый.

И в апреле случилось нечто: иностранцев отправили в Мордовию, в Дубровлаг, а оттуда отпустили на родину. Так мы простились с Тэдди, Уинкоттом, маодзедуновцем Ли Сун Чаном, Сашкой Мюллером фон Зейдлицем, прозванным «Американцем»; отправили на родину и бывших военнопленных — венгров и немцев.

Вслед за этим грянула амнистия. Но какая! Стиснув зубы, смотрела 58-я на составы с Воркуты, полные веселящимися блатарями:

— Мужики, пока! — орали они, когда поезд проползал мимо зоны. — Пятьдесят Восьмая, я тебя мелко вижу, ха-ха! Ворошилов — человек! Гы-гы!..

Как-то Никанорыч сказал:

— Что-то назревает, господа.

Назревало однако не здесь, а в столице. Через пару дней в Большом Театре шла премьера оперы Шапорина «Декабристы». Газеты сообщили, что присутствовало Политбюро, перечислили кто.

— Берия нет! — сказал Никанорыч.

10-го июля передали об аресте Берия. «Преступные антипартийные действия... подорвав государства... попытки поставить МВД над правительством... исключить... врага народа... передать в Верховный Суд...»

Начальство почувствовало себя совсем плохо. Хуже, чем после смерти великого и мудрого. В лагерное Управление приехали гости из Москвы, все военные. Тотчас надзиратели БУРа повели туда бывшего летчика Щирова. Забегали зеки, собирались у барачков, близко к Управлению не подступали. Часа через два группа офицеров вышла из Управления. Среди них был Серей Сергеевич Щиров, тоже в военном, с погонами и двумя звёздочками Героя на груди. Приостановившись, поприветствовал братву. Вечером читали записку: «Дорогой Евгений Иванович! Был разговор с зам. ген. прокурора. Еду в Москву на процесс по делу Берия. Всех в ближайшее время ждут большие перемены. Мужайтесь! Всегда Ваш Сергей Щиров».

— Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! — заговорчески приветствовал меня Юра Степанов, из геологов, добрейшей души человек, большой поклонник Ильфа и Петрова. До сих пор не знаю, за что он сидел, но срок был, как у всех — *четвертак*.

Да, лёд тронулся: забастовала Воркута. Месяц люди ждали каких-то сдвигов после ареста Берия, а их не было. Порожняк на Воркуте не загружался, его гнали на юг. Платформы заполнили все колеи возле Инты, на них мелом — размашистые буквы: «Инта, проснись! Инта — сука, чего ждёшь!»

Вскоре пришло тяжёлое сообщение: забастовку потопили в крови... В 1953-м году воркутинцев не поддержали — не только Инта, но и бесчисленные лагеря по всей стране. Но воркутинская трагедия вошла в историю как первое открытое противостояние режиму.

Мало-помалу начались перемены. В августе сняли номера с заключённых, решётки с барачков, разрешили свидания, письма без ограничений. Очень скупо, по одному, *выдёргивали* зеков в контору, снимали судимости, освобождали. Большею частью бывших партийцев, а после прекращения процесса «по делу врачей» — евреев.

Но было и обратное. Прибыл новый этап — с полсотни человек. Мы подошли к карантинному барачку. Окна открыты настежь — для доступа воздуха.

— Москвичи есть? — спросил я выглянувшего «новобранца».

Высокий худой юноша внимательно и серьёзно поглядел на нас. Я протянул руку, назвал себя. Он пожал её и сказал:

— Виктор Булгаков. Студент.

— Хлеба хватает? Приварок дают?

Он улыбнулся: мол, да, и хлеб есть, и баланду приносят. В карантине продержат ещё с неделю. Значит, увидимся. Так и договорились.

В нашем кругу жизнь продолжалась по-старому. Ходило по рукам «Письмо Ворошилову», написанное Евгением Ивановичем Дивничем. Адресат значился для отвода глаз. Бывший харбинец резко выступал против большевизма и советской власти, начиная с Ленина и кончая днём сегодняшним. Страниц шестьдесят убористого почерка. Его переписывали, обсуждали, дополняли. Эта яркая аргументированная отповедь режиму была одной из первых ласточек грядущего дессидентства.

Появилось и второе сочинение — «Письмо Г. К. Жукову»: строгое, логичное описание народных бедствий с призывом к маршалу взять власть в свои руки и войти в историю отечества избавителем от коммунистического беспредела. «Письмо» было написано другим автором, может быть, Николаем Никаноровичем Золотухиным, хотя он никогда не признавался в этом. Было и другое мнение: автор — Георгий Терешонков. Он отправлял несколько копий его в Москву с разных станций по линии Котлас — Вологда. Безнадёжное предприятие... Но хоть что-то!..

Наш «клуб» функционировал по-прежнему. В него вошёл и Витя Булгаков. Не всегда юноша, попавший из университетской аудитории за колючую проволоку, оказывался в благожелательном окружении. Поэт и музыкант, романтик и мечтатель, он в Москве занимался тем же, чем мы в Кенгире и Инте, — устраивал тайник в скверике на Ленинградском проспекте... Как нас в лагере, так и его на воле предали; стихи, поэма, роман в прозе легли на стол следователя, и — прощайте, родные, девушка, которую любил, друзья!..

Из дома ему привезли аккордеон, у него оказался сильный голос, и в барачной сушилке он пел нам свои песни: «За девушек седых», «Гимн заключённых». В его стихах, таких, как «Решётка ржавая в окне...», были заметны блоковские мотивы. Любовь к России выражалась в туманных образах и уживалась с богоборчеством поэмы «Аббадонна» и культом «золотого века» русской литературы.

Как-то Виктор пригласил нашу компанию в барачную сушилку, где «благоухали» на крючках мокрые грязные валенки. На тумбочке лежала роскошная коробка шоколадных

конфет. Он заметно волновался. Мы о чём-то болтали, но Виктор сделал знак рукой, и все примолкли. Он встал и со страстным воодушевлением, на повышенных тонах произнес:

— Друзья! Сегодня для меня знаменательный день — день рождения Наполеона! Прошу каждого в честь этого дня съесть по конфете. Внутри конфет — ликёр...

Мы недоуменно переглянулись, но по конфете взяли. Давно лишённые всяких лакомств, по достоинству оценили благородный жест бывшего студента... Но в голове пронеслось: не во времена же Пушкина и Лермонтова мы живем! Хотя пусть, человек волен поклоняться «своим богам и кумирам»... Но и Пушкин и Лермонтов восхищаясь гением француза, тем не менее оставались патриотами, о чем и строфы «Онегина» и «Бородино»...

Впрочем, среди наших ходил слух, что Виктор — прямой потомок Мюрата, побывавшего с Великой армией в России. Игорь Ковальчук-Коваль в своей летописи обозначил Виктора «Холстомером» — за привычку бегать по лежнёвке почти рысью.

Как-то Георгий Терешонков привёл в «клуб» Василия Неверова, молодого человека лет 25-27-ми, получившего второй срок за побег из пермских лагерей. Он стал захаживать, ему пришлось по душе наши «посиделки», и однажды Вася разговорился, рассказал о себе, о том, как их троих задержали и повезли — обратно в леса... Да не в «свой» лагерь, а в другой. Главный сопровождающий подался в канцелярию, а их завели в караульное помещение...

— Солдаты присели у дверей, а трое вертухаев отложили домино и с любопытством разглядывали нас. Караулка была оклеена газетными вырезками, висели тут стенгазета и плакат. Мы со своей лавки могли этот плакат рассмотреть во всех подробностях: боец с винтовкой «к ноге», рядом жёлтый обелиск, звезда на нём и девять фамилий, а поверх — большие чёрные буквы: **«Помни дело Павлова!»**. Под фамилиями пропечатано: «Погибли на боевом посту». Пришёл однако наш офицер, и нас отвели в БУР, чтобы после отправить в лагерь, откуда бежали и где нас должны судить. В БУРе мы и узнали, что это за «дело Павлова».

Расскажу, как услышал тогда... Отбывал на том ОЛПе срок Сергей Александрович Павлов, кажется, родом из Тамбова. В войну воевал, ордена имел, да под конец войны получил за анекдот срок — 10 лет. Вёл себя смирно, вкальвал, а последние год-полтора был расконвоирован: возил продукты на кухню или кашу в бачках в рабочую зону. Молчалив был, ни с кем не дружил. Поговаривали, что бабу завёл в посёлке, жениться хотел.. А у начальства зачесался затылок: выпускать такого работящего да честного? Решили притормозить... Нашли «свидетелей» антисоветских разговоров (это у молчуна-то!), и лагерный суд дал ему повторно тот же срок. «Подлянку заделали, — только и сказал Павлов на суде, — ни за что. Будете жалеть, граждане судьи!» Усмехнулся и головой покачал горестно: была у него такая привычка...

Определили его в разнорабочую бригаду. Работал, как прежде, режима не нарушал, и через несколько месяцев как старый зек в бригадиры вышел. Бригада ходила на бывший лесоповал пеньки корчевать, землю под огороды очищали. Привыкли к нему работяги, и надзор, и конвоиры... И вот как-то раз, когда бригада, скучившись, перекуривала, а конвойные (их было трое) разбрелись по своим местам, Сергей принялся по обыкновению

огораживать участок. Колышек, через пять шагов другой вобьёт топором, ну и так далее. После седьмого или восьмого колышка он внезапно оказался возле конвоира. Тот не успел ни крикнуть, ни ойкнуть, так и рухнул. Секунды понадобились Сергею, чтобы вырвать винтовку и с одного выстрела сразить сержанта, прежде чем тот успел воспользоваться своим автоматом. Ясно, всё давно обдумал и рассчитал каждое движение. Потом начальство припомнило, что на войне Павлов был снайпером. Бригада распласталась по земле, а третий конвойный бросил винтовку и пустился наутёк. Сергей собрал оружие, запасные обоймы и обернулся к бригаде: «Кто со мной в лес?». Никто не пошевелился. Только Женька, что в малолетках значился, увязался. «А ведь меня убьют, Женя. Куда тебе со мной?» – сказал Сергей. «С Вами пусть убивают», – ответил Женька. Сергей дал ему винторез, усмехнулся, и они скрылись в лесу...

В лагере солдата за то, что оружие бросил и заключённых, посадили на губу, подняли караульных, снарядили погоню. А бригада всё лежала ничком, когда примчались конвойные и надзиратели. Зеков бегом отправили в лагерь. А погоня часа через два напоролась на засаду. Сергей берёт патроны, бил скупо, но метко. Потеряли ещё бойца. Решено было не рисковать, а обложить лес. Вспомнили не только то, что Павлов геройски воевал на фронте, но и его последние слова на суде: «Будете жалеть, граждане судьбы!»

Утром вызвали добровольцев, обещали премии и отпуска домой. Над посёлком поднялся крик. Жёны надзирательские обхватили мужиков своих, причитая: «Не пуцу! Не пуцу на погибель!..» Еле уgomонили.

Конец сентября, в лесу сыро и знобко. Беглецы устраивали костры раза два, а сами уходили в сторону. Солдаты открывали огонь по кострам, а Сергей бил на выстрел и попадал. На вторую ночь Женька, видимо, особенно продрог, подошёл к костру и сразу же был убит.

Стали прибывать спецы по ловле людей. Приехал даже Мороз, самый крутой из них, и почему-то на лихом коне. Заломивши фуражку и блестя глазами, объявил встречавшим, что от него уж не уйдут, однако через час привезли его в посёлок с дыркой во лбу...

Но силы были неравны. Сергея плотно окружили со всех сторон. Израсходовав боезапас, врагам он не сдался, а последней пулей прострелил себе грудь. В бессильной ярости солдаты поизмывались над телом, приволокли к лагерю и бросили рядом с изуродованной Женькой. Так они лежали несколько дней для устрашения...

На второй день к зоне подошла женщина, вся в чёрном. Надзиратели увидели её в окно, столпились в коридоре. Шагах в пяти от лежащих она остановилась, перекрестилась, низко поклонилась. Попыталась накрыть голые тела белой тканью, но вышедший старшина прогнал её...

Наступила тишина. Никанорыч собирался вытащить кисет, но Терешонков вдруг попросил всех встать. Почтили Павлова минутой молчания.

Шло лето 54-го года. И вдруг донеслось: восстал Кенгир! И не как-нибудь, а вооружённый, вступил в борьбу с офицером в папахах и краснопогонными солдатами. Требовали одного: «Расстреляли Берию – пересматривайте «дела!»

Кенгир выдержал месячную осаду, но был расстрелян и поздавлен танками. Оставшихся в живых разметали по разным местам ГУЛАГа...

Одновременно забастовали норильские лагеря, где матери, подняв детей, шли на солдатские цепи, крича: «Хватит! Дайте волю!» Норильчан подавили оперативно... Зашевелилась вновь Воркута. И тут лагерные власти вдруг пустили по всем лагпунктам майоров, началось их знаменитое «хождение в народ».

Какой-нибудь бывший костолом из ведомства Лаврентия, взопревший от солнца толстяк в расстёгнутом кителе, говорил и говорил без умолку обступившим его лагерникам в Инте: «Сказали «А», скажут и «Б»!» То есть освободят всех, обязательно освободят. А пока надо вести себя спокойно, работать, конечно, и т. д. и т. п.»

Сам министр Круглов побывал на 1-м ОЛПе! Выше всех сопровождавших его в кожаных тужурках, он был весел, общителен, шутил с зеками, говорил зычно, что «разберутся», что «освободят». Иногда по его указанию кто-то из свиты записывал в блокнот данные того или иного заключённого. На жалобы, что «кормят плохо», радостно обнадёживал: «Питание улучшим! Вот вам моё слово!»

Покругился в зоне, укатил на Воркуту...

Неожиданно разнёсся слух, что приехала в зону женская труппа, будет концерт. Из всех барачков высыпал народ (а в зоне это аж пять тысяч!), ринулся к столовой. В самом деле увидели автофургон у входа в кухню, и сквозь строй надзирателей быстро гуськом пробегают женщины, да, женщины!

Ну был денёк!.. Мужики ворвались в столовую в тесноте и давке, круша на своём пути скамейки и столы, зазвенели стёкла окон, сквозь которые тоже пёрли мужики. Начальство толпилось поодаль, бессильно глядя на картину буйства и разрушения... А люди всё прибывали, в зале было не протолкнуться, не продохнуть...

Начался концерт, актрисы передвигались по сцене, что-то говорили, но всё тонуло в гуле толпы, набившейся в зал.

За столько лет впервые увидели женщин и не каких-нибудь, а своих, зечек, без проволочки и вышек! Все, все казались красавицами, и неважно, что они там лепечут, важно было смотреть на них, видеть, что это создания другого пола, вида, движений. Красивые, некрасивые, старые, молодые, все равно — *другие*...

Казалось, начальству экзамен дался не легче, чем зекам. Я видел, как побледнел Новиков, как беспокойно озирался *Скула*, тревожно чувствовали себя и начальники спецслужб, и надзиратели. Наблюдать всегда, в общем-то, смирных мужиков, десятилетиями лишённых женщин и одержимых теперь одним порывом — увидеть их поближе, значило, и для них что-то осознать, например: *До чего довели народ?! Кому это было нужно?!*

Наверное, и женщины пережили потрясение не меньшее. Такой успех! Или неуспех? Ведь ни один номер, ни одна приготовленная заранее сценка, ни декламация, ни пение — ничего не услышали в зале, где царил сплошной не то угрожающий, не то одобряющий гул...

После того, как труппа уехала, я зашёл в опустевший зал. Пол весь был покрыт обломками скамей и столов, а в окнах — ни одного целого стекла...

Начальство ещё устроило «слёт ударников» на 1-м ОЛПе. Человек пятьдесят привезли, если не ошибаюсь, с 3-го. Разрешили походить, познакомиться, пообщаться. Разберись приезжие кто куда...

Позвали в один из барачков, и Е.И. представил меня Диме.

— Обменяйтесь стихами, обсудите, — сказал он, оставляя нас между вагонками, где в скудном свете северного дня я увидел остролицего худого человека с убегающим назад лбом и застенчивой, как мне показалось, улыбкой.

Разговорились. Родился Дима Дудко в 1922-м году на Брянщине (Башлыков тоже оттуда, мелькнуло в уме). В сельской школе написал первые стихи. Читал Новый Завет мужикам и бабам. Пережил оккупацию, после войны отслужил в солдатах. Поступил в Академию при Троице-Сергиевой Лавре, а в 1948-м году был арестован за религиозные стихи, получил срок и оказался в Инте.

Мы встречались потом и на воле — доброжелательно. Дима полностью отдался служению Богу и Церкви, стал почитаемым отцом Дмитрием, талантливым проповедником. У него есть паства, ученики, призвание... Что ж, лучше зажечь одну маленькую свечку, чем проклинать тьму.

С «ударниками» приехал Игорь Гаккель, знакомый наших харбинцев, и, кажется, тоже связанный с НТС. Мы прогуливались по лежнёвке. Мой ученик Николай Житков читал поэму «Яшка бесконвойный», своего рода продолжение «Василия Тёркина»: герой Твардовского действует в советском концлагере, но под новым именем. Поэма большинству слушателей нравилась. Если стихи хвалили, автор преображался, расцветал, если критиковали — замыкался, смотрел исподлобья...

Нельзя не упомянуть Валерия Фролова. (За ужасную худобу его прозвали «Рашпиль»). Бывший разведчик в тылу у немцев, исправно и своевременно посылавший на Большую Землю разведданные, получил десять лет по возвращении к своим. Генералиссимус боялся тренированных и отважных. Поджарый, гибкий, он и в лагере бегал по лежнёвке, крутил «солнце» на турнике. Стихи были похожи на него — суровые, суховатые, напоминающие тихоновские «гвозди». Идеологически «выдержаны»: о природе, любимой женщине, о солдатском братстве, о боях с немцами... Ни один цензор Главлита не придрался бы. И в разговорах Валерий Павлович был сдержан, но на прямой вопрос отвечал прямо: он коммунист и таким останется. Никого ни в чём не старался переубедить. Ко мне и Булгакову относился дружески, считая нас почему-то духовно близкими. Житкова не жаловал, его стихов тоже. Сожалею, что относился к нему порой неприязненно: слово «коммунист» вызывало внутреннюю судорогу. И вызывает доньше.

С украинским поэтом Ярославом Гасюком я познакомился у Игоря при разборке «почты». Что-то было задумчиво-грустное в лице его и стихах, которые он никогда не читал вслух, а просто отдавал блокнот: прочти. Красивый почерк — позавидуешь! — уж не

учился ли он в одной школе с Иванцовым? Характер ровный, спокойный, но волевой, что отражалось и в почерке. Нрава замкнутого — не разговоришься.

Дмитро Паламарчук переводил на украинский сонеты Шекспира, пользуясь дореволюционным изданием с переводами Чайковского, где приводился и английский текст. Ему было с кем советоваться, кому читать переводы: тогда же в лагере находился известный поэт-переводчик Григорий Порфирьевич Кочур. Он оказывал помощь всякому, в ком видел талант и желание трудиться.

Я вспомнил лишь тех литераторов 1-го Горного, кого знал лично. Наверное, среди лагерников были и другие.

Актрисы приезжали ещё и ещё. Мужики успокоились и уже не рвались, сломя голову, в столовку. Но зал всегда был полон. Дверь запиралась, возле неё дежурили надзиратели, зрители не топали, а благодаря за номер или вызывая на бис, аплодировали, как это делается во всём мире.

Наши подруги ухитрились посылать с актрисами внеочередные письма. И в один прекрасный день Римма сообщила новость, которая выбила из головы всю злобу дня. Многочисленные жалобы и заявления, которые она и её мать направляли в разные инстанции, неожиданно дали результат: Римму вызвали, объявили о снятии судимости и освобождении! Она тут же потеряла сознание, и первое, что услышала, придя в себя, был голос начальника спецчасти: «Теперь вы увидите своего сына!» Она решила не уезжать, пока не добьётся со мной свидания...

Я поделился новостью с друзьями. Меня поздравляли, желали всех благ, и всё равно я не знал, куда деться, куда нести чувство то бурного, то тихого ликования, охватившего меня...

Я лежал с книгой, ничего, конечно, в ней не видя. Пришёл надзиратель:

— Приведите себя в порядок. Вам — свидание...

На вахте меня ввели в караулку, где обычно коротали свою смену надзиратели, и почти сразу стукнула дверь. Я оглянулся: Римма! С чемоданом! Надзиратели с любопытством на нас глазели. Я растерялся, решал, что делать, когда почувствовал, что меня обнимают, целуют... Взгляды посторонних её не смущали: муж и жена могут встретиться при любых обстоятельствах, и никого это не касается!

Опомнившись, пошли за надзирателем через дорогу к одиноко стоявшему барaku — «Дому свиданий». Я нёс чемодан. Дежурный старшина что-то пометил в книге, нас провели в комнату, дверь закрылась, и мы остались вдвоём.

Признаюсь, мы были, как в бреду, но она всё же не совсем лишилась разума, а немедленно взялась за уборку, вытерла стол, зеркало, расстелила скатерть, даже пол вымыла, одновременно разговаривая со мной. Женщинам это даётся как бы само собой. Постепенно и ко мне вернулся дар речи:

— Как тебе удалось получить свидание? Невероятно!

Она выпрямилась и, с тряпкой в руке, зардевшись, сказала:

— Три дня ходила к вашему начальнику, вымаливала... «Не дам! Брачного свидетельства у вас нет? В его деле вы не записаны? Не дам!» Не выдержала, принесла в корзинке связки твоих писем: «Вам нужны наши подписи на брачном свидетельстве? Вот его письма ко мне за три года!» Одну связку развернула, разбросала перед ним. Хмуро так смотрел на письма и вдруг улыбнулся, отодвигая их. «А я знал, что вы переписывались. Возьмите письма и посидите в коридоре». Сижу, смотрю по сторонам: бежит офицер с оттопыренными ушами...

— Шабалкин! — узнал я.

— Да, начальник КВЧ. Минут через десять позвали. Начальник сказал: «Пять суток. Больше не могу». Я просила в заявлении семь. И вот видишь, я тут. У тебя...

Тряпка выпала из её рук, она вытерла их о край юбки, и мы кинулись друг к другу... Потом она ставила чай, и мы всё говорили, говорили...

Через пять дней и белых ночей, пожелав Римме счастливого пути, я вернулся в зону, тихий и умиротворённый. Она едет домой и, как только будет возможность, вернётся в Инту, ко мне.

Лето 1955-го года принесло ещё одно новшество: вечернюю общеобразовательную школу! В число ее преподавателей неожиданно попал и я. Правда, накануне была беседа с капитаном Шабалкиным, начальником КВЧ, который как бы невзначай намекнул, что консультировался по каждой кандидатуре с Лавриненко и тот не возразил ни по одной. Вот это «идеологический фронт!» Вот это кум, с которым у меня была небольшая стычка насчёт Уинкотта!

Советовался с Золотухиным, Дивничем и Ковальчуком. Все трое были за. «Надо бить противника на его территории», — полушутя-полусерьёзно проронил Никанорыч. Желаящих посещать школу было немало, но мы могли принять не более 70-80 человек: сколько вмещали две барачные секции, переделанные в классы, для которых привезли парты, доски, даже учебники. Была и небольшая учительская с картой мира во всю стену, с портретами Пушкина и Горького. Из учебника истории я перерисовал и раскрасил карту древней Греции. Всё делалось с энтузиазмом, хотя, признаться, я и побаивался: справлюсь ли?

Учителей было немного. Завучем (он же вёл русский язык) был Алексей Иванович Вихарев, крымчанин, до войны работавший в школе. Шабалкину я говорил, что хотел бы вести историю древнего мира, но Вихарев загрузил меня еще и русской литературой. Натан Григорьевич Ковадло, между прочим, исповедовавший иудаизм, читал математику и, как я слышал, делал это толково и доходчиво. Хорошо зарекомендовал себя на поприще естественных наук — ботаники и зоологии — Павел Сергеевич Спасский. Учили по сокращённой программе в расчёте на полтора — два года, чтобы учащиеся к концу обучения могли получить аттестат зрелости. Конечно, половину посещавших интересовал лишь аттестат, а не знания. Но другие хотели учиться по-настоящему. Мы же старались, чтобы наши «ученики» попадали из пещерных условий в более или менее цивилизованные.

Уборщиком взяли Антона Викентьевича Стефановича, пожилого сутуловатого человека, в прошлом профессора метеорологии, ведавшего ещё до войны прогнозом погоды по Белоруссии. Во время оккупации он продолжал давать прогнозы и для немцев, за что и попал в лагерь на 25 лет. Порядок в школе, благодаря ему, был идеальным. В свободное время Стефанович увлекался шахматами. Он изобрёл доску для четверых игроков с четырьмя разноцветными комплектами фигур, где белые и жёлтые фигуры, стоящие напротив друг друга, играли против чёрных и синих. Пространство доски увеличилось вдвое!

С Вихаревым, суетливым, изъяснявшимся на повышенных тонах и скороговоркой, общаться было трудно. Видимо, что-то с ним случилось во время войны, наложившее печать на психику... Совсем другое впечатление оставляли Спасский и Ковадло, воспитанные, корректные, — с ними было легко говорить, смеяться, шутить. Да и учащиеся были ими довольны.

Конечно, горно сразу взяло школу на учёт и под свое «покровительство»...

Что я могу вспомнить о своём учительстве? На первом уроке я спросил учащихся, помнят ли они из истории то, что проходили в школе? Выяснилось, абсолютно ничего. Значит, с программами по истории 8 — 10 классов нечего и соваться, хорошо хотя бы в общих чертах познакомить их с историей древних и средних веков. Думаю, с другими предметами было то же самое.

К урокам готовился серьёзно. Костя Богомяков разрешил брать в библиотеке любую литературу, и я нашёл невесть как оказавшиеся в нашем КВЧ «Историю древнего Востока» Тураева, «Историю древней Греции» Белоха, «Римскую империю» Р. Виппера, солидные дореволюционные тома, которые и подавляли, и вдохновляли одновременно. Цель была простейшая — древний мир должен предстать живым и красочным. Так можно было хоть чуть преодолеть постулаты советской школы. Это оказалось наиболее трудным для новоиспечённого лектора. Но, по словам некоторых учащихся, их уроки древней истории будоражили и волновали. Я сам волновался, и это, наверное, передавалось им.

С русской литературой было проще. Не готовясь специально, набрасывал тезисы, по ним вёл урок. Всегда много читал, теперь пригодилось. О каждом из наших классиков мог говорить как о хорошо известном мне человеке. С собой брал лишь его сочинения.

Как-то Вихарев шепнул мне, чтобы я приготовился к показательному уроку по истории. Будет кто-то из горно. Я решил вести урок обычно. На следующий день они явились: одна пожилая, но востроглазая, другая молоденькая. Пожилая была насуплена, молодая — улыбочива. Про старшую подумалось, что она из реабилитированных коммунистов, а значит, начётчица.

Урок прошёл нормально. Век Перикла, борьба демократии с аристократией, народные вожаки, становящиеся потом тиранами... Пожилая дама была, казалось, удовлетворена. Никаких замечаний. У молоденькой глазки горели. Шутка ли, впервые в жизни побыть в «логове», в исправительно-трудовом лагере, а урок идёт нормально, заключенные говорят об общечеловеческом, без выпадов в адрес существующего строя...

Наконец-то я получил работу, которая была по мне! Вечера в школе остались в памяти светлым островком. Надеюсь, не только для меня...

Осенью 1955-го года «осиротели» вышки, убрали с них часовых, возле проволоки перестали бегать собаки. Многих заключённых перевели на вольное поселение. Остальным разрешено было выходить в город по увольнительной. Наступал как бы закат лагерей типа Степлаг, Минлаг, Песчлаг и других. Лиц «без советского гражданства» вызвали на этап для отправки в Мордовию.

Помню, как мы прощались с Борисом Оксюзом, Евгением Ивановичем Дивничем, Игорем Ковальчуков-Ковалем. Уезжали бывшие харбинцы в уверенности, что их освободят, как уже освободили иностранцев. Все были возбуждены, взволнованы: и отъезжающие, и остающиеся. Прожитые вместе годы, конечно, сроднили нас...

Околёснов снял в городе угол, просил навестить его. В спешности я получил увольнительную и отправился в гости. Странное чувство овладело мною, когда проходил распахнутые ворота 2-й шахты. Неужели это я свободно иду по дороге, ведущей в город? Что-то падало с души, она распрямлялась, не зная, радоваться или горевать... Туманные видения прошлого сменяли друг друга, уступали место надежде. На что? На «вольное житьё» после многолетней неволи? Возможно ли оно, даже если ГУЛАГ выпустит меня из своих железных когтей, снимет проклятие, довлеющее над всеми нами?

Остался позади громадный террикон, испускающий ядовитые струи чёрного дыма, — уродливый символ рабского труда. Вот и почта, угловое здание на улице Кирова — центральной в Инте. В пятом часу улица была оживлена: шли домой отработавшие смену *вольняги*, женщины торопились на местный рынок. Всё было необычно, всё в диковинку для меня.

С улицы Кирова я свернул в район довольно убогих домишек, в одном из них нашёл Околёснова. Он никогда не унывал в зоне, а здесь был само радушие и радость от встречи с сокамерником. «Угол» представлял собой закуток, где помещались койка, буфет, столик и табуретка. На буфете в рамочке — фотография белокурой женщины.

— Это Варя! Моя нынешняя невеста, — весело объяснил Саша. Он извлёк четвертинку, появилась немудрёная закуска: хлеб, жареная треска, соль. — Ну-с, за встречу, дорогой гость!..

Выпили.

— Так вот, друг мой, мы брошены на произвол судьбы, — начал Сашка, — укатили наши — фьюить — и «Борода», и Борька, и «Нестор». А ведь мы ходили у них в офицерах. Что делать покинутому войску, если генералы смылись?

— Саша, что ты городишь? Какие генералы? Какие офицеры? Только выбрался за ворота, и тебя опять тянет туда?

Постепенно удалось перевести разговор на собственные перспективы, на то, что ждёт нас конкретно. Саша что-то делал при геологическом кабинете шахты, работой как будто был доволен. Домой, в Саратов, его пока не тянуло.

— Ты говоришь, принимай жизнь с открытыми глазами, — он покосился на фотокарточку. — Вот переписывался с «заочницей», и теперь в твою жизнь, не успев выйти, вклинивается что-то непонятное, может быть, чужое. Тоже отбыла семь лет, и ещё в зоне. У неё дочка девяти лет. Что делать? А тут попал ещё в «геологию», полную девок, одна краше другой, глаза разбегаются...

Когда я стал собираться, Сашка сбежал за соседом, сфотографировавшим нас вместе. Потом *Очкарик* проводил меня до ворот рабочей зоны, и я устремился в лагерь, всё убыстряя шаг: уже заскучал по школе.

Это была моя первая вылазка в так называемый свободный мир, моя первая рюмка, которой этот мир в лице Сашки приветствовал меня.

В конце февраля пошли толки и пересуды о невероятном происшествии на XX-м съезде КПСС — докладе Хрущёва о Сталине. Вспомнилось, как Николай Никанорович Золотухин в 1953-м году, сразу после 5 марта, говорил о будущем, которое представлялось тогда неясным.

— Много лет, — сказал он, — страной правили инородцы, начиная с Ленина, которого окружали или выходцы из нацменьшинств, или иностранцы. Первое советское правительство на 80 процентов состояло из людей нерусских. Представьте английское правительство — на три четверти из буров или индийцев. Абсурд, нонсенс...

Ленин ненавидел Россию. Уничтожалось всё лучшее в русском народе. При Сталине геноцид достиг невиданных размеров. К чему я веду? — продолжал Николай Никанорович. — В Политбюро, в этом нашем ареопаге, теперь впервые русские люди получили процентный перевес. Пусть они полны коммунистических бредней, но они — русские! Как всякий народ на земле, и они способны на глупости, большие и малые, но эти глупости будут краткосрочны. Русские люди в силу своего характера не смогли бы систематически проводить в собственной стране террор. Это-то меня и обнадеживает. Не знаю, сколько продлится их перетасовка, но то, что нас ждут, пусть не сразу, большие перемены, я уверен...

Что ж, в чём-то Никанорыч был прав. В самом деле, мы узнали потом, что Хрущёву пришлось идти «против течения» в самом Политбюро. Съезд проходил по канонам сталинских съездов. Ничего из ряда вон выходящего не предвиделось, как вдруг этот круглолицый, на вид простоватый мужик переломил своей волей отнюдь не безвольных противников и произнёс некие магические слова: «культ личности», «массовые репрессии», давшие сигнал к *брожению умов*, а вскоре и к освобождению миллионов людей от рабской идеологии.

Днём в комбинате рабочей зоны читали секретное письмо ЦК. На следующий день я уже был в гардеробной 1-й шахты. Да, сказал Житков, большой вестибюль на втором этаже был заполнен до отказа. Поднимаясь на гора, чумазные шахтёры бежали наверх, чтобы послушать. Слушали не только партийцы, но все, кто хотел. Речь шла о попытках, концлагерях, расстрелах.

Тут Житков удивил меня несказанно. На его полке стояло несколько книг. Всегда державший себя в узде, он схватил одну из них, открыл на портрете вождя (это была биография Сталина — и зачем-то он держал её?!), выдрал портрет, плюнул на него, бросил на пол и в ярости стал топтать. Такого проявления чувств я ещё не видел! Разыграл он эту сцену или впрямь впал в истерику? Что-то блатное почудилось во всём этом. Ну, ладно, успокаивал я себя, человек иначе не может выразить своих чувств, что поделаешь...

Но лагерь «гудел» всюду, заключённые не могли ни о чём другом ни думать, ни говорить. Упал с пьедестала главный злодей.

Из гардеробной я ушёл сразу и направился в ОТК к Золотухину. Он был необычно сумрачным, удручённым, погружённым в свои думы, во что-то очень личное, и сказал только, опустив руки на стол: «Наконец-то свершилось!»

И спустя минуту, добавил:

— Сталин умер вторично. Теперь уж не воскреснет!

Пробил урочный час, и в Минлаг нагрянула из Москвы Комиссия Верховного Совета, переименованную зеками — в «микояновскую».

На 1-м ОЛПе человек девять, заседали в зоне, в бывшем кабинете ППЧ (политпросвет-части) и работали, нужно сказать, оперативно. Принимали по 150 — 200 человек в день. Пока заседали, через зону тянули новый проволочный забор, отсекающий на волю очередной барак. Прежнее ограждение убрали. Вечером радио зачитывало алфавитный список освобождёвшихся, и они «с вещами» заселяли тот же барак, но уже вне зоны. Так продолжалось неделю, пока не исчерпали весь личный состав лагеря.

Заключённый, следствие которого некогда вели месяцами, навешивая на него умопомрачительные статьи, проведший затем многие годы на каторге, освобождался в пять минут. Вопрос — ответ, вопрос — ответ. Третий вопрос: «что ждёте от комиссии?». Вечером он слышал свою фамилию по радио и, схватив немудрёные пожитки, устремлялся к вахте — на волю. Впрочем, не каждый.

Настала очередь буквы «С». Прошёл час, прежде чем молоденький подтянутый лейтенант выкликнул, наконец, мою фамилию. Я вошёл и остановился посреди комнаты, чувствуя на себе глаза присутствующих. Справа четверо членов комиссии, слева трое. У стены за массивным столом, видимо, председатель. Сбоку отдельный столик занимал лейтенант, возле которого — папки с «делами». Поверх моего «дела» покоились руки председателя. Он спросил:

— Что скажете по поводу своих преступлений?

— Преступлений не совершал. Виновным на трибунале себя не признал!

Молчание.

— А по второму делу? — вкрадчиво спросил сидящий справа.

— Это протест против карательной политики МГБ в лагерях.

Потом я пожалел, что не сказал: «против политики Берия и бериевцев». Но сказал то, что сказал.

Молчание более тяжёлое.

– Что хотите от комиссии?

– Я жду приезда жены. Хотел бы встретить её свободным.

– Можете идти.

Я вышел и остановился у противоположной стены. Обычно вызовы следовали без задержки. На этот раз прошло минут пять, пока лейтенант почти бегом помчался в кабинет в углу барака. Быстро вернулся с полковником Новиковым, начальником ОЛПа, и они скрылись за дверью. Прошло ещё минут десять. Новиков вышел с бледным лицом. Я догнал его:

– Гражданин начальник, что там решили насчёт меня?

У него чуть глаза не выскочили из орбит. Сквозь зубы процедил:

– Идите! Работайте!

Вечер. Школа. Нас трое, у всех фамилии на «С». Мы в учительской, по радио зачитывают списки освобождённых за сегодняшний день. Наконец:

– Спасский Павел Степанович!

Он вскакивает, но тут же, смутившись, садится дослушать, когда вызовут нас. Но Стефановича и меня не вызвали, не вызвали и на следующий день, и ещё день, и ещё... Пора успокоиться, говорю себе, пора работать, как велел начальник. Хотя учащиеся в эти дни не появлялись.

Ещё через пару дней Вихарев послал меня в канцелярию при Управлении, куда на вахте пропускали теперь запросто. Я выполнил поручение, связанное с какими-то бланками, и увидел Машу. К ней по делам школы я уже приходил раньше. Нрав у неё лёгкий, даже весёлый, со мной была любезна и чуть-чуть игрива. Теперь она заполняла какие-то карточки, рассовывая их по ящичкам.

– Добрый день, Маша. Можно вопрос?

– Пожалуйста, – с улыбкой ответила.

– Понимаете, неделю назад Стефанович прошёл комиссию, но его нет в списках на освобождение.

– Минуту, – она достала ящичек, набитый карточками, и вскоре нашла нужную. Посмотрела в неё, потом на меня и с некоторым волнением сказала:

– У Стефановича было 25 лет срока? Сбросили 15, 10 оставили. Десять лет отбытого срока исполнится ровно через неделю. Тогда вызовут. Передайте мои поздравления!

– Спасибо, Маша! У меня та же история, нельзя ли проверить?

Вернув карточку Стефановича на место, она отыскала мою.

– У вас так. Второе лагерное дело не считается. Сняли 15 лет по первому делу. Вы отбыли 8 лет 4 месяца, но у вас имеются «зачёты» – год и 8 месяцев. Так что осталось несколько дней, и вы на воле, с чем от души поздравляю.

– Ах, Маша, как благодарить Вас!..

Она чуть покраснела и махнула рукой: да что там!..

Конечно, у меня выросли крылья. Конечно, я не пошёл на вахту, а бросился к «Продмагу», взял бутылку водки, «заначил» за пояс, застегнул куртку, прошёл вахту и почти

бегом направился к школе, которая была пуста. Один Стефанович скучал, лёжа на скамейке за партой.

— Антон Викентьевич, спите в рабочее время? Извольте подняться и выслушать меня стоя...

Я передал сказанное Машей. У него поникли плечи, и он заплакал. Меня самого знобило, но позволить себе слёзы я не мог.

— Идёмте!

Появились стаканы, в ящике стола нашлось полпайки хлеба и солонка. Я поставил на стол бутылку. Всё было готово к пиршеству...

Без проволочных ограждений, столбов, вышек лагерь потерял угрожающий вид, бараки стояли облупленные, обшарпанные, жалкие. Между ними как бы сами собой наметились улицы — Столбовая (понятно почему) и Капитальная (название фантастическое и неуместное). Бараки превратились в обычные общежития для бывших зеков, которые теперь переформлялись в вольнонаёмные на тех же шахтах и тех же работах. В общежитиях не задерживались, шахтёры постепенно разбрелись по городу, снимали углы, становились в очередь на квартиры, — Инта обустроивалась.

Многие поначалу уезжали на юг. На «пересмотр дела в целях реабилитации». Витя Булгаков — в Москву, и Николай Никанорович Золотухин — в Черновцы, к семье. Отбыл в Белоруссию А.В. Стефанович, и школа без него совсем опустела. Она и так дышала на ладан, лишившись большинства учащихся и учителей. Вихарев, правда, ещё имитировал деятельность, ездил в гороно, о чём-то договаривался там. Вместо уехавшего Спасского оформил Юрия Васильевича Марича, тихого, задумчивого, с седой бородой, аккуратно подстриженной, и грустными глазами. Мы сразу сблизились, нередко уходили за город, в тундру, перебирая пережитое, предугадывая, что будет завтра. Но он тоже вскоре отправился к семье в Чернигов, откуда прислал мне «Кобзаря» Шевченко. Уехали прибалты. Уехал в Ленинград Георгий Терешонков.

В Дубровлаге ждали освобождения Дивнич, Ковальчук-Коваль и Оксюз...

Но и осталось немало. Одним ехать было некуда: прошлое погублено, жена, дети отказались. Другим хотелось сначала подзаработать, накопить денег. Третьи опасались, что и дома их ждёт кирка да лопата, никуда по специальности не возьмут, а то и вновь посадят. Вот и оставались, хотя — лесотундра, «восемь месяцев зима — остальное лето...»

Юра Степанов, геолог, как говорится, «милостью божьей», и Женя Рейтер построили очень быстро дом на две семьи, двухэтажный. Целая бригада трудилась. Платил за стройку Женя, у которого от прошлой жизни кое-что уцелело, в частности картины (подлинники) Саврасова, Поленова... Теперь он их продавал и на эти деньги строили. Юра — в долг.

Снял квартиру в городе Валерий Павлович Фролов, женившийся на вольнонаёмной Нине, уравновешенной и спокойной женщине (а что вчерашнему зеку еще надо?). Работать устроился в Управление комбината «Интауголь» — инженером технической информа-

ции (а что ещё надо позавчерашнему разведчику в тылу врага?). В Сыктывкаре газеты напечатали несколько его стихотворений. Человек, лишённый романтических иллюзий, приспособился к жизни на воле.

За речкой Угольной, вдалеке от городских зданий, поставил домик Григорий Порфирьевич Кочур. Очень помогала ему приехавшая с Украины жена Ирина Михайловна. Интеллигентные и доброжелательные, они были всегда рады гостям. Здесь было уютно, здесь можно было выпить чашку доброго чая, послушать занимательные рассказы Григория Порфирьевича о его друзьях-поэтах и переводчиках Зерове, Олесе, Рыльском. Заходили Иван Савич и Дмитро Паламарчук, киносценаристы Фрид и Дунский. В этом доме попался им на глаза юноша Евгений Урбанский, родившийся в Инте (отец его отбывал здесь срок). Сюда приходила легендарная Ёлка, Элла Маркман, вышедшая замуж за поляка Юзека...

Проходя по улице Кирова мимо четырехэтажной школы, я заметил на воротах афишку: «Выставка картин и рисунков художника Владимира Алексеевича Милашевского». Зашел, разумеется. В обширном вестибюле по стенам были развешены картины, и человек средних лет в потёртом полушубке и рваных разлапистых валенках, оставлявших на полу мокрые следы, радушно встречал каждого, приглашая оценить его работы.

Меня привлёк портрет погибшего в лагерях Осипа Мандельштама.

— Я имел счастье лично знать его! Необыкновенный человек, гениальный поэт... — объяснял Милашевский сгрудившимся у портрета зрителям.

По городу, протянувшемуся на несколько километров (от 6-й шахты до 12-й, «Западная») бегало уже пять-шесть автобусов, и на одной из остановок я встретил Диму Дудко. Постояли, вспомнили Е. И. Дивнича, других общих знакомых. Дима сказал, что собирается поступать в Духовную Академию при Лавре. Я пожелал ему удачи, и мы распрощались.

Кто ещё остался в Инте? В районе медгородка недалеко от «виллы» Животовского построил своё «бунгало» Григорий Бронников. Можно было радоваться солидности, основательности устроенного им жилья. «Черноокая» Клава оказалась миловидной и толковой хозяйкой. Гриша сказал, что у дома Животовского есть пристройка, которую начал было сооружать Золотухин, но, получив какие-то бумаги, в одночасье собрался и уехал, наказав отдать пристройку из двух комнат Игорю Ковальчуку, когда тот вернётся.

Недалеко от нашей Капитальной слепил домишко Дмитро Паламарчук, к которому тоже приехала жена.

В секции бывшего барака поселился Житков с женой Шурой (последний год он бойко переписывался с ней). Из-за уголовных статей он ещё числился за лагерным Управлением, и его в любую минуту могли вернуть в лагерь как уголовника. Он, впрочем, держался, ничем не выдавая ужасного внутреннего напряжения, в котором жил. Работал слесарем по водоснабжению 1-й шахты.

К Околёнову приехала его «пассия» Варя, съездившая к родителям за дочкой. Такого милого, живого, умного ребёнка трудно было себе представить. Выросшая без мамы, Инночка всей душой привязалась к Саше, навещала и его друзей — Андрея и Татьяну

Иноземцевых, побывала даже у меня на 1-м Горном. Однажды мы с Инной углубились в лесотундру в погоне за сбежавшим котом Акбаром. Сколько было смеху!

Я всё о вчерашних зеках, а что подделывали вчерашние начальнички наши? Надзиратели большей частью подались в другие места республики Коми. Мучитель Щирова Салманов смылся в Ухту. Старшина Коломиец остался, да ему и не под силу было перебираться в другой город, — восемь детишек было у него и Сони, бывшей медсестры лагерного лазарета, всех опекавшей и выхаживавшей в лихие годы Минлага. Жили они в небольшом доме, где недавно располагался 7-й ОЛП. Да, было дело, приходили к нему ночные гости с пиками рассчитаться за издевательства и избиения, которым подвергал он попавших в карцера. Барабанили в дверь, но та была на хорошем запоре. Наконец отозвалась Соня, стала умолять не губить отца её детей, не приходите больше, не мучить их. Что ж, отходчивы сердца исстрадавшихся людей, только и сказали:

— Знаемо тэбэ, Соню! Нехай спасыби тоби скажэ злодияко! Тильки зарады тэбэ даруемо йому ныкчэмнэ жыття!..

Больше не приходили... Но Коломиец и Соня не остались, конечно, в Инте, уехали куда-то на юг республики.

Бывший начальник ППЧ, капитан Ермилов, на которого когда-то «пахало» столько зеков, оказавшись не у дел, попытался было работать погрузчиком угля на 2-й шахте, но то ли работа показалась непосильной, то ли с однобригадниками не нашёл общего языка, через месяц покончил с собой: повесился.

Случаи самоубийств среди офицеров-лагерников на Воркуте и Инте были не в диковинку: рушилось их представление о жизни, а в новоявленной действительности, казалось, для них не осталось места...

Пришлось мне увидеть однажды старого знакомого — Лавриненко. Пивная разноголо-со гудела, «мужики», теперешние граждане, толпились в очереди, над головами проплывали от одного к другому полные кружки. Я тоже стал в очередь и вдруг заметил за столом у входа хмельную рожу бывшего «кума». Чёрт возьми, как *Скула* со своим шрамом решился прийти сюда!.. И он разглядел меня, узнал, стал делать знаки: подойди, мол, посидим, выпьем, вспомним!.. Не знаю, что у меня было на лице, но он вдруг сник, ткнулся лбом в свой кулак и по-пьяному заплакал. Гроза Инты и Воркуты — и такая, оказался, размазня...

Ну а я, уроженец юга, почему я задержался в Приполярье? Почему не умчал меня поезд в «славный город моряков и корабелов» — жемчужину Причерноморья? Почему я наслаждаюсь свободой на этих дощатых тротуарах, среди чадающих терриконов, грязных, покрытых угольной пылью улиц, серых домов, среди разномастных людей в кое-каких одёжках?

Причины были, конечно. И каждая — веская, значительная.

Школа! То, о чём мечтал ещё в армии и чем порадовал под конец лагерь. В горно обещали, что из-за нехватки учителей возьмут, направят в обычную общеобразова-

тельную школу. Потом застопорилось, и я отправился туда сам. Вопреки ожиданию имел почти душевную беседу с пожилой мадам, присутствовавшей некогда на моём уроке.

— Вы говорите, что учились заочно в Тамбовском педучилище? Что ж, от этого можно было танцевать... И ваш урок я запомнила и не выпускаю вас до сих пор из виду. Разговор был в гороно — направить вас в семилетку. Но выяснилось, что у вас в приговоре еще и «пять лет поражения в правах»! Мы бессильны, тут ни одна «экспедиция» не поможет! Поймите нас и извините...

Римма! Это звено в цепи причин было самым непредсказуемым, хотя вначале всё складывалось более или менее благоприятно. Римма писала часто, подробно рассказывая о сыне и Анне Тимофеевне, о бабушке, жившей с ними (весьма преклонного возраста). Вот какой «шлейф» тянулся за ней! Но почти в каждом письме сквозило нетерпение поскорей приехать в Инту...

Надо было раздобыть пусть крохотную, но отдельную комнату. Как-то, помогая Шабалкину паковать книги для отправки в городскую библиотеку, я проронил, что ищу какое ни на есть убежище.

— Как же, — неожиданно откликнулся он, — конурка найдётся. Пошли!

В том же бараке, откуда теперь эвакуировалось КВЧ, нашлась-таки комнатёнка. Дневальный, ещё живший при бараке, разыскал ключ для внутреннего замка. Я написал Римме о неожиданной удаче, указав размеры «убежища», чтоб не испугалась потом...

Чья непостижимая власть тяготела над нами? Она и я, как заколдованные, совершали поступки необъяснимые...

Деньги! На лицевом счету за период *сидки* у меня обнаружилось накопление, явно недостаточное для отъезда на юг, к матери, где с моим «поражением» *светила* только низкооплачиваемая работёнка, да и ту, предоставили бы со скрипом. Многие, сгоряча уехавшие бывшие зеки, теперь возвращались восвояси. Нигде им не были рады, повсюду «органы» вмешивались, ставили подножки, не допускали, воспрещали... Думали, что действительно всё переменилось? С таким клеймом ни одна *ментовка* не пропишет! А здесь, на севере, куда ни глянь, встретишь *бывшего*, значит, своего! Здесь можно худо-бедно устроиться. И устраивались, и никто не колот тебе глаз... (Только не в школу! Доверить детские души? Как бы не так!)

И ещё одно: *привычка к северу*... Я полюбил эту глухомань, эти болотистые места, редкие берёзки под злыми осенними дождями. Даже и зимой, как бы умирая от стужи, они утверждали: жизнь есть, показывали пример нам, людям! Я полюбил долгие зимние вечера в тёплом помещении, лица товарищей, огонь в печи, свободу слова в нашем кругу, беседы об истории и культуре и размышления о путях-дорогах, по которым брели в неведомое разноликие народы на огромном евразийском пространстве, название которого Россия.

И ещё: *отношение к существующему строю*. После пережитого был только один ответ: отрицательное. Чувство противостояния, впервые испытанное в Бутырке, проне-

сённое сквозь Степлаг и Минлаг, не оставило меня и на нашей призрачной воле. Я не вышел на волю смирившимся и равнодушным — это главное. А у противостояния — тысячи вариантов, один из которых будет мой...

Встречал я её на станции километрах в десяти от города. Автобус был переполнен, но Римме и мне место нашлось. К приезжающим на Север жёнам интинцы были особенно внимательны.

И вот мы в каморке. Я оставил её одну; она помылась, привела себя в порядок после долгой дороги. Потом ужинали, пили чай, Римма много шутила, смеялась, была рада видеть меня, быть со мной...

А за стенами вокруг — утопающие в грязи бараки и безбрежные дали с редкими стойбищами оленей, с унылыми юртами оленеводов и рыболовов. Незаметно короткая весна перешла в лето. Лесотундра принарядилась, сплошь покрылась иван-чаем, белая ночь простёрлась над предконцом земли (конец её — Воркута).

Римма любила меня. Это была любовь без слов. А ведь надо было когда-нибудь и поговорить?.. Лишь однажды заговорила о деле. В моё отсутствие заходил к ней комендант (вместо прежних начальников у нас был новый) и сказал, что пустует 10-й барак, там есть секции, и мы можем, коли пожелаем, перебраться в одну из них. Кое-какой ремонт — и мы в своей квартире. Как было не согласиться!

Секция оказалась просторной, решили разгородить ее надвое: получится кухня и комната. И закипела работа. Понадобились доски, кирпич, известь, глина, песок. В белую ночь натаскали досок с деревообрабатывающей фабрики... В те ночи весь район 1-го Горного попользовался досками. Говорят, начальству фабрики было указание сверху: не препятствовать! Пусть люди выют гнёзда.

С кирпичного завода за небольшие деньги привезли полсамосвала кирпичей. Сосед-литовец, мастер печник, разрушил старую, выдавшую виды печь и выложил новую — с хитроумным дымоходом, за который потом мы были так благодарны ему: печь ни разу не дымила, пламя весело гудело за чугунной дверцей, навевало думы...

Это было, может быть, самое счастливое наше время, наш медовый месяц. Римма оказалась незаменимым товарищем, я нарадоваться не успевал, настолько легко и расторопно она включалась в нашу игру домоустройства.

Памятуя, что «незабаром» зима, я сколотил из оставшихся досок тамбур вплотную ко входу в квартиру, решив сразу две задачи — прихожей и кладовки. Теперь пусть нас засыпают с крышей снежные вихри и бураны! Купили по дешёвке двуспальную деревянную кровать, нашлась и бывшая лазаретная койка, которую поставили у противоположной стены в углу за ширмочкой, достали стол обеденный и столик с ящичками для письменных занятий, я приладил за шторкой стеллажи для книг, было ещё два-три стула...

Впрочем, всё это строилось на том самом символическом «песке», на котором отнюдь не символически рушится наша жизнь... Римма вновь поехала в Литву и спустя неделю вернулась с сыном. Мальчик мне очень понравился: не по годам (семь лет!) умный

и серьёзный, он напомнил мне меня самого в далекие «кавказские» годы. С неизбывной грустью в глазах, он умел улыбаться и не умел смеяться! Это было, видимо, врождённое. Анна Тимофеевна неплохо воспитала внука, и не она была повинна в том, что он рос без отца и матери. (Отец навещал их иногда, но бывал пьян, и она старалась оградить от него Витеньку). С ним было легко дружить. С каждым днём он привязывался ко мне всё сильнее. Римма была счастлива, наблюдая за нами.

Гуляем за городом на открытом месте. Попадается канава. Надо перепрыгнуть. «Я боюсь...» – говорит мальчик. «Смотри! Тут нечего бояться...» Он подражает мне неловко, падает на колени, но мы повторяем упражнение, и он спокойно и даже весело осваивает такой простой способ преодолеть канаву. Маленькая победа над собой!

Пожарная лестница. Взбирается со страхом и на третьей-четвёртой поперечине обочивается: «Я боюсь...». Повторяем завтра, послезавтра, и вот он уже белкой взлетает до самой крыши.

– А ещё я боюсь, – говорит, – когда мальчики дерутся...

– А ты не дрался?

– Я не умею.

Ну как объяснить мальчишке, что тут теория не поможет, тут нужна практика? Всё же говорю:

– Бояться драки не надо. Ни один мужчина не боится. Сначала страшно. Когда сам дерёшься – перестаёшь бояться. Первым не нападай, давай только сдачи. Но если хулиган обижает слабого или скажем, девочку, тут дело серьёзное, надо защитить. Чем? Ясное дело, кулаком. А ну сожми правую. А теперь левую. Видишь, и у тебя есть чем наказать обидчика. Они же ужасные трусы. Только мускулы должны быть покрепче.

На той же лестнице он каждое утро подтягивался на руках. Эта сторона жизни была ему совершенно неведома и очень нравилась.

Художник 1-й шахты Николай Раев по моему рисунку изготовил деревянные мечи и щит, раскрасил их. Щит с буквами «Р. А.» прикрепили над Витиной кроватью. Под щитом – скрещённые мечи.

Я никогда не «давил», не приказывал ему. Зато малейшую просьбу он выполнял с готовностью и удовольствием. Не помню ни одного случая, чтобы он капризничал, пререкался с матерью или со мной. Этого мальчика, думал я, послало мне небо... Постепенно расширились наши прогулки по Инте. В баню на шахте ходили втроём каждую субботу, мысли по очереди. Не упускали случая при этом посмотреть на работу стволового у клети, которая с грохотом и звоном выбрасывала на поверхность полную угля вагонетку. Посетить с ним подземный город я ещё не решался, пусть подрастёт, но на мосту у гидростанции на реке Угольной побывали. Вода с рёвом прорывалась между «быками» – подпорками, а мы смотрели на неё сверху и молчали...

А вот мы с Витей и Сашей Околёновым взобрались на высокий и уже перегоревший, потухший террикон, откуда открывался широкий вид на нашу, казалось бы, неказистую и

унылую Инту. Саша тогда сделал несколько снимков. Мальчик видел город и таким — «с птичьего полёта». Вечером, перед сном, рассказываю Виктору про покорителя Южного полюса капитана Роберта Скотта.

На улице Кирова возле почты встретился Степанов, просил зайти к нему на работу: «Разговор есть».

— Хотим тебя перетянуть в «геологию», — сказал он, когда я пришёл в домик, расположенный в стороне от шахты.

В петрографической лаборатории Юра колдовал над образцами шахтных пород, кипятил их в ацетоне, делал тончайшие срезы и при помощи «канадского бальзама» приклеивал к стандартным полоскам стекла для изучения под микроскопом и описания в лабораторном журнале.

— Ты не против? Получишь неплохую специальность. Платят от выработки: сколько наклеишь образцов за день. В среднем — 1200 рублей в месяц. Устраивает?

Меня устраивала не только зарплата, но и нешумная лаборатория с картой мира на стене, с длинным ящиком вдоль другой стены. Большое окно давало достаточно света на рабочий стол, заставленный пробирками и сосудами из огнеупорного стекла, необходимым инструментом, кусками пород и камней. В углу на подставке-вешалке висели белые халаты.

— Кто мой начальник?

— Старший геолог шахты Лидия Анатольевна Чижова, особа привлекательная, не вредная, но держи ухо востро, а то в обольстительные сети попадёшь. Шучу...

Позже я познакомился с Чижовой. Приятной наружности женщина лет тридцати поначалу показалась строгой и взыскательной, но с течением времени обнаружилось, что она может быть и доброжелательной, и снисходительной...

Несколько дней я поработал с Юрой: он вводил меня в курс дела. Я был благодарен ему за толковые разъяснения. Работа мне нравилась, и я старался как можно точнее выполнять его советы. Сам он перешёл в комбинат «Интауголь», где, по его словам, смог в лотную заняться научными изысканиями.

Я получил работу, о которой и не мечтал. Один, в тишине, в чистоте. Волен сам распоряжаться своим временем и приводить друзей и близких: ключ от лаборатории у меня в кармане. (В первое же воскресенье взял с собой в лабораторию Римму: пусть полюбуется!) От меня требовались лишь сосредоточенность и аккуратность при изготовлении шлифов. Со временем, набив руку и глаз, я надеялся управляться быстрее и зарабатывать больше. Через неделю заглянула Лидия Анатольевна, просмотрела, щурясь, мои шлифы на свет и поощрительно сказала:

— Ну-ну, неплохо, неплохо...

Бывшие лагерницы, давно уже устроившиеся, помогли Римме занять место кассира в одном из магазинов на улице Кирова. С непривычки она уставала, но постепенно втягива-

лась и забавно рассказывала за ужином про всякие мелкие происшествия, без которых не обходится торгвя.

В конце лета Вихарев принёс-таки обещанные аттестаты для учеников канувшей в небытие школы. Аттестаты были «липовые», и работники горно подстраховались: по всем предметам вывели «тройки» (изредка мелькала «четвёрка»), хотя кто там будет проверять знания у бывших? Бедному зеку бумажка может пригодиться, а «перевоспитание матёрых» можно вписать в свой послужной список.

Вихарев велел собрать тех, чьи адреса я знал, и вручить им аттестаты. В воскресный день явился двенадцать молодцов – моих товарищей по лагерю и по школе (среди них были два литовца, два западноукраинца, один татарин). Гербовых бумаг я отродясь не вручал, как это делается, представлял смутно и решил быть попроще, обойтись без официальности. Объяснил, правда, ребятам, что они получили «уды» и за то, чего не проходили, было бы неплохо наверстать кое-что самостоятельно. Все закивали: конечно, конечно, какой разговор!

Разумеется, не обошлось без рюмки. Помянули тех, кто не дожил до конца Минлага. Выпили за присутствующих. За то, чтобы каждый оставался человеком и на воле, не опускаясь, а, согласно поговорке английских моряков, «держал голову над водой».

Боже мой! Неужели человек счастлив лишь в устремлении к чему-то, а, достигнув искомого, сникает? Почему ему приходится решать всё новые и новые задачи, где, не справившись хоть с одной, он падает навзничь? Разве не безумием было вызвать к нам тещу да еще и ее маму? Римма говорила, что мать не представляет жизни без внука, а она, Римма, не сможет жить без меня и сына. Выход один – соединиться всем! Пусть на севере, пусть в Инте!..

Ладно, если разум отказал нам, почему Анна Тимофеевна решилась на такой шаг – переехать со своей матерью в северную глушь? Разве она, человек трезвый и многоопытный, не понимала риска, связанного с этим? Ухнуть из старинного каменного Паневежиса в ещё совсем недавно зековский барак? И в преддверии осени!

Поначалу всё было человечно, тепло, даже весело. Были улыбки и добрые слова, притирка друг к другу... Анну Тимофеевну как будто не испугали ни безрадостный пейзаж, ни наша «жилплощадь» на Капитальной. Трогательно было смотреть, как она обнимала и осыпала поцелуями внука и Римму. Благодарила меня за то, что я «такой хороший», помог им воссоединиться. С бабушкой, кажется, всё было ясно. Она ничего не говорила и не слышала, лишь с бессмысленной улыбкой поводила глазами на суетящихся вокруг неё.

Как расположиться на ночь? Бабушек уложили на двуспальную кровать. Римма приютилась возле Вити. У меня на кухне был приготовлен топчан. Так прожили неделю, потом вторую. А. Т., сердечная и яснолицая, стала превращаться в нечто противополож-

ное. Смотрела всё холоднее, говорила, поджимая губы. Менялась в лице и Римма, наблюдая за матерью. И только бабушка блаженно улыбалась или спала.

... Римма вот-вот должна была вернуться с работы, но задержалась, и мы с А.Т. оказались вдвоём. Сумерки сгустились, но света, как сговорившись, не включали, сидели за столом, не видя друг друга. Она стала говорить, что жалеет, что поспешили приехать, что совершили ошибку, отказавшись от своей квартиры в Литве. Но всё равно сказала она, возвращаться придётся. Правда, Римма не захочет, но надо её уговорить. И потребует моя помощь. Я сказал, что Римма сама пусть решает. Добровольно я от неё не откажусь. Кажется, и она привязана ко мне.

— Её привязала к вам физиология, — сказала теща.

— Высокого вы мнения о своей дочери! — вспыхнул я. Это уже был предел, дальше так продолжаться не могло. Пришла Римма, ужин прошёл в молчании, хотя она старалась как-то разговорить нас... Я едва дождался утра, чтобы уйти на шахту. Казалось, я задыхаюсь в этих стенах. А.Т. я видеть после ее вчерашних слов уже не мог, поэтому, не завтракая, отправился на работу.

В воскресенье с утра, прихватив книгу, я ушёл за барак. День был солнечный, ещё можно было прилечь на траву, закрыть глаза, ни о чём не думать... Но пришла Римма, присела рядом, стала просить вернуться домой, быть добрее к её матери, понять её. Она ведь очень любила внука и дочь, а тут выясняется, что и внук, и Римма всей душой тянутся к другому человеку...

— Пойми и меня. Я ей по гроб жизни обязана за Виктора: она его растила, ставила на ноги...

Я возвращался, но обменивались мы с А.Т. лишь необходимыми в быту словами. Между нами как будто выросла стена — наступающая осень, море грязи, холод... Нужно сказать, что за всю нашу, хоть и недолгую, жизнь вдвоём, а потом троём с Витей мы не только не сказали друг другу резкого слова, но и взгляда недовольного не бросили друг на друга. Римма была успокаивающе добра, проявляя удивительное терпение при наших неурядицах, понимая меня с полуслова, полужеста. Я отвечал ей тем же. А тут я почувствовал: что-то уходит. Она ещё прибегала в обеденный перерыв в лабораторию, чтобы побыть со мной наедине, но обычно нам было не до слов, хотя оба понимали: что-то уходит. Никогда не забуду, как она стояла среди нас, четверых, с обвисшими руками, поникшей головой, и горестно говорила: «Что вы со мной делаете?»

Ещё протянули с неделю. А.Т. съездила на станцию за билетами. Был общий разговор: они уезжают, Римма поможет им устроиться и тотчас вернётся ко мне. Я сказал, что это не обязательно... Понятно, что я проводил их к поезду, где прошёл ещё час в ожидании. Что-то говорилось, что-то обещалось. А.Т. проявляла необычайную покладистость. Римма от меня не отходила, просила набраться терпения и дожидаться её. Я обнял Виктора, и он вдруг прижался ко мне, пришлось А.Т. увести его силой.

Римма ещё что-то говорила хорошее, но я знал: это — конец. С дороги прислала отчаянное письмо, умоляла «на коленях» о прощении за «горе, которое причинила», за то, что она жертвует собою и мною ради сына и матери, что будет любить вечно...

Теперь, через много лет, не могу без недоумения вспоминать то мрачное состояние духа, в которое я погрузился после всей этой «истории с географией». Вот и «держи голову над водой», говорил я себе, а сам неприкаянно ходил какими-то бессмысленными кругами, норовя оказаться поближе к железнодорожным колеям... Всё же вышние силы удержали горемыку от непоправимого шага. Что-то ещё брезжило в душе, толкало обратно в «конуру». Но во всём и повсюду мерещились мне её глаза, слышался её голос, вспоминались разные мелочи совместной жизни, от которых замирало внутри. Тогда-то и появились стихи о гибели любви:

*Уехать, сердца не спросясь,
Не разлюбив, не позабыв?
Казалось вечной эта связь,
И всё-таки теперь разрыв.
И всё-таки один теперь,
И ты одна, но чья вина,
Что в этом доме тишина,
Что на столе стакан вина?..*

И не только вина. О том, как «хлопнул» граммов триста ацетона, и вспомнить стыдно. Несерьёзная затея! Забило дыхание, потемнело в голове, была ужасающая рвота, когда возмущённый организм вывернул всего наизнанку... Трое суток я не спал, не ел, а только пил воду, пил и пил, и долго ещё преследовал меня мерзкий запах, кружилась голова, и меркло в глазах... (Спустя какое-то время дошёл слух через одного литовца, уроженца Паневежиса, что примерно тогда же Римма пыталась отравиться, приняв пригоршню каких-то таблеток. Её отходили, слава Богу. Но как совпало!)

О работе я не думал и совсем запустил шлифы, сидел, тупо глядя в окно на унылый пейзаж. Раза два наведалься начальница, озабоченно, даже тревожно оглядывала стол и стены, присаживалась на ящик, мы обменивались незначущими фразами. Ни выговора, ни даже намёка на то, что дело стоит, от нее не последовало! Как потом говорил мне Околёсов, отдел был в курсе моей семейной трагедии, геологи, в основном, женщины, сочувствовали мне и порицали Римму...

Однажды Лидия Анатольевна, заглянувшая в «петрографию», задержалась дольше обычного, осторожно и мягко расспрашивая, что же случилось на самом деле. Был конец рабочего дня, уже темнело, но она не уходила. Я вдруг увидел, как лицо её, обращённое ко мне, теряло очертания и реяло еле светящимся пятном, становясь всё красивее, всё прекраснее. В сумерки с женщинами это бывает, они становятся неузнаваемыми. И меня понесло! Я рассказал всё: о переписке трёхлетней, о том, какая Римма стояла за проволо-

кой, когда я впервые увидел её, о свидании после её выхода на волю, о Викторе и бабушках... Л. А. неназойливо увещевала меня. Мне становилось легче от её присутствия, голоса, в котором я хотел услышать и услышал что-то освобождающее, подающее надежду. А говорила она о вещах известных, о том, что воля не всегда оборачивается так, как хотелось бы...

Оказывается, надо было просто выговориться, но с друзьями-мужчинами это было бы невозможно. А рассказать всё женщине оказалось почему-то легче. Совсем стемнело, лицо её стало неразличимым, она пошевелилась: «Мне пора!..» Хотел сказать, чтобы ещё посидела, но не решился. После разговора я почувствовал, что воскресая для новой жизни...

Возвратился в Инту Игорь Ковальчук-Коваль, для которого была почти готова двухкомнатная квартирка, и он не замедлил вызвать к себе мать, а сам устроился слесарем-монтажником в ОСУ комбината «Интауголь». Я был рад его приезду. Выглядел Игорь бодрым и посвежевшим, воля его не пугала, он был полон самых радужных планов, и в первую очередь хотел заняться книгой, которую начал в лагере. Словом, от него повеяло воздухом лагерного еще времени, тех ещё разговоров и фантастических прожектов, которыми они, солидаристы, да и мы все тогда жили...

Привёз Игорь весточки от Евгения Ивановича Дивнича и Бориса Оксюза. Они стремились как можно скорее закрепиться в неведомой для них жизни и мне желали того же. По словам Игоря, они настроились «жить, как все», испытать на себе, что это такое и стоит ли продолжать линию сопротивления советской власти, о которой столько судачили на нарах. Откровенно говоря, этого я и ждал от них! Ведь жизни на советской воле они еще не нюхали. Е. И. хотел поселиться в городе ткачей на Волге, а Борис устремлял взоры на «русский Марсель» — Одессу.

Главное, что подкупало в Игоре, — это приверженность замыслу написать роман о Харбине, прихватив и постхарбинский период, то есть лагерь. Как бережно хранил он в душе воспоминания о минувшей эпохе, о молодости, как хотелось ему закрепить всё на бумаге, даже в мелочах! До отъезда в Мордовию он немало накопил материала, который зарыл где-то на территории 1-й шахты...

Однажды вечером я, Околёснов, Шеховцов и Житков по просьбе Игоря сошлись у него на квартире.

— Хочу вытащить из тайника свою «бандуру». Поможете?

«Бандурой» Игорь называл кусок металлической трубы, наполненной его рукописями и залитый с двух концов гудроном. Понятно, мы тотчас согласились. Шёл мелкий холодный дождь, когда мы подступили к бункеру. «Бандура» покоилась неглубоко в земле (всего на два штыка лопаты), не где-нибудь на задворках, а на самом видном месте, истоптанном вдоль и поперёк шахтёрами, грузчиками и прочим народом, и никому в голову не пришло бы, что тут покоится взрывоопасная для власти рукопись...

Впрочем, вокруг было спокойно. Я, Житков и Околёснов стояли в «оцеплении», а не видимые в темноте Игорь и Шеховцов извлекали «мину», которую Игорь по тёмным же улицам пронёс в свой домишко.

Итак, жизнь продолжалась. Я уже привык к опустевшей комнате на Капитальной, втянулся в работу, а по вечерам, затопив печку и присев к столу с портретом Лермонтова над ним, снова жил прошлым. Передо мною проплывали люди, с которыми дружил или враждовал, кого любил или ненавидел. Так начинались мои воспоминания, их набралось уже целых две толстых тетради. На коврике у кровати мурлыкал кот Акбар...

Прошедший 1956-й год принёс нам волю. Казалось бы, вздохнул и народ по всей Руси великой, хотя «партия и правительство» всё ещё бдительно стояли «на страже завоеваний великого советского народа». Слегка зашевелилось и образованное общество. Летом вышел альманах «Литературная Москва». Сильное впечатление произвёл на меня и мое окружение рассказ Александра Яшина «Рычаги» и первая публикация Марины Цветаевой, весьма пространно представленная здесь Ильей Эренбургом. Событием стал роман Дудинцева «Не хлебом единым». По Инте ходила стенографическая запись обсуждения его в ЦДЛ. Наконец-то в полный голос, наконец-то правда! Яркие речи Паустовского, Кетлинской, Славина, самого Дудинцева слышны были не только в стенах Центрального дома литераторов, но и через динамики в распахнутых окнах на улице, где собралась большая толпа, и даже конная милиция не могла ее рассеять. Партийный ареопаг пришёл в ужас. Венгерское восстание тоже начиналось с Будапештского Дома писателей!

В декабре состоялся очередной Пленум ЦК КПСС, стали «завинчивать гайки». Свободомыслие отменили, прошли партсобрания с разъяснениями новой жесткой линии партии по борьбе с инакомыслящими...

При местной газете образовался литературный кружок: прозаики, поэты, переводчики с коми. В один из январских дней 1957-го года Валерий Фролов пригласил меня на вечер в Дом Культуры (напротив управления «Интауголь»).

- Выступишь, считаешь свои стихи.
- Любые?
- Крамольные побереги до лучших времен!..

Какие же мы тогда были чучела! В потёртых бушлатах, в стареньких тулупах или шубейках, но все в огромных валенках, задубевших на 40-градусном морозе... На улице, на подходе к Дому культуры, встретила Людмила Кобылинская из геологокабинета: высокая, красивая, а сейчас – в поношенной шубке и растоптанных валенках, и я с трудом её узнал.

- Куда это все спешат? – удивилась она.
- В ДК, будем стихи читать. Пошли?
- Нет, не променяю своего детёныша на ваших поэтов, – лукаво блеснув взглядом из-под мохнатого платка, заявила она и прибавила шагу.

Зал был полон. Чему удивляться, если здесь раньше только крутили фильмы да заезжий лектор выступал иногда с обзором о «международном положении». На сцене за столом Женя Смирнов, вольняшка, чьи стихи появлялись в газете «Искра», рядом с ним – Валерий и несколько более пожилых «мужей». Смирнов открыл вечер, Валерий стал вызывать стихотворцев. Среди интинцев – приехавшие из Сыктывкара коми поэт и его переводчик. Воспевалась лесотундра, оленеводы, шахтёры... Сначала читал поэт на коми, а потом переводчик – по-русски. Автор славил «прекрасный город Инту». Запомнился «смелый» образ комсомольца, забывшего колышек в Полярный круг. Публика благожелательно встретила сыктывкарцев, но «колышек» вызвал иронический смех.

Выступил Валерий, стихи пошли более серьёзные, хлопали с большим чувством. Затем он вдруг объявил:

– Поэт Леонид Ситко!

Слово «поэт» он подчеркнул интонацией. Стихи я писал лишь «по случаю», никогда «на публику», никогда «для печати». Большая часть их не сохранилась, о чём не стоило и горевать. Но было два больших стихотворения, которых мне жаль. В одном – о «звёздном налёте» 1943-го года (в памяти застряли всего четыре строчки: *«И гнутся чуждые леса... Пилоты – радостные черти... Гудят сегодня небеса Победоносным маршем смерти...»*). Другое посвящалось Инте и называлось «Жизнь на руинах Минлага».

Такой аудитории ни до, ни после у меня не было: на меня смотрели сотни глаз. Я прочёл несколько лагерных стихотворений: «Дороги четыре...», «Ты далека...», «Моя поэзия от долгих дум больна...», и мне показалось, что слушали всё внимательнее и хлопали горячее. Когда прочёл про Гамбург и Минлаг, в зале стало жарко от аплодисментов и выкриков: «Ещё! Ещё!..»

Я почувствовал, что это – мой вечер, что я вознаграждён за долгие лишения...

Выступил с поэмой про Стеньку Разина некто Кобец (или Корбец?), самый пожилой из всех. В разных местах длинной поэмы повторялась фраза «Сарынь на кичку!», как у Василия Каменского. Этим только поэма и запомнилась. Публика уже начала отваливать. Фролов, этот сухарь, даже прижал меня к себе: «Молодчина!» В гардеробной окружили недавние слушатели, пожимали руку, просили адрес.

– Вот как надо писать! – услышал я рядом сварливый голос человека в годах, с серым морщинистым лицом и выпуклыми глазами. Он протянул руку:

– Будем знакомы. Дмитрий Фёдорович Чистяков. Приятель Дивнича. Он говорил мне о Вас ещё в лагере.

Некоторое время мы шли с ним по пушистой морозной Инте, и он не умолкал ни на минуту, отводил душу. Всё, что накопилось в нём против советской власти, было тем вечером сказано.

Наш круг знакомых дружно приветствовал приезд матери Игоря Ковальчука Ксении Петровны. Очаровательная, добрейшей души женщина внесла в дом порядок и уют и,

кажется, приняла нас всех в своё сердце. Относительно власти мысли и чувства Ксении Петровны были нашешские. Почти вся её семья была «вырублена»: младшего сына, Ростислава, чекисты расстреляли в Чите, а старшего, Игоря, загнали в лагерь на 20 лет; пострадали и многие другие ее родственники.

Какие вкусные блины она пекла! Как свободно мы беседовали с нею! Почти всё наше небольшое интинское «общество» влюбилось в неё, и она это чувствовала, а Игорь был счастлив...

Пока... пока не появилась Ольга Козлова. Помню её первый выход «в свет». Отмечая какое-то событие, мы собрались на новой квартире Околёнова. В гостях были Андрей Иноземцев с Татьяной (мы звали её «теософкой»), Миша Животовский, Житков с Шурой, Бронников, Шеховцов и ещё несколько человек. Варя радушно встречала всех. Вечер проходил непринуждённо и весело. Неожиданно появился Игорь под руку с Ольгой, представил её нам. Да, она была очень недурна, но чем-то недобрым повеяло, когда она молча обозревала присутствующих. Варя, Татьяна и Шура хорошо знали её еще по 4-му ОЛПу...

Обычно мы не вмешивались в личные дела друг друга: кого выбрал, того выбрал. Но Игоря пробовали отговорить, особенно когда Ксения Петровна буквально воззвала к помощи друзей. Игорь проявил недюжинное упрямство, всё более замыкался в себе, чувствуя, что они с Ольгой все больше отчуждаются от старых друзей и знакомых.

Будущее само наказало его. Наш «бойкот» был излишним. И впрямь, кто мог быть судьёй в этом деле? Я, что ли, только что потерпевший фиаско в семейной драме? Околёнов, у которого назревал с Варей разрыв? Каждый должен был выпить до конца сию горькую чашу...

Случившееся, увы, привело к обоюдному отчуждению. Лишь время, поставив всё на свои места, затянуло раны.

Прибежал в «петрографию» Сашка Околёнов.

— Бросай работу. Звонили начальнику шахты. Приехала твоя мать, сидит на станции, ждёт тебя...

— Да ты что! — растерялся я. — Она ничего не писала о приезде!

— Лидия Анатольевна попросила для меня легковую машину в Управлении. У комбината 2-й шахты действительно стояла машина. По дороге на станцию я очень волновался, казалось, водитель ехал слишком медленно. На душе было смутно, тревожно: как встретимся? Пятнадцать лет разлуки и вдруг — мама! Бедная мама! Бедный я!

В почти пустом зале ожидания я увидел на скамье пожилую пару — мать и отчима Илью Антоновича Марьенко, которого знал до этого лишь по фотографиям. Держась за подлокотник скамьи, мать приподнялась мне навстречу, и мы обнялись... Я привёз их к себе, растопил печку, комната постепенно согрелась, и можно было раздеться с дороги, передохнуть. Мы не могли наговориться. Илья Антонович держался скромно, изредка вставляя слово. Мать, конечно, постарела, да и я, наверное, очень изменился. Я

спросил, как она решилась пуститься в такую трудную дорогу и почему не сообщила об этом.

– Боялась, запретишь приезжать. А дорога бесплатная: Илья – почётный железнодорожник, имеет право раз в год ездить бесплатно...

Вечер следующего дня. Мы вспоминаем, вспоминаем. Мать всё до мелочей помнит: и Дунаевцы, и Синельниково, и Кисловодск! Я спрашиваю то одно, то другое, уточняю про себя свои «мемории».

– Помнишь, ты подрался с Вовкой Садиковым, и я тебя пожурила, что плохо давал сдачи?..

– Помнишь, я пошла набрать угля на станции, тебя оставила на тротуаре. Ну, а когда милиционер спросил: «Где твоя мама?», ты и показал. Он взял тебя за руку, подошёл ко мне (я только и успела высыпать из ведра уголь) и сказал: «Постыдились бы сына своего, гражданина...»

– А я помню, мама, твой рассказ, как ты стирала в коридоре, дверь в комнату была открыта, и ты вдруг слышишь, что в комнате кто-то ходит. Ты увидела посреди комнаты Ленина в кепке, будто бы смотрит на тебя. Ты потеряла сознание. Потом дня три успокоиться не могла. «Не к добру, не к добру приходил...» А через неделю началась война.

– И после смерти людям покоя не давал, – неожиданно вставил Илья Антонович. – А сам от сифилиса умер.

Мать нахмурилась, строго посмотрела на Илью Антоновича, и тот стушевался, закурил и ушёл на улицу.

– Как тебе с ним?

– Ничего. Он добрый. Только большевиков шибко не любит. Всё спорим с ним.

Однажды, когда мы были вдвоём, что-то толкнуло меня, я опустился у её ног, ткнулся лицом в колени:

– Мама! За всё, за всё прости! Надо мной будто висит чьё-то проклятье...

Она провела пальцами по моим волосам:

– Я тоже думала так. Но не я тебя проклинала, не я... Я тебе всегда желала только добра.

В другой раз спросила:

– Что с Риммой получилось? Она мне очень по душе пришлась: и в письмах, и на фото.

Я рассказал.

– Конечно, повиснуть на тебе всей семьёй! Ты ведь не собес.

Илья Антонович – человек тактичный и жалостливый, лет на десять старше матери. Он был сама аккуратность. Всю жизнь работал на железной дороге, теперь на пенсии. С матерью старался ладить, уступал ей, хотя и признался мне, когда мы курили на дворе, что она «женщина с характером». Обсудили и моё возвращение в Николаев. Я объяснил, что такое «поражение в правах» (иначе называемое «*по рогам*»), с которым устроиться в

«закрытом» городе будет почти невозможно. Это подтвердил и Илья Антонович, бывший конторский служащий. Однако, сказал я, вечно сидеть на севере не хочу, вернусь обязательно, только денег надо скопить. Здесь это легче сделать, чем где-либо. Мать вздохнула, но согласилась.

Как-то за чаем разговорились о возможной моей женитьбе. И мать, обратившись к Илье Антоновичу, сказала:

— Любят его бабы, а несчастлив он с ними...

Мне показалось это странным. О каких «бабах» в моей жизни она могла знать? Кроме Зои Брагиной, которая ей писала, вернувшись после войны на родину, и вот теперь Риммы, женщин у меня не было. Однако, мама, видно, шестым чувством постигла суть моих отношений с женщинами: и любят, и несчастлив...

Через месяц я проводил их на станцию. Последнее прощание, последний взгляд, в последний раз я обнял маму. Больше не виделись. Уже не по моей вине.

Иногда я заходил в редакцию, где собиралась литературная группа. Читали стихи, обсуждали. Валерий приглашал даже Житкова, которого не жаловал. Помню, с критикой моего стихотворения о Гамбурге выступил Корбец: народ обливался кровью, защищая отечество, а в стихах явное сочувствие немцам, убитым при бомбёжке. С каких это пор пересматривается наше отношение к фашистам?.. Стихам навязывалось не свойственное им содержание. Бывший зек вносил в нашу глушь приёмы разборок ССП, когда «изобличали», «обвиняли», «выводили на чистую воду», рьяно приплетая политику. Вступать в спор я не собирался, но неожиданно за меня вступился Валерий. Он спокойно объяснил присутствующим, что автор стихов о Гамбурге отбыл три года немецкой каторги, и негоже вменять ему сочувствие к фашистам. В стихах речь идет только о неправомерности воздушного террора против гражданского населения.

— Не забывайте, уважаемый критик, что мы дружим с ГДР, мощным форпостом социалистического лагеря!..

Клин клином вышибается. Корбец угрюмо смотрел в пространство, видимо, поняв, что пускаться в перепалку рискованно. Народ здесь грамотный и может дать отпор, прибегая к сходному лжеумствованию. Я отомстил Корбцу эпиграммой — литературной, а не политической в «издаваемой» мною рукописной газетке «Фонарь Диогена», которую читали в нашем кругу.

Я пришёл в гости к Юре Степанову. Он познакомил меня со своей женой-инвалидом. Валя не ходила: во время похорон Сталина в толпе ей отдавили ноги, и она осталась жива лишь потому, что какой-то мужчина поднял её себе на плечи. Умная, проницательная, мягкосердечная женщина — такой я помню Валю. Она страдала, что на Юре, вдобавок к его «геологии», лежали ещё и домашние дела. Валя помогала Юре в работе над книгой о породах и камнях, способствующих заболеванию силикозом.

Неожиданно Юра сказал:

– Вы всё со стихами, да? Я к ним вообще-то равнодушен. Но был у нас один, писал стихи, читал у костра в экспедициях. Умер от чахотки в Уральских горах. Помню одно стихотворение. Прочсть? Называется «6-е января»:

*Прости мне, мать, что траурный венок
Я на могилу принести не смог.
Прости мне, мать, и не таи обиду
За то, что я не справил панихиду.
Ушёл я, мать, за дальние хребты –
В страну снегов, бесцветья и бестравья,
Где не растут от холода цветы
И нет церквей, чтоб панихиды править.
Но я твой сын и среди прочих дней
Отмечу день, в котором нечем греться,
Цветами яркой памяти твоей
И панихидой собственного сердца.*

– Хоронили автора всей экспедицией, навалили камней, прикрепили крест-накрест геологические молотки. Спит он там на открытом месте, тихо вокруг, далеко видно...
(К сожалению, я совершенно позабыл имя и фамилию поэта).

Лето 1957-го года. Первый в моей жизни отпуск – два месяца! С неизъяснимым чувством полной свободы я поехал в Москву. Узнав через справочное бюро адреса степлаговских друзей, я списался с Г.В. Мышкиной, жившей в Воронеже, и Николаем Башлыковым – в Брянской области. Николай присылал новые стихи и, если судить по ним, мало переменялся. Галине Васильевне я сообщил, что, возможно, буду летом в Москве, и она прислала адрес своей доброй знакомой Н.Н., у которой можно остановиться.

Н.Н., женщина средних лет, деловая и внимательная, встретила по-дружески (Г.В. писала ей обо мне), провела в отдельную комнатку, где я мог ночевать на диване, показала, куда они с дочерью прятали ключ от квартиры, и просила в случае каких-либо затруднений запросто обращаться к ней. Сверившись по карте, вручённой ею, я трамваем проехал к музею Достоевского.

Достоевский казался мне мятущимся, живым, с колоссальной энергией человеком, а тут были спокойные комнаты, наполненные его вещами, портретами, книгами, скульптурными изображениями, из которых ни одно не могло соперничать с его посмертной маской. Везде – идеальный порядок, симметрия и гармония. Иногда вдруг замрёт душа перед чернильницей, перед исписанным его рукой листочком бумаги, увы, тоже закованным в строгую рамку...

На стене – страничка из дневника какой-то курсистки, начинающаяся словами: «Вчера хоронили Достоевского, нашего Пророка, нашего Учителя!.. Море народа на Невском, море цветов... Особенно много молодёжи...» В бывшей квартире Федора Михайловича я невольно вспоминал нары нашего «мёртвого дома», где зеки открывали для себя писате-

ля. Былое волнение охватило душу: именно здесь, в этих комнатах, жил, дышал, работал чудный гений, труды которого звучали наперекор бесам и лиходеям, захватившим власть над великой и несчастной страной.

На следующий день я посетил музей Л. Н. Толстого в Хамовниках. Тут – всё по-другому. В одной из комнат экспонаты разглядывали американцы, видимо, супруги, которых водила по музею симпатичная смотрительница, объяснявшаяся по-английски. Я присоединился к ним. Прошли первый и второй этажи, посмотрели кабинет и конторку, за которой была написана «Анна Каренина», пару сапог, собственноручно им изготовленную... Я вслушивался в английскую речь, мне была интересна и реакция заморских посетителей, а они ахали, возводили очи горе, всплёскивали руками...

Потом смотрительница куда-то делась, и мы направились по длинному коридору к выходу. Чтобы проверить себя в языке, я обратился к американке с вопросом, как им понравился музей. О, она была приятно изумлена и затараторила так быстро, что я улавливал лишь отдельные слова и выражения. Подключился муж. Оживлённо обмениваясь фразами, мы вышли во двор, залитый солнцем, где стоял и глядел на нас милиционер.

Я не ожидал этого и смешался, сразу вспомнил, что в стране сейчас антиамериканская кампания: демонстрации под лозунгом «Янки, вон из Ливана!»

Как бы первые мои шаги «в сердце родины» не оказались последними! – мелькнуло в голове. Пробормотав «*excuse*» и «*good buy*», я оторвался от них и направился к блюстителю порядка, делавшему мне какие-то знаки. Оглядываясь на нас, супруги пошли к воротам, где их ждала машина.

Милиционер сурово смерил меня взглядом и сказал:

– Это американцы.

– Я знаю.

– Они в Ливане высадились...

– Вот суки позорные! – сморозил я в ответ, не то всерьёз, не то в шутку.

Он озадаченно воззрился на меня, а я засмеялся, сделал ему ручкой и не спеша направился к воротам, ожидая, впрочем, свистка. Его не последовало.

Улица шла вниз. На проезжей части я заметил американцев. Машина двигалась вровень со мною. Улыбаясь, они приглашали к себе.

Я остановился, остановились они, открыли дверцу. Я глянул направо, потом налево и развёл руками: рада душа в рай, да грехи не пускают, извините! Возвращаться в лагерь мне не хотелось.

На третий день нечистая сила понесла меня к мавзолею. Конечно, это было всего лишь «нездоровое любопытство», но я не мог уехать, не взглянув на мёртвого Сталина. И если все предыдущие дни небо над Москвой было безоблачное, то 6-го июня его заволокли тяжелые темные тучи, подул норд-ост, и очередь изрядно продрогла. Вдобавок пошёл снег! Сама природа как бы говорила: опомнитесь! Куда вас несёт?!

Очередь двигалась в мрачном молчании, спускалась в подземелье, обтекала два стеклянных колпака. Ленин, хоть и подкрашенный, выглядел совершенным призраком. Ста-

лин ещё не превратился в тень, а лежал грузной тушей и, казалось, вот-вот зашевелится и сядет... Я проходил мимо его саркофага со странным чувством, думая о том, что недавний властелин полумира, вампир ненасытный, лежит теперь бездыханный и бессильный, лежит под колпаком...

Вечером Н.Н., узнав, где я был, рассказала, что какая-то старуха бросила в этот колпак кусок булжника, но стекло, увы, осталось целёхонько. «Изувер! Дьявол!— приговаривала старуха, когда её поволокли в темноту. — Семью мою погубил! Народу сколько погубил!...». С тех пор приказано было сдавать сумки и свёртки. Можно было держать при себе только газету.

Утром я взял билет в Ленинград и позвонил Виктору Булгакову. Мне хотелось с ним повидаться. В троллейбусе я всё думал о нём и никак не мог упорядочить в своём представлении мятущуюся, неуправляемую натуру Виктора. Чем он теперь живёт? Правда, какая-то линия просматривалась: Наполеон — Лермонтов — Блок. На 1-м Горном он почти никогда не спорил ни с Никанорычем, ни со мной, ни с «Бородой», хотя всем своим видом показывал, что не согласен. Но стихи пылко приветствовал. Как бы то ни было, Виктор, оставаясь «вещью в себе», был хорошим товарищем, что особенно ценилось в лагерях и на воле.

Встретил он меня широкой улыбкой. Недавно появился на свет сын Костя, и молодые родители, казалось, целиком были поглощены заботой о нём. Тем не менее Витя показал новые стихи, прочёл несколько глав романа «КЭБ» (то есть «Как Это Было»).

Я поблагодарил его за двухтомник Тютчева под редакцией Чулкова, присланный в Инту. Прекрасный был подарок! Пытаясь настроить Виктора на серьёзный лад, я заговорил о возможностях, которые открывала для нашего брата, недавнего зека, относительная свобода, о том, что пережитое не должно исчезнуть бесследно и надо наметить дальнейший образ действий. Иначе человеку угрожает сползание в быт... Тут Виктор внезапно хлопнул меня по плечу и бесшабашно произнёс: «Не будем мелочиться!..» Он сел за пианино и, сыграв вступление, запел моё стихотворение «Поэзия», написанное еще в минлаговские времена.

Что он хотел сказать этим, было не совсем понятно... Он и в лагере совершал странные, казалось, поступки: если был чем-то задет, убегал на лежнёвку, делал два-три круга и как ни в чём ни бывало возвращался в барак. Горячка молодости? Бог его знает...

Расстались тепло, Виктор проводил меня на остановку, мы обнялись. На обратном пути я вспомнил его стихи:

*Парус сорван. Голубой лазури
Не видать за пеленою туч...
Еле светит нам надежды луч,
А пловец, как прежде, просит бури!..*

И вот я в Питере.

Лифта не было, и я поднимался по лестнице, когда за третьим или четвёртым поворотом услышал: кто-то спускается. Так мы и встретились: я внизу, Георгий Терешонков – наверху.

– Лёня!!

И буквально перелетел по воздуху, схватил за плечи, встряхнул.

– Вот здорово! Не ожидал! Давай поднимайся, я позвоню своим на дачу, что не приеду, и мы отметим встречу!

Через полчаса мы шагали по Невскому к памятнику Екатерине Великой. Питер поразил красотой улиц и зданий. «Город Дворцов...». Но на их фасадах теперь красовались огромные безвкусовые полотнища с портретами членов Политбюро.

– За...ли весь город! – выругался Жора.

Вокруг памятника Екатерине на скамьях сидело немало девиц и молодых женщин, а по аллее прогуливались взад-вперёд пары.

– Вообще-то здесь собираются проститутки. Смотри, вон одна сидит, скушает и крутит на пальце ключ. Значит – с квартирой.

Жора свернул на газон за густой кустарник, расстелил на траве газету, извлёк из портфеля два стаканчика, бутылку, свёрток с колбасой и пару огурцов... Выпили за встречу, пошли расспросы, разговоры, Жорж интересовался, как в Инте, где общие знакомые, упрекнул за то, что не писал.

– Здесь я прямо с тоски сдох бы, – поведал он мне, – если бы не Оля. Мы с первого класса дружили, я её сумку с учебниками носил. Как только возраст позволил, поженились. А там война, плен, концлагерь. Освобождали меня дважды. Сначала в 54-м, потом в 56-м. Как быстро нас сажали и с каким «скрипом» выпускали!..

Выпили ещё.

...Теперь некстати воздержание:

Как дикий скиф хочу я пить.

Я с другом праздную свиданье,

Я рад рассудок утопить.

– Жить будешь у меня, все мои на даче. Буду рад, коли приедешь и туда, познакомишься с женой, детей повидаешь.

Я обещал приехать через несколько дней.

– Мне писали, что Римма к тебе приезжала. Что случилось?

Я вкратце, но без особых эмоций, повторил то, что говорил Лидии Анатольевне. Только добавил, что хотя Римма – хорошая, но во «фронтные подруги» не годится.

– Что ж, – вздохнул Жорж, – бывает и так...

После долгих лет запретов и лишений очень хотелось увидеть главное, бывшее на слуху, – музеи, памятники, театры, архитектурные красоты, настоящие книжные магази-

ны, особенно букинистические. Бывает, что человек всю жизнь идёт к желанному месту, и, когда приходит, у него уже нет сил осваивать его. Я ходил до изнеможения, возвращаясь в жоркину квартиру заполночь...

Открытое утреннее кафе под «балдахином», я за столиком с чашкой кофе. Спросив позволения, напротив садится лет пятидесяти человек, ещё стройный, с худым смуглым лицом и горящими глазами. Достал из портфеля пластмассовый стаканчик, бутылочку с золотистой жидкостью и доверительно сказал:

– Коньячок. Не угоститесь ли?

Я улыбнулся и покачал головой: нет. Не хотелось перед своими «походами» расслабляться и туманить голову.

– Ну, как хотите.

Он выпил, закусил кусочком сыра.

– Приезжий?

– Да, в отпуске. Впервые здесь...

– Впервые на Невском? Ах, Боже! Вам ужасно повезло, молодой человек! Ведь это чудесно! И лучше всего об этом скажу вам не я. Вот послушайте: *«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге: для него он составляет всё... Чем не блестит эта улица-красавица нашей столицы?..»*

Надо же, случайный прохожий, присевший за мой столик, прочёл наизусть весь гоголевский панегирик Невскому проспекту! Читал он великолепно. Я с удовольствием, даже радостью слушал его... Выпив второй стаканчик, мой визави вдруг загрустил:

– Видите ли, меня долго не было в Питере. Колесил по России, смотрел на «её поля, пустыни, грады и моря...» А вернулся и не узнал родного города.

Он повёл рукой на прохожих:

– Скажите, это питерцы? Куда они мчатся со своими сумками, авоськами, рюкзаками? Старые горожане вымерли в блокаду и вымирают теперь, а на их место понаехал чужой народ, всё заполонил... Зачем им Невский проспект, белые ночи, Медный Всадник и Пушкин?..

В глазах истинного питерца и, как я догадался по некоторым верным приметам, бывшего лагерника, блеснули слёзы... То же я слышал от Георгия. И я возразил собеседнику, что мне как раз понравилась в Питере атмосфера культуры, чистота на улицах, вежливость и предупредительность прохожих. Он приободрился:

– В самом деле? Как же, такой город обязывает, воспитывает...

Но мне было пора идти, и мы раскланялись.

Эрмитаж... Разве можно в короткое время всё увидеть, запомнить, увезти с собою увиденное?.. Среди множества статуй, картин, вещей лучше иметь какие-то любимые уголки... Например, камеристка в жабо елизаветинской эпохи – просто чудо! Стоял перед ней долго, а потом в толпе, в других залах, чувствовал, что её глаза преследуют меня, и я вновь возвращался в зал Рубенса, где вспомнил, что и лагерник Женя Рейтер просил передать камеристке привет!..

Невольно обратил внимание на группу японцев, которых водили по музею экскурсовод и переводчица и которые добросовестно записывали всё, что им говорилось. Особенно заинтересовали их часы с павлином и другие механические причуды XVIII-го века. Удивительный народ: всё высматривает, всё заносит в блокнот, а дома будет «изобретать» и применять на практике...

За чугунной оградой могилы Достоевского – анютины глазки, кое-где пробивается крапива. Над памятником склонилась старая липа, разросшаяся в одну сторону. Не умолкают птицы, не умолкают голоса за кладбищенской стеной: работяги копают канаву. Фёдора Михайловича и тут настиг «однозвучный жизни шум...»

Слева – гробницы Жуковского и его супруги. Несколько позади – Карамзин, чуть в стороне – лицейские друзья Пушкина: Данзас, Матюшкин, Дельвиг... Если повернуть вправо, увидишь надгробие П. А. Вяземскому...

В старом Некрополе – решётки, столбики, нарядные гробницы... Над ними надписи и в прозе, и в стихах...». Добрёл до надгробия Натальи Николаевны. Постоял, держась за ствол дерева... Всё та же бесконечная тоска по самому светлomu сыну России, так рано отошедшему в миры иные...

В Мариинском давали «Кармен». Было жарко – от скопления публики, от массовых сцен, от музыки и сознания, что в этих креслах и ложах перебивал весь XIX век, поколение за поколением... Слева – пожилая чета немцев, справа – рядом со мною, в первом ряду – англичане, которые вели себя слишком непринуждённо. Я уже встречал их: с «Кодаками» они носились возле Эрмитажа, снимая двух крестьянок с косами на плечах на фоне дворца...

Волнующая музыка и вся обстановка так подействовали, что я не смог удержать слёз. Я вышел через боковую дверь в фойе, оттуда на улицу, где несколько минут на вечерней прохладе меня успокоили, и я вернулся в зал...

В тот год к 120-летию смерти поэта в одном из залов Зимнего дворца была размещена Всесоюзная Пушкинская выставка. Время поджимало, но я провёл на выставке полдня, хотелось отдохнуть в пушкинской атмосфере, в том, что сохранилось, – среди портретов современников, вещей, автографов... Всё волновало: и перо А.С., коротко обрезанное, сохранившее следы чернил, и небольшая конторка, и сундучок для рукописей, и медальон с колечком белокурых волос, рядом с которым лежала карандашная записка: «Сей локон А.С. дал мне Никита Козлов за рубль. Иван Тургенев» (воспроизвожу по памяти).

Нацокинский домик с миниатюрной мебелью. Столько прелести, игры в этих комнатах – в гостиной, столовой, кабинете!.. На выставке – вещи современников Пушкина: кресло Гнедича, глубокое, мягкое, в котором будто бы любил отдыхать Крылов, и стол Грибоедова – широкий, с зелёным сукном. Ещё два кресла: из Михайловского, простое, с выцветшим бархатом, красными подлокотниками; второе – Батюшкова – с двигающимся

столиком по правую руку и с приспособлением для письма – по левую. Так ему было удобно. Скульптурный портрет Татьяны Лариной на лавочке, задумчиво глядящей поверх раскрытой книги в пространство...

Побывал я и на Чёрной речке. Вековые деревья вокруг места дуэли образуют небольшой парк. На одной скамейке – влюблённые, на другой – пара седовласых стариков. За парком волейбольная площадка, дети бегают, кричат друг другу: лови! Здесь он сказал: «За мной выстрел...» Речка действительно чёрная...

В феврале 1958-го я ушёл из «петрографии». Причиной была женщина из бухгалтерии шахты, которая безо всякого повода с моей стороны буквально преследовала меня: зачастила в лабораторию, поджидала в коридоре комбината, когда я шёл в «геологию», и даже на улице. Она была недурна собой, умна и внешне вела себя строго, не подумаешь, что способна навязываться. Язык не поворачивался сказать ей прямо, что думаю по этому поводу, как не поворачивается теперь перо написать её имя... Я не был ханжой, но история с Риммой настолько ранила, что я стал бояться женщин. Лёгкие связи претили, а серьёзные отношения могли принести новые страдания. Я рассудил, что уйти со службы будет лучшим выходом.

Меня не удовлетворял и заработок, равный моему прожиточному минимуму. Для переезда на юг требовалось, по крайней мере, удвоить его. Я навёл справки на шахте 12-й «Западной» – подальше от мест, полных для меня тяжёлых воспоминаний. Там были готовы принять меня на работу. В «вентиляцию».

Оставалось поговорить с Юрой Степановым, что я и сделал, побывав у него дома. Юра огорчился. «Как же так? Ты говорил с Чижовой? Ну, хорошо, ты решил. Но что нам делать? Кого бы ты рекомендовал на своё место?»

Ответ был готов. Я слышал, что Игорь Ковальчук, работая слесарем-монтажником и лазая по столбам и строительным лесам, ужасно «дошёл» и выглядит хуже, чем в лагере. Если кого брать, только его. Лучшего лаборанта не найти. Единственное, о чём я попросил Юру, – не говорить Игорю, что рекомендовал его я. «У нас размолвка». Он кивнул.

Прошёл месяц. Я снова под землёй с лампой «Вольф». Познакомился с товарищами, от начальства далеко, и чувствую себя хорошо. Комбинат здесь просторнее, чем на 2-й шахте, есть даже «шахматная» комната, куда нередко захожу сыграть партию-другую. У нас «скользящий график»: месяц в дневной смене, месяц – в ночной. Одно неудобство: 12-я шахта в дальнем западном углу города, два часа уходит только на дорогу. Но я и в это втянулся. Купил длиннополую весьма подержанную шубу, и тяжёлой зимы можно было не опасаться. В ночной смене, обежав забои, начертив мелом на чёрных досках процент газа и расписавшись, я, бывало, поднимался раньше времени на гора и не знал, куда себя деть. В комбинат – рано, наткнёшься на какого-нибудь начальника. Приходилось искать закуток, чтобы два-три часа поспать. Однажды ночью мне бросился в глаза домик со светящимся окном. Я заглянул в него и увидел весы на столе, пробирки, раскрытый журнал и

высокую худощавую женщину в очках и белом халате. Лаборатория? Я постучал и толкнул дверь.

— Можно к вам?

— Пожалуйста, — с лёгким акцентом сказала лаборантка.

Я вошёл и объяснил своё положение.

— Кровати нет, а на полу можете поспать, — предложила она.

Я немного еще посидел за столом, узнал, что зовут её Слава, что она из Львова, отбыла на 4-м ОЛПе восемь лет за участие в студенческом движении «националов». Ещё сказала, что родителей из-за неё сослали на десять лет в Читинскую область, отец работает бухгалтером. Показалась довольно образованной, начитанной. Обитала в женском общежитии. Словом, познакомились. Попросив разбудить часа через два, растянулся в углу комнаты и быстро уснул. Разбудили меня лёгкие шаги и приятный голос:

— Ну, революционер, пора вставать...

Работая в ночную смену, заходил к ней ещё пару раз, даже чай пили. Как-то сказала, что очень любит Вийона, и один её знакомый прекрасно перевёл стихи французского поэта на украинский язык. Этим знакомым оказался, конечно, Григорий Порфирьевич Кочур.

В литературном кружке жизнь текла по-старому. Женя Смирнов, который отвечал в «Искре» за «Литературную страницу», почему-то убрал последнюю строфу моего стихотворения «Голубь», изуродовав его, и больше стихов я ему не давал. По вечерам дома я продолжал писать воспоминания и много читал. Это были, пожалуй, самые приятные часы тогдашней жизни. Тогда же на 12-й шахте познакомился с художником Мишей Щербанеско. Мы стали приятелями, я приходил к нему в мастерскую, садился на кипы газет и журналов: стульев не было. Картоны, фанера пахли краской, олифой. Иногда мы выпивали, и он мрачновато шутил над собой, над своими плакатами, где «голубые герои» с отбойными молотками на плечах шагали в завтрашний день. А, в общем, был он оптимист, любил красивых женщин, хорошую песню, особенно цыганскую, рассказывал забавные случаи из своей жизни. Хорошо было под его неумолчный разговор не думать ни о чём тяжёлом, забыть то, что не давало покоя ни днём, ни ночью... Я с благодарностью вспоминаю эту мастерскую на 12-й «Западной» шахте и глазастого и говорливого Мишу Щербанеско. Где-то он теперь? Как сложилась его судьба?

Наступила весна 1958-го года. В Инте она чувствовалась лишь в прибавлении света, появлении белых ночей. Холодные ветры, снег, мороз пока не сдавались. Я изредка встречался со Славой, побывал однажды с ней в гостях у Жени Рейтера, у которого сошлись многие наши общие интинские знакомые. Вечер проводился по какому-то случаю, не обошлось без изрядных возлияний. Потом я долго провожал её на «Западный», а на прощание неожиданно для себя поцеловал. Как я ругал себя за это по дороге домой! Целовать женщину, не испытывая к ней настоящего влечения, настоящего чувства! Теперь,

когда она ответила с достойной удивления пылкостью, что оставалось делать? Продолжать в том же духе или всё резко оборвать? На последнее не решился. Она так доверчиво отнеслась ко мне. В душе пронеслось острое чувство жалости, сочувствия к ней, почти девчонкой попавшей на тюремный «конвейер» и не знавшей иной жизни, кроме лагерной. Хотелось утешить, приободрить человека, успокаивая себя мыслью, что наши отношения временные, преходящие... Кончилось тем, что я пригласил её к себе, и она, почему-то очень стыдясь, призналась, что невинна.

— Ну и что? — сказал я. — Я тебя не трону!..

И она ночевала у меня несколько ночей, и я не позволял себе ничего лишнего. Так было бы и впредь, если бы... если бы не весна, не одиночество, не замкнутость квартиры, не горячие наши сердца...

Две недели спустя я провожал её в Читинскую область к родителям, где она провела почти всё лето.

Со второго на третье августа 1958-го года приснилось, что выглядываю из окна здания — не то замка, не то современного санатория. Сзади — пустые комнаты, что не мешает мне знать: в замке — интрига. А вокруг — огромный парк, как на французских открытках. В кустах мелькают одинокие фигурки, идёт ружейная перепалка... Но вот я пробираюсь по каменному колодцу к люку, и как только наполовину выбрался из отверстия, навстречу кто-то бросается. Я его плохо вижу, но знаю: это враг. «Тебе там нечего делать! — кричит он. — Умри!» В его руке револьвер, и он стреляет мне в грудь, в сердце. Боли нет, только мысль, что через секунду умру, и вместе со страхом — сладостное чувство, радость. Из последних сил кричу в ответ: «Я счастлив! Друг! Спасибо! Дай руку!»

Первая мысль: к чему бы такое яркое, такое красочное видение? Из каких глубин подсознания?... И что предвещает? Не знаю. В тот день получил письмо от Г.В. Мышкиной, написавшей, что хочет посетить друзей в Курске, Москве, Питере. Назвала меня «незащищённым». Удивляется, что с таким сердцем я вынес всю тяжесть прошлых лет, думает, что благодаря хорошим людям, «которые старались оградить и защитить Вас, чувствуя в Вас человека с хорошей, светлой душой...» Нет, она не совсем права. Пробивался большей частью сам — в Германии, в армии, потом в тюрьмах и лагерях. Помогало что-то другое, идущее изнутри, часто неосознанное... В тот же день, в 11 часов вечера, приехала Слава...

Я не суверен. Но сон преследовал меня: что он предвещает, что ждёт меня? Ни с письмом, ни с приездом Славы я не связывал его.

Вернулась Слава к себе в общежитие. Приезжала ко мне раз или два в неделю, я всё ещё считал, что связь наша временная, вот-вот сойдёт на нет, когда вдруг соседка Шура, лукаво улыбаясь, сказала:

— А твоя Слава в положении...

— Что ты, Шура! В каком положении.

— В самом обыкновенном. Ты ничего не замечаешь?

Больше всего возмутило, что Слава даже не заикнулась об этом. В тот вечер она приехала, как обычно. Я помог ей снять пальто и, когда сели за стол, строго спросил:

– Ты беременна?

Она задрожала, закрыла ладонями вспыхнувшее лицо и кивнула.

– Молчала почему?

– Боялась, ты меня отринешь.

– Господи, как глупо! Остаешься у меня, а завтра съездим за вещами...

С Житковым и Шурой отношения были добрососедские. Правда, встречались намного реже, чем в лагере. Он так же охотно читал новые стихи, как и прежде, внимательно слушал замечания. Есенин, Гумилёв, Блок – ими увлекался, оставаясь последователем стиля Твардовского. Вообще читал немало, и можно было лишь радоваться, что после бурного блатного прошлого он всё больше, так сказать, становился человеком – любящим мужем и отцом (родилась дочь Таня), старательным работягой. Казалось, о чём тужить, о чём горевать? Но, как оказалось, всё это было внешне. Внутри – каким был Житков, таким и остался – ничего не понимавшем в людях, его окружавших, ненавидящим всё, что было вне его скрытой, подмаскированной блатной натуры, готовым на отвратные поступки, был бы поощрительный толчок. Такой толчок не заставил себя ждать.

Как-то раз, когда я спешил на остановку, чтобы ехать домой, меня нагнал рослый мужчина лет пятидесяти, крупного сложения, чуть сутуловатый, который ни с того ни с сего обратился ко мне:

– Я был на вашем вечере в ДК. Вам не кажется, что настоящая литература переместилась из центра на такие периферии, как Инта?..

Разговорились. Он представился: Юрий Германович Марк, член ленинградского отделения Союза писателей, в молодости создал «первый», как он выразился, производственный роман, «отмеченный Горьким и даже Кировым», но потом справедливо забытый, так как автор, «сами понимаете», попал в заключение и т. п. В общем, познакомились. Через недельку столкнулись в комбинате на 12-й шахте. Он, широко улыбаясь, встретил меня как старого знакомого. Пригласил к себе показать «кое-что интересное», имеющее отношение к литературе. Производил впечатление человека открытого нрава, живого и весёлого, с остроумными суждениями о современности – тип, довольно часто встречавшийся в лагерях, а на воле почти исчезнувший. Я пообещал навестить его в воскресенье.

Чёрт меня дёрнул рассказать об этом знакомстве Николаю! Он очень заинтересовался Марком, попросил прихватить в гости и его.

Юрий Германович был счастлив, сказал, что помнит отрывки из «Яшки Бесконвойного», которые читал на вечере Житков, что такие стихи не должны лежать под спудом, и он готов по приезду в Ленинград показать их Тихонову и Прокофьеву, а те, возможно, «дадут им ход»...

На столе появилась бутылка, закуска. Выпили, Ю. Г. извлёк фотоальбом, показал себя, молодого, в группе писателей в 1930-м году, снятых на память с Горьким и Гладковым. Трёп продолжался часа два-три. Потом мы попрощались. По дороге домой Николай

сказал, что неплохо бы «снабдить» Марка стихами: пусть покажет Тихонову. Я горячо возразил: мы совсем не знаем, кто такой Марк, чем он занимается, и если он тот, за кого себя выдаёт, почему околачивается в такой «дыре», как Инта? Было бы прямой дуростью давать ему рукописи. Житков возразил, напомнил, что над ним висит 25-летний уголовный срок, так и не снятый, а, опубликовавшись в центральной прессе, он сможет хлопотать о снятии...

Однажды вечером я зашёл к Житковым за какой-то мелочью, что было обычно между соседями. На кухне у плиты возилась Шура. Увидев меня, заметно побледнела. Не помню теперь, что я просил, соль или спички, помню, как дрогнула её рука, хотя тогда это скользнуло мимо сознания, а вспомнилось потом. Дверь в комнату была открыта, и я увидел за столом Николая и... Ю.Г. Марка! Между ними стояла уже початая бутылка водки и стаканы. Лица были разгорячённые, но скорее от разговора, а не от водки. Оба вытаращили глаза: а ты сюда зачем? Это удивило. Житков всегда был со мной приветлив, а теперь впервые за много лет смотрел на меня враждебно и угрожающе. Как бы то ни было, так мне показалось, хоть на посторонний взгляд всё это выглядело пустяком... Я повернулся и ушёл.

Через несколько дней я неожиданно встретился с Марком на почте. Уже темнело. Когда я повернул на дорогу к 1-му Горному, он увязался за мной, говорил какую-то ерунду, из коей я понял, что он едет в Ленинград и жалеет, что едет «пустой», без стихов других интинских поэтов... Я больше молчал. Возле 1-й шахты мы разошлись, вернее, я пошёл дальше по пустынной дороге и, отойдя метров 20-30, оглянулся и остановился. В сгущающихся сумерках я увидел неподвижного Марка, глядящего на меня. Так мы стояли несколько минут, взирая друг на друга. «Как на дуэли!» — подумалось (а почему так подумалось?). Что ж, между нами действительно была дуэль. Только без оружия. (Много позже, когда всё стало на свои места, выяснилась гнусная роль, которую сыграл в наших судьбах Марк. Но об этом речь впереди. Одно отмечу: не я знакомил Житкова с Марком, они только притворялись, что знакомятся впервые. Ещё в 1949-м году были вместе в Каргопольяге, где оба сидели как уголовники, о чём я узнал впоследствии от Игоря Ковальчука-Коваля. А тут старые дружки лишь разыграли комедию знакомства).

На главной улице в сумерки встретил Игоря. С ним было два литровых бидона для молока. Выглядел он отдохнувшим, поздоровевшим. Конечно, вся Инта знала, что у них с Ольгой родилась двойня: Костя и Лена, и теперь он выходил на поиски молока. Поначалу мы были скованы из-за недавней размолвки, но я поздравил его с близнецами, и это разрядило взаимное смущение. Спросил, пишут ли ему друзья. Пишут, но пропадает почта, как пропадали, между прочим, и у меня письма к Башлыкову. Недрёманное око продолжало наблюдение за бывшими зеками. Игорь ещё сказал вещь совершенно фантастическую, которую слышал от «верного» человека: над Коми АССР пролетел неопознанный самолёт, сбросивший в разных местах антисоветские листовки с печатью: «Военный комитет НТС»...

Более нелепую «парашу» трудно придумать, сказал я Игорю. О, это восхитительное простодушие харбинца! Ну, зачем понадобилось НТС посылать самолёт в почти безлюдную ледяную пустыню? Кто в лесотундре прочтёт листовку? Олень сохатый? Игорь усмехнулся: мол, и сам не верит. «И кому нужна такая «утка», кто запустил её? — продолжил я. — Ясно, кому...»

Я спросил, как ему работается на моём месте.

— Я просто ожил. Работа как раз по мне. В строительном управлении денег получал больше, но здесь появилось время для книги.

— А тебе ничего не снится? — спросил я.

Он как-то странно взглянул на меня, и в голосе его послышались нотки растерянности и удивления.

— Представь себе, снятся, снятся проклятые сны, и не сны, а почти явь!

— Ничего, — «успокоил» я Игоря, — и мне снится всякое такое... И надо опомниться, надо убрать всё из дома. Не нравится мне эта «параша» и наши сны.

Так вот мы мило побеседовали на морозце и разошлись: он — за молоком, я — домой. А в это время кто-то куда-то ездил, были встречи в тиши кабинетов, разговоры, уточнялись разные данные, фамилии, телефонные звонки, и всё это по-злодейски скрытно, тайно... Над головой моих товарищей, над моей головой темнело и темнело небо.

Хозяйка Слава была неважная, всё у неё валилось из рук, да и где ей было научиться самым элементарным вещам: начистить картошки, сварить кашу, не говоря уже про какой-нибудь суп... Жила за спиной у папы-мамы и сразу же, не вкусив самостоятельной жизни, «загремела» в лагеря. Впрочем, я не был требователен, то и дело стоял с ней или один у плиты. В конце октября Слава поехала в моё отсутствие на улицу Кирова за продуктами и на обледенелом тротуаре упала. «Боже мой, какая рохля!» — воскликнул я про себя, когда её под руки ввела в дом незнакомая женщина. Да, были, были огорчения, но всё перекрывала радость ожидания маленького чуда — рождения нового человека! В начале декабря в половине пятого ночи Слава сказала:

— Кажется, началось! Но ты не волнуйся...

Легко сказать: не волнуйся! Я просил её одеться потеплее, а сам, натянув шубу и шапку, выбежал на дорогу. Всё было тихо и мертво, ни души вокруг, ни машины. Пришлось три километра идти до роддома пешком.

По сорокоградусной Инте мы очень медленно пересекли город и вышли на открытый простор. Где-то впереди маячил медгородок. Как сверкало звёздное небо, смотревшее на две фигурки, ползущие по обледенелому пространству, а я всю дорогу молился про себя, чтобы Слава не разродилась среди пустыни. Вела она себя замечательно, но вынуждена была часто останавливаться то и дело, пережидать... Конечно, это было безумие — пускаться в столь опасный для неё и для будущего ребёнка путь. Но каким-то чудом мы прошли его. Уже засветился своими окнами роддом. Спасена! Спасены!

Моя рабочая смена прошла в треволнениях и ожидании. В пять часов дня, выскочив на гора, кинулся к телефону.

— Роддом? К вам утром поступила моя жена...

— Сейчас посмотрим! — весело ответила дежурная и минуту спустя обрадовала: — У вас родилась дочь!

— Нормальная? — затаив дыхание, спросил я. В трубке засмеялись.

— Вполне нормальная, немного не хватает веса, но это дело наживное. Так что поздравляю!

Такая милая и добрая женщина говорила со мною! И какое изумительное, какое необычайное происшествие — появление на свет маленького Божьего создания! Куда подевались страх и сомнения, неуверенность и тревога! В ореоле страдания, мужества, материнства Слава выглядела в моих глазах героиней. В тот же вечер от меня ей приняли передачу: молоко, шоколад, булки.

Незаметно промелькнули десять суток. Накануне Нового года я договорился с начальником вентиляции, и тот велел своему водителю отвезти меня к роддому, а оттуда на Капитальную. Было 31-е декабря 1958 года. Помню, как мы вошли в чистую и тёплую комнату (постаралась соседка), где уже стояла детская кроватка, в которой нашей дочери Ларисе предстояло спать и набираться сил... Вечером мы её искупали в тёплой ванночке. Её личико реагировало на ощущения мгновенно. Погружение в воду озадачило малыжку, в глазах мелькнул испуг, тотчас же сменившийся улыбкой: понравилось!

Январь проходил в необходимых заботах. Я перевёлся на девятую шахту — ближе к дому. Со смены летел, как на крыльях. Слава, как кормящая мать, была в декретном отпуске. 15-го января мы с нею отправились в ЗАГС. Регистрация новоиспеченных супругов и их дочери заняла немного времени. Слава тотчас отправилась домой. А я прошёл по центральной улице, выпил пива, побывал в книжном магазине. Как раз пришли очередные подписные тома Диккенса...

Первое, что я увидел с улицы, — зияющий пролом в тамбуре, от которого была оторвана доска, теперь валявшаяся в снегу. Ёкнуло сердце. Что-то случилось? Точно такой пролом я видел недавно во сне!..

А ничего не случилось. От волнения Слава не могла отыскать ключи в сумочке и так разнервничалась, что оторвала доску и пролезла в тамбур. Там она сорвала замок с двери. Малыжка мирно спала, слава Богу. Но и это маленькое происшествие в цепи предчувствий и снов показалось грозным предвестием, которое посылает человеку судьба.

Я ещё спал, когда постучали. Слава пошла открывать. Их ввалилось четверо — в полушубках, валенках... Я схватил было брюки, они вырвали их из рук и деловито прощупали — искали оружие, тут же бросили мне: «Одевайтесь! Вот ордер прокурора на обыск и арест...» Сами разделись: на каждом китель. Лариска, накануне очень плакавшая, теперь притихла, спала. Я всё успокаивал Славу, посадил её рядом, гладил по плечу: «Держись, Слава, так надо...» Они рылись в бумагах, перелистнули все до одной книги. Руководил обыском

маленький мордатенький майор. Когда он шуровал в ящике стола, извлекая тетради и блокноты, котёнок, вспрыгнул майору на колени. Того как током ударило, он подскочил на стуле. «Не бойтесь, майор, это только котёнок». — «А я и не боюсь, а я и не боюсь...»

Словом, рылись часа четыре. Вынули в дымоходе два кирпича, простучали пол: искали тайник. На стеллаже стоял чемоданчик с письмами Риммы за три года. Взяли. Лейтенант вёл опись изъятых рукописей и книг. Слава потерянно ходила по комнате. «Может, поешь что-нибудь?»

По репликам незваных гостей уловил, что был обыск и по соседству — у Житкова. Велели собираться. Слава совала мне деньги, последние, что были, я взял только на курево. Один из лейтенантов посоветовал одеться теплее. Значит, дорога дальняя. Взял Тютчева и ещё пару книг. Простился с дочкой, обнял Славу: «Не падай духом. Теперь одна справляйся. Береги дочь». — «Я буду ждать, я буду ждать!» В дверях обернулся на разгромленную комнату. «Прощай, Слава!» — «Я буду ждать!»

Мотор в машине, видимо, не выключался, и тронулись сразу, как только сели. За комбинатом «Интауголь» — двухэтажное здание КГБ. Когда шли по коридору, из кабинетов выглядывали любопытствующие: ого, важную персону ведут!

Я знал, что обречён, но арест, как смерть, приходит неожиданно. На допрос: кто, где родился, где работал и т. д. — ушло полчаса, и опять на мороз, опять машина, уже легковая. Два офицера, водитель. Поехали! На юг!.. Майоры по очереди дремали, я тоже закрыл глаза... Ночь лунная. Ровная снежная дорога позволяла идти на большой скорости, и через несколько часов замелькали дома Сыктывкара.

Внутренняя тюрьма КГБ. Камера, белые стены, большое окно в решётке и с «намордником», параша в углу, две койки. Разрешили взять из чемодана книги. Потом принесли полную миску разваренной рыбы. Возвращая миску, услышал: «Не хотите ещё?»

Я накинул на плечи пальто, уселся на койку и раскрыл «Севастопольскую страду» Сергеева-Ценского. За дверью надзиратель сказал другим вертухаям: «Что за люди! Что за нервы! Привезли в тюрьму, а он сел — и за книгу!.. А я читал, не понимая ни слова. В душе звенело что-то детское, далёкое: «Капитан, капитан, улынитесь...»

Дня через три вызвали на допрос. Следственные кабинеты помещались в том же корпусе на втором этаже. Я увидел миролюбивое лицо капитана Сизова — лицо уставшего человека лет 35-ти. Последовала дежурная фраза: в моих интересах рассказать про антисоветскую деятельность, ничего не скрывая о себе и других.

Я ответил: о себе — пожалуйста, о других лучше не спрашивайте... Что ж, фамилии на первом допросе не упоминались. Из последующих — прояснился круг лиц, которые интересовали следствие. Кроме меня и Житкова, в одной из камер по соседству находился Игорь Ковальчук-Коваль. Спрашивали о Н.Н. Золотухине, Е.И. Дивниче, Борисе Оксюзе, Викторе Булгакове, Околёнове, даже о Чистякове. Позже я узнал, что Дмитрий Фёдорович был взят, но тут же выпущен. На все вопросы следователя старина отвечал матом. Это случилось с ним и на воле, когда он начинал нервничать. Как бы извиняясь, говорил при этом: «Я был красноречив, а они сделали меня косноязычным».

Я держался вежливо, но твёрдо: отношения к Советской власти, партии и правительству не скрываю. Антисоветской деятельностью, к сожалению, не занимался. Стихи свои и автобиографические записки антисоветскими не считаю. Тайника не имел и не имею (всё пыпыывали, где мой тайник? «Как же так, — удивлялся Сизов, — у Дивнича, Оксюза, Ковальчука, Житкова, Булгакова — у всех тайники, а у вас, их друга, — нет?»)

Чуть позже познакомился с начальником следственного отдела майором Гущиным и главным прокурором Коми республики. Но и они, особенно Гуцин, не очень напирали, а скорее напоминали о бесперспективности борьбы против существующего строя. Помню, прокурор в длинном пиджаке и в унтах расхаживал по кабинету и взмахивал руками:

— Свобода слова есть у нас, а у вас её нет и не будет!

У кого это «у нас», не уточнял. И что разумел под свободой слова — тоже.

Дальше — больше. В ходе допросов выяснилось, что Николай Житков пустился во все тяжкие, полностью «расколотся» и теперь следователь не успевал записывать его показания. Против всех нас. Себя выставлял жертвой, попавшей в «паутину НТС». Жил да был уголовник, сидевший за два убийства (о том, что он убивал, я впервые услышал от Сизова) и несколько грабежей, а тут к нему подкатились матёрые антисоветчики, заставили читать Достоевского, научили писать стихи против правительства. В общем, совратили!

Удивительно поведение капитана Сизова. Он не скрывал от меня всего этого, а однажды у него вырвалось:

— Как вы, вы все могли связаться с таким типом!..

Мне кажется, что Сизов иногда отводил со мной душу. Рассказал, например, про последнее групповое дело, которое они вели в связи с иеговистами.

— Вот с кем легко было работать! Если упёрся, хоть убей — не сознается. Если начнёт говорить, признаётся до конца.

— Вас не смущало, что вы мучаете верующих людей?

— Вы их не знаете. У них была тайная типография, секретный фонд. Они были связаны с зарубежьем. В их литературе одна строка за Бога, а вторая — против коммунизма. Нет, нет, с ними все было ясно.

— И тем, кто признавался, и тем, кто отказывался говорить, срока давали одинаковые?

Он развёл руками:

— Срока даёт суд. В основном, получили они по десять лет. Но кое-кому давали и семь, и восемь.

Однажды Сизов сказал:

— Сегодня займёмся вашим делом 1948-го года. Я уже познакомился. Осталось задать несколько вопросов.

Да, в прошлом году я послал жалобу в Москву по поводу полной реабилитации. Когда протокол был составлен, Сизов сказал:

— В вашем тогдашнем деле состава преступления нет. Ну, и судьба у вас! Похлеще, чем у Горького!

Но в середине марта что-то случилось. Сизов стал официальен. Речь пошла об НТС. Организации в Инте не было, говорил я, а если бы и была, я в неё не вступил бы. Почему? План её действий нереален, обречён заранее на провал. А вам известна была программа? Да, была, кое-что в ней понравилось. Но знакомство с программой ничего не значит, я могу прочесть программу любой партии, например, английской лейбористской, не будучи англичанином и лейбористом, или коммунистической, не будучи коммунистом. В НТС не состоял. — Ладно, кто ознакомил вас с программой? — Не скажу. — Но следствию известно, что это был Оксюз. — Если известно, зачем спрашивать?..

В ту пору я ещё не знал, что к следствию подключились московские: полковник Панкратов и капитан Андрианов. Как-то, войдя в кабинет Сизова, я увидел за отдельным столом грузную фигуру в штатском. Глазки исподлобья следили за мной, губы кривились в усмешке. Сизов был подтянут.

— Вот товарищ из руководства хочет побеседовать с вами.

Я повернулся к незнакомцу.

— Мне доложили, вы упрямитесь и не признаётесь. Почему?

— На ваши вопросы отвечать не стану.

— Почему?

— Просто потому, что вы мне не нравитесь.

Он попытался скорчить улыбку, но это ему не удавалось.

— Откровенные люди — это по мне, — сказал он. — Значит, раскололись мозги? — спросил он, чтобы хоть как-то задеть меня.

— У меня да, раскололись. А вот медным лбам это не угрожает, — брякнул я, глядя ему в глаза.

У него дёрнулась чёлка на голове, он побагровел, злобно вперившись в меня. Вернуть бы ему иные времена, он бы мне показал! Обратившись к Сизову, процедил сквозь зубы:

— Сочувствую вам. Супермена строит из себя. (Он сочувствует! Потом мы узнали, что здешние следователи слишком либеральничали и, по мнению московского начальства, многое нам открыли преждевременно).

По его знаку Сизов вызвал надзирателя, и меня отвёли в камеру. В карцер за оскорбление «его превосходительства» не посадили, чему я удивился, но дальнейшее показало, что в этом не было нужды.

Утром подняли чуть свет. С вещами. В кабинете Гущина — два надзирателя и Сизов, все в штатском. Гущин всё делал с улыбкой, такой был человек.

— Охрана вооружена. В самолёте ведите себя спокойно. В разговоры с посторонними не вступать.

Аэродром. Самолёт. Сажу у окна. Рядом симпатичная девушка, у неё билет до Горького. В креслах за нами Сизов и надзиратель, ещё один за ними с мешком между коленями — наши рукописи и дела. На мешке сургуч. Девушка всё порывалась поговорить со мной. Сизов позади нервничал: посадили меня так неудачно: не видно, не слышно, а девушка тянется через меня к иллюминатору поглядеть наружу...

В Горьком все, кроме нас, вышли поразмяться. Сквозь толстые стёкла видно: к моей соседке подошли Сизов и надзиратель, представились. Она в испуге отдала сумочку, Сизов заглянул в неё и сразу вернул. Она быстро-быстро, почти бегом, бросилась к аэровокзалу...

А мы полетели дальше. В другом самолёте – Игорь Ковальчук-Коваль, а Житкова отправили на поезд.

В «воронке», состоявшем из клетушек, ехали мы четверо, и Сизов открыл дверцу так, что я мог видеть улицы, здания, пешеходов.

Ворота раздвинулись, воронок нырнул во внутренний дворик-колодец из четырёх зданий, уходящих в небо. Лубянка! После *шмона* с раздеванием провели в камеру. По размерам напоминает бутырские, но стены побелены, в камере светлее, чисто.

Не успел оглядеться – в дверях худая фигура в белом халате:

– Что хотите из книг?

Попросил Байрона и какой-нибудь роман. Через полчаса в камере был и Байрон, и «Вечерний звон» Николая Вирты.

... Итак, круг замкнулся. Порядки в тюрьме старые, хоть в Бутырской 1948-го года, хоть на Лубянке 1959-го, только не бьют (что важно!), как тогда. Даже Байрон из той же дореволюционной «Библиотеки великих писателей». Вот я, пожалуй, стал другим, пройдя лагерную закалку-тренировку. От будущего можно ждать только «мрак и туман», но этого я не страшился. Об одном жалел: три года воли промелькнули бездарно, бесплодно, поскольку и мои «Воспоминания» попали к ним. Но «криминала» у меня кот наплакал. Только и всего, что они чувят во мне врага и постараются держать на цепи... Семья? Я пытался построить семью, но и это оказалось не для меня, как решило начальство или рок, кто его знает. Правда, из лагеря я смогу переписываться с женой, узнавать от нее о дочери. Вдохновляет, нечего сказать...

Я раскрыл Байрона, «Шильонский узник»: *«Шильон! Твоя тюрьма – святыня, полгранитный – Алтарь, – его топтал страдалец беззащитный Так долго, что в скалу, как в дёрн, вдавил следы, Их не сотрёт никто!..»* Как созвучно моей судьбе!..

К следователю вызвали через неделю. Вот этот всемирно известный по кинофильмам и описаниям бывших узников Лубянки коридор-кольцо, коридор-спрут с бесчисленными кабинетами! В одном из них меня ждал следователь Юрий Борисович Смирнов – полная противоположность Сизову. За массивным столом сидел невзрачный худощавый человек в капитанских погонах, глаза тусклые, невыразительные. Он постоянно держал голову набок: что-то у него было с шеей. (Через десять лет уже в чине майора или подполковника он вел дело Кронида Любарского).

У противоположной стены – стул и небольшой столик, за который сел я. У другой стены – диван, обтянутый чёрным дерматином. Позади следователя на стене оставался след от висевшего некогда портрета. Ну, разумеется, Берия! Иначе место не пустовало бы.

Следователь учтиво назвал себя и записал мои данные. Покончив с этим, он дал для подписи протокол, после чего в расслабленной позе раскинулся на диване, разбросав руки, и сказал:

— Ах, молодость! Сколько в душе сил и романтики! Как хочется освободить человечество от насилия и рабства! Не так ли, Леонид Кузьмич?

И вдруг, не дожидаясь ответа, выразительно и громко прочёл по памяти байроновскую «Песню сулиотов»! Такого бесстыдства и наглости я не ожидал. Дешёвый трюк, откровенная провокационная выходка возмутила меня, я не знал, что делать: рассмеяться ему в лицо или ограничиться парой запоминающихся слов... Во всяком случае, должен же он понять, что не я идиот, а он!

— Байрон, наверное, в гробу перевернулся бы, капитан, — сказала я. — Шутка ли, его с таким чувством читают в жандармском управлении!

Он крякнул, подобрался и медленно переключался с дивана за свой стол.

— Мне говорили, что вы антисоветчик, но я все же не думал, что настолько...

Последовала серия допросов, изматывающих и изнуряющих, где воля следователя столкнулась с волей выдавшего виды зека. По характеру допросов я понял, что на Лубянке, кроме нас, интинцев, находятся Е. И. Дивнич, Борис Оксюз, Околёснов, Виктор Булгаков и, может быть, Терешонков или Золотухин. В разные годы вместе с ними я мотал свой срок. Конечно, гебисты «раздували кадило», соединив людей разных взглядов в одно целое. В какой-то степени это им удалось. О нашем деле, как я узнал много позже, даже читали закрытый доклад на Президиуме ЦК КПСС.

Не хотелось утомлять читателя подробным рассказом о следствии и допросах, поэтому — обо всём этом лишь в общих чертах, но на некоторых эпизодах придётся остановиться: может быть, для читателя это будет и любопытно, и поучительно.

Следствие продолжалось четыре месяца — с марта по июль 1959-го года. Через пару недель наметились линии поведения участников дела. Можно было сказать, кто на чём стоит, за что ратует. Следователи шли по накатанному пути: обман, шантаж, подтасовка, цинизм, игра на низменных интересах (случай с Житковым), неуважение к человеку.

Подследственные вели себя по-разному. Е. И. Дивнич признал наличие в лагере организации НТС, оправдывая себя тем, что на воле, убедившись в тщетности борьбы с режимом, отказался от нее. Следователей это устраивало. Вслед за Дивничем организацию признали Оксюз и Игорь Ковальчук-Коваль. Последнему было особенно трудно в связи с его «заготовками к роману» (следователи предпочитали называть их «летописью»). Житков, имея за душой уголовные статьи, топил всех, признавал всё, что ему предъявляли. Гебисты поощряли его, обещали снять прежние уголовные судимости. Околёснов, реабилитированный в 1956-м году, тоже шёл по пути признаний (чтоб «не дразнить гусей»), подсказанных следователями, обещавших ему освобождение прямо в зале суда. Так он вёл себя на очной ставке со мною, обличая себя и меня в антисоветской деятельности. Булгаков на все вопросы отвечал: «не знаю» и «не помню». Раздосадованные гебисты отправили его в институт им. Сербского, угрожали на долгие года

упрятать в психушку. С тем же успехом. В конце концов, благодаря тому, что первая судимость была снята с Булгакова в 56-м и хлопотам родных и друзей, он был выпущен на волю до суда.

И у меня была своя линия. Никакой организации, утверждал я, не было. Антисоветской деятельностью, к сожалению, не занимался. Что делали другие — не знаю. Свое отрицательное отношение к режиму не скрывал и не скрываю. Поскольку Игорь Ковальчук-Коваль утверждает, что читал мне свои записки, рассматриваю их как заготовки к художественному роману, а не как «летопись». Житкову помогал в самообразовании, знакомил его с творчеством лучших поэтов XX века.

Следователь Смирнов в который раз повторял:

— Житков утверждает, что антисоветчиком его сделали вы!

— Что, вор и убийца вас больше устраивает?..

На Лубянке Житков симулировал самоубийство: скрутил жгутом простыню, привязал к решётке, но был вовремя вынут из петли. На кого это было рассчитано — на следователей или на нас?

Много расспрашивали о людях, чьи адреса и письма были захвачены при обысках. О Н. Н. Золотухине заговорили еще в самом начале следствия. Не только Житков, но и «солидаристы», увы, выставляли его чуть ли не идеологом движения.

— Он изобличён показаниями ваших поделльников, — твердил следователь, — а вы упираетесь, покрываете его!

— Не хочу, чтобы хороший добрый человек ни за что попал бы в ваши лапы!..

Расспрашивали о Терешонкове: зачем я ездил к нему в Ленинград?

— Не к нему, а в Эрмитаж и на Мойку. У Георгия я лишь остановился, пока он с семьёй жил на даче. Мы почти не виделись. Действительно, познакомились в лагере. Но он же реабилитирован.

— Нет, только судимость сняли, — небрежно бросил Смирнов.

Возвращаясь в камеру со своим поводырём, шедшим чуть впереди, и спускаясь с одной лестничной площадки на другую, я вдруг услышал шаги наверху. Оглядываюсь. Терешонков! С надзирателем! Он тоже увидел меня и остановился, как вкопанный, затем топнул ногой и ударил кулаком правой руки по ладони левой. Мы свернули на следующую лестницу, и я потерял его из виду.

На допросе Смирнов целый час молчал об этом ЧП (по инструкции тюрьмы). Наконец не выдержал:

— Что же молчите? Встретились ведь со своим другом Терешонковым вчера?

— Да, видел кого-то в коридоре, но не узнал...

Больше о «случайной» встрече не поминали. А на допросах от Терешонкова ничего не добились, и он был вскоре выпущен на свободу.

Два раза к Смирнову приходили в свободную минуту другие следователи (например, Фокин, ведший дело Игоря Ковальчука-Ковалья), как я понимал, чтобы рассла-

биться, отвлечься. Предупреждали меня, что разговор фиксироваться не будет. Звучал какой-нибудь вопрос на отвлечённую тему, возникала дискуссия. Видимо, им было интересно после своей политсухомятки услышать что-то «не от мира сего», пусть и запретное. В хрущёвские времена они уже могли это себе позволить в своих кабинетах.

Зашёл разговор о КГБ. Я сказал им, что эта организация приносит народу и стране один только вред. Люди работают, добывают уголь, пашут, строят города, двигают науку. Пишут книги и оперы, ставят фильмы. А что делают кагебисты? Вынюхивают, хватают, волокут, сажают за решётку. И за что? Кто-то помыслил не так, кто-то усомнился в идеологии, кто-то рассказал анекдот про Хрущёва за весёлым столом. Следствие, суд, и человек на годы исчезает в лагерях. А как вы ведёте следствие, как происходит суд, вы сами прекрасно знаете. Из жизни общества, страны исчезает специалист, работник, нужный заводу, учёный, нужный институту. Не так ли? Разрушается семья, при живом отце осиротевшая. Так добро творит КГБ или зло?

Слушали внешне высокомерно, но внимательно, и я надеялся, что в головах молодых людей хоть что-то из сказанного застрянет. Кто-то из них возразил, что у коммунизма много врагов, с которыми и борется Госбезопасность. Я ответил, что врагов-то вы сами наплодили, это правда, а вот что такое коммунизм, вряд ли знаете.

Они заулыбались: уж это-то им известно досконально, и возможно ли, что кто-то в органах не знает, что такое коммунизм? Тем более, что завоеван он был в жестокой борьбе и восторжествовал в нашей стране навсегда.

— Навсегда? — переспросил я. — То есть до скончания мира?

— А мир никогда не кончится. Он будет всегда.

— Что ж, национал-социализм был скромнее, строя великий рейх на тысячу лет. А вот один учёный предрёк, что в конце концов нашу землю ждёт катастрофа, исчезнет и земля, и всё, что на ней.

— Какой-нибудь западный профессор?

— Учёный в самом деле жил на Западе. Имя его Энгельс, а книга — «Диалектика природы».

Недоумевали, переглядывались, пожимали плечами, но, могу поручиться, вечером дома открывали Энгельса. Вот так мы забавлялись. Уникальный случай в моей жизни — я на Лубянке, где меня слушают рыцари «щита и меча». Я себе никогда бы не простил, если бы смолчал перед ними, хотя было ясно: такие речи обойдутся мне дорого. Но тогда я был рад и утешен, даже спал крепче, как спят люди с чувством исполненного долга.

Между тем, следствие шло своим ходом. Смирнов допрашивал о знакомых, чьи адреса нашли у меня в столе: о враче Мышкиной (Воронеж) и Башлыкове (Брянская область), «пропавшие» письма к которому отыскались теперь на столе у следователя, о Елке — Элле Маркман (Тбилиси), с которой в ту пору я даже не переписывался, о Юрии

Мариче (Чернигов) и Жанисе Янушке (Рига). Никто из них не был «привлечён», к следствию, слава Богу.

Полагаю, Смирнов был в отчаянье: начальство требует «материал», а таковой пока что выглядит жалко и скудно. На иных допросах, где я обычно «упирался», он терял самообладание, подсказывал ко мне с кулаками и шипел в лицо: «У-у, вражина!»

Был забавный эпизод. Мой следователь пригласил на допрос гипнотизёра, а сам вышел. Измождённый человек лет сорока пяти со жгучими чёрными глазами подступил ко мне, повторяя: «Расслабьтесь, расслабьтесь...», делая пассы перед моим носом. Я с любопытством ждал дальнейшего и зевнул, потом закрыл глаза. И когда он негромко начал спрашивать про имя-отчество, причём наклонился ко мне очень низко, я неожиданно рявкнул («Гав!») ему прямо в лицо. Он отпрянул, побледнел и перестал кривляться. Вошёл Смирнов, а гипнотизёр поспешно вышел...

Или появился в моей камере некий Борис Зверев, «антисоветски настроенный» субъект, севший якобы за анекдоты. Лет сорока, полный, с густой волоснёй по всему телу, с хитрыми бегающими глазами, он производил отталкивающее впечатление. Охотно пускался в разговоры, стараясь придать им явно провокационный характер. Я терпел пару дней, а на третий «признался» ему, что в Ленинграде вручил английским туристам кипу своих стихотворений для передачи на радиостанцию Би Би Си или в какое-нибудь эмигрантское издательство и очень, мол, боюсь, как бы не пронюхал об этом следователь.

С какой целью я пошёл на такую импровизацию – дал на себя дополнительный «криминал»? Во-первых, чтобы увериться в своих подозрениях, что Зверев – «наседка» и тем самым избавиться от неприятного сокамерника. Во-вторых, дать Смирнову «поле деятельности» – пусть наводит справки о радиопередачах, о выходе русских книг и журналов на Западе. Это потребует времени, а пока я немного отдохну от него. В-третьих, если он включит моё «признание» в *обвинилочку*, постараюсь разоблачить его на суде. Все увидят, какими белыми нитками шито следствие. Всё-таки очко будет в нашу пользу.

Мой план сработал уже через пару дней...

– А почему молчите об англичанах в Ленинграде? – спросил, заранее торжествуя, следователь.

Надеюсь, я убедительно изобразил крайнее удивление, которое тотчас прогнал с лица. Значит, рыбка клюнула! Я ещё поломался пару дней, а потом признался: да, передал стихи за рубеж! Смирнов так и вскинулся, глядя на меня во все глаза, так напрягся весь, что даже голова встала прямо. Быстро был оформлен протокол: где произошла передача, когда, какие на вид были туристы и т. п. Как я и предполагал, на проверку новых «фактов» у него ушло несколько дней.

– Нет, ничего не обнаружено, – признался он, вызвав наконец меня, – проверили всю периодику, прослушали все записи лондонского радио за два года. Вам как поэту не повезло. Ни звука нигде.

Он подозрительно изучал меня. Я развёл руками: что поделаешь, значит, обманулся в людях... Тем не менее моя выдумка нашла место в обвинении. Уж очень им хотелось, чтобы наша группа имела в прошлом хоть какой-нибудь контакт с Западом!

Был у врача. Общая слабость. Хотя обтирался мокрым полотенцем утром, вечером по часу гулял. Спалось с трудом. Утром — шахматы с самим собою, на прогулке — дыхание и бег, звуки большого города, разноцветное небо. После обеда — сон. Три часа английской грамматики. Прогулка — шесть шагов к двери, шесть обратно. Чтение до отбоя — история и пр.

Смирнов не успокоился на достигнутом, и на следствии возник ещё и «украинский след». Предъявил тетрадный листок, будто бы найденный в моих бумагах. На ужасной смеси русского и украинского рукописная листовка призывала «хлопців-молодців ризав-ты комунякив и комсюкив»... Я кинул бумажку на стол:

— Грязная фальшивка!

— Следствию известно, что вы общались с Кочуром, не так ли?

— А при чём тут Кочур, поэт и переводчик?

— Да вы же все украинцы! И вы, и ваша жена, и Кочур!

— Капитан, не шейте мне украинское дело. Я русский, и все мои бумаги на русском языке. Вам этого мало?

Смирнов не сдавался. Однажды сказал:

— Тут с вами из «украинского отдела» хотят побеседовать.

В кабинет вошёл громадного роста детина, белобрысый, голубоглазый, ну, просто «радость Геббельса». Мой следователь вышел. Гость придвинул ногой стул к моему столу, уселся и, поводя ручищами у меня перед лицом, сказал:

— Гарный хлопчына Грицько, га?

— Грицька не знаю, — как можно спокойнее сказал я. Мне стало не по себе, когда он выставил вперёд свои грабки. Такой костолом уложит с маху.

— Та то я про Кочура, — сказал он с ухмылкой.

— Для меня Кочур не Грицько, а Григорий Порфирьевич, замечательный украинский поэт и переводчик...

Он ещё поскрипел стулом минуты две, шевеля пальцами, так ничего и не придумал, видно, соображал туговато. Затем поднялся:

— Щось нэ розумиеш ты мэнэ! Ничо, ще побачимось...

И направился к двери, в которую уже входил Смирнов. (Больше «украинский мотив» в моем деле уже не возникал).

В конце июля следователи подписали 206-ю статью в качестве обвинения, и нас перевели в лефортовскую тюрьму ждать суда. С грустным чувством покидал я прогулочные дворики Лубянки на верхотуре здания: под ногами цемент, четыре железных стенки в

два человеческих роста, поверху — галерея из дерева и стекла, по которой взад-вперёд ходит наблюдающий. Шагаешь по кругу вдоль стен, делаешь пробежку или зарядку, а над тобой неба квадрат — то голубой, то сияющий солнцем, то весь в тучах, и слышно ровное гудение большого города, прерываемое звуком клаксонов.

Сколько передумано было на этих двориках! В камере ждали книги, шахматы, шаги от окна до двери и обратно... Что я прочёл за то лето? «Смерть после полудня» Хемингуэя, «Английские романтики» Георга Брандеса, письма Ван Гога в двух томах; «Последний год жизни Л. Толстого», «Пушкин в жизни» Вересаева... И постоянно при мне был сборник шахматных партий Алёхина.

В Лефортово дворики были иные, располагались не «на небе», а на земле, вместо железных стен были кирпичные, побелённые. Вверху нависала такая же, как на Лубянке, крытая галерея. Гуляя в этих загонах, никак не мог избавиться от мысли, что именно здесь двенадцать лет назад прогуливался Власов, пока палач где-то в другом месте тюрьмы не надел ему петлю на шею. Через год после Власова здесь же мог гулять казачий генерал и писатель Краснов или известный по гражданской войне генерал Шкуро, которых постигла та же участь. Трагические их тени наполняли прогулочные дворы, коридоры, камеры. Я невольно чувствовал таинственную связь своей судьбы с их судьбой, хотя в детстве мысленно «воевал» на стороне красных, а в немецком лагере протестовал против власовского движения. Тюрьма как могила — всякому место есть.

Были минуты слабости, даже минуты отчаяния: доколе? Не слишком ли? Для этого ли я родился на свет Божий — для глухих стен, решёток, колючей проволоки? Почему должны страдать мои родные? Где мой ветер, мои птицы, деревья, цветы?... Стоп! Далее ни шагу! Начнёшь жалеть себя — погиб! Ты не терпишь насилия и мракобесия, но это еще не повод, чтобы роптать на весь Божий мир! И разве ты один? Разве мало таких, как ты?

*Мужайтесь, о, други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!..*

Верховный Суд почему-то отказался рассматривать наше пухлое (и тухлое, прибавлю от себя!) дело из 32-х томов, и утром 16-го сентября 1959-го года нас повезли в Московский городской суд. Когда я вышел из «воронка», было прохладно, и на голубом небе светило солнце. У входа в суд невольно остановился: на улице и во дворе теснилось множество людей. Не равнодушных, нет. Слышались возгласы приветствия, меня окликали. В толпе было немало интинцев: я слышал голоса Рейтера, Хрулёва, Щербанеско, видел лица Шуры, своих товарищей по шахте...

Привезли нас порознь и в зале разместили порознь. В первом ряду — Евгений Иванович Дивнич, беседовавший с адвокатом и приветливо помахававший мне рукой. Позади него — Игорь Ковальчук-Коваль, возле которого присела молодая и весьма недурная собой женщина-адвокат. Рядом с ними, прислонившись к стенке, стоял солдатик с винтовкой. Бориса Оксюза усадили в 3-м ряду, а меня — возле двери и второго часового. На

другом конце скамьи перешёптывались Околёснов и Житков. Ко мне сразу же подошёл мой защитник Трескунов и задал какой-то вопрос.

Вскоре зал наполнился людьми: пришли остальные адвокаты, пробежал к конторке обвинитель Прошляков, сразу же погрузившийся в бумаги Прибыло и немало любопытствующих военных, скорей всего гебистов. Гражданских на суд не пускали.

Солдатик у противоположной стены внезапно ожил и, стукнув прикладом об пол, возгласил: «Встать! Суд идёт!» В дальнем углу открылась дверь, и гуськом прошли трое судей и молоденькая секретарша. Уселся в центре судейского стола председательствующий Климов, а два заседателя справа и слева от него разложили несколько папок и, скорчив брезгливые физиономии, оглядели адвокатов, прокурора, а потом и нас, грешных. Впрочем, за время судебного разбирательства они не проронили ни слова. Климову можно было дать и пятьдесят, и все семьдесят. Он был подслеповат (обманчивое, как оказалось, впечатление!) и, казалось, плохо понимал, кто он и где он. Длиннорукий, он легко доставал любую папку на огромном столе, которую тут же бросал. Затем что-то произнёс. По тому, как подобрались адвокаты, я понял, что он открыл заседание.

Первым допрашивали Игоря Ковальчука-Ковалю, и стало понятно, почему пригнали зрителей в погонах: было что послушать. Судья как бы очнулся и, заглядывая в шпаргалку, довольно бойко стал подбрасывать вопросы:

– Ну, а теперь, значит, про этот самый БРЭМ...

Странно, но Игорь будто подыгрывал этому фарсу:

– БРЭМ, или Бюро по делам эмиграции, создали японцы, чтобы вести учёт и наблюдать за русскими эмигрантами.

Секретарша не спускала глаз с судьи, который, чуть кивая при каждом слове, придавал ответам нужную редакцию:

– Значит, вы утверждаете, что БРЭМ шпионил за эмигрантами?

Секретарша восторженно чиркала по бумаге. Напрасно Игорь вносил поправку: его она уже не слушала.

– Расскажите, значит, про «секретный подотдел номер три».

– Этот отдел вёл развед- и контрразведработу в пользу японской Военной миссии.

– Сколько времени вы находились в этом подотделе?

– Почти два года.

– Касались ли сведения, которые давали японцам, Советского Союза?

– Да, самым прямым образом. Мы, например, прослушивали радиопереговоры советских погранвойск непосредственно на границе.

Нужно было видеть перемигивание зрителей! Ого-го! Вот это фрукт!.. И никому в голову не приходило, что Климов допрашивает Игоря не по нашему делу, а по его давнему делу 1946-го года, за которое тот тогда еще получил 20 лет лагерей, уже отбыл часть срока и вышел по амнистии!..

Мы тоже заёрзали на скамьях. Знатное придумали «вступление» для того, чтобы создать «нужную» атмосферу на процессе и приструнить адвокатов!.. Игорь же вёл себя, как ребёнок, продолжал «нагнетать» негатив:

– В третьем отделе я занимался также секретной фотографией. К этому времени я уже был в НТС и, по его заданию, вступил в разведпропагандистскую школу при японской Военной миссии... Но с начала войны 1941-го года я полностью изменил свои взгляды и...

– Об этом не будем! – прервал его Климов. – Какое отношение вы имели ко Всероссийской Фашистской Партии?

Гебисты толкали друг друга в бока: слушайте! слушайте!

– Никакого, только знакомился с её газетами и журналами.

– Знакомились, значит?

– В Харбине было много организаций, ВФП была одной из них. Я в ней не состоял, хотя был знаком с некоторыми её членами...

Ну кто его тянул за язык? Зачем он всё это говорил, вызывая подлую радость на лицах судей и новые вопросы Климова?..

На следующий день Игорь опять давал показания. Военных поубавилось, они получили хороший «воспитательный» заряд вчера. На сей раз Климов сосредоточился на игревой «летописи»:

– В своих записях, значит, вы фиксировали каждый шаг вашей антисоветской организации. Так вы показали на следствии.

Игорь смешался. Видимо, под давлением Фокина и вправду показал. Теперь он себя вёл в суде непривычно скованно, путался в ответах.

– Ещё давно я задумал написать роман об эмиграции...

– Нас романы не интересуют. Вы вели записи или нет?

– Ну, конечно... да, вёл...

– Значит, вы вели антисоветские записи ежедневной деятельности вашей антисоветской организации?..

Под эту диктовку секретарша бойко двигала ручкой.

– Вы собирали документы антисоветского характера?

– Как материал для романа...

– Значит, вы собирали антисоветские документы для включения в так называемую «летопись»?

– Выходит так, – ответил Игорь. – Всю свою жизнь я делал записи для себя. Может быть, через какое-то время я опишу и этот суд...

Судья даже вздрогнул, но перестал спрашивать о «летописи». Далее Игорь признал наличие антисоветской организации в лагере. Боже, думал я, зачем он так наивен! Ведь ничего этого не было! Их НТС был в Белграде, в Харбине, но никак не в Минлаге! Возвращаясь на своё место Ковальчук, взглянул на меня. Не знаю, что Игорь увидел на моём лице, но он склонил голову: мол, прости, брат.

Потом допрашивали Е.И. Дивнича. Как можно было ожидать, Евгений Иванович в ответах судье преувеличивал деятельность группы НТС в Минлаге. Видимо, ему, как и следователям, и прокурору, хотелось «громкого» процесса. Поэтому и Климов говорил с ним мягко, чуть не мурлыча... Ответственность Е.И. полностью брал на себя, просил

снисхождения всем, кто попал по его вине на скамью подсудимых. Е.И. рассчитывал, видимо, что после «полного признания и раскаяния» суд освободит и его, и товарищей. В нём шла страшная борьба с самой собой. Он, вероятно, видя в том особый смысл, бесстрашно брал на себя любую вину... Вместе с тем адвокаты потом признавались, что он произвёл на них сильное впечатление. Е.И. выделялся как человек яркий, неординарный. Это скорее чувствовалось, чем осознавалось...

В том же ключе выступал Борис Оксюз. Конечно, состязаться в красноречии с Е. И. он не мог, но тянулся за «папашей», как нитка за иголкой, ничего не отрицая, со всём, что говорил судья, соглашаясь.

Нет, я не винил наших «солидаристов», мягко говоря, преувеличивших роль и деятельность НТС — в России по меньшей мере. Я знал, что это благородные и честные люди, не растерявшие юношеских идеалов, веры в человека и чистоты помыслов даже в зрелые годы. Желаемое хотелось им выдать за действительное — даже и подводя себя и других «под статью». Было тут и простодушие, доверчивость тех, кто пережил 30-е годы вдали от советской власти, за границей. Даже пройдя через две судимости и через лагерь, они так и не уяснили себе до конца, что главные козыри следователей, прокуроров и судей — бессовестная ложь, подтасовка и искажение фактов. Они упорно не хотели — и не могли — видеть в человеке злодея. За это я и любил их, в чем-то узнавая в них и себя.

На пятый или шестой день допрашивали меня. Сознывая, что моё поведение не влияет на исход дела, что расправа с нами неминуема, я пошёл по самому лёгкому для себя пути — остался самим собой, сказал всё, что было на уме, внеся этим некоторое оживление в зал...

Я говорил примерно следующее. Никакой антисоветской организации ни в лагере, ни тем более на воле не было и не могло быть. То, что обозначено в протоколах дела как организация — миф, игра и жонглирование словами, чем и занимались следователи не без помощи моих товарищей. В лагере люди собиралась иногда выпить чаю, вспомнить прошлое, поболтать о том, о сём, обменяться книгами. Это организация? Тогда нужно переосаждать весь Минлаг. Литовцы сходились петь песни, украинцы — вспомнить Украину, русские — поговорить о Пушкине или Толстом. Только сумасшедший или злонамеренный человек увидит в этом преступное действие. Это в лагере. Посмотрите, чем жили мои товарищи на воле. Разъехались кто куда, устроились работать, переженались, появились дети. Это что, заговор? Или укажите хоть одно преступное наше деяние на воле. Вы его не назовете. Его просто нет. Однако людей похватили, «обработали» на следствии и с серьёзным видом передали вам, уважаемые граждане судьи. Тем самым разбили семьи, осиротили детей и жен, принесли на землю горе. Кто же здесь настоящие злодеи, настоящие преступники — мы или они?

Секретарша завороченно внимала моим словам, не шевеля пальчиками. Пригорюнился судья, даже не перебивал. Ёрзал на своём месте Прошляков. Одобрительно глядели защитники.

В первый же день знакомства с Ковальчуком-Ковалём, продолжал я, он сказал мне, что пишет роман и даже читал его начало. Это был бы автобиографический роман. Герой его живёт в эмиграции, в Харбине, попадает потом в Советский Союз, в лагерь. Конечно, как всякий писатель, Ковальчук-Коваль собирал материал, который пригодился бы в дальнейшей работе. Это преступление? Ни в коем случае. Каждый писатель волен собирать материал и писать книгу. Преступники те, кто заграбастали его рукописи, точнее — беспорядочные наброски, и заставили автора признать в них «антисоветские записи». Почему тогда в протоколах не было ни одной ссылки на них, почему в обвинительном заключении не было ни одной цитаты, которая изобличала бы автора и его знакомых в преступных деяниях? И почему, наконец, не привлекались для литературоведческой экспертизы профессионалы из Союза писателей? Ведь речь идёт о судьбе человека, которому угрожает многолетнее заключение! Пусть определяют посторонние люди, преступник он, графоман или замечательный прозаик. Может быть, посадив его, следователи злодейски лишили наших читателей, нашу культуру литературного шедевра?

Все серьёзно посмотрели на взволнованного Игоря: оказывается, вот ты какой! Прошляков набылчился. Ужо тебе! — говорило выражение его лица.

— Значится, так, — встрял судья, — хочу спросить, почему он тогда прятал свои бумаги, почему у него был тайник?

Никто из присутствующих, сказал я, если не прошёл лагеря, не знает, что у лагерника годами отбиралась всякая испианная бумажка, ручка, карандаш — таков был режим. Но человек везде человек. Иногда он собирал понравившиеся ему песни или стихи, и прятал их. Я, например, тоже собирал стихи — Блока, Есенина, Тихонова, Багрицкого, Заболоцкого — и прятал...

Судья перебил меня, секретарша очнулась.

— Вы говорите, значится, что прятали антисоветские стихи поименованных авторов?

— Нет, — ответил я, — не антисоветские стихи, а просто стихи прекрасных поэтов, что и прошу записать в вашу стенограмму.

При этом я уставился на секретаршу, все присутствующие тоже. Она побледнела, глазки забегали от судьи ко мне, от меня к судье.

— Человек, переживший лагерь, — продолжил я, — не сразу избавляется от лагерных привычек. Так вышло и с Ковальчук-Ковалем, и с другими бывшими зеками. У них вошло в привычку: написанное надо спрятать.

— Расскажите о передаче своих антисоветских стихов на Запад.

Я рассказал о «наседке» Звереве, которого я изобличил своим «признанием», попавшим потом в *обвинилровку*, и закончил:

— Удивительно, что такому компетентному суду следствие подложило фальшивку, ничем не подтверждённую. Одно этого факта достаточно, чтобы назначить переследствие.

На этом меня закончили допрашивать. Взял слово Прошляков: он снимает с меня обвинение в передаче стихов на Запад.

На следующий день допрашивали Житкова. Тот вёл себя, как гоголевский Ноздрёв, попавший в «хорошее» общество, — развязно, даже пританцовывая по-блатному. С циничной ухмылкой рассказал о двух ужасных убийствах, в которых он участвовал. Защитники остолбенели. Кто-то вскрикнул. А Житков захныкал, указывая на Е.И. и Игоря, что они его вовлекли в свою организацию, сделали «антисоветчиком» и, показав на меня, заявил:

— «Яшку Бесконвойного» написал Ситко, а я только выдавал за своё.

— Точнее, Ситко помогал вам писать? — поправил судья.

— Нет, нет, почти всё он сам написал!

От его облика, поведения, ответов, наверное, даже судьям, стало тошно, и его быстро отпустили.

С Околёновым возились и того меньше. Признавая организацию НТС в лагере, он отрицал ведение подпольной антисоветской деятельности по месту своей работы в Саратове. И так же как и все, кроме Житкова, давал показания только о себе, ни разу о других.

Следующий день был посвящён свидетелям, которые в большинстве держали себя куда лучше иных подсудимых, всё признавших. Мне запомнились резкие выступления Жени Рейтера, Юрия Хрулёва, заявившего в лицо судьям, что этот суд — комедия.

— Ничего вы не поняли, значит, — пытался урезонить, к примеру, судья Хрулёва, но Юра воскликнул:

— Неправда! Просто я стою на другом! Вы строите свой коммунизм, а я посмотрю, что получится. Но помощи от меня не ждите!

Чрезвычайно волновался Житков, потребовавший вызвать ещё одного свидетеля — Ю.Г. Марка. Суд медлил, и тот угрожал, что разоблачит Марка, который подговаривал его «завалить» Е.И., Игоря, Бориса, а сам ездил зачем-то в Сыктывкар, Ленинград, а затем в Инту.

Услышав такое, судья всё-таки вызвал Марка, тот приехал, покрутился в зале суда, сказал, что ничего антисоветского в наших стихах не видел. Но главное он, наверняка, сказал за пределами суда, для свиданий, куда к нему привели Житкова: молодец, мол, держись до конца, и снимут всю твою уголовщину. Больше Житков до конца процесса не высывался.

Свидетель Иноземцев пробормотал, что я как-то читал ему стихи, которые показались ему антисоветскими. На вопрос, о чём шла речь в этих стихах, сказал, что не помнит. Щербанеско сказал, что однажды я прочёл ему четыре строчки какого-то стихотворения.

— Антисоветские? — спросил судья.

— Ну, как сказать, ну да, ну да... — развёл руками художник.

Для такого суда и это был «хлеб». На десятый день выступления адвокатов шли поговорке: чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Задача, конечно, нерешаемая. Но вот мой адвокат Аркадий Иосифович Трескунов удивил: выступил ярко и смело, поддержав меня по всем пунктам, и потребовал моего полного оправдания и освобождения. Позже он сказал, что я своим выступлением на суде очень ему помог. Дал отправные точки.

Прошляков читал свою речь по бумаге. Это был набор слов: «советский народ... строительство коммунизма... враги мешают... антисоветские элементы... НТС... мышинная возня...» В конце просил суд определить каждому срок заключения: Дивничу и Оксюзу – 10 лет, мне – 8, Ковальчуку – 7, Житкову – 3, Околёснову – 3 условно.

С последним словом выступали в том же порядке, в основном, повторяя сказанное на «судебном разбирательстве». Е. И. просил учесть его новые взгляды на действительность и Советскую власть и всю ответственность возложить только на него. Я вновь воспользовался случаем сказать несколько «горячих слов» в адрес следствия и прокурора. Околёснов просил учесть его инвалидность (12% зрения).

На десятый день суда, поздно вечером судья Климов зачитал приговор: мне дали семь лет, «энтээсовцам» – по десять (Игорю, верно, добавили к тому, что просил судья, – за «опишу этот суд!»), Околёснову – три года условно, Житкову – три года (вскоре его и вовсе освободили).

Я успокаивал своего адвоката:

– Неужели Вы ждали от суда справедливости? Скажите еще спасибо, что мне, единственному из всех, «скостили» целый год!

Он немножко повеселел: да, в самом деле! После оглашения приговора нас провели в подвальную камеру, где мы, наконец, смогли пожать друг другу руки, обменяться дружескими словами. Е. И. сказал мне: «Вы прекрасно выступили на суде!..» Житков стоял в одиночестве, потом-таки решился, подошёл на своих коротких ногах ко мне: «Здорово, Лёня!»

– Эх, ты! – только и ответил я. – Так и не стал человеком...

Борис был рядом и, в случае чего, готов был встать между нами. Житков криво усмехнулся и отошёл. Он выбрал свою дорогу. А мы – свою.

Прошло два месяца в ожидании решения Верховного Суда. Вечером ко мне в лефортовскую камеру вошёл Прошляков. Я поднялся. Он прошагал к окну, потрогал решётку и, обернувшись, сказал, что Верховный Суд утвердил приговор. Постоял, видимо, ожидая мою реакцию. Но я только разглядывал его в упор. Я всё сказал ему на суде.

Часть 5

ГДЕ МОЙ ВЕТЕР?..

Из Москвы нас этапировали в Потьму, откуда Игоря и Бориса отправили на 7-й ОЛП, а я, Дивнич и Житков попали в Явас (11-й ОЛП). Маятник моей невольничьей судьбы, качнувшись на юг (Степлаг), а потом на север (Минлаг), как бы остановился посередине – в Дубровлаге...

Перед вахтой я сказал Евгению Ивановичу:

– Мы с Вами знали лагеря бериевские. Интересно, какими покажутся хрущёвские?..

Он искоса взглянул на меня:

– Увы, Леонид. Я слишком многое видел, чтобы увлекаться новыми открытиями.

Я подумал, что видел не меньше, но всё-таки... Главное теперь – выстоять, идиотом не стать, не стать человеконенавистником, мизантропом.

Лагерь в Явасе внешне мало чем отличался от других спецлагей. Разве тем, что вместо барачных стояли двухэтажные дома, вместо нар – койки, был стадион, а в углу зоны дымилась «китайская кухня», где зеки могли свободно чего-нибудь сварить себе. Был магазинчик с обычным нехитрым набором: зубной порошок, конфеты-тянучки, повидло, зеркальце, махорка.

Над дорожками и газонами торчали повсюду фанерные щиты с изречениями видных деятелей. Например: «Жизнь есть деяние. Максим Горький». Наставления и поучения Макаренки, Дзержинского, Маяковского, даже Сервантеса (на счёт вежливости). Школа под стать интинской и библиотека с читальным залом.

Какие новшества бросались в глаза? Во-первых, тяжёлые работы прежних времен ушли в прошлое. Теперь на деревообрабатывающей фабрике зеки мастерили мебель, покрывали её чешским лаком (который при умелой перегонке употреблялся и как спиртное).

Питание не отличалось разнообразием, было хуже минлаговского (шахтёров всё-таки кормили сытнее). В Явасе жили впроголодь, если не считать, что раз в месяц зек мог получить посылку от родных.

У Евгения Ивановича была замечательная способность сразу же обзаводиться знакомствами. На первой нашей прогулке к нам присоединился знавший Е. И. по Воркуте

С. В. Розанов. На вопрос Е. И., как теперь в лагере с режимом, питанием и т. п., старый зек сказал:

– При Хрущёве стало легче – с работой. Но – гаже! На душе тяжелее: эти отряды, политбеседы, плакаты... Тьфу! Одно паскудство. Раньше мучили откровенно, а теперь по-иезуитски. Есть магазин, это верно, но после вычетов за рабочую спецовку, постельное бельё и 20 процентов судебных издержек (приговор тебе вынесли – сам же за него и плати!) мало что остается, разве что на сигареты да карамель...

На следующей встрече с нами С. В. порылся в кармане бушлата и извлёк бумажку, которую передал Е. И.:

– Это любопытно – разнарядка на суточное питание зека: хлеб – 700 граммов, крупа – 30 гр., овощи – 450 гр., мясо – 50 гр., треска – 80 гр., жиры – 20 гр. и сахар – 15 граммов. По 40 копеек в день на брата – в месяц выходит 12 рублей. 2400 калорий в день. Если учесть, что воруют и на складе, и на кухне, лагерник получает самое большее 1500 калорий в день. А рабочему человеку нужно 3500 калорий, тяжёлая работа (например, грузчика или шахтёра) требует до 6000... Заключённый вынужден годами жить на несчастные полторы тысячи калорий, годами!

Однако «духовные потребности» начальство учитывало. Ни о чём похужем и не могли мечтать зеки ни в 30-е, ни в 40-е годы: каждый мог теперь выписывать газеты, журналы, книги!

Раз в неделю через лагерные ворота въезжал крытый брезентом грузовик, доверху нагруженный «печатной продукцией». (Впрочем, «лафа» эта длилась недолго и была отменена, когда начальство и в Москве, и на местах вдруг опомнилось: Что же это делается, товарищи! Враги народа прямо-таки купаются в литературе и получают информации в сотни раз больше самих политвоспитателей!) Теперь зеки были разбиты на «отряды», во главе которых стояли, как правило, неразвитые, туповатые солдафоны из офицеров. В остальном всё было, как тогда, в приснопамятные времена расцвета отечественного концлагеря: проволока в три ряда, запретная зона, часовые на вышках.

От вахты вела к столовой широкая «аллея вздохов» – место вечерних прогулок. Ступишь из столовой с куском хлеба – у ног копошатся голуби. Впереди два ряда деревьев, уже голых. Ускворешен воробьи бьются с синицами за жильё, а дальше, куда хватает глаз, – чистые, блаженные снега. За вышкой. Летом всё будет утопать в зелени...

Часто гуляем по морозу с Е.И. – странным, иногда жалким, подавленным, но большей частью бодрим. Перебираем пережитое, и вдруг Е.И. говорит:

– Николая посадили с нами в один лагерь умышленно. Будьте осторожны, Леонид. Он озлоблен, и возможен рецидив его прежних «художеств»... Не случилось бы очередного «припадка».

Я только махнул рукой:

– Да что вы, Е.И.! Житков теперь ждёт не дожждётся обещанной воли. Он не совсем выжил из ума, чтобы портить такую мазу!..

Я не винил про себя Е.И. за то, что именно он познакомил меня с Н.Ж. и даже дал ему высшую рекомендацию: «не предаст!». В лагерном лабиринте я был готов к любой встрече, всегда мог угодить в какой-нибудь «капкан» и без помощи друзей.

Вскоре на «аллее вздохов» к нам присоединился Иван Сергеевич Логвин, широко улыбающийся добродушный украинец, плечистый, высокого роста. Он уже раньше успел познакомиться с Е.И., который, не меняя своих правил, шёл навстречу всем, кто желал общаться с ним. Ивану Сергеевичу было лет 45, несмотря на плохое зрение, он много читал, играл в шахматы, и на все случаи у него были припасены разные очки. Обожал дочь, срывающимся голосом читал её письма, а вот с женой были какие-то осложнения. На воле работал бухгалтером. В украинском вопросе был без предрассудков. Собеседник умный, интересный, много рассказывал, например, о темниковских лагерях, куда ещё в начале 20-х годов заточали монахов и монахинь, священников, а в коллективизацию — крестьян... В посёлке Ударный в системе Дубровлага было расстреляно несколько сотен православных. В 30-е годы, когда шёл погром украинской культуры, многие её деятели отсиживали здесь свои сроки, а иных здесь же и расстреляли.

— Нет, не русские громили украинцев, как думают некоторые. Громили интернационалисты, скажем проще — коммунисты, ещё проще — большевики. Они, как огня, боялись национального элемента, будь это русский, татарин, узбек или мордвин...

Я приглядывался к Е.И.: как ему нравятся такие речи после нашего процесса в Москве? Ничего, слушает, спрашивает, соглашается или возражает. Всё, как обычно...

В зоне проходил шахматный турнир, в котором и я участвовал. Помогли часы, проведённые над партиями Алёхина в Москве, здесь я сразу вышел на первые места, и Логвин, тоже занятый в турнире, сказал мне:

— Нагнали на всех страху...

Помню тихого армянина лет сорока, у которого что-то было со слухом. Кончив партию, я вышел на порог покурить. Он увязался за мной, попросил махорки. Жадно затягиваясь, рассказал, как его избивали на Лубянке и потерявшего сознание волокли по коридору в камеру. В результате он и оглох... По лицу моему недавний шахматный партнер понял, что я ему сочувствую. Правда, о 1953-ем годе, когда его посадили, армянин отозвался как-то глухо. Позже один из шахматистов пояснил мне:

— Знаете, с кем вы курили? Он был адъютантом Берия по девочкам. И со всей бандой угодил в тюрьму. Вообще в Явасе бериевцев хватает. Начальство их жалует, пристраивает кого куда, обычно *придурками*. «Кипятильной» заведует бывший генерал тбилисского МГБ, в каптёрке — ещё один. Полковник Пачулия тренирует лагерных футболистов. И с библиотекарем будьте осторожны. Прехитрая bestия!..

Убрался из лагеря Житков. Выручил гебистов, они выручили его. Е.И. Дивнича определили фельдшером в рабочую зону. Изолированная кабинка медпункта позволяла со-

средоточиться, собраться с мыслями для написания воспоминаний — давнишнее желание Е. И.

Меня послали в сушильный цех — огромный амбар, внутри которого располагался ряд сушильных камер. Со стороны цеха в камеру вели высокие ворота, куда заталкивались широкая, без бортов платформы, нагруженные до самого потолка готовыми деталями для будущей мебели. С другой стороны в камерах были дверцы на болтах и с окошечками, в которые постоянно заглядывал дежурный лаборант, отмечающий в журнале температуру камер, где томились под влажным, а потом и сухим паром детали. Вдоль этих дверей тянулся длинный узкий коридор. Точно как в тюрьме, и я за *вертухая!*

Была ещё конторка для заведующего цехом — низкорослого *вольняги* с прилизанными волосками на черепе, припадающего на левую ногу. Про него говорили, что в прошлом он работал опером в уголовном лагере, попал в переделку, из которой вышел с поломанной ногой. Он не придирался к зекам, отсиживал свои рабочие часы, делая вид, что занят бумажной волокитой — отчётами, графиками, таблицами. Однажды сказал:

— Вот вы всё с книгами да с книгами. А тут на вашем месте писатель настоящий сидел. Соловьёв Леонид, ваш тезка... Слыхали такого? Он про какого-то Ходжу Насретдина писал...

Поначалу я работал на погрузке деталей, но вскоре старший лаборант эстонец Март Никлус перетянул в лабораторию — дежурить у камер и регулировать подачу пара. Работа меня устраивала: отмечаешь температуру каждый час, остальное время твоё. Работали в три смены, особенно хорошо было по ночам. Пиши, читай...

Я сблизился с Никлусом, меня привлекали открытые натуры. Марту можно было дать лет 25. Высокий лоб, светло-карие глаза, небольшие усы. Он был черноволос, строен, но уже с радикулитом. Кончил Тартусский университет. Нрава был ровного, весёлого, порусски говорил правильно, хотя акцент все-таки чувствовался. Ещё черта его натуры — воспитанность, скромность, понимание с полуслова в личном общении. Но в делах общественных — эмоциональная необузданность, являвшаяся причиной несчастий, сыпавшихся на его голову.

Работал он всегда днём. Бывало, придёшь во вторую смену: в коридоре душно и жарко, Март в углу сидит в трусах, опустив ноги в ведро с холодной водой. На столике — книги, большая — инфолио-тетрадь, ручка, чернила, карандаши. Март переводит Дарвина, все по порядку тома, которые присылает мать. С оперчастью у него договорённость: всё написанное отдаёт им для сохранности и последующей отсылки матери.

Дело в том, объяснил Март, что по-эстонски Дарвин существует лишь в переводе с русского, сделанном в прошлом веке. Это совсем не то, что — в оригинале. В этом заключалось значение его работы для эстонской культуры и науки. К тому времени он уже успел отослать матери перевод «Происхождения видов» и «Происхождения человека» и теперь был занят «Дневниками».

За что оказался в Явасе? По профессии орнитолог, публиковал в отечественных и зарубежных журналах статьи. Но было ещё кое-что. Он фотографировал не только птиц на побережье Финского залива, но и вещественные доказательства пренебрежительного пагубного отношения советской власти к экологии. На международном съезде орнитологов в Ленинграде передал снимки за рубеж, и они появились в газетах и журналах с соответствующими комментариями. Органы начали «копать», добрались до него. Из неперменной в таких случаях «десятки» отбывал третий год.

Однажды, в ненастный январский день Март неожиданно пригласил меня «на концерт». В закулисной комнатке собралось несколько его соотечественников, и он играл в нашу честь прелюдии к фугам Баха, полонез и «Революционный этюд» Шопена. Старенькое пианино под его пальцами звучало вдохновенно...

Письма... Прежде всего написал матери в Николаев. Нелегко мне далось это письмо. Утешить её было нечем. Новый срок был ей не под силу, наверное. Пространство и время разделили нас вновь. Но в этом-то я ошибался. В пришедшем вскоре письме она уговаривала не падать духом, убеждала в том, что я для неё был и остаюсь самым дорогим человеком на земле. «Ну что делать? Что делать? — вопрошала она и отвечала: — Нужно, не роняя лица, нести свой крест...» Оказывается, мать и Илья Антонович приезжали в Инту и, не застав меня, увидели Славу с Ларисой на руках, растерянную и измученную свалившимся горем — моим арестом. Прожили у Славы с месяц, пытаюсь оказать ей посильную помощь, облегчить хоть немного её положение. Мать писала: «Разлука с тобой покажет, какой окажется Слава. А пока она, по-моему, порядочная, скромная, неглупая, неехидная... Обещала мне не покидать тебя...» Похвалила, как могла.

Недавнее прошлое то и дело возникало передо мной. Кажется, было это в другой жизни, на другой планете, откуда я мчался сквозь пустоту целую вечность и вот упал на землю, приподнимаю голову, потираю ушибленные места, стараюсь что-то разглядеть сквозь проволоку и морозные дали... Да, в Явасе мороз тоже подходящий — минус 30 и не такой сухой, как в Инте, с пронизывающими, знобящими ветрами.

Однажды, когда шёл из зоны на фабрику, увидел двух девочек, лет по семь-восемь. «Здравствуйте, дочки», — сказал им. Долго глядели вслед. Подумали, верно: какой чудной дядя...

Пришло письмо из дома. Лариска — в больнице: пневмония. Был и снимок: ну, точь-в-точь, медвежонок в шубке. И мама называет дочку «эскимосом». Я просил Славу никогда не поднимать руку на девочку. О промахе пусть понимает по выражению маминого лица. Это действует лучше любой трёпки. Спросил, не вернулся ли Акбар? Пропал, наверное, бедный кот.

Ещё раньше я запретил слать мне деньги и продукты. Три-четыре книги, и всё. Просьбу эту она почему-то проигнорировала. Я повторил заказ. Та же реакция. Это неприятно удивило. Читать особенно было некогда. Нужен был лишь минимум, в чём убедить её не удавалось.

В то же время пришла бандероль от Эллы Маркман... Она, кажется, ничуть не изменилась с интинских времён: опять — поэты, которые после Москвы казались далёкими от меня «сегодняшнего», но в лагере снова взялся за свое...

Но смотри: сквозь отверстие облака,
 Как сквозь арку из каменных плит,
 В это царство тумана и морока
 Первый луч, пробиваясь, летит.
 Значит, даль не навек занавешена
 Облаками...

Первый луч! Чувствую себя, как после долгой больницы, удивляют птицы у ног, люди... Деревья на снежном фоне, как на гравюре...

Зоне я радовался и потому, что тюрьма изрядно надоела. «Ветерану» хотелось поближе узнать «новобранцев»: кто они, чем дышат. Лагерный «контингент» значительно помолодел, это бросалось в глаза и значило, что жизнь продолжается — и в новом поколении зеков. За что они ратуют, что несут в себе? В прежние времена людей брали за что попало, и весь Союз был усыпан лагерями, теперь же политзона было значительно меньше, стало быть, попадали в них «избранные». Кто они? Это-то меня и занимало больше всего.

Оставались в лагере ещё люди войны, каратели и коллаборационисты. И хотя «катушка» была теперь в 15 лет, прежний закон «обратной силы не имел», они досиживали 25-летние сроки. Было немало оуновцев и «лесных братьев» — прибалтов, немало верующих, особенно иеговистов. Однако тон задавали более молодые люди, довольно разношёрстные по составу: от стилияг, «низкопоклонников» перед западной джазовой культурой до недавних студентов, дерзнувших критиковать господствующую идеологию, выработавших свой взгляд на историю и так называемую «закономерность» существующей власти и её идейных установок. Это было свежее веяние в лагерях, хотя студенты всегда попадали в переплёт при советской власти, в любые периоды.

Конечно, всё познаётся в личных знакомствах, но это требует времени. Познакомился я с Леонидом Ренделем, о котором мне сказали, что он из группы Краснопевцева, попытался расспросить про их дело. В теновом кабинете — «правительстве» Краснопевцева ему предназначался портфель «министра культуры». (Впрочем, были и такие, кто считал Краснопевцева провокатором). И вместо того, чтобы ясно и чётко поведать о деле, Рендель пустился в туманные рассуждения о том, что каждый взыскующий правды переживает своё собственное «смутное время», нащупывая собственный путь в будущее. И хотя, по его мнению, вместо коммунистической идеологии требовались новые вехи на пути в это самое будущее, он удивительным образом сбивался на те же выводы, каким уже целое столетие отдавали дань левые партии. Но словом он владел, слушать его было занято.

Интересной показалась мне и группа молодых энтузиастов и поэтов, попавших в лагерь по делу о «площади Маяковского»: Игорь Авдеев, Илья Бокштейн, Владимир Осипов, Владимир Тельников и другие. На митинге у памятника Маяковскому они выступали со стихами и лозунгами против советской власти. Это была, по-моему, первая за многие годы антисоветская акция в центре Москвы.

Много было одиночек, севших за разговоры или стихи. Помню ироничного Валентина Рыскова, харьковского студента Лобова, поэта и переводчика Вадима Козового, питерца Кулябко, собиравшего все издания Александра Грина. Нередко в сушилке барака стихотворцы читали свои старые и новые стихи, обсуждали политические и иные новости. На одной такой сходке я прочёл поэму Ивана Соловьёва «Зачумлённый» и рассказал о его судьбе.

Что я считал *моим* в Явасе? Траву, цветы, птиц, облака, дожди, солнце... Вечером – чай с Е. И. Дивничем. Говорили за чаем о близких, читали письма с воли. Иногда музыкальные утренники или вечера с Мартом Никлусом. Ночные смены в сушилке: за батареей – сверчок, бормочут часы-ходики, из-за вышек зовёт паровоз, на столе – книги, тетрадь с конспектом прочитанного. И, пожалуй, новые знакомцы, новые встречи!..

Читальный зал при библиотеке был нередко местом встреч. Однажды к столику, где я сидел, приблизился на костылях человек лет пятидесяти, не без труда уселся напротив и заговорил со мной:

– Извините, что нарушаю ваше уединение, но я знаю, что у вас бывают английские книги. Я ведь сам из Лондона, и меня иногда тоска гложет – хочется почитать что-нибудь по-английски.

Я попросил подождать, поспешил в каптёрку и, порывшись в чемодане, принёс книгу Оскара Уайльда «De profundis» («Из глубины»). Он очень обрадовался, признался, что Уайльд – один из любимейших его авторов. Мы разговорились, и он поведал мне свою печальную историю.

Родился Михаил Васильевич Нестеров в Москве. В конце 20-х годов работал в каком-то учреждении. Говорил всё, что на уме, и очень скоро получил три года лагерей на Беломорканале, откуда бежал. Каким-то чудом удалось на транспортном судне добраться до Англии, где получил политическое убежище... Англия, её культура, её писатели и актёры, терпимость и уважение к человеку – всё это пленило его. Женился на англичанке, появились дочка и сын. Несколько лет М. В. вращался в мире кино, выбился в продюсеры, стал владельцем киностудии, ставил фильмы, имевшие успех, разбогател. Но мысли о родине не оставляли его. В Москве жил старший брат с семьёй, с которым он переписывался...

Авторитет Советского Союза чрезвычайно возрос после победы над Гитлером, и Нестеров счёл возможным вернуться на родину. Своей судимости он не придавал значения, полагая, что Советская власть изменилась к лучшему и подзабыла давнишнее происшествие. На всякий случай Нестеров внёс солидную сумму на восстановление разрушен-

ного хозяйства России, его пригласили в посольство, отнеслись по-дружески, обнадёжили. И жена изъявляла желание ехать с ним в Союз. Но уж тут что-то толкнуло его: не торопись, браток, проверь на себе сначала! В общем, договорились: ежели в Москве удастся осесть, он тотчас вызовет семью... И вот наконец долгожданная встреча: здравствуй, Родина! С ним два чемодана со шмотками, которые он планировал реализовать на рынке. Были подарки брату и его семье. Сдал в камеру хранения и поехал к брату. Сколько радости, сколько разговоров, за которыми незаметно прошла ночь!.. «Смотаюсь за чемоданами, — сказал утром, — а ты постарайся освободиться на сегодняшний день, нам ещё о многом надо потолковать». На том и порешили.

На том всё и кончилось. Когда М.В. вышел из подъезда, его ждали двое штатских в плащах и сапогах: «Поедемте с нами!». Первое, что он услышал на Лубянке после занесения в протокол анкетных данных: «Расскажите о шпионском задании, с которым вы приехали в Союз...» «Никаких заданий не получал, являюсь патриотом своей родины!». Этот вопрос и этот ответ прошли через всё следствие, во время которого Нестерову выбили все зубы, сломали два ребра, повредили позвоночник. Но он стоял на своём до конца, не сдался. И на суде заявил о своей невинности. Дали 10 лет ИТЛ, и отправили в воркутинские лагеря, где он сразу попал в лазарет, и врачи-зеки его несколько подлечили, но со спиной было плохо: сидеть не мог, стоять мог, но передвигался с помощью костылей, в остальное время лежал или полулежал... Брат помогал посылками все 10 лет и на Воркуте, и в Дубровлаг. Амнистия 1956-го год его не коснулась. Может быть, потому что был английским подданным, а его сделали калекой? Когда срок подходил к концу, его вызвали в спецчасть, куда он приволокся из инвалидного барака на костылях. Ему предъявили узенький листочек бумаги о продлении срока ещё на пять лет — «за ведение в лагере антисоветских разговоров». Брат, узнав, что М.В. прибавили срок, перестал писать, перестал слать посылки... Кроме чтения и письма, М.В. неспособен ни к какому труду. Пятилетний срок кончился в 1965-м году. В заключение своего рассказа он поинтересовался, нельзя ли ему освоить переводческое дело.

Я не знал, что и сказать. Я был настолько тронут его бедственной долей, безысходностью положения, что язык не поворачивался советовать ему, обнадёживать. Будь он религиозен, мог бы уповать на волю Божью, на неисповедимый Промысел, но тут?.. Помнится, я сказал, что переводческое дело (если речь о художественной литературе) — нелёгкое, требует знаний, навыков и каких-то способностей. Чтoб узнать себя в этом деле, надо перевести что-нибудь. «De profundis» — исповедальная проза поэта. «Переведите, Михаил Васильевич, пару страниц на русский и сами увидите, подходит Вам это или нет». Он согласился.

Я рассказал Е.И. Дивничу о Нестерове: нельзя ли как-то помочь, составить жалобу? Говорилось это безо всякой надежды пробить твердолобость органов. Но хоть что-то нужно сделать! Я привёл Е.И. к Нестерову, который полулежал поперёк койки, прислонясь к стене. Он оживился, и я оставил их вдвоём.

Е.И. Дивнич послал запрос о пересмотре дела Нестерова в адрес Верховного суда, но, сообщая об этом, покачал головой: вряд ли поможет...

М.В. перевёл несколько страниц Уайльда. Как я и опасался, с трепетной прозы гения М.В. снял добросовестную, но сухую, невыразительную «кальку». Я пытался объяснить ему, что английские словосочетания нельзя переносить в перевод буквально и пр. Кажется, он плохо меня понимал, хотя упрямое желание переломить судьбу вызывало уважение. Увы, вскоре меня отправили на другой лагпункт, и наше общение поневоле прекратилось.

До моего отъезда из зоны произошло ещё одно событие. В 1960-м году православная Пасха совпала с католической. Накануне прошли переговоры с литовцами, и западно-украинцами, и было решено праздновать Пасху вместе.

В назначенное время в столовой быстро выстроили три ряда столов, и сошлись люди разных конфессий. Каждый принёс что мог, и столы были поистине праздничными: пайки хлеба, конфеты, печенье, стояли даже куличи и крашенные пасхальные яйца. Любо было смотреть на всё это угощение, на сосредоточенные лица, видеть глаза, светящиеся радостью праздника Христова Воскресения!

Установили, разумеется, и наблюдение за вахтой...

При полной тишине за литовским столом прочли «Pater noster» и «Credo» – по-латыни и по-литовски. Собравшихся было, наверное, три-четыре сотни, и все внимательно и смиренно слушали. Прозвучали молитвы западников. Среди русаков встал Иван Овчинников и проникновенно прочёл «Отче наш», а за ним Филёнкин – «Верую». И тут все поднялись, смешались. Приветливые лица, восклицания «Христос воскрес!» и «Воистину воскрес!», троекратные поцелуи. Запомнилось лицо Володи Тельникова, который просил у всех прощения...

Единение во имя духовного начала было для меня вновь, я впервые участвовал в подобном торжестве. Но я не мог не обратить внимания на то, как подрагивал занавес на сцене: кто-то за ним всё ходил и ходил...

И вдруг сигнал: «*Мусора* идут!». Мигом были расставлены на обычные места столы, и столовая опустела. Когда надзиратели появились в зале, в нём не было ни души. Но на этом не кончилось. Днём позже вызвали к «куму» тех, кто произносил молитвы. Добродушный Филёнкин с улыбкой рассказывал, что на угрозу посадить его в карцер ответил: «С превеликим удовольствием, начальник! Сделайте из меня мученика, пожалуйста!». Кум только рукой махнул: уходи с глаз долой! Так праздник Пасхи на какое-то время объединил политзаключённых, дал почувствовать, что все мы – одна семья.

Подошёл человек с острым взглядом, узколицый, в выцветшей фуражке здешнего образца, надетой набекрень. Я уже встречал его: запахнувшись в бушлат, он всё ходил по «аллее вздохов» или по стадиону.

– Я – Юрий Храмов. Хочу прочесть вам свой рассказ. Пошли в столовую.

До обеда еще далеко. Никого в зале не было. Мы уселись за стол. Юрий раскрыл общую тетрадь. Рассказ назывался неприхотливо — «По грибы!». Сельские ребята, брат и сестра, и собака Черчилль отправились в лес... С первых же слов я почувствовал, что это настоящая проза. Исчезло ощущение окружающей реальности. Мы — в лесу, дышим деревьями, палой листвой, грибами. Ничего особенного во всём этом как будто и нет, как не было ничего особенного в чеховской «Степи», но и там, и тут — два мира, живая волшебная русская речь... Время пролетело незаметно, и Юра закончил чтение. Я сказал, что рассказ написан замечательно, талантливо. Юра отнёсся к моим словам если не безучастно, то спокойно.

Так же спокойно и сдержанно рассказал о себе. Родился в селе в Удмуртии, рано потерял родителей, скитался по стране, побывал даже в Крыму, где видел, как в 1944-м году из родных селений в тесно забитых грузовиках увозили на поселение в чужие края татар... Я не перебивал его, а хотелось узнать о его детстве больше, о школе, например, или о том, как уже парнем он попал в армию и с армейской частью оказался в ГДР, где дезертировал и попросил политического убежища в ФРГ. Всё это было поведано слишком лаконично. А там «вербанули» солидаристы, передавшие затем бывшего советского солдата американцам. Кажется, тогда ему и дали возможность увидеть Швейцарию и Италию. После чего была разведшкола.

Наконец первое задание, самолёт. С Юрой летел ещё один выпускник школы — Галай. Спустились на парашютах на Кольском полуострове в пустынном месте на холодную даже летом почву со скудной травой недалеко от лесной полосы. Быстро управились с парашютами, закопали их в лесочке. Развели костёр. Галай предложил : сдаваться. Юра (упрямо): «Я выполню свой долг...». У каждого документы, оружие, деньги... Пошли через тундру к автодороге.

Недолго шли, как вдруг в тишине — выстрел! Ударило в ногу. Юра обернулся: «Стреляют!». Видит: Галай целится в него из пистолета, нажимает курок. Попал в голову. Затем стрелял уже в лежащего...

— Не знаю, сколько лежал, — говорит Юра, — приподнялся: весь в крови. Встал, всё плывёт перед глазами, но слышу в лесочке голоса. Поплёл туда. Но пришлось сесть, опереться спиной о бугорок. Кровь не унимается, в голове: пурх, пурх... Думаю: неужели конец? Всё-таки собрался с силами, пошёл от дерева к дереву на поляну, где слышались голоса. Вышел к ним. Все в военном. Оказалось, какая-то геодезическая партия. Увидели, ахнули: человек весь в крови! Помогли дойти до будки, там был топчан. Я опять потерял сознание... За это время меня раздели, обмыли раны, наложили бинты. В черепе пуля снесла кусок кости...

Юра снял кепку. Выше виска с правой стороны головы пульсировала кожа. Кости под ней не было. Вот почему фуражка Юры носил набекрень.

— Отвезли меня на телеге в ближайший посёлок в больничку. На другой день, проснувшись, вижу возле койки человека в халате, наброшенном на погони. С папкой. «Ну-с, молодой человек, рассказывайте, как вы попали в такую передрагу. Кто вы, откуда, за-

Издано 4 числа при обходе

ФОНАРЬ ДИОГЕНА

№ 1

1957
МАРТ
1
ПЯТНИЦА

ОТ РЕДАКЦИИ

Без колебаний решились мы зажать «Фонарь Диогена». Правда, нас смущает возможность ложного истолкования факта его появления в свет. Но как бы ни толковали досужие

Первый номер наших листков редакция решила открыть стихотворениями. Первое из них принадлежит Тютчеву по нашему мнению, как нельзя лучше выражающее в общем значение поэзии. Второе принадлежит перу Холостяка и су-

Издано 4 числа при обходе

ФОНАРЬ ДИОГЕНА

№ 2

1957
МАРТ
4
ПОНЕДЕЛЬН.

ДВА ТИПА ПИСАТЕЛЕЙ

Счастливы писатель, который приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, достоянием которого раз и навсегда возвышенного человека с великими своими, бесчуждыми, ничтожными своим собратьями... Далеко и далеко различается раская...



Судьба САТИРИКА

Гоголь! Как много говорит в нем русскому сердцу! С детских лет до старости соприкасаются нас бессмертные образы его книг, то возвышающие, то уродливые и жалкие, но выдающиеся горький смех и негодование. «Фонарь Диогена» ко дню рождения великого писателя помещает отрывок из VII гл. 12-го «Мертвые души» разве не совершенно звучит горькая ирония сатирика, еросящая на лице твоем... И что же такое... Критика на князя и зачеркнула первый выдающийся сатирический роман уже после того, как он был всенародно признан! Как тут не вспомнить: некассовские стихи, написанные в день смерти

Но не такой удачлив писатель, возмущенный вызовом миру, все что ему напоминает не без ослепления и чего не злит и неподвижные или всеобщими погубившими тинью мелочью, отбрасывая на себя, раздвоенными, повздорившими характерами, которые кишат на себя великая одичавшая горькая и скучная дорога — и крепкою силой суматошного раская, беря что выставить и выслушать и явля на всенародные чуждым ему богатства народа и рукопожатиями не знаять современного суворовского изобретения и изобретения и изобретения созданы, отведет в правду, в правду писатель, окончат в чуждом человечество, прилетит ему качества и не обретенный человек от ищит у него и сердце и ищит, и вместе с ним одна тайна, ибо не

признает современник суд, что равно чудны стелли, озаряющие голы и безобразные дачники незаметные насекомые ибо не признает современник суд, что много нужно главных душевной дачи озарять картин и изобретения презрительными и возвести ее в пса, создавая, ибо не признает современник суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким личическим дачником, не признает сего современник суд — и все ратит в шрек, и понашнее непризнанию приоткрыл без различия, без ответа, без знания, и беспрестанным путник, оставаясь он один поспешит дойти, сущую его топнущие и горько чувствует он свое одиночество.

Гоголь: нет пощады у судьбы Толмачей благородный гений стал ослепителем толпы, ее страшен и завлупиден. Пытая невинностью грды, уста водворяет старому, приходит он терпимому, пути, своего нарождению лирико. Его преследуют ухлы: он ловит звски опровержения в сладком роботе жидовья в дачке, крича ослеплен. И вера и не вера вновь меще высокою приваля, он проповедует любовь вразумленным словом отрицания и хандит язык его речей плодит ему врагов сыровых, и умные и пытливые люди равно клемят его готовки. Говорят, что известный роман возвращает автору для перепечатки, для славы и для острых углов, неговоря, но выставляет...

Н.В. ГОГОЛЬ

1-й и 2-й номера рукописной газеты «Фонарь Диогена» (изъяты при обыске 4 февраля 1959 года)

Леонид Ситко

31
103

ЛИРИКА

Клад - в земле.
На земле -
Обездушении' калейдоскоп
Б. П.

Почет самсебиздай - 1958

Ситко

Первый лист рукописного сборника стихов
(изъят при обыске 4 февраля 1959 года)

x x x

Мы не тосчем ни часов,
Ни лет, ни жизни, —
А сколько выдуманных слов
И денег везны!

Мы ристогасимся всегда
на всех на свете,
Как будто жить нам не года,
Столетия!

Из котки лезем, из ула, —
И вот на тень похоти,
Вдруг понимаем — свет и тома,
Свобода наша и тюрьма, —
Шагреневая котка!

||



Леонид Ситко. Явас. 11-й лагпункт Дубравлага.
Май 1960

Испытание

К нам приехал погостить дядя, и мы все сидели ~~во~~ у стола и разговаривали. Говорил дядя, а мать только поддакивала. Иногда в комнату навещивалась моя старшая сестра Катя, и потом она опять выходила ~~во~~ на крыльцо дома и смотрела в небо, держа в левой руке книгу. С дядей она не ладила. Дядя любил доказывать, что он умнее всех и все ничего не смыслит в жизни, и сестра не хотела спорить с ним, чтобы не расстраиваться.

Когда-то дядя воевал с немцами, был контингент, и теперь сидит на пенсии. Делать ему было нечего и поэтому он приехал погостить к нам. Дядя любил пошутку и, когда представлялся слугам, всегда толковал о ней.

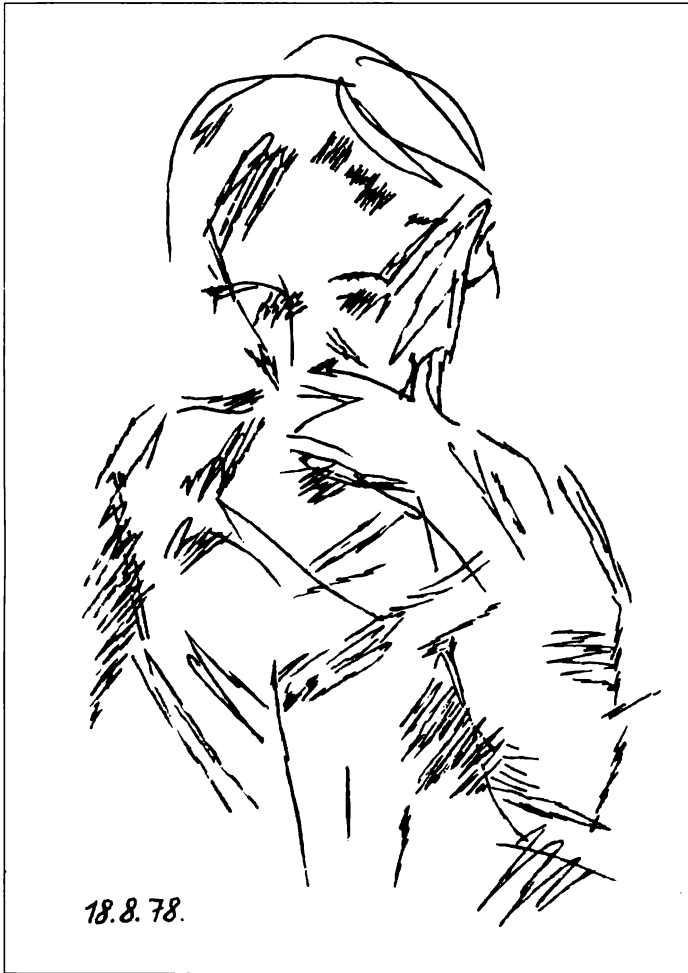
— Нура, — обратился дядя к матери, — а что, Миша часто видит заклятого пса? — Он кивнул в мою сторону. Мать сказала, что часто. Так оно



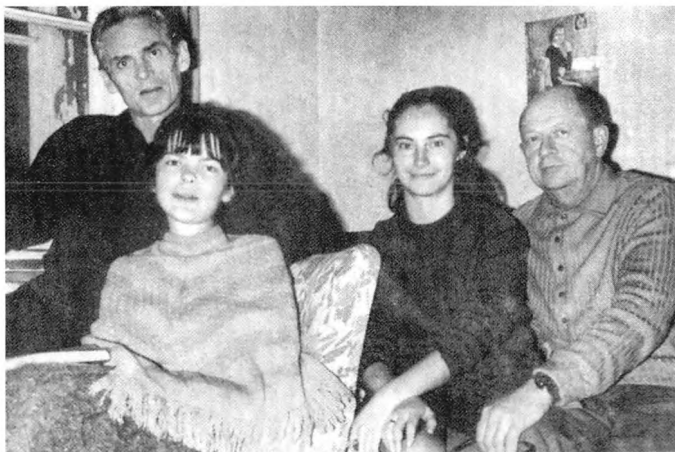
Леонид Ситко.
Николаев. 1968

Леонид Ситко с дочерью Ларисой.
Бережаны. 1966

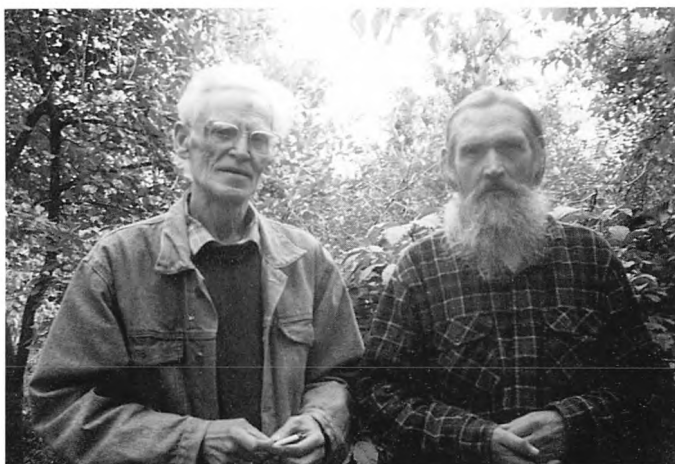




Леонид Ситко. Август 1978.
(Рисунок художника Алексея Неймана)



Леонид Ситко, Александра Истогина, Ольга Романова,
Игорь Ковальчук-Коваль. 4 октября 1973 года



Леонид Ситко и Юрий Храмов. Сентябрь 1996
(село Ястребовка Курской области)

чем... По порядку и по честному...». Ну, я по честному и рассказал всё, да и моя амуниция говорила сама за себя... А Галай сдался-таки... Это ему не помогло. Дали нам одинаково – по 25... Седьмой год сижу...

Помолчав, Юра добавил:

– В прошлом году Галай с этапом прибыл на наш 11-й. Встретились случайно лицом к лицу... Он метнулся к оперу, и на другой день был куда-то отправлен. Напрасно боится. Я его и пальцем не тронул бы. Я давно всем всё простил. И во всём раскаялся...

Евгений Иванович Дивнич прочитал мне первые главы своих воспоминаний. Белград, колония белоэмигрантов, русский кадетский корпус. Просил делать замечания. Тогда эталонном мне казалась проза Хемингуэя, но судить записки Е.И. я не решался: всё-таки у каждого своя интонация, свой слог. Ему удалось воспроизвести атмосферу далёких лет молодости, образы сокурсников и преподавателей. Некоторая сентиментальность и красивость – кто в том не грешен, особенно из начинающих, да ещё выросших в эмигрантской среде?..

После московского процесса Е.И. относился ко мне с сердечной приязнью, доверялся, что с антисоветской деятельностью собирается *завязать* и в духе старых евразийцев думает сотрудничать с советской властью. Я прямо сказал ему свое мнение на этот счет. Заявил, что не к лицу ему признание существующего режима единственно верным, что он «портит себе биографию». Люди, знавшие его, помнят о нём как о непримиримом борце за новую Россию, и это помогает им держаться в исключительных обстоятельствах, помогает вести себя достойно. Он со вздохом возражал, говорил, что сыграл «роль Чёрного Ангела», и это его мучает, заставляет идти наперекор себе, дабы облегчить участь пострадавших из-за него. Если Вы и меня имеете в виду, отвечал я, можете успокоиться. Мой дом – это лагерь. Обвинительные речи, которые я вёл на Лубянке и которые, возможно, записаны на плёнке, говорят сами за себя, поэтому держат меня за проволокой не напрасно. Самое подходящее для меня место в Союзе – это лагерь, а товарищи и друзья, которые делят со мной неволю, – самые близкие мне люди, это и есть моя настоящая семья. Может быть, говоря это, я был чересчур возбуждён, и звучали мои слова пафосно, противоречиво и преувеличенно, зато искренне!

Между тем, Е.И. вёл обширную переписку. С матерью, жившей в пансионате для престарелых в Каннах, и с братом в Австралии, которого он, согласно «новым взглядам», приглашал в Союз. Брат ответил: «Когда советские войска взяли Белград, я был сразу арестован. Ни за что, ни про что. За решёткой провёл три недели, и это был хороший урок, меня теперь не заманишь в Россию никакими калачами...»

Списался Е.И. с В. В. Шульгиным, жившим после заключения во Владимире. Перед тем Шульгина не без помпы прокатили по Союзу, показали почти ослепшему старику колхозы и заводы, и бывший монархист разразился серией статей в газете «Известия», где признал свою деятельность против коммунизма ошибочной, а советскую власть – благом для народа. Тем самым дал «пример» и для Е.И. Письма Дивничу старик выводил каракулями: три строчки на страницу из школьной тетради, приветствуя «перерождение» едино-

мысленника. Так проходит слава мира, сказали бы римляне. Прислал он и посылку с продуктами, выдали её Дивничу не вскрывая!..

Как-то Е.И. показал мне письмо от соратника по НТС Околовича * — ответ на своё обширное послание, призывавшее организацию «сложить оружие перед властью народа». Опер разрешил Дивничу взять ответ Околовича с собой в зону.

Околович благодарил Дивничу за «откровенность», тепло вспоминал дни совместной работы и приглашал приехать в Мюнхен: «У нас тут свобода слова, поставим две трибуны, пригласим общественность и подискутируем... Если же Вы не приедете, буду считать, что Ваше письмо из Вас выдавили...» Единственное резкое, даже жестокое слово, которое позволил себе Околович. В конце приписал: «Как Ваша печень? Как себя чувствуете? Жена и я будем рады, если по приезде остановитесь у нас...» Действительно незадолго до этого Е.И. пережил острый приступ болезни. «Видите, ему стало известно, — довольно сказал он, — и какая вера в человека, в мою честность!». Е.И. был глубоко тронут, что в его порядочности там не сомневались. В тот же день он показал мне письмо на имя генерала КГБ Чистякова: «Как видите, я получил вызов. Наше *общее дело* (!) только выиграет, если органы позволят мне поехать на две недели в Мюнхен, где я смогу открыто заявить о пагубности борьбы с Советской властью и призвать зарубежье склониться перед волей советского народа. В том, что я вернусь, даю честное слово дворянина. Если же не вернусь, для Родины была бы невелика потеря такого гражданина». Я рассмеялся: «Евгений Иванович! Над вашим «честным словом дворянина» будет ржать вся Лубянка! Вы пишете людям, для которых честное слово — мыльный пузырь или удобный козырь в нечестной игре!» Он только усмехнулся и письмо отправил. Ответом было, разумеется, глухое молчание.

Вечера Е.И. обычно проводил в читальном зале, изучая юриспруденцию: решил стать юристом. Грешен, я не удержался: — В стране бесправия изучать право?!

Между прочим, брат его по моей просьбе, прислал томик Шекспира на английском. С каким волнением перелистывал я книгу, изданную в начале века в Лондоне, с фотографиями знаменитых актёров: Ирвинга, Эллен Терри и других. В книге было четыре трагедии: «Король Лир», «Отелло», «Макбет» и «Гамлет». Вадим Козовой умолял меня одолжить почитать, и я в конце концов сдался. Всё свободное время Вадим проводил в читалке над этим Шекспиром... Однажды, когда мы перекуривали на лестнице библиотеки, Вадим признался, что переписывается с дочерью Ольги Ивинской, Ириной Емельяновой, которая вместе с матерью была на женском ОЛПе Дубровлага. Решили пожениться, с чем я их и поздравил, пожелав им только удачи.

* Околович Георгий Сергеевич (1901–1980) — один из старейших членов НТС, долгие годы — председатель Исполнительного бюро. В 1944 году арестовывался гестапо; в 1954 году чудом спасся, так как посланный его уничтожить советский агент Н. Хохлов (ныне почетный профессор психологии университета в Беркли) саморазоблачился.

В зоне появился киевский журнал «Всесвіт» («Весь мир») с рассказами Ф. Кафки, впервые опубликованными в Союзе, и ко мне пришёл Игорь Авдеев с просьбой пересказать их по-русски.

— В нашем КБ выделю стол, никто не будет мешать. Ведь на русском Кафки ещё не было!

Работать над Кафкой не хотелось. Его фантазмагии влекли в глубину собственных иррациональных судеб, наших жизней, набитых по завязку идиотскими сюжетами века. Но несколько дней потратил на перевод немецкой прозы с украинского!.. После рассказа «Метаморфоза» ночью преследовали кошмары, при одном воспоминании о которых до сих пор оторопь берёт.

Подкинул я себе ещё одну задачку: начал собирать свою «летопись»: «Россия день за днём» (1800 – 1917). Что бы ни читал теперь, рядом находилась тетрадь, разбитая по годам, куда заносилось всё примечательное в России за сто семнадцать лет. Даты, даты, факты, факты... Разные, неожиданные. Из глубины времён постепенно проявлялись очертания Атлантиды-утопленницы – неведомой нам России, динамичной, разносторонней, красочной, в движении и развитии. Со временем накопилось немало тетрадей. Как-то их одолжил харьковский студент Лобов. Возвращая, сказал потрясённо: «Не спал ночью, читал как одержимый, настолько увлекло...»

Филёнкин работал на распиловке древесины. Среднего роста, светловолосый, с лавинкой в глазах, с доброй улыбкой, он производил впечатление человека недалёкого, даже глуповатого, но вот однажды в хорошую минуту рассказал о своих приключениях.

— Родился в семье железнодорожника в посёлке на Алтае. В детстве, помню, очень любил ходить по рельсам, причём отец всегда наставлял: не падать, не соскальзывать, помни, что ты человек, он всё может! Рельсы была моя первая любовь: ведут неведомо куда в дальние края и города, и сколько там, наверное, чудес!.. Ах, Алтай! Нет лучше места на земле, и чего меня тянуло ещё куда-то?.. В школе учился кое-как, особенно, в старших классах, больше на гулянки тянуло. Чуть было не женился сдуру, но Бог уберёт...

Грянула война. Хотел скорее попасть на фронт, мальчишкой еще, еле дождался призыва... На Урале попал сначала в разведшколу, потом в танковое училище.. Пару месяцев – и готовый танкист. Погрузили нас с танками вместе на платформы – и на фронт. В Литве был мой первый бой. Танки при поддержке пехоты продирались на холм, за которым окопались фрицы. И вдруг в моей «тридцать четвёрке» мотор заглох. Пока возились, подразделение наше перевалило через холм, и оттуда донёсся до нас какой-то не то вой, не то крик истошный. Орали мы, орали фрицы. Шла рукопашная. Самое на войне страшное, что пережил, был этот самый вой... Потом – бои в Польше, пару раз ранили, в госпитале лежал, четыре танка сменил. Подлечат, и снова вперёд. В городах, которые брали, любил крошить магазины. Въедешь, бывало, всем своим танковым мурлом в витрину, – всё трещит, звенит, хлопает, а нам весело... Было раз: заехало наше звено в большой двор, вокруг стены, окна, веранда. Жители попрятались. Думаем, передохнём

малость. Вдруг пригнали в этот двор пленных немцев, человек двадцать. Командовал нашими майор, низенький, плюгавый, по лицу видно: мужик вредный. Поставили пленных к стене напротив наших машин. Мы торчим из башен, покуриваем. Приказывает: расстреляйте фашистов, сучьи дети!.. Вот тебе и отдых!.. А мы потихоньку вниз, «кумпол» – хоп! – и закрылись. Я своему: заводи мотор, поехали... И рванули всем звеном на улицу, майор еле выскочил из-под гусениц. Не знаю, как обошёлся он с фрицами, тогда пускали их в расход запросто...

Потом был Одер, потом – капитулясьон! Победа, чёрт тебя дери! Так душа радовалась, что не убили. Жив, думаю, Филёнкин! И, помню, вслед тоска напала, навалилась. Надоела лямка военная. Пришло в голову: если не сейчас, потом поздно будет, надо сейчас рвать на Запад, мир повидать, людей, то, о чём ребятёнком мечтал. Решено – сделано. В сельской местности повстречал прохожего, наставил пистолет: снимай с себя всё! Сам тоже раздеваюсь, его одежду напяливаю. Сидит в чём мать родила, не хочет мою надевать, хоть убей. «Ну и дурак», – сказал я ему и – дёру... Кое-как на поездах проехал всю Германию, добрался до Мюнхена. Рассчитал, что американские ребята – нищтяк, под ними можно ходить. Много домов пустовало тогда в городе. Нашёл себе квартирку и за какую-нибудь недельку приоделся прилично, даже шляпа была. Жизнь в Мюнхене малопомалу налаживалась, кое-где магазинчики, ресторанчики, театрики задышали. Зачастил я в один ресторан. Возьмёшь пару пива, смотришь на людей, кто во что одет. Интересно было смотреть на них, слушать немецкую речь. Языком стал обрастать помаленьку...

Однажды сию себе, вдруг – хоп! – смотрю: садятся за мой столик аж четверо. По лицам вижу: народ отпетый. Два оказались наши, а два – немчики. Взяли пивца, сидим, словечками перебрасываемся. Чувствую, моего поля ягода! Слово за словом, приглашают в свою компанию. Интересуюсь: зачем? А вот за тем, другим... Нет, говорю, это мелочи. Обработать что-нибудь стоящее – согласен. Они переговорили с немчиками, один, вижу, оживился, закивал головой. Говорят мне: в городе цирк открылся, каждый вечер народу полно – немцев, американцев и разного прочего люда. Говорю: план нужен, будем кассу брать. Договорились, что завтра принесут...

Короче говоря, отправились на дело. По билетам прошли на свои места, потом по одному в вестибюль, где будка стояла. Один поднялся по лестнице наверх к двери, стал там на всякий случай. Второй – у закрытого входа на улицу, пошуровал отмычкой, кивнул. Я и ещё один открыли отмычкой будку. Забрались в кассу, взломали ящик (деньги были уже в пачках) и стали нагружаться. За пазуху, конечно. В основном, марки, но попадаютя и франки, даже доллары... Слышим шум в вестибюле. Выскакиваем. Наверху наш сторожило кто-то не пускает на галерею, пихает его внутрь, а тот рвётся наружу и, кажется, нас увидел. Мы на улицу и – врассыпную... Бегу под домами, слышу, кто-то увязался за мной, топот доносится. По настырности чую, что ЭмПи – Военная Полиция. Пробежал квартал, второй, свернул на поперечную улицу, и он свернул за мной и – хоп! – выстрел! Ну, гад! На углу я повернулся – второй выстрел!.. Пуля попала в плечо, под ключицу. Но и я успел выстрелить, и не напрасно, он упал. Я ещё раздвинул деньги по бокам, чтоб меньше на них крови попало.

И пошёл, пошёл к трамвайной линии. На остановке сел и долго ехал... Вышел, голова кружится. Рядом за домами поезда идут. Чувствую: слабею. Прислонился к стенке, разделся, разорвал рубаху, заткнул дыру спереди и сзади...

Филёнкин скинул куртку, обнажил плечо: небольшой шрам на груди, и большой, звёздочкой – на спине, там, где пуля вышла.

– Деньги в узел связал. Сижу отдыхаю. Думаю, что делать? До границы вряд ли доберусь... Или доберусь? Под курткой всё промокло, но кровь идти перестала. Всё-таки решился – к границе. Поднялся, пошёл к вокзалу. При свете фонаря осмотрел себя. Если застегнуть куртку, как будто ничего не видно. Вошёл в зал. Публики было немного. Смотрю расписание. Нашёл: Мюнхен-Берн. Взял билет до последней станции на немецкой стороне – Зинген. В туалете кое-как вымылся, более-менее привел себя в порядок. Что ж, кондуктор-старик принял за человека, и вскоре поезд тронулся... В Зингене сошёл и, обогнув городок стороной, перебрался через границу. Много ходить пришлось. Всё время говорил себе: иди, Филёнкин, иди! Сядешь – *капут!*.. За одним из поворотов на горной дороге увидел вдруг домики, свет в окнах. Деревня. На улице встретил старушку с палкой. «Где здесь врач? – спрашиваю по-немецки. – Я очень болен». «Ах, майн гот! – испугалась она. – Идите за мной, я покажу». В домике врача было темно, я стал стучать. Внутри появился свет, мужской голос за дверью спросил: «Что надо? Кто вы?». Ответила старушка: «Это я, господин доктор, фрау Небель! Привела больного! Откройте, пожалуйста!». Доктор – средних лет господин с седыми висками – не ворчал, хотя его и разбудили. Узел свой я бросил у порога, сам растянулся на полу, только и сказал: «Спасите, доктор!». Он раздел меня, осмотрел. И тотчас поднялся. «Откуда вы?». «Я русский. Бежал из Германии». «У вас огнестрельное ранение, я должен сообщить в полицию». Я показал на узел: «Там тысячи марок. Много тысяч. Они ваши. Не надо полиции. Вылечите меня, и я уйду». Он некоторое время думал. Говорю себе: кажется, напоролся, Филёнкин. Однако доктор решился и стал действовать энергично. Обмыл раны, наложил тампоны, перебинтовал. Одежду и пистолет куда-то убрал. Выдал мне чистое бельё, халат, *пантофли*. Пролёжал я у него с месяц. Лёгкое не задето, повезло. Заплатил я ему всеми своими деньгами, которые так и не сосчитал. Он сказал, что всего 16 тысяч, выделил мне какую-то сумму на дорогу, и мы попрощались... В Германии я сразу поехал в Гамбург.

Далее Филёнкин рассказал, каким образом он обчистил ювелирный магазин, как приобрёл легковую машину, как заявился в советское посольство в Бонне, признался, что он дезертир, соскучился по Родине, хочет вернуться. Его просили зайти на следующий день, но что-то в посольстве ему не понравилось, и он направился к границе сам.. При попытке задержать его прорвался в советскую зону. Конечно, это была дурость ужасная. Его немедленно догнали, арестовали. И он очутился в контрразведке в Потсдаме.

Там он отколол ещё номер. Как он объяснил, с ним «случилось непонятное», он внезапным приёмом – хоп! – положил на лопатки высокого седого полковника, зашедшего познакомиться с ним, перебросил на него майора, который кинулся на арестанта, и пока майор и полковник барахтались, стараясь освободиться друг от друга, Филёнкин

выскочил на крыльцо, «отключил» ещё одним приёмом часового, пересёк лужайку и нырнул в канал. Его, разумеется, настигли, выловили и мокрого доставили в тот же кабинет. И майор, и его начальник откровенно хохотали, восхищаясь столь неординарным поступком, и, прекратив допросы, самолётом отправили в Москву.

— Хожу на Лубянке по камере, как пленный волк, — рассказывал далее Филёнкин, — уж очень мне было не по себе в тюрьме. День хожу, второй. Стопка книг на тумбочке, но я не любитель читать, а тут возьми и открой ту, что сверху лежала. Читаю: «Н. В. Гоголь. Сочинения». Перелистнул: предисловие, а там чего только ни написано про этого Гоголя: и гениальный, и великий, известный во всём мире. Закрыв я тихонько книгу, положил на место и крепко задумался. Такая досада, такая обида взяла за мою ничемную, пустую жизнь! Кто я? Почему так дурачки всё сложилось? Почему мне так не везло? И фамилия паскудная — Филёнкин! Промучился ещё сутки, примеривая себе и то, и это, а когда хлопнула кормушка и вертухай с бумажкой в руке заглянул в камеру, фамилия, мол, на «фэ», отвечаю — Гоголь! Кормушка хлопнула, через пять минут заглянул корпусной: спрашивает фамилию. Повторяю: Гоголь! Имя-отчество? Николай Васильевич. Ладно, приводят меня к следователю. Капитан. симпатичным показался. «Давайте знакомиться, — говорит, — меня зовут Павел Павлович Усачёв. А вас как?». «Очень рад, — отвечаю, — Николай Васильевич Гоголь». Капитан подумал с минуту и спрашивает: «Может, вам сахара не хватает? Может, вам допгаёк выписать?». Вежливо отказываюсь: сахара не надо. Я вполне нормален, клетки работают.

«А у меня тут написано, что вы — Филёнкин Михаил Иванович». «Не знаю, гражданин следователь. В Берлине, наверное, придумали мне другую фамилию». Позвонил капитан куда-то, явился майор. И ему рекомендуюсь Гоголем. Переглянулись, вызвали тюремщика, отправили в камеру. В тот же день воронок доставил меня в институт Сербского, там чокнутых проверяют. Начали мытарить, в глаза светить лампой, молотком по коленкам стучать, анализы брать, про родителей пытаться, не был ли кто шизофреником или алкоголиком. До того довели, что я не рад уже был, пошел на попятную: «Филёнкин я! Верните моего следователя...» Теперь следствие пошло, как по маслу, я ни в чём не запирался, про все свои «художества» в Германии рассказал. «Отослать тебя в Германию? — спрашивает капитан. — Пусть тебя судят немцы». Я взмолился: «Лучше сидеть у нас, чем у них». На том и сошлись. Дали мне 25, как положено, из них отсидел уже тринадцать...

Что в этом рассказе правда, что — вымысел, судить сложно, но я не мог пройти мимо этой истории, этой судьбы...

В Явасе и позже на других ОЛПах я вёл что-то вроде дневничка и в своём рассказе иногда буду обращаться к этим заметкам. Некоторые случаи, штрихи, детали, канувшие в прошлое... Например:

19 июня 1960 г. Воскр. — В зоне футбольный матч, гости из Саранска, участники республиканского розыгрыша. Зеки пропустили три мяча, зато гости — семь. Отличился вратарь Володя Тельников и центрфорвард Бенкович. В этот же день в столовой прошёл

концерт. К Е.И. Дивничу приехала супруга Александра Александровна – милое, доброе существо, стареющая и печальная... Из-за «особого статуса» Е.И-ча ей было позволено провести воскресенье вместе с нами. Побывала в бараках, где мы жили, прогулялась с нами по «аллее вздохов»...

Под этой же датой выдержка из письма уже освобожденного Николая Житкова своему знакомому в наш лагерь: «Лежу на пляже под Харьковом. Душа у меня, как вонючее болото, по ночам в ней лягушки квакают...» Ну, не смердяковщина ли?..

Там же. – Сблизился с Адамом, который никак не может убедить «инстанции», что он вовсе не белорус, а чистокровный поляк, т. е. иностранец, и законы Союза на него не распространяются. Ну-ка, Е. И., новоявленный правовед! Защитите, попытайте счастья!..

Адам – знаток растений, трав, цветов. Бродим вдоль запретки, собираем разные травы, особенно много мяты. Сушу потом в нашем цеху... Адам тоже хватил лиха сполна: ссылка в Сибири, вербовка в армию Андерса, внезапный арест и исчезновение из части перед отправкой на фронт, обвинение в «измене родине», неясно какой – советской или польской, лагеря, лагеря...

В июле Март Никлус, по наущению отрядного офицера, затравленный подонками, которых и среди зеков хватает (особенно, из бывших карателей), попросился и ушёл на этап, попрощавшись с нами. Жаль, одним хорошим человеком на ОЛПе стало меньше. Как будто про него написал замечательный русский писатель Пришвин: *«Есть прекрасные деревья, которые до самых морозов сохраняют листву и после морозов до снежных метелей стоят зелёные. Они чудесны. Так и люди есть: перенесли всё на свете, а сами становятся до самой смерти всё лучше...»*

Слава в письме пожаловалась, что вновь приходил «мой чёрный человек» Николай Житков, сидел, «не зная, куда глаза деть», спрашивал, не нужна ли помощь. Написал ему: оставь мою семью в покое; наши дороги разошлись навсегда! Прибывшие в Дубровлаг позже, рассказывали, что, когда он появился в Инте, встречали его враждебно, смотрели как на прокажённого. Роль его на нашем следствии и суде была ясна всем. Между прочем, в тот же период лекторы на каждой интинской шахте поносили «агентов НТС и ЦРУ» – Дивнича, Ковальчука-Ковалева, меня, Оксюза...

Чекисты в Сыктывкаре и Москве рассматривали Инту как свою «золотую жилу». Носились, как вороны, над городком, высматривая новые и новые жертвы. Ежегодно проходил какой-нибудь процесс, какое-нибудь громкое дело. 1957-й – литовская группа; 1958-й – иеговисты; 1959-й – наш процесс (Дивнич и др.); 1960-й – украинская группа; 1961-й – уголовники. Словом, всюду зарабатывали себе «звёздочки на погоны».

Неожиданно встретил на явасском «тротуаре» украинского поэта Ярослава Гасюка, бывшего минлаговца, а теперь дубровлаговца. Мне он всегда чем-то импонировал, даже лагерная одежда выглядела на нём аккуратно, он был неторопливый, спокойный, немногословный. Нравилась и его лирика. Ко мне он тоже относился как будто приветливо. Встретились как старые знакомые. Я стал расспрашивать его про следствие и суд, через которые прошёл он и его товарищи. Отвечал неохотно и почти ничего не сказал. К сожалению, может

быть, недоверчивость к «чужому», особенно русскому, проявила себя и в Славе Гасюке, не знаю. Мы посидели у меня в бараке, перемолвились о жёнах, оставшихся в Инте (моя Слава дружила с Галиной Гасюк), и он одолжил у меня Тютчева...

В декабре 1960-го года пришло письмо от Николая Житкова с мерзкими стихами, с матерной бранью в ответ на мою отповедь ему. Мол, поднялся против социализма «ду-ро...б», так он «тебя загонит в гроб» и тому подобная ахинея. Показываю цензору конверт с письмом: «А ведь тут нецензуричина!» Он наклонился к столу и негромко, но быстро и горячо сказал:

— Читал! Какой мерзавец!.. Знаете, ответьте ему! Пропущу. Пишите что хотите. Но с условием: ударное — в середине письма и отправьте в понедельник, когда почты много. В общем потоке пройдёт. Пусть у него задница зачесется!..» Отвечать я не стал. Через месяц Житков пожаловался в письме Е.И. Дивничу, что я не отвечаю ему. Я показал «стихи», Е.И. сказал:

— Таким отзывом можно гордиться. Но вы еще дёшево отделались. Впрочем, как и все мы...

Ничего себе, дёшево!..

Еще из дневника 1960-го года:

10 июля. Жара. В траве загорелые тела. У летней сцены — оркестр. Я в пустом и прохладном бараке... В переводах у меня «школьный» период: баллады, сонеты. Учиться, учиться. Но душа не всегда готова, особенно летом... Кусты разноцветных васильков в красных пятнах мака, а рядом голуби. Бесстыдство глупой птицы не имеет пределов. Любовь, еда и снова любовь. Кошки тоже есть, но худые и мрачные.

В Москве вышла монография о Шостаковиче, написанная интинским музыковедом, бывшим зеком С. А. Рабиновичем. Курю, как всё делаю, жадно, одну за другой...

24 июля. Не солнце, а мартен. Птицы прячутся. Цветы понурились. Пыль. Оживаю лишь в сумерки после поливки.

25 июля. Жара спала, можно дышать и даже думать кое о чём. Утром — облака, петухи и собачий лай с косогора. Письма от мамы, Славы и Эллы, приславшей тушь, тетради, бритвенный прибор, фасоль, какао. Сдала практику на «отлично», едет в Гродно. Сегодня — выходной... Голубята Максимка и Маруська, которых мы кормим изо рта, уже не такие уроды, в перьях, набрались сил и стараются подраться. На ящике из-под посылки надпись: «Максимкин дом»... (Понятно, что в дневнике у меня почти безлюдно, хотя жизнь проходила среди людей, на людях, с людьми...)

29 июня, 6.30 утра. Съел огурец, чтоб не курить натошак, несколько минут посидел на веранде. Надо мной — радуга: ночью впервые в июле был дождь, зелень посвежела, и зекам легче. С холма звуки рожка, гонят коров, ласточки...

От мамы полные безнадежности письма, плачется над моей судьбой, ни во что уже не верит. Чем утешить? Что писать? Голова и руки опускаются... Из-за жары, кроме газет, ничего не читаю.

Ада, подруга Эллы, говорила после ее отъезда из Инты: «Она забудет сегодня то, что было вчера...»

Мы идём к смерти сквозь открытия и сожаления, и пора бы не удивляться.

6 августа. Стирка и переводы. Юра Храмцов читал рассказ про старика-татарина, спрятавшегося в гробницу, чтобы не покидать родину, и пионеров, потянувших его в милицию. Были у меня гости: Е.И. Дивнич, Вл. Бенкович, Иван Овчинников. Накануне я получил посылку от стариков — кофе, медовое печенье...

20 августа. Процесс в Москве — каналья Пауэрс. Каков! У нас прибудыши, ставим воду, крошим хлеб, а они клюют друг друга. Надое-ела цыга-а-анщина!

28 августа. Воскр. Строфы из «Дон Жуана». Два дня читал Плутарха. Какое разнообразие лиц, событий! Чистый Просперо древности.

Люди при мне одни подтягиваются, другие манерничают. Что это во мне?

3 сентября. Утро тёплое, а вчера была гроза: небо трещало и падало на лагерь потоками воды. Молнии раскалывали его на куски...

В Нью-Йорке Войнич умерла...

Листья сворачиваются, скоро осень.

24 сентября. Хлебников жил и умер как поэт — «под прекрасной звездой».

Умер Юрий Олеша.

8 октября. Писал интинке Е. Таратута о смерти Войнич.

Я в сушилке один. Тишина. Изредка мимо пирамид из деталей ползёт крыса или просвистит крыльями голубь.

Вчера провожали большую партию отпущенных по «двум третям»...

9 октября ... Разговор о войне, Германии. И правда: десять лет я не мог читать по-немецки. «Гёте? Не то же ли, что гетто?»

8 ноября. К Е.И. Дивничу снова приезжает А.А.

Зима отступила, лужи сверкают, ходим нараспашку. В цехе — новый котёнок. Везёт нам на «дохлых», у этого хвост перебит, однако мышей разогнал.

Устал за этот год. Надоела проволока, надзор...

15 ноября. Со Славой стараюсь не раздражаться.

В первой смене — толчея, глаз начальника, ругань лаборанта с мастерами.

21 ноября. Элла сообщила удивительное: она беременна!..

25 ноября. Письма, как в колодец, бросаю. Ни единого отклика.

... Грязь, обледенелые доски, лес в тумане.

Позади пять страниц насыщенного, трудного посвящения к «Дон Жуану» Байрона. Работу кончу в три года. (Тогда я ещё не знал, что в сибирском лагере его замечательно перевела Татьяна Гнедич).

Элла послала в Инту травы и валенки для Ларисы.

30 ноября. Ходит дикий слух, что нас отправят в Монголию. С чего бы?

1 декабря. Будет 65 лет маме. Кажется, так и не увидимся...

3 декабря. С.Е.И. — прогулки, демагогия, споры... Ух!

6 декабря. Призрак из прошлого. Мёртвые возвращаются. Мать написала то, что мне уже было известно от знакомого литовца, то есть о том, что Римма травилась... Вроде бы из-за чувства ко мне.

15 декабря. «Мужайтесь и бодрость храните для лучших времен» (Вергилий)... Моя тётка Мария Яковлевна Фомичева перессорилась со всеми в Синельниково и укатила к себе на Кавказ.

26 декабря. Написал начальнику интинской шахты 11/12, просил содействия жене в получении квартиры.

От М. Рыльского письмо.

Иногда рождаются стихи:

*Мы делим день в барачном гаме.
Мы пьём под радионапев,
Плывущий медленно над нами
В разломы сумрачных деревьев.
И странно слушать эти голоса
На месте том, где пели и страдали,
Где лиловеют блоковские дали
И на закате горбятся леса...*

На снимках Лариса, моя дочка — худенькая, глаза у неё уже с детства большие и серьёзные, взгляд, полный ожидания. Но переписка с её матерью была странная. Всё повисало в воздухе. Мои занятия, переводы, рассказы об окружающем — её вообще ничто это не интересовало... Я удивлялся, потом сердился, а потом вдруг понял: мы чужие. Рядом не оказалось друга, спутницы. Поправить что-либо в данной ситуации невозможно, особенно виноватому, ибо мужчина всегда виноват, не так ли? Судьба? Но эта тётка порой играет нами с кривой усмешкой. «Чорна хвыля нас поєднала, И чорна хвыля нас розлучыла», написала Слава в одном из последних писем.

Привозили кинофильмы, редко что-то стоящее, но лагерник обычно смотрит все картины, из каждой можно «почерпнуть» отсутствующее в его теперешней жизни, например, съёмки животных, женщин, семейные драмы или исторические вещи. Военных боевиков нам не показывали...

Бывали в зоне и лекторы, а однажды афиша на дверях столовой пригласила на «встречу с Берзиным, который поделится воспоминаниями о Ленине». Кремлёвский охранник из «латышских стрелков» и чекистов отсидел в 1930-е годы несколько лет в советских концлагерях, этим-то и был нам интересен: чем-то он дышит теперь?.. Зал был полон. На сцене за столом сидели начальники отрядов, не спускавшие глаз с оратора. Лет ему было за 60, но выглядел крепким, бойким и оказался горластым.

— Вот тут я стоял, — рассказывал он, показывая место в углу сцены, — а вот тут, в центре — Ильич. Он меня не видел. Зато я видел всё и всех, как и полагалось, чтобы ни

одна вражина (тут он сжал кулак) не покусилась на вождя... Воспоминание об этом согрело меня всю жизнь!..

На притихший зал повеяло ветром иного времени, полного тревоги, расстрелов, жуткой демагогии и какой-то нечеловеческой силы... Охранники сидели «как выстрел из ружья», по выражению поэта. Невольно приходило сравнение: те — и эти! И хотя мне были ненавистны и те, и эти, но, конечно же, inferнальная сила, перевернувшая в 1917-м Россию, заметно одряхла в лице теперешних чекистов и отрядных...

В заключение своей «лекции» старикан погрозил костлявым кулаком куда-то за кулисы, адресуясь, разумеется, к американским империалистам.

— Пусть шевельнутся! Мы сметём в полчаса ихние нью-йорки и сан-франциски! У нас есть чем!..

Вопросов задавать не предложил.

Во время одного киносеанса у летней сцены (шёл фильм «Воскресение» по Л. Н. Толстому) с угловой вышки долетел звук выстрела. Зеки в один миг повернули головы. Стадион окаймлял проволочный забор, за которым уже бежали к вышке караульные. Наутро узнали, что часовой на вышке пытался застрелиться из карабина. Причина: хотел перевестись из МВД в другой род войск, на заявления начальство не реагировало. Теперь он в госпитале, живой. Вылечат — пойдёт под трибунал. «Светит» служивому три года «дисбата»...

В те «либеральные» годы посылки и бандероли с книгами, куревом, каким-нибудь угощением поступали в лагерь без ограничений. В наших Степлагах и Минлагах мы и мечтать об этом не могли. Книжки ко мне приходили не только от Эллы, но и от Кочура, Кашкина. Даже Эренбург написал мне о Цветаевой.

Обычно, получив посылку, лагерник приглашал «на чай» товарищей, устраивались вечера, как правило, появлялась фляга. В нашей кружке её приносил Иван Сергеевич — бухгалтер полировочного цеха. И. С. всё ещё переписывался с Ольгой Васильевной Явтух, близкой знакомой Славы.

— Ни у одной женщины такого сердца не встречал, — говорил И. С.

В кружке нашей были люди разного плана, зачастую разных взглядов и судеб. Иногда сводила вместе просто человеческая симпатия. Например, Ивана Васильевича Овчинникова и нас с Е.И. Дивничем. Держался новый знакомый в компании по-дружески, непринуждённо, но о своих злоключениях рассказал только нам двоим. Вот что мне запомнилось.

В своё время Иван окончил Московский институт международных отношений, где изучил в числе прочего французский и румынский языки. Тогда же успел жениться, родился сын. Выпускникам надели погоны младших лейтенантов и зачислили в армейские части. Он попал в Берлин, откуда по идейным соображениям перебежал в ФРГ. Была шумная пресс-конференция. Он заявил, что жить в атмосфере лжи, подавления инакомыс-

лия и среди доносов не мог, поэтому просит политического убежища. Дали довольно быстро. Тамошние газеты публиковали его интервью, его портреты... В это же время в советской зоне Ивана заочно приговорили к высшей мере, о чём он не знал, мог только предполагать. Какой-то период работал на радио «Свобода» (русский отдел) и заодно общался с членами НТС. Вскоре разочаровался в их деятельности и ушел из редакции.

Что делал потом? Снимал комнату в частном доме, писал книгу о себе. Опасаясь за жизнь, спал с револьвером под подушкой... Гебисты, понятно, нашли укромный его уголок. В один прекрасный день заявился к нему благовидный молодой человек («Я сразу понял по его рыскающим глазам, откуда и кто он...»). Впрочем, пришелец не скрывал ни кто он, ни цели своего визита. — «Нам стало известно, что Запад вас несколько отрезвил. Но Родина помнит о вас и ждёт обратно». С этими словами выложил перед Иваном фотографии жены и сына. «У меня всё в душе перевернулось...»

Иван поинтересовался, что ждёт в Союзе дезертира и перебежчика. «Сами понимаете, отвечать придётся, накажут, но не думаю, что — слишком строго...» В дальнейшей беседе гость спросил, нуждается ли Иван в деньгах. Разумеется, от денег тот отказался.

Ну, а дальше пошло по накатанному — советское посольство, переезд в Берлин, снова встреча с журналистами, но теперь отвечал на вопросы по шпаргалке, которую ему надиктовал гебист. «Прошумел» в эфире, в газетах, на радио и немедленно был взят под стражу, отправлен в контрразведку. Привели его в пустую комнату, вышли трое военных, и старший из них, полковник, громко и жёстко зачитал приговор: «к высшей мере наказания — расстрелу». Самолётом переправили в Москву и заперли в одиночку на Лубянке. Днём и ночью, особенно ночью, Иван Васильевич ждал вызова на казнь. Четыре месяца ждал... Пока ему не объявили, что приговор военного трибунала отменён и назначено новое следствие. Надеждами себя не тешил, уверен был, что ждёт тот же приговор. Но обошлось. Скрывать ему было нечего, во всём повинился и получил 10 лет лагерей.

В Явасе вёл себя нормально, с нами общался тепло, но что-то пряталось в его взгляде исподлобья, какая-то тень тоски или досады. Иногда на него «находило». Сегодня, допустим, приглашал к себе в барак, ставил на тумбочку огурцы и чай или же помогал в английском, а завтра бросал на меня угрюмые, даже злобные взгляды, отводил глаза, норовя пройти мимо, не здороваясь. Оставалось лишь развести руками. Е. И. Дивнич признавался, что и с ним И. В. ведёт себя странно.

— Четыре месяца в камере смертника не проходят бесследно для психики. Да и отношения с женой сказываются, — пояснил Е.И.

Тем не менее припадки отчуждения скоро проходили, и Иван снова был мил, улыбочив, снова перелистывал английский роман («Shirley» Шарлотты Бронте) и делился опытом изучения языков.

Е.И. называл Ивана «искателем веры» (по Гумилёву) или «искателем истины» (по Достоевскому), какие на Руси не перевелись и по сей день. Много позже мне говорили, что у Ивана «мозги стали наперекосяк» и он нашёл свою «истину» в антисемитизме. О чём нельзя не погоревать...

Не люблю маньяков, хотя и у меня была своя мания: «Карфаген (то бишь советская власть) должен быть разрушен!»

Близко познакомился я и с Костей Семёновым из Одессы, в прошлом капитаном дальнего плавания. Высокий, статный, красивый, улыбающийся, добрейшей души человек. Думаю, моряки не могли его не любить за характер, хватку, смелость. Он рассказывал, что в плавании обычно писал рассказы, «душу отводил». А подлец-парторг в отсутствие Кости прочитывал написанное и строчил в органы свои, вовсе не художественные заявления...

Семенова судили и дали ему «за рассказы» семь лет. В Явасе Костя – бригадир разнорабочей бригады, ходят за зону. Работяги довольны были своим «бугром», а это редкость.

– Будешь в Одессе – милости прошу. Жёнка у меня там, дочка. Познакомлю!.. – говорил Костя. Для него мир и после заключения не потерял радужной расцветки.

Помню, как возле нас появился Ветерок, любимец всего лагеря. Зекам пёс отвечал взаимностью, но не терпел надзирателей, облаивая их при каждом появлении. Начальник режима приказал было отловить собаку и истребить. Не тут-то было. Загомонила зона, в штаб пошли записки: «Заберут Ветерка – забастовка!» Оставили нашего верного пса, не тронули. На время, конечно.

Иногда я заходил в закуток, где обитал и работал над наглядной агитацией Фёдор Белкин. Он всегда был весел, добр, полон энергии, всегда готов к разговору или чтению стихов. Но прежде всего заваривал чай или кофе для гостя.

В литературном мире у него была репутация поэта-анималиста. Стихи назывались «Лошадь», «Лебедь», «Воробей», «Верблюд», «Волк»... Читал он их почему-то во всё горло, даже фанерные листы на столе колыхались.

Не помню, за что его посадили на 7 лет. Какая-то болтовня в дружеском кругу и... донос. Жена прислала развод, но Фёдор как будто не горевал, а, возможно, умело скрывал свои огорчения.

Стихов его тоже не помню, разве только трогательную картинку: воробей на сорокаградусном морозе вскочил на рельс, и автор пришёл в ужас: такими ножками на прокалённое насквозь железо!

Из «новой волны» зеков запомнился и Вячеслав Репников. Сидел за «связь с антисоветским зарубежьем»: из озорства открытой почтой послал в США предложение завербовать его в качестве агента ЦРУ. Он неплохо знал языки: английский, испанский, французский... За дерзость такую получил чудак десять лет.

Столько же дали Рыбкину, маленькому, скользкому, юркому. Про него даже показывали у нас на зоне фильм, снятый ещё на воле скрытой камерой. Рыбкин прибежал с табуретом, усаживался перед экраном и вновь и вновь видел себя на московском тротуаре быстрого вышагивающим рядом с высоченной блондинкой – гостьей из-за океана. Голос за кадром драматически вещал: «Вот так предают родину рыбкины!..» Он тоже знал

языки, переводил что-то, был, наверное, достаточно развит, но общение с ним исключалось...

Нашему брату, измученному режимом, можно было передохнуть среди людей свежих, среди идеалистов и протестантов – первых ласточек будущей свободной России, не пугала для всего мира, а как мечталось, светоча.

Будущий герой расстрельного «самолетного» дела Эдик Кузнецов был всегда собран, сосредоточен, в нём постоянно чувствовалось внутреннее напряжение, работа мысли и души... Как-то мы встретились на лагерном «тротуаре» (я работал в ночной смене и был днём свободен, а он, может быть, «закошил» в этот день, не помню). В каптёрке при бараке он сварил нам на печурке по чашке кофе и стал рассказывать о своей переписке с какой-то москвичкой, предложил мне прочесть пару её писем. Может быть, хотелось поделиться своей радостью? Было неловко читать эти письма, но он настоял.

Да, письма были прекрасны – и по стилю, и по содержанию. Лирика, философские раздумья, литературные темы, и надо всем – дух свободы, который можно было скорей почувствовать, чем прочесть глазами. Нашим цензорам такие письма были не под силу. Молодой человек, к которому они были обращены был счастлив. Мне вспомнились письма Риммы и Эллы. Откуда у женщин такая способность о сложном говорить просто, ясно и красиво?..

Тогда Эдик Кузнецов сидел за «площадь Маяковского». В нём чувствовался скорей космополит, и этим он отличался от содельников – В. Осипова и И. Авдеева, хотя и у того, и у другого тогдашние взгляды были лишены позднейшей националистической окраски.

Володя Осипов не расставался, например, с книгами Ключевского, даже спал с ними. Работал над его лекциями серьёзно (я видел конспекты). Вызывает недоумение, как можно после *Ключевского*, с одной стороны, и после *чудовищных явлений XX века*, с другой (ленинизм, национал-социализм, фашизм гитлеровского и сталинского образца) – как можно было так бездарно скovyрнуться к шовинизму, который неизбежно пропитан ненавистью?!

Я был глубоко убеждён, что ни фашизм, ни расизм в России невозможен. Русский человек и фашист – антиподы («Россия – родина слонов» в 40-е годы звучало с грузинским акцентом). Германец, француз, англичанин – имена существительные, что-то резко обозначенное. Русский – прилагательное, то есть прилагается к любому жителю одной шестой земли. Взгляд свысока на иностранцев ему неприсущ. Он всегда умалит своё и возвеличит чужое. То же можно сказать о «чистоте нации, крови, расы». Россия – конгломерат многих народов, то же, что Америка, но только на более древней основе... О какой чистоте крови и расы можно говорить, если, например, основоположником рода Толстых на Руси был купец-немец Дик, а в роду Достоевского – литовцы, не говоря уже о Пушкине и Лермонтове, о Жуковском (мать – турчанка) и Блоке (дед – немец), о Фете (отец – не

то немец, не то еврей), о писателях, чьи фамилии татарского происхождения: Аксакове, Тургеневе, об украинцах Гоголе и Короленко...

Вот и собери здесь чистокровное вече!

Тогда Осипов был похожим на студента Ульянова. Был добрым малым, любил посиделки за чаем, умел рассказать остроумный анекдот про Володю, Надю и Феликса, при этом сам заразительно смеялся.

Лагерный переплётчик Виктор Треммель, крупного сложения человек лет пятидесяти, опираясь на костыли, поведал нам с Е.И. Дивничем свою историю.

Родился в Николаеве в семье фольксдойчей. Когда пришли немцы, комиссариат города привлёк его как переводчика, а затем он стал начальником украинских полицаев в Херсоне. Фигура для меня одиозная, неприемлемая, но я с любопытством всматривался в резкие породистые черты лица, слушал беглую южно-русскую речь. Казалось, он радовался случаю и говорил, говорил...

— Крисккомиссариат получил от осведомителей список коммунистов, оставшихся в Херсоне, примерно полторы сотни фамилий с адресами. Я присутствовал на совещании, где было решено арестовать и в дальнейшем ликвидировать этих людей. Стал обдумывать, что делать. Предупредить всех, кому угрожал арест, невозможно. Среди них могли быть и были предатели. Через своего человека в комиссариате я получил копию списка и решил провести собственную операцию. За два дня до назначенной немцами облавы вечером я поднял на ноги своих полицаев и разослал по городу. Через час в «міській управі» было не протолкнуться. Все камеры в полиции были забиты. Я вызывал задержанных к себе в кабинет, ругал их за большевизм и приказывал в течение ночи покинуть Херсон. Большинство так и поступило. Те же, кто медлил и выжидал, конечно, поплатились. Крисккомиссар, человек мягкий и с которым я был в хороших отношениях, признался мне, что недооценивал местных коммунистов, поскольку мало кого удалось задержать, чем он, немец, был даже доволен: меньше хлопот.

Мы с Е.И. Дивничем поначалу недоверчиво слушали столь странные признания бывшего полицака.

— Осенью 1941-го года наши места посетил Гиммлер. Повсеместно была дана команда уничтожать евреев, — рассказывал далее Треммель, адресуясь в основном к Е. И. (они были примерно одного возраста). Во мне он, может быть, чувствовал что-то «не то». — Согласно повестке, в назначенный день евреи, взяв на три дня продукты, должны были собраться на местном кладбище. Был пущен слух, что их отправят под Одессу, на сельхозработы у немцев-колонистов. Солдаты и офицеры сидели по казармам и квартирам, город был свободен от военных. Я пребывал в кошмаре, никак не верилось, что такое возможно.

Детей! Хотя бы нескольких ребят спасти от ужасной участи! На улице, ведущей к кладбищу, находилось здание бывшей школы. В ней помещался, так сказать, филиал полиции. Поток бредущих к кладбищу мужчин и женщин, детей и стариков тянулся мимо

ворот школы. Этим я и воспользовался. Я приказал своим хлопцам отбирать у идущих детей, всячески уговаривая и успокаивая родителей. Конечно, я рисковал головой, но ничего не мог поделать с собой. Кто отдавал малых, кто нет. Таким образом в школе набралось тридцать с лишним детишек. На наше счастье, был базарный день. Я погрузил их в крытый брезентом грузовик и, сев за руль, отвёз на базар, даже своим хлопцам не сказав, куда и зачем везу детишек... Про исход из города евреев приезжие сельчане уже были наслышаны. Появившись среди народа с малыми, я выкрикнул: «Разбирайте детей, живо! Мотайте с ними домой! Через неделю приедете ко мне, только без них, выдам документ на каждого!..» Знаете, Евгений Иванович, расхватали детишек в пять минут. Всё поняли мигом и поверили человеку в форме... Хорошие у нас люди! – прибавил он, вытирая глаза платком (ручаюсь, это были неподдельные слезы!). – Через трое суток евреев с кладбища повезли в село Калиновку в десяти километрах от Николаева и расстреляли. Там же нашли свой конец николаевские евреи... Общее число, говорили, 35-40 тысяч человек...

Треммель помолчал, глядя на дальний лес, потом продолжил.

– В 1944-м году при отступлении немцев я забрал семью и уехал в Германию, кочевал там, пока в конце концов не оказался в Вене, где мы и обосновались. Лет через пятнадцать списался с сестрой, проживающей в Киеве. Полагал, что время всё занесло, поехал повидаться с сестрой и её семьёй и угодил прямо в тюрьму. Следствие, суд. Те ребята-еврейчики, которых я привёз когда-то на базар, повзросли. Узнав, что меня будут судить, приехали в Киев и, пока шло судебное разбирательство, не выходили из здания, ночевали в коридоре суда. Собирали подписи в мою защиту, обращались во все инстанции. Ничего не помогло, на суд их даже не пустили. Теперь вот посылки шлют мне, письма...

Он снова вытер глаза, потом вытащил из пазухи свёрток писем, показал. Дул ветерок, мимо ходили люди, а мы читали душераздирающие благодарственные строки «спасителю» Виктору Треммелю. Это было на второй лагерной улице, которую зеки в шутку называли Большой Фашистской...

Из Явасского дневника 1961 года:

10 января. Станный сон на днях: гнедая лошадь в канаве, её заносит песком, пока не скрылись под ним шея, голова. Чем зеку поделиться с товарищем? Сном. Рассказал Ивану Сергеевичу. Успокаивает, спадёт с меня горе и ложь какая-то...

15 янв., воскр. В мир предельной ясности я как будто пришёл оттуда, где всё неясно и важно... Шумят паротрубы, люди далеко, за окном ночь, лаборатория ярко освещена. Напоил любимицу бригады – нашу несчастную кошку, заварил чай...

20 янв. Днём спал плохо. Уши терзал баян, пока баяниста не пообещали спустить по лестнице.

24 янв. Махорка, шум в трубах... Перевожу. Пишу.

2 февр. Ветер со всех сторон, насморк, кашель...

19 февр. Ночью потрогал ветки кустов у барака: кажется, почки...

Латыш, скромник и умница, дал мне почитать две антологии английской поэзии XVI и XVIII веков. Золотые россыпи, нам неизвестные. Переписывал.

А вот «процентов не даю», как сказал бы Е. И.

8 марта. Из письма Елки — Эллы Маркман: «Теперь я уже учёная: постигла истину, что нельзя возвращаться мыслью к тому, что расслабляет, убивает волю и т.д. Человек начинает видеть мир только через свои несчастья (которые очень часто и не несчастья вовсе, а просто жизнь)...»

2 апр. Пронизывающий ветер: весна первоапрельничает... Вороны преследуют кошку. Голуби состязаются в скорости с ястребом. Вечером над крышей барака кричат утки, летящие на север. Эхом отдаётся голый лес. Снег сошёл. Всё чаще забываем свои телогрейки, смотрим в небеса, слушаем звон воды.

4 апр. И.С. охладел к своей «мадонне».

Кошка, чудом не сгоревшая в камере, теперь выздоравливает, ни на шаг не отходит. Кормим рыбой.

9 апр. Ранняя в этом году гроза. За окном раскатывается, и в стёкла стучится дождь. Антология. Англию в те века называли «гнездом поющих птиц».

24 апр. Дед и баба забрали, наконец, Ларису с собой на Западную Украину... Нервы теперь не шалят. В прошлом году было что-то неопишное.

28 апр. Лариса проехала Москву. Играет со сверстницами и бегаёт по коридору. Южнее Котласа ещё был снег.

2 мая. У Эллы родился мальчик.

Брат Е.И. из Австралии развлёк нас тамошними обычаями. Женщины носят что-то вроде папах, одеваются в скромные цвета. Оскорбишь женщину — каторга, но пьют они больше мужчин. В моде худые, толстых не признают, разве только жену Хрущёва.

Концерт. Девочка Лора читала стихи. Растрогала, растрожила.

7 мая. Воскр. Слухи... Тревожное ожидание лета.

19 мая. Пожар! Сгорела сушильня! Участвовал в тушении. Обгоревшие доски тягой огня переносило через дома посёлка, их находили возле железной дороге.

Указ от 5-го мая. Давят, гонят.

25 мая. У нас перемены (читай газеты!)

26 мая ... Понял, чего боюсь. Себя. Того, скрытого, которому — сны.

27 мая. Жара, душно, а ночью — комары. Несёт «репудином».

6 июня. Письмо от Э.М. Ошиблась в одном: чувство Риммы ко мне не удалилось. Оно длится. Узнав откуда-то адрес, пишет сюда полные отчаянных глупостей письма. Почти год.

11 июня. Воскр. Лариса пьёт свежее молоко, спит в саду. Её в то же время опутывают родственники Славы — но я бессилён.

Всё жаждет дождя, только неделю назад был гром.

12 июня. Притащили за шиворот Бобика, окатили водой. Ветерок наблюдал, как тот визжит, вырывается. Когда Бобика отпустили, он со зла накинулся на Ветерка и немного покусал его.

Зеки хототали и хлопали себя по животу...

16 июня. Хемингуэй застрелился! В его уходе что-то толстовское... Как раз читал «Снега Килиманджаро», когда сообщили.

4 авг. В 7-м номере «Всесвіта» переводы из Шекспира бывших интинских зеков – Г. Кочура и Дм. Паламарчука.

8 сентября. 2-го числа Слава с Ларисой отправились через Одессу в Николаев – к моей маме.

14 сент. Лариса в яхтклубе на Ю. Буге.

Э. пишет, что Гия и Этери кинулись переписывать моего англичанина Сиднея. Может быть, они заинтересовались вот этим сонетом, хотя должен заметить, что перевод получился слишком вольным. Это скорее вариация на тему Сиднея:

*Душа моя! Ужели мрак ночной
 Нам предстоит? Стремясь к высокой цели,
 Сквозь лабиринты мира мы сумели
 Найти свой путь – и вот он, мир иной!
 Ты вострепнулась? Там, в разрывах туч,
 Сверкает солнцем дальняя дорога
 В края никем не виданного Бога,
 Чтоб ты летела на призывный луч.
 Но медлишь ты отправиться в полет
 Туда, где, может быть, никто и не был.
 Стыдись, душа! Ты – уроженка неба.
 Тебе ль жалеть оставленную плоть?
 Ты лучше вспомни: разве это тело
 Тебя хоть раз при жизни пожалело?*

17 сент. На интинских дождливых улицах встают наши тени... Вспоминаю. Дождь. Мокрый пар над терриконами, пустынная, залитая водой улица Кирова. Элла однажды раньше ушла с работы, мы шли по шпалам шахтной железной дороги, я поправлял её волосы... Читала стихи в любом месте и приучала нас. Помню и сельхоз, когда я по щиколотку стоял в воде. Или вечер на Больничной улице, её в фартуке, подающую гостям пирожки, волнующуюся, всё ли так?.. Теперь это история.

Удалась жизнь? И что такое «удалась жизнь»? Что такое мечта о покое занавесок?

А тут годы без остановки – похожие один на другой.

3 окт. Ко мне опять никто не приехал. Лариса в Бережанах, Слава в Инте.

14 окт. Маме Лариса пришлось по душе. И Афанасию Яковлевичу, и Анне Семёновне. У девочки голубые глаза, вьющиеся волосы, умница, но капризна.

30 окт. Кто это сказал так кстати, что любовь не прощает только одного – добровольного отсутствия?

4 ноября. Кто не следил за съездом? Но это жалкая подачка народу, всего пять процентов правды, лишь уголок занавеса, который чуть-чуть приподняли...

В Москве появился сборник М. Цветаевой.

10 ноября. Е.И. подарил мне часы, и сразу стало не хватать времени. Первый снег, мороз и ветер. Надо ушанку, шарф, рукавицы.

Куда-то уехал Слава Гасюк. Куда — он сам не знал.

12 нояб. Воскр. В спине «выстрелило», что-то поднял, теперь на койке. Сидеть или повернуться на бок не могу.

Из Бережан письмо. У Ларисы острый, скорый на ответы ум, масса вопросов. Весь день она на дворе.

20 нояб. Нас, аппаратчиков, перевели из 2-го в 5-й отряд. Боль прошла. Пишу сонеты — вот умора!

5 дек. «День конституции». Объявили новый режим. Идёт дело к удушению. Ссылки на статьи в «Сов. России» «Человек за решёткой» (начальство говорит: общественность потребовала!). А в «Новом мире» — «Преступники и общество» тоже общественность?

Свидание раз в год, одна посылка в 4 месяца (5 кг), два письма в месяц.

Читаю Белинкова о Тынянове. Чудеса в решете: как пропустили?!

12 дек. Снег сошёл, тянет морозом. Фильм «Казачьи» (по Толстому). Оленин — о жизни, любви, природе, ошибках. Разве не об этом должен думать человек? А думает о чём?

Э. прислала книги, в том числе книгу о шахматах, изданную в Варшаве. Роскошное издание. Для камина, трубки, халата и шлёпанцев...

Из новых стихов:

*Когда забор одет в закат
И в травы вкраплено ночное,
Не надо сердцу потакать
И оживлять пережитое.
Ведь я — не я, а майский жук,
Летящий над запретной зоной
И протянувший рожки рук
На запахах мокрого газона.*

19 дек. «Новое положение», наконец, зачитано.

Э. пишет, что в памятные дни больницы ближе меня у неё никого не было. Я знаю и не боюсь разорвать заколдованный круг... Что мне претит, спрашивает она... Скрытая, сжатая страсть её писем туманит. Она никогда не говорила «люблю», но за неё говорили глаза, волосы, руки и единственный поцелуй в оные дни, голос...

20 дек. Неужели нужен был Явас, чтобы раскрыться? И это будет сломано?

А тут! Встреча с капитаном, однофамильцем Ивана Васильевича. Зловещее происшествие. Напоролся бедолага-опер! Небось, долго не забудет. В результате — еду на «особо строгий»...

21 дек. В мороз ехали из Яваса в Ударное, на «особо опасный».. Шмоны. Где будем работать, не знаем. Холод собачий, я в летнем х/б. Перед отъездом получил от Э. банде-

роль с Блоком третьего тома. Смотрел в вагонзаке. Мне тоже придётся вспоминать капитана Овчинникова!.. Мороз. Сапоги поют. Голуби назойливы...

Посёлок Ударный — «особлагерь». Перед отправкой успел проститься с товарищами и знакомыми: Игорем Авдеевым, Эдуардом Кузнецовым, Валерием Осиповым, Вадимом Козовым, Иваном Овчинниковым, Славой Репниковым, Юрием Храмцовым, Володей Тельниковым. С одними — на время, с другими — навсегда.

Нелегко было расставаться с Евгением Ивановичем. Нас связывал Минлаг, московская страда 1959-го года, два явасских года. Огорчала и коробила его публичная позиция, но, в конце концов, человек волен «сжигать то, чему поклонялся», если это не сопряжено с предательством. Е. И. посетовал, что остаётся в одиночестве, просил при случае уверить Игоря и Бориса, что они не забыты и он сделает всё возможное для их досрочного освобождения. Я признался, что и мне будет не хватать общения с ним...

По меркам Степлага и Минлага *шмоны* перед посадкой в вагон и по прибытии были «так себе», я провёз чемодан, набитый книгами и тетрадями без особых приключений. С волнением ступал я по мёрзлой земле, направляясь с вахты к предназначенному мне барaku. Где-то здесь покоились останки монахинь и священников, расстрелянных чекистами в 20-е годы... Бросилась в глаза рожица старинных деревьев внутри зоны. Летом будет тень для гуляющих зеков.

Мне досталась верхняя койка в углу барака. Я растянулся на ней и закрыл глаза. Вспомнился Явас, товарищи, «аллея вздохов», сушильня. Как теперь там? В углу копошилась толпа уголовников. В Явасе мы отвыкли от них. А здесь, где «по идее» собраны «сливки» со всего Дубровлага, они, кажется, чувствуют себя вольготно. И всё же, говорил я себе, переезд был необходим. На одном месте даже в лагере человека затягивает обыденщина. Встряска во благо... Хотя ничего хорошего от завтрашнего дня ждать не пришлось. Наступало тёмное, трудное, голодное время.

На третьей койке от меня — длинный, интеллигентного вида молодой человек уткнул нос в книгу. Разговорились. Юра Вандокуров учился в Харьковском университете, где однажды пустил по рукам свой «Антикоммунистический Манифест» с красноречивым эпиграфом: «Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти!». Заработал десять лет. В Дубровлаге пытался бежать и теперь как «рецидивист» — на Ударном. Увлекается философией, ищет «подходы» к советской власти с другой стороны... Меня несколько насторожила такая его откровенность буквально с первых же слов. Ну, да я больше слушал, никак внешне не проявляя заинтересованности его откровениями.

В столовой неожиданно встретил Ярослава Гасюка. Он как будто обрадовался, но по-своему, то есть сдержанно. Закрытые люди. Ничего нараспашку. Не только он, но многие, кого я встречал с Западной Украины. Сказал, что жена его Галина придет на свидание, уговаривает и Славу навестить меня. Я ещё не остыл от прошлого лета: в своих поездках по стране она не сделала главного — не привезла ко мне Ларису, полностью

игнорировала мои просьбы в письмах, как бы не читая их, не откликаясь на них... Между нами действительно была пропасть.

После обеда Юра пригласил прогуляться по зоне. Я воспользовался случаем осмотреть лагерь. 10-й – по размеру значительно уступал 11-му, хотя включал две зоны – жилую и рабочую. Население лагеря жило в трёх бараках, один из которых наглухо отгорожен деревянным забором. Там содержались верующие: как будто прокажённых, начальство изолировало их от остальных заключённых. Дабы не заразились девственные души верой в Бога и загробный мир.

Посреди зоны в строении барачного типа, в одной половине располагался лазарет, в другой – канцелярия и кабинет опера. В доме напротив были кухня и столовая. К караульному помещению с вахтой примыкал «дом свиданий», а в противоположном углу красовался кирпичный домик, сооружённый, как говорили, после войны пленными немцами – баня.

Знакомятся люди по-разному. В лагере к человеку присматриваются: как ведёт себя, что читает, с кем общается, даже как ест. С Аркадием Суходольским и Борисом Вайлем, угодившими в лагерь за свободомыслие и «ревизионизм» уже после XX съезда, я познакомился как-то сразу. Находясь в идеологическом вакууме, тогда много молодёжи в поисках ответов на «больные» вопросы – «кто виноват?» и «что делать?» – снова вырुливало на марксизм-коммунизм, «исправленный» по-югославски и по-евро. Помнится, когда я отпустил какое-то непочтительное замечание в адрес Ленина, Аркадий и Борис заговорщицки переглянулись, дескать: «Да как он смеет!..» Тем не менее разница во взглядах не мешала нашему сближению. Они не пытались обратить меня «в свою веру», я тоже не навязывался, уважая в них людей, с достоинством носивших звание политзека.

Суходольский был старше Бориса, в глазах что-то страдальческое, его какая-то неизбывная мука (вот уж кому подходило определение «искателя истины!»), хотя в речах это никак не проявлялось. Борис же был типичный лагерный «студент». Бледнолицый, худощавый, с большими выразительными глазами, с привлекательной усмешечкой, когда он хотел выразить согласие или протест. Разговор с ним никогда не перерастал, что было обычно в лагере, в спор, и это подкупало, давало возможность через некоторое время снова обратиться к интересующей нас теме. Он умел слушать – качество редкое не только в лагере.

Между прочим, своих новых товарищей я смог угостить кое-чем более существенным, чем разговоры. Меня догнала через Явас посылка из дома. Её посылали к Новому Году весом в 11 кг, и начальство колебалось, выдать ли, поскольку посылки разрешались только в 5 кг. Всё-таки 3-го января выдали, и вечером мы сварили суррогатный кофе, напекли блинов на итальянском масле и встретили свой Новый 1962-й год блинами и мёдом.

Я уже более или менее освоил станок по изготовлению шахматных пешек, слонов и других замечательных фигур. Чтобы привыкнуть к мельканию зажатой в патрон чурки,

требовалось время. Заготовка иногда выскакивает из зажима, норовя попасть тебе в лоб, в глаз или в лампу дневного света... Станочников в цеху около полусотни. Нормы, конечно, были издевательски высокими, еле вытягиваешь минимум (25 процентов), и это позволяет не попасть в отказчики со всеми вытекающими последствиями...

А вообще, хотя ОЛП живёт впроголодь, но живёт. Привозят фильмы, иногда хорошие. В январе показывали «Мир входящему» — картина, которая, полагаю, оставила в душе каждого что-то очень доброе, немеркнувшее. Или «Чистое небо» с Урбанским, с проносившимся мимо встречающих арестованных мужей женщин поездом. Библейские кадры!..

В зоне проводился шахматный турнир. Есть и библиотечка (за баней), зачитанный до ветхости пастернаковский Шекспир или «Вазир-Мухтар» Тынянова... Есть поэты. Ещё ходила по рукам замечательная книга Гревса «Тацит». Редкая, незабываемая вещь, появившаяся в те сумрачные времена.

Ну и, конечно, письма с воли! В феврале получил безутешное — от мамы... Болела вирусным гриппом, уж досталось Илье Антоновичу. Потом переживала, не получая моих писем. «Этот проклятый режим! — пишет она. — И перед соседями стыдно...» Бедная женщина!

Даже блатные иногда с уважением относятся к политзекам: страдают-то «за народ», а значит, и за них.

Косая пурга, глухомань... Скоро март, снег спадёт, оживут деревья. Мама, держись, милая! И каждый день восемь часов из-под резца летят пешки, а в голове — стаи мыслей, прошлые дни... А потом — на койку и отходишь от гуда, голосов, пыли в цеху, грохота мисок. В бараке — влялый трёп, заунывная песнь по радио. Иногда проходит мордвин-вертухай, взгляд бегаёт, щупает...

Был и обход начальства. Однажды толстый майор сдвинул книгу на тумбочке: «Они ещё читают?». На вопрос: «Почему запретили в лагере Мопассана, Бальзака, Стендаля?» — ответил: «Начитаетесь — и дрочить начнёте». — «А вы сами-то их читали?» — «Зачем? У меня своя баба есть!»

Лучшие минуты, когда вечером в пещере барака собираются друзья. Сидишь на койке, подвернув ноги по-турецки, пьёшь чай, беседуешь. Вокруг мирно, уголовники играют в «шеши-беши»... В другом углу читают «Братьев Карамазовых».

Борис и Аркадий познакомили меня с любопытным человеком. Лицо нервное, тонкое, такие же руки. Вольт Митрейкин — лагерный философ, мистик, резчик шахматных коней. Читает на память отрывки из «Фауста» в переводе Холодковского. Где это я слышал эту фамилию? Аркадий поясняет:

— У Маяковского. Помнишь, «кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки»? Это про отца нашего Вольта — поэта Константина Митрейкина. Гений небрежно задел его, и тот в тридцать лет покончил с собой, оставив на свете вот этого мальчика в годовалом возрасте...

Конечно, Аркадий многое путает. Митрейкин ушёл из жизни через четыре года после самоубийства Маяковского. Тогда вообще была мода кончать с собой. Иначе с тобой

кончали. Но Вольт не возражает Аркадию, нехотя, даже виновато улыбается, разводит руками... Ему тоже тридцать скоро. За что сидел, я так и не узнал. Он не рассказывал, а в таком случае незачем лезть к человеку в душу...

Чем он удивил, так это миниатюрной Библией, переписанной мельчайшим почерком на тончайшей бумаге, размером чуть больше спичечного коробка. Невольно подумалось: если будет когда-нибудь в России Музей зека, — такое «рукоделие» станет его украшением.

Помнится, шёл разговор о 1917-м годе, революции, уместна ли она была, своевременна ли, и Вольт вдруг обронил:

— Мы не клопы, чтобы принимать узор ковра, по которому ползём, за всю вселенную...

Как-то привёл с собой в барак настоящего, с бородой хироманта. Когда очередь дошла до меня, тот сказал:

— Я видел отпечатки пальцев Цезаря, Наполеона. На ваших нет знака славы. Вы родились под знаком овна, который даёт страдание и требует сущности. В 56 лет умрёте, причём насильственно...

Насчет последнего он ошибся, мне удалось разменять восьмой десяток. Что он нагадал другим присутствующим, не помню.

Юрий Винокуров, устав читать лёжа, спрыгивал вниз и бежал вон из барака. До меня дошёл слух, что Юрий «стучит куму», и, я решил проверить, взял его под наблюдение. Выхожу следом. Смотрю: мотается в рощице между деревьями, читает на ходу Плутарха. Слухам я не верил, и было противно следить за человеком, но, признаться, я ещё пару раз стоял на пороге барака, смотрел, не завернул ли он в контору к куму... «День длинных ножей» в 1950-м году в Кенгире оставил во мне зарубку: не всем слухам надо верить. В тот день убивали стукачей. Нескольких зарезали в рабочей зоне, а трех-четырёх — в жилой. Под горячую руку попал Валька Бычков, последние слова которого были: «Братцы! Я ни в чем не виноват!» Потом начали разбираться, кто на кого показал, есть ли доказательства и т. д. Выяснилось, зря убили Вальку.

Как-то пошёл я к Юрию в рощицу. Он увидел меня, обрадовался:

— Послушайте, тут Плутарх говорит о нас, то есть не совсем о нас, а о спартанцах: скудость питания развивала дерзость и хитрость и увеличивала рост мальчиков. Тяжелый груз пищи гонит тело вниз ивширь. Лёгкость в животе устремляет дух вверх. Не согласны? Понятие о красоте человеческой британское: худоба легче сообразуется с правильностью членов. Не потому ли мы все здесь такие лёгкие, такие красивые?..

Походили, походили между стволами. По зоне то здесь, то там шастали одинокие фигуры лагерников. И Юра вдруг сказал, что ему ужасно надоел десятый, да и любой другой ОЛП, что лучшее место для него — тюрьма, хотя бы в том же Владимире. Пожалуй, он был большим радикалом, чем я. Юра продолжал: попасть в желанную одиночку можно через новое следствие, новую судимость. По крайней мере, несколько месяцев будут твои. Можно думать, читать, даже писать, если ухитришься...

Разумеется, я стал горячо разубеждать его: думать, писать, читать в лагере доступнее, чем в каменном мешке. Нельзя позволить мизантропии захлестнуть себя, нельзя давать себе поблажку, нужно тренировать волю.

Что ж, через несколько месяцев, Юрий пошёл-таки в бега, и его судили в третий раз. Я получил от него весточку, он сообщил, что ничуть не жалеет о содеянном, едет на постоянное местожительство — во Владимирский Централ. Так вот устраивались иной раз зеки — «чем хуже, тем лучше». К сожалению, Юрия я больше не встречал, что с ним стало потом — не знаю. Может быть, прочтет эти мои заметки — откликнется, если еще живой...

На Ударном я был год и два месяца. Ну, конечно, случались разного рода происшествия. После каких-то сложных переговоров Юрия Ганшина с нарядчиком я был извлечен от чурок и удушающей пыли, перейдя в полировочный цех. Работа была сидячая: на свежую шашечницу накладываешь картонный трафарет и наносишь чёрно-белые квадраты. После просушки покрываешь лаком — и доска для сражений готова. Руки заняты, голова и язык свободны. Нас семеро, у каждого есть что рассказать, не замечаешь, как время идёт, обед, потом ужин, и ты свободен до отбоя. Нормы и тут аховые, вытягиваешь чуть больше, чем на пешках, зато не надо тратить нервы, работа спокойная.

С нами старик, каких когда-то любили изображать передвижники. В фартуке, лоб повязан косынкой, благообразная далевская борода, глаза выцветшие, но малюет доски ловко, споро. Он из сибиряков. Взгляд суровый, говорит, не спеша, о том, как в гражданскую войну его, молодого парня, мобилизовали красные, как заставили воевать с белыми. Речь яркая, самобытная — заслушаешься. Относимся к нему с почтением, он это чувствует и принимает с царственной простотой. Однажды, когда пронирливый Юра Ганшин принёс под полой куртки литровую банку очищенного из лака спиритуса и старина принял порядочную порцию, он поведал нам про Колчака. К сожалению, время стёрло красочные подробности его рассказа, но я хорошо запомнил, что «градусы», воспоминание и наши глаза, устремлённые на него, растрогали старика до слёз.

— Нет, сынки милые, Бог свидетель, я только на внешней охране стоял. Расстреливали другие... Ясное дело, тревожился, беспокоился, повторял про себя: так надо, так надо. Их двое было. Адмирал высокий, второй, что с ним был — низенький ростом. Ах, каких людей убивали! Только потом дошло до ума: умирали они за свободу России!.. Но совесть не угомонишь. Вот и маюсь за всех, кто стрелял, за безрассудное это: так надо...

Юра Ганшин тоже хлюпает носом, утирает глаза. Потом старик примолк, понутив голову, заговорили другие, пошли в ход полуполюгендарные детали давно минувшего: гитара и любимый романс «Гори, гори, моя звезда...» в ночь перед казнью, золотой портсигар, подаренный-де одному из расстрельщиков: «Русскому солдату — от русского адмирала»...

Весной 1962-го года заключённых переодели в полосатую робу (штаны, куртка, телогрейка и бескозырка). Объяснения начальства были смешны: «Общественность требу-

ет!» Какая? Кто? Где? — об этом молчали. На вышках часовые менялись со словами: «Пост по охране особо опасных преступников сдал!» «Пост по охране особо опасных преступников принял!»

В фашистских концлагерях облачали в одежду, по которой полосы шли сверху вниз, вдоль тела, что придавало человеку роста даже в его униженном состоянии. «Наши» придумали полосы поперёк туловища, и человек становился приземистее, ниже. Издали толпа зеков походила на лентообразную движущуюся массу — идеальный намёк на то, что ждёт человечество при полной победе коммунизма.

Лагерный художник Вася Лошихин устроил «вернисаж». Добровольцы следили за вахтой, за вертухаями — не появятся ли. Посетителей было немного, все свои, приглашённые. Полотна в скромных рамках прислонены к газонам, и зритель медленно двигался по дорожке, изучая Васины сюрреалистические творения, мрачноватые, иногда пугающие отображения вышек и не то деревьев, не то людей за колючей проволокой. Одним из посетителей был Борис Фёдорович Леонов, пожилой человек с лицом хищной птицы и пронзительными немигающими глазами. Голову в полосатой шапочке он держал высоко запрокинутой, смотря на мир как бы свысока. Одной рукой опирался на палку, другую трубочкой приставлял к глазу и подолгу разглядывал выставленные полотна. Говорил скупно и взвешенно, слушали его снисходительные отзывы почтительно.

На выставке я и познакомился со «Стариком Собакиным», как за глаза и по-дружески величали его Борис Вайль и Аркадий. В лагере Борис Фёдорович писал литературно-философские работы. Помнится, несколько раз мы собирались у кого-нибудь в бараке, и он ровным голосом читал этюды о Томасе Манне, Хемингуэе, Бунине... Слушать его было интересно, каждый писатель вдруг представлялся своеобразным, на свой лад борцом со смертью. Чувствовалось, что мысли Бориса Фёдоровича, как птицы, кружатся над одной темой — темой смерти, страхом перед смертью. Хотел автор или нет, но он возбуждал во мне, например, участливое отношение к себе лично, а не к Бунину, Хемингуэю или Томасу Манну — победителям смерти. Сочувствовал элементарному — прожитым годам, сроку впереди, нездоровью...

Как-то раз «Старик Собакин» рассказал такой эпизод из своего прошлого:

— Лето 1918-го года. Всё в движении. Мы — курсанты политпросвета, в гимнастёрках, в ремнях, молодо, бодро смотрим в сияющий завтрашний день, хотя только что отбушевали белочехи на Сибирской магистрали, хотя тучи сгущаются, поднимают головы эсеры, Савинков, Перхуров на Волге. Тут приехали к нам вожди наши. Зал был переполнен. В президиуме — Ленин, Троцкий, Луначарский. Председательствует Свердлов. Повестка известна: революция в Европе, белоказачки и тому подобное. Сидим, вытянув шею, глотая со сцены каждое слово. Вдруг за спиной президиума появился человек в кожанке, наклонился к Свердлову, подал какую-то бумагу, исчез. Свердлов передал бумагу Ленину. Тот бегло просмотрел, и, кивнув, вернул Свердлову. Поднявшись, тот обратился к залу. Так, мол, и так: решением Уральского военного совета в Екатеринбурге казнён гражданин Николай Романов... Курсан-

ты заплотировали. Ленин поднял голову, посмотрел на нас странно так, загадочно посмотрел. Мы захлопали пуще прежнего. Свердлов поднял руку и стало тихо:

– Вы понимаете, товарищи, мы в центре не давали на это санкции. Будем считать ваши аплодисменты ответом на телеграмму уральских товарищей.

Минуты три-четыре тянулась пауза. Казалось, присутствующие, каждый про себя, осмысливали такое событие: смерть царя!

После чего Ленин повернулся к Свердлову и буднично произнёс:

– Перейдём к текущим делам.

Совещание продолжалось...

Уголовников, попавших в нашу зону, политическими можно было назвать лишь в насмешку над большинством лагерников. Здесь блатные спасались от своих дружков, от постоянных разборок. Делали татуировки у себя на лбу, например: «Долой Хрущёва» или «Раб КПСС», прибавив для пущей важности ещё и свастику на щеке. Писали листовки того же содержания и т. п. На десятом ОЛП их было человек двадцать. Числились они за санчастью, начальство обязало их скрывать лица под марлевой повязкой, которую, впрочем, они охотно поднимали для любопытствующих. Позже их стали увозить... И вскоре лагерная радиоточка сообщила о прошедших судах и казнях за антисоветские татуировки. В общем, политзеки и блатные не мешали друг другу. Хотя и жили вперемешку, «кучковались» по отдельности.

Был у меня один знакомый, недавно поверивший в Бога – Володя Экономов. Где-то на слух записывал православные молитвы и приносил мне проверить, исправить ошибки. Я посоветовал пойти к какому-нибудь священнику, так как молитвы были на церковнославянском языке. Он нашёл священника, и однажды тот рассказал Экономову не совсем обычную историю.

Недалеко от лагеря рыли канаву для прокладки труб. Какой-то работяга из уголовников, по кличке Химик, почему-то ходил за зону и вкалывал вместе со всеми (обычно они предпочитали отсиживаться в зоне, на что начальство смотрело как на неизбежное зло). Углубившись в землю, зеки обнаружили братскую могилу. И надо же было именно уголовнику наткнуться на останки священника в почти истлевшей рясе. Пошуровал лопатой – и ахнул: лопата звякнула о большое позолоченное распятие с цепью (такие кресты украшают одеяние священников во время церковных служб). Глянув туда-сюда, убедился, что никто не заметил его находку, припрятал её на себе. Бригадир через конвой сообщил по начальству, что обнаружили трупы. Начальство немедленно прибыло. Опер выругался, велел засыпать траншею и работы пока прекратить. Химик вечером украдкой показал крест одному священнику, тоже заключённому, (они тогда ещё жили в общих бараках) и спросил, золотой ли крест и сколько за него можно выручить денег. Священник сказал, что крест тяжёлый, возможно, и золотой. Насчёт денег ответил, что крестов не продавал, сколько стоит, не знает. Спросил Химику, где достал. Тот рассказал. Священник горячо стал уговаривать чадо

неразумное крест ни в коем случае не продавать, а вернуть церкви. «Ты что, батя! Где ты видишь церковь?». «Повсюду, где есть верующие, где творят молитвы, где есть служители церковные!». Химик посмеялся фразерским речам и ушел. В зоне до этого строили новый барак, потом почему-то стройка застопорилась, стояли только стены – без крыши, окон, дверей... Там дня через два в углу нашли зарезанного Химика. Креста при нём не оказалось. А затем всё повторилось. К тому же священнику пожаловал другой уголовник с тем же крестом, задавший те же вопросы и получивший те же ответы и советы... Повторилось и убийство, после чего крест, конечно, исчез, как говорят, «с концами».

Священник был в ужасном волнении и никак не мог решить, идти ли к начальству или пустить события на самотёк. Общаться с начальством зеку, особенно священнику, было не принято, но ведь блатные не понимали, что играют с огнём, потому что для них крест являл собой лишь золотишко, а не священный предмет, с которым не шутят. Кажется, он всё-таки обратился в контору. В лагере провели генеральный шмон, но что искали, осталось неизвестным. Нашли ли, тоже никто не знает...

По радио сообщили, что умер Уильям Фолкнер, в то время властитель наших душ, Его «Особняк» мы только что прочли, передавая из рук в руки. Собрались, помянули по русскому обычаю банкой очищенного лака, пущенной вкруговую...

В августе срок мой уже перевалил за половину. Образно говоря, стрелки часов стали падать, время побежало быстрее. И крута беда, да забывчива, и лиха беда, да избывчива, как говаривал еще один зек Феликс Карелин, тяготевший к фольклору. И кто-то, до сих пор не знаю кто, подложил в мою тумбочку банку масла и пакет сахара! Я про себя подумал: спасибо, кто бы ты ни был, друг. И созвал приятелей на чай. Просил Вольта почитать что-нибудь из «Фауста».

В конце августа доставили на десятый Игоря Ковальчука-Ковалева. Мы по-братски обнялись. Он всё такой же подтянутый, живой, не изменяет себе, строит новые планы, хочет хорошенько изучить теорию фотографии, чтобы на воле работать фотографом. Пожаловался на жену, которая намерена лишить его права на детей. Я мог бы ему напомнить, как он пошёл против воли своей матери, против товарищей в Инте, скоропалительно женившись, но, как говорят, лежачего не бьют. Игоря, человека созданного для семьи, готового отдать семье все силы, все помыслы свои, предаёт уже вторая жена, предаёт самым подлым и омерзительным способом – отнимает детей! Пишет ему, что он не должен «ерепениться» и пусть откажется от них «подобру-поздорову!» Игорь не знал, что делать, как поступить. Он не знал даже, имеет ли она право требовать такое, что говорит в таких случаях закон... Я просил не горячиться, написать ей спокойное урезонивающее письмо, а там будет видно.

Я познакомил Игоря с Ганшиным, и тот по моей просьбе сходил к нарядчику, после чего Игоря направили к нам «на доски». К тому времени мы в полировочном составили неплохую дружную компанию. Обычно все сидят на своих местах и малюют «квадраты», а

один читает что-нибудь интересное в том же «Новом мире», который продолжает получать и на «особом режиме» Борис Вайль. Так мы прочли, помнится, «Дневник Лины Костенко» и многое другое. Это Игорю пришлось по вкусу. Он говорил, что, хотя питание тут хуже, чем на общих ОЛПах, он не ожидал, что так повезёт с работой.

Кубинский кризис не оставил нас равнодушными. Весь мир ахнул, когда американцы разоблачили поползновения кремлёвских заправил поставить на Кубу ракеты и нацелить их на американские города. «Ползучая революция» давала себя знать! Через месяца полтора у нас в зоне уже ходил по рукам «Ридерз дайджест» с речью Кеннеди, с хронологией событий, с подробностями того, как мир стоял «у бездны на краю»... Не удивительно ли, в советском концлагере — американский журнал?!

Перед концом рабочего дня пришёл Ярослав Гасюк и пригласил подняться с ним по лестнице. С крыши цеха осмотрели окрестность. Солнце уже заходило за верхушки деревьев, менялись краски неба, темнела на глазах листва, а мы всё смотрели и смотрели поверх забора на опушку леса, где летом застрелили двух беглецов, двух «особо опасных», дерзких рванувшихся в «Большую Зону», для нас тоже запретную...

7-го ноября 1962 года я получил от матери письмо. Наконец-то, она *призналась!*..

«Я больше не могу скрывать от тебя тайну... Я скоро умру, и ты должен знать... Ты мне не родной, а приемный сын. Отец твой в прошлом дворянин... Когда-то имели особняк в Каменец-Подольске... Уже в советское время у них служила домработница... Забрюхатела от молодого хозяина. Когда все открылось, ее выгнали из дома... Она тебя принесла в детских ясли, где я была сестрой-хозяйкой, исхудалого, грязного и в отрепьях... Мы с мужем своих детей не могли иметь, решили взять приемного:

— Отдайте нам мальчика! Выкормим, воспитаем...

Твоя мать согласилась. Оформили через ЗАГС.

Ты поправился, стал живым, красивым, только глаза твои так и остались грустными... Тобой любовались все наши знакомые... Да и мать не забывала, тянуло её к тебе, приходила-ла... Мы поспешили уехать на Кавказ. Она и там нас нашла...

Мне хотелось, чтобы детство твоё было спокойным, а нас ты считал родными... Теперь сам разберись, чей характер у тебя, почему ты не похож ни на меня, ни на моего мужа, почему тебя постигла такая тяжёлая участь...

Она говорила, что ты на отца похож. Был он высокий, кудрявый. Немало девушек вздыхало по нём... Ещё она говорила, что крестила тебя в сельской церкви на Тёплого Алексея... Вот почему ты всегда был холоден ко мне. Наверное, чувствовал, что не мой родной. И это было самым большим моим горем... Илья Антонович не знает об этом. Никто не знает. Так лучше. Но он всегда читает мне вслух твои письма. Ты уж, сынок, не пиши об этом...»

Я шатался по стадиону, заходил в рощицу, избегал встречных. Я прожил жизнь, не зная ничего этого... Чувствовал, но не знал. Ну и что особенного? Что тут необычного? Необыкновенного? Разве страна наша обыкновенная? Сколько судеб, сколько жизней,

похожих на мою! И всё же, всё же, как сказал философ, оглядываясь на своё прошлое, я вижу *«бесполезные принципы, тщетные надежды, расстройство фантазии, необузданную веру, славные плоды безумия!...»*

Я лежал на койке и прикладывал ладони к горячему лицу... Исповедь матери задела душу глубже, чем я мог позволить себе в моём фантастическом бытии. Рядом в спёртом воздухе барака ворочались, кашляли или едва дышали мои собратья, солагерники, современники — моя новая семья...

3-го января 1963 года мы прочли «Один день Ивана Денисовича». Два месяца нас мариновало начальство, читало само и вот под Новый Год пустило в лагерь. Спасибо Борьке Вайлю, настояя! Журнал сначала попал в руки Бориса Фёдоровича, и в наш угол набилось немало народа. То ли от слабого зрения, то ли от непривычного сочетания слов, Борис Фёдорович, читая повесть вслух, спотыкался, запинался, пока не обессилел и отдал журнал соседу, т.е. мне. Стал читать я. Прибегали из других бараков, но мы не отдавали повесть, пока не прочли ее сами в один присест.

Вспоминаю, как с каждым словом, с каждой страницей росло в душе волнение. Но я продолжал мчаться дальше, и со мною целая гурьба зеков замерла, не дышала, ловила всё на лету... Читали без перекуров. В эту минуту в барак вошли два вертухая. Прогулялись вдоль пустых нар, подошли к нам. Я продолжал чтение: *«Сколько ни молись, а сроку не скинут. Так от звонка до звонка и досидишь... Что тебе воля? На воле твоя последняя вера терниями заглохнет! Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь у тебя есть время о душе подумать!...»*

У надзирателей вытянулись лица. Они с изумлением слушали, а я не сбавляя голоса. Наконец один из них не выдержал, осторожно спросил: «Что читаем?» Я повернул журнал обложкой к глазам надзирателя: — «Новый мир». Москва. 1962 год.

Вертухаи обменялись растерянными взглядами, пошли вон — быстрее, ещё быстрее, совсем быстро. В окно было видно — на вахту!

Когда было прочитано последнее слово, наступила мёртвая тишина. Две-три минуты и — взорвалось! В каждом — своё, больное, пережитое. Говорили, что Иван Денисович — «не герой, а простой мужик», что в повести нет «ужасов». В махорочном дыму говорили без конца: каждый вспоминал свою историю...

Спрашивали: почему разрешили такое? Каждой строкой, каждым словом автор был вне советского печатного чтива. Как будто какой-то великан посмотрел внимательно на лагерь, на нас, подслушал речи и мысли наши и написал эти замечательные восемьдесят страниц!

Кто-то сказал: «Ну, теперь русская литература реабилитирована!» И ещё: «О Солженицыне не спорят!»

Слухи, разговоры про каменную могилу спецтюрьмы. Уже отстроена. Кого-то отправят туда сушить своими телами мёрзлые стены, обледеневшие углы. Кого-то вернут на

строгий режим. И начальство засуетилось, что-то считают, что-то кому-то передают. Стало известно, что Игорь Ковальчук-Коваль и Борис Вайль идут на спец. Впервые вижу, как разволновался Слава Гасюк. Пришёл ко мне в барак, ругается: начальник отряда определил его туда же. Подарил мне свои «переклады»... Надо будет отослать его жене, если поеду в Явас. Хотя готов и на спец, подхожу по всем «параметрам»... Власти не знают, как задавить нас. Ведь ходил же зловещий слух об отправке 58-й и указников в Монголию для расправы с нами без свидетелей.

Как-то в полировочном цехе появился лейтенантик, новый отрядный, ещё, по-видимому, не испорченный лагерем, ещё простодушный. Что и проявилось в его наивных расспросах: кто и за что попал на десятый? Зеки разговорились, каждый по очереди рассказал о своём случае. Я воспроизвёл перепалку с опером в Явасе, после чего кум отправил меня сюда. Визиту отрядного не придали значения, но он что-то чиркал в блокноте...

Через пару дней снова увидели его в цехе. Оказывается, он «представлял» на какую-то комиссию нашего деда с повязкой на лбу и меня. Не без гордости сказал, что сумел таки нас отстоять. В результате я и дед простимся с товарищами и полосатой робой, поедем на 11-й. С нами отправятся Вольт Митрейкин, Б.Ф. Леонов, А. Суходольский, Феликс Карелин и другие.

Я пережил странное чувство – офицер из вражьего стана заступился за нас, зеков! В моей тюремной «одиссее» это был единственный случай. Игорь вручил мне свои записки, которые я надеялся спрятать в чемодане среди книг и тетрадей с моей хроникой «Россия. День за днём».

Оставалось три года срока, и я не знал покоя, гоняли с места на место. Сначала в Явас, в прежнюю бригаду, только не лаборантом, а на укладку деталей для сушильных камер. В бригаде меня встретили тепло, поднесли чарку «горилки» из чешского лака. А на следующий день, обрядившись в фартук и рукавицы, я уже вовсю работал... Сначала уставал до звона в ушах (ведь прибыл с голодного ОЛПа), но мало-помалу втянулся.

Старые друзья: Игорь Авдеев, Юра Храмов, Иван Овчинников, Слава Репников – встретили сердечно, засыпали расспросами про «особо опасных». С Евгением Ивановичем Дивничем просидели до полуночи... Об отправке Игоря в спецтюрьму Е. И. узнал от меня, и ему стало дурно. Я бегал за таблетками к фельдшеру. Пытаюсь успокоить Е.И., я говорил, что Игорь физически и нравственно в хорошей форме, что человек он стойкий и сильный, и мы все ещё встретимся...

В зону прибыли из Ростова новочеркасцы. Инженер завода, на котором началась заваруха, Белик со всевозможными подробностями рассказал о мятеже, демонстрации и расстреле, о том, как свирепствовали в городе спецуполномоченные ЦК КПСС Фрол Козлов вкупе с Микояном.

Вечером однажды, когда я дочитывал «Дневники» Роберта Скотта, по радио сообщили об убийстве Джона Кеннеди. Весть потрясла зеков, по крайней мере, круг моих знакомых. Кеннеди любили. Мужественный, благородный американец! Банде громил показал

кулак — единственное, с чем они считаются, и те забили отбой, поджали хвосты... И вот расчёт?!

23 января 1963-го года помиловали Е.И. Дивнича. Прощаясь, я сказал ему:

— Запомните, как было хорошо здесь летом. Как мягко шумели итальянские липы в «аллее вздохов», как ярко пылали клумбы. Запомните и эти разорванные облака, плывущие с рязанщины! Стоит припомнить и Минлаг. И всех, кто пересекался с Вами, Е. И., и с нами.

Не знаю, что подумал он (может быть, решил, что я помешался!), но в глазах его сверкнули слёзы. Собираясь ко сну, я припомнил Гёте: *«Тот, кто в смутное время сам колеблется духом, зло умножает и средства даёт ему разрастаться».*

У Б.Ф. Леонова отнялась правая сторона тела, но он всё же, опираясь на палку, выходил в коридор лазарета. Навещал я его ежедневно. Принёс по его просьбе детский мячик, который он теперь не выпускал из беспомощной правой руки, стараясь разбудить в ней нервы и мышцы... Сидели мы на стульях у стены, держался он спокойно, пытался шутить. Неподдалёку от нас — группа литовцев, посетившая земляка, оживлённо что-то обсуждала. Неожиданно Б.Ф. сказал: — Встаньте, Леонид! Вы присутствуете при звуках санскрита!

В языках он разбирался. Будучи атеистом, читал на память «Отче наш» по-гречески и латыни, смакуя каждое слово. Кстати, обнаружив неподвижность правой руки, тотчас стал тренировать левую, заставляя пальцы держать карандаш и писать... Неистребимое племя, теперь, пожалуй, сходящее с дистанции.

Неожиданно в сентябре 1963-го года меня опять «дёрнули» на этап. Я успел попрощаться с товарищами, просил их навещать Б.Ф., забежал к нему в лазарет. Простились. На моё замечание, что он и в лагере сказал о писателях-современниках оригинальное и запоминающееся слово, он вдруг привстал, опираясь на палку, и, потрясая ею, обратился в пространство:

— Одного я хотел в жизни — мыслить! Да, господа большевики, мыслить!

Уходя, я оглянулся. Никогда не забуду полусгорбленную фигуру Б.Ф. с поднятой палкой. Как точно прозвали его вайлевские друзья!.. Поражённый болезнью и роком, он всё-таки грозил советским властям «олимпийцам» своим посохом.

На вахте 7-го ОЛПа первым, кто приветствовал меня, был Игорь Ковальчук. Наконец-то его выпустили из «Трешера», как он называл спецтюрему 10-го ОЛПа. Вечер провели вместе, он угощал отличным кофе. Говорили про Е.И. Дивнича В январе, освободившись, он уехал в Иваново к жене и усердно добивался помилования для друзей. Накануне моего прибытия Игорь получил от него письмо, сообщавшее, что у Е.И. был инфаркт миокарда, еле выкарабкался, теперь в больнице. Пишет, что эта «повестка с того света» озадачила,

но он ещё надеется что-то сделать «перед уходом». Конечно, нелегко ему достались эти годы.

Большую часть оставшегося срока я провёл на 7-м ОЛПе в Сосновке, где встретил старых товарищей и познакомился с новыми. Из «стариков» – Март Никлус, Эдик Кузнецов, Владимир Осипов, наш Борис Оксюз и ещё несколько человек. Встречались на пустыре, где жгли костры, ставили на два кирпичика прокалённую кружку, заваривали чифирь, пили тут же или, захватив кружку грязной рукавицей, мчались в барак, а там поджидала компания «алчущих и жаждущих»... Так при свете костра я увидел Васю Лощинина, и, приглашённый на чай, последовал за ним в барак, где он познакомил с любителями поэзии, в основном, молодёжью из нового поколения зеков.

Стихотворцы лагеря! Я встречал их и в Голодной Степи, и в лесотундре, и в Мордовии. Люди, особенно в России, не могут жить без стихов, не могут не читать их друг другу. У меня сохранилась с той поры тетрадь альбомного типа, в которую друзья-товарищи записали свои стихи. Листая её, вижу их лица, слышу их голоса, и становится горько и больно, но и утешно от мысли, что хоть что-то осталось, что стихи живут... Пусть зачастую слабые, но были среди них пронзительные, исчерпывающе прекрасные. И всегда искренние...

Это люди были очень разные. Саша Фенёв, имевший небольшой срок, всего три года, находился постоянно в подавленном состоянии. Казалось, ничто теперь не вернёт ему уверенности в себе, в своих силах. Но на лагерных посиделках, среди товарищей, приходил в себя, веселел. Полной противоположностью ему был Геннадий Тёмин, старый зек, «видавший виды», бежавший даже с Колымы. По интеллекту, по культуре Саша превосходил Генку, но в стихах Тёмина, слегка подражательных Есенину или Клюеву, было обаяние веры в добро.

Интересным человеком и поэтом вспоминается Анатолий Радыгин, влюблённый в море, космос, науку. С ним никогда не было скучно. С каким подъёмом он читал свои «космические сонеты», которые, будь они опубликованы, украсили бы любую антологию! (Теперь по своей воле ушёл из жизни Александр Фенёв, а в Америке, как мне сказали, умер Толя Радыгин...)

Стоит упомянуть москвича Валентина Рыскова, женственно-изломанного, уже полывсевшего, вписавшего в альбом дюжину таких же изломанных творений; Бориса Шумова, в пространных стихах его преобладали религиозные мотивы; Альберта Новикова, показавшего занятные попытки новаторского подхода к стиху; наконец, Николая Платоновича Попова, слабого стихотворца, но постоянного участника литвечеров...

Борис Сосновский при мне стихов не читал, зато я с удовольствием проглотил там, на 7-м ОЛПе, его обширное эссе, посвященное деятелям Французской Революции, идеалистам и демагогам, запросто отправлявшим на эшафот сотни жертв. Влюблённый в этот период истории, он знал всю подноготную событий и исторических деятелей. Аналогии с нашей современностью приходили сами собой, и сделано это было мастерски, а читалось с благодарностью к автору.

Валентина Соколова, взявшего псевдоним Валентин З/К, всегда встречали бурно и радостно. Я с любопытством присматривался к человеку, слышшему среди зеков лучшим поэтом ГУЛАГа, известного уже далеко за его пределами. Держался он просто, хорошо, без малейшего апломба. Ничего «заблатненного», как я раньше слышал про него, не было. Принесли чай, кружка пошла по кругу... Задымили махоркой, стали читать стихи. Дошло дело до Соколова. Он читал поэмы «Гротески» и «Тени на закате». Упёршись локтем левой руки в стол и прикрыв ладонью ухо, полузакрыв глаза, читал глуховато, но внятно. Впечатление было сильное. Невольно я спрашивал себя: кто из наших современников мог бы сравниться с ним по напряжению содержания и и изощренности формы, оставляющих в душе незабываемое впечатление?

Порой, прерывая чтение, он обводил нас суровым, властным взглядом и, вдруг улыбувшись, спрашивал:

– Может, заварим ещё?..

Подхватывались, притаскивали пачку или две чая, неслись на двор, где ещё догорали костры... Кружка с чефиром шла по кругу. Потом снова просили стихи! И Валентин читал:

*Ледяной водой окатят,
Постригут и обушлатят,
И от деток уведут,
И посадят к тиграм в клетку,
И забудет папа детку,
Детки папу проклянут.
И погонят по этапу
Очень тихую толпу...
У конвоя на погоне –
Звезды страшной ночи.
Краснозвездный сытый страж твой
Свежей крови хочет...*

Просили читать еще и еще, и он не чинился, не ломался, читал щедро, от души, прекрасно зная, что это нужно людям, что они изголодались по правде, по настоящему русскому слову. Как выяснилось, мы с Валентином одногодки. И если исключить мои лагеря в Германии, рисунок судьбы был у нас почти одинаков. 1948-й год, Бутырка, суд – здесь полное совпадение, только срока были разные: ему дали десять, мне – двадцать пять. Потом его отправили на Воркуту, а меня – в Казахстан, но через два года я оказался в Инте, почти рядом с Воркутой. Освободился он тоже, как и я, в 1956-м году, а в 1959-м я «загрел» на семь, а он ещё в 1958-м – на десять лет. И вот встретились. Добавлю еще, что он, говоря по лагерному, меня «уважал» и при мне не позволял себе приблатнённости, как это бывало с другими. Крепкий чай или очищенный лак любил. Много курил. Пользовался авторитетом среди зеков, иногда разрешал среди них конфликтные ситуации... Человек щедрый, яркий и высокоталантливый...

Услышат ли его новые поколения? Голос сына России, замученного в неволе, услышат ли?

С такой же готовностью, с какой отзывался на просьбы читать стихи, он дарил свои рукописи. Особенно тем, кто освобождался. Он первым открыл мой альбом, записал с десяток своих стихотворений. Прибавил впридачу две школьные тетради.

Теперь Валентин З/К издан, его читают, о нём думают, спорят. *«Я родины сын, И это – мой сан, А всё остальное – сон...»**.

В зоне проходят так называемые «суды». «Разбирают», в основном, *двадцатипятилетников*, сидевших «за военные преступления». Вели они себя тихо, покорно, нормы выполняли-перевыполняли, в лагерной газетке калялись (но не сами: будучи малограмотными, шли к отрядному, и тот за них писал). Они же носили повязки на рукаве, то есть были опять в «полицаях», теперь уже лагерных...

В награду – «представление на предмет освобождения».

«Суды», открытые для зеков – потеха, от которой несло жутью.

Спрашивает судья:

– Расскажите о своём участии в расстреле советских граждан.

– Та цэ булы нэ гражданы, а жиды...

– У вас в приговоре записано триста человек.

– Та хто их лычы, начальничек? Их гналы, а я за кулэмэтом сыдив... Трыста – цэ дуже забагато запысано...

Освободили? Да! Я видел его потом в столовой. Ложкой варенье ел. С чувством собственного достоинства.

Действительно, куда *его* денешь? *Таких* дремучих любимцев начальства, о которых оно пишет: «Встал на путь исправления»...

Впрочем, благодаря «судам», зона постепенно очищалась от них.

Вызвал отрядный. Друг друга видим в первый раз. Пухлый, краснолицый, пустоглазый... И откуда таких берут?

– Писали на предмет помилования?

– Нет.

– Значит, мать ваша писала. Она болеет. Прокуратура СССР запросила характеристику на вас. Вот, я уже написал. Знакомьтесь.

Читаю... Слошь отрицательная. Спрашиваю его:

– Вы меня когда-нибудь видели? Со мной беседовали?

– Зачем? У меня агентурные данные. Нормы не выполняете. В общественной жизни не участвуете. Антисоветские разговоры ведёте. Сами виноваты.

* Из неволи В. Соколов так и не вышел: после политлагеря – бытовая зона, потом психушка, где он скоропостижно скончался 7 ноября 1982 года. (Соколов В. Глоток озона. М.: ЛХА «ЛИРА» – журнал «Москва», 1994.)

Что ж, логично. Я поднимаюсь, иду к дверям.

— Пойдите! Распишитесь, что ознакомились.

В ответ хлопаю дверью.

Есть в лагере чудная бригада, чудные люди! Баптисты. Я им давал «Чтец-Декламатор» в прекрасном переплёте — так издавали в дореволюционной России. Стихи, стихи! От Державина к Блоку и Гумилёву. Ребята списывали в свои тетради стихи о Боге, переложения псалмов. Уговаривали всячески продать им «Чтеца», но я не сдавался. Жалко было расставаться. Теперь направился прямо к ним.

— Давайте, друзья, чего не жалко. Пришла минута такая! Читайте хрестоматию своей...

Ох, рады были! Ох, забегали по бараку. Нанесли кофе, чаю, сахара и вдобавок — 15 рублей (тогда это была немалая сумма).

От них пошёл в «куток», как называли свой барак в углу зоны блатные. Станный был «куток», непохоже, что тут живут воры. Хотя усмешечки, кое-какое кривляние и там было, но между своими. С нами, политзеками, вели себя цивилизованно. Мы там собирались иногда, чтобы отметить свои праздники: Пушкинский день, Пасху. Мне на день рождения преподнесли торт с инициалами (Юрка Худой заказал в пекарне).

Жила у них слепая кошка Катя с двумя котятками, ёжик, четыре сороки, щеглы. В особой будке ворковали голуби — медлительные «драконы».

Там всегда был костёр, всегда сидели вокруг люди, пусть блатные, кто-то перебирал струны гитары. Меня встречали, как «старого зека», приветливо... Выложил чай, приберегая кофе для своих поэтов, и впервые в жизни попросил несколько затяжек махорки, смешанной с планом. Главным среди них был Юрка Худой, серьёзный, по-своему умный. Говорили, что был быстрый на расправу, но справедливый. Он строго посмотрел мне в глаза, что-то понял, спросил:

— Может, не надо, Лёша?

— Давай! — махнул я рукой.

Перемешали махорку с зелёным порошком, сварганили сигарку. Пустили по кругу. Рядом сидел Валька Рекушин, из блатных, но «нахватавшийся» у политзеклов разных знаний и привычек.

Я не представлял, как подействует на меня наркотик. Окружающее вдруг стало восприниматься остро, кристально чисто, впечатления и мысли менялись мгновенно, сердце стучало с бешеной скоростью, в то же время я слышал каждое слово, видел малейшее движение глаз сидящих у костра. Они уделяли мне почему-то особое внимание. Помню, Юрка Худой сказал Рекушину сурово:

— При нём будь.

Рекушин и я поднялись и пошли по деревянному «тротуару» вдоль барачков с нависающими над ними ветками деревьев... Валька не умолкал, голос его то возникал в сознании, то угасал, пропадал. Помню, что всё, попадавшее на глаза, волновало необычайно.

Какой-нибудь воробышек на качающейся ветке заставлял сердце биться ещё чаще, и до такой степени, что вот-вот грудь разорвётся. Мир казался умытым и прозрачным. Это было счастье...

—... у меня тоже есть мама... — донёсся до сознания обрывок Валькиной фразы.

Ах, мама!.. В ответ на её исповедь я признавался ей в любви сыновней, писал, что горжусь ею, что ни одна женщина, встреченная мною, не годится ей в подмётки.

Тут снова подвернулся воробей на ветке, снова я заволновался, но дурман проходил, я уже владел собой, уже удивлялся, что это со мной было, и понимал, что такого «утешения», такого насилия над душой, мне больше никогда не понадобится.

В воскресенье утром, выйдя из столовой, я увидел лагерников, бегущих к забору. Там уже шумела толпа, слышались негодующие выкрики! Оказалось, что какой-то заключённый бросил доску на запретку и полез по ней через проволоку. Метрах в тридцати от часового на вышке. Часовой, говорят, плакал, умоляя не лезть: «Ведь я тебя должен убить!» (Как переменялось время! В степлаговские времена *попки* радовались, если им удавалось кого-нибудь подстрелить!) Зек продолжал ползти по доске. Часовой выстрелил в воздух. Прибежали солдаты, свободные от вахты, во главе с начальником караула. Сержант сжимал в руке пистолет. И когда зек поравнялся с рогатиной и деловито перекинул ногу через ряды проволоки, сержант дважды выстрелил в упор. Заключённый скovyрнулся, но зацепился правой штаниной за проволоку и повис вниз головой. Так погиб Анатолий Ромашов, получивший накануне письмо о том, что жена ушла к другому.

Висел он минут пятнадцать или двадцать, пока бегали за лестницей, пока до него добирался надзиратель Швед, который могучей дланью оторвал его от проволоки, поднял повыше и ухнул изо всей силы оземь. Под рёв толпы. Возмущение, гнев, проклятия сыпались на головы начальства... В толпе уже собирали подписи под быстро написанными петициями к высшим советским властям, к мировой общественности, в ООН. Инициатором этого был Март Никлус. Я прочёл обращение к ООН: «На глазах сотен заключённых убили человека, убили трижды: 1) выстрелами в упор; 2) оставили в подвешенном состоянии истекать кровью 20 минут; 3) ударили головой оземь с пятиметровой высоты».

Срока у А. Ромашова было всего три года, отбыл уже два.

14 октября 1964-го года произошла смена в верхах. Рассказывали, что в Крыму Хрущёв выбежал на балкон с криком: «Сталинисты захватили власть!». А в английском парламенте во время дискуссии о Советах Черчилль, почётный член парламента, всегда дремавший в своём кресле, вдруг очнулся и сказал: «Хрущёв десять лет боролся с трупом Сталина, и труп Сталина его победил!» Англичане — любители парадоксов, это известно.

В зоне отнеслись к уходу Хрущёва по-разному, но большей частью равнодушно. Хрущёв успел порядочно надоесть, а на смену ему пришла спевшаяся клика, вдруг осознавшая, что из фундамента государственного здания ни в коем случае нельзя удалять

такой «камень», как Сталин... Возврата к сталинизму особенно опасались заключённые, и опасения эти имели основания.

Я работал какое-то время в подсобной бригаде на распиловке и колке дров, жил в одном бараке с Николаем Ивановичем Ульяновым или, как его называли в зоне, «Колдуном» — за гадания, остроумие, рассказы... При возвращении бригады с работы, на *шмонах*, он иногда до смерти мог испугать какого-нибудь *вертухая*: «Отыди, змей! Порчу нашлю!». И вертухай, сам не свой от страха, пропускал его без *шмона*, что очень веселило нашего брата.

В связи с событиями в центре Н.И. вспомнил 1930-й год, когда их, курсантов ленинградского военно-морского училища, подняли по тревоге, посадили в поезд и привезли в Москву, где с вокзала доставили прямёхонько в Кремль. В каком-то роскошном зале их встретили важные чины и пригласили за роскошно накрытые столы. Начался «пир горой», тосты за вождей, как водится. Появился оркестр, девушки-десятиклассницы, начались танцы. Полторы сотни курсантов веселились всюду... Перебравших уносили в соседние комнаты, укладывали на диваны, ухаживали за ними. Потом девушки как-то незаметно исчезли, но братва продолжала застолье.

Вдруг прозвучала команда: «Встать!» И в зал вошли Ворошилов и Будённый. Они успокаивающе жестикулировали, поощрительно улыбались. Ворошилов встал на стул и обратился к курсантам с небольшой речью. Так, мол, и так, время суровое, и у советского правительства и у нашей партии немало всяческих врагов — не только за рубежом, но и внутри страны. Больше всего они, конечно, ненавидят нашего любимого и дорогого учителя и вождя Иосифа Виссарионовича Сталина! И мы с Семёном Михайловичем надеемся, что в случае какого-нибудь выступления против великого вождя вы, курсанты, молодёжь наша, не подведёте, грудью встанете на защиту социалистической революции. Ура, товарищи!.. Прокричали «ура», Ворошилов и Будённый выпили по бокалу за здоровье Сталина и ушли, пожелав всем приятно провести ночь. А в пять утра погрузили нас на машины, отвезли на вокзал и отправили обратно в Питер. Такая вот была весёлая ночка! Что там у них творилось наверху, до сих пор не знаю...

В самом деле, что у них было тогда? Начало новой политики — ликвидации класса «кулаков»? XVI съезд? Процесс над «Промпартией»?..

Наступил 1965-й год, последний год заточения моего. Читатель уже знает, что от лагерных реалий, от внезапных поворотов в судьбе я постоянно уходил в другой мир — в мир переводов и чтения. Это, возможно, и спасло меня в водовороте событий, желанных или вовсе не желанных встреч, знакомств, но, главное, увело от собственных мыслей, трудных и неизбывных, от задач, которые выдвигала жизнь и решать которые не было у меня ни сил, ни желания. Это была реакция на почти четвертьвековые жестокие испытания и мытарства.

Но приходит наконец час, когда человек, «герой» данного рассказа, должен осознать свою жизнь, что в ней было так и что не так. Не всё же в ней были одни «беспольные

принципы», как говорит философ, или «тщетные надежды»! Может быть, злу, которое довлело над этой жизнью, противостояло добро? Иначе можно ли было пережить войну, тюрьмы и лагеря?!

Я не собираюсь по примеру Робинзона Крузо подсчитывать плюсы и минусы выпавших на мою долю приключений. Боже упаси! Я слишком фаталист для этого, верю, что человека в его земном странствии сопровождает невидимый сонм высших существ, злых и добрых. Может быть, это можно выразить как-то иначе, но у меня именно такое ощущение, что жизнь сама по себе чудо, она не может состоять из одного мрака, и потому всегда *«над каменоломней звезда свободная горит»*, увлекая душу ввысь и помогая ей выстоять.

Мы вернулись с работы и разбрелись по койкам, когда в секцию вбежал штабной «шестёрка»:

— Ситко, живо в штаб, к куму!

Накинув бушлат, потопал не без тревоги: чего им ещё от меня надо? Вот и дверь с табличкой «Зам. начальника по КГБ». Сюда, что ли? Дневальный кивает: сюда, сюда...

Толкнул дверь, вошёл. Из-за стола встаёт Евгений Иванович Дивнич, улыбается сквозь слёзы, хватая меня за плечи в моём замызганном бушлате и прижимает к своему новенькому дорогому костюму. Когда прошла минута волнения, мы уселись: он на стул кума по ту сторону стола, а я напротив. Выглядел Е. И. неважно, но глаза те же — внимательные, добрые, улыбочивые. Сказал, что провалялся в больнице, ещё не совсем пришёл в себя, но добился разрешения посетить однодельцев и помочь им выйти на волю раньше срока. Что и было твёрдо обещано в Москве. С Игорем Ковальчуком-Ковалем уже виделся. Теперь — со мною. Как я смотрю на такую перспективу?

Мне было не по себе, признаться. Не хотелось огорчать человека, отдающего последнее здоровье на то, чтобы помочь ближним. И не только здоровье, но и душу! В Явасе мы немало спорили по этим вопросам, и повторяться не хотелось. Тем более в кабинете оперчасти!

Я сказал, что искренне радуюсь за друзей, за их семьи. Что Евгений Иванович проявил незаурядное упорство, вытаскивая из лагеря Бориса и Игоря. Но за меня хлопотать не надо. Осталось «добить» год, и я хотел бы выйти по звонку, не раньше.

— Иного ответа я не ожидал от вас, — сказал Дивнич.

Мы ещё посидели, уже молча.

— Хочу посоветоваться с Вами, дорогой Лёня, — сказал он., поглаживая толстый портфель на столе слева от него. — Я готовился выступить перед заключёнными, изложить мои взгляды, Вам известные... Как, по-вашему, они отнесутся к этому?

Я удивлённо посмотрел на него. Неужели он не понимает?

— Евгений Иванович, приезжал сюда бывший священник Осипов, Вы, наверное, о нём слышали? (Е.И. кивнул.) Выступал с лекцией «Почему я стал атеистом». Жалкое зрелище!.. Среди зеков обнаружилось двое учеников семинарии, знавших какие-то подробности его предыдущей жизни, не очень красивые подробности. Ему задавали вопросы, на которые он не смог вразумительно ответить, и под хохот всего зала убежал со сцены.

Я помолчал, затем продолжил:

– Евгений Иванович, я по-дружески очень прошу Вас не выступать. Сегодня на ужин будут давать помидоры, по штуке на брата. Обычно – гнилые...

– Хорошо, – потупился Дивнич. – Спасибо... Я приму Ваш совет.

Прощаясь, Е.И. встал. Ни намёка на высокомерие не было в его глазах, тот же кроткий любящий взгляд. Он как бы прощался со своим славным прошлым, со свидетелем его прежней борьбы за освобождение страны от лиходеев. Он понимал своё бесславное настоящее, когда он согнулся перед властью имущими, умоляя о пощаде для тех, кто, как он считал, по его вине «загребел в лагерья»!..

В бараке на койке меня ждал гостинец в бумажном мешочке: банка кофе, пряники, конфеты. Последний привет от Е.И.

Я поваялся на койке, отдыхая и пытаюсь читать, но книга не помогала. Сами собой пришли стихи:

*Или я уж вконец расстроен
И душа до того охладела,
Что и мыслей нет, кружащихся роем,
Только чувствую тяжесть тела.
Только чувствую тяжесть света,
Ржавой проволоки и плакатов,
Тяжесть чёрного человека
Там, на вышке моих закатов.*

А потом позвал товарищей – на кофе и пряники.

Текст своего выступления Дивнич наговорил на плёнку. Утром и вечером радио передавало его по всему Дубровлагу. Так продолжалось три дня. И три дня зеки, заслышав его голос, ругались, издевательски комментировали и плевались...

А неделю спустя меня вызвал отрядный, тот самый, с плавающими глазами. По моему, он был в смятении, изумлённо показывая мне запрос прокурора Дубровлага Ганичева: «Почему з/к Л. К. Ситко не пишет просьбу о помиловании?»

– Потому что не хочет, – сказал я.

1-го сентября 1965-го года пришло письмо от Ильи Антоновича: мать скончалась. В письме был и календарный листок: 25 августа, среда, карандашом приписано: в 17.15...

До этого потихоньку уходили мамыны родные. В Пятигорске умерла сестра Мария Яковлевна Фомичева (тётя Маня моего кавказского детства). Потом после тяжелой болезни 29-го марта умер брат матери Афанасий Яковлевич Ткаченко. Той же весной умерла племянница отца Лидия Аркадьевна Разменова, самый близкий маме человек в последние годы. Какое-то поветрие косило наших родичей...

Галина Васильевна Мышкина снова доказала, что старый друг лучше новых двух. В июне она по своей инициативе ездила в Николаев, провела возле матери месяц, ухаживала за ней, даже купала ее, словом, утешила напоследок. И уже как врач написала мне подроб-

но о болезни и неизбежном конце... Писала, что мать любила меня очень, всё вспоминала меня мальчиком. В житейских делах Галина Васильевна была не менее «старомодна», чем в литературных... Приносила матери цветы. Мать сказала: «Была молодой — только он дарил мне. Больше никто!». (Он — Кузьма Макарович Ситко, мой приемный отец). Должно быть, мать рассказала Г.В. Мышкиной о моих сложных отношениях со Славой и про Эллу Маркман, все семь лет без устали помогавшую мне добрым словом и книгами. Г.В. писала: «После Вашего освобождения Вам обязательно нужно отдохнуть, восстановить здоровье, нервы. Мы вот с Зинаидой Васильевной (сестра Г.В., школьная учительница) посоветовались и пришли к тому, что Вы, если согласитесь, проведёте пару месяцев на нашем садовом участке под Воронежем. Там есть домик, печка, всё необходимое для жизни. Отдохнёте душой от пережитого, восстановите силы, и тогда уже сможете решать, что Вам делать дальше. И подлечим Вас, повожу Вас по знакомым врачам... Я писала Коле Башлыкову, и он поддерживает наш план и очень радуется, что Вы, наконец, скоро освободитесь...»

В память о матери Г.В. посадила в своём саду «катиюшину розу».

... Что она, мама, могла сделать с волной судьбы, захватившей сына, с этими километрами и штыками! Советов, и то не имела возможности дать, разве кротко увещевала, чтоб «не связывался с дурной компанией», до смерти веря, что я «хороший».

В бараке — полутемь, бесформенные кучи бушлатов на койках. Ночная лампочка над входом. А я ворочаюсь на своём ложе, стараюсь спутать мысли, и вдруг словно током подбрасывает... Вот уже два года я боюсь того, что хуже смерти, — помешательства.

Перед Новым, 1966-м, годом большую группу перевезли с 7-го ОЛПа на 11-й, в Явас. Январь был мягкий, даже тёплый, и я потихоньку готовился к выходу на свободу. Берег был уже совсем недалеко, осталось «плыть» считанные недели... Я раздавал книги, местные поэты дарили мне свои рукописные стихи. Вечера проходили с товарищами, внутренне я уже прощался с ними. Прощался и со всеми уголками зоны, памятными по встречам, беседам, книгам. Всё было засыпано снегом, и только голуби и воробьи оживляли окрестность. Уголок за школой, стадион, «аллея вздохов», мусорная свалка за котельной — всё белым-бело, везде виднелись следы, оставленные зеками, бегающими туда-сюда на нашем славном «пяточке» — 11-м ОЛПе.

По ночам почти не спал, всё слушал и слушал своего внутреннего философа.

Я: Итак, что было в жизни?

Он: Несвоевременные посевы... Затмение чувств... Поэтические восторги... Смущенное странствование ума...

Я: Что остаётся?

Он: Взрывы души... Безумные заботы... Тщетные надежды...

Когда до освобождения оставалось ещё два дня, я отнёс, как полагалось, чемодан в штаб, в кабинет опера. Чемоданы освобождающихся проверяли: нет ли нелегалщины,

потом доставляли на вахту, где проходил *шмон* с раздеванием. Больше всего я беспокоился за свои записки, стихи товарищей, письма...

Накануне меня вызвал начальник ОЛПа, толстый и щекастый Пивкин, и в присутствии начальников спецслужб, отрядных и других офицеров прочёл нотацию на избитом языке лагерного держиморды. Я ему ответил, и Пивкин, не ожидавший отповеди со стороны заключённого, так растерялся, что на несколько минут потерял дар речи. Наконец у него вырвалось:

— А вы... вы какой?.. Вздумал меня стыдить!..

Вечером я пошёл в читалку. Шелестели газеты, писались письма... За одним из столиков сидел, углубившись в свои бумаги, Игорь Ковальчук-Коваль. Из-за какого-то пустяка на 7-м ОЛПе мы были в размолвке уже месяца три. Пришла пора помириться и попроситься. Я подошёл к нему. Он тотчас встал. Прощание было дружелюбным. Мы оба просили прощения друг у друга «за вольные и невольные обиды», а их и не было почти. Так, какое-то недоразумение. Я пожелал ему не задерживаться в лагере, он мне — счастливого пути...

Утром долгожданного дня пришли друзья, оставшиеся в зоне. Кто «*закосил*» в санчасти, кто просто не явился на «развод», рискуя попасть в карцер... Последние напутствия, взаимные пожелания мужества и удачи. Последний взгляд на бараки, в которых протекли годы, на лагерные постройки, на запретки и деревья внутри зоны.

Наконец, обыск на вахте, закончившийся более или менее благополучно для тетрадей в чемодане, и я в канцелярии за зоной.

— Куда выписывать билет и справку?

— В Воронеж.

Радость освобождения была крепко пропитана печалью, природу которой, наверное, нет необходимости объяснять.

Я вышел на свободу накануне появления в Явасе Синявского и Даниэля. Процесс над ними считают иногда началом послесталинского правозащитного движения, а то и всего инакомыслия. Конечно, это не так. Сопrotивление тирании — и тайное, и открытое — существовало задолго до них, задолго до нас. Сейчас понемногу уточняется история 70-летней неравной схватки, в которой, как ни неожиданно, Человек победил беспощадную государственную машину. Ещё и поэтому мне хотелось восстановить в памяти и запечатлеть некоторые судьбы, характеры, события, извинившись за их невольную неполноту и беглость...

В 1992-м году в московской прокуратуре пожилая, усталая, но добрая женщина подала мне справку о последней реабилитации: «По делу 1959-го года все реабилитированы». — «Но все умерли...» — «Не все! Вы же вот живы!..»

Такие дела. Таков наш синодик.

Пора заканчивать повесть. Пора в отставку, когда ушло столько «*добрых, пылких, благородных, деливших молодость со мной*». Зачем и жить дальше? Вкусил немало мёду и расплатился за него сполна.

И всё-таки пора заканчивать повесть, а не жизнь. Не к лицу мне мрак и печаль, стоит лишь взглянуть окрест себя. Разве не исполнились наши заветные мечты и желания, то, чем жили целые поколения, начиная с 1917-го года? Разве не рухнул Карфаген, как бы сам собой, изъеденный изнутри собственной несостоятельностью, пал на колени под суровым взглядом рыцарей свободы и сопротивления? Ожидались потрясения, кровавые мятежи и затяжные войны, но он рассыпался вдруг на глазах у всего мира, и падение его было позорно. Народы России и сопредельных стран пытаются жить по божеским и человеческим законам, и это оказалось труднее, ибо непривычно. Возникло множество проблем, сквозь которые приходится с болью продираться к новой жизни.

Но есть надежда, что следующие поколения будут жить нормально. Главное, что пока у нас есть, — это свобода слова и мысли, это рост человеческого достоинства и культуры, может быть, не слишком очевидный, но безусловный: возникновение общественных, религиозных и государственных учреждений, на которых возродится сильная и цивилизованная Россия, начиная от суда присяжных и частных школ и кончая реформированием армии и возрождением фермерства...

Россия станет не пугалом народов, а светочем, я в этом убеждён. Слишком долго она страдала.

Всё это так. И всё же, всё же, когда я смотрю в окно на деревья, на зелёные листья, тронутые желтизной, когда всматриваюсь сквозь эту благодать в причудливое прошлое, записанное на этих страницах, что я могу сказать напоследок, милый читатель? Разве только вспомнить вместе с тобой словами поэта: *«Что ни скажешь о жизни такой, Всё не так, и не то, и всё мало...»*

*Николаев — Ястребовка — Москва,
1967–2003*

Александра Истогина

О ТОМ, ЧТО НЕ ПРОХОДИТ

Непросто писать послесловие к воспоминаниям человека, которого давно и хорошо знаешь, а его воспоминания, между тем, принадлежат другой эпохе. Но ведь с первых писем в 1967 году мы обменивались нашим прошлым, и эта «другая эпоха» естественно и неотрывно вошла в моё собственное, далеко не безбедное бытие, по-новому насытила и определила его. Чужое, далёкое стало буквально лично пережитым, лица и голоса ожили, тем более, что со многими, о ком вспоминается в этой книге, посчастливилось познакомиться, а то и подружиться. К величайшей скорби, самые дорогие ушли уже навсегда...

Когда появился «Архипелаг ГУЛАГ», показалось, что дело сделано: невинные отомщены, страшная правда явлена миру, незачем больше писать. Но это и тогда, и теперь представляется мне глубоко ошибочным и даже опасным. Особенно до тех пор, пока не состоялся настоящий, подлинный суд над «главным убийцем» — над идеологией, оправдывающей насилие, убийство, массовое человекоистребление. Пока что покаяния не произошло...

Однако вернусь к конкретному тексту.

«Природа знать не знает о былом...», — сказал поэт. Человек знает. В этом и мука, и утешение. Более того, человек **хочет** знать. Память — это аналог бессмертия. Земное бессмертие, если угодно. Одновременно это пытка невероятная — погружаться в горькие годы и события, не щадя себя, перебирать детали, речи, жесты, воскрешать картины, чаще всего страшные, когда речь заходит о лагерях — немецких ли, советских. Может быть, при этом происходит освобождение, груз воспоминаний спадает, но освобождение это, мягко говоря, ранящее. «Забвеньё боли и забвеньё нет — За это жизнь отдать не мало», — заметила Ахматова.

Леонид Ситко начал писать воспоминания сразу после 1956 года, но всё пропало в недрах Лубянки. Возвращены нам были (в 1993) только стихи и ещё кое-что из бумаг, к мемуарам отношения не имеющих. Исчезли письма, записи, наброски и пр. Снова начал писать в 1967 году. Нерегулярно. Иногда сомневаясь в необходимости того, что делает, иногда, напротив, страстно увлекаясь. Так было написано довольно много, включая первый арест и часть срока. Опасаясь «изъятия», всё переписывалось, пока не было машинки, потом перепечатывалось. О ксерокопии тогда речи не было. Прятали, как умели.

С началом нового времени, горбачевской перестройки наступил период прямо-таки запойного чтения – прессы, новых публикаций, книг на лагерную тему. Оказалось, что никто ничего не забыл, ничто не заглохло. Но поскольку вспоминать – процесс болезненный, не хотелось ни на чём настаивать, и всё-таки то и дело мы возвращались к мысли, что надо писать, дописать. И в 70-е, и в 80-е годы делались наброски, что-то требовало быть немедленно записанным, а что-то ждало своего часа.

На рубеже тысячелетий сделана попытка свести всё в единое целое, завершить «эпопею» от рождения до года 1966-го. Такова воля автора. Поскольку писалось всё в разное время и в разном, стало быть, состоянии ума и сердца, то неровности повествования вполне понятны и даже органичны: поначалу – густота, рефлексия, позднее – прозрачность, экономность стиля, хотя вовсе не скупость. Пишет Л. Ситко неброско, без видимых эффектов, часто о том, о чём уже немало написано, и достоинство записок складывается, на мой взгляд, прежде всего из простоты повествования о страшном и безобразном, из светлого взгляда на мир и человека несмотря ни на что, а также из «сквозняка» судьбы, поразительной даже на фоне того, что мы уже знаем из многих жизнеописаний наших современников. Кроме того, он стремится не только как можно точнее и рельефнее воссоздать события и ощущения своей собственной жизни, но внятно запечатлеть судьбы, характеры, речи встреченных им людей, как он их почувствовал и понял. Тут воспоминания выходят, мне кажется, за рамки жанра, перерастая по глубине и выразительности в художественную прозу, сохраняющую достоверность прозы документальной.

Может показаться, что рассказ перегружен именами, но – «хотелось бы всех поимённо назвать», а у его памяти не «отняли список», слава Богу, она сохранила почти всё.

Может показаться избыточным внимание к перипетиям судебных разбирательств, к поведению однодельцев и свидетелей, но и это оправдано страстным желанием ничего не исказить, не смазать, передать не только «букву», но и «дух» происшедшего.

Парадоксально, наверное, но как у народа нашего самое светлое и значительное событие в жизни – это война, так и для бывшего политзека лагерь – событие на всю жизнь, и тут даже неважно, три года он отсидел или тридцать три. Разумеется, насыщенность разная, но суть одна, и состоит она, может быть, в том, что нет ведь бывших политзаключённых, бывших зеков, ибо это навсегда: и печаль, и печать, и психология, и привычки, и предпочтения. Неписанный закон верности. Но не для всех, наверное, не для всех...

«Судьба за мной приглядывала в оба», – написала когда-то Мария Петровых, чья юность пришлась на репрессивные 30-е годы. Ее не посадили разве только чудом. Что же тогда говорить о Леониде Ситко?! Судьба его явно многоглаза и весьма пристрастна. С младенчества, а то и до рождения, как это странно ни звучит, прослеживаются черты некоего ущерб, который можно оценить и как наказание, и как дар Божий. Сверхделикатность и твёрдость на грани упрямства, утончённость душевной организации и стойкость в жесточайших испытаниях, в том числе бытовых, на которых многие ломаются, ранимость до болезненности, не прошедшая с годами, и поистине нескгибаемая воля, абсолютное бесстрашие, иной раз почти мальчишеское... Много, многое ещё звучит в этой душе, в этом характере, разное можно о нём сказать, даже стихами Андрея Белого: «Думой века измерил, А жизнь прожить не сумел...»

Или как раз сумел? Ведь поэтa стоит ли воспринимать прямолинейно, односмыслово?

Жизнь продолжается, и предлагаемые воспоминания свидетельствуют о том, что автор вполне владеет ситуацией и словом, память его щедра и остра, взыскательна и, рискуя сказать, изысканна, не говоря уже о том, что щепетильна. Вместе с тем открыта, откровенна даже. Не предваряя, разумеется, оценок и откликов, надеюсь, что читателю не будет ни скучно, ни неловко, как случается, если автор, увы, святее папы римского. Читателю, даст Бог, будет интересно, больно, отраднo, а, может, даже завидно, и это, наверное, важнее всего.

Человек обольщён своей жизнью, и это помогает ему держаться, говорит Платонов. Опыт Леонида Ситко, его жизнеописание не только подтверждает это глубокое наблюдение, но и даёт основание для иных, может, даже более содержательных и экзистенциальных выводов, которые под силу нашему внимательному и мудрому читателю. А для меня главное, что книга эта станет для кого-то встречей с достойным и светлым человеком, что само по себе всегда подарок судьбы.



Москва, Таганка

Анатолий Жигулин

СВОБОДНАЯ ЗВЕЗДА

Читаешь крепко сбитые, энергичные строки Леонида Ситко и удивляешься: Господи! Столько всего тяжкого пришлось пережить этому человеку! А ведь знаю я его лет тридцать пять – и жизнь его, и стихи, и судьбу. В 1942 году пятнадцатилетним юношей он был угнан на немецкую каторгу. И пошли лагеря самые разнообразные – немецкие с побегами во время бомбежек в Голландию, с участием в Сопротивлении... Всего не расскажешь, это надо читать. И в Советской Армии после освобождения успел послужить, но в феврале 1948 года попал в лапы СМЕРШа. Военный трибунал. 25 и 5. Как говорили тогда, четвертак в лагерях и пять «по рогам» (Лишение гражданских прав). Привычное – увы, для многих! – сочетание слов и цифр. Позже он напишет об этом:

*Я был солдат, теперь острожник.
Мой скован дух, мой нем язык.
Какой поэт, какой художник
Мой страшный плен отобразит!..*

...

*Но чудо! Над каменоломней
Звезда свободная горит...
Хоть дух мой скован – он не сломлен,
Хоть нем язык – заговорит!*

И еще:

*...И под конвоем в поле чистом
Пойдешь безвестною тропой,
И старый ворон декабриста
Прочертит небо над тобой.*

Но не вечны даже самые суровые лагеря вроде Инты и Джекказгана. И везде жизнь – пусть даже вороном из декабристских времен. И наконец – жизнь на свободе, пусть на краткое время.

*В Заполярье я жил, как в склепе,
А теперь приехал сюда.
О Воронеж! Леса и степи!
И затонов прозрачных вода!*

Лучшие строчки Леонида Ситко – и написанные на свободе, и написанные на каторге – о главных ценностях жизни: о счастье, любви и борьбе. И о свободе духа, который скован, но не сломлен, и, перефразируя немного стихи автора, и срок придет – заговорит! И вот заговорил уже в прекрасной книге стихов Л. Ситко «Тяжесть света», а теперь и в воспоминаниях...

Книга воспоминаний поэтически заполнена болью и любовью – главными составляющими нашей поэзии и читается с подлинной душевной радостью.



Алфавитный указатель

- Абакумов В. 208, 220
Авдеев И. 317, 334, 340, 350
Айвазовский И. 29
Аксаков 334
Александровская В. 36
Александровская М. 36
Алексеев К. 122
Алехин А. 304, 313
Амундсен Р. 152
Амфитеатров А. 67
Ананьев А. 205
Андерс В. 111
Андреев П. 71–75
Андреианов 297
Анненский И. 225
Антонеску Й. 36, 85
Анучкин 235
Асеев Н. 193
Ахматова А. 67, 200, 208–209, 250
Багрицкий Э. 10, 308
Бадoglio П. 29
Байрон Дж. 24, 298–299, 329
Бакулин 210–211, 216
Бальмонт К. 67, 201, 226
Бандера С. 40
Баратынский Е. 225
Батов П. 113
Батюшков К. 287
Баум, фон 85, 89, 92–93, 96–97, 144
Бауэр 122
Бах И. 315
Башлыков Н. 192–193, 195, 200, 206–207, 209–
210, 212–216, 282, 292, 301, 360
Беленький 133–134
Белик 350
Белинков А. 339
Белкин Ф. 333
Белох К. 261
Бендер О. 57
Бенкович В. 326, 329
Берггольц О. 145
Бережков 87–88
Березанская 126
Берзин Я. 330–331
Берия Л. 140, 216, 220, 247, 253, 256, 264, 298,
313
Бестужев М. 165
Бисмарк О., фон 55, 71
Блок А. 63, 71, 200, 208, 215, 250, 284, 291, 308,
334, 340, 355
Богатырев 206
Богданов А. 232–235, 241, 250
Боголюбов И. 226
Богомяков К. 261
Бойченко К. 122–123
Бокштейн И. 317
Бонапарт Н. 117, 284, 343
Борман М. 110
Брагина З. 82, 85, 90, 96–98, 100–101, 104, 106,
113–114, 122, 143–144, 281
Брандес Г. 304
Бронников Г. 238, 244, 267, 279
Бронте Ш. 332
Брюллер 97, 100, 102–104
Брюммель 98
Брюсов В. 59, 200

- Буденный С. 32, 357
 Букин Ф. 61, 64
 Булгаков В. 254–255, 258, 271–272, 284, 295–296, 299–300
 Бунин И. 226, 345
 Буныченко С. 193
 Бутаков А. 183
 Быков 114, 117
 Быстров В. 26–27
 Бычков В. 205, 343
 Вайль Б. 341, 345, 348–350
 Вайс Г. 119
 Вандокуров Ю. 340
 Ванеев 224
 Васильев И. 226
 Васильев П. 63
 Вахтёров В. 15
 Веревкин 159–160
 Вересаев В. 304
 Верещагин В. 29
 Вийон Ф. 289
 Винокуров Ю. 343
 Винокурова Л. 27
 Винтер 80, 85
 Виппер Р. 261
 Вирт А. 64, 71, 86, 88
 Вирта Н. 298
 Вихарев А. 260–261, 265–266, 273
 Вишневецкая Г. 243
 Власов А. 80, 87, 161, 183, 184, 192–193, 242, 304
 Войнич Э. 329
 Воробьев Н. 215
 Ворошилов К. 357
 Вяземский П. 287
 Гаккель И. 258
 Галай 320–321
 Галкин С. 225
 Гамсун К. 30, 71, 183, 211
 Гасюк Г. 328
 Гасюк С. 328, 339, 350
 Гасюк Я. 258, 327–328, 340, 348
 Гауптманн Г. 119, 183
 Геббельс Й. 71, 105, 303
 Геккель Э. 55
 Гениуш Л. 251
 Гервинус Г. 167
 Гердис Б. 245–246
 Геринг Г. 110
 Герхард 55, 65
 Гёте И. 106, 154, 329
 Гиляев П. 61
 Гиммлер Г. 44, 87, 105, 110, 335
 Гитлер А. 55, 60, 80, 85, 103, 105, 117, 124, 152, 154, 188, 226
 Гладков Ф. 291
 Гнедич Н. 287
 Гнедич Т. 329
 Гоголь Н. 15, 39, 67, 326, 334
 Годунов Б. 120
 Гольденберг Л. 26
 Гомер 120
 Гончаров И. 150
 Горный 67
 Горчаков 231–232
 Горький М. 30, 70, 205–206, 260, 291, 296, 311
 Грант 40
 Гревс 342
 Грейг С. 36–37, 40, 70
 Грибоедов А. 287
 Григорьев 91
 Грин А. 317
 Гумилев Н. 184–185, 208–209, 216, 250, 291, 332, 355
 Гусева Т. 213, 215
 Данзас Ф. 287
 Даниэль Ю. 361
 Дарвин Ч. 314
 Дельвиг А. 287
 Державин Г. 355
 Дерюга 252
 Дерягин 207–208, 210–211
 Деспотулли 63, 226
 Джугашвили Я. 40
 Дзержинский Ф. 140
 Дивнич Е. 239–244, 246–247, 250, 254, 258, 260, 262, 266–267, 276, 295–296, 299, 304, 306–307, 309–319, 321, 326, 328–329, 331, 335, 340, 350–351, 358–359
 Достоевский Ф. 40, 63, 120, 146, 150, 177, 191, 244–245, 282, 287, 332
 Дубовой И. 88
 Дудинцев В. 277
 Дудко Д. 258, 267
 Думке 89
 Дунский Ю. 267
 Дышловский А. 36
 Емельянова И. 322
 Емцов С. 61
 Ермилов 268

- Ерохина А. 67
Есенин С. 63–64, 87, 200, 208, 250, 291, 308, 352
Жаков 61, 69
Жанис Я. 243, 302
Жаров М. 70
Жданов А. 165
Жевакин 235
Животовский М. 244, 267, 279
Жигалкин П. 67
Житков Н. 250, 258, 263–264, 267, 276, 279, 281,
291–292, 295–296, 298–300, 304, 308–313,
327–328
Жуков В. 234
Жуков Г. 128, 254
Жуковский В. 287
Заболоцкий Н. 225, 308
Завьялов И. 138–141, 145, 147
Зайцев Б. 215
Заплюйсвичке 129
Зарайский 135–137, 140–145, 157
Заратустра 154
Засулич В. 178–179
Збужер К. 79, 84
Зверев Б. 302, 308
Земницкая А. 27–28
Зеров 267
Золотухин Н. 237–238, 240, 243–245, 253–254,
260, 263–264, 266, 295, 299–300
Зошенко М. 64
Ибсен Г. 129, 183
Иванов 178
Иванов П. 243
Иванов Ю. 243
Иванов-Разумник Р. 63
Иванцов М. 195, 200, 205, 210, 259
Ивинская О. 322
Ильина С. 83
Иноземцов А. 267–268, 279, 309
Иноземцова Т. 267–268, 279
Ирвинг 322
Исаковский М. 250
Калинин М. 32
Каменский В. 278
Каплан 106
Каплан Ф. 8, 141
Каплер А. 225
Карамзин Н. 287
Карелин Ф. 347, 350
Карнаухов С. 39, 43
Карсавин Л. 224
Кафка Ф. 323
Кашкин 331
Кеннеди Дж. 348, 350
Кетлинская В. 277
Киреев К. 117–118, 120–121
Киров С. 19, 262, 267, 291
Кирсанов С. 194
Климов 305–307
Клюев Н. 63, 352
Ключевский В. 334
Кобец 278
Кобылинская Л. 277
Кобыш И. 31
Кобыш Н. 34
Ковадло Н. 261
Ковалев Т. 105
Ковальчук-Коваль И. 236, 244–245, 250, 255, 260,
262, 266–267, 276, 278–279, 288, 292–293,
295–296, 298–300, 304–306, 308–311, 327,
340, 347, 350–351, 358, 361
Коган 232, 234–235
Козленко Ю. 27
Козлов Н. 287
Козлов Ф. 350
Козлова О. 279
Козов В. 340
Козовой В. 322
Коломиец 234, 268
Колосов Л. 94
Колчак А. 344
Кольцов А. 206
Коптева К. 206
Корбец 281
Короленко В. 39, 176, 334
Корчмарь З. 27–28
Костенко Л. 348
Кочин Н. 205
Кочкарев 235
Кочур Г. 226, 259, 267, 289, 303, 331, 338
Краснов П. 120, 183
Красноповцев Л. 316
Красноталов А. 79, 84, 96, 98–99, 105, 108, 137,
175
Крафт 167
Кренкель Э. 172
Кривцов М. 183–185, 194
Кротов 125
Круглов С. 257
Крылов И. 287
Крюгер 61–62

- Кубенская Т. 23
Кудинов М. 217–220, 231
Кузнецов Э. 334, 340, 352
Кулешов 32
Кулябко 317
Кунин К. 146, 149–150
Купицны 251
Куприн А. 70
Куранов 194, 207, 209, 213
Кутузов М. 117
Лавриненко 239, 248–249, 260, 268
Лангер Г. 82, 103–104
Лапина В. 195, 237
Ларина Т. 288
Лауриньш 197–198
Левитан Ю. 41, 252
Левченко В. 36
Леклерк 85
Ленин В. 8, 10, 31, 37, 87, 150, 159, 263, 280, 283, 330, 345
Леонов Б. 345, 350–351
Лепп Э. 182, 196–197
Лермонтов М. 15, 21, 32, 55, 129–130, 208, 211, 216, 255, 284
Лещенко Н. 98
Ли В. 249
Ли Сун Чан 253
Лисовский В. 36
Лихая Р. 27, 29
Лобов 317, 323
Логвин И. 313, 331, 336
Лоскутов В. 201, 211–212
Лошихин В. 345, 352
Луконин М. 206
Луначарский А. 345
Любарский К. 298
Людкевич Я. (Слава) 289–290, 292, 294–295, 315, 328–331, 337–338, 340, 360
Мавродий Д. 36
Мазепа И. 40
Мазурин А. 29
Майер 30
Макаренко А. 140
Малиновская 234–235
Малышкин 87
Мальков П. 141
Мальцев 87–88
Мандельштам О. 200, 267
Манн Т. 345
Марич Ю. 266, 301–302
Марк Ю. 291–292, 309
Маркан Э. 216, 223, 238–239, 301, 316, 337, 360
Маркс К. 57, 150, 232
Марр Н. 225
Марти А. 31, 37
Марчишин 125–127, 131
Маршак С. 229
Марьенко И. 279–281, 315, 342, 359
Маслова К. 167
Матюшкин А. 287
Мачугене 171
Маяковский В. 193, 215, 317, 334, 342
Мелехов 128
Мельшин Л. 176
Менделеев Д. 40
Мережковский Ф. 71
Метерлинка М. 131, 211
Миколайчик 111
Микоян А. 350
Милашевский В. 267
Минтурин Я. 54–58, 64, 79
Мирошниченко Н. 27
Митрейкин В. 342–343, 350
Молотов В. 66, 112
Мольер Ж. 29
Мороз 256
Морозов Н. 167–168
Морозова М. 129–133
Моррисон Г. 221
Муравьев-Апостол С. 18
Мурашко С. 29, 94
Муромцева 63
Муссолини Б. 80, 89
Мышкина Г. 185, 195, 205, 208, 213, 215–216, 282, 290, 301, 359–360
Мюллер К. 80–81, 86–87, 90, 128
Мюллер фон Зейдлиц 253
Мюрат И. 255
Наврұзов 115, 122–123
Нагорский С.Н. 225
Нансен Ф. 152
Насретдин Х. 314
Небель 324
Неверов В. 255
Невский, Александр 119, 240
Некрасов Н. 208
Некрасов, проф. 224
Нестеров М. 317–319
Никитин И. 206

- Никитина 206
Никлус М. 314–315, 317, 327, 352, 356
Ницше Ф. 183
Новиков 265
Новиков А. 352
Новоухатько Н. 187–188
Нуцубидзе Ш. 202
Оболин В. 21
Овчинников И. 319, 329, 331–332, 339–340, 350
Околёснов А. 243, 262–263, 267, 271–272, 276, 279, 295, 299, 304, 310
Околёснова В. 262
Околович Г. 322
Оксюз Б. 239–242, 262, 266, 276, 295–297, 299, 304, 307, 309–311, 327, 340, 352
Окуневская Т. 207, 209
Оленин 339
Олеша Ю. 329
Оливье Л. 249
Опекушин А. 40
Опперман 35
Осипов В. 317, 334, 340, 352
Осянина П. 23
Отрепьев Г. 120
Павленков 244
Павлов С. 255–256
Паламарчук Д. 226, 258, 267, 338
Палецкис 245
Панкратов 297
Папанин И. 32
Папушин 128
Пастернак Б. 200, 322
Паулюс П. 68
Паустовский К. 277
Пауэрс Ф. 329
Пачулия 313
Пеклеванов 63
Перман Ф. 31
Перхуров 345
Петренко 201
Пивкин 361
Плутарх 329, 343
Подвойский Н. 150
Поленов В. 266
Попов Н. 352
Потемкин Г. 36, 88
Почелов Викт. 81, 87, 98, 105
Почелов Вл. 81, 84, 98, 105, 143–144
Прайс Д. 102, 104, 107
Пришвин М. 327
Пришелуцкий В. 36
Прокофьев А. 291
Прошляков 307–308, 310
Пруссос П. 54, 59, 79, 105–107, 125
Пугачев Е. 139
Пушкин А. 15, 24, 29, 40, 67, 129, 215, 255, 260, 307
Рабинович Ж. 47
Рабинович Л. 47
Рабинович С. 225, 328
Радыгин А. 352
Раев Н. 269
Разин С. 278
Разменова Л. 359
Рейтер Ж. 266, 286, 289, 304, 309
Рекушин В. 355–356
Рендель Л. 316
Репников В. 333, 350
Репников С. 340
Ржанович 182, 186, 206
Рогачев 120
Розанов С. 312
Розе 91–92
Розенберг А. 36
Рокоссовский К. 117
Роль-Танги 85
Романов Н. 345
Ромашов А. 356
Роммель Э. 68
Россман 55, 61
Ростан Э. 211
Рубцов Н. 36
Руденко Т. 27
Рузвельт Ф. 80
Румянцев П. 81, 83–84, 98
Русанов 232, 234–235
Русланова Л. 164
Руставели Ш. 201
Рыбарж И. 208
Рыбкин 333
Рыльский М. 31, 226, 267, 330
Рысков В. 317, 352
Рюмин 220
Савич И. 226, 267
Саврасов 266
Садиков В. 21, 280
Садикова Ж. 21, 23
Салманов 268
Салтыков 116
Санжаревский Б. 61, 64, 79, 81

- Сахно С. 125, 129
Свен Г. 152
Свердлов Я. 345–346
Светлов М. 119
Свистунов Н. 33
Семенов К. 333
Сергеев-Ценский С. 295
Серов Ж. 90
Сидоренко А. 195
Сидоров 178
Сидорчук А. 48
Сизов 144, 295–298
Симонов К. 201, 207
Синяевский 361
Ситко Е. 8
Ситко К. 9–13, 17–20, 25, 360
Скотт Р. 272, 350
Славин Л. 277
Слащёв Я. 9
Слюним М. 27, 41–42, 47
Смеляков Я. 225
Смирнов 206
Смирнов Ж. 278, 289
Смирнов Ю. 298–303
Соколов В. 353–354
Соколова А. 23
Солженицын А. 183, 205, 349
Соловьев И. 191–192, 195, 200, 205, 207–209, 213–216, 241, 317
Соловьев С. 167
Сологуб Ф. 67
Сосновский Б. 352
Софианиди Л. 216, 222–226, 238
Спасский П. 260–261, 265
Спирин 130–132
Сталин И. 33, 68, 80, 87, 102, 108, 111–112, 114, 124–125, 128, 135, 139, 159, 162, 202, 204, 216, 220, 225, 231, 252, 263–264, 284, 357
Станиславский К. 120
Степанов Ю. 253, 266, 272, 281, 288
Степняк-Кравчинский С. 168
Стефанович А. 261, 265–266
Суворов А. 114, 193, 215, 240
Судковский 29
Сумбатов-Южин А. 180
Сумбатошвили 180
Суходольский А. 341, 350
Тамарина Р. 195, 206, 215–216
Тан-Богораз 176
Таратута Е. 329
Тахтер Э. 31, 44–45, 47
Твардовский А. 250, 258, 291
Тедеско 89
Тельман Э. 80
Тельников В. 317, 326, 340
Темин Г. 352
Терешонков Г. 246–247, 254, 266, 286–286, 299–300
Тито И. Б. 165, 221
Тихонов Н. 291, 308
Ткаченко А. 11, 359
Толстой Л. 120, 142, 152, 282, 307, 331
Томенко Ю. 61, 112, 117–118, 120–121
Тополева М. 84–85
Треммель В. 335–336
Трескунов А. 305, 309–310
Троцкий Л. 27, 345
Трубецкой А. 223
Тураев Б. 261
Тургенев И. 287, 334
Тынянов Ю. 339, 342
Тычина П. 31
Тютчев Ф. 150, 284, 328
Уайльд О. 129, 183, 317
Уинкотт Л. 249–249, 253
Ульянов Н. 357
Урбанский Е. 342
Усачев П. 326
Уткин И. 119
Уточкин С. 36
Уфимцев С. 62, 85
Фавзи 195, 200
Фадеев А. 211
Федин К. 211
Федоров С. 161, 163–164, 169
Федорова З. 172
Фейерберг 72
Фенев С. 352
Фет А. 334
Филенкин М. 319, 323–326
Фокин 300, 306
Фолкнер У. 347
Фомичев Е. 13–17
Фомичева М. 13–17, 23, 330, 359
Франковский 231
Фрид В. 267
Фролов В. 258, 266, 277–278
Фустер 182, 196–197, 206, 216, 227
Харьковский В. 81, 86, 90, 92, 96
Хемингуэй Э. 304, 338, 345

- Хлебников В. 329
Ходасевич В. 226
Ходзицкий Ю. 26–27
Холодковский Н. 342
Хольтиц 85
Храмцов Ю. 319–320, 329, 340, 350
Хрулев Ю. 304, 309
Хрущёв Н. 263, 301–312, 346, 356
Худзоев 187–189, 206
Худой Ю. 355
Царюк М. 48–49, 52, 54–57, 79, 106
Цветаяев В. 175
Цветаяева М. 200, 274, 331, 339
Цегельник К. 36
Цезарь, Юлий 343
Цейс Г. 151–156
Цырульникова Л. 47
Чавчавадзе Г. 208
Чавчадзе К. 201
Чапаев В. 19
Чекалин 132
Черкасов Н. 149
Черчилль У. 80, 87, 102, 120, 126, 356
Чехов А. 129
Чечев 198, 204
Чижова Л. 272, 275–276
Чипка П. 236
Чистяков 122–124
Чистяков Д. 278, 295
Чкалов В. 248
Чубаров А. 34
Чудинов 195
Чулков Г. 284
Шабалкин 260, 269
Шаляпин Ф. 70
Шапорин Ю. 253
Шварц Г. 84, 96, 109, 137
Швед 356
Шевченко Т. 9, 15, 266
Шекспир В. 106, 120, 129, 229, 235, 258, 322, 338
Шервуд К. 111–112, 117–118, 126
Шеффер 70
Шиллер Ф. 120
Ширшов П. 32
Шиффер В. 220, 223
Шлоссер Ф. 167
Шопен Ф. 315
Шостакович Д. 225
Шоу Б. 218
Шток 103
Штраус И. 48
Шубин В. 18
Шульгин В. 321
Шульц 220
Шумов Б. 352
Шутов 125
Щербанеско М. 289, 304, 309
Щирав С. 247–248, 253, 268
Экономов В. 346
Энгельс Ф. 57, 232, 301
Эренбург И. 211, 277, 331
Эррио Э. 27
Юдков 159–161
Явтух О. 331
Яковлев В. 71, 73
Янушевский 223
Янушквичене 171
Янушка Ж. 243–244, 302
Яшин А. 277

Ситко Леонид Кузьмич

РОЗА ВЕТРОВ ГУЛАГА
Записки политзаключенного

Составление и подготовка текстов
А. ИСТОГИНА, А. ЛЕЙКИН

Художественное оформление
А. НЕЙМАН

Редактор
А. ИСТОГИНА

Оригинал-макет
В. ПАНИН

Подписано в печать 20.02.2004. Формат 60×88/16.
Печать офсетная. Гарнитура "Прагматика". Бумага офсетная № 1.
Печ. л. 23,5+1,5 вкл. Тираж 500 экз. Заказ № 6487.

Издательство «Бонфи».
127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 2.

Отпечатано в ФГУП «Производственно-издательский комбинат ВИНТИ»,
140010, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский пр-т, 403.
Тел. 554-21-86



Леонид Кузьмич Ситко родился в 1927 году в Николаеве. В 1941 году немцы угнали его – среди множества других подростков – в Германию. Три года он провел в лагерях для «остарбайтеров» в Гамбурге, Крюммеле и Любеке. Добровольно вернулся в СССР, где три года прослужил в стройбате. Затем был арестован и по ложному доносу осужден на 25 лет за «измену родине». В лагере получил еще «двовесок» – за создание тайника, где хранились рукописи заключенных.

После XX съезда КПСС освобожден и целых три года – на свободе. И снова арест – за связь с НТС, хотя членом этой организации не был, а сами энтээсовцы считали его, видимо, полезным сочувствующим. Новый срок – 7 лет лагерей, который он отсидел полностью.

Такова вкратце биография. За ней целая жизнь – или даже несколько жизней. Уверен, мемуары эти захватят читателя. И не только из-за сюжета, но благодаря литературному таланту автора. Ведь и в мемуарном жанре важно не только «что», но и «как».

Трижды судимый по «политическим» статьям Леонид Ситко меньше всего на свете занимался политикой, хотя чекисты, похваляющиеся своим «нюхом», всегда считали его отъявленным подпольщиком, заговорщиком, конспиратором... А он уходил от окружающей действительности в стихи, в переводы, в воспоминания... Вспоминал и записывал. Так рождалась эта книга...

Борис Вайль